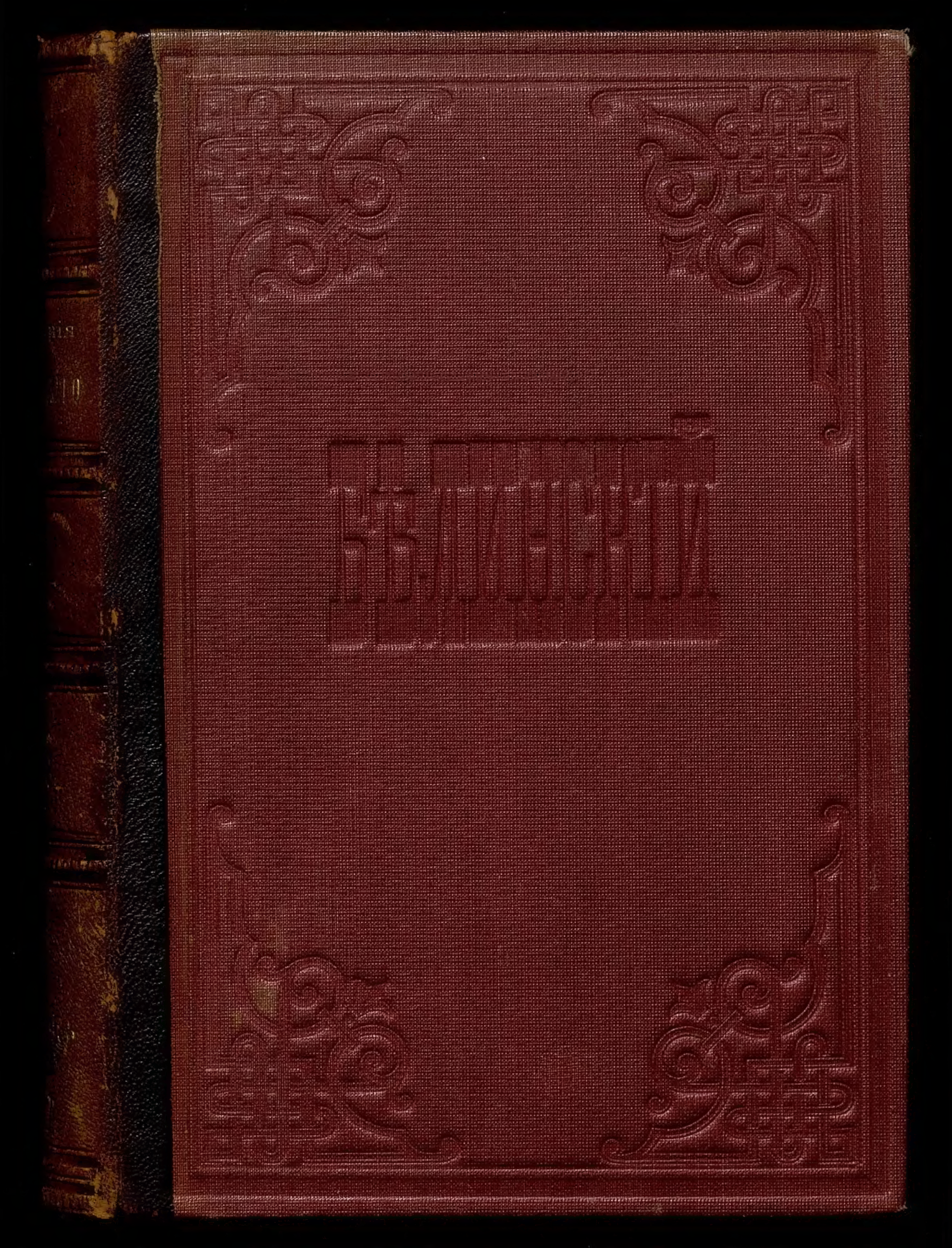
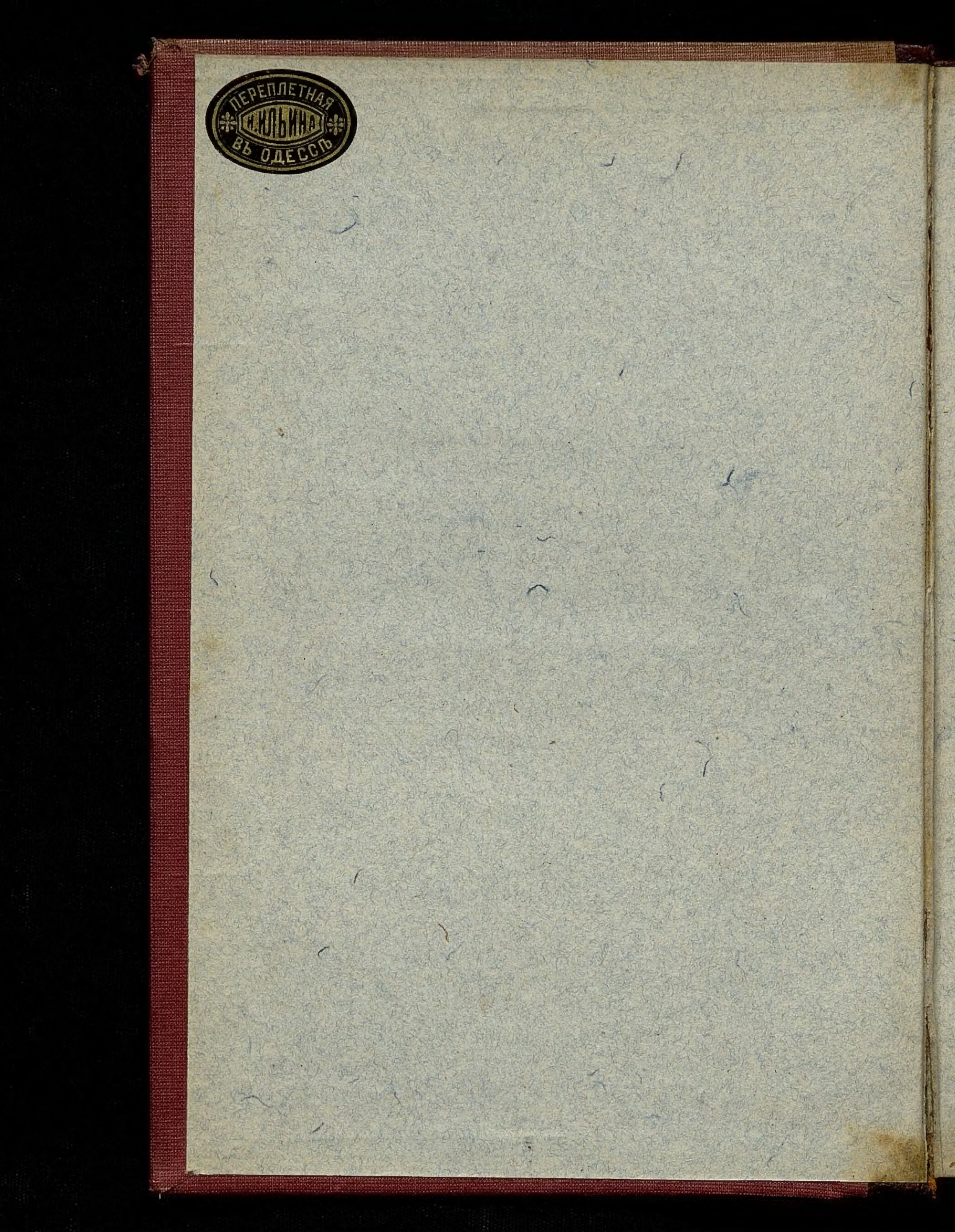
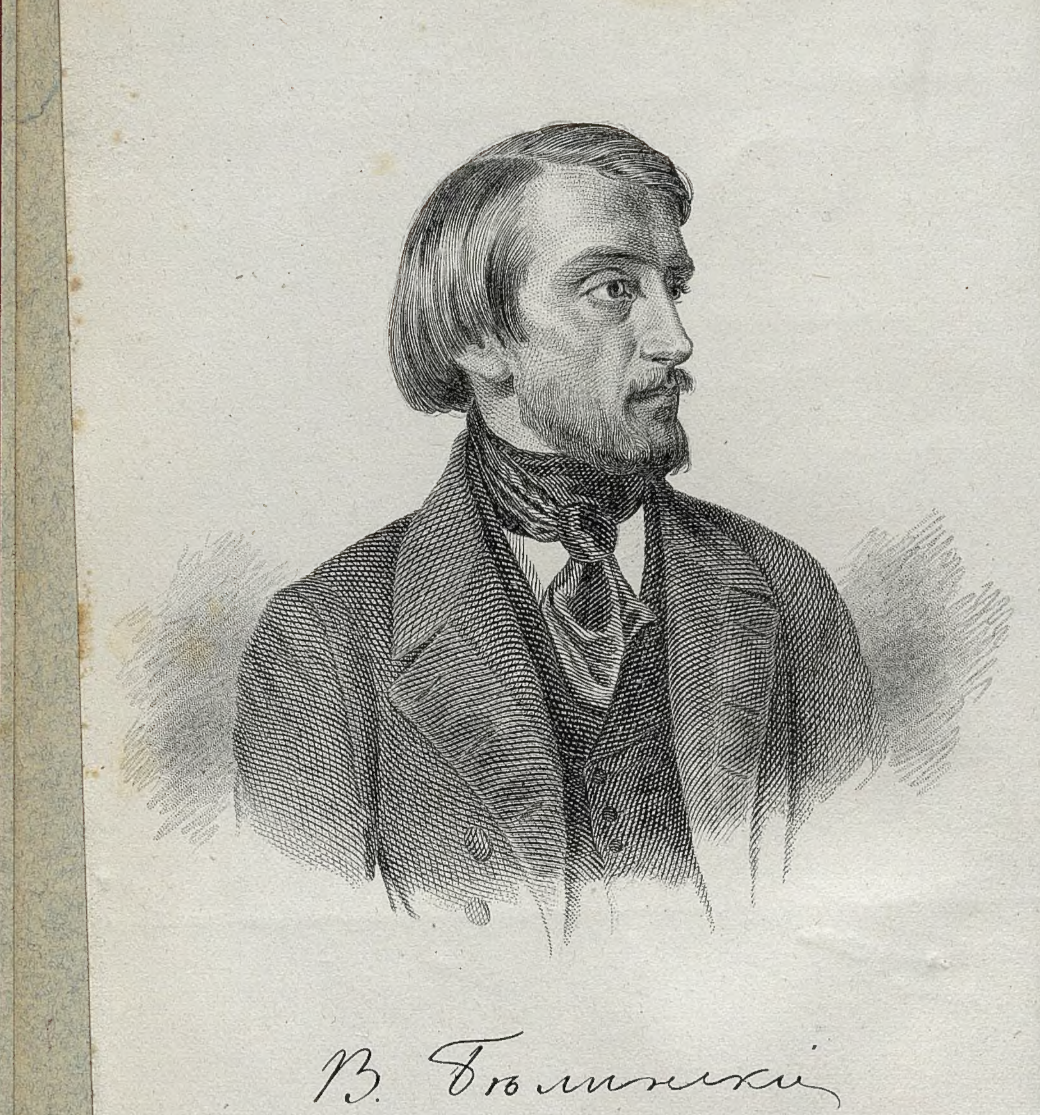

В. БѢЛИНСКІЙ


ПЕРЕПЛЕТНАЯ
И. ИЛЬИНА
ВЪ ОДЕССѢ


В. Бѣлинскій

Музыка, музыка, чорт с тобою! Хотелось бы любить тебя, а должен ненавидеть, потому что ты меня не любишь. Меня все не любят за то, что я люблю. Пока, впрочем, я мог бы помириться с жизнью, если б одно — хоть <u>что-нибудь</u> похожее на чувство. Это сведет меня с ума. Я теперь понял источник всех моих страданий, всех зол моей жизни, узнал, отчего я так часто и так низко падал, падаю и буду падать. Это от полного неудовлетворения душевной потребности. Пока не будет дано мне хоть сколько-нибудь ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ — истинного, хоть сколько-нибудь удовлетворения этой ненасытной — заперто для меня царство духа. Лишь теперь только понял, что не должно ограничивать своей жизни ничем внешним — делать прочь сколько угодно, хоть раздери горло, а я знаю лишь одно. Законы общие одни, а общие явления все под условием индивидуальности. Надо влезть в мою шкуру, чтобы узнать, чего мне нужно. Только поэтам предоставлена завидная участь <u>вполне</u> высказывать себя, а нашему брату и то хорошо, коли удастся излить чуть.

Уведомь меня, скоро ли ты приедешь — буду считать часы и минуты. Сколько новостей!
. . . . Кстати к вообще <u>[illegible]</u> бранить французов лучше меня, на чем стоит Лойт: холодный народ, у которого не было искусства, который не понимает искусства. Каково. И. П. со дня на день становится лучше. К. . . ов — славный малый, но я всех лучше. К. К. . . . ну его с ним письмо. Прощай. Твой В. Б.

СОЧИНЕНІЯ

В. БѢЛИНСКАГО.

СОЧИНЕНІЯ

В. БѢЛИНСКАГО.

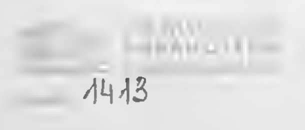
съ портретомъ автора и его факсимиле.

ЧАСТЬ ДВѢНАДЦАТАЯ.

Изданіе четвертое.

Цѣна за каждую часть 1 р. 25 к.

МОСКВА.
Типографія А. И. Мамонтова и К°, Леонтьевскій переулокъ, № 5.
1882.


1413

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА.

1840 года.

ЖУРНАЛИСТИКА.

Извѣстно, что послѣ литературы и, въ особенности, журналистики, въ цѣломъ мірѣ нѣтъ ничего хуже петербургской погоды. За ея непостоянствомъ и перемѣнчивостію часто нѣтъ никакой возможности различать времена года. Нынѣшній май оказался особенно сбивчивымъ мѣсяцемъ: онъ похожъ и на сентябрь, и на октябрь, и на ноябрь, и на февраль, и на мартъ, и на что̀ угодно,—только не на май. Однимъ словомъ, если бы не календарь и не иностранныя газеты, такъ аккуратно получаемыя въ Петербургѣ, мы не знали бы, что у насъ теперь цвѣтущая весна, въ порѣ брачнаго блеска природы. Какъ нарочно, журналы, словно по взаимному условію, стараются скрыть отъ насъ настоящее время года и перевернуть календарь задомъ напередъ. Единственный журналъ въ Москвѣ—«Галатея», вмѣсто того, чтобы воскреснуть съ весною, разсыпался пустоцвѣтомъ и скоропостижно скончался, на восьмомъ или девятомъ нумерѣ. «Библіотека для чтенія», послѣ долгаго и упорнаго молчанія, наконецъ явилась подъ 4 № и подъ фирмою апрѣля, когда у насъ было уже 12 мая. «Сынъ Отечества» седьмою книжкою увѣряетъ насъ, въ маѣ мѣсяцѣ, что теперь еще апрѣль. Но онъ не ограничился этимъ: если не успѣетъ въ маѣ, то въ іюнѣ, есть надежда, онъ появится въ свѣтъ со второю апрѣльскою книжкою. Но и тутъ еще не конецъ его хронологическимъ шуткамъ насчетъ

мая мѣсяца настоящаго года: съ чего-то ему вздумалось перевернуть этотъ бѣдный май 1840 года въ ноябрь 1839 г. Посмотрите одиннадцатую книжку «Сына Отечества» за 1839 годъ, благополучно продолжающійся, для него, и по сію пору: на ней выставленъ ноябрь и 1839 годъ, а вышла она въ маѣ 1840 года; въ ней содержатся самыя свѣжія, животрепещущія извѣстія о предстоящемъ бракѣ англійской королевы съ принцемъ Альбертомъ саксенъ-кобургскимъ, о дагерротипѣ и другихъ новостяхъ. Кромѣ того, въ немъ найдете вы примѣчательныя вещи и изъ воспоминаній добраго стараго времени, именно: «Царьградъ и дворъ греческихъ императоровъ въ X-мъ вѣкѣ». Эта cosa rara названа «византійскою легендою».

Въ апрѣльской книжкѣ сего журнала, появившейся въ маѣ, есть выходка противъ «Отечественныхъ Записокъ», которая и напомнила намъ о забытомъ нами существованіи «Сына Отечества», этого рѣдкаго и драгоцѣннаго журнала. Спорить намъ съ нимъ нѣтъ охоты, да и не о чемъ: онъ только изрѣдка высказываетъ свои мнѣнія о способностяхъ того или другаго литератора, о достоинствахъ и недостаткахъ того или другаго стихотворенія, той или другой повѣсти. Это не наше дѣло, и спорить намъ тутъ нельзя: какое бы ни было мнѣніе, его не оспоришь и не переспоришь, ибо всѣ мнѣнія «Сына Отечества» случайны, произвольны, чужды всякаго критеріума. Нѣтъ, не это заставило насъ взяться за перо и толковать съ «Сыномъ Отечества». Въ русской публикѣ еще такъ мало замѣтно сколько-нибудь установившееся общее мнѣніе, что большая часть ея, занимающаяся журналами, обыкновенно расположена въ пользу нападающаго, и молчаніе на выходку приписываетъ не пренебреженію, а признанію обвиняемымъ своей слабости. И потому мы крѣпко держимся русской пословицы: «ѣду не свищу...»

«Сынъ Отечества» обвиняетъ «Отечественныя Записки»

въ какомъ-то намѣреніи, будто бы установить «табель о рангахъ» для русскихъ писателей, умершихъ и живущихъ.

«Сынъ Отечества» нападаетъ на «Отечественныя Записки» за то, что, по ихъ словамъ—

„Выходитъ, что поэтовъ настоящихъ у насъ теперь только *четверо*: г-да *Лермантовъ* (т. е. Лермонтовъ), *Кольцовъ*, *Красовъ* и—*в*—. Поэтовъ-переводчиковъ пятеро: гг. *Вронченко*, *Катковъ*, *Струговщиковъ*, *Аксаковъ* и *Мейстеръ*. Поэтовъ *развѣ еще* двое, гг. *Кукольникъ* и *Бернетъ*. Прозаиковъ хорошихъ трое: *Гоголь*, который однакожь *ничего не печатаетъ*, да князь *Одоевскій* и *Н. Ф. Павловъ*, которые однакожь только *изрѣдка показываются*. Прозаиковъ, которыхъ *прочтете съ удовольствіемъ*, семеро: гг. *Вельтманъ*, *Даль*, *Основьяненко*, *Панаевъ*, *Гребенка*, *Владиславлевъ* и г-жа *Жукова*— *ну, а потомъ еще* графъ Соллогубъ, написавшій однакожь двѣ повѣсти, да г. Лермантовъ (т. е. *Лермонтовъ*), который кромѣ „О. З.“ *нигдѣ не показывался* („С. О.“ № 7, стр. 665—666).

Вотъ оно, это страшное обвиненіе, напечатанное обыкновенною печатью, курсивомъ и капителью въ приличныхъ мѣстахъ, и съ приличными искаженіями словъ «Отеч. Записокъ»!... Въ чемъ же это обвиненіе? пока еще его нѣтъ! А вотъ извольте видѣть.

Г. *Лермантовъ* (т. е. Лермонтовъ) за полдюжины піесокъ, *весьма не-дурныхъ* (а!...) и г. *Кольцовъ* за нѣсколько *очень милыхъ піесокъ* и *пѣсенокъ*, по нашему мнѣнію, никакъ еще не могутъ назваться поэтами великими (стр. 666).

Позвольте остановиться на этомъ. Во-первыхъ: въ статьѣ «Отеч. Записокъ» гг. Лермонтовъ и Кольцовъ не были названы великими поэтами, слѣдовательно, это выдумка «Сына Отечества»; пусть читатели разсудятъ сами, до какой степени она остроумна и добросовѣстна. «Отечественныя Записки» предоставляютъ публикѣ давать титулъ великаго молодому поэту, только-что еще выступающему на поприще искусства; но «Отеч. Записки» не отнимаютъ у себя права высказывать своихъ убѣжденій какъ о старыхъ, такъ и о молодыхъ поэтахъ; а онѣ убѣждены, что хотя Лермонтовъ писалъ еще и очень немного, но что въ этомъ немногомъ

видно такое огромное, могучее дарованіе, что изъ всѣхъ поэтовъ, появившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ и послѣ него, не было и нѣтъ до сихъ поръ ни одного, котораго имя имѣло бы больше правъ стоять послѣ имени Пушкина, и что изъ молодыхъ поэтовъ нѣтъ ни одного, который бы такъ много обѣщалъ въ будущемъ, какъ Лермонтовъ. Въ то же время, «Отеч. Записки» убѣждены, что, послѣ имени Лермонтова, самое блестящее поэтическое имя современной русской поэзіи есть имя Кольцова, который написалъ не нѣсколько очень милыхъ піесокъ и пѣсенокъ, какъ выражается «Сынъ Отечества», а до пятидесяти пѣсень и думъ, вылетѣвшихъ изъ глубины могучей русской души, и отличающихся оригинальностію, глубокостію творческихъ мыслей и художественною формою. Во-вторыхъ, что это за выраженіе: полдюжины піесокъ?... Неужели «Сынъ Отечества» измѣряетъ таланты количествомъ, а не качествомъ, дюжинами, аршинами и саженями, а не эстетическимъ чувствомъ, не критикою разума? Если такъ, мы поздравляемъ его: пусть его вѣситъ и прикидываетъ, но пусть и удержится требовать отъ другихъ подобной дюжинной, аршинной и посажённой критики. Неужели любая изъ длинныхъ и тяжелыхъ драмъ г. Кукольника выше коротенькой «Молитвы» Лермонтова, потому только, что въ первой наберется до 3000 стиховъ, а послѣдняя состоитъ только изъ 12-ти стиховъ?... Если такъ, то Херасковъ выше самого Пушкина... Сверхъ того и счетъ «Сына Отечества» очень фальшивъ: Лермонтовъ написалъ не полдюжины піесокъ: въ «Отеч. Запискахъ» за прошлый и нынѣшній годъ помѣщено пятнадцать стихотвореній; одно въ «Литературной Газетѣ»; нѣсколько уже получено для напечатанія въ ближайшихъ №№ «Отеч. Записокъ». Сверхъ того, въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» за 1838 годъ была напечатана большая и превосходная его поэма «Пѣсня про царя Ивана Васильевича Молодаго опричника

и удалаго купца Калашникова»; въ собраніи его стихотвореній, которое выйдетъ осенью нынѣшняго года, помѣстится еще другая его поэма, нигдѣ не напечатанная; и пр. и пр... Но пойдемъ дальше за «Сыномъ Отечества».

Г. *Красова* ни одной піески, сколько-нибудь сносной, мы еще не читали, а г.—*ө*—читали мы, кажется, піески двѣ, три, весьма жалкія, въ „О. З." (стр. 666).

Ну, что̀ сказать на то, что вамъ не нравятся стихи гг. Красова и —*ө*—, а нравятся стихи гг. Паршина, Дича, Щеткина, Пачимади и иныхъ прочихъ: что̀ жь съ этимъ дѣлать? таковъ ужь видно у васъ вкусъ!... Suum cuique—всякому свое! Противъ этого такъ же безполезно спорить, какъ и доказывать извѣстному классу читателей, что романы Вальтеръ-Скотта или Купера лучше «Приключеній Георга англійскаго милорда» и тому подобныхъ произведеній. Что̀ же касается до насъ, у насъ свой вкусъ,—правда, совершенно противоположный вкусу «Сына Отечества», но который именно потому и кажется намъ истиннымъ, и о которомъ именно потому мы и говоримъ публикѣ въ-слухъ. Въ стихотвореніяхъ подъ фирмою —*ө*— господствуетъ однообразное и болѣзненное чувство, которое не со всѣми можетъ гармонировать и не всѣмъ нравиться, но которое особенно-сильно дѣйствуетъ на знакомыхъ съ нимъ; и какъ бы то ни было, но стихотворенія —*ө*— всегда проникнуты чувствомъ, и чувствомъ истиннымъ, выстраданнымъ, а не выдуманнымъ, не поддѣльнымъ, чувствомъ, которое высказывается въ прекрасныхъ стихахъ, нерѣдко представляющихъ собою плѣнительные поэтическіе о̀бразы. Да, это не просто размѣренныя строчки, завостренныя рифмою и выражающія отвлеченныя понятія; но задушевныя изліянія полнаго чувствомъ сердца, и потому такихъ стиховъ теперь нельзя встрѣтить ни въ какомъ русскомъ журналѣ, кромѣ «Отеч. Записокъ». Что̀ же до стихотвореній г. Красова, они еще въ 1838 г. пріобрѣли себѣ общую и заслуженную извѣстность чрезъ

«Библіотеку для Чтенія». Въ бо́льшей части стихотвореній г. Красова всякаго, у кого есть эстетическій вкусъ, поражаетъ художественная прелесть стиха, избытокъ чувства и разнообразіе тоновъ. Ихъ, тоже, изъ всѣхъ русскихъ журналовъ, теперь можно встрѣчать только въ «Отечественныхъ Запискахъ»; ужь не за это ли такъ и сердитъ на нихъ незлобивый «Сынъ Отечества»?..

«Изъ переводчиковъ, мы почти ничего не видали отъ гг. *Каткова* и *Аксикова*; г. *Врониченко* давно ничего не переводитъ, а отъ переводовъ г. *Росковшенки* упаси насъ Фебъ, хоть онъ (т. е. Фебъ? ..) и называетъ себя *мейстеромъ*. Намъ кажется, онъ и въ подмастерья парнасскіе не годится (стр. 666).

«Слѣдовательно, и изъ назначенныхъ въ кандидаты поэзіи «Отеч. Записками» позвольте намъ кое-кого выключить (*сдѣлайте одолженіе!*—это *ваше* дѣло!). Г. Гоголь *ничего не печатающій*; г. *Н. Ф. Павловъ*, не знающій русскаго языка и копирующій Бальзака; г. *Основъяненко*, ничего *порусски* не пишущій; г. *Панаевъ* съ двумя, тремя піесками очень плохими; г. *Гребенка*, котораго надо просить не писать, и г. *Лермантовъ* (т. е. Лермонтовъ), прозаикъ, до сихъ поръ ничего порядочнаго не писавшій (?!...), ибо что писалъ онъ, было очень плохо, опять представителями русской прозы быть не могутъ».

Переводы г. Каткова изъ Гейне и отрывки изъ его перевода «Ромео и Юлія» Шекспира «Сынъ Отечества» можетъ увидѣть въ «Московскомъ Наблюдателѣ» 1838 и 1839, и въ «Отеч. Запискахъ» 1839 года. Да, если онъ возьметъ трудъ хорошенько протереть очки, то найдетъ и въ «Сынѣ Отечества» 1839 г. (т. е. въ себѣ же самомъ) отрывокъ изъ перевода г. Каткова «Ромео и Юлія», отрывокъ напечатанный, какъ намъ достовѣрно извѣстно, противъ желанія переводчика. Въ тѣхъ же журналахъ можетъ онъ найдти и переводы изъ Гёте и Шиллера г. Аксакова; да ужь кстати да обратитъ сей почтенный старецъ свое вниманіе и на переводы г-жи —*вой*, въ «Отеч. Запискахъ»: если же все это ему не понравится — это уже будетъ не наша вина и не вина прекрасныхъ переводовъ, о которыхъ мы говоримъ...

Г. Врончено, который, по словамъ «Сына Отечества», давно уже не переводитъ, недавно (года два назадъ) перевелъ «Макбета» и какъ еще перевелъ! Несмотря на видимую жесткость языка въ иныхъ мѣстахъ, отъ этого перевода вѣетъ духомъ Шекспира, и когда вы читаете его, васъ объемлютъ идеи и образы царя міровыхъ поэтовъ, Что же касается до г. Росковшенки (Мейстера) — его переводъ «Ромео и Юліи», напечатанный въ «Библіотекѣ для Чтенія», превосходя переводы г. Врончено большею мягкостію и выработанностію языка, далеко не передаетъ съ такою силою духа великаго Шекспирова созданія; но тѣмъ неменѣе и этотъ переводъ принадлежитъ къ прекраснѣйшимъ и удачнѣйшимъ попыткамъ переводить на русскій языкъ, обнаруживаетъ въ г. Росковшенко несомнѣнный и замѣчательный талантъ переводить Шекспира. А что онъ не нравится «Сыну Отечества»—это, вѣроятно, потому, что въ немъ не бывать трудамъ г. Росковшенко.

«Г. Н. Ф. Павловъ, незнающій русскаго языка и копирующій Бальзака; г-нъ Панаевъ съ двумя, тремя піесками, очень плохими; г-нъ Лермонтовъ, прозаикъ, до сихъ поръ ничего порядочнаго не писавшій, ибо что писалъ онъ, то было очень плохо...» Какъ это вѣжливо... нѣтъ, позвольте—какъ это энергически!... Энергія въ выраженіи есть хорошее качество—спора нѣтъ; но все дѣло въ тонѣ...

Въ этой же седьмой книжкѣ «Сына Отечества», на стр. 612, сказано, что «чопорный стихъ г-дъ Лермонтова и Красова идетъ изъ головы, а не изъ сердца». Сличите этотъ приговоръ стихамъ Лермонтова съ приговоромъ его прозѣ,— и вы увидите до какой степени «С. О.» благоволитъ къ этому поэту. Разверните первую книжку «С. О.» за 1839: въ «библіографіи» на стр. 46, вы прочтете слѣдующія строки о первой книжкѣ «Отеч. Записокъ»: «Но мы болѣе благодарны имъ за стихи А. В. Кольцова, и особенно за «Думу» М. Ю. Лермонтова. Послѣдняя прекрасна. Давно

не слыхали мы такого звучнаго стиха, не слыхали отъ русскихъ поэтовъ такой свѣжей мысли!...» За этими словами слѣдуетъ выписка стиховъ, а за нею слова: «За такіе стихи мы простимъ даже стихамъ В. И. Туманскаго «Отрады недуга». Разверните вторую книжку «С. О.» прошлаго года, и на 87 стр. «Библіографіи» вы прочтете слѣдующія слова, при сужденіи о второй книжкѣ «Отеч. Записокъ»: «Опять является намъ г. Лермонтовъ съ прекрасною, полною мысли и огня піесою: Поэтъ. Уподобленіе поэта кинжалу, повѣшенному на стѣнѣ среди роскошной мебели богача--превосходно»... слѣдуетъ выписка стиховъ, а за нею слова: «Но «О. З.» и за стихи г. Лермонтова заставляютъ читателей прочитать стихи г. Баратынскаго и г. Бенедиктова» и пр.—слѣдуетъ брань на г-дъ Баратынскаго и Бенедиктова. Итакъ видите ли, «С. О.» восхищался же стихами Лермонтова? Но тогда онъ еще только стремился къ уясненію своихъ отношеній къ «Отеч. Запискамъ», которыя теперь, на бѣду ему, ясны ему... Лермонтовъ не измѣняется—стихи его все лучше и лучше, и они печатаются въ «Отеч. Запискахъ», а не «С. О», гдѣ никогда они не будутъ печататься, и потому—всѣ они никуда не годятся, по мнѣнію «Сына Отечества».

За что̀ гоненіе на г-дъ Павлова и Панаева? Они дурно пишутъ, по мнѣнію «С. О.»?—ничуть не бывало! Разверните 4-ю книжку «С. О.» прошлаго года,—и въ отдѣленіи «библіографіи», на 119 стр. прочтете слѣдующія слова: «Кромѣ нѣсколькихъ повѣстей Марлинскаго, кн. Одоевскаго, Булгарина, Павлова, Загоскина, Гоголя, Вельтмана, г-жи Жуковой, Ясновидящей, на что̀ прикажете указать?» Видите ли: «С. О.» еще такъ недавно, именно только въ прошломъ году, ставилъ г. Павлова на одну доску не только съ Гоголемъ и кн. Одоевскимъ, но и съ Марлинскимъ и г. Булгаринымъ—писателями, выше которыхъ не было и нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ въ очкахъ «Сына Отече-

ства»! А теперь г. Павловъ ужъ не знаетъ и грамотѣ, по словамъ весьма грамотнаго «С. О». Чему же вѣрить?.. Разверните 3-ю книжку «С. О.» прошлаго года», найдите тамъ, подъ заглавіемъ «критики» нисколько не критическую статью «Отвѣтъ Н. В. Кукольнику» и на стр. 58—59, прочтите слѣдующія слова: «Подолинскій, Вельтманъ, Врончепко, гр. Р-на, Бенедиктовъ, Якубовичъ, Лермонтовъ, Ершовъ, Даль, Панаевъ (И. И.), Соколовскій, Губеръ, кн. Одоевскій, Шевыревъ, Бороздна, Маркевичъ, Ободовскій, баронъ Розенъ, Каменскій, Владиславлевъ, Лажечниковъ, Теплова, вы сами, любезный Н. В., даже прасолъ Кольцовъ—всѣ вы, принаддежащіе къ эпохѣ послѣпушкинской, всѣ, болѣе или менѣе, но отличенные дарованіемъ безспорнымъ, не были-ль вы всѣ отличены критикою новѣйшею?» Итакъ, не прошло тому еще года, какъ г. Панаевъ былъ писателемъ, отличеннымъ несомнѣннымъ дарованіемъ, и стоялъ на ряду съ Гоголемъ, съ кн. Одоевскимъ, Лермонтовымъ, Лажечниковымъ, Вельтманомъ, Подолинскимъ, гр. Р—ною и пр.; а теперь?... Но давно ли началось это «теперь»? Съ 4-й книжки «С. О.» нынѣшняго года, очень недавно!... Въ отдѣлѣ «новыхъ русскихъ книгъ», на 889 стр., при разборѣ «Одесскаго Альманаха», гг. Павловъ и Каменскій называются—какъ бы вы думали?—«кикиморами!...» Затѣмъ слѣдуютъ какія-то, должно быть, очень остроумныя, но рѣшительно ни на чемъ не основанныя предположенія о литературной дѣятельности слѣдующихъ писателей: «Неужели отнынѣ и И. И. Панаевъ не перестанетъ писать свои повѣсти, и Н. Ф. Павловъ не станетъ нанизывать повѣствовательнаго бисеру на нитку отчаянія, и И. И. Лажечниковъ перестанетъ чертить каррикатуры великихъ мужей русской земли въ своихъ романахъ, и г. Бернеръ перестанетъ писать стихи, и..... Итакъ «С. О.» желаетъ, чтобы г. Панаевъ пересталъ писать свои повѣсти; но о «Портретахъ» его не говоритъ

ни слова. Кстати о «Портретахъ»: увѣдомляемъ нашихъ читателей, что у г. Панаева написано еще нѣсколько новыхъ портретовъ, которые, вмѣстѣ съ напечатанными уже въ «Литературной Газетѣ» и обратившими на себя самое лестное вниманіе публики, составятъ особую, довольно большую книжку. Талантливый авторъ намѣренъ издать ее въ скоромъ времени, украсивъ приличными гравюрами, которыя уже составляются извѣстными художниками, и изъ которыхъ нѣкоторыя будутъ иллюминованы. Странная также мысль—совѣтовать г. Гребенкѣ перестать писать, и когда же?—Тогда какъ онъ только что написалъ такой прекрасный и занимательный разсказъ «Вѣрное Лѣкарство» и еще не успѣлъ кончить своихъ интересныхъ и остроумныхъ «Записокъ Зайца», въ которыхъ такъ увлекательно изображаетъ продѣлки животныхъ и насѣкомыхъ лѣсныхъ, земляныхъ и полевыхъ. Съ чего взялъ «С. О.», что Основьяненко ничего не пишетъ по-русски?—А «Панъ Халявскій», а «Головатый», напечатанные въ «Отеч. Запискахъ»? А многія другія піесы, помѣщенные въ «Современникѣ» и другихъ альманахахъ? Ужь не потому ли Основьяненко пересталъ писать по-русски, что не хочетъ ни одной строки своей помѣстить въ «С. О.»...

Далѣе, «С. О.» упрекаетъ «Отеч. Записки» въ томъ, что будто бы онѣ выключили изъ числа пишущихъ Крылова, Жуковскаго, кн. Вяземскаго, Баратынскаго... Это чистая выдумка! Читателямъ извѣстно мнѣніе «Отеч. Записокъ» о великомъ баснописцѣ, извѣстно также, что онъ давно уже ничего не пишетъ. Чтó же касается до Жуковскаго, Вяземскаго и Баратынскаго,—нападки за ихъ исключеніе изъ дѣйствующихъ писателей—не больше, какъ пустыя придирки отстающаго книжками журнала, ибо въ статьѣ «Отеч. Записокъ» говорилось о новыхъ, въ недавнее время появившихся писателяхъ; а что «Отеч. Записки» умѣютъ цѣнить Жуковскаго, это «С. О.» можетъ видѣть

изъ рецензіи на «Очерки Русской Литературы», напечатанной въ 1 № «Отеч. Записокъ» нынѣшняго года. Равнымъ образомъ въ 4 № «Отеч. Записокъ», въ отдѣлѣ «Библіографической Хроники», на 71 стр., «С. О.» можетъ увидѣть, какъ цѣнятъ «Отеч. Зап.» кн. Вяземскаго и Баратынскаго, ибо этотъ № вышелъ уже давно, хотя и черезъ мѣсяцъ послѣ 3-го, который вышелъ еще марта 15, и на статью котораго нападаетъ апрѣльская книжка «С. О», вышедшая въ половинѣ мая. Сверхъ того, откуда вдругъ такое расположеніе у «С. О.» къ Баратынскому, на котораго онъ доселѣ нападалъ съ такимъ ожесточеніемъ? Не желаніе ли это поставить Баратынскаго въ такія отношенія къ «Отеч. Запискамъ», какія были бы пріятны и угодны «Сыну Отечества»? Ба! да между именами, будто бы обиженными несправедливостью и пристрастіемъ «Отеч. Записокъ», стоитъ и имя г. Бенедиктова?... Совѣтуемъ читателямъ заглянуть во 2-ю книжку «С. О.» прошлаго года, именно въ то мѣсто, гдѣ такъ превозносится стихотвореніе Лермонтова «Поэтъ»: они увидятъ мѣру уваженія «С. О» къ Баратынскому и г. Бенедиктову («Библіографія», стр. 87—88). Повѣрите ли: между именами, будто бы оскорбленными пристрастіемъ «Отеч. Записокъ», стоитъ имя—Лажечникова!!!... Могли ли мы упомянуть имя г. Лажечникова, который, кромѣ большихъ романовъ, ничего не пишетъ? могли ли мы упомянуть его имя между именами нувеллистовъ и авторовъ мелкихъ піесъ, изъ которыхъ составляются альманахи?... И «С. О.» заступается за г. Лажечникова, который, по его словамъ, въ своихъ романахъ чертитъ каррикатуры великихъ людей русской земли!... Благодарите же, авторъ «Новика», «Ледянаго Дома» и «Басурмана», который такъ расхваленъ «Сыномъ Отечества» и такъ разбраненъ «Отеч. записками»! кланяйтесь ниже доброму, вѣжливому «Сыну Отечества»!.. Не «Сынъ ли Отечества» ставилъ «Басурмана» ниже даже

и «Тоски по Родинѣ».... О, верхъ журнальной добросовѣстности!..

Особенно сѣтуетъ на «Отеч. Зап.» «Сынъ Отечества» за исключеніе ими прозаиковъ: Ясновидящей, Лажечникова, Загоскина, Масальскаго, Калашникова, Озерецковскаго, Грота, Фролова, В. П. Орлова, П. П. Сумарокова, г-дъ Княжевичей, Александрова, Каменскаго, Маркова, Корсакова, Корфа, «у которыхъ,—говоритъ онъ,—право, станетъ дарованія противъ какихъ-нибудь г-дъ Панаева, Гребенки и Лермонтова». Отвѣчаемъ: что̀ дѣлать? у всякаго свой вкусъ, и мы съ бо̀льшимъ удовольствіемъ читали разсказы г. Гребенки, чѣмъ повѣсти, которыя печатаются въ «С. О.», и которыя онъ, слѣдственно, почитаетъ выше лѣса стоячаго. О Лажечниковѣ мы уже объяснились. Г. Загоскина мы очень уважаемъ какъ автора прекраснаго романа «Юрій Милославскій» и даже романа «Рославлевъ», который мѣстами очень хорошъ; но «Рославлевъ» вышелъ еще въ 1831 году, почти десять лѣтъ назадъ тому, а съ тѣхъ поръ г. Загоскинъ не обогатилъ русской литературы никакимъ примѣчательнымъ произведеніемъ, которое пережило бы за время своего появленія. Г. Масальскій написалъ лѣтъ десять назадъ посредственный романъ «Стрѣльцы», который тогда же и былъ забытъ, а послѣ того, мы не помнимъ, что̀ онъ еще писалъ. Г. Калашниковъ написалъ, лѣтъ двѣнадцать или больше, какой-то сибирскій романъ, за который пріятели провозгласили его русскимъ Куперомъ; но теперь только записные библіографы помнятъ имя г. Калашникова. Г. Озерцовскаго мы почти совсѣмъ не знаемъ: это имя принадлежитъ къ числу тѣхъ литературныхъ «инкогнито», о которыхъ никто не обязанъ знать, кромѣ «С. О.», и то, когда ему заблагоразсудится напасть на «Отеч. Записки». Г. Гротъ не пишетъ повѣстей; родъ его дѣятельности скорѣе ученый, чѣмъ литературный. О г. Фроловѣ мы ничего не слыхали. Г. Орловъ переводилъ ко-

гда-то Горація. Это было такъ давно, что теперь никто объ этомъ не помнитъ, кромѣ развѣ стариковъ. Г. Сумароковъ напечаталъ въ «Телеграфѣ» нѣсколько миленькихъ повѣстей, потомъ издалъ довольно посредственный романъ, а съ тѣхъ поръ замолчалъ совершенно. Г-да Княжевичи давно уже ничего не пишутъ, и имена ихъ нигдѣ не встрѣчаются. Въ неупоминовеніи г. Александрова, автора прекрасной повѣсти «Павильйонъ», обруганной «Сыномъ Отечества», мы дѣйствительно, хотя и неумышленно, виноваты. О гг. Каменскомъ и Марковѣ ничего не говоримъ, потому что не о всѣхъ же говорить, а надо пощадить и терпѣніе читателей. Мы на-слово вѣримъ «Сыну Отечества», что всѣ, и—гг. Масальскій, и Калашниковъ, и Озерецковскій, и Фроловъ, и Дичъ, и Ободовскій, и Олинъ, и баронъ Розенъ, и Падерный, и Борозднa, и Траумъ, и г-жа Шахова и пр., гораздо выше Лермонтова, не только гг. Красова, Панаева и *—в—*. «Не смѣемъ упомянуть о г-хъ Гречѣ и Булгаринѣ»—говоритъ «С. О.»,—зная, «что О. З. ставятъ дарованія ихъ ниже дарованій П. А. (А. А.?) Орлова; но позвольте упомянуть еще хоть о г-нѣ Сенковскомъ». Благодаримъ за скромность, оправдываемъ ея причину и—позволяемъ: говорите о комъ угодно и что угодно, если это васъ забавляетъ. А намъ ужь становится скучно, и мы спѣшимъ кончить.

«С. О.» утверждаетъ, что князь Вяземскій и Ѳ. Н. Глинка ничего не давали въ «Отеч. Записки»: неужели и противъ этого возражать послѣ того, какъ статьи этихъ литераторовъ печатаются именно въ «Отеч. Запискахъ»? Забавнѣе всего то, что, въ прошломъ году, «С. О.» разбранилъ одну статью г. Струйскаго въ «Отеч. Запискахъ», а въ нынѣшнемъ году преотважно увѣряетъ, что г. Струйскій не давалъ ни одной статьи въ «О. З.», хотя его имя и стоитъ въ ихъ программѣ. О, русская литература! о рус-

ская журналистика! Вотъ ихъ вопросы, вотъ чѣмъ онѣ занимаются!...

Мы забыли упомянуть, что эта грозная выходка «С. О.» противъ «Отеч. Записокъ» начинается насмѣшками надъ несправедливымъ будто-бы упрекомъ «Отеч. Записокъ» нашимъ писателямъ въ томъ, что ихъ мало, и что они мало пишутъ. Да, ихъ мало, и мало пишутъ—это аксіома. И именно, особенно мало пишутъ люди съ дарованіемъ, каковы кн. Одоевскій, Гоголь, Лажечниковъ, Лермонтовъ, гр. Соллогубъ, Кольцовъ и немногіе прочіе. Что̀ ихъ дѣятельность противъ всякаго, даже второстепеннаго, французскаго или нѣмецкаго писателя? Въ этомъ они первые сами согласятся съ нами. Конечно, г. Кукольникъ написалъ много драмъ, но онѣ не читаются, потому что, отличаясь многими поэтическими частностями, въ цѣломъ утомляютъ своею длиннотою. Конечно, г. Н. Полевой написалъ нѣсколько повѣстей, въ которыхъ очень неудачно подражалъ Гоффману и Дюкре-Дюменилю; но кто теперь вспомнитъ объ этихъ эфемерныхъ явленіяхъ журнальной литературы? Конечно, Марлинскій написалъ двѣнадцать небольшихъ, но плотно сбитыхъ книжекъ; но его творенія перешли уже въ ряды тѣхъ читателей, которые поэтовъ называютъ «господами-сочинителями» и которыхъ вниманіе есть уже признакъ совершеннаго паденія автора.

«Что̀ сказать въ заключеніе?» задаетъ себѣ глубокомысленный вопросъ «С. Отечества», и отвѣчаетъ на него: «ничего!» Именно—ничего! «Мы—говоритъ онъ—положили не входить въ состязаніе съ «Отеч. Зап.», но почли обязанностію сказать наше мнѣніе, въ силу извѣстнаго правила: кто молчитъ, тотъ соглашается». Что «С. О.» положилъ за правило не входить въ состязаніе съ «Отеч. Зап.», это очень благоразумно съ его стороны, ибо, во первыхъ «Отеч. Зап.» оставили бы его безъ отвѣта, а во вторыхъ,

молчаніе для него безопаснѣе и выгоднѣе. Если же правило «кто молчитъ, тотъ соглашается» вѣрно, то «С. О.» во многомъ согласился на свой счетъ съ «Отеч. Записками»: благодаримъ его за признаніе! Но мы съ нимъ не хотимъ согласиться,—и такъ-какъ онъ предлагаетъ «Отеч. Запискамъ» вопросные пункты и проситъ на нихъ отвѣта, то мы и отвѣчаемъ на нихъ здѣсь въ «Лит. Газетѣ», ибо, несмотря на его «желаніе слышать, что̀ скажутъ «От. Зап.» на всѣ предложенные вопросы» (стр. 670) и лестную надежду на отвѣтъ, огороженную словами «авось услышимъ» (ibid),—«От. Записки» никогда не нагнутся до объясненія съ нимъ.

Вотъ вопросные пункты «Сына Отечества» съ нашими отвѣтами на каждый изъ нихъ:

1. Послѣ сколькихъ сказочекъ и литературныхъ статеекъ, и стихотвореній, литераторъ поступаетъ у нихъ въ число *лучшихъ* и *извѣстныхъ*.

«Отеч. Записки» смотрятъ не на количество и мѣру, а на качество, и достоинство мѣряютъ не аршиномъ и саженью, а эстетическимъ чувствомъ и мыслію. И потому для нихъ иногда достаточно одного произведенія, чтобы увидѣть въ авторѣ талантъ и признать въ немъ лучшаго и извѣстнаго.

2. Гдѣ можемъ мы отыскать и увидѣть труды, по которымъ поступили въ число великихъ поэтовъ г. *Красовъ*, а особливо таинственный г. *—в—*, а также г-да *Катковъ*, *Аксаковъ* и *Росковшенко?* Гдѣ сочиненія на русскомъ языкѣ г-на *Основьяненки*, и гдѣ литературные труды, за которые причисленъ въ отличные прозаики г-нъ *Панаевъ*.

«Отеч. Записки» никогда и не думали называть г. Красова великимъ поэтомъ; но они видятъ въ немъ поэта съ истиннымъ и примѣчательнымъ дарованіемъ, и произведенія его «Сынъ Отечества» можетъ найти въ Московскомъ Наблюдателѣ», «Библіотекѣ для Чтенія», «Отеч. Запискахъ», «Кіевлянинѣ»; но если онъ будетъ ихъ искать у

себя, то, разумѣется, не найдетъ. Стихотворенія таинственнаго —ѳ—, равно какъ и переводы гг. Каткова и Аксакова, «С. О.» можетъ найдти въ «М. Наблюдателѣ» и «Отеч. Запискахъ». Г. Каткова онъ можетъ найдти даже въ первой книжкѣ за прошлый годъ самого себя, гдѣ помѣщенъ цѣлый актъ переведенной имъ драмы Шекспира «Ромео и Юлія». Переводъ той же драмы, г. Росковшенко, онъ можетъ найдти въ одномъ изъ №№ «Б. для Ч.» 1838 года; а въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» 1838 года, № 28-мъ, отрывки изъ его перевода «Ричарда III» Шекспира. Сочиненія Основьяненко на русскомъ языкѣ, «С. О.» можетъ видѣть въ Отеч. Запискахъ», въ «Современникѣ», въ «Утренней Зарѣ» г. Владиславлева, и, можетъ-быть, въ другихъ изданіяхъ, только не въ себѣ самомъ, гдѣ ихъ нечего искать. Они писаны русскимъ и притомъ хорошимъ русскимъ языкомъ.—Литературные труды г. Панаева разсѣяны по разнымъ изданіямъ—ихъ нѣтъ только въ «С. Отечества». Въ 5 № «Отеч. Записокъ» помѣщена новая и прекрасная повѣсть г. Панаева—«Бѣлая Горячка» которая особенно должна понравиться «Сыну Отечества» мастерскимъ изображеніемъ одного изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ—Рябинина.

3. Почему въ число дѣйствующихъ литераторовъ включаются г-да *Вронченко* и *Гоголь*, когда они давно уже ничего не печатаютъ, и почему въ недѣйствующіе поступаютъ Жуковскій, Баратынскій, кн. Вяземскій, Языковъ, Подолинскій, Хомяковъ, Губеръ, графиня Р—на, Загоскинъ, и другіе (кажется, люди не безъ дарованія), безпрестанно являющіеся въ журналахъ и альманахахъ нашихъ, не говоря уже объ отдѣльныхъ сочиненіяхъ многихъ изъ нихъ?

Г. Вронченко недавно издалъ свой превосходный переводъ «Макбета» (по крайней мѣрѣ не такъ давно, какъ гг. Калашниковъ, Орловъ, Сумароковъ и пр. свои послѣдніе труды). Гоголь не печатаетъ, но не не пишетъ. Что Жуковскій, кн. Вяземскій и Баратынскій не исключены нами изъ дѣйствующихъ — доказательство на 71 стр. «Библіо-

графической Хроники» 4 № «Отечественныхъ Записокъ» въ резенціи на 3-ю книжку «Репертуара». Совѣтуемъ «Сыну Отечества» прочесть эту рецензію: она должна быть для него особенно интересна по многимъ причинамъ. Что̀ же касается до выключенія изъ дѣйствующихъ прочихъ поименованныхъ въ 3-мъ вопросномъ пунктѣ «С. О.», о нихъ ничего не сказано, во первыхъ, потому что нѣкоторые изъ нихъ, какъ, напр., гг. Языковъ и Хомяковъ, давно уже почти ничего не пишутъ, а о другихъ нечего новаго сказать, какъ о писателяхъ вполнѣ опредѣлившихся.

АЛЕКСАНДРИНСКІЙ ТЕАТРЪ.

1.

РЕМОНТЕРЫ, ИЛИ СЦЕНЫ НА ЯРМАРКѢ, *оригинальная комедія-водевиль въ двухъ дѣйствіяхъ соч. В. И. Мирошевскаго.* — ЖЕНА КАВАЛЕРИСТА или ЧЕТВЕРО ПРОТИВЪ ОДНОГО, *комедія-водевиль въ одномъ дѣйствіи, соч. актера П. Григорьева 1.* — МАЛЬВИНА или УРОКЪ БОГАТЫМЪ НЕВѢСТАМЪ, *комедія въ двухъ дѣйствіяхъ, перев. съ французскаго Д. Ленскаго. (Спектакль 28 декабря).*

(Изъ письма Москвича).

Спектакль начался «Мальвиною» — прекрасною піесою, полною ума и чувства, и дающею полный просторъ развернуться всякому истинному дарованію. Жаль только, что она переведена не прозою, а стихами, которые, конечно, не изъ самыхъ плохихъ, но и далеко не грибоѣдовскіе — единственные, которыми можно писать и переводить драмы и комедіи. Отъ изложенія содержанія уволю васъ — піеса

не новая. Г. Сосницкій, съ свойственнымъ ему искусствомъ, выполнилъ комически-патетическую роль Дюбреля; но я не былъ ни тронутъ, ни потрясенъ его игрою, хотя и видѣлъ въ ней много искусства. Г-жа Асенкова съ такою же отчетливостью, хотя и далеко не съ такимъ же искусствомъ, выполнила роль Мальвины, требующую глубокаго чувства и сильнаго вдохновенія. Прекрасно выполнена была роль Шарлотты г-жею Самойловою 2-ю, которую я увидѣлъ въ первый разъ;—у этой артистки есть рѣшительное дарованіе, о степени котораго, впрочемъ, по одной роли Шарлотты, нельзя произнести рѣшительнаго мнѣнія. Мнѣ кажется, что талантъ г-жи Самойловой 2-й могъ бы вполнѣ выказаться въ роли Мальвины Г. Григорьевъ 1-й былъ не совсѣмъ въ своей роли: играя человѣка съ душою и чувствомъ, подвигами заслужившаго генеральство и графство,—онъ походилъ на ремонтера въ «Послѣднемъ Днѣ Помпеи», и особенно былъ несносенъ въ изъявленіяхъ своихъ чувствъ, за недостаткомъ которыхъ прибѣгалъ къ сантиментальному декламаторству. Вообще, впечатлѣніе отъ этой прекрасной піесы какъ-то походило на утомленіе и скуку.

Въ «Женѣ Кавалериста» превосходны Сосницкій и Мартыновъ. Каждый изъ нихъ создаетъ свою роль такъ, что у васъ навсегда остаются въ памяти два характеристическія и живыя лица. Первый играетъ въ ней полковника Карскаго, а второй слугу Наумыча, котораго въ Москвѣ играетъ г. Живокини, по обыкновенію, больше стараясь быть смѣшнымъ, нежели заботясь о созданіи роли. Очень недурно играетъ г. Григорьевъ 1-й роль Порохова.

Вотъ все, что̀ бы должно было сказать объ этой піесѣ, еслибы, на этотъ разъ, съ нею не случилось одного «очень тонкаго свойства дѣла». Въ роли Александры Васильевны Бетской дебютировала г-жа Малиновская. Выходитъ на сцену... ни граціи, ни развязности, ни игры, ни голоса...

хлопаютъ хохочутъ, шикаютъ, кричатъ форо... къ большему несчастію дебютантки, надо было случиться тому, чтобы роль Бетскаго игралъ г. Леонидовъ, который въ водевилѣ то же самое, что г.Толченовъ въ трагедіи... Когда, въ одномъ явленіи, они уходятъ со сцены, а Пороховъ, глядя имъ въ слѣдъ, говоритъ: «Славная молодежь!»—въ публикѣ раздался хохотъ и единодушные крики: форо!—и г. Григорьевъ 1-й повторилъ, къ удовольствію публики: «Славная молодежь!»

«Ремонтёры» — дебютъ г. Мирошевскаго на драматическомъ поприщѣ, еще болѣе неудачный, чѣмъ дебютъ г-жи Малиновской на сценическомъ. Не стану утомлять васъ изложеніемъ содержанія піесы, котораго въ ней нѣтъ; скажу только, что ея достоинства: неправдоподобность, растянутость, незнаніе сцены, отсутствіе игривости, остроумія, множество лицъ и ни одного характера... Виноватъ: одинъ характеръ есть, и еще художественно созданный— это огромный слонъ, котораго, на ярмаркѣ, выводятъ изъ балагана на сцену, и который проходитъ по фантазіямъ какого-то барона, которыя продаетъ букинистъ....

Нѣкоторые догадываются, что тутъ предполагалась авторомъ какая-то остроумная выходка; но въ чемъ ея острота, объ этомъ рѣшительно никто не догадался — и піеса была осмѣяна и ошикана. Наконецъ, начали показывать на сценѣ слоновъ: новая блестящая эра настаетъ для драматическаго искусства!.... И это понятно: когда иному драматическому таланту не удаются люди, такъ поневолѣ придется приняться за животныхъ...

2.

ІОАННЪ ГЕРЦОГЪ ФИНЛЯНДСКІЙ. *Драма въ пяти дѣйствіяхъ, соч. г-жи Вейсентуръ, переведенная съ нѣмецкаго стихами, П. Г. Ободовскимъ.* — Титулярные Совѣтники въ домашнемъ быту. *Водевиль въ одномъ дѣйствіи, соч. Ѳ. А. Кони. (Спектакль 14 января).*

Мнѣ не случалось видѣть драмы смѣшнѣе и нелѣпѣе «Іоанна, герцога финляндскаго». Это одна изъ самыхъ несносныхъ нѣмецкихъ штукъ. Приторная сантиментальность, пошлое резонерство, мелодраматическіе эффекты во вкусѣ мѣщанской драмы, водяное фразерство: вотъ матеріалы, изъ которыхъ состряпанъ женскою рукою этотъ грамматическій Wassersuppe. Характеровъ, разумѣется, тутъ нѣтъ, а есть, какъ водится, добродѣтельные и злодѣи. Самое добродѣтельное лицо въ этомъ вассерсупѣ—Іоаннъ, человѣкъ безъ характера, безъ энергіи, слабое, женоподобное лицо; самое злодѣйственное лицо—графъ Іеранъ, настоящая кукла съ ярлычкомъ на лбу: «сей человѣкъ злодѣй». Самое комическое и смѣшное лицо — Эрикъ XIV, король шведскій, который позволяетъ собой управлять Іерану, злодѣйски мучить глупаго, но добраго Іоанна, а при концѣ піесы раскаевается, награждаетъ «добродѣтель» и наказываетъ «порокъ», отчего раёкъ приходитъ въ неописанное восхищеніе.

Главныя роли въ піесѣ занимали гг. Брянскій, Каратыгинъ и Толченовъ, и г-жи Валберхова и Брянская. О заслуженныхъ артистахъ новаго сказать нечего, кромѣ того что они, по своему обыкновенію, были хороши, и потому публика горячо апплодировала г. Брянскому и г-жѣ Валберховой, а г-жу Брянскую два раза вызвала, по оконча-

ніи, кажется, третьяго и четвертаго акта. Объ игрѣ г. Каратыгина можно сказать и нѣчто новое, потому что этотъ артистъ все идетъ впередъ и еще не успѣлъ опредѣлиться. Онъ выполнялъ лучшую роль въ піесѣ—графа Рихарса. Въ первомъ актѣ у него промелькивали изрѣдка утрированные жесты и восклицанія, но чѣмъ дальше развивалась піеса, тѣмъ проще и, слѣдовательно, благороднѣе и истиннѣе становилась его игра. Вообще, кто видѣлъ Каратыгина лѣтъ семь назадъ, въ 1832 году, и видитъ его теперь, — тотъ въ одномъ артистѣ знаетъ какъ будто двухъ артистовъ,—это значитъ любить искусство и идти впередъ. Роль Рихарса одна изъ лучшихъ ролей Каратыгина, и невозможно довольно налюбоваться простотою, благородствомъ и искусствомъ ея выполненія, равно какъ ловкостью и поэтическою красотою ея выполнителя. Г. Толченовъ, занимающій въ трагедіи вторыя амплуа, игралъ, разумѣется, злодѣя; въ немъ былъ истинный злодѣй, — что̀ именно и требуется отъ искуснаго выполненія такой роли. Говоря безъ шутокъ, г. Толченовъ вообще представляетъ славныхъ, но, къ сожалѣнію, и черезчуръ добрыхъ злодѣевъ, такъ что публика нисколько не ужасается отъ ихъ злодѣйствъ, но еще и смѣется надъ ними. Причина очевидная: природная доброта г. Толченова слишкомъ рѣзко пробивается сквозь непостижимо-высокое искусство его игры. Г. Самойловъ 2-й игралъ Іоанна, и эта роль была его третьимъ дебютомъ. Что̀ сказать объ его игрѣ? — Онъ игралъ умно, прилично, съ толкомъ и нѣкоторымъ достоинствомъ, но вяло, холодно и мертво. Чувства, одушевленія не было слышно ни въ одномъ словѣ, ни въ одномъ звукѣ. А между тѣмъ, ему хлопали, его вызывали, и, кажется, не разъ, такъ что трудно рѣшить, кѣмъ публика осталась довольнѣе: г. Самойловымъ 2-мъ или Каратыгинымъ... Признаюсь, мнѣ очень не нравится эта неумѣренность въ изъявленіи своего удовольствія и

благодарности за всякій успѣхъ, за все, что хоть наволось выше г. Толченова или г. Леонидова. Во-первыхъ, это показываетъ болѣе желанія покричать, нежели любви къ искусству; во вторыхъ, это мѣшаетъ другимъ слѣдить за игрою піесы и разрушаетъ цѣлость сценическаго очарованія; въ третьихъ, это иногда можетъ казаться несправедливостію къ истиннымъ и заслуженнымъ талантамъ. Въ самомъ дѣлѣ: является молодой артистъ, является на сцену въ третій разъ, ничего положительнаго еще не обнаруживаетъ,—и уже трудно узнать, кого публика цѣнитъ выше: его или Каратыгина. Это вредно и для самого молодаго артиста: зачѣмъ ему учиться, стараться, всѣмъ жертвовать искусству, когда онъ и безъ того дѣлитъ съ Каратыгинымъ лавры сценической славы?...

Въ «Титулярныхъ Совѣтникахъ» всего-на-все семь лицъ, изъ которыхъ одно — Петра Герасимовича Курочкина, г. Мартыновъ выполнилъ какъ истинный художникъ, съ непостижимымъ талантомъ и непостижимымъ искусствомъ, которые рельефно выступали во всемъ — отъ самаго костюма до малѣйшаго слова и жеста; другое—Андрея Карповича Кречетова, г. Григорьевъ 1-й выполнилъ прекрасно, чѣмъ и показалъ, что онъ не только умный и полезный актеръ, но въ нѣкоторыхъ роляхъ бываетъ и талантливымъ артистомъ; три женскія роли были сносно выполнены г-жами Шелеховою 1-ю, Шелиховою 2-ю и Каширииною; шестая роль — Семена Петровича, каммердинера Курочкина, прекрасно была выполнена г. Фалѣевымъ, а седьмая—Сергѣя Абрамовича Ежикова, очень плохо была сыграна г. Леонидовымъ. Г. Леонидовъ всегда вѣренъ самому себѣ: это очень похвально съ его стороны! Вообще водевиль доставилъ всѣмъ больше удовольствія, чѣмъ драма: послѣдней восхищались, но въ антрактахъ и по окончаніи тяжко и протяжно зѣвали, а при первомъ смѣялись, не зѣвая.

3.

ПАРАША-СИБИРЯЧКА. *Русская быль въ двухъ дѣйствіяхъ, соч. Н. А. Полеваго. Новая увертюра и мелодрама, соч. г. Болле; новыя декораціи гг. Федорова и Сабата.*

«Параша-Сибирячка» возбудила живѣйшій восторгъ въ публикѣ и имѣла блестящій успѣхъ. Въ самомъ дѣлѣ, давно уже на русской сценѣ, апатически-умирающей отъ переводимыхъ и передѣлываемыхъ французскихъ водевилей, давно уже не появлялось піесы съ такимъ счастливымъ сюжетомъ, и такъ эффектно составленной. Содержаніе піесы г. Полеваго очень просто, а потому и очень хорошо; но какъ оно основано на извѣстномъ анекдотѣ, и какъ сама піеса скоро будетъ напечатана въ «Репертуарѣ Русскаго Театра», то мы не будемъ излагать ея основную мысль— торжество дочерней любви, мысль, которая не можетъ не найдти отзыва во всякой человѣческой душѣ. Какъ уже сказали мы, піеса сложена очень ловко, и какъ, прибавимъ, многія положенія въ ней, по сущности самаго содержанія, въ высшей степени поразительны, трогательны и чувствительны, то многихъ сценъ въ піесѣ и невозможно видѣть, не испытывая сильнаго раздраженія души и чувства, которое очень можно счесть за сильное впечатлѣніе отъ поэтическаго созданія. Хорошая постановка и искусное выполненіе со стороны артистовъ еще болѣе содѣйствуютъ успѣху піесы на сценѣ.

Главную роль въ піесѣ—роль неизвѣстнаго, сосланнаго въ Сибирь за убійство, совершенное въ картежничествѣ, игралъ г. Каратыгинъ 1-й. Его игра была, по обыкновенію, торжествомъ сценическаго искусства со стороны художественнаго созданія характера, въ піесѣ довольно неопредѣленнаго. Въ самомъ дѣлѣ, увидѣвъ разъ Караты-

гина въ этой роли, нельзя забыть этого высокаго человѣка, съ густыми усами, съ мрачнымъ видомъ, съ порывистыми движеніями, обличающими огненныя страсти и желѣзную душу. Но въ собственно патетическихъ мѣстахъ своей роли, Каратыгинъ былъ неровенъ. У насъ до сихъ поръ не можетъ изгладиться изъ души непріятное впечатлѣніе отъ усиленнаго, или, лучше сказать, усильнаго восклицанія: «сердце мое!» и усильнаго жеста, состоявшаго въ ударѣ рукою по груди; такое же непріятное впечатлѣніе произвело на насъ и то мѣсто въ первомъ дѣйствіи, гдѣ Каратыгинъ, послѣ признанія прохожему, съ громкими фразами и усильными движеніями убѣгаетъ со сцены. Но многія такія мѣста были выполнены имъ и прекрасно. Таково, напримѣръ, мѣсто, гдѣ онъ говоритъ, что еслибы юноша, увлекающійся картежною игрою, могъ заглянуть въ его душу, то остановился бы на краю погибели. Прекрасенъ былъ Каратыгинъ въ сценѣ свиданія съ дочерью, и въ этомъ безуміи, съ какимъ онъ узналъ отъ нея о прощеніи. — Послѣ Каратыгина всѣхъ лучше была г-жа Асенкова; умной и отчетливой игрѣ ея намъ тѣмъ пріятнѣе отдать должную справедливость, что мы не часто пользуемся этимъ удовольствіемъ. Отличительный характеръ игры г-жи Асенковой состоялъ въ смѣлости, свободѣ, непринужденности, обдуманности, отчетливости и искусствѣ, — и еслибы, при всемъ этомъ, видно было больше нѣжности и теплоты, то мы не нашли бы довольно словъ для выраженія нашего восторга отъ игры ея. Авторъ «Параши» явно хотѣлъ представить въ героинѣ своей піесы дѣвушку простую, лишенную всякаго образованія; но глубокую по своей натурѣ, столько же энергическую, сколько и любящую. Онъ далъ слабый и блѣдный абрисъ: дѣло артистки было—дать жизнь этому образу тѣнями и красками. Но тѣмъ не менѣе игра г-жи Асенковой прелестна; видно, что эта артистка внимательно и старательно изу-

чала свою роль, а ея привычка къ сценѣ, смѣлость и свобода на ней, при поразительной эффектности положеній, довершили это тщательное изученіе и окончательно очаровали публику Александринскаго театра. Тѣмъ не менѣе было интересно увидѣть въ роли Параши и г-жу Самойлову 2-ю: соперничество развиваетъ талантъ съ обѣихъ сторонъ. Г. Каратыгинъ 2-й прекрасно выполнилъ роль подьячаго Писулькина: безъ всякихъ фарсовъ, онъ умѣлъ быть смѣшнымъ, потому что умѣлъ быть вѣрнымъ истинѣ и просто тѣ. Объ игрѣ г. Сосницкаго нельзя сдѣлать никакого заключенія; роль его явно лишняя въ піесѣ: прохожій замѣшанъ въ піесу не по своей нуждѣ, а для другихъ; онъ нуженъ для внѣшней связи піесы, онъ нуженъ, чтобы ссыльный разсказалъ публикѣ свою исторію, чтобы Парашѣ было съ кѣмъ идти въ Москву, и чтобы на сценѣ было кому читать самому себѣ для другихъ нравственныя сентенціи. Изъ прочихъ артистовъ были хороши г-жа Валберхова и г-жа Гусева; остальные — такъ и сякъ. Постановка піесы прекрасна, и въ этомъ отношеніи можно замѣтить одно: въ самой эффектной сценѣ народа на кремлевской площади звонъ колоколовъ московскихъ нисколько не походилъ на тотъ царственный гулъ, которымъ такъ торжественно оглашается первопрестольная Москва въ свои великіе дни.

4.

СИРОТКА-СУСАННА. *Комедія-водевиль, въ двухъ отдѣленіяхъ, переведенная съ французскаго; новая музыка воспитанника Императорскаго Театральнаго училища К. Лядова, и нѣкоторыя номера П. И. Григорьева 1-го; арія (съ эхомъ) соч. Л. Маурера.*— Ножка, *водевиль въ 1-мъ дѣйствіи, передѣланная съ*

французскаго П. А Каратыгинымъ.—Новички въ Любви, *оригинальная комедія-водевиль въ 1-мъ дѣйствіи, соч. Н. А. Коровкина. (Спектакль 2-го мая).* — Левъ Гурычъ Синичкинъ или Провинціальная Дебютантка. *Комедія-водевиль въ 5-ти дѣйствіяхъ, Д. Т. Ленскаго, новая увертюра и музыка многихъ номеровъ. И. Н. Полякова.*—Не влюбляйся безъ памяти не женись безъ разсчета. *Анекдотическая шутка-водевиль въ 1-мъ дѣйствіи, Ѳ. А. Кони (подражаніе французскому).*—Братъ по случаю и Другъ по Неволѣ. *Водевиль въ 1-мъ дѣйствіи, переводъ съ французскаго И. С. Ѳедорова. (Спектакль 8-го мая).*

Не думаемъ, чтобы мы слишкомъ запоздали нашимъ сужденіемъ объ этихъ двухъ, впрочемъ, примѣчательныхъ спектакляхъ; нашъ театръ идетъ не слишкомъ быстро и за нимъ не трудно угоняться. Новостей на немъ тоже очень немного, благодаря творческой дѣятельности нашихъ записныхъ драматурговъ: появится новая піеска—понравится публикѣ и шумитъ около полугода времени, до той самой минуты, какъ совсѣмъ забудется. Появится на сценѣ дебютантъ или дебютантка, и если знаетъ твердо свою роль, говоритъ хоть не много со смысломъ, ходитъ и дѣйствуетъ руками хоть немного съ толкомъ,—публика объявляетъ его или ее талантомъ, громко апплодируетъ, громко кричитъ «браво» и разъ пятнадцать вызоветъ. Послѣ этого проходитъ мѣсяцъ, два, три,—и такъ какъ въ «новомъ талантѣ» рѣдко бываетъ хоть сколько-нибудь таланта, и такъ какъ онъ нисколько не подвигается впередъ, а публика по прежнему хлопаетъ ему и вызываетъ его,—то «новый талантъ, дѣлается уже старымъ, заслуженнымъ талантомъ. Да, воля ваша — а ничего нѣтъ труднѣе, какъ писать у насъ о театрѣ. Все тѣ же таланты и тѣ же бездарности, все тотъ же ходъ игры, тѣ же прекрасныя частности и то

же отсутствіе цѣлаго (ensemble); все тѣ же драмы и тѣ же водевили, и наконецъ все то же громкое хлопанье и тѣ же частые и несносные вызовы: по неволѣ будешь и писать одно и то же. Поэтому мы рѣшились отдавать публикѣ отчетъ только въ такихъ спектакляхъ, которые, почему бы то ни было, хоть немного выходятъ изъ колеи обыкновеннаго. Къ такимъ мы причисляемъ спектакли 2-го и 8-го мая, и какъ то̀, что̀ мы хотимъ сказать о нихъ, такъ же хорошо относится ко 2-му и 8-му мая 1841, какъ и 1840 года, то и думаемъ, что нисколько не опоздали нашимъ сужденіемъ о нихъ.

Прежде всего мы должны сказать, что капитальныя піесы того и другаго спектакля заслуживаютъ вниманіе; обѣ принадлежатъ къ числу такихъ произведеній легкой драматической литературы, которыя, отъ нечего дѣлать и отъ нечего читать, иногда и прочитываются не безъ удовольствія, но на сценѣ, при хорошей игрѣ актеровъ, имѣютъ положительное достоинство, именно тѣмъ, что даютъ возможможность даровитымъ артистамъ развернуть передъ публикою свое дарованіе. Мы говоримъ о «Сироткѣ Сусаннѣ» г. Григорьева 1-го и «Львѣ Гурычѣ Синичкинѣ» г. Ленскаго. Содержаніе обѣихъ піесъ такъ извѣстно публикѣ, которая видѣла ихъ уже нѣсколько разъ, что мы не имѣемъ нужды излагать его. Кромѣ того, въ первой была еще другая новость, несравненно болѣе пріятная, нежели сама піеса: роль Сусанны играла г-жа Самойлова 2-я—и мы, увидя ее въ этой роли, почитаемъ себя въ правѣ, не боясь ошибиться, поздравить публику съ истиннымъ сценическимъ дарованіемъ. Это тѣмъ пріятнѣе, что театры наши, не совсѣмъ бѣдные талантливыми артистами, очень бѣдны талантливыми артистками. Въ игрѣ г-жи Самойловой 2-й много достоинства, граціи, искусства и,—что̀ всего важнѣе, и что̀ одно есть необманчивый признакъ истиннаго дарованія,—много жизни и натуры. Правда, видно, что она еще не совсѣмъ освоилась

со сценою, въ ея манерахъ, впрочемъ благородныхъ и граціозныхъ, нѣтъ еще полной развязности; но это такой недостатокъ, который очень легко исправится временемъ и изученіемъ. Отъ любви г-жи Самойловой къ искусству, отъ ея таланта, оправдывающаго эту любовь, можно надѣяться, что она не обольстится своими успѣхами, но упрочитъ ихъ строгимъ изученіемъ своего искусства. Въ роли Сусанны она безподобна; нельзя не удивляться той отчетливости, съ какою она выполняла роль нѣмой: публика понимала каждый ея жестъ, каждое движеніе! И какъ не понимать, когда они такъ выразительны, такъ шли къ роли и ея характеру, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, были такъ благородны, граціозны и очаровательны! Послѣ г-жи Самойловой 2-й можно поговорить о г. Самойловѣ, прекрасно выполнившемъ роль Сентъ-Альфонса, денди, льва и, слѣдовательно, ужаснѣйшаго глупца и пустѣйшаго человѣка. Въ самомъ дѣлѣ, что такое «левъ»?—Человѣкъ, который и своимъ костюмомъ, и прическою, и манерами, и рѣчами, и жизнью говоритъ вамъ: «посмотрите на меня—я левъ!» Отнюдь не смѣшиваемъ «льва» съ человѣкомъ большаго свѣта и лучшаго тона: мы знаемъ, что можно быть свѣтскимъ человѣкомъ, выполнять всѣ требованія приличія, самыя условныя даже, и все-таки быть умнымъ, достойнымъ и даже, если угодно, глубокимъ человѣкомъ; мы знаемъ что,

Быть можно *дѣльнымъ* человѣкомъ,
И думать о красѣ ногтей.
Зачѣмъ безплодно спорить съ вѣкомъ?
Обычай деспотъ межъ людей!

Но такой свѣтскій человѣкъ не есть левъ, потому что онъ свѣтскій человѣкъ, какъ-будто не зная этого, какъ-будто забывши о томъ, что онъ свѣтскій человѣкъ, а не актеръ, играющій роль свѣтскаго человѣка, не мѣщанинъ во дворянствѣ, который во всемъ думаетъ видѣть зеркало, отражающее его дендизмъ. Но «левъ»—да, просто «левъ» есть

пустой, мелкій человѣкъ, родившійся и воспитавшійся въ сферѣ большаго свѣта. Какъ и все на свѣтѣ, «львы» раздѣляются на множество разрядовъ: второй разрядъ составляютъ подражатели перваго, третій —обезьяны втораго и т. д. Г. Самойловъ превосходно сыгралъ «льва» втораго и третьяго разряда. Мы отъ души полюбовались его игрою, полною ума, искусства, натуры и таланта. Г. Мартыновъ, въ роли Энтрепида, слуги, былъ хорошъ, по обыкновенію. За то, г. Толченовъ (воспитанникъ), въ роли полковника Монтера былъ не таковъ... Боже мой, гдѣ занимаютъ они эту трагическую дикцію, всю эту мишуру, этотъ протяжный вой и насильственные жесты классической Мельпомены стараго времени!... Сыграй г. Толченовъ свою роль просто, прочти ее съ толкомъ—и было бы, по-крайней мѣрѣ, хоть сносно, а то... Ну, да что много говорить тутъ. Въ «Ножкѣ» позабавилъ публику г. Мартыновъ въ роли Роде, сапожника; очень хороша была г-жа Асенкова. «Новичковъ въ любви» мы уже не дождались. Г. Ленскій оказалъ театральной публикѣ истинную услугу своимъ забавнымъ «Львомъ Гурычемъ Синичкинымъ». Вся піеса сложена очень умно и замысловато, въ главномъ дѣйствующемъ лицѣ даже довольно ловко очерченъ характеръ. Послѣ этого, удивительно ли, что Мартыновъ, въ роли Синичкина, превосходенъ? — Въ ней онъ показалъ всю силу своего прекраснаго дарованія, и публика не можетъ налюбоваться его истинно-артистическою игрою, и театръ до сихъ поръ полонъ при представленіи «Льва Гурыча Синичкина». Правда, въ нѣсколькихъ мѣстахъ, гдѣ комическое соединяется съ патетическимъ, г. Мартыновъ былъ слабъ: такъ напримѣръ, у него пропалъ стихъ: «Никитична, довольна ли ты мной?», но цѣлое выполненіе роли съ избыткомъ вознаграждаетъ за два, за три мѣста, неудачно выполненныя,—и роль эта остается торжествомъ Мартынова. Ему такъ рѣдко удается играть что-нибудь достойное своего та-

ланта,—и потому въ роли Синичкина у него замѣтна какая-то особенная жизнь, какое-то особенное одушевленіе. Благодаря Мартынову, піеса г. Ленскаго никогда не перестанетъ привлекать въ театръ многочисленную публику, и простой спектакль походитъ на торжественный бенефисъ. Г. Максимовъ 1-й, игравшій графа Зефирова, семидесятилѣтняго волокиты, по справедливости можетъ дѣлить съ Мартыновымъ славу тріумфа: давно уже не случалось намъ видѣть на русской сценѣ такой умной, художественно-искусной игры! Право, самъ Верне не лучше бы сыгралъ эту роль! Г-жа Самойлова 2-я, въ роли Лизы, дочери Синичкина, была превосходна; подобно Мартынову и Максимову, она создала свою роль и выполнила ее артистически. Всѣ прочія лица по крайней мѣрѣ не портили цѣлаго; только г-жѣ Шелиховой 2-й не мѣшало бъ играть свою роль получше. Намъ кажется, что эту роль прекрасно могла бы выполнить г-жа Асенкова.

«Не влюбляйся безъ памяти, не женись безъ разсчета»—забавный фарсъ, въ которомъ очень недуренъ г. Максимовъ 1-й, и не совсѣмъ дурны всѣ остальные. Поэтому, вся піеса идетъ недурно, и намъ кажется, что она шла бы естественнѣе, если бы г-жа Асенкова играла Елену (Испанку), а г-жа Ширяева Джину (Мексиканку); а то какъ-то странно и неестественно предпочтеніе Вальтера.

Въ водевилѣ «Братъ по случаю и другъ по неволѣ» мы что-то ровно ничего не поняли, исключая развѣ того, что кромѣ Мартынова, по обыкновенію хорошо сыгравшаго свою роль, былъ еще недуренъ г. Куликовъ, въ роли Солье.

5.

ЧУДНЫЯ ПРИКЛЮЧЕНІЯ ИЛИ УДИВИТЕЛЬНОЕ МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВІЕ ПЬЕТРО ДАНДИНИ. *Волшебный водевиль въ трехъ дѣйствіяхъ, передѣланный съ французскаго Д. Т. Ленскимъ; музыка набрана изъ лучшихъ авторовъ г. Петренко.*—Хочу быть актрисой или двое за шестерыхъ. *Шутка-водевиль въ одномъ дѣйствіи, соч.* **П.** *С. Федорова.*—Дѣловой человѣкъ или дѣло въ шляпѣ. *Комедія въ одномъ дѣйствіи, съ куплетами, соч. Ѳ. А. Кони; музыка набрана и нѣкоторые нумера написаны вновь воспитанникомъ Лядовымъ; новая увертюра его же сочиненія. (Спектакль мая 16).*

«Чудныя приключенія или удивительное морское путешествіе Пьетро Дандини» г. Ленскаго—фарсъ, не принадлежащій ни къ литературѣ, ни къ сценическому искусству. Это скорѣе балетъ, гдѣ не танцуютъ, а говорятъ и поютъ, и если этотъ балетъ разыгрывается живо, быстро, непринужденно, онъ можетъ доставить публикѣ полчаса удовольствія, въ качествѣ забавной шутки. Г. Мартыновъ выполнилъ роль Пьетро Дандини именно такъ, какъ должно ее выполнить: живо, весело, простодушно и естественно въ высшей степени. Но больше нечего сказать о его игрѣ, потому-что, по сущности самой роли, ему нечего было творить или дѣлать что-нибудь необыкновенное въ артистическомъ отношеніи. Послѣ Мартынова заслуживаетъ нѣкоторое вниманіе г-жа Федорова, по той отчетливости, съ какою она старалась (и довольно успѣшно) выполнять свою роль. Вотъ все, что̀ можно сказать и о піесѣ и о ея выполненіи.

«Хочу быть актрисою! или двое за шестерыхъ» — очень недурной для сцены водевиль г. Федорова. Главное достоин-

ство его состоитъ въ томъ, что его содержаніе взято изъ русской жизни—условіе, при соблюденіи котораго мы согласны и на водевиль смотрѣть, какъ на что-то заслуживающее вниманіе, если въ немъ видно хоть сколько-нибудь таланта. Главный недостатокъ водевиля г. Федорова состоитъ въ слабомъ развитіи характеровъ, и вообще онъ своимъ успѣхомъ явно обязанъ былъ прекрасной игрѣ артистовъ. Впрочемъ, г. Федоровъ заслуживаетъ благодарность уже и за то, что далъ средство артистамъ показать во всемъ блескѣ свои таланты, чего не всякій водевиль даетъ. Артистовъ было двое: г. Самойловъ и г-жа Самойлова 2-я. Каждый изъ нихъ игралъ по три роли. Дѣло въ томъ, что жена провинціяльнаго актера предполагаетъ въ себѣ большое сценическое дарованіе, и хочетъ во что бы то ни стало, поступить на сцену, а мужъ сомнѣвается, чтобъ у нея былъ талантъ, и старается не допустить ее выполнить свое намѣреніе. Чтобы доказать ему, что у ней есть талантъ, она начинаетъ его интриговать, явившись къ нему кухаркою, будто-бы нанятой его женою. Сначала онъ обманулся ея искусною мистификаціею; но потомъ догадался и, не показывая этого, рѣшился и съ нею сдѣлать то же, и тотчасъ явился къ ней богатымъ Грекомъ, ихъ дядею. Потомъ она явилась къ нему уѣздною барынею и такъ искусно сыграла эту очень неудачно обрисованную авторомъ роль, что мужъ ея и не догадался, что это его жена. Наконецъ, онъ является къ ней режиссеромъ театра, и она читаетъ ему роль изъ піесы, какъ бы для испытанія своей способности къ сценическому искусству. Явившись къ ней Грекомъ, онъ совершенно обманулъ ее, но въ режиссерѣ она наконецъ узнала своего мужа и, чтобы взбѣсить его, стала съ излишнею аккуратностію выполнять требованія роли касательно поцѣлуевъ. Дѣло объяснилось—онъ призналъ въ ней талантъ, и когда она похвалилась, что совершенно обманула его въ роли уѣздной ба-

рыни и не допустила обмануть себя въ роли режиссера—онъ сказалъ ей, что она не успѣла обмануть его въ роли кухарки и допустила его обмануть себя въ роли дяди-Грека, а въ заключеніе объявляетъ ей, что дядя ихъ умеръ, отказавши имъ все свое имѣніе, и что они оба ѣдутъ въ Петербургъ и поступаютъ на сцену тамошняго театра. Г-жа Самойлова съ каждымъ разомъ все болѣе и болѣе обнаруживаетъ, что она обладаетъ истиннымъ, прекраснымъ талантомъ, отъ котораго петербургская сцена и публика должны многаго ожидать. Мы не скажемъ, чтобъ ея игра была послѣднею степенью совершенства; въ ней видна еще ученица, но ученица съ большимъ талантомъ, и въ игрѣ которой столько же жизни, натуры, граціи, сколько и умѣнья возвести свою роль до идеала, придать ей особенный типическій характеръ, и въ каждой роли быть новою, оригинальною и ни въ чемъ не похожею на себя, кромѣ таланта. То же самое должны мы сказать и о г. Самойловѣ, съ тою только разницею, что въ его игрѣ видно больше твердости и отчетливости. Какъ хорошъ былъ этотъ молодой сухощавый человѣкъ, въ роли стараго толстаго Грека! его нельзя было узнать; какъ характеристически говорилъ онъ ломаннымъ русскимъ языкомъ; какъ вѣрно выразилъ онъ ростовщика, скрягу, который, кромѣ денегъ, ничего не понимаетъ въ мірѣ! но въ роли режиссера онъ былъ еще лучше: нельзя создать роли болѣе типической и характерной. Это режиссеръ чисто русскій: онъ провелъ всю жизнь свою за кулисами провинціяльнаго театра. И какъ хорошъ онъ былъ и въ настоящей своей роли—роли талантливаго актера провинціяльнаго театра: съ какою душою пропѣлъ онъ куплетъ о непріятностяхъ и тяжести своего званія! При семъ мы должны вспомнить, что и г-жа Самойлова, въ роли кухарки, прекрасно пропѣла что-то въ родѣ русской пѣсни очень недурно составленной, и что ее, такъ же, какъ и г. Самойлова, заставили повторить куплетъ.

Вообще водевиль шелъ прекрасно, и игра этихъ двухъ артистовъ доставила публикѣ удовольствіе, какимъ она очень рѣдко пользуется, возбудила громкія и единодушныя рукоплесканія и нѣсколько вызововъ.

«Дѣловой человѣкъ, или дѣло въ шляпѣ» г. Кони, есть собственно водевиль, а не комедія, потому что въ комедіи не поются куплеты; но, какъ этотъ водевиль основанъ не на сцѣпленіи внѣшнихъ случайностей, а на развитіи главнаго лица, очень удачно сдѣланномъ, то онъ и приближается къ комедіи. Дѣловаго человѣка, Пантелея Ивановича Жучка, игралъ Мартыновъ, — и его игра была возможнымъ совершенствомъ. Ни одной черты, ни одного движенія, которое не было бы въ высшей степени вѣрнымъ, истиннымъ, характеристическимъ, художественнымъ. Мы уже сказали, что и у самого автора очень удачно развитъ характеръ этого лица; но что̀ сдѣлалъ изъ него г. Мартыновъ — это выше всякаго выраженія! Невозможно глубже проникнуть въ характеръ и тѣснѣе сростись съ формами и манерами солиднаго чиновника съ крестомъ на шеѣ, просѣдью въ волосахъ и прекрасною молодою женщиною въ законномъ бракѣ! Этою ролью Мартыновъ доказалъ, что хорошо развилъ въ себѣ свой комическій элементъ своего превосходнаго таланта: надо желать, чтобы теперь онъ обратилъ все свое вниманіе на развитіе въ себѣ патетическаго элемента. Есть роли, въ которыхъ мало смѣшить, а должно вмѣстѣ и трогать. Этимъ искусствомъ въ высшей степени обладаетъ Щепкинъ и можетъ служить высокимъ образцемъ для всякаго молодаго таланта. Чтобы читатели поняли, что̀ мы хотимъ сказать, и согласились съ нами, довольно напомнить о роли матроса, въ которой Щепкинъ такъ великъ. Отъ души желаемъ того же и со стороны г. Мартынова, за развитіемъ таланта котораго мы слѣдимъ съ такою внимательностію и такою любовію.

Роль жены «дѣловаго человѣка» очень проста и очень

естественна, и г-жа Самойлова прекрасно выполнила ее. Только третье лицо, Сила Савичъ Горскій, не слишкомъ нравится намъ. Едва-ли оно не вставлено для связи піески, и потому само по себѣ безцвѣтно и мертво. Можетъ-быть, причиною этого и неудовлетворительная игра г. Куликова въ этой роли; но, чтобы сказать утвердительно, что артистъ испортилъ роль, а не авторъ лишилъ артиста этою ролью возможности порядочно сыграть ее,—надо прочесть піеску. А это тѣмъ интереснѣе, что содержаніе піески, во первыхъ, взято изъ русской жизни, а во вторыхъ, очень просто и чуждо всякихъ водевильныхъ эффектовъ. Можно догадываться, что въ Горскомъ авторъ хотѣлъ изобразить художника въ душѣ, и потому заставилъ его стрѣляться изъ за того, что при немъ назвали взяточникомъ его друга, который, впрочемъ, и самъ нисколько не оскорбляется подобнымъ названіемъ; сдѣлалъ изъ него нѣжнаго сына, который всѣмъ жертвуетъ для счастія и спокойствія старухиматери. Все это прекрасно; но для созданія такого характера нужно имѣть слишкомъ много таланта, и таланта творческаго: иначе все въ немъ будетъ ложно, мертво, безлично.

6.

СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ ИЛИ БИВУАКЪ ВЪ САВОЛАКСѢ. *Драматическій анекдотъ изъ финляндской кампаніи, въ двухъ дѣйствіяхъ, съ эпилогомъ, соч. Н. А. Полеваго.*—Пожилая дѣвушка, или искусство выходить замужъ. *Комедія-водевиль въ одномъ дѣйствіи, передѣланная съ французскаго П. С. Федоровымъ*—Иванъ Ивановичъ Недотрога. *Комедія въ одномъ дѣйствіи, передѣланная съ французскаго Н. А. Полевымъ*—Онъ за все платитъ. *Водевиль въ одномъ дѣйствіи, соч. Баяра и Варнера. Переводъ съ французскаго Н. А. Полеваго. (Спектакль 12 іюля).*

Драматическій геній г. Н. Полеваго такъ быстро летитъ впередъ, что обгоняетъ самого себя, а насъ лишаетъ всякой возможности поспѣвать за собой. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите какой огромный путь совершилъ онъ съ 1837-го по 1840-й, т. е. въ какіе-нибудь съ небольшимъ три года! Начавъ свое поприще передѣлкою «Гамлета», трагедіи Шекспира, въ русскій водевиль, г. Н. Полевой написалъ оригинальное произведеніе—«Уголино», которое почитателями его таланта признается трагедіею, а противниками—водевилемъ, передѣланнымъ съ французскаго. Всѣ думали, что послѣ такихъ блестящихъ опытовъ, неистощимый геній г. Полеваго превзойдетъ въ плодовитости отца россійскаго театра, А. П. Сумарокова, и наводнитъ нашу драматическую литературу трагедіями-водевилями; но, чѣмъ блестящѣе надежды, тѣмъ онѣ несбыточнѣе: путь г. Н. Полеваго былъ другой, и ожиданія поклонниковъ его генія были обмануты. Съ честію и славою поборовшись съ Шекспиромъ, г. Н.

Полевой, какъ великодушный боецъ, довольный только побѣдою надъ своимъ соперникомъ, но не желающій его конечнаго уничтоженія, — къ счастію Шекспира и нашему, оставилъ его въ покоѣ, и вдругъ вступилъ въ борьбу съ г. Коцебу. Завязалась страшная и упорная борьба,—и всѣ увидѣли, что для всякаго бойца есть время битвъ, котораго уже не воротишь, если оно пройдетъ... Побѣдивши Шекспира, г. Н. Полевой былъ побѣжденъ г-мъ А. Коцебу. Правда, въ количествѣ піесъ онъ не уступаетъ ему, но въ достоинствѣ ихъ далеко ниже его; а сверхъ того, самая маловажная изъ піесъ Коцебу, больше десяти самыхъ важныхъ піесъ г. Н. Полеваго. Конечно, нѣкоторыя изъ піесъ г. Н. Полеваго имѣли большой успѣхъ на сценѣ, но это была заслуга талантливыхъ артистовъ, въ которой авторъ вовсе не участвовалъ. Наконецъ — что дальше, то хуже—наконецъ, г. Полевой низошелъ до смиренной роли передѣлывателя и переводчика французскихъ водевилей, и, побѣжденный г-мъ Коцебу, допустилъ себя торжественно побѣдить г. Н. Коровкину.

Да!—съ сокрушеннымъ сердцемъ, съ растерзанною отъ сугубой горести душою, должны мы сознаться, что—увы!—меркнетъ, меркнетъ она, наша драматическая слава, слабѣетъ могучій талантъ нашего великаго драматурга, г. Н. Полеваго!... Слабенька, очень слабенька передѣлка его французской комедіи, или французскаго водевиля, названная имъ «Иваномъ Ивановичемъ Недотрогою»; но она—геніяльное произведеніе въ сравненіи съ «Солдатскимъ Сердцемъ» и «Онъ за все платитъ»!.. Это именно два изъ тѣхъ произведеній, которыми молодой талантъ только еще начинаетъ свое поприще и которыя, поэтому, слабы, блѣдны, безцвѣтны, пусты; или которыми старый талантъ оканчиваетъ свое поприще, и которыя, поэтому, холодны, безжизненны, мертвы, гнилы.... О, какъ тяжело, какъ горько произносить намъ этотъ приговоръ такому блестящему драмати-

ческому генію!.. Рука дрожитъ, слеза катится изъ глазъ... Читателямъ нашимъ извѣстно, что мы никогда не были врагами генія г. Н. Полеваго; а сверхъ того, хоть кому, такъ

. . . . . Страшно зрѣть,
Какъ силится преодолѣть
Смерть человѣка...

«Солдатское сердце, или бивуакъ въ Саволаксѣ», поражая воображеніе читателей театральныхъ аффишъ своими хитрыми названіями, поражаетъ его и своими орнаментами, изъ которыхъ первый состоитъ въ хорѣ пѣсенниковъ, поющихъ «Не одна-то во полѣ дороженка пролегала»: второй въ новой военной увертюрѣ, соч. восп. Театральнаго Училища, К. Лядова, а третій, и самый эффектный, въ раздѣленіи піесы на части, съ особеннымъ и заманчивымъ названіемъ каждой. Первое дѣйствіе, изволите видѣть — называется «Бивуакъ»; второе: «Солдатское Сердце», а эпилогъ: «Добро не пропадетъ». Многіе думаютъ, что подобные орнаменты приличны только для ярморочныхъ балагановъ, а не для піесъ, играемыхъ на столичномъ театрѣ. Мы, съ своей стороны, не можемъ согласиться съ столь рѣзкимъ мнѣніемъ; однако все-таки думаемъ, что истинный талантъ во всемъ любитъ простоту и болѣе всего гнушается особенными названіями для каждой части піесы, а тѣмъ болѣе—частички піески. Равнымъ образомъ, намъ не нравятся и имена дѣйствующихъ лицъ, и не безъ причины, ибо всѣ эти Пламеновы, Звѣздовы, Мотыльковы, Зарубаевы и Штыковы напоминаютъ Добросердовъ, Здравомысловъ, Правдодумовъ и подобныхъ тому чудищъ старинной классической комедіи русской. Но еще болѣе не нравится намъ содержаніе піесы, потому что оно не болѣе, какъ анекдотъ, а ничего нѣтъ хуже, какъ анекдотъ, вытянутый въ повѣсть, или распяленный на драму. Мы уже не говоримъ о томъ, что самый анекдотъ—общее и пере-

общее риторическое мѣсто, истертое сухими моралистами и безталанными «сочинителями». Но и здѣсь еще не конецъ дурному: хуже всего манера изложенія піесы. Въ этомъ отношеніи, піеса г. Н. Полеваго несравненно ниже драматическихъ опытовъ Ильина и г. Б. Федорова. Неговоря уже о томъ, что дѣйствующія лица въ ней—аллегорическія олицетворенія отвлеченныхъ добродѣтелей и пороковъ,—хуже всего то̀, что эти образы безъ лицъ безпрестанно разглагольствуютъ о самихъ себѣ, а особенно добродѣтельные хвалятся своими добродѣтелями, забывши пословицу, что только «ржаная каша сама себя хвалитъ». И прискорбнѣе всего то, что такими хвастунами и самохвалами представлены русскіе;—но съ нами Богъ! это не настоящіе Русскіе, но Русскіе г. Н. Полеваго, а потому они ужасно смѣшны на сцѣнѣ. Представителемъ Русскихъ г. Полевому заблагоразсудилось сдѣлать какого-то корнета, г. Булгарова, у котораго всѣ патріотическія чувства только на языкѣ, а не въ сердцѣ, и который на нихъ смотритъ, какъ на готовый матеріялъ для риторическихъ сентенцій, годныхъ развѣ въ нраво-описательныя статьи, или громкіе возгласы на разные казенные случаи. Остальныя достоинства піесы г. Н. Полеваго состоятъ въ томъ, что всѣ ея дѣйствующія лица поступаютъ по моральнымъ сентенціямъ, заученнымъ въ азбукѣ, и больше говорятъ, чѣмъ дѣлаютъ, а говорятъ все казенныя фразы о предметахъ, которые бы заслуживали лучшаго языка. Это служитъ прекраснымъ доказательствомъ, что отсутствія сердечнаго жара и обаятельной силы души нельзя замѣнить предметомъ, какъ бы онъ самъ по себѣ ни былъ высокъ: піеса можетъ быть написана и съ доброю цѣлію, а все будетъ казаться слабою, если она дурна. И піеса г. Н. Полеваго была сыграна именно такъ, какъ должны играться піесы такого рода, т. е. прекрасно. Артисты, участвовавшіе въ ней совершенно соотвѣтствовали лицамъ, которыхъ представляли.

Особенно хороши были г. Толченовъ 1-й, въ роли полковника Пламенова, и г. Леонидовъ, въ роли корнета Булгарова: нельзя было видѣть безъ слезъ, какъ обнимались въ эпилогѣ сіи достойные офицеры.

«Пожилая дѣвушка, или искусство выходить замужъ»—одна изъ тѣхъ піесъ, съ умомъ и толкомъ переложенныхъ на русскіе нравы, которыя доставляютъ на сценѣ истинное наслажденіе публикѣ, если хорошо разыгрываются. Мы и всегда были бы благодарны г. Федорову за эту піеску, но какъ она игралась тотчасъ послѣ «Солдатскаго сердца», то нѣтъ предѣловъ нашей благодарности... Цѣлое выполненіе этой піесы можно-бъ было назвать чудомъ совершенства, еслибы въ немъ не участвовалъ г. Леонидовъ въ роли Ѳедора Павловича Карицкаго. Въ самомъ-дѣлѣ: г-жа Каратыгина 1-я, г. Мартыновъ, г-жа Самойлова 2-я, г. Сосницкій,—и вмѣстѣ съ ними—о насмѣшливая судьба!—г. Леонидовъ!... И потому, о цѣломъ мы можемъ помолчать; но за то скажемъ о частностяхъ. Г-жа Каратыгина 1-я безподобно сыграла роль пожилой дѣвушки; г-жа Самойлова 2-я сдѣлала изъ своей незначительной роли все, что артистка съ истиннымъ дарованіемъ можетъ сдѣлать; г. Сосницкій презабавно выполнилъ роль пожилаго селадона; но игра Мартынова въ роли дяди пожилой дѣвушки, степнаго помѣщика, была чудомъ сценическаго искусства. Вотъ истинное творчество! Рѣшительно, если только есть въ сценическомъ талантѣ Мартынова патетическій элементъ, и еслибы только онъ захотѣлъ и смогъ развить его до такой степени совершенства, до какой онъ развилъ въ себѣ комическій элементъ своего таланта, на петербургской сцѣнѣ былъ бы свой Щепкинъ...

«Иванъ Ивановичъ Недотрога», передѣлка какой-то французской комедіи, сдѣланная г-мъ Полевымъ, далеко уступаетъ въ достоинствѣ передѣлкѣ г. Федорова. Во первыхъ, имена дѣйствующихъ лицъ въ ней опять напоминаютъ ста-

рипныя издѣлія русской классической комедіи: Недотрога, Миловановъ, Надоѣдаловъ... Во вторыхъ, характеры въ ней ложны и жертвуются одинъ другому; такъ, напримѣръ, характеръ Недотроги есть явное преувеличеніе, каррикатура, лишенная всякаго правдоподобія и смысла,—и все это для того, чтобы лучше оттѣнить характеръ Милованова, который, правду сказать, благодаря превосходной игрѣ Сосницкаго, кажется со сцены очень удачно очеркнутымъ характеромъ. Надоѣдаловъ—сатирическая каррикатура. Онъ и глупъ, и грубъ, и подлъ. Онъ напечаталъ какое-то сочиненіе, тогда же разруганное всѣми журналами, и почитаетъ себя имѣющимъ право на мѣсто директора гимназіи; но ему, разумѣется, отказываютъ, яко недостойному, а мѣсто даютъ бывшему профессору Ришельевскаго Лицея Ивану Ивановичу Недотрогѣ, яко достойнѣйшему, хотя онъ, судя потому, что говоритъ и какъ дѣйствуетъ въ піесѣ, глупѣе самого Надоѣдалова. Сущность піесы основана на противоположности характеровъ двухъ отцовъ: Недотроги (отца героини піесы), который всѣмъ оскорбляется и за все сердится, и Милованова (отца героя піесы), который, при благородной и любящей душѣ, отличается прямотою словъ и простотою манеръ, доходящею до грубости. Сосницкій былъ безподобенъ въ роли Милованова; но должно отдать справедливость и г-ну Каратыгину 2-му, который своею обдуманною, благородною игрою заставилъ зрителей забыть о неестественности и каррикатурности выполняемой имъ роли. Г-жа Сосницкая прекрасно выполнила роль Надоѣдаловой: играя грубую и низкую провинціялку, она возбуждала въ зрителяхъ не отвращеніе, а добродушный смѣхъ. Г-жа Ширяева была очень мила въ роли дочери Недотроги; г. Вороновъ былъ недуренъ въ роли доктора Мироновича; всѣ другіе были болѣе или менѣе сносны, кромѣ г. Сергѣева, который, въ роли Милованова (любовника), былъ болѣе, чѣмъ плохъ.

Въ водевилѣ г-на же Полеваго «Онъ за все платитъ», мы рѣшительно ничего не могли понять, кромѣ того, что г. Мартыновъ, былъ удивительно хорошъ въ роли купца, а г. Самойловъ прекрасно сыгралъ повѣсу Симоно. Что̀ же до содержанія піесы, повторяемъ: его никто не понялъ, потому что въ немъ для краткости (такъ какъ спектакль былъ очень длиненъ, состоя изъ четырехъ піесъ) выпущенъ такъ-называемый здравый смыслъ.

СТАТЬИ,

НЕ

ПОДОШЕДШІЯ ПОДЪ РАЗДѢЛЕНІЕ ПЕРВЫХЪ ЧАСТЕЙ.

КНЯЗЬ АНТІОХЪ ДМИТРІЕВИЧЪ КАНТЕМИРЪ *).

Русскую литературу начинаютъ съ Ломоносова,—и справедливо. Ломоносовъ дѣйствительно былъ основателемъ русской литературы. Какъ геніяльный человѣкъ, онъ далъ ей форму и направленіе, которыя она надолго удержала. Каковы были эта форма и это направленіе—вопросъ другой; дѣло въ томъ, что дать форму и направленіе цѣлой литературѣ могъ только человѣкъ необыкновенный, но, несмотря на общее согласіе въ томъ, что русская литература начинается съ Ломоносова, всѣ начинаютъ ея исторію съ Кантемира. Это тоже справедливо. Если Кантемиръ и Тредьяковскій не были основателями русской литературы, ихъ труды нѣкоторымъ образомъ были какъ бы предисловіемъ къ ея основанію. Оба они, особенно послѣдній, брались за то, за что прежде всего должно было взяться; но оба они не имѣли достаточныхъ средствъ для выполненія предлежавшаго имъ дѣла. Впрочемъ, къ Кантемиру это относится гораздо меньше, чѣмъ къ Тредьяковскому. Кантемиръ не столько начинаетъ собою исторію русской литературы, сколько заканчиваетъ періодъ русской письменности. Кантемиръ писалъ такъ называемыми силлабическими стихами, — размѣромъ, который со-

*) «Литературная Газета» 1845 г., №№ 6, 7 и 8.

вершенно несвойственъ русскому языку; но этотъ размѣръ существовалъ на Руси задолго до Кантемира. Онъ зашелъ къ намъ изъ Польши чрезъ Малороссію, въ XVI столѣтіи. Этимъ размѣромъ писали и Петръ Могила, и Димитрій Ростовскій, и Симеонъ Полоцкій; но ихъ стихи были духовнаго содержанія, не блестѣли поэзіею и отличались однажды навсегда принятою и неподвижною риторическою формою; Кантемиръ же первый началъ писать стихи, тѣмъ же силлабическимъ размѣромъ, но содержаніе, характеръ и цѣль его стиховъ были уже совсѣмъ другіе, нежели у его предшественниковъ на стихотворческомъ поприщѣ. Кантемиръ началъ собою исторію свѣтской русской литературы. Вотъ почему всѣ, справедливо считая Ломоносова отцомъ русской литературы, въ то же время не совсѣмъ безъ основанія Кантемиромъ начинаютъ ея исторію. Несмотря на страшную устарѣлость языка, которымъ писалъ Кантемиръ, несмотря на бѣдность поэтическаго элемента въ его стихахъ, Кантемиръ своими сатирами воздвигъ себѣ маленькій, скромный, но тѣмъ не менѣе безсмертный памятникъ въ русской литературѣ. Имя его уже пережило много эфемерныхъ знаменитостей, и классическихъ и романтическихъ, и еще переживетъ ихъ многія тысячи. Этотъ человѣкъ, по какому-то счастливому инстинкту, первый на Руси свелъ поэзію съ жизнію,—тогда-какъ самъ Ломоносовъ только развелъ ихъ надолго. Поэзія Кантемира уже по тому одному, что она была сатирическою, не могла быть риторическою. Не только при Кантемирѣ, но и гораздо спустя послѣ него, русская литература могла, еслибъ поняла свое положеніе, смѣяться и осмѣивать, а между тѣмъ она больше восторгалась и надувалась. Впрочемъ, дѣйствительность таки взяла свое,—и русская литература какъ-то, сама-собою, безсознательно, раздѣлилась на сатирическую и риторическую. Значительная часть сочиненій Сумарокова въ сатирическомъ родѣ, - и, несмотря на тупость

и аляповатость сатирической музы этого неутомимаго писателя, стремившагося къ всеобъемлемости и ничего не обнявшаго, его нападки на подъячихъ не были безполезны; если онѣ не исправляли нравовъ, за то поддерживали въ обществѣ сознаніе, что порокъ есть все-таки порокъ, хотя бы онъ былъ и неизбѣжнымъ зломъ. Слѣдовательно, благодаря, можетъ-быть, заслугѣ одной только литературы, у насъ зло не смѣло называться добромъ, а лихоимство и казнокрадство не титуловались благонамѣренностью, какъ это всегда водилось и теперь водится, напримѣръ, въ Китаѣ. И могло ли это быть у насъ иначе, если сатирическое направленіе, со временъ Кантемира, сдѣлалось живою струей всей русской литературы? Не говоря уже о Фонъ-Визинѣ, котораго превосходный талантъ былъ по преимуществу сатирическій,—самъ Державинъ, который, по духу своего времени, риторическую превыспренность считалъ заодно съ поэзіею,—заплатилъ большую дань сатирѣ. И еще далеко не успѣлъ блестящій лирикъ вѣка Екатерины допѣть своихъ громозвучныхъ одъ, какъ явился на Руси національный баснописецъ — Крыловъ. Это сатирическое направленіе, столь важное и благодѣтельное, столь живое и дѣйствительное для общества, въ которомъ такъ странно боролась прививная европейская форма съ азіятскою сущностью родной старины,—это сатирическое направленіе никогда не прекращалось въ русской литературѣ, но только переродилось въ юмористическое, какъ болѣе глубокое въ психологическомъ отношеніи и болѣе родственное художественному характеру новѣйшей русской поэзіи.

Говоря о Кантемирѣ, нѣтъ нужды распространяться въ біографическихъ подробностяхъ; но не мѣшаетъ взглянуть бѣгло на жизнь Кантемира въ ея связи съ литературою. Есть на русскомъ языкѣ старинная книжица, изданная Новиковымъ въ 1783 году, подъ титуломъ: «Исторія о жизни и дѣлахъ молдавскаго господаря князя Константина

Кантемира, сочиненная Санктпетербургской Академіи Наукъ покойнымъ профессоромъ Бееромъ, съ россійскимъ переводомъ и съ приложеніемъ родословія князей Кантемировъ». Въ этой книжицѣ сказано, что Кантемиры свой родъ производятъ отъ Крымскихъ Татаръ, и доказано, кстати, что въ этомъ обстоятельствѣ для Кантемировъ нѣтъ ничего унизительнаго, потому что «знатностію породы, каковую предки наши, или на прямой добродѣтели, или на неякой мнимой славѣ въ своемъ утвердили потомствѣ, Татары намъ не токмо ни мало не уступаютъ, но еще гораздо больше, нежели мы, благородствомъ знаменитѣйшихъ мужей превозносятся: ибо нѣтъ у нихъ ни единаго таковаго важнаго и храбраго дѣла, за которое подлой или простолюдинъ могъ бы когда-нибудь причтенъ быть въ число мурзъ». Послѣ такого по истинѣ татарскаго воззрѣнія на несомнѣнность родовой знаменитости князей Кантемировъ, наивная книжица неоспоримо доказываетъ, что Кантемиры происходятъ по прямой линіи отъ Тамерлана, что̀ видно изъ самаго ихъ имени: Канъ-Тимуръ, т. е. родственникъ Тимура. Но для русской литературы все равно отъ Тамерлана, или еще древнее—отъ Адама произошелъ сатирикъ Кантемиръ. Для нея довольно знать, что онъ былъ сынъ молдавскаго господаря Димитрія Кантемира, столь извѣстнаго въ исторіи Петра Великаго по турецкой войнѣ, кончившейся миромъ при Прутѣ. Князь Димитрій былъ человѣкъ ученый; съ особеннымъ удовольствіемъ занимался онъ исторіею, «былъ весьма искусенъ въ философіи математикѣ и имѣлъ великое знаніе въ архитектурѣ»; былъ членомъ Берлинской Академіи; говорилъ по-турецки, по-персидски, по-гречески, по-латинѣ, по-итальянски, по-русски, по-молдавски, порядочно зналъ французскій языкъ, и оставилъ послѣ себя нѣсколько сочиненій на латинскомъ, греческомъ, молдавскомъ и русскомъ языкахъ. Изъ нихъ «Система Мухаммеданскаго Закона», по повелѣнію Петра Ве-

ликаго, напечатана въ Петербургѣ, въ 1722 году. Очень естественно, что у такого отца дѣти были людьми учеными и образованными.

Антіохъ былъ четвертымъ сыномъ князя Димитрія, и родился въ Константинополѣ 1708 года, сентября 10. Такъ какъ отецъ скоро замѣтилъ въ немъ отличныя дарованія, то и приложилъ особенное стараніе о его воспитаніи, преимущественно передъ всѣми другими своими сыновьями. Сначала Антіохъ воспитывался въ Харьковѣ, потомъ въ Москвѣ, наконецъ въ Петербургѣ. Вездѣ пользовался онъ уроками лучшихъ въ то время преподавателей. Не желая ни на минуту спустить глазъ своихъ съ любимаго сына, князь Димитрій взялъ Антіоха съ собою въ персидскій походъ, въ которомъ онъ сопровождалъ Петра Великаго, въ 1722 году. Во время похода, ученіе Антіоха не прерывалось ни на минуту; самое путешествіе это практически не могло не быть чрезвычайно полезно любознательному четырнадцатилѣтнему юношѣ. Страсть и уваженіе къ учености были такъ сильны въ старомъ Кантемирѣ, что онъ желалъ имѣть наслѣдникомъ своего имѣнія того изъ сыновей, который больше другихъ отличится въ наукахъ. Онъ даже просилъ объ этомъ Петра Великаго, а въ духовномъ завѣщаніи прямо указалъ на Антіоха, какъ на того изъ своихъ сыновей, который, по способностямъ и познаніямъ, достоинъ быть наслѣдникомъ его имѣнія (стр. 332) *). Въ 1725 году была

---

*) Впрочемъ, это дѣло какъ-то безтолково объяснено въ книгѣ Беера: на стр. 321 сказано о второмъ сынѣ князя Димитрія, Константинѣ, что «императоръ Петръ II, снисходя на желаніе умершаго родителя его, князя Димитрія, повелѣлъ (19 мая 1729 года) въ недвижимомъ имѣніи быть одному ему наслѣдникомъ». Во всякомъ случаѣ, и всѣ другіе братья Константина не остались бѣдняками, благодаря щедротамъ Петра Великаго и его преемниковъ. Такъ какъ Антіохъ не былъ женатъ и не оставилъ по себѣ наслѣдниковъ, то имѣніе его перешло къ братьямъ.

учреждена С.-Петербургская Императорская Академія Наукъ, и Антіохъ выслушалъ курсъ высшихъ наукъ у иностранныхъ профессоровъ, приглашенныхъ Петромъ Великимъ въ Россію. Математикѣ учился онъ у Бернуллія, физикѣ у Бильфингера, исторіи у Беера, нравственной философіи у Гросса. Блестящія дарованія скоро обратили на молодаго Кантемира общее вниманіе. Еще бывъ поручикомъ преображенскаго полка, почти двадцати лѣтъ отъ роду, онъ едва не былъ посланъ къ французскому двору; намѣреніе это почему-то было отмѣнено, но оно показываетъ, какою репутаціею пользовался этотъ молодой человѣкъ въ такое время, когда молодость считалась порокомъ, отъ котораго едва избавлялись въ сорокъ лѣтъ. По нѣкоторымъ словамъ книги Беера можно заключить не безъ основанія, что первыя три сатиры Антіоха Кантемира не мало способствовали его возвышенію въ глазахъ самого правительства. Вмѣстѣ съ его братьями, Матвѣемъ и Сергіемъ, и сестрою Марьею, Анна Іоановна пожаловала ему тысячу тридцать крестьянскихъ дворовъ. Въ 1731 году онъ былъ посланъ въ Лондонъ въ качествѣ резидента. Проѣзжая чрезъ Голландію, Кантемиръ запасся книгами и поручилъ одному книгопродавцу въ Гагѣ напечатать сочиненіе своего отца: «Описаніе историческое географическое Молдавіи»; впрочемъ, это сочиненіе не было напечатано. Въ Лондонѣ Кантемиръ былъ принятъ съ отличіемъ, какъ ученый человѣкъ и глубокій политикъ. За удовлетворительное окончаніе возложеннаго на него порученія, онъ былъ облеченъ значеніемъ чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра. Свободное отъ политическихъ занятій время онъ посвящалъ наукамъ и бесѣдѣ съ учеными людьми Англіи, которую онъ почиталъ просвѣщеннѣйшею страною въ мірѣ. Знакомство съ нѣкоторыми Итальянцами побудило его выучиться итальянскому языку, которымъ онъ такъ хорошо овладѣлъ, что и говорилъ и писалъ на немъ какъ природный Итальянецъ. Вслѣдствіе

оспы, которую Кантемиръ перенесъ въ дѣтствѣ, онъ всегда страдалъ истеченіемъ мокроты изъ глазъ. Отъ усиленнаго занятія чтеніемъ, въ Лондонѣ эта болѣзнь до того у него усилилась, что онъ поѣхалъ, въ 1736 году, въ Парижъ лѣчиться у знаменитаго въ то время врача Жандропа, лейбъ-медика французскаго регента. Жандронъ дѣйствительно помогъ Кантемиру; а когда, въ 1738 году, Кантемиръ пріѣхалъ въ Парижъ въ качествѣ полномочнаго министра, то и совсѣмъ излѣчилъ его отъ глазной болѣзни. Въ 1739 году, Кантемиръ былъ наименованъ чрезвычайнымъ посломъ при французскомъ дворѣ. При запутанныхъ обстоятельствахъ этой эпохи Кантемиръ удержался въ милости и при Правительницѣ, которая пожаловала его, въ 1741 году, въ тайные совѣтники, и при Елисаветѣ Петровнѣ, подтвердившей его въ этомъ чинѣ. Въ Парижѣ Кантемиръ велъ жизнь уединенную, знаясь только съ людьми учеными и литераторами, и съ страстью предавался ученію. Съ особеннымъ рвеніемъ занимался онъ тогда алгеброю и сочинилъ на русскомъ языкѣ «Руководство къ Алгебрѣ», которое осталось въ рукописи. Батюшковъ, представившій Кантемира въ бесѣдѣ съ Монтескье, аббатомъ В. и аббатомъ Гуаско, справедливо замѣтилъ, что Кантемиръ писалъ бы стихи и на необитаемомъ островѣ, потому-что онъ писалъ ихъ въ Парижѣ, который въ отношеніи къ нему, какъ къ стихотворцу, былъ для него дѣйствительно необитаемымъ островомъ. Весь характеръ, вся личность Кантемира отразилась въ этихъ его же, стихахъ:

Тотъ въ сей жизни лишь блаженъ, кто, малымъ доволенъ,
Въ тишинѣ знаетъ прожить, отъ суетныхъ воленъ
Мыслей, что мучатъ другихъ, и топчатъ надежну
Стезю добродѣтели къ концу неизбѣжну.
Небольшой домъ, на своемъ построенный полѣ,
Даетъ нужное моей умѣренной волѣ;
Не скудный, не лишній кормъ, и средню забаву,

Гдѣ бъ съ другомъ честнымъ я могъ, по моему нраву
Выбраннымъ, въ лишни часы прогнать скуки бремя,
Гдѣ бъ, отъ шуму отдаленъ, прочее все время
Провождать межъ мертвыми Греки и Латины,
Изслѣдуя всѣхъ вещей дѣйства и причины,
И, учась, знать образцомъ другихъ, что полезно,
Что вредно въ нравахъ, что въ нихъ гнусно иль любезно:
То одно желанія мои составляетъ.

Съ 1740 года, здоровье Кантемира начало совершенно разстроиваться. Вотъ что̀ говоритъ объ этомъ книжица Беера: «Князь Антіохъ подверженъ былъ человѣческимъ слабостямъ, какъ и другіе люди. Онъ чувствовалъ то самъ, яко человѣкъ, и имѣлъ несчастіе искуситься въ скорби, свойственной человѣческому роду. Съ 1740 года почувствовалъ онъ внутреннюю болѣзнь, которая отъ часу умножалась. И хотя онъ въ пищѣ весьма былъ воздерженъ, однако желудокъ его почти ничего уже варить не могъ». Въ 1741 году, онъ ѣздилъ на ахенскія воды, отъ которыхъ и получилъ облегченіе, равно какъ и отъ лѣкарства какой-то дѣвицы Стефенсъ, которое онъ употреблялъ по совѣту же Жандрона. Въ 1743 году, онъ пользовался пломбьерскими водами, которыя однако не помогли ему. По возвращеніи въ Парижъ, онъ отдался на руки разнымъ врачамъ, которые совсѣмъ залѣчили его. Въ это время, онъ страдалъ крайнимъ ослабленіемъ желудка, рѣзью въ почкахъ и безсонницею. Потомъ, онъ схватилъ лихорадку, довольно впрочемъ, легкую, и у него открылся кашель. По совѣту одного изъ друзей своихъ, который, вопреки мнѣнію докторовъ, смотрѣлъ серьёзно на эти припадки, Кантемиръ рѣшился провести зиму въ Неаполѣ. Но, когда онъ получилъ на это разрѣшеніе отъ своего двора, было уже поздно: усилившаяся болѣзнь и дурное время года не позволили ему тронуться съ мѣста. Полгода страдалъ онъ болѣзнію въ груди, не переставая чтеніемъ прогонять скуку безсонницы. На увѣщанія, что онъ этимъ вредитъ себѣ, онъ обыкно-

венно отвѣчалъ, что «тогда только не чувствуетъ болѣзни, когда трудится». Охоту къ чтенію онъ потерялъ только за три, или за четыре дня до своей смерти, и это-то обстоятельство открыло ему опасность его положенія. Одинъ изъ друзей его, читая съ нимъ разсужденіе Цицерона «о дружбѣ», во имя налагаемаго этимъ чувствомъ долга, заговорилъ съ нимъ прямо о его положеніи и посовѣтовалъ заняться послѣдними распоряженіями. Кантемиръ съ благодарностью принялъ этотъ совѣтъ, какъ доказательство истинной дружбы и не медля приступилъ къ составленію духовной, въ которой, отказавъ все свое имѣніе братьямъ и сестрамъ, завѣщалъ, чтобъ тѣло его, по вскрытіи, было набальзамировано, отвезено въ Россію и похоронено, безъ всякой церемоніи, въ греческомъ монастырѣ, въ Москвѣ, гдѣ схоронены были его родители. До самой минуты своей смерти онъ былъ въ полномъ разумѣ. Умеръ онъ 1744 г., марта 31, тридцати пяти лѣтъ и семи мѣсяцевъ отъ роду. По вскрытіи тѣла оказалось, что у него была водяная въ груди.

О личномъ характерѣ Кантемира извѣстно, только, что онъ былъ человѣкъ благородный, правдивый и кроткій. Сначала онъ казался непривѣтливымъ, но эта непривѣтливость постепенно изчезала въ отношеніи къ людямъ, которые ему болѣе и болѣе нравились. Слабое и болѣзненное его тѣлосложеніе придавало его характеру меланхолическій оттѣнокъ, что, однакожь, не мѣшало ему быть и любезнымъ и веселымъ въ обществѣ людей, которые ему нравились, и съ которыми онъ могъ быть откровененъ. Въ частной жизни, онъ былъ экономенъ, и, какъ говоритъ книжица Беера, изъ которой мы заимствовали эти подробности: «никогда не признавалъ, что долги были знакомъ благородства и высокаго достоинства». Вотъ все, что дошло до потомства о Кантемирѣ, какъ о человѣкѣ; въ его сатирахъ, мы увидимъ его какъ поэта, и вновь встрѣтимся съ нимъ, какъ съ человѣкомъ.

Въ 1739 году, написалъ Кантемиръ свою первую сатиру, слѣдовательно, ровно за десять лѣтъ до первой оды Ломоносова («На взятіе Хотина»), написанной новымъ размѣромъ. Это едва ли не лучшая изъ всѣхъ сатиръ Кантемира. Она была направлена противъ обскурантовъ (людей, одержимыхъ болѣзнію мракобѣсія), враговъ просвѣщенія, словомъ, славянофиловъ того времени. Въ ней, какъ и во всѣхъ сатирахъ Кантемира, нѣтъ ни жолчнаго негодованія, ни бурнаго паѳоса; но въ ней много ума, много комической соли, и есть одушевленіе, тихое, ровное, но постоянно выдерживаемое. Кантемиръ не бичуетъ, а только сѣчетъ обскурантовъ. Оно и естественно: сатира страстная, грозная, бѣшеная, вооруженная свитымъ изъ змѣй бичомъ, сатира въ образѣ Немезиды, бросающей молніи изъ очей, съ пѣною у рта, такая сатира возможна только или у народа, который уже пережилъ самого себя, для котораго уже нѣтъ ни выхода, ни будущаго, или у народа, который еще полонъ свѣжихъ силъ жизни, но уже созналъ причины, которыя удерживаютъ его стремленіе на пути дальнѣйшаго развитія. Ни то, ни другое положеніе не могло относиться къ Россіи временъ Кантемира. Прогрессъ, который тогда для нея былъ возможенъ, весь заключался больше въ формѣ, нежели въ духѣ, слѣдовательно, былъ слишкомъ внѣшенъ, и потому не могъ имѣть слишкомъ сильныхъ и опасныхъ враговъ. Эти враги были больше смѣшны, нежели страшны, и для нихъ нуженъ былъ не свистящій бичъ ювеналовской сатиры, а легкая лоза насмѣшки и ироніи. И въ этомъ отношеніи, сатиры Кантемира были именно такими, какія тогда были нужны и могли быть полезны. Первая сатира, «На хулящихъ ученіе», особенно богата смѣшными чертами и вѣрными снимками съ общества того времени. Поэтъ дѣлаетъ обращеніе къ уму своему, прося его не понуждать его рукъ къ перу. Можно, говоритъ поэтъ, и неписавши достичь славы: вѣдь въ нашъ вѣкъ къ ней ведутъ многіе

пути; а изъ нихъ самый трудный и невыгодный—тотъ, «что босы проклали девять сестръ».

. . . . Кто надъ столомъ гнется,
Пяля на книгу глаза, большихъ не добьется
Палатъ, ни разцвѣченна мраморами саду;
Овцы не прибавитъ онъ къ отцовскому стаду.
Правда, въ нашемъ молодомъ монархѣ *) надежда
Всходитъ Музамъ не мала: со стыдомъ невѣжда
Бѣжитъ его. Аполлинъ славы въ немъ защиту
Своей не слабу почулъ, чтяща свою свиту
Видѣлъ его самого, и во всемъ обильно
Тщится множить жителей Парнасскихъ онъ сильно:
Но та бѣда, многіе въ царь похваляютъ
За страхъ то, что въ подданномъ дерзко осуждаютъ.

Какъ ловко выражена мысль двухъ послѣднихъ стиховъ! За ними слѣдуетъ рядъ картинъ тогдашняго общества, написанныхъ мастерскою кистію. Поэтъ заставляетъ невѣждъ, подъ вымышленными именами, говорить филиппики противъ просвѣщенія. И каждый изъ этихъ антагонистовъ свѣта Божія, высказывается сообразно своему характеру, и ни одинъ изъ нихъ не повторяетъ другаго.

«Расколы и ериси наукъ суть дѣти,
«Больше вретъ, кому далось больше разумѣти,
«Приходитъ въ безбожіе, кто надъ книгой таетъ»,
Критонъ съ чотками въ рукавъ ворчитъ и вздыхаетъ,
И проситъ свята душа съ горкими слезами
Смотрѣть, сколь сѣмя наукъ вредно между нами:
«Дѣти наши что предъ тѣмъ тихи и покорны
«Праотческимъ шли слѣдомъ, къ Божіей проворны
«Службѣ, *съ страхомъ слушая, что сами не знали*
«*Теперь, къ церкви соблазну Библію честь стали,*

*) Поэтъ говоритъ о Петрѣ Второмъ, которому тогда было четырнадцать лѣтъ. Онъ въ дѣтствѣ съ особенною ревностію учился, а въ послѣдствіи подтвердилъ данныя его предшественниками привилегіи Академіи наукъ и назначилъ ея членамъ и даже чиновникамъ постоянные оклады.

«Толкуютъ, всему хотятъ знать поводъ, причину,
«Мало вѣры подая священному чину;
«*Потеряли добрый нравъ, забыли пить квасу,*
«*Не прибьешь ихъ палкою къ соленому мясу;*
«Уже свѣчекъ не кладутъ, постныхъ дней не знаютъ,
«*Мірскую въ церковныхъ власть рукахъ лишну чаютъ,*
«Шепча, что *тѣмъ, что мірной жизни ужь отстали,*
«*Помѣстья и вотчины весьма не пристали*».
Сильванъ другую вину наукамъ находитъ:
«Ученіе, говоритъ, намъ голодъ наводитъ;
«Живали мы прежъ сего, не зная Латынѣ,
«Гораздо обильнѣе, чѣмъ живемъ мы нынѣ,
«Гораздо въ невѣжествѣ больше хлѣба жали,
«Перенявъ чужой языкъ, свой хлѣбъ потеряли.
«Буде рѣчь моя слаба, буде нѣтъ въ ней чину,
«Ни связи, должность о томъ тужить дворянину:
«Доводъ, порядокъ въ словахъ, подлыхъ то есть дѣло;
«Знатнымъ полно подтверждать, иль отрицать смѣло.
«Съ ума сошелъ, кто души силу и предѣлы
«Испытаетъ, кто въ поту томится дни цѣлы,
«Чтобъ строй міра и вещей вывѣдать премѣну
«Иль причину; глупо онъ лѣпитъ горохъ въ стѣну.
«Приростетъ ли мнѣ съ того день къ жизни, иль въ ящикъ
«Хоть грошъ? могуль чрезъ то узнать, что́ прикащикъ,
«Что́ дворецкій крадетъ въ годъ? какъ прибавить воду
«Въ мой прудъ? какъ бочекъ число съ виннаго заводу?
«Не умнѣе, кто глаза, полонъ безпокойства,
«Коптитъ печась при огнѣ, чтобъ вызвать рудъ свойства;
«Вѣдь не теперь мы твердимъ, что́ буки, что̀ вѣди;
«Можно знать различіе злата, сребра, мѣди.
«Травъ, болѣзней знаніе—все то голы враки;
«Глава ль болитъ? тому врачъ ищетъ въ рукѣ знаки;
«Всему въ насъ виновна кровь, будетъ ему вѣру
«Нять хощешь. Слабѣемъ ли?—кровь тихо чрезмѣру
«Течетъ; если спѣшно—жаръ въ тѣлѣ отвѣтъ смѣло
«Даетъ, *хотя внутрь никто видѣлъ живо тѣло.*
«А пока въ басняхъ такихъ время онъ проводитъ,
«Лучшій сокъ изъ нашего мѣшка въ его входитъ.
«Къ чему звѣздъ теченіе числить, и ни къ дѣлу,
«Ни кстати за однимъ ночь пятномъ не спать цѣлу?
«За любопытствомъ однимъ лишиться покою,

«Ища—солнце ль движется, или мы съ землею?
«Въ часовникѣ можно честь на всякій день года
«Число мѣсяца, и часъ солнечнаго всхода.
«*Землю въ четверти дѣлить безъ Евклида смыслимъ;*
«*Сколько копѣекъ въ рубль, безъ Алгебры счислимъ.*

. . . .

Румяный, трожды рыгнувъ, Лука подпѣваетъ:
«Наука содружество людей разрушаетъ;
«Люди мы къ сообществу Божія тварь стали
«Не въ нашу пользу одну смысла даръ пріяли:
«Что же пользы иному, когда я запруся
«Въ чуланъ, для мертвыхъ друзей живущихъ лишуся?
«Когда все содружество, вся моя ватага
«Будетъ чернило, перо, песокъ да бумага?
«Въ весельи, въ пирахъ, мы жизнь должны провождати;
«И такъ она недолга: на что коротати,
«Крушиться надъ книгою и повреждать очи?
«Не лучше ли съ кубкомъ дни прогулять и ночи?
«Вино даръ—божественный, много въ немъ провору;
«Дружитъ людей, подаетъ поводъ къ разговору,
«Веселитъ, всѣ тяжкія мысли отымаетъ,
«Скудость знаетъ облегчать, слабыхъ ободряетъ,
«Жестокихъ мягчитъ сердца, угрюмость отводитъ,
«Любовникъ лучше виномъ въ цѣль свою доходитъ.
«Когда по небу сохой бразды водить станутъ,
«А съ поверхности земли звѣзды ужь проглянутъ,
«Когда будутъ течь къ ключамъ своимъ быстры рѣки,
«И возвратятся назадъ минувшіе вѣки;
«Когда въ постъ чернецъ одну ѣсть станетъ визигу,
«Тогда, оставя стаканъ, примуся за книгу».
Медоръ тужитъ, что чрезчуръ бумаги исходитъ
На письмо, на печать книгъ, а ему приходитъ
Что не во что завертѣть завитыя кудри;
Не смѣнитъ на Сенеку онъ фунтъ доброй пудры.
Предъ *Егоромъ* *) двухъ денегъ Виргилій не стоитъ,
Рексу **), не Цицерону, похвала достоитъ.

---

*) Славный сапожникъ того времени въ Москвѣ.
**) Славный портной того времени, въ Москвѣ.

Обращаясь вновь къ своему уму и доказывая ему безплодность борьбы съ невѣждами, сатирикъ говоритъ:

Гордость, лѣность, богатство, мудрость одолѣло;
Науку невѣжество мѣстомъ ужь посѣло.
Подъ митрой гордится, то въ шитомъ платьѣ ходитъ,
Судитъ за краснымъ сукномъ, смѣло полки водитъ.
Наука ободрана въ лоскутахъ обшита,
Изо всѣхъ почти домовъ съ ругательствомъ сбита,
Знаться съ нею не хотятъ, бѣгутъ ея дружбы,
Какъ въ морѣ страдавшіе корабельной службы.
Всѣ кричатъ: никакой плодъ не видѣнъ съ науки!
Ученыхъ хоть голова полна, пусты руки!
Коли кто карты мѣшать, разныхъ винъ вкусъ знаетъ,
Танцуетъ, на дудочкѣ пѣсни три играетъ,
Смыслитъ искусно прибрать въ своемъ платьѣ цвѣты,—
Тому ужь и въ самыя молодыя лѣты
Всякая высша степень—мзда ужь не велика,
Седми мудрецовъ себя достойнымъ мнитъ лика.

Вторая сатира, «Филаретъ и Евгеній», написанная мѣсяца черезъ два послѣ первой, нападаетъ «на зависть и гордость дворянъ злонравныхъ». Это, впрочемъ, чуть ли не слабѣйшая изъ всѣхъ сатиръ Кантемира. Въ ней больше разсужденій, больше морали, нежели желчи. Впрочемъ, и въ ней есть мѣста замѣчательныя.

Вотъ, напримѣръ, картина жизни фата, или льва того времени.

Пѣлъ пѣтухъ, встала заря, лучи освѣтили
Солнца верхи горъ; тогда войско выводили
На поле предки твои, а ты подъ парчою,
Углубленъ мягко въ пуху тѣломъ и душою,
Грозно сопешь; когда дни пробѣгутъ двѣ доли,
Зѣвнешь, растворишь глаза, выспишься до воли,
Тянешься ужь часъ другой, нѣжишься ожидая
Пойла, что шлетъ Индія, иль везутъ съ Китая.
Изъ постели къ зеркалу однимъ спрыгнешь скокомъ,
Тамъ ужь въ попеченіи и трудѣ глубокомъ,

Женскихъ достойную плечъ завѣску на спину
Вскинувъ, волосъ съ волосомъ прибираешь къ чину.
Часть надъ лоскимъ лбомъ торчать будутъ сановиты,
По румянымъ часть щекамъ въ колечки завиты
Свободно станетъ играть, часть уйдетъ за темя
Въ мѣшокъ. Дивится тому строенію племя
Тебѣ подобныхъ; ты самъ, новый Нарцисъ, жадно
Глотаешь очьми себя; нога жмется складно
Въ тѣсномъ башмакѣ твоя, потъ со слугъ валится,
Въ двѣ мозоли и тебѣ красота становится;
Избитъ полъ и подъ башмакъ стерто много мѣлу.
Деревню вздѣнешь потомъ на себя ты цѣлу.

Дальнѣйшее описаніе облаченія фата, и въ особенности слова сатирика на счетъ того, какъ хорошо воспользовался фатъ своимъ путешествіемъ по Европѣ, чрезвычайно забавны, за исключеніемъ устарѣлаго языка, слога и силлабическаго стихосложенія. Пусть читатели сами повѣрятъ справедливость нашихъ словъ, прочтя эту сатиру всю, а мы выпишемъ изъ нея еще вотъ эти стихи:

Бѣдныхъ слезы предъ тобой льются, пока злобно
Ты смѣешься нищетѣ; каменный душою
Бьешь холопа до крови, что махнулъ рукою
Вмѣсто правой лѣвою (звѣрямъ лишь прилична
Жадность крови; *плоть въ слугѣ твоей одноличиа*).
Мало, правда, ты копишь денегъ, но къ нимъ жаденъ:
Мотъ почти всегда живетъ сребролюбьемъ смраденъ,
И все законно онъ мнитъ, что̀ ужь истощенной
Можетъ дополнить мѣшокъ; нужды совершенной
Стала ему золота куча, безъ которой
Прохладамъ долженъ своимъ конецъ видѣть скорой.

Въ этомъ отрывкѣ есть стихи (не указываемъ на нихъ: человѣческое чувство читателя ихъ угадаетъ и безъ насъ), которые могутъ служить торжественнымъ и не опровержимымъ доказательствомъ, что наша литература, даже въ самомъ началѣ ея, была провозвѣстницею для общества всѣхъ благородныхъ чувствъ, всѣхъ высокихъ понятій. Да,

она умѣла не только льстить, но и выговаривать святыя истины о человѣческомъ достоинствѣ. Самая лесть у ней была не столько убѣжденіемъ, сколько, во первыхъ, подчиненіемъ всѣми принятому обычаю, а во вторыхъ, риторическою манерою. До поэзіи достигала она, и у самаго Державина, только тамъ, гдѣ онъ переставалъ быть поэтомъ въ духѣ времени и становился просто человѣкомъ. Простимъ же ей—нашей старой литературѣ, ея грѣхи, вольные и невольные, и будемъ ей благодарны за то, что она, и только одна она была воспитательницею юнаго, созданнаго Петромъ Великимъ общества, отъ Кантемира до нашихъ временъ. По мнѣ, нѣтъ цѣны этимъ неуклюжимъ стихамъ умнаго, честнаго и добраго Кантемира:

. . . . Лучшую дорогу
Избралъ, кто правду всегда говорить принялся;
Но и кто правду молчатъ, виновенъ не стался,
Буде ложью утаить правду не посмѣетъ.
Счастливъ, кто средины оной держаться умѣетъ;
Умъ свѣтлый нуженъ къ тому, разговоръ пріятный,
Учтивость приличная, что дастъ родъ знатный.
Ползать не совѣтую, хоть спѣси гнушаюсь,
. . . .
Адамъ дворянъ не родилъ, но одному сыну
Жребій былъ копать садъ, пасть другому скотину;
Ной въ ковчегѣ съ собою спасъ все себѣ равныхъ
Простыхъ земледѣтелей, нравами лишь славныхъ:
Отъ нихъ мы произошли, одинъ поранѣе
Оставя дудку, соху, другой—попозднѣе.

Чтобъ не возвращаться опять къ одному и тому же предмету, выпишемъ теперь же изъ шестой сатиры стихи, въ которыхъ Кантемиръ казнитъ насмѣшкою добровольное униженіе человѣческаго достоинства низкопоклонствомъ и лестью:

Съ пѣтухами пробудясь, нужно потащиться
Изъ дому въ домъ на поклонъ, въ переднихъ томиться,
Полдня торчать на ногахъ съ холопы въ беседѣ,

Ни сморкнуть, ни кашлянуть смѣя. По обѣдѣ
Та же жизнь до вечера; ночь вся безпокойно
Пройдетъ, думая къ кому поутру пристойно
Еще бѣжать, передъ кѣмъ гнуть шею и спину,
Что̀ слугѣ въ подарокъ, что̀ понесть господину,
Нужно часто полыгать, небылицѣ вѣрить,
Что одною скорлупою можно море смѣрить;
Господскую сносить спѣсь, признавать, что родомъ
Моложе Владиміра однимъ только годомъ,
Хоть ты помнишь, какъ отецъ носилъ кафтанъ сѣрой;
Кривую жену его называть Венерой.
И въ шальныхъ дѣтяхъ хвалить остроту природну;
Не зѣвать, когда онъ самъ несетъ сумасбродну.
Нужно благодѣтелемъ звать того, другого,
Отъ кого вѣкъ не видать добра никакого...

Третья сатира, «Къ Ѳеофану, епископу новгородскому», написанная въ 1730 году, разсуждаетъ о различіи страстей человѣческихъ. Тутъ осмѣиваются сребролюбцы, сплетники, болтуны, ханжи, самолюбцы, пьяницы, завистники и т. п. Въ четвертой сатирѣ, написанной въ 1731 г. Кантемиръ спрашиваетъ свою музу, не пора ли имъ перестать писать сатиры?

. . . . Многимъ тѣ нелюбы,
И ворчатъ ужъ не одинъ, что гдѣ нѣтъ мнѣ дѣла,
Тамъ мѣшаюсь, и кажу себя чрезчуръ смѣла.

Ты (говоритъ онъ своей музѣ) смѣло хулишь и находишь свое веселіе въ томъ, чтобы бѣсить злыхъ, «а я вижу, что въ чужомъ пиру мнѣ похмѣлье». Одинъ (продолжаетъ сатирикъ) хочетъ потянуть меня къ суду, что, нападая на пьяницъ, «умаляю кружальные доходы»; другой, похваляясь, что отъ доски до доски прочелъ Библію острожской печати, убѣдился изъ нея, что «во мнѣ нечистый духъ злословитъ бороду»; третій сердится, что нападаю на взятки. Тогда сатирикъ, желая перемѣнить грубый тонъ на вѣжливый, начинаетъ иронически хвалить глупцовъ и негодяевъ; но это доводитъ его до сознанія, что онъ не

умѣетъ и въ шутку хвалить того, что̀ считаетъ дурнымъ.

. . . . когда хвалы принимаюсь
Писать, когда, Муза, твой нравъ сломить стараюсь,—
Сколько ногти ни грызу, и тру лобъ вспотѣлый,
Съ трудомъ стишка два сплету, да и тѣ не спѣлы,
Жостки, досадны ушамъ, и на тѣ походятъ,
Что по цѣлой азбукѣ святыхъ житья водятъ *).
Духъ твой лѣнивъ, и въ зубахъ вязнетъ твое слово
Не забавно, не красно, не сильно, не ново;
А какъ въ нравахъ вредно что̀ усмотрю, умняе
Самъ ставши, подъ перомъ стихъ течетъ скоряе;
Тогда я стихотворцемъ самъ себя поздравлю,
И чтецовъ моихъ зѣвать тщетно не заставлю;
Проворенъ, веселъ спѣшу, какъ вождь на побѣду,
Иль какъ попъ съ похоронъ къ жирному обѣду.

Кантемиръ заключаетъ эту сатиру тѣмъ, что сатиры могутъ не нравиться только дурнымъ людямъ и глупцамъ, на которыхъ нечего смотрѣть:

Такимъ однимъ сатира наша быть противна
Можетъ; да ихъ нечего щадить, и не дивна
Мнѣ любовь ихъ, какъ и гнѣвъ ихъ мнѣ страшенъ мало.
Просить у нихъ не хочу, съ ними не пристало
Вестись, чтобъ не почернѣть, касаяся сажи;
Вредить не могутъ тѣ мнѣ, пока въ сильной стражи
Нахожусь матери отечества правой.
А коимъ Богъ чистой духъ далъ и разумъ здравой
Беззлобны беззлобные наши стихи взлюбятъ,
И охотно станутъ честь, надѣясь, что сгубятъ,
Можетъ быть, или уменьшатъ злые людей нравы.
Сколько тѣмъ придастся имъ и пользы и славы!

*) Вотъ примѣчаніе, изъ изданія 1762 г., на этотъ стихъ: «нѣкто, прозваніемъ *Максимовичъ*, стихами описалъ и по азбукѣ расположилъ житія святыхъ печерскихъ. Сія книга напечатана въ Кіевѣ въ листъ, и пальца въ два толщины; однакожъ въ ней, кромѣ именъ святыхъ и государя царевича Алексѣя Петровича, которому приписана, ничего путнаго не найдешь».

Въ этихъ стихахъ—весь Кантемиръ! Этотъ человѣкъ не былъ поэтомъ; непосредственный художественный талантъ не былъ его удѣломъ. Его поэзія—поэзія ума, здраваго смысла и благороднаго сердца. Кантемиръ въ своихъ стихахъ—не поэтъ, а публицистъ, пишущій о правахъ энергически и остроумно. Насмѣшка и иронія—вотъ въ чемъ заключался талантъ Кантемира.

Пятая сатира, «Сатиръ и Періергъ», написанная въ 1737 году, въ Лондонѣ, устремлена на «человѣческія злоправія вообще». Ея форма очень изыскана, и въ цѣломъ она скучна; но подробности есть удивительныя, какъ, напримѣръ, это мѣсто:

Болваномъ Макаръ вчера казался народу
Годенъ лишь дрова рубить, или таскать воду;
О безуміи его худая шла повѣсть,
Углемъ чернымъ всякъ пятналъ его плоху совѣсть.
Улыбнулося тому жь счастіе Макару,—
И сегодня временщикъ: ужь онъ всѣмъ подъ пару
Честнымъ, знатнымъ, искуснымъ людямъ становится,
Всякъ уму наперерывъ чудному дивится,
Сколько пользы отъ него царство ждать имѣетъ.
Поправить взглядомъ однимъ все легко умѣетъ.
Чѣмъ бывшій глупецъ предъ нимъ народъ весь озлобилъ;
Богъ въ благополучіе ваше его собилъ.

Заключеніе этой сатиры особенно забавно. Изсчисляя разныя человѣческія глупости, сатирикъ говоритъ:

Пахарь, соху ведучи, иль оброкъ считая,
Не однажды привздохнетъ, слезы отирая:
За что-де меня Творецъ не сдѣлалъ солдатомъ?
Не ходилъ бы въ сѣрякѣ, но въ платьѣ богатомъ,
Зналъ бы лишь одно свое ружье да капрала,
На правежѣ бы нога моя не стояла.
Для меня бъ свинья моя только поросилась,
Съ коровы мнѣ бъ молоко, мнѣ бъ куря неслась,
А то все прикащицѣ, стряпчицѣ, княгинѣ
Понеси въ поклонъ, а самъ жирѣй на мякинѣ.

Пришолъ наборъ, пахаря вписали въ солдаты:
Не однажды дымныя вспомнитъ ужь палаты,
Проклинаетъ жизнь свою въ зеленомъ кафтанѣ,
Десятью заплачетъ въ день по сѣромъ жупанѣ.
То-ль не житье было мнѣ, говоритъ, въ крестьянствѣ?
Правда, тогда не ходилъ я въ такомъ убранствѣ;
Да лѣтомъ въ подклѣтѣ я, на печи зимою
Сыпалъ, въ дождикъ изъ избы я вонъ ни ногою;
Заплачу подушное, оброкъ господину,
Какую жъ больше найду я тужить причину?
Щей горшокъ, да самъ большой, хозяинъ я дома,
Хлѣба у меня черезъ годъ, а скотамъ солома.
Дальна ѣзда мнѣ была съѣздить въ торгъ для соли
Иль въ праздникъ пойдти въ село, и то съ доброй воли
А теперь—чортъ, не житье, волочись по свѣту,
Все бы рубашка бѣла, а вымыть чѣмъ нѣту;
Ходи въ штанахъ, возися за ружьемъ пострѣлымъ,
И гдѣ до смерти всѣхъ бьютъ надобно быть смѣлымъ.
Ни выспаться некогда, часто нѣтъ что кушать;
Наряжать мнѣ все собой, а сотерыхъ слушать...
Чернецъ тотъ, коль день назадъ чрезмѣрну охоту
Имѣлъ ходить въ клобукѣ, и всяку работу
Въ церкви легку сказывалъ, прося со слезами,
Чтобъ и онъ съ небесными былъ въ счетѣ чинами,—
Сегодня не то поетъ: радъ бы скинуть рясу,
Скучили ужь сухари, полетѣлъ бы къ мясу;
Радъ къ чорту въ товарищи, лишь бы бѣльцомъ быти,
Нѣтъ мочи ужь ангеломъ въ слабомъ тѣлѣ слыти.

Шестая сатира, написанная въ 1738 году, разсуждаетъ «о истинномъ блаженствѣ». Сатирикъ доказываетъ въ ней, что истинное счастіе заключается въ благоразумной серединѣ и въ бесѣдѣ съ музами. Седьмая сатира, «Къ князю Никитѣ Юрьевичу Трубецкому», написанная въ 1739 году, въ Парижѣ, разсуждаетъ «о воспитаніи». Эта сатира исполнена такихъ здравыхъ, гуманныхъ понятій о воспитаніи, что стоила бы и теперь быть напечатанною золотыми буквами; и не худо было бы, если бы вступающіе въ бракъ предварительно заучивали ее наизусть.

Вотъ нѣсколько отрывковъ на выдержку:

Завсегда дѣтямъ твердя строгіе уставы
Наскучишь; истребишь въ нихъ всяку любовь славы,
Если часто предъ людьми обличать ихъ станешь:
Дай имъ время и играть; самъ себя обманешь,
Буде станешь торопить лишно спѣша дѣло;
Наединѣ исправлять можешь ты ихъ смѣло.
Ласковость больше въ одинъ часъ дѣтей исправитъ,
Нежъ суровость въ цѣлый годъ; кто часто заставитъ
Дрожать сына предъ собой, хвальну въ немъ загладитъ
Смѣлость, и безвременно торопѣть повадитъ.
Счастливъ, кто надеждою похвалъ взбудить знаетъ
Младенца; много къ тому примѣръ пособляетъ:
Относятъ къ сердцу глаза вѣсть уха скоряе.
. . . .
Не одни тѣ растятъ насъ, коимъ наше дѣтство
Ввѣрено; со всѣхъ сторонъ находитъ посредство
Вскользнуться внутрь сердца нравъ: *все*, что окружаетъ
Младенца, *произвести въ немъ нравъ помогаетъ*.
. . . .
Обычно цвѣтъ чистоты первой увядаетъ
Отрока въ объятіяхъ рабыни; и знаетъ
Унесши младенецъ, что небомъ и землею
Отлыгаться предъ отцомъ, наставленъ слугою.
Слуги язва суть дѣтей; родителей злѣе
Всѣхъ примѣръ. Часто дѣти были бы честнѣе,
Еслибъ и мать и отецъ предъ младенцемъ знали
Собой владѣть, и языкъ свой въ уздѣ держали.

Повторяемъ: такія мысли о воспитаніи и теперь скорѣе новы, нежели стары.

Восьмая сатира, «На безстыдну нахальчивость», написанная въ 1739 году, въ Парижѣ, заключаетъ въ себѣ понятіе сатирика о скромности. Онъ говоритъ о томъ, какъ осторожно пишетъ свои стихи, не лѣнится ихъ «хѣрить»; прячетъ надолго въ ящикъ, и, сбираясь печатать, выправляетъ.

Стыдливымъ, боязливымъ, и всегда собою
Недовольнымъ быть во мнѣ природы рукою
Втиснено, иль отеческимъ совѣтомъ изъ дѣтства.

Въ параллель себѣ, сатирикъ противопоставляетъ людей наглыхъ и безстыдныхъ.—Кантемиръ началъ было и девятую сатиру, но за болѣзнію не могъ ея написать.

Мелкія стихотворенія Кантемира любопытны, но не столько, какъ поэтическія произведенія, сколько какъ произведенія человѣка съ умомъ и сердцемъ. Если хотите, въ нихъ есть своя гармонія, свой ритмъ, замѣтна поэтическая, или, лучше сказать, стихотворческая замашка; но поэзіи мало. Кантемиръ писалъ пѣсни, басни и эпиграммы. Пѣсни его раздѣляются на любовныя и на нравственныя. Первыя остались ненапечатанными и, вѣроятно, погибли для потомства,—что́ очень жаль, потому что, по словамъ самого Кантемира, онѣ имѣли большой успѣхъ: онъ самъ говоритъ въ четвертой сатирѣ:

Довольно моихъ поютъ пѣсней и дѣвицы
Чистыя, и отроки, коихъ отъ денницы
До другой, невидимо колетъ любви жало.

А въ примѣчаніи къ этимъ стихамъ сказано: «сатирикъ сочинилъ многія пѣсни, которыя въ Россіи и нынѣ поются». Кантемиръ какъ бы раскаявается въ этихъ пѣсняхъ, какъ въ грѣхѣ своей юности; въ этой же сатирѣ онъ говоритъ:

Любовны пѣсни писать, я чаю, тѣхъ дѣло,
Коихъ столько умъ не спѣлъ, сколько слабо тѣло.

Вотъ образчикъ нравственныхъ пѣсенъ Кантемира:

Видишь Никита, какъ крылато племя
Ни землю пашетъ, ни жнетъ, ниже сѣетъ;
Отъ руки вышней однакъ въ свое время
Пищу довольну, жизнь продлить, имѣетъ.
Лилеи въ полѣ, какъ зришь, многоцвѣтной
Ни прядетъ, ни тчетъ царь мудрый Сіона;
Однако въ славѣ своей столь примѣтной
Не имѣлъ одежды, ты голосъ закона,
Въ сердцахъ природа кой отъ вѣкъ вложила,
И Богъ во плоти подтвердилъ, внушая,

Что̀ честна, блага, пусть того лишь сила
Тобой владѣетъ, злости убѣгая, и пр.

Изъ этого отрывка достаточно видно, что преобладающее направленіе Кантемира было не поэтическое, а дидактическое и что трудность выражаться на языкѣ не только необработанномъ, даже нетропутомъ, много мѣшала ясности и красотѣ его слога. Басни Кантемира интересны, какъ первые опыты въ этомъ родѣ—не самого автора, а русскаго языка. Ихъ, впрочемъ, немного—всего шесть. Изъ девяти эпиграммъ, выпишемъ одну для образчика.

На что Друзъ Лиду беретъ?—Дряхла ужь и сѣда,
Съ трудомъ ножку воробья сгрызетъ въ полобѣда.
Къ старинѣ охотникъ Друзъ, въ томъ забаву ставитъ;
Лидой медалей число собранныхъ прибавитъ.

Наконецъ, къ числу стихотворческихъ трудовъ Кантемира принадлежитъ еще «Десять Писемъ Гораціевыхъ», стихами безъ риѳмъ, съ приложеніемъ письма о русскомъ стихосложеніи, подъ вымышленнымъ именемъ Макентина (напеч. въ Санктпетербургѣ 1744 и 1788 г.); «Оды Анакреонтовы» (были ли напечатаны, когда и гдѣ, или не были напечатаны—неизвѣстно). Сверхъ того, Кантемиръ предупредилъ Ломоносва въ намѣреніи—воспѣть въ эпической поэмѣ подвиги Петра Великаго: поэма Ломоносова называлась «Петріадою», Кантемира — «Петреидою» и, подобно первой, не была кончена *).

---

*) Труды Кантемира въ прозѣ были слѣдующіе: 1) *Разговоры о множествѣ міровъ, соч. Фонтенелла*, перев. съ франц. Санктпетербургъ, три изданія (когда вышло первое изданіе, неизвѣстно; второе—въ 1761, третье—въ 1802); оставшіеся въ рукописи: 2) *Юстинова исторія*; 3) *Корнелій Непотъ*; 4) *Кевита таблица;* 5) *Письма Персидскія Монтескье;* 6) *Епиктетово нравоученіе*; 7) *Итальянскіе разговоры г. Алгеротти о свѣтѣ.* Всѣ эти переводы интересны, какъ живой памятникъ первой борьбы русскаго языка съ европейскими идеями, и какъ факты исторіи русскаго языка. Сверхъ того, оста-

Всѣ эти стихотворенія, равно какъ и прозаическіе труды Кантемира, очень важны, какъ первые опыты, которые должны были и другихъ подвигнуть къ литературной дѣятельности; важны они еще и какъ первый памятникъ тяжелой борьбы умнаго, ученаго и даровитаго писателя съ трудностями языка не только не разработаннаго, но и нетронутаго, подобно полю, которое, кромѣ дикихъ самородныхъ травъ, ничего не произрощало. Перо Кантемира, было первымъ плугомъ, который прошелъ по этому полю. Скажутъ: у насъ и до Кантемира была словесность. Такъ, но какая? теологически-схоластическая, или лѣтописная, или, наконецъ, состоявшая изъ произведеній народной поэзіи. Но честь усилія—найдти на русскомъ языкѣ выраженіе для идей, понятій и предметовъ совершенно новой сферы — сферы европейской, принадлежитъ прямѣе всѣхъ Кантемиру. И еще большее и высшее значеніе имѣютъ его сатиры. Здѣсь Кантемиръ является первымъ писателемъ, вызваннымъ реформою того Петра Великаго, образъ и духъ котораго глубоко впечатлѣлся еще въ юношеской душѣ будущаго сатирика. Такимъ образомъ, Кантемиръ былъ первымъ сподвижникомъ Петра на такомъ поприщѣ, котораго Петръ не дождался увидѣть, но которое, какъ и все въ Россіи, приготовлено имъ же. О, какъ бы горячо обнялъ великій преобразователь Россіи двадцатилѣтняго стихотворца, если бы дожилъ до его первой сатиры! Но за Петра это сдѣлалъ одинъ изъ птенцовъ его орлинаго гнѣзда—Ѳеофанъ Прокоповичъ. Сатиры Кантемира—

лось въ рукописи сочиненіе Кантемира: *Руководство къ Алгебрѣ*, и никогда не были обнародованы его дипломатическія изъ Лондона и Парижа реляціи, письма, замѣчанія, вѣроятно очень любопытныя не въ одномъ литературномъ отношеніи. Изъ напечатанныхъ его сочиненій извѣстно еще: *Симфонія или согласіе на боговдохновенную книгу псалмовъ царя и пророка Давида* (Спб. 1727, второе изданіе 1821). Это сводъ всѣхъ стиховъ псалтыря, по азбучному порядку, для удобнѣйшаго прінсканія текстовъ.

подражаніе и, большею частію, то переводъ, то передѣлка сатиръ Горація, Буало и, частію Ювенала; но тѣмъ не менѣе, онѣ—въ высшей степени оригинальныя произведенія: такъ умѣлъ Кантемиръ примѣнить ихъ къ быту и потребностямъ русскаго общества! Онъ не нападаетъ въ нихъ на пороки, свойственные созрѣвшимъ или перезрѣвшимъ цивилизаціямъ: нѣтъ, онъ нападаетъ на фанатизмъ невѣжества, на предразсудки современнаго ему русскаго общества. Во второй сатирѣ онъ осмѣиваетъ дворянскую спѣсь—порокъ столь же свойственный русскимъ, сколько и всякому другому народу въ Европѣ; но колоритъ этого порока, равно какъ и манера нападать на него, въ его сатирѣ—чисто русскіе. Короче: подражая Горацію и Буало, Кантемиръ до того обрусилъ ихъ въ своихъ сатирахъ, что аббатъ Гуаско не усомнился перевести ихъ на французскій языкъ, какъ произведенія, которыя для Французовъ могли имѣть всю прелесть оригинальности. И вотъ въ чемъ состоитъ великая заслуга Кантемира не только передъ русскимъ языкомъ, или русскою литературою, но и передъ русскимъ обществомъ его времени. Теперь вопросъ: какъ велико было вліяніе сатиръ Кантемира на русское общество, въ которомъ грамотность была мало распространена, а о литературности не было и помина? Сатиры Кантемира изданы гораздо послѣ его смерти (въ 1762 году), но съ его собственноручнаго списка, посланнаго имъ изъ Парижа, къ императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, съ посвященіемъ ей. Онѣ снабжены многочисленными подробными примѣчаніями въ выноскахъ, кѣмъ писанными — неизвѣстно, но кажется, не самимъ Кантемиромъ. При каждой сатирѣ, въ примѣчаніи говорится: издана въ такое-то время; но кажется, здѣсь слово издана значитъ ни больше, ни меньше, какъ — написана, и при жизни Кантемира, кажется, ни одна сатира его не была напечатана. Но тѣмъ не менѣе, не подвержено никакому сомнѣнію, что сатиры Кантемира, какъ и всѣ его стихо-

творныя произведенія, пользовались большою извѣстностію въ обществѣ того времени. Самъ Кантемиръ говоритъ о большомъ успѣхѣ его любовныхъ пѣсенъ. Рукописныя сатиры свои онъ прислалъ императрицѣ: значитъ онѣ были ей извѣстны и прежде, а если такъ: значитъ, на нихъ всѣ смотрѣли, какъ на что-то важное. Если ихъ читала императрица, то читалъ и дворъ. Сверхъ того, онѣ нашли себѣ большую извѣстность и большое одобреніе въ духовенствѣ, между которымъ было тогда много людей ученыхъ и образованныхъ. Ѳеофанъ Прокоповичъ до того былъ восхищенъ первою сатирою Кантемира, что написалъ къ ихъ автору, не зная его, извѣстное посланіе, которое начинается стихомъ: «Не знаю, кто ты, пророче рогатый», и которое дышитъ не поддѣльнымъ восторгомъ. Новоспасскій архимандритъ Ѳеофилъ Кроликъ привѣтствовалъ Кантемира тоже посланіемъ въ стихахъ, только на латинскомъ языкѣ. О чемъ говорятъ и чѣмъ интересуются высшіе представители общества по уму, образованности и знатности,—о томъ, разумѣется, говоритъ и общество. Поэтому очень могло быть, что сатиры Кантемира скоро пошли разгуливать въ спискахъ по всей Россіи, между грамотнымъ народомъ. Это тѣмъ естественнѣе, что въ сатирахъ Кантемира почти вовсе нѣтъ, или есть очень мало риторики, что въ нихъ говорится только о томъ, что у всѣхъ было передъ глазами, и говорится не только русскимъ языкомъ, но и русскимъ умомъ. Въ жизнеописаніи Кантемира сказано, что всѣ сатиры его имѣли большой успѣхъ, и что «многіе его стихи пошли въ пословицы». И не мудрено: въ сатирахъ Кантемира попадаются стихи до того забавные и наивно-остроумные, что невольно остаются въ памяти. Таковы, напримѣръ, эти два стиха въ первой сатирѣ:

И проситъ свята душа съ горькими слезами
Смотрѣть, сколь сѣмя наукъ вредно между нами.

Таковы же стихи, которые приведемъ изъ разныхъ сатиръ.

Ябеда и ея другъ дьякъ или подъячій.

—

. . . . Безъ всякой украсы
Болтнешь, что не дѣлаютъ чернца однѣ рясы.

—

Сегодня одинъ изъ тѣхъ дней святъ Николаю,
Для чего весь городъ пьянъ отъ края до краю.

—

Вино долженъ перевесть, кто пьяныхъ не любитъ.

—

Пространный столъ, что семьѣ поповской съѣсть трудно
Въ тридцать блюдъ, еще ему мнилось яство скудно.

—

Мнѣ ли въ такомъ возрастѣ поправлять довлѣетъ
Сѣдыхъ, пожилыхъ людей, кои чтутъ съ очками,
И чуть три зуба сберечь могли за губами;
Кои помнятъ моръ въ Москвѣ, и какъ сего года,
Дѣла Чигиринскаго сказуютъ похода.

Послѣдній стихъ невольно приводитъ на память стихи Грибоѣдова:

Извѣстія черпаютъ изъ забытыхъ газетъ
Временъ очаковскихъ и покоренья Крыма.

Кантемиръ, по своему болѣзненному сложенію, меланхолическому характеру, былъ наклоненъ къ нравственному дидактизму. Немножко суровый моралистъ (что доказываетъ его раскаяніе въ любовныхъ пѣсняхъ) и весьма остроумный человѣкъ, Кантемиръ любилъ только избранное общество, слѣдовательно не любилъ общества вообще, которое оскорбляло его своими пороками и недостатками; такой характеръ предполагаетъ раздражительность и любовь къ уединенію. Всѣ эти обстоятельства необходимо дѣлали Кантемира сатирикомъ. По языку неточному, неопредѣленному, по конструкціи часто запутанной, не говоря уже о страшной устарѣлости, въ наше время того и другаго, по стихосложенію, столь не свойственному русской просодіи, сатиры Кантемира нельзя читать безъ нѣкотораго напряженія, тѣмъ

болѣе нельзя ихъ читать много и долго. Но, несмотря на то, въ нихъ столько оригинальности, столько ума и остроумія, такія яркія и вѣрныя картины тогдашняго общества, личность автора отражается въ нихъ такъ прекрасно, такъ человѣчно, что развернуть изрѣдка старика Кантемира и прочесть которую-нибудь изъ его сатиръ есть истинное наслажденіе. По крайней мѣрѣ, для меня гораздо легче и пріятнѣе читать сатиры Кантемира, нежели громозвучныя оды Ломоносова, поэмы Хераскова и даже многія оды Державина (какъ напримѣръ: «На взятіе Измаила», «Цѣленіе Саула» и т. п.); отъ всѣхъ этихъ одъ и поэмъ можно заснуть, а отъ сатиръ Кантемира проснуться. Вообще, для меня, Кантемиръ и Фонъ-Физинъ, особенно послѣдній, самые интересные писатели первыхъ періодовъ нашей литературы: они говорятъ мнѣ не о заоблачныхъ превыспренностяхъ по случаю плошечныхъ иллюминацій, а о живой дѣйствительности, исторически существовавшей, о нравахъ общества, которое такъ не похоже на наше общество, но которое было ему роднымъ дѣдушкою.

Посвященіе сатиръ Кантемира Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, по своему изобрѣтенію, напоминаетъ оду Державина «По слѣдамъ Анакреона».

О Кантемирѣ, кромѣ статьи Жуковскаго, напечатанной въ «Вѣстникѣ Европы» 1809 года, почти ничего дѣльнаго писано не было. Сочиненія и переводы его большею частію остались ненапечатанными, а напечатанныя изданы врознь. Въ 1836 году, кѣмъ-то было предпринято изданіе «Русскихъ Классиковъ», началось съ Кантемира да на немъ и остановилось, кажется, на пятой сатирѣ. Изданіе это было красивое, и снабженное біографіей Кантемира и необходимыми примѣчаніями. Жаль только, что примѣчанія не были слово въ слово перепечатаны съ изданія 1762 года: они необходимы, потому-что характеризуютъ духъ времени, со-состояніе русскаго языка и общества того времени.

ИВАНЪ ЯКОВЛЕВИЧЪ КРОНЕБЕРГЪ *).

(НЕКРОЛОГЪ.)

Послѣднее время было очень неблагопріятно для нашей литературы: смерть лишила ее, одного за другимъ, самыхъ примѣчательныхъ ея дѣятелей, и все это въ продолженіи двухъ послѣднихъ лѣтъ. Пушкинъ, Дмитріевъ, Марлинскій, Полежаевъ — сколько потерь и какія потери!... Недавно выбылъ изъ пустѣющихъ рядовъ нашей литературы и еще одинъ изъ умственныхъ дѣятелей. Мы говоримъ объ Иванѣ Яковлевичѣ Кронебергѣ. Любя знаніе, какъ цѣль, а не средство, онъ не слѣдилъ за вѣтреными прихотями толпы, не толкался на рынкѣ литературныхъ предпріятій; но, въ свободное отъ своихъ гражданскихъ обязанностей время, уединялся въ тиши своего кабинета, читалъ, перечитывалъ и изучалъ своего любимѣйшаго поэта — Шекспира, писалъ разборы и замѣчанія на его драмы; изслѣдовалъ разные эстетическіе вопросы, преслѣдовалъ судьбы искусства у древнихъ и новыхъ народовъ. Наука древностей въ особенности была предметомъ его занятій, и много матеріяловъ изготовилъ онъ для огромнаго сочиненія по этой части. Эта мирная и чуждая претензій дѣятельность не могла доставить ему той блестящей и часто мишурной извѣстности, за которою такъ гонятся толпа; сверхъ того, нѣсколько тяжеловатый, мало литературный слогъ,

*) Моск. Набл. 1839 г. кн. 2.

обличающій иностранца, былъ также причиною, почему труды покойнаго Кронеберга пользовались не такою извѣстностію, какой они заслуживали. Но люди, которые понимаютъ достоинство мысли и ищутъ не фразъ, а истинъ— знали, знаютъ и всегда будутъ знать Кронеберга. Глубокая мысль, оригинальность и мужественная самобытность взгляда — плодъ глубокой души, богатой опытами жизни, и огромной классической учености: вотъ чѣмъ ознаменованы всѣ труды Кронеберга. Юношество, стремящееся къ мысли и знанію, въ брошюркахъ и разныхъ статьяхъ Кронеберга, всегда найдетъ для себя о чемъ подумать, чему поучиться.

Иванъ Яковлевичъ Кронебергъ родился въ Москвѣ, 19 февраля, 1788 года. Въ 1800 году онъ былъ отправленъ, вмѣстѣ съ братомъ своимъ, въ Германію, въ педагогическое заведеніе въ Галле, гдѣ и пробылъ до 1805 года, занимаясь подъ руководствомъ профессора Нимейера. Перешедши изъ Галле въ Енскій университетъ, онъ началъ было изучать юриспруденцію, но «утомившись сухостію сего предмета, взялся за философію и литературу. Ведя жизнь уединенную, я чувствовалъ какое-то неизъяснимое блаженство. Пріятный климатъ и живописные окрестности, независимость и свобода, любимыя занятія и незнаніе нужды, юность и поэзія—вотъ элементы этого блаженства» *). Изъ Ены онъ сдѣлалъ два путешествія: одно пѣшкомъ въ Нюрнбергъ, другое въ Брауншвейгъ. Въ 1806 году французская кампанія прервала нить его занятій. Въ это время онъ служилъ cicerone маршалу Дюроку. Въ 1807 году получилъ онъ степень доктора философіи и вслѣдъ за тѣмъ былъ сдѣланъ членомъ Енскаго великогерцогскаго латинскаго общества. Черезъ недѣлю послѣ этого, онъ отправился

*) Эти слова выписаны изъ дневника покойнаго, сыномъ его, А. И. Кронебергомъ, отъ котораго мы и получили всѣ эти подробности о жизни его отца.

въ Россію. Въ 1814 году получилъ онъ дипломъ на члена Енскаго великогерцогскаго литературнаго общества, и въ томъ же году былъ назначенъ директоромъ Коммерческаго училища въ Москвѣ; здѣсь пробылъ до 1818 года. Въ 1819 поступилъ адъюнктомъ въ Харьковскій университетъ, и въ томъ же году былъ сдѣланъ экстраординарнымъ профессоромъ. Въ 1821 году членомъ строительнаго комитета; въ 1822, визитаторомъ для осмотра училищъ въ Курской, Орловской и Воронежской губерніяхъ. Въ 1826 году былъ сдѣланъ ректоромъ Харьковскаго университета, и три раза былъ избираемъ въ эту должность. Въ званіи профессора Харьковскаго университета пробылъ онъ около 20 лѣтъ, и его лекціи, полныя мысли и жизни, сильно дѣйствовали на умы его молодыхъ слушателей и много способствовали къ улучшенію состоянія Харьковскаго университета. Кронебергъ скончался скоропостижно 19 октября прошедшаго 1838 года, въ 8 часовъ вечера, на 53 году своей жизни.

Много ученыхъ трудовъ совершилъ Кронебергъ, много услугъ оказалъ онъ нашей ученой литературѣ; время покажетъ, чего мы лишились въ этомъ человѣкѣ. Но какая потеря для тѣхъ, которые были къ нему близки, которые знали его какъ человѣка!.. Душа юноши цвѣла въ этомъ пятидесятилѣтнемъ мужѣ; интересы духовной жизни не оставляли его ни на минуту. Любознательный, живой, всему доступный, съ удовольствіемъ, съ участіемъ и радушіемъ обращалъ онъ свое вниманіе на все, въ чемъ замѣчалъ жизнь, стремленіе. Какъ всѣ юныя, благодатныя души, онъ и въ преклонныхъ лѣтахъ любилъ юность, охотно бесѣдовалъ съ нею, входилъ въ ея интересы и забывалъ неравенство лѣтъ... Миръ праху твоему, мужъ незабвенный!..

Вотъ перечень всѣхъ ученыхъ и литературныхъ трудовъ Кронеберга, изданныхъ при его жизни:

I. Латинско-Россійскій Лексиконъ, съ полнымъ объясне-

ніемъ всѣхъ свойствъ и значеній каждаго латинскаго слова, и съ показаніемъ собственныхъ именъ, до древней географіи и миѳологіи относящихся. 2 части. Три изданія.

II. Латинская грамматика, издана Императорскимъ Харьковскимъ университетомъ 1825.

III. M. Tullii Ciceronis oratio pro lege Manilia in usum scholarum commentario perpetuo illustravit, adjectis prooemio historico, narratione de Magni Pompeji rebus in Asia gerstis, et indice verborum J. C—C. Chark. 1834.

IV. Censura ingenii et morum A. Persii Flacci.

V. Antiquitates Romanae in usum praelectionum suarum adumbravit. J. C. Chark. 1823.

VI. Horatii Flacci epistola ad Augustum. Commentario perpetuo illustravit J. C. 1823. Cum vita Horatii.

VII. Caji Crispi Sallustii de Catilinae conjuratione liber. Commentario perpetuo illustravit J. C. C. Chark. 1830. Cum additamentis: De Senatu Romano. De coloniis. De Capitolio. De Comitiis populi Romani. De Sestertio. De Massilia. De tribunicia potestate Bellum Maritimum. Bellum Mithridaticum. De ordinibus populi Romani. De patria potestate. De patrocinio. De libris Sibyllinis. De referendi ratione in senatu. De Pontificatu. Bella Macedonica. De Tuscis et Tyrrhenis. De Consulibus. De Praetoribus. Fasti Romanorum.

VIII. Амалтея, или собраніе сочиненій и переводовъ, относящихся къ изящнымъ искусствамъ и древней классической словесности. Харьковъ. 1825—6. 2 части.

Часть I: Завоеванія Римлянъ. Обозрѣніе земель, принадлежавшихъ Римской державѣ. Афоризмы. О изящныхъ произведеніяхъ Римлянъ. Иліада. Clavicula Latina.—

Часть II: Взглядъ на древнюю Грецію. Древняя Греція. Иліада. Clavicula Latina.

IX. Брошюрки, издаваемыя И. Кронебергомъ. Харьковъ. 1830—1833. № 1. Историческій взглядъ на эстетику.— № 2. Отрывки.—№ 3. Заливъ Неаполитанскій. Сирія.—

№ 4. Макбетъ.—№ 5. О переселеніи твореній искусства изъ завоеванныхъ земель въ Римъ.—№ 6. Матеріялы для исторіи эстетики. — № 7. Отрывки и афоризмы. — №. 8. Маргиналіи и выписки: Voyage de Houghton en Afrique. Горнемана путевыя записки отъ Каира до Мурзуха. Мильмена энциклопедическій магазинъ, Кузена введеніе въ исторію философіи. Фикеръ. Беттигеръ. Гееренъ.—№ 9. Поэзія. Шесть одъ Горація. Вертеръ. Apocalypsis cum figuris.— № 10. Философія Ноланская о причинѣ, о началѣ и одномъ.

X. Минерва. Четыре части. Харьковъ. 1835. Часть I. О изобиліи произведеній пластическаго искусства у Грековъ и о причинахъ онаго. О переселеніи твореній искусства изъ завоеванныхъ земель въ Римъ. Историческій взглядъ на эстетику. Афоризмы. — Часть II: Рыцарская поэзія Германцевъ. Гёте. «Фаустъ», «Тассо», «Эгмонтъ». «Вертеръ». Бюргеръ. Дюреръ. Шекспиръ. Исторія піесы «Сонъ въ Лѣтнюю ночь». Шесть одъ Горація.—Часть III: Иліада. Маргиналіи и выписки: Фикера изученіе древнихъ классиковъ; Беттигера археологія; Геерена идеи о политикѣ, бытѣ и торговлѣ древнихъ. Земли древней Азіи. Взглядъ на древнюю Грецію. Заливъ Неаполитанскій.— Часть IV: О латинскомъ языкѣ относительно литературы латинской. Краткое обозрѣніе исторіи древнихъ рукописей съ IV по XV столѣтіе. Историческій взглядъ на литературу въ среднихъ вѣкахъ. 400—1500.

XI. Статьи, напечатанныя въ разныхъ журналахъ: 1. Древняя Географія. 2. Объ изученіи словесности. 3. Древній Карѳагенъ. 4. О сообщеніи путей у древнихъ Римлянъ. — Въ «Ученыхъ Запискахъ Московскаго Университета» помѣщено нѣсколько главъ изъ послѣдняго труда его «Основаніе науки Древностей».—Въ «Московскомъ Наблюдателѣ» за 1838 годъ помѣщены: 1. Письма (№№ 5 и 9). 2. Характеристика древнихъ Грековъ и Римлянъ (№ 10). 3. Маргиналіи и выписки: Астъ; Гейпротъ; Риттеръ (№11).

Въ 13 № «Наблюдателя» за 1838 годъ будетъ помѣщена его антикритика на разборъ г. Бѣлинскаго «Гамлета», переведеннаго г. Полевымъ.

Кромѣ того, послѣ покойнаго осталась бездна бумагъ, изъ которыхъ бо̀льшая часть относится къ послѣднему и главному труду его «Основанія науки Древностей».

АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ КОЛЬЦОВЪ.

Русскій бытъ —
Увы!—совсѣмъ не такъ глядитъ,
Хоть о семейности его
Славянофилы намъ твердятъ
Уже давно, но виноватъ,
Я въ немъ не вижу ничего
Семейнаго... О старинѣ
Разсказовъ много знаю я,
И память вѣрная моя
Тьму пѣсень сохранила мнѣ
Однообразныхъ и простыхъ,
Но страшно грустныхъ... Слышенъ въ нихъ
То голосъ воли удалой,
Все злою долею женой,
Все подколодною змѣей
Опутанный,—то плачъ о томъ,
Что тускло зимнимъ вечеркомъ
Горитъ лучина,—хоть не спать
Бѣдняжкѣ ночь, и друга ждать,
И тѣшить старую любовь,—
Что ту лучину залила
Лихая старая свекровь ..
О, вѣрьте мнѣ: не весела
Картина—русская семья...
Семья для насъ всегда была
Лихая мачиха, не мать...

А. Григорьевъ.

Издавая въ свѣтъ полное собраніе стихотвореній покойнаго Кольцова, мы прежде всего думаемъ выполнить долгъ справедливости въ отношеніи къ поэту, до сихъ поръ еще

не понятому и не оцѣненному надлежащимъ образомъ. Конечно, нельзя сказать, чтобы Кольцовъ не обратилъ на себя общаго вниманія еще при первомъ появленіи своемъ на литературное поприще; но это вниманіе относилось не столько къ поэту съ сильнымъ самобытнымъ талантомъ, сколько къ любопытному феномену. Большею частію, въ немъ видѣли русскаго мужичка, который, едва зная грамотѣ, самъ собою открылъ и развилъ въ себѣ способность писать стишки, и притомъ недурные. Всѣ поняли, что, по таланту, Кольцовъ выше Слѣпушкина, Суханова, Алипанова; но не многіе поняли, что у него рѣшительно не было ничего общаго съ этими поэтами-самоучками, какъ ихъ тогда величали. Впрочемъ, это естественно, и тутъ некого винить. Для вѣрной оцѣнки всякаго поэта нужно время, и не разъ случалось, что даже великіе геніи въ области искусства были признаваемы только потомствомъ. Теперь этого уже не бываетъ, потому что теперь пустому, но блестящему таланту легче попасть въ геніи, нежели генію не быть признаннымъ; но и теперь это признаніе цѣлою массою общества тоже требуетъ времени и обходится не безъ борьбы. То же самое можно отнести ко всякому замѣчательному таланту, выходящему изъ-подъ уровня обыкновенности.

Кромѣ этого обстоятельства, Кольцовъ явился въ то время русской литературы, когда она, такъ сказать, кипѣла новыми талантами въ новыхъ родахъ. Едва замолкли поэты, вышедшіе по слѣдамъ Пушкина, какъ начали появляться романисты, нувеллисты, а потомъ поэты-стихотворцы, рѣзко отличавшіеся отъ прежнихъ своимъ направленіемъ и колоритомъ. Въ литературѣ молодой и не установившейся, новость возбуждаетъ такое же вниманіе, какъ и геніальность, и часто считается за одно съ нею, хотя и не надолго. Среди всѣхъ этихъ новостей, самъ Кольцовъ возбудилъ собою вниманіе, какъ новость, появившаяся подъ

именемъ поэта-прасола. Будь онъ не мѣщанинъ, почти безграмотный, не прасолъ, — его стихотворенія, можетъ-быть, едва ли были бы тогда замѣчены. Первыя стихотворенія Кольцова печатались изрѣдка въ разныхъ малоизвѣстныхъ изданіяхъ. Публика узнала о немъ только въ 1835 году, когда, въ Москвѣ, вышла книжка его стихотвореній, въ числѣ восьмнадцати піесъ, изъ которыхъ едва ли половина носила на себѣ отпечатокъ его самобытнаго таланта, потому-что пора настоящаго творчества и полнаго развитія таланта Кольцова настала только съ 1836 года. Однако же вниманіе, какое обратили на Кольцова многіе литераторы и, между ними, Жуковскій и самъ Пушкинъ, отозвалось и въ публикѣ. Книжка имѣла успѣхъ, и имя Кольцова пріобрѣло общую извѣстность. Съ 1836 года, онъ постоянно печаталъ свои стихотворенія въ журналахъ: «Современникѣ», «Телескопѣ», «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду», «Сынѣ Отечества» (1838), «Московскомъ Наблюдателѣ» (1838—1839), а потомъ большею частію въ «Отечественныхъ Запискахъ», и въ альманахахъ: «Утренняя Заря» и «Сборникъ». Когда даже и большія сочиненія, повѣсти и драмы, разбросаны такимъ образомъ по разнымъ изданіямъ, и тогда публикѣ неудобно составить себѣ о нихъ авторѣ опредѣленное понятіе: тѣмъ болѣе это относится къ автору мелкихъ стихотвореній, которыя, въ продолженіи почти восьми лѣтъ печатались въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ. Появляется въ журналѣ новое стихотвореніе даровитаго поэта, производитъ свой эффектъ—и, какъ все въ мірѣ, мало-по-малу забывается. Иной читатель и хотѣлъ бы вновь перечесть его, но для этого надо отыскивать стихотвореніе въ кучѣ журналовъ; а притомъ, не всякій помнитъ, гдѣ именно помѣщено оно, и не всякій имѣетъ возможность доставать старые журналы. Такимъ образомъ, общій колоритъ и характеръ произведеній поэта ускользаетъ отъ читателей. Отъ времени до времени,

поэтъ производитъ на нихъ впечатлѣніе то тѣмъ, то другимъ своимъ стихотвореніемъ, но не общностію, не цѣлостію своей поэзіи, которая, если онъ поэтъ съ большимъ дарованіемъ, должна представлять собою особый, самобытный и оригинальный міръ дѣйствительности.

Прежде, нежели приступимъ мы къ разсмотрѣнію произведеній Кольцова, считаемъ нужнымъ коснуться нѣкоторыхъ подробностей его жизни. Жизнь Кольцова не богата, или лучше сказать, вовсе бѣдна внѣшними событіями; но тѣмъ богатѣе исторія его внутренняго развитія и тяжелой борьбы между его призваніемъ и его суровою судьбою.

Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ родился въ Воронежѣ, въ 1809 году, октября 2-го. Отецъ его, воронежскій мѣщанинъ, былъ человѣкъ не богатый, но достаточный, промышлявшій стадами барановъ для доставки матеріяла на салотопленные, заводы. Одаренный самыми счастливыми способностями, молодой Кольцовъ не получилъ никакого образованія. Воспитаніе его предоставлено было природѣ, какъ это бываетъ у насъ и не въ одномъ этомъ сословіи. Само-собою разумѣется, что съ раннихъ лѣтъ, онъ не могъ набраться не только какихъ-нибудь нравственныхъ правилъ, или усвоить себѣ хорошія привычки, но и не могъ обогатиться никакими хорошими впечатлѣніями, которыя для юной души важнѣе всякихъ внушеній и толкованій. Онъ видѣлъ вокругъ себя домашнія хлопоты, мелочную торговлю съ ея продѣлками, слышалъ грубыя и не всегда пристойныя рѣчи даже отъ тѣхъ, изъ чьихъ устъ ему слѣдовало бы слышать одно хорошее. Всѣмъ извѣстно, какова вообще наша семейственая жизнь, и какова она въ особенности въ среднемъ классѣ, гдѣ мужицкая грубость лишена добродушной простоты и соединена съ мѣщанскою спѣсью, ломаньемъ и кривляньемъ. По счастію, къ благодатной натурѣ Кольцова не приставала грязь, среди которой онъ родился и на лонѣ которой былъ воспитанъ. Съ дѣтства, онъ жилъ въ

своемъ особенномъ мірѣ,—и ясное небо, лѣса, поля, степь, цвѣты, производили на него гораздо сильнѣйшее впечатлѣніе, нежели грубая и удушливая атмосфера его домашней жизни. Предоставленный самому себѣ, безъ всякаго присмотра, Кольцовъ, подобно всѣмъ дѣтямъ любившій бродить босикомъ по травѣ и по лужамъ, чуть-было не лишился на всю жизнь употребленія ногъ и долго былъ болѣнъ, такъ-что хотя его впослѣдствіи и вылѣчили, однако онъ всегда чувствовалъ отзывы этой болѣзни. Только необыкновенно крѣпкое сложеніе могло спасти его отъ калѣчества или и самой смерти, какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ случаяхъ его жизни. Такъ, напримѣръ, будучи уже старше шестнадцати лѣтъ, онъ, на всемъ скаку, упалъ съ лошади, черезъ ея голову, и такъ сильно ударился тыломъ о землю, что на всю жизнь остался сутуловатымъ. Но несмотря на все это, онъ всегда былъ здоровъ и крѣпокъ.

На десятомъ году, Кольцова начали учить грамотѣ, подъ руководствомъ одного изъ воронежскихъ семинаристовъ. Такъ-какъ грамота ребенку далась, и онъ скоро ей выучился, его отдали въ воронежское уѣздное училище, изъ котораго онъ былъ взятъ, пробывши около четырехъ мѣсяцевъ во второмъ классѣ: такъ-какъ онъ умѣлъ уже читать и писать, то отецъ его и заключилъ, что больше ему ничего не нужно знать, и что воспитаніе его кончено. Не знаемъ, какимъ образомъ былъ онъ переведенъ во второй классъ, и вообще чему онъ научился въ этомъ училищѣ, потому-что, какъ ни коротко мы знали Кольцова лично, но не замѣтили въ немъ никакихъ признаковъ элементарнаго образованія. Мало того: изъ примѣра Кольцова, мы больше всего убѣлись въ важности элементарнаго образованія, которое можно получить въ уѣздномъ училищѣ. При всѣхъ его удивительныхъ способностяхъ, при всемъ его глубокомъ умѣ, — подобно всѣмъ самоучкамъ, образовавшимся урывками, почти тайкомъ отъ родительской власти, Кольцовъ

всегда чувствовалъ, что его интеллектуальному существованію не достаетъ твердой почвы, и что, вслѣдствіе этого, ему часто достается съ трудомъ то̀, что̀ легко усвоивается людьми очень недалекими, но воспользовавшимися благодѣяніями первоначальнаго обученія. Такъ, напримѣръ, онъ очень любилъ исторію, но многое въ ней было для него странно и дико, особенно все, что̀ относилось до древняго міра, съ которымъ необходимо сблизиться въ дѣтствѣ, чтобы понимать его. Для всякаго, кто въ уѣздномъ училищѣ прошелъ хоть Кайданова исторію, незамѣтно дѣлаются какъ будто родственными имена героевъ древности. Древняя жизнь и древній бытъ такъ не похожи на нашу жизнь и нашъ бытъ, что только чрезъ науку, въ лѣта дѣтства, можемъ мы освоиваться съ ними и привыкать находить ихъ возможными и естественными. Вслѣдствіе этого же недостатка въ элементарномъ образованіи, Кольцовъ, при всей глубокости и гибкости своего эстетическаго вкуса, не могъ понимать «Иліады», хотя и не разъ принимался читать ее въ переводѣ Гнѣдича,—между-тѣмъ, какъ Шекспиръ восхищалъ его даже въ посредственныхъ и плохихъ переводахъ, и онъ съ жадностію собиралъ, читалъ и перечитывалъ ихъ. Что онъ не много вынесъ изъ уѣзднаго училища, хотя и пробылъ четыре мѣсяца даже во второмъ классѣ,—это всего яснѣе видно изъ того, что онъ не имѣлъ почти никакого понятія о грамматикѣ и писалъ вовсе безъ орѳографіи.

Несмотря на то, съ училища началось для Кольцова пробужденіе его интеллектуальной жизни: онъ началъ пристращаться къ чтенію. Получаемыя отъ отца деньги на игрушки, онъ употреблялъ на покупку сказокъ, и «Бова Королевичъ» съ «Еруспаномъ Лазаревичемъ» составляли его любимѣйшее чтеніе. На Руси, не одна одаренная богатою фантазіею натура, подобно Кольцову, начала съ этихъ сказокъ свое литературное образованіе. Охота къ сказкамъ всегда есть вѣрный признакъ въ ребенкѣ присутствія фантазіи и па-

клонности къ поэзіи,—и переходъ отъ сказокъ къ романамъ и стихамъ очень естественъ: тѣ и другіе даютъ пищу фантазіи и чувству, съ тою только разницею, что сказки удовлетворяютъ дѣтскую фантазію, а романы и стихи составляютъ потребность уже болѣе развившейся и болѣе подружившейся съ разумомъ фантазіи. Но вотъ особенная черта, обнаружившая въ Кольцовѣ не только пассивную и воспринимающую, но и дѣятельную фантазію: читая сказки, онъ почувствовалъ охоту составлять самому что-нибудь въ ихъ родѣ. Но такъ-какъ тогда онъ еще не имѣлъ привычки повѣрять бумагѣ все, что ни приходило ему въ голову, то его неясныя самому ему авторскія порыванія и остались въ однѣхъ мечтахъ.

Десятилѣтній Кольцовъ взятъ былъ изъ училища отцомъ своимъ для того, чтобы помогать ему въ торговлѣ. Онъ бралъ его съ собою въ степи, гдѣ, въ продолженіе всего лѣта, бродилъ его скотъ; а зимою посылалъ его съ прикащиками на базары для закупки и продажи товара. Итакъ, съ десятилѣтняго возраста, Кольцовъ окунулся въ омутъ довольно грязной дѣйствительности; но онъ какъ будто и не замѣтилъ ея: его юной душѣ полюбилось широкое раздолье степи. Не будучи еще въ состояніи понять и оцѣнить торговой дѣятельности, кипѣвшей на этой степи,—онъ тѣмъ лучше понялъ и оцѣнилъ степь, и полюбилъ ее страстно и восторженно, полюбилъ ее какъ друга, какъ любовницу.

Степь раздольная
Далеко вокругъ,
Широко лежитъ,
Ковылемъ-травой
Разстилается!
Ахъ, ты степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
Къ Морю-Черному
Понадвинулась!

Многія піесы Кольцова отзываются впечатлѣніями, которыми подарила его степь: «Косарь», «Могила», «Путникъ», «Ночлегъ Чумаковъ», «Цвѣтокъ», «Пора любви» и другія. Почти во всѣхъ его стихотвореніяхъ, въ которыхъ степь даже и не играетъ никакой роли, есть что-то степное, широкое, размашистое и въ колоритѣ и въ тонѣ. Читая ихъ, невольно вспоминаешь, что ихъ авторъ—сынъ степи, что степь воспитала его и взлелѣяла. И потому, ремесло прасола не только не было ему непріятно, но еще и нравилось ему: оно познакомило его съ степью и давало ему возможность цѣлое лѣто не разставаться съ нею. Онъ любилъ вечерній огонь, на которомъ варилась степная каша; любилъ ночлеги подъ чистымъ небомъ, на зеленой травѣ; любилъ иногда цѣлые дни не слѣзать съ коня, перегоняя стада съ одного мѣста на другое. Правда, эта поэтическая жизнь была не безъ неудобствъ и не безъ неудовольствій, очень прозаическихъ. Случалось цѣлые дни и недѣли проводить въ грязи, слякоти, на холодномъ осеннемъ вѣтру, засыпать на голой землѣ, подъ шумъ дождя, подъ защитою войлока, или овчиннаго тулупа. Но привольное раздолье степи, въ ясные и жаркіе дни весны и лѣта, вознаграждало его за всѣ лишенія и тягости осени и бурной погоды.

Разставаясь съ степью, Кольцовъ только мѣнялъ одно наслажденіе на другое: въ городѣ его ожидали сказки и товарищи. Симпатичная натура его рано открылась для любви и дружбы. Бывши еще въ училищѣ, онъ сблизился съ мальчикомъ, ровесникомъ ему по лѣтамъ, сыномъ богатаго купца. Стихотвореніе: «Ровеснику», написано Кольцовымъ, кажется, этому первому другу его юности. Сблизила его съ нимъ страсть къ чтенію, которая въ обоихъ ихъ была сильна. У отца пріятеля Кольцова было много книгъ, и друзья пользовались ими свободно, вмѣстѣ читая ихъ въ саду. Кольцовъ даже бралъ ихъ и на домъ. Правда, эти книги были не что-нибудь дѣльное, а романы Дюкре-

дю-Мениля, Августа Лафонтена и подобныхъ имъ; но если для впечатлительной, одаренной сильною фантазіею натуры и сказки о Бовѣ и Еруслапѣ могли служить правственнымъ будильникомъ—то естественно, что эти романы еще болѣе не могли не быть ей полезными. Больше всего полюбились Кольцову изъ этихъ книгъ «Тысяча и одна ночь» и «Кадмъ и Гармонія» Хераскова, особенно первая. И не мудрено: арабскія сказки созданы для того, чтобы плѣнять и очаровывать впечатлительное воображеніе дѣтей и младенчествующихъ народовъ. Тогда русскія простонародныя сказки потеряли для Кольцова всю свою цѣну: это былъ съ его стороны первый шагъ впередъ на пути развитія. Ему уже не хотѣлось сочинять сказокъ: романы овладѣли всѣмъ существомъ его и, разумѣется, у него родилось желаніе самому произвести что-нибудь въ этомъ родѣ; но это желаніе опять осталось при одной мечтѣ.

Такимъ образомъ, между степью съ баранами, и чтеніемъ съ пріятелемъ, провелъ Кольцовъ три года. Въ это время, ему суждено было въ первый разъ узнать песчастіе: онъ лишился своего друга, умершаго отъ болѣзни. Горесть Кольцова была глубока и сильна; но онъ не могъ не утѣшиться скоро, потому-что былъ еще слишкомъ молодъ, и въ немъ было слишкомъ много жизни, стремленія и отзыва на призывы бытія. Чтеніе сдѣлалось его прибѣжищемъ отъ горести и утѣшеніемъ въ ней. Послѣ его пріятеля ему осталось нѣсколько десятковъ книгъ, которыя онъ перечитывалъ на свободѣ, и въ городѣ, и въ степи. До-сихъ-поръ, онъ не читалъ стиховъ и не имѣлъ о нихъ никакого понятія. Вдругъ, нечаянно покупаетъ онъ на рынкѣ, за сходную цѣну, сочиненія Дмитріева. Въ восторгѣ отъ своей покупки, бѣжитъ онъ съ нею въ садъ, и начинаетъ пѣть стихи Дмитріева. Ему казалось, что стихи нельзя читать, но должно ихъ пѣть: такъ заключалъ онъ по пѣснямъ, между которыми и стихами не могъ тотчасъ же не замѣтить близ-

каго сходства. Гармонія стиха и риѳмы полюбилась Кольцову, хотя онъ и не понималъ, что такое стихъ и въ чемъ состоитъ его отличіе отъ прозы. Многія піесы онъ заучилъ наизусть, и особенно понравился ему «Ермакъ». Тогда пробудилась въ немъ сильная охота самому слагать такія же звучныя строфы съ риѳмами; но у него не было ни матеріяла для содержанія, ни умѣнія для формы. Однакожь, матеріялъ вскорѣ ему представился, и онъ по-своему воспользовался имъ для перваго опыта въ стихахъ. Тогда ему было 16 лѣтъ. Одному изъ его пріятелей приснился страшный сонъ, повторившійся три ночи сряду. Въ молодыя лѣта, всякій сколько-нибуть странный или необыкновенный сонъ имѣетъ для насъ таинственное и пророческое значеніе. Пріятель Кольцова былъ сильно пораженъ своимъ сномъ и разсказалъ его Кольцову, чѣмъ и произвелъ на него такое глубокое впечатлѣніе, что тотъ сейчасъ же рѣшился описать его стихами. Оставшись одинъ, Кольцовъ засѣлъ за дѣло, не имѣя никакого понятія о размѣрѣ и версификаціи; выбралъ одну піесу Дмитріева и началъ подражать ея стиху. Первые стиховъ десятокъ достались ему съ большимъ трудомъ, остальные пошли легче, и въ ночь готова была пречудовищная піеса, подъ названіемъ «Три Видѣнія», которую онъ потомъ истребилъ, какъ слишкомъ нелѣпый опытъ. Но какъ ни плохъ былъ этотъ опытъ, однакожъ онъ навсегда рѣшилъ поэтическое призваніе Кольцова: послѣ него, онъ почувствовалъ рѣшительную страсть къ стихотворству. Ему хотѣлось и читать чужіе стихи и писать свои, такъ что съ этихъ поръ онъ уже неохотно читалъ прозу, и сталъ покупать только книги, писанныя стихами. Такъ-какъ въ Воронежѣ и тогда существовала небольшая книжная лавка, то на деньги, которыя иногда давалъ ему отецъ, Кольцовъ скоро пріобрѣлъ себѣ сочиненія Ломоносова, Державина, Богдановича. Онъ продолжалъ писать, стараясь подражать этимъ поэтамъ въ механизмѣ стиха; но вотъ горе; ему не-

кому было показывать своихъ опытовъ, не съ кѣмъ было совѣтоваться на ихъ счетъ, а между тѣмъ, совѣтникъ ему былъ необходимъ,—и онъ рѣшился обратиться за совѣтами къ воронежскому книгопродавцу, наивно предполагая, что кто торгуетъ книгами, тотъ знаетъ и толкъ въ книжномъ дѣлѣ, и принесъ ему «Три Видѣнія» и другія свои піесы. Книгопродавецъ былъ человѣкъ необразованный, но не глупый и добрый; онъ сказалъ Кольцову, что его стихи кажутся ему дурными, хоть онъ и не можетъ ему объяснить, почему именно; но что если онъ хочетъ научиться писать хорошо стихи, то вотъ поможетъ ему книжка: «Русская Просодія, изданная для воспитанниковъ благороднаго университетскаго пансіона». Видно, какой-то инстинктъ сказалъ этому книгопродавцу, что онъ видитъ передъ собою человѣка не совсѣмъ обыкновеннаго, и видно, его тронуло страстное юношеское стремленіе Кольцова къ стихотворству: онъ подарилъ ему «Русскую Просодію», и предложилъ ему безденежно давать книги для прочтенія. Нечего и говорить о радости Кольцова: онъ пріобрѣлъ книгу, которая должна посвятить его въ таинства стихотворства и дать ему возможность самому сдѣлаться поэтомъ, и сверхъ того, у него очутилась подъ руками цѣлая библіотека! Это было для него счастіемъ, блаженствомъ! Онъ избавился отъ необходимости перечитывать однѣ и тѣ же книги; цѣлый новый міръ открылся передъ нимъ, и онъ бросился въ него со всѣмъ жаромъ, со всею жадностью нестерпимаго голода, и безъ разбору пожиралъ чтеніемъ и хорошее и дурное. Книги, которыя ему особенно нравились, онъ, по прочтеніи, покупалъ, и его небольшая библіотека скоро обогатилась сочиненіями Жуковскаго, Пушкина, Дельвига.

Такимъ образомъ, въ раздольѣ этого чтенія и въ попыткахъ на стихотворство прошло пять лѣтъ. Кольцовъ достигъ семнадцатилѣтняго возраста, и тогда съ нимъ совершилось событіе, имѣвшее могущественное вліяніе на всю

жизнь его. Мы уже говорили, что Кольцовъ принадлежалъ къ числу тѣхъ страстныхъ организацій, которыя рано открываются для всѣхъ симпатій сердца, для любви и дружбы въ особенности. До-сихъ-поръ это были чувства и привязанности хотя жаркія, но дѣтскія: теперь настала пора чувствъ и привязанностей другаго рода. Въ семейство Кольцова вошла молодая дѣвушка, въ качествѣ служанки. Несмотря на низкое званіе, она получила отъ природы все, чѣмъ можно было потрясти въ основаніи такую сильную и поэтическую натуру, какова была натура Кольцова. И его чувство не осталось безъ отвѣта. Не знаемъ, долго ли продолжалась эта связь; но знаемъ, что она не была шалостью, или легкимъ безотчетнымъ чувствомъ, впервые пробудившеюся потребностію молодой кипящей крови. Нѣтъ, это была страсть глубокая и сильная, вліяніе которой Кольцовъ чувствовалъ всю жизнь свою. Онъ не только любилъ, онъ уважалъ, свято чтилъ предметъ своей любви, въ которомъ нашелъ свой осуществленный идеалъ женщины, еще не мечтая объ идеалахъ и не ища ихъ. Но эта связь, составлявшая жизнь и блаженство молодаго поэта, не нравилась его семейству и даже безпокоила его. Извѣстное дѣло, что въ этомъ сословіи, первое задушевное желаніе отца состоитъ въ томъ, чтобы поскорѣе женить своего сына на какомъ-нибудь размалеванномъ бѣлилами, румянами и сюрьмою болванѣ съ черными зубами и хорошимъ, соотвѣтственно состоянію семьи жениха, приданымъ. Связь Кольцова была опасна для этихъ мѣщанскихъ плановъ, не говоря уже о томъ, что въ глазахъ дикихъ невѣждъ, простодушно и грубо чуждыхъ всякой поэзіи жизни, она казалась предосудительною и безнравственною. Надо было разорвать ее во что бы ни стало. Для этого воспользовались отсутствіемъ Кольцова въ степь, — и когда онъ воротился домой, то уже не засталъ ея тамъ... Это несчастіе такъ жестоко поразило его, что онъ схватилъ сильную горячку. Оправившись отъ бо-

лѣзни и призанявши у родныхъ и знакомыхъ деньжонокъ, онъ бросился, какъ безумный, въ степи развѣдывать о несчастной. Сколько могъ, далеко ѣздилъ самъ, еще дальше посылалъ преданныхъ ему за деньги людей. Не знаемъ, долго ли продолжались эти розыски; только результатомъ ихъ было извѣстіе, что несчастная жертва варварскаго разсчета, попавшись въ донскія степи, въ казачью станицу, скоро зачахла и умерла въ тоскѣ разлуки и въ мукахъ жестокаго обращенія...

Эти подробности мы слышали отъ самого Кольцова, въ 1838 году. Несмотря на то, что онъ вспоминалъ горе, постигшее его назадъ тому болѣе десяти лѣтъ, лицо его было блѣдно, слова съ трудомъ и медленно выходили изъ его устъ, и, говоря, онъ смотрѣлъ въ сторону и внизъ... Только одинъ разъ говорилъ онъ съ нами объ этомъ, и мы никогда не рѣшались болѣе распрашивать его объ этой исторіи, чтобъ узнать ее во всей подробности; это значило бы раскрывать рану сердца, которая и безъ того никогда вполнѣ не закрывалась....

Эта любовь, и въ ея счастливую пору и въ годину ея несчастія, сильно подѣйствовала на развитіе поэтическаго таланта Кольцова. Онъ какъ будто вдругъ почувствовалъ себя уже не стихотворцемъ, одолѣваемымъ охотою слагать размѣренныя строчки съ риѳмами, безъ всякаго содержанія, но поэтомъ, стихъ котораго сдѣлался отзывомъ на призывы жизни, грудь котораго носила въ себѣ богатое содержаніе для поэтическихъ изліяній. Піесы: «Если встрѣчусь съ тобой», «Первая любовь», «Къ ней» (Опять тоску, опять любовь), «Ты не пой, соловей», «Не шуми ты, рожь», «Къ Милой», «Примиреніе», «Міръ Музыки» и нѣкоторыя другія явно относятся къ этой любви, которая всю жизнь не переставала вдохновлять Кольцова. Натура Кольцова была крѣпка и здорова физически и нравственно. Какъ ни жестокъ былъ ударъ, поразившій его въ самое

сердце, но онъ вынесъ его, не закрылъ глазъ своихъ на природу и жизнь, не оглохъ къ ихъ обаятельнымъ призывамъ, не ушелъ внутрь себя, не забился въ какія-нибудь сладковато-мистическія утѣшенія, какъ это дѣлаютъ послѣ несчастія правственно-слабыя натуры. Нѣтъ, онъ взялъ свое горе съ собою, бодро и мощно понесъ его по пути жизни, какъ дорогую, хотя и тяжкую ношу, не отказываясь въ то же время отъ жизни и ея радостей. Въ своемъ поэтическомъ призваніи, увидѣлъ онъ вознагражденіе за тяжкое горе своей жизни, и весь погрузился въ море поэзіи, читая и перечитывая любимыхъ поэтовъ и, по ихъ слѣдамъ, пробуя самъ извлекать изъ своей души поэтическіе звуки, которыми она была переполнена. Къ тому же, онъ уже не имѣлъ больше надобности носить свои стихотворенія на судъ къ книгопродавцу, потому что нашелъ себѣ совѣтника и руководителя, какого давно желалъ и въ какомъ давно нуждался. И когда постигла его утрата любви, у него, какъ бы въ вознагражденіе за нее, остался другъ. Это былъ человѣкъ замѣчательный, одаренный отъ природы счастливыми способностями и прекраснымъ сердцемъ. Натура сильная и широкая, Серебрянскій, будучи семинаристомъ, рано почувствовалъ отвращеніе къ схоластикѣ, рано понялъ, что судьба назначила ему другую дорогу и другое призваніе, и, руководимый инстинктомъ, онъ самъ себѣ создалъ образованіе, котораго нельзя получить въ семинаріи. Въ его натурѣ и самой судьбѣ было много общаго съ Кольцовымъ, и ихъ знакомство скоро превратилось въ дружбу. Дружескія бесѣды съ Серебрянскимъ были для Кольцова истинною школою развитія во всѣхъ отношеніяхъ, особенно въ эстетическомъ. Для своихъ поэтическихъ опытовъ, Кольцовъ нашелъ себѣ въ Серебрянскомъ судью строгаго, безпристрастнаго, со вкусомъ и тактомъ, знающаго дѣло. Въ посланіи къ нему

(написанномъ неизвѣстно въ которомъ году—должно быть между 1827 и 1830), Кольцовъ говоритъ:

Вотъ мой досугъ: въ немъ умъ твой строгій
Найдетъ ошибокъ слишкомъ много:
Здѣсь каждый стихъ — чай грѣшный бредъ.
Что жь дѣлать! Я такой поэтъ,
Что на Руси смѣшнѣе нѣтъ
Но не щади ты недостатки,
Замѣть, что требуетъ поправки.

Это посланіе вполнѣ обнаруживаетъ взаимныя отношенія обоихъ друзей и какъ важенъ былъ Серебрянскій для развитія таланта Кольцова. Въ самомъ дѣлѣ, только съ тѣхъ поръ, какъ онъ сошелся съ Серебрянскимъ, и прежнія его стихотворенія, и вновь написанныя, достигли той степени удовлетворительности, что стали годиться для печати. Одни изъ нихъ онъ поправлялъ по совѣту Серебрянскаго, а насчетъ удававшихся съ разу былъ спокоенъ, опираясь на его одобреніе. Но не долго пользовался Кольцовъ совѣтами своего друга. Серебрянскому надо было избрать себѣ дорогу, и не столько по влеченію, сколько по разсчету; поприще врача онъ предпочелъ другимъ, чтобы не отчаяваться въ будущемъ, покрайней мѣрѣ въ кускѣ хлѣба, и поступилъ въ московскую медико-хирургическую академію.

Какъ бы то ни было, но поэтическое призваніе Кольцова было рѣшено и сознано имъ самимъ. Непосредственное стремленіе его натуры преодолѣло всѣ препятствія. Это былъ поэтъ по призванію, по натурѣ,—и препятствія могли не охладить, а только дать его поэтическому стремленію еще бо̀льшую энергію. Прасолъ, верхомъ на лошади гоняющій скотъ съ одного поля на другое; по колѣни въ крови, присутствующій при рѣзаніи, или, лучше сказать, при бойнѣ скота; прикащикъ, стоящій на базарѣ у возовъ съ саломъ,—и мечтающій о любви, о дружбѣ, о внутрен-

нихъ поэтическихъ движеніяхъ души, о природѣ, о судьбѣ человѣка, о тайнахъ жизни и смерти, мучимый и скорбями растерзаннаго сердца и умственными сомнѣніями, и въ то же время, дѣятельный членъ дѣйствительности, среди которой поставленъ, смышленый и бойкій русскій торговецъ, который продаетъ, покупаетъ, бранится и дружится Богъ знаетъ съ кѣмъ, торгуется изъ копѣйки и пускаетъ въ ходъ всѣ пружины мелкаго торгашества, которыхъ внутренно отвращается какъ мерзости: какая картина, какая судьба, какой человѣкъ!... Возвращаясь домой, онъ встрѣчаетъ не ласку, не привѣтъ, а грубое невѣжество, которое никакъ не можетъ простить ему того, что онъ хочетъ быть человѣкомъ и, въ этомъ отношеніи, уже рѣзко отличился отъ невѣжественныхъ животныхъ, въ человѣческомъ образѣ. Но у него есть книги,

Много думъ въ головѣ,
Много въ сердцѣ огня!—

и онъ закрываетъ глаза на грязную дѣйствительность, не замѣчаетъ презрѣнія, не видитъ ненависти. Презрѣніе, ненависть!... За что̀ же?... Кому онъ сдѣлалъ зло, кого обидѣлъ? Не жертвуетъ ли онъ лучшими своими чувствами, благороднѣйшими своими стремленіями этой грязной и сальной дѣйствительности, чтобы тяжкимъ трудомъ и скучными хлопотами, въ чуждой ему сферѣ способствовать матеріяльному благосостоянію своего семейства? Но, увы! удивляться этому презрѣнію и этой ненависти безъ причины, значитъ не знать людей. Сойдитесь съ пьяницей, сами оставаясь трезвымъ человѣкомъ: онъ не взлюбитъ васъ. Неряха никогда не проститъ вамъ опрятности, низкопоклонникъ — благородной гордости, негодяй — честности. Но еще болѣе невѣжество не проститъ вамъ ума и стремленія къ образованности. И какъ простить! Не желая оскорблять его, будучи съ нимъ ласковы и обязательны,

вы все-таки унижаете его вашимъ достоинствомъ, вы—живой упрекъ ему! И если это невѣжество — пожилой, почтенный человѣкъ, ничего не умѣющій дѣлать, а вы юноша, который и въ житейскихъ дѣлахъ превосходитъ его способностію и соображеніемъ: тогда онъ лютый, непримиримый врагъ вашъ. Онъ воспользуется вашими услугами, выжметъ васъ насухо, какъ апельсинъ, а потомъ растопчетъ ногами и выброситъ за окно, видя, что вы уже больше не нужны ему....

Слухъ о самородномъ талантѣ Кольцова дошелъ до одного молодаго человѣка, одного изъ тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые не всегда бываютъ извѣстны обществу, но благоговѣйные и таинственные слухи о которыхъ переходятъ иногда и въ общество изъ тѣснаго кружка близкихъ къ нимъ людей. Это былъ Станкевичъ, сынъ воронежскаго помѣщика, бывшій въ то время въ московскомъ университетѣ и пріѣзжавшій на каникулы въ свою деревню, а оттуда иногда и въ Воронежъ. Станкевичъ познакомился съ Кольцовымъ, прочелъ его опыты и одобрилъ ихъ. Въ 1831 году, Кольцовъ, по дѣламъ отца своего, пріѣхалъ въ Москву и, черезъ Станкевича, пріобрѣлъ тамъ нѣсколько новыхъ знакомствъ, въ послѣдствіи довольно важныхъ для него. Въ это время двѣ или три піески его были напечатаны съ его именемъ въ одномъ, впрочемъ, довольно плохомъ московскомъ журнальцѣ. Для Кольцова, не смѣвшаго вѣрить въ свой талантъ, это было лестно и пріятно. Въ послѣдствіи, Станкевичъ предложилъ ему на свой счетъ издать его стихотворенія. Это намѣреніе было выполнено въ 1835 году. Изъ довольно увѣсистой и толстой тетради, Станкевичъ выбралъ 18 піесъ, показавшихся ему лучшими, и напечаталъ ихъ въ маленькой опрятной книжкѣ, которая доставила Кольцову большую извѣстность въ литературномъ мірѣ. Правда, тутъ больше всего дѣйствовало волшебное словцо поэтъ-самоучка, поэтъ-прасолъ, — и

будь эти 18 стихотвореній изданы какъ произведенія человѣка хотя бы и крестьянскаго званія по рожденію, но кончившаго курсъ въ университетѣ и уже служившаго чиновникомъ въ департаментѣ, на нихъ не обратили бы такого вниманія. Но надо и то сказать, что въ этой книжкѣ видно было больше обѣщаніе въ будущемъ сильнаго таланта, нежели сильный талантъ въ настоящемъ.

1836-й годъ былъ эпохою въ жизни Кольцова. По дѣламъ отца своего, онъ долженъ былъ побывать въ Москвѣ и Петербургѣ и пробыть довольно долгое время въ обѣихъ столицахъ. Въ Москвѣ онъ коротко сблизился съ однимъ молодымъ литераторомъ, съ которымъ познакомился еще въ первый пріѣздъ свой въ Москву. Новый пріятель познакомилъ его со многими московскими литераторами. Эти знакомства обогатили его книгами, потому-что почти каждый литераторъ спѣшилъ дарить его своими сочиненіями и изданіями. Такимъ образомъ, библіотека его въ короткое время значительно умножилась. Что̀ же касается до чести знакомства со всѣми литературными знаменитостями, большими и малыми,—то нельзя сказать, чтобы Кольцовъ добивался ея, или слишкомъ дорожилъ ею Съ одной стороны, онъ былъ скроменъ и робокъ, а съ другой, въ немъ сильно было чувство своего достоинства, и потому онъ не любилъ быть на выставкѣ. По чувству деликатности и благодарности, онъ позволялъ принимавшимъ въ немъ участіе людямъ развозить его по литературнымъ знаменитостямъ, но игралъ тутъ болѣе пассивную, нежели дѣятельную роль. Онъ никакъ не могъ убѣдиться, чтобы онъ, по своимъ достоинствамъ, имѣлъ право на вниманіе чуждыхъ ему людей. Представляться кому бы то ни было въ качествѣ таланта, или литературной рѣдкости, ему было и неловко и больно. Притомъ же, Кольцовъ былъ очень проницателенъ и имѣлъ много такту: онъ очень хорошо понималъ и видѣлъ, что одни принимали его какъ диковинку, смотрѣли на него,

какъ смотрятъ на заморскаго звѣря, на великана, на карлика; что другіе, снисходя до равенства въ обращеніи съ нимъ, были въ восторгѣ отъ своей просвѣщенной готовности уважать талантъ даже и въ мѣщанинѣ; и что только слишкомъ немногіе протягивали ему руку съ участіемъ и искренностію. Нѣкоторые смотрѣли на него съ чувствомъ своего достоинства и говорили съ нимъ тономъ покровительства; а нѣкоторые только изъ вѣжливости не оборачивались къ нему спиною. Все это онъ очень хорошо видѣлъ и понималъ. Одинъ знаменитый московскій литераторъ обошелся съ нимъ очень сухо, хотя и вѣжливо; потомъ, встрѣтившись съ молодымъ литераторомъ, который представилъ ему Кольцова, началъ надъ нимъ подшучивать: «Что-де вы нашли въ этихъ стишонкахъ, какой тутъ талантъ? Да это просто ваша мистификація: вы сами сочинили эту книжку ради шутки». Другой, тоже очень извѣстный литераторъ, не нашелъ ничего поэтическаго въ наружности, манерахъ и словахъ Кольцова, а напротивъ, увидѣлъ въ немъ очень положительнаго человѣка, изъ чего и заключилъ, что у него не можетъ быть таланта... Это послѣднее заключеніе особенно замѣчательно: такъ судитъ толпа о поэтѣ! Не находя въ себѣ довольно способности, чтобъ изъ сочиненій поэта удостовѣриться въ его талантѣ,—она требуетъ отъ него, чтобъ онъ показывался передъ нею не иначе, какъ въ поэтическомъ мундирѣ, т. е. съ кудрями до плечъ, съ вдохновеннымъ взоромъ, съ восторженною рѣчью, съ поэтическимъ опьянѣніемъ или безуміемъ въ манерахъ и движеніяхъ. Тогда ей легко признать его поэтомъ. Но, увы! Кольцовъ нисколько не подходилъ подъ этотъ идеалъ поэта: онъ былъ слишкомъ уменъ, слишкомъ хорошо зналъ жизнь и людей, чтобы играть глупенькую и пошленькую роль энтузіаста. Онъ не любилъ обращать на себя вниманіе, и думалъ, что въ обществѣ особенно должно держать себя прилично, быть просто человѣкомъ, какъ всѣ, а не геніемъ.

не поэтомъ. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ глупцовъ, которые думаютъ, что если имъ удалось скропать порядочную статейку, повѣстцу, или десятокъ стихотвореній, то всѣ должны почитать за счастье видѣть ихъ, и что кому они протянули свою руку, тотъ долженъ быть безъ ума отъ радости. Кольцовъ не былъ скоръ ни на знакомства, ни на дружбу. Когда онъ видѣлъ съ чьей-нибудь стороны слишкомъ много ласки къ нему, это пугало его и заставляло быть осторожнымъ. Онъ никакъ не могъ думать, чтобы въ немъ было что-нибудь особенное, за что нельзя было не любить его. «Что̀ я ему? Что̀ такое во мнѣ?» говаривалъ онъ въ такихъ случаяхъ. Но когда онъ сходился съ человѣковъ, когда увѣрялся, что тотъ не изъ прихоти, а дѣйствительно расположенъ къ нему, и что онъ самъ можетъ платить ему тѣмъ же,—тогда раскрывалъ онъ свою душу, и на его преданность можно было положиться, какъ на каменную гору. Онъ умѣлъ любить, глубоко чувствовалъ потребность дружбы и любви, и, какъ немногіе, былъ способенъ къ нимъ; но не любилъ шутить ими...

Однакожь, знакомства съ литературными знаменитостями были для него не безъ пріятности. Когда онъ освобождался отъ замѣшательства перваго представленія и сколько-нибудь освоивался съ новымъ лицомъ, оно интересовало его. Говоря мало, глядя немножко изподлобья, онъ все замѣчалъ, и едва ли что̀ ускользало отъ его проницательности,—что̀ было ему тѣмъ легче, что каждый готовъ былъ видѣть въ немъ скорѣе замѣшательство и нелюдимость, нежели проницательность. Ему любопытно было видѣть себя въ кругу тѣхъ умныхъ людей, которые издалека казались ему существами высшаго рода; ему интересно было слышать ихъ умныя рѣчи. Много ли наслушался онъ ихъ, объ этомъ мы кое-что слышали отъ него въ послѣдствіи...

Въ Петербургѣ, Кольцовъ познакомился съ княземъ Одоевскимъ, съ Пушкинымъ, Жуковскимъ и княземъ Вяземскимъ,

былъ хорошо ими принятъ и обласканъ. Съ особеннымъ чувствомъ вспоминалъ онъ всегда о радушномъ и тепломъ пріемѣ, который оказалъ ему тотъ, кого онъ съ трепетомъ готовился увидѣть, какъ божество какое-нибудь—Пушкинъ. Почти со слезами на глазахъ разсказывалъ намъ Кольцовъ объ этой торжественной въ его жизни минутѣ. Кто познакомился въ Петербургѣ съ первыми литературными знаменитостями, тому, ничего не стоитъ перезнакомиться съ второстепенными. Сперва онъ и здѣсь больше все молчалъ и наблюдалъ, но потомъ, смекнувъ дѣломъ, давалъ волю своей прошіи.... О, какъ бы удивились многіе изъ фельетонныхъ и стихотворныхъ рыцарей, если бы могли догадаться, что этотъ мужичекъ, котораго они думали импонировать своею литературною важностью, видитъ ихъ насквозь и умѣетъ настоящимъ образомъ цѣнить ихъ таланты, образованность и ученость....

Въ 1838 году, Кольцовъ опять былъ по дѣламъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Въ этотъ разъ онъ особенно долго жилъ въ Москвѣ, и до отъѣзда въ Петербургъ, и по возвращеніи изъ него, и жизнь въ Москвѣ тогда особенно полюбилась ему. Постоянно-пріятное расположеніе духа было причиною, что онъ написалъ въ это время много хорошаго. Возвращеніе домой было для него довольно грустно. Онъ вдругъ почувствовалъ, что есть другой міръ, который ближе къ нему и сильнѣе манитъ его къ себѣ, нежели міръ воронежской и степной жизни. Имъ овладѣло чувство одиночества, которое преодолѣвалось въ немъ только любовью къ природѣ и чтеніемъ. Вотъ что̀ писалъ онъ объ этомъ къ одному изъ своихъ московскихъ пріятелей: «Въ Воронежъ я пріѣхалъ «хорошо; но въ Воронежѣ жить мнѣ противу прежняго «вдвое хуже; скучно, грустно, бездомно въ немъ. И все «какъ-то кажется то же, а не то. Дѣла комерціи безъ «меня разстроились порядочно, новыхъ непріятностей куча; «что̀ день—то горе, что шагъ—то напасть. Но, слава Богу,

«какъ то я всѣ ихъ переношу теперь терпѣливо, и онѣ «сдѣлались для меня будто предметами посторонними и до «меня почти не касающимися. На душѣ тепло, покойно. «Хорошее лѣто, славная погода, синее небо, свѣтлый день, «вечерняя тишь—все прекрасно, чудесно, очаровательно,— «и я жизнію живу и тону своею душою въ удовольствіяхъ «нашего лѣта. Благодарю васъ, благодарю вмѣстѣ и всѣхъ «вашихъ друзей. Вы и они много для меня сдѣлали, о, «слишкомъ много, много! Эти послѣдніе два мѣсяца стóили «для меня пяти лѣтъ воронежской жизни. Я теперь гляжу «на себя, и не узнаю. Словесностью занимаюсь мало, читаю «немного — некогда, въ головѣ дрянь такая набита, что «хочется плюнуть; матеріялизмъ дрянной, гадкій, и вмѣстѣ «съ тѣмъ необходимый. Плавай, голубчикъ, на всякой водѣ, «гдѣ велятъ дѣла житейскія; ныряй и въ тинѣ, когда на«добно нырять; гнись въ дугу и стой прямо въ одно время. «И я все это дѣлаю теперь даже съ охотою. Новаго не «писалъ ничего—некогда. Воронежъ принялъ меня противу «прежняго въ десять разъ радушнѣе; я благодаренъ ему. «До меня люди выдумали, будто я въ Москвѣ женился; «будто въ Питеръ уѣхалъ навсегда жить; будто меня оста«вили въ Питерѣ стихи писать. И всѣ встрѣчаются со «мной, и такъ любопытно глядятъ, какъ на заморскую «чучелу. Я сгоряча немного посердился на нихъ за это; «но подумалъ, и вышло, что я былъ глупъ. На людей «сердиться нельзя, и требовать строго отъ нихъ нельзя; «кривое дерево не разогнешь прямо, а въ лѣсу больше «криваго и суковатаго, чѣмъ ровнаго. Люди правы: они «судятъ по своему. Спасибо и за это, и мнѣ они нравятся «въ этихъ странностяхъ. Старикъ отецъ со мною хорошъ; «любитъ меня болѣе за то, что дѣло хорошо кончилось: «онъ всегда такія вещи очень любитъ. Степь опять очаро«вала меня, я чортъ знаетъ до какого забвенія любовался «ею. Какъ она хороша показалась, и я съ восторгомъ

«пѣлъ: Пора Любви—она къ ней идетъ. Только это чув-«ство было другаго совсѣмъ рода; послѣ мнѣ стало на ней «скучно. Она хороша на минуту, и то не одному, а самъ-«другъ, и то не надолго. Къ ней пріѣхать погостить—и въ «городъ, въ столицу, въ кипятокъ жизни, въ борьбу стра-«стей! А то она сама по-себѣ слишкомъ однообразна и мол-«чалива. Серебрянскій доѣхалъ до двора, но очень боленъ; «кажется, проживетъ не болѣе мѣсяцевъ двухъ, а можетъ «я ошибаюсь. Съ моими знакомыми расхожусь по-маленьку, «наскучили мнѣ ихъ разговоры пошлые. Я хотѣлъ съ прі-«ѣзда увѣрить ихъ, что они криво смотрятъ на вещи, «ошибочно понимаютъ; толковалъ такъ и такъ. Они надо «мной смѣются, думаютъ, что я несу имъ вздоръ. Я по-«вернулъ себя отъ нихъ на другую дорогу; хотѣлъ ихъ «научить—да ба!—и вотъ какъ съ ними поладилъ: все ихъ «слушаю, думая самъ про-себя о другомъ; всѣхъ ихъ хвалю «во всю мочь; всѣ они у меня люди умные, ученые, пре-«красные поэты, философы, музыканты, живописцы, образ-«цовые чиновники, образцовые купцы, образцовые книго-«продавцы; и они стали мной довольны; и я самъ-про-себя «смѣюсь надъ ними отъ души. Такимъ образомъ, все идетъ «ладно; а то что въ самомъ-дѣлѣ изъ ничего наживать себѣ «дураковъ-враговъ. Ужъ видно, какъ кого Господь умудрилъ, «такъ онъ съ своею мудростью и умретъ».

Въ этомъ письмѣ весь Кольцовъ. Такъ писалъ онъ всегда, и почти такъ говорилъ. Рѣчь его была всегда нѣсколько вычурна, языкъ не отличался опредѣленностію, но за то поражалъ какою-то наивностію и оригинальностію. Тогдашнее состояніе души его выражено въ этомъ письмѣ вѣрнѣе, нежели какъ, можетъ-быть, думалъ онъ самъ. Глазамъ его открылся другой міръ; воронежская жизнь сдѣлалась скучна; только прекрасная пора лѣта составляла всю его отраду; онъ любилъ еще степь, но уже не такъ, какъ прежде: въ первый разъ понялъ онъ, что она однообразна, что на ней ве-

село быть на минуту, и то не одному... И такъ кончилась эпоха непосредственной жизни. Прошедшее спало съ цѣны, настоящее стало грустно, и взоры невольно начали обращаться на будущее. Прежнія знакомства, дотолѣ сносныя и, можетъ-быть, даже пріятныя, сдѣлались невыносимы, и тѣ же люди явились въ другомъ свѣтѣ. Все родное Кольцова было уже не въ опустѣломъ для него Воронежѣ, а въ Москвѣ, и туда стремились всѣ думы его. Въ семействѣ своемъ, онъ горячо любилъ младшую сестру, и между ними существовала самая тѣсная дружба. Кольцовъ видѣлъ въ сестрѣ много хорошаго, уважалъ ея вкусъ и часто совѣтовался съ нею насчетъ своихъ стихотвореній, словомъ, дѣлился съ нею своею внутреннею жизнію. Вѣря въ ея къ нему задушевное расположеніе, онъ дѣлалъ для нея все что̀ могъ. Настойчивостію, просьбами, лестью, всякими хитростями, онъ склонилъ своего отца купить ей фортепіано и нанять учителя музыки и французскаго языка. Новыя связи и отношенія, новый міръ, открывшійся ему, не ослабилъ этой дружбы, хотя одной ея ему было уже мало, и сердце его рвалось вдаль. Натура Кольцова была не только сильна, но и нѣжна; онъ не вдругъ привязывался къ людямъ, сходился съ ними недовѣрчиво, сближался медленно; но когда уже отдавался имъ, то отдавался весь. Это имѣло для него гибельныя слѣдствія въ отношеніи къ нѣкоторымъ привязанностямъ: предательство, вѣроломство, низкія интриги особы, которой онъ былъ преданъ безусловно и которая казалась ему также преданною, были для него страшнымъ ударомъ. Онъ все на свѣтѣ могъ перенести, кромѣ этого, и кошачья лапка имѣла силу ранить его сильнѣе львиной лапы. Горячо любилъ онъ также своего маленькаго брата, но тотъ давно уже умеръ, къ его крайнему прискорбію. Съ отцомъ онъ былъ всегда на политическихъ отношеніяхъ, которыя, и въ размолвкѣ и въ мирѣ, были борьбою. Тутъ старые предразсудки и невѣжество явно и тайно боролись съ

смѣлымъ умомъ и стремленіемъ къ свѣту. Счастливое окончаніе нѣкоторыхъ важныхъ для благосостоянія семейства дѣлъ и лестное вниманіе В. А. Жуковскаго къ Кольцову,—вниманіе, которому свидѣтелемъ былъ весь Воронежъ въ 1837 году, способствовали наружному миру и согласію между отцомъ и сыномъ. Къ тому же, сынъ былъ еще необходимъ для отца: на немъ лежали всѣ торговыя дѣла, на него переведены были всѣ долги, всѣ векселя и обязательства; на его дѣятельности, его умѣніи и ловкости вести дѣла лежала участь цѣлаго дома, который былъ въ такомъ положеніи, что еще нѣсколько счастливо преодолѣнныхъ препятствій—и его благосостояніе совершенно упрочивалось, но въ случаѣ неуспѣха, должно было слѣдовать конечное разореніе.

Еслибы Кольцовъ принялся за дѣла, будучи лѣтъ 18-ти, не раньше, навѣрное можно сказать, что онъ съ ними никакъ бы не освоился, и его поэтическая натура съ ужасомъ и омерзѣніемъ отворотилась бы отъ этой грязной дѣйствительности. Но онъ понемногу и незамѣтно для самого-себя освоился съ ними съ дѣтства; эта дѣйствительность украдкою подошла къ нему и овладѣла имъ прежде, нежели онъ былъ въ состояніи увидѣть ея безобразіе. Самъ не зная какъ, втянулся онъ въ дѣла мелкаго торгашества, тѣмъ легче, что они не отнимали же у него вовсе возможности предаваться чтенію, мечтамъ, природѣ и поэзіи. Онъ же такъ полюбилъ степь! На ней началось его изученіе дѣйствительности и людей, и борьба съ ними; здѣсь была его школа жизни. Тутъ случались съ нимъ обстоятельства не только непріятныя, даже страшныя. Разъ, въ степи, одинъ изъ работниковъ за что-то такъ озлобился на него, что рѣшился его зарѣзать. Намекнули ли объ этомъ Кольцову со стороны, или онъ самъ догадался; но медлить было нельзя, а обыкновенными средствами защищаться невозможно. Надобно было рѣшиться на траги-комедію, и Кольцова достало на нее. Будто ничего не подозрѣвая и не замѣчая, онъ сталъ

съ мужикомъ необыкновенно любезенъ, досталъ вина, пилъ съ нимъ и братался. Этимъ опасность была отстранена, потому что русскаго мужика сивухою такъ же можно и отвести отъ убійства, какъ и навести на него. Только по возвращеніи въ Воронежъ Кольцовъ снялъ съ себя маску передъ отчаяннымъ удальцомъ, требовавшимъ разсчета. При этомъ разсчетѣ, продолжавшемся очень долго, злодѣй имѣлъ причину и время раскаяться въ своемъ умыслѣ, а можетъ-быть, и въ томъ, что не удалось ему его выполнить... Вотъ міръ, въ которомъ жилъ Кольцовъ, вотъ борьба, которую онъ велъ съ дѣйствительностію!... Не съ одними волками, которые стаями слѣдили за стадами барановъ, приходилось ему вести ожесточенную войну...

Около этого времени, т. е. послѣдней поѣздки его въ Москву, къ прочимъ хлопотамъ Кольцова присоединилась еще постройка новаго дома, который, по величинѣ своей, долженъ былъ давать около семи тысячъ ассигнаціями ежегоднаго доходу. Къ несчастію, не одинъ онъ былъ наслѣдникомъ этого дома—обстоятельство, которое въ послѣдствіи дорого ему стóило... Всѣ эти дѣла онъ велъ и ладилъ, и чрезъ два года довелъ на свою погибель до желаннаго конца... Но въ это время они начали тяготить его, и въ немъ все больше и больше усиливалось отвращеніе къ нимъ. Это не было слѣдствіемъ пошлаго идеальничанья, которое любитъ одни облака и не любитъ земли; нѣтъ, тутъ былъ другой, благороднѣйшій источникъ. Кольцовъ полагалъ большое различіе между купцомъ-капиталистомъ, которому не только необходимо, даже выгодно быть честнымъ, потому, что честность даетъ кредитъ, а безъ кредита большая торговля невозможна,—и между мелкимъ торговцемъ, котораго положеніе всегда скользко, ненадежно, неопредѣленно, который всегда принужденъ вертѣться ужомъ и жабою, кланяться, подличать, божиться, натягивать всѣми правдами и неправдами... Кольцовъ не боялся дѣла, но не любилъ низости и грязи. Волею и неволею,

былъ онъ съ дѣтства завербованъ въ эту грязную дѣятельность; запряженный разъ, терпѣливо тащилъ свою ношу въ надеждѣ будущихъ благъ; но по-временамъ эта ноша доводила его до отчаянія. Съ послѣдней поѣздки въ Москву, эти минуты унынія, апатіи и тоски стали являться чаще. Одна надежда облегчала ихъ. По отстройкѣ дома, онъ думалъ сдать отцу приведенныя имъ въ порядокъ дѣла по степи, а самому заняться присмотромъ за домомъ и открыть въ немъ книжную лавку. Это значило бы для него примирить потребности своей натуры съ внѣшнею дѣйствительностію. Но при всемъ своемъ знаніи жизни и людей, Кольцовъ жестоко обманывался въ своей надеждѣ... Но пока надо было жить какъ судьба хотѣла. Слѣдующія строки изъ письма его къ одному изъ знакомыхъ ему петербургскихъ литераторовъ, писанныя еще въ 1836 году, представляютъ яркую картину его занятій: «Батинька два мѣсяца въ Москвѣ, продаетъ быковъ; дома я одинъ, дѣлъ много. Покупаю свиней, становлю на винный заводъ на барду; въ рощѣ «рублю дрова; осенью пахалъ землю; на скорую руку ѣзжу «въ села; дома по дѣламъ хлопочу съ зари до полночи». Но тогда онъ не жаловался, а черезъ два года писалъ въ Москву къ пріятелю: «Писать къ вамъ хочется, а ничего «нейдетъ изъ головы. Плоха что-то моя голова сдѣлалась въ «въ Воронежѣ, одурѣла вовсе, и самъ не знаю отъ чего— «не то отъ этихъ дѣлъ торговыхъ, не то отъ перемѣны «жизни. Я было такъ привыкъ быть у васъ и съ вами, такъ «забылся для всего другаго; а тутъ вдругъ все надобно по- «забыть, дѣлать другое, думать о другомъ — вѣдь и дѣла «торговыя тоже сами не дѣлаются, тоже кой-о-чемъ надобно «подумать. Такъ одряхлѣлъ, такъ отяжелѣлъ: право боюсь, «чтобъ мнѣ не сдѣлаться вовсе человѣкомъ матеріальнымъ. «Боже избави! ужь это будетъ весьма рано; не хотѣлось «бы это слышать отъ самого-себя. Что-то скажетъ осень. «Кажется, у ней будетъ для меня больше свободнаго време-

«ни—посмотримъ. Стройка дома безъ меня и дѣла торговыя «у отца шли дурно. Теперь, слава Богу, плыветъ ровнѣе. «Съ отцомъ живемъ хорошо, ладно—и лучше. Онъ ко мнѣ «больше имѣетъ уваженія теперь, нежели прежде, а все «виною хорошій конецъ дѣла. Онъ эти вещи очень любитъ, «и хорошо дѣлаетъ: ему старику это идетъ».—Мѣсяца черезъ два онъ писалъ къ тому же лицу: «Хотѣлось бы писать къ вамъ совсѣмъ не такъ, какъ пишу теперь; но «что жь прикажете дѣлать, когда дѣла дьявольски работаютъ со мною. Бойка скота, стройка дома, туда, сюда— «ажь на душѣ тошнитъ, такъ хорошо мнѣ жить!—Серебрянскій умеръ. Да, лишился я человѣка, котораго любилъ «столько лѣтъ душою и котораго потерю горько оплакиваю. «Много желаній не сбылося, много надеждъ не исполнилось—проклятая болѣзнь! Прекрасный міръ прекрасной «души, не высказавшись, сокрылся навсегда. Да, внѣшнія «обстоятельства могутъ подавить и великую душу человѣка, «если они безпрерывно тяготятъ ее, и когда противу нихъ защиты нѣтъ. Наплодотворной почвѣ земли хорошо удобритъ «человѣкъ свою ниву, посѣетъ хлѣбъ; но не сберетъ плода, «если лѣто выжжетъ корень, роса зари ему не помочь—ей «нуженъ въ пору дождь. А этой-то земной благодати и капли «не сошло на его жизнь; нужда и горе сокрушили тѣло «страдальца. Грустно думать, былъ нѣкогда, недавно даже, «милый человѣкъ—и нѣтъ его, и не увидишь никогда, и «все кругомъ тебя молчитъ, и самый зовъ свиданія мретъ «безотвѣтно въ безчувственной дали». Интересны и слѣдующія строки изъ одного письма Кольцова, какъ живое свидѣтельство того, что значили для этой симпатической натуры дружескія связи и отношенія: «Не было еще мучительнѣе въ жизни моей состоянія, какъ въ прошломъ годѣ. «Плохое, мучительное дѣло, больной Серебрянскій—смерть «его все довершила. Скажите: въ одну минуту разломить, «что крѣпло нѣсколько лѣтъ—моя любовь къ нему, пре-

«красная душа его, желанія, мечты, стремленія, ожиданія, «надежды на будущее—и все вдругъ! Вмѣстѣ мы съ нимъ «росли, вмѣстѣ читали Шекспира, думали, спорили. И я «такъ много былъ ему обязанъ, онъ черезъ чуръ меня ба-«ловалъ. Вотъ почему я онѣмѣлъ-было совсѣмъ, и всему «хотѣлъ сказать: прощай! и если бы не вы, я все бы по-«терялъ навсегда. Вѣдь меня не очень увлекала и увле-«каетъ блестящая толпа; сходка, общество людей—конечно, «хорошо, но если есть человѣкъ, то такъ; а безъ него, «толпа не много даетъ. Опять я такой человѣкъ, которому «надобно сильныя потрясенія; иначе я—ноль. Никто меня «не уничтожитъ съ другою душою, а собственно мою уни-«чтожитъ всякій».

Такимъ образомъ прошелъ для Кольцова и еще годъ, и горизонтъ его жизни все гуще заволакивался тучами. Свѣтлыя минуты навѣщали его все рѣже и рѣже. «Пророчески «угадали вы мое положеніе (писалъ онъ, въ 1840 году, въ Петербургъ, къ пріятелю); у меня у самого давно уже «лежитъ на душѣ грустное это сознаніе, что въ Воронежѣ «долго мнѣ не сдобровать. Давно живу я въ немъ и гляжу «вонъ, какъ звѣрь. Тѣсенъ мой кругъ, грязенъ мой міръ, «горько жить мнѣ въ немъ, и я не знаю, какъ я еще не «потерялся въ немъ давно. Какая-нибудь добрая сила «невидимо поддерживаетъ меня отъ паденія. И если я не «перемѣню себя, то скоро упаду; это неминуемо, какъ «дважды два четыре. Хоть я и отказалъ себѣ во многомъ, «и частію, живя въ этой грязи, отрѣшилъ себя отъ ней, «но все-таки не совсѣмъ, но все-таки я не вышелъ изъ «нея». Въ это время, Кольцову было сдѣлано изъ Петербурга предложеніе принять управленіе книжною лавкою, основанною на акціяхъ. Другое предложеніе было сдѣлано ему А. А. Краевскимъ—принять на себя завѣдываніе конторою «Отечественныхъ Записокъ». Первое предложеніе было ему совершено не по душѣ. Сумма акцій была незна

чительная, а онъ былъ убѣжденъ, что начинать какую бы то ни было торговлю можно только съ большимъ капиталомъ, и что иначе поневолѣ выйдетъ или раззореніе, или не торговля, а торгашество со всѣми его продѣлками, при одной мысли о которыхъ ему дѣлалось гадко. Кромѣ того, ему ни того, ни другаго предложенія нельзя было принять еще и потому, что, по причинѣ долга въ 20,000, векселя котораго были сдѣланы на его имя, онъ не могъ выѣхать изъ Воронежа противъ воли отца. Разъ какъ то Кольцовъ зажился въ Москвѣ, и только-что пріѣхалъ домой, какъ его зовутъ въ полицію, по векселю въ 3,000 рублей. Опоздай онъ нѣсколькими днями, и вексель былъ бы посланъ въ Москву, гдѣ онъ не имѣлъ бы никакой возможности расплатиться по немъ. И это было бы дѣломъ отца его. «Онъ человѣкъ простой, купецъ, спекулянтъ, вышелъ изъ «ничего, вѣкъ рожь молотилъ на обухѣ. Такъ его грудь «такъ черства, что его на все достанетъ для своей пользы «и для своей торговли. Настоящій купецъ устроиваетъ «одни свои дѣла, и есть ли польза отъ нихъ другимъ — «ему и дѣла нѣтъ, и онъ что̀ только съ рукъ сойдетъ, «все дѣлать во всякую пору готовъ. Мнѣ отъ него и такъ «достается довольно. Чуть мало-мальски что̀ не такъ, ворчитъ и сердится: вы, говоритъ, все по-книжному да по-«печатному, народъ грамотный—ума палата».—Далѣе: «Вы «боитесь за меня, чтобъ я скоро не потерялся. Это правда, «и такая правда, какая она лишь можетъ быть,—не только «черезъ пять лѣтъ, даже и скорѣе, живя такъ и въ Во-«ронежѣ. Но что̀ жь дѣлать? Буду жить, пока живется, «работать, пока работается. Сколько могу, столько и сдѣ-«лаю; употреблю всѣ силы, пожертвую сколько могу; буду «биться до конца-края, приведу въ дѣйствіе всѣ завися-«щія отъ меня средства. И когда послѣ этого упаду—мнѣ «краснѣть будетъ не передъ кѣмъ, и предъ самимъ собою «я буду правъ. Другаго дѣлать нечего. А что въ 1838 году

«написалъ такъ много порядочнаго — это потому, во-пер-
«выхъ, что я былъ съ вами и съ людьми, которые меня
«каждый день настроивали, а во-вторыхъ, я почти ничего
«не дѣлалъ и былъ празденъ. Тяготило меня до-смерти
«одно дѣло, но только одно дѣло, не больше. И я все еще
«писалъ такъ мало. А здѣсь кругомъ меня другой народъ—
«татаринъ на татаринѣ, жидъ на жидѣ, а дѣлъ—беремя:
«стройка дома (которая кончилась съ мѣсяцъ назадъ),
«судебныя дѣла, услуги, прислуги, угожденія, посѣщенія,
«счеты, разсчеты, брани, ссоры. И какъ еще я пишу? И
«для чего пишу? — для васъ, для васъ однихъ; а здѣсь я
«за писанія терплю одни оскорбленія. Всякій подлецъ
«такъ на меня и лезетъ, дискать писакѣ-то и крылья
«ошибить.... Это меня часто смѣшитъ, когда какой-нибудь
«чудакъ пѣтушится».

Осенью 1840 года, снова представился Кольцову случай ѣхать въ Москву и Петербургъ. Хотя это было по двумъ тяжебнымъ дѣламъ, однако онъ былъ радъ и имъ, какъ случаю вырваться изъ Воронежа и увидѣться съ людьми родными ему по чувству и по мысли. Это была его последняя поѣздка. Московскій другъ его давно уже жилъ въ Петербургѣ, и по пріѣздѣ сюда, Кольцовъ остановился у него и прожилъ съ нимъ около трехъ мѣсяцевъ. Одно дѣло его было проиграно. Надо было спѣшить въ Москву поправить и спасти другое, самое важное. Такъ какъ изъ Москвы ему надо было ѣхать домой, то онъ отправился въ нее съ тоскою. Его мучили тяжкія предчувствія, которыя и не обманули его. Мысль о возвращеніи въ Воронежъ ужасала его. Онъ уже колебался, не остаться ли ему въ Петербургѣ навсегда, кончивши дѣло въ Москвѣ; но остаться безо-всего, съ одними своими средствами, начать снова поприще лавочнаго сидѣльца, прикащика, мелкаго торгаша — одна мысль объ этомъ приводила его въ бѣшенство. Онъ все надѣялся, что отецъ дастъ ему тысячъ

десять денегъ, на условіи отказаться отъ дома и всякаго другаго наслѣдства, и что съ этимъ небольшимъ капиталомъ онъ найдетъ возможность пристроиться въ Петербургѣ и вести въ немъ тихую жизнь, зарывшись въ книги и учась всему, чему не могъ учиться въ свое время. Изъ Москвы онъ писалъ къ своему пріятелю: «Ахъ! еслибы къ «вамъ скорѣе! Еслибъ вы знали, какъ не хочется ѣхать «домой—такъ холодомъ и обдаетъ при мысли ѣхать туда, «а надо ѣхать,—необходимость, желѣзный законъ». Дѣло его въ Москвѣ кончилось хорошо, чѣмъ, какъ и въ прежнихъ дѣлахъ, онъ особенно былъ обязанъ благородному участію князя П. А. Вяземскаго, снабжавшаго его рекомендательными письмами къ особамъ, доступъ къ которымъ иначе былъ бы для него невозможенъ. Новый годъ встрѣтилъ онъ шумно и весело, въ кругу своихъ московскихъ друзей и знакомыхъ. Время шло, а онъ все жилъ въ Москвѣ. «Не хочется ѣхать (писалъ онъ), да и только. Вотъ «пришло время — и домъ и родные не взлюбились наконецъ. И еслибъ была какая-нибудь возможность жить въ «Питерѣ—я бы прямо маршъ, и остался бы въ немъ навсегда. Но безъ средствъ этого сдѣлать нельзя,—и я ѣду «домой. И эта поѣздка много похожа на ловлю сурковъ: «ихъ изъ земли выливаютъ водой, а меня нужда посылаетъ «голодомъ. Я писалъ къ отцу по окончаніи дѣла, чтобы «онъ прислалъ мнѣ денегъ. Старикъ мой говоритъ: Денегъ «нѣтъ тебѣ ни копѣйки, а что дѣло кончилось хорошо, «мнѣ все равно, хотя бы кончилось и дурно. Мнѣ 68 лѣтъ «и жить осталось меньше, чѣмъ вамъ. Я даже слышалъ, «что ты хочешь остаться въ Питерѣ—съ Богомъ, во святой часъ. Благословеніе дамъ, а больше ничего.—Я прочелъ сіи родительскія строки и сказалъ: вотъ тебѣ бабушка, и Юрьевъ день! Спросите, отчего это такъ сдѣлалось? А вотъ отчего: дѣло кончилось послѣднее и самое «гадкое; слѣдственно, его кредитъ теперь очищенъ совер-

«шенно. Прежде онъ боялся полиціи, и потому любилъ «меня до излишества; а теперь она ему не страшна — и «домъ его, и все у него въ рукахъ: такъ я, выходитъ, «сталъ ему не нуженъ... Эта новость, и особенно эта не«признательность, срѣзали меня глубоко. Вотъ отчего я «такъ долго живу въ Москвѣ и не ѣду домой, и ѣхать не «хочется, и не пишу къ вамъ. Я думалъ сначала махнуть «въ Питеръ; но какъ прохватилъ меня голодъ, я и при«сѣлъ—и хорошо сдѣлалъ».

По возвращеніи домой, Кольцовъ нашелъ, по обыкновенію, всѣ дѣла въ упадкѣ и разстройствѣ, благодаря старческой мудрости и опытности, и принялся ихъ устроивать. Отецъ принялъ его холодно, и едва согласился давать ему тысячу рублей въ годъ изъ семи тысячъ, которыя долженъ былъ приносить домъ, въ ожиданіи чего, Кольцовъ долженъ былъ жить и трудиться безъ копейки въ карманѣ,— онъ, которому одному все семейство было обязано своимъ благосостояніемъ... Тогда имъ овладѣла одна мысль—устроивши дѣла, ѣхать въ Петербургъ, куда отецъ отпускалъ его охотно, уплативши всѣ долги по векселямъ на имя сына и рѣшившись прекратить торговлю скотомъ. Но въ это время, Кольцовъ началъ себя дурно чувствовать, и на страстной недѣлѣ чуть не умеръ, но однакожь кое-какъ оправился. Къ счастію, докторъ его былъ человѣкъ благородный и симпатичный, который лѣчилъ его болѣе изъ личнаго расположенія къ нему, нежели изъ разсчета; онъ зналъ впередъ, что получитъ бездѣлицу, а занимался своимъ паціентомъ съ дружескимъ участіемъ. Во время самыхъ сильныхъ припадковъ болѣзни, Кольцовъ говорилъ ему: «Докторъ, если моя болѣзнь неизлѣчима, если вы только протягиваете жизнь, то прошу васъ не тянуть ея. Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, и вамъ меньше хлопотъ». Докторъ ручался за его излѣченіе: «Когда такъ, будемъ лѣчиться». Что терпѣлъ Кольцовъ, во время болѣзни, отъ близкихъ

и кровныхъ, за исключеніемъ матери, принимавшей въ немъ искреннее участіе, о томъ страшно и подумать... Это усилило разстройство его здоровья. Но тутъ, какъ нарочно, судьба-предательница послала ему жизнь и радость, можно сказать, блаженство, за которое онъ дорого долженъ былъ расплатиться. Страстною любовью озарился восходъ его жизни; пышнымъ, багрянымъ, но зловѣщимъ блескомъ страстной любви озарился и закатъ его жизни. Закрывъ глаза на все, полною чашею, съ безумною жадностью, пилъ нашъ страдалецъ отравительные восторги. На бѣду его, эта женщина была совершенно по немъ—красавица, умна, образована, и ея организація вполнѣ соотвѣтствовала его кипучей, огненной натурѣ. Нужда заставила ее разстаться съ нимъ. Еще до этой разлуки, онъ уже почувствовалъ ослабленіе во всемъ организмѣ своемъ; вскорѣ открылась болѣзнь. Знакомый ему докторъ снова помогъ ему; но вслѣдъ за тѣмъ, открылась боль въ груди, слабость во всемъ тѣлѣ, по ночамъ сильная испарина, разстройство желудка и желудочной кашель. По совѣту доктора, Кольцовъ, поѣхалъ на дачу къ одному изъ своихъ родственниковъ, чтобы тамъ купаться въ Дону. Это его немного поправило; но осень наступила прежде, нежели онъ успѣлъ кончить курсъ своего купанья, и надо было прекратить его. Вслѣдъ за тѣмъ сдѣлалось воспаленіе въ почкахъ; но даже и послѣ этого онъ все-таки сталъ оправляться. До сихъ поръ онъ ничего не читалъ, не писалъ, ни о чемъ не думалъ, кромѣ лѣкарства, лѣченья, обѣда и ужина; но тутъ опять принялся за свои занятія, воскресъ нравственно. Нельзя не дивиться силѣ духа этого человѣка. Правда, онъ надѣялся выздоровѣть, и не хотѣлось ему умереть; но возможность смерти онъ видѣлъ ясно и смотрѣлъ на нее прямо, не мигая глазами. Вотъ слова, которыми онъ заключаетъ письмо свое, къ двоимъ изъ друзей своихъ въ Петербургъ: «Ну, теперь, «милые мои, пришло сказать: прощайте—на долго ли?—

«не знаю. Но какъ то это слово горько отозвалось въ душѣ «моей. Но еще—прощайте, и въ третій разъ прощайте. «Еслибъ я былъ женщина, хорошая бы пора плакать. Ми«нута грусти, побудь хоть ты со мною подольше!» А между тѣмъ, все письмо проникнуто бодростію духа, надеждою и даже веселостію ..

Но это выздоровленіе было только отсрочкою смерти. Для возстановленія его здоровья нужно было прежде всего спокойствіе, а между тѣмъ его ежедневно, ежеминутно оскорбляли, мучили, дразнили какъ дикаго звѣря въ клѣткѣ. Иногда ему не на что было купить лѣкарства; иногда у него не было ни чая, ни сахару, ни свѣчей, а иногда мать его только украдкою отъ отца могла доставлять ему обѣдъ и ужинъ. Отецъ требовалъ, чтобы онъ жилъ вмѣстѣ съ ними, гдѣ ему не было бы покою ни на минуту. Онъ перешолъ на мезонинъ, который цѣлую зиму не топился,— ему отказано было въ дровахъ, и онъ добывалъ ихъ по ночамъ, какъ воръ. Узнавши объ этомъ, ему обѣщали выгнать его по шеи изъ дому... Дѣлать было нечего, и онъ перешолъ внизъ. Разъ въ сосѣдней комнатѣ, у сестры его много было гостей, и онѣ затѣяли игру: поставили на средину комнаты столъ, положили на него дѣвушку, накрыли ее простынею и начали хоромъ пѣть вѣчную память рабу Божію Алексѣю... Это была невинная шутка...

Вскорѣ послѣдовала свадьба сестры. «Все начало ходить «и бѣгать черезъ мою компату; полы моютъ то и дѣло, а «сырость для меня убійственна. Трубки, благовонія курятъ «каждый день; для моихъ разстроенныхъ легкихъ все это «плохо. У меня опять образовалось воспаленіе, спачала въ «правомъ боку, потомъ въ лѣвомъ, противу сердца, довольно «опасное и мучительное. И здѣсь-то я струсилъ, не на «шутку. Нѣсколько дней жизнь висѣла на волоскѣ. Лѣкарь «мой, несмотря на то, что я ему очень мало платилъ, «пріѣзжалъ три раза въ день. А въ эту пору, у насъ ве-

«черинки каждый день—шумъ, крикъ, бѣготня, двери до «полночи въ моей комнатѣ ни минуты не стоятъ на пет«ляхъ. Прошу не курить,—курятъ больше; прошу не бла«говонить—больше; прошу не мыть половъ—моютъ». Все это потомъ кое-какъ уладилось; свадьба кончилась; больной, для спасенія жизни, прибѣгъ къ хитрости и со всѣми перемирился, попросивши у всѣхъ извиненія за мерзости, которыя съ нимъ дѣлали; его оставили въ покоѣ, и онъ увидѣлъ себя точно въ раю. «Я теперь, слава Богу, живу «покойно, смирно. Они меня не безпокоятъ. Въ комнатѣ «тишина; самъ большой, самъ старшой. Съ отцемъ вижусь «рѣдко; онъ меня не оскорбляетъ больше пока, и я имъ «доволенъ. Обѣдъ готовятъ порядочный. Чай есть, сахаръ «тоже, а мнѣ пока больше ничего не нужно. Здоровье мое «стало лучше. Началъ прохаживаться, и два раза былъ въ «театрѣ. Лѣкарь увѣряетъ, что я въ постъ не умру, а «весной меня вылѣчитъ. Но силъ, не только духовныхъ, «и физическихъ еще нѣтъ; памяти тоже. Волоса начали «рости; съ лица зелень сошла, глаза чисты». Въ заключеніи письма, говоря о своемъ нравственномъ состояніи, онъ прибавляетъ: «Что, если и выздоровѣвши, такимъ оста«нусь?—Тогда прощайте, друзья, Москва и Петербургъ! Нѣтъ, «дай Господи умереть, а не дожить до этого полипнаго со«стоянія. Или жить для жизни, или—маршъ на покой»!

Мысль о переѣздѣ въ Петербургъ съ новою силою воскресала въ немъ, какъ скоро начиналъ онъ себя чувствовать лучше. Онъ только ждалъ для этого совершеннаго выздровленія. Но и тутъ внутри его происходила страшная борьба, которую мы перескажемъ его собственными словами: «Какъ «вы скажете: удерживаться ли въ Воронежѣ дома, бросить «ли все, ѣхать въ Петербургъ. Удерживаться дома—житье «мнѣ будетъ плохое. Но все старикъ меня, какъ ни говори, «а со двора не сгонитъ. У меня много здѣсь людей хоро«шихъ, которымъ я еще ни слова. Про это знаетъ лѣкарь

«и тотъ, у кого я жилъ на дачѣ; скажи я имъ, они помо-«гутъ. Съ старикомъ уладиться легко—жениться; и онъ «будетъ ко мнѣ хорошъ. Но зато, надо взять тамъ, гдѣ «ему будетъ угодно. Это значитъ пожертвовать собой, сгу-«бить женщину и себя. Ѣхать въ Питеръ—онъ не дастъ «ни гроша. Ну, положимъ, я найдусь туда пріѣхать; у «меня есть вещей рублей на триста; этого достаточно. Но «пріѣхавши туда, что я буду дѣлать? Наняться въ прика-«щики? не могу; отъ себя заниматься?—не на что. Поло-«жить надежду на мои стишонки: что за нихъ дадутъ! И «что за нихъ буду получать въ годъ—пустяки: на сапоги, «на чай, и только. Талантъ мой—надо говорить правду—«особенно теперь, въ рѣшительное время, талантъ мой пу-«стой. Нѣсколько пѣсенокъ въ годъ—дрянь. За нихъ много «не дадутъ. Писать въ прозѣ не умѣю, а мнѣ тридцать-«три года. Вотъ мое положеніе. Пожалуста напишите мнѣ «ваше мнѣніе; я имъ дорожу болѣе всего.—В. Г. пишетъ: «ѣхать. Да боюсь, страшно. Я, живя на свѣтѣ, хорошаго «не видалъ, или видѣлъ, да немного, да и то живя въ «Москвѣ и Питерѣ, а въ Воронежѣ, не помню, когда. Что, «если въ сорокъ лѣтъ придется нищенствовать?—Плохо!»

Послѣднее письмо, которое мы получили отъ Кольцова, было отъ 27-го февраля 1842 года. Лѣтомъ мы писали къ нему, но отвѣта не было; а осенью мы получили изъ Воронежа, отъ незнакомыхъ намъ людей, извѣстіе о его смерти... Поэтому, подробностей о послѣднемъ времени его жизни мы не знаемъ, и только можемъ предполагать, что это была продолжительная агонія, страданіе, мученичество... Онъ умеръ 19 октября 1842 года, въ три часа по полудни, на тридцать-четвертомъ году отъ рожденія.

Такова была жизнь этого человѣка! Рожденный для жизни, онъ исполненъ былъ необыкновенныхъ силъ и для наслажденія ею и для борьбы съ нею; а жить для него значило—чувствовать и мыслить, стремиться и познавать.

Любовь и симпатія были основною стихіею его натуры. Онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобъ быть въ любви идеалистомъ, и былъ слишкомъ деликатно и благородно созданъ, чтобъ быть въ ней матеріялистомъ. Грубая чувственность могла увлекать его, но не надолго, и онъ умѣлъ отрѣшаться отъ нея, не столько силою воли, сколько природнымъ отвращеніемъ ко всему грубому и низкому. Нѣжнымъ вздыхателемъ, довольствующимся обожаніемъ своего идеала, онъ никогда не былъ и не могъ быть, потому что для такой смѣшной роли онъ былъ слишкомъ уменъ, и слишкомъ одаренъ жизнью и страстью. Женщина никогда не была въ его глазахъ безплотнымъ идеаломъ, эфирною мечтою, туманнымъ образомъ, таинственнымъ видѣніемъ невѣдомаго міра; но въ то же время онъ умѣлъ понимать ее поэтически; видѣлъ въ ней существо родное мущинѣ, слѣдовательно, подобно ему, земное, и тѣмъ болѣе прекрасное, и поклонялся въ ней красотѣ, граціи, жизни, чувству, могуществу страсти. Но вполнѣ обаять и покорить эту сильную натуру могла только женщина съ сильнымъ характеромъ, которой страсти и воля не останавливались передъ деревяннымъ болваномъ общественнаго мнѣнія, передъ лицемѣрнымъ судомъ безнравственныхъ моралистовъ, глупыхъ умниковъ и невѣжественныхъ глупцовъ. И вотъ почему его послѣдняя любовь совершенно изгладила въ его сердцѣ всѣ скорбныя воспоминанія первой, и ему казалось, что онъ любитъ только въ первый разъ... Онъ не могъ наслаждаться безъ чувства, безъ раздѣла; но когда его страсти отвѣчала страсть — онъ предавался ей и ея наслажденіямъ со всѣмъ самозабвеніемъ со всею стремительностію натуры пламенной и сильной, думая не о послѣдствіяхъ, а только о томъ, что жить намъ на свѣтѣ не дважды!...»

Въ дружбѣ онъ не зналъ разсчета и эгоизма. Грубая и грязная дѣйствительность, въ среду которой втолкнула его судьба, какъ неизбѣжной жертвы, требовала отъ него и по-

клоповъ, и униженія, и лжи, и всѣхъ изворотовъ мелкаго торгашества; но онъ и тутъ умѣлъ сохранить свое человѣческое достоинство и всегда держаться неизмѣримо выше людей своего сословія, находящихся въ такомъ же положеніи. Внутренно онъ всегда оставался чистъ отъ этой грязи, и ничего изъ нея не внесъ въ задушевный міръ своей жизни. Всегда готовый одолжить близкаго человѣка, онъ избѣгалъ всякаго случая одолжиться имъ: его пугала одна мысль внести разсчетъ въ чистоту дружественныхъ отношеній, и съ этой стороны, онъ доходилъ до ребячества. Какъ всѣ люди съ глубокимъ чувствомъ, онъ больше всего боялся сдѣлать изъ чувства комедію, и потому медленно и робко сходился съ человѣкомъ; но разъ сблизившись, онъ умѣлъ любить, умѣлъ быть преданнымъ безъ увѣреній и фразъ. Увы! эта сила любви и привязанности больше всего и сгубила его. Мы уже говорили, какъ, года за полтора передъ смертью, вдалекѣ отъ тѣхъ, которые понимали и любили его, онъ видѣлъ себя въ кругу дикихъ невѣждъ, которые уже не нуждались въ немъ и потому поспѣшили снять съ себя маску родственной любви и отомстить ему за его превосходство надъ ними. Какъ ни тяжело было подобное разочарованіе, но у Кольцова всегда стало бы силы перенести его, тѣмъ болѣе, что онъ никогда не дорожилъ особенно связями крови безъ связи духа; да, у него стало бы силы отвѣтить презрѣніемъ на подлости и предательство, порожденныя ограниченностію и невѣжествомъ. Но сила измѣнила ему, когда ко всему этому—и къ болѣзни, и къ нуждѣ, и къ черной неблагодарности за услуги, ему пришлось еще горько разочароваться въ тѣхъ дорогихъ и нѣжныхъ отношеніяхъ, гдѣ, по его мнѣнію, связь крови, была скрѣплена связью духа, и когда тутъ, за свою любовь, дружбу и преданность, онъ вдругъ и неожиданно увидѣлъ вражду, ненависть, неблагодарность, предательство, и все это формѣ грязной, наглой, безстыдной... Тутъ все было оскорблено

въ немъ—и благороднѣйшія, святѣйшія чувства его сердца, и его самолюбіе: ему горько было убѣдиться, что его такъ долго и такъ коварно обманывали, и что бисеръ души своей онъ бросалъ подъ ноги нечистымъ животнымъ.

Говорятъ, будто любящее сердце, умъ, талантъ, и всякое превосходство надъ людьми есть страшный даръ природы, родъ проклятія, изрекаемаго судьбою надъ человѣкомъ избраннымъ, въ самую минуту его рожденія... Говорятъ, будто несчастіемъ и страданіями цѣлой жизни избранникъ долженъ расплатиться за дерзкую привиллегію быть выше другихъ. И все это доказываютъ примѣрами людей замѣчательныхъ... Но справедливо ли такое мнѣніе, и должна ли жизнь быть мачихою въ отношеніи къ любимѣйшимъ дѣтямъ природы?... О, нѣтъ! эта вражда жизни съ природою отнюдь не есть законъ разумной необходимости, но есть только результатъ несовершенства человѣческихъ обществъ. Избранный человѣкъ болѣе, чѣмъ всякій другой, родится для жизни и наслажденія ею,—и не жизнь, а общество виновато въ томъ, что, едва родившись, онъ съ бою долженъ брать даже самый воздухъ, чтобъ ему можно было дышать... Въ своемъ семействѣ, гдѣ, кажется, естественная любовь должна была бы стоять на стражѣ его дѣтства и лелѣять его,—въ своемъ семействѣ прежде всего встрѣчаетъ онъ, съ ужасомъ и отвращеніемъ, чудовищный образъ общества, которое въ человѣкѣ не хочетъ признавать человѣка, но видитъ въ немъ только породу и касту, или смотритъ на него, только какъ на работника, какъ на живой капиталъ, съ котораго нѣкогда можно будетъ брать проценты... Семейство, узы крови: что вы, если не бичи и цѣпи тамъ, гдѣ полудикое и невѣжественное общество еще въ колыбели встрѣчаетъ человѣка, въ видѣ патріархальнаго логовища, глава котораго есть степной деспотъ съ нагайкой въ рукѣ, «самолюбивый, упрямый, хвастунъ безъ совѣсти, не «любитъ жить съ другими въ домѣ человѣчески, а любитъ,

«что бы все предъ нимъ трепетало, боялось и рабствовало»?...

Мы уже говорили, что Кольцовъ нисколько не заносился своимъ талантомъ. Онъ живо чувствовалъ недостатокъ своего «образованія. «Будь человѣкъ и геніальный (говоритъ онъ въ одномъ письмѣ), а не умѣй грамотѣ—не прочтешь и вздор«ной сказки. На всякое дѣло надо имѣть полные способы. «Прежде я-таки, грѣшный человѣкъ, думалъ о себѣ и то и «то, а теперь кровь какъ угомонилась, такъ и осталося одно «желаніе въ душѣ—учиться. И думаю, что это хлѣбъ проч«ный, и его мнѣ надолго станетъ; а тамъ что̀ Богъ дастъ. «Васъ же прошу объ одномъ: всѣ дурныя піесы бросайте «безъ вниманія, а какія нравятся, тѣ печайте». Люди обыкновенно не столько наслаждаются тѣмъ, что̀ имъ дано, сколько горюютъ о томъ, чего имъ не дано; притомъ они мало цѣнятъ то, что̀ дается имъ безъ труда, и видятъ верхъ совершенства только въ томъ, что̀ добывается по̀томъ и кровью. Кольцова особенно огорчало то, что ему не далась проза, которая, по его выраженію, «съ нимъ еще при рожденіи разошлась самымъ неблагороднымъ образомъ». Въ 1840 году, нашъ знаменитый трагическій актеръ, г. Мочаловъ, посѣтилъ Воронежъ и давалъ представленія на тамошнемъ театрѣ. Кольцову, горячо любившему г. Мочалова, какъ художника и какъ человѣка, очень хотѣлось написать что-нибудь для журнала о его представленіяхъ; но онъ, разумѣется, не рѣшился и попробовать. Досада его очень наивно излилась въ письмѣ къ пріятелю: «Глупое положе«ніе нашей братіи-рифмачей! Вотъ теперь и хочется напи«сать статейку о Павлѣ Степановичѣ, а чертовскіе размѣры «не даютъ ходу прозѣ и велятъ молчать». Отдѣлаться отъ мелочной торговли и на свободѣ предаться ученію, было любимѣйшею мечтою всей жизни Кольцова. Не имѣя яснаго понятія о наукахъ, онъ хотѣлъ учиться всему — и тому, чему бы могъ и долженъ былъ учиться, и тому, чему не

могъ и не долженъ былъ; но сквозь этотъ хаосъ темныхъ представленій о наукѣ, ясно было видно, что еслибы онъ и не могъ заняться исторіею, какъ наукою, то съ жаромъ и страстью предался бы чтенію преимущественно историческихъ сочиненій. Онъ желалъ учиться и языкамъ; но для осуществленія всѣхъ этихъ проэктовъ его время прошло, и все, что́ оставалось для него—это предаться съ упоеніемъ чтенію всего, что́ могъ найти лучшаго на русскомъ языкѣ. Пріобрѣтеніе книгъ было счастіемъ и радостію его жизни. «Вы не можете представить (писалъ онъ въ 1840 году къ «пріятелю), какой богачъ я сталъ хорошими книгами. Есть «что́ читать! Вашъ подарокъ получилъ; Отечественныя За«писки, Современникъ тоже; отъ Губера получилъ Фауста, «отъ Владиславлева—Утреннюю Зарю; купилъ полное собра«ніе сочиненій Пушкина, Исторію философскихъ системъ «Галича: мнѣ ее наши бурсаки сильно расхвалили; прочелъ «первую часть—вовсе ничего не понялъ. Развѣ философія—«другое дѣло? Можетъ быть и такъ; будемъ читать еще до «конца. Теперь одинъ недостатокъ оказался: надобно непре«мѣнно обзавестись исторіею Карамзина; у меня есть Поле«ваго и Ишимовой краткія, да хочется имѣть полную, да оперъ «нѣсколько». Какъ человѣкъ необразованный, или лучше сказать, какъ полуобразованный самоучка, Кольцовъ нѣкоторыя изъ лучшихъ своихъ пѣсенъ хотѣлъ назвать русскими балладами, думая этимъ возвысить ихъ. Не изъ этого ли источника происходило и его страстное желаніе написать либретто для оперы—дѣло, къ которому онъ едва ли былъ способенъ? Другое дѣло—къ готовому, но голому драматическому очерку написать аріи, разумѣется, въ родѣ его русскихъ пѣсенъ: это онъ могъ бы выполнить прекрасно, и можетъ-быть, этого-то и хотѣлось ему. Какъ бы то ни было, но оперныя либретто на русскомъ языкѣ онъ собиралъ съ жадностью. Изъ другаго, болѣе истиннаго и глубокаго источника, выходило у него страстное желаніе путе-

шествовать по Россіи. Это было тоже любимѣйшею его мечтою, которой, какъ и многимъ другимъ, не суждено было осуществиться.

Какъ человѣку не только съ истиннымъ, но еще и съ большимъ талантомъ, Кольцову знакомы были горькія минуты разочарованія въ своемъ поэтическомъ призваніи. Не зная, что всякому мастеру часто всего труднѣе быть судьею собственныхъ произведеній, онъ думалъ, что у него вовсе нѣтъ эстетическаго вкуса. Такъ писалъ онъ разъ къ одному изъ своихъ друзей объ одной изъ лучшихъ своихъ піесъ: «Чортъ знаетъ, иногда прочтешь Хуторокъ—покажется, а «иногда разорвать хочется». Въ другой разъ онъ писалъ: «Сколько я ни бьюся съ самимъ собою, но все эстетиче-«ское чувство не управляетъ мною, не обладаю имъ я, «какъ бы хотѣлось—хоть лягъ, да умри».

Стихотворенія Кольцова можно раздѣлить на три разряда. Къ первому относятся піесы, писанныя правильнымъ размѣромъ, преимущественно ямбомъ и хореемъ. Большая часть ихъ принадлежитъ къ первымъ его опытамъ, и въ нихъ онъ былъ подражателемъ поэтовъ; наиболѣе ему нравившихся. Таковы піесы: «Сирота», «Ровеснику», «Маленькому брату», «Ночлегъ чумаковъ», «Путникъ», «Красавицѣ», «Сестрѣ», «Приди ко мнѣ», «Разувѣреніе», «Не мнѣ внимать напѣвъ волшебный», «Мщеніе», «Вздохъ на могилѣ Веневитинова», «Къ рѣкѣ Гайдарѣ», «Что значу я», «Утѣшеніе», «Я былъ у ней», «Первая любовь», «Къ ней же», «Наяда», «Къ N.», «Соловей», «Къ Другу», «Изступленіе», «Поэтъ и няня», «А. П. Серебрянскому». Въ этихъ стихотвореніяхъ проглядываетъ что-то похожее на талантъ и даже оригинальность; нѣкоторыя изъ нихъ даже очень недурны. По крайней мѣрѣ, изъ нихъ видно, что Кольцовъ и въ этомъ родѣ поэзіи могъ бы усовершенствоваться до извѣстной степени; но не иначе, какъ съ трудомъ и усиліемъ выработавши себѣ стихъ и оставаясь подражателемъ,

съ нѣтоторымъ только оттѣнкомъ оригинальности. Правильный стихъ не былъ его достояніемъ, и какъ бы ни выработалъ онъ его, все-таки никогда бы не сравнился въ немъ съ нашими звучными поэтами даже средней руки. Но здѣсь и виденъ сильный, самостоятельный талантъ: онъ не остановился на этомъ сомнительномъ успѣхѣ, но, движимый однимъ инстинктомъ своимъ, скоро нашелъ свою настоящую дорогу. Съ 1831 года онъ рѣшительно обратился къ русскимъ пѣснямъ, и если писалъ иногда правильнымъ размѣромъ, то уже безъ всякихъ претензій на особенный успѣхъ, безъ всякаго желанія подражать, или состязаться съ другими поэтами. Особенно любилъ этимъ размѣромъ, чаще безъ рифмы, съ которою онъ плохо ладилъ, выражать ощущенія и мысли, имѣвшія непосредственное отношеніе къ его жизни. Таковы (за исключеніемъ піесъ: «Цвѣтокъ», «Бѣдный призракъ», «Товарищу»), піесы: «Послѣдняя борьба», «Къ милой», «Примиреніе», «Міръ музыки», «Не разливай волшебныхъ звуковъ», «К***», «Вопль страданія», «Звѣзда», «На новый 1842 годъ». Піесы же: «Очи, очи голубыя», «Размолвка», «Люди добрые, скажите», «Теремъ», «По-надъ Дономъ садъ цвѣтетъ», «Совѣтъ старца», «Глаза», «Домикъ лѣсника», «Женитьба Павла»—составляютъ переходъ отъ подражательныхъ опытовъ Кольцова къ его настоящему роду—русской пѣснѣ.

Въ русскихъ пѣсняхъ талантъ Кольцова выразился во всей своей полнотѣ и силѣ. Рано почувствовалъ онъ безсознательное стремленіе выражать свои чувства складомъ русской пѣсни, которая такъ очаровывала его въ устахъ простаго народа; но его удерживала отъ этого мысль, что Русская пѣсня—не поэзія, а что-то простонародное, грубое и вульгарное. Къ счастію, ему попалась въ руки книжка стихотвореній барона Дельвига (изданная въ 1829 году). Каково же было его удовольствіе, его радость, когда въ этой книжкѣ онъ увидѣлъ между «настоящими» стихотво-

реніями и русскія пѣсни! Онъ сейчасъ смекнулъ въ чемъ дѣло, и порѣшилъ его такимъ силлогизмомъ: баронъ—вѣдь это баринъ, да еще большой, все равно, что графъ или князь, и вѣрно, онъ ученый человѣкъ; но онъ сочиняетъ же русскія пѣсни: стало-быть, русская пѣсня не вздоръ, не глупость, а тоже—поэзія... И съ тѣхъ поръ, онъ все больше и больше началъ наклоняться къ этому роду поэзіи. Первыя пѣсни, какъ написанныя имъ еще до знакомства съ пѣснями Дельвига, такъ и многія, написанныя до 1835 года, были чѣмъ-то среднимъ между романсомъ и русскою пѣснею, и потому походили на русскія пѣсни то Дельвига, то Мерзлякова. Но еще съ 1830 года, ему уже удавалось иногда выражать въ русской пѣснѣ всю оригинальность своего таланта, и піесамъ: «Кольцо», «Удалецъ», «Крестьянская пирушка», «Размышленіе поселянина» (1830—1832) недостаетъ только зрѣлости мысли, чтобъ быть образцовыми въ своемъ родѣ произведеніями. Но съ пѣсенъ: «Ты не пой, соловей», (1830), и «Не шуми ты рожь», (1834), начинается рядъ русскихъ пѣсенъ, какъ особаго рода, созданнаго Кольцовымъ.

Для означенія различныхъ степеней дара творчества употребляются большею частію два слова: талантъ и геній. Подъ первымъ разумѣется низшая, подъ вторымъ—высшая степень способности творить. Но такое раздѣленіе довольно неопредѣленно: оно не даетъ мѣры (критеріума) для опредѣленія высоты художественной силы. Правда, талантъ и геній отличаются другъ отъ друга тѣмъ, что первый ниже втораго, а второй выше перваго; но чѣмъ же именно ниже или выше—вотъ вопросъ! Одно изъ главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ качествъ генія есть оригинальность и самобытность, потомъ всеобщность и глубина его идей и идеаловъ, и наконецъ историческое вліяніе ихъ на эпоху, въ которую онъ живетъ. Геній всегда открываетъ, своими твореніями, новый, никому до него неизвѣстный, никѣмъ не

подозрѣваемый міръ дѣйствительности. Толпа живетъ и движется, но безсознательно; переживши извѣстный историческій моментъ и уже нося въ самой себѣ всѣ элементы новаго существованія, она тѣмъ упорнѣе держится формъ стараго. Является геній — и возвѣщаетъ людямъ новую жизнь, начала которой они уже носили въ себѣ, и корень которой скрывался уже въ самомъ прошедшемъ. Но толпа не признаетъ своего участія въ дѣлѣ генія; дико и враждебно смотритъ она на новый міръ мысли и формы, открывающейся въ его твореніяхъ, и только немногіе берутъ его сторону, и только новыя поколѣнія упрочиваютъ за нимъ побѣду. Имя генія — милліонъ, потому что въ груди своей носитъ онъ страданія, радости, надежды и стремленія милліоновъ. И вотъ въ чемъ заключается всеобщность его идей и идеаловъ: они касаются всѣхъ, они всѣмъ нужны, они существуютъ не для избранныхъ, не для того или другаго сословія, но для цѣлаго народа, а черезъ него и для всего человѣчества. Частность и исключительность, напротивъ, есть достояніе таланта, — и потому бываютъ таланты, произведенія которыхъ нравятся или только веселымъ и счастливымъ или только меланхоликамъ и несчастнымъ, или только образованнымъ классамъ общества, или только низшимъ слоямъ его, и т. д. Есть люди, которые нечаянно открывали въ себѣ талантъ черезъ какой-нибудь внѣшній и случайный толчокъ: одинъ отъ того, что ослѣпъ, другой отъ того, что лишился любимой имъ женщины, третій отъ того, что пострадалъ за правое дѣло, или за преступленіе, въ которомъ былъ невиненъ, и т. д. Безъ этихъ случайностей, всѣ эти люди никогда не сдѣлались бы поэтами. Естественно, что каждый изъ нихъ поетъ на одинъ и тотъ же ладъ и всегда одно и то же, и потому нравится только людямъ, которые одинаково съ нимъ настроены и находятъ въ его произведеніяхъ отголоски своихъ личныхъ ощущеній, или примѣненія къ обстоятельствамъ своей жизни. От-

сутствіе оригинальности и самобытности всегда есть характеристическій признакъ таланта; онъ живетъ не своею, а чужою жизнію, его вдохновеніе есть не что́ иное, какъ «плѣнной мысли раздраженье»—мысли, захваченной у генія или подслушанной у самой толпы. Талантъ не управляетъ толпою, а льститъ ей, не утверждаетъ даже новой моды, а идетъ за модою; куда дуетъ вѣтеръ, туда и стремится онъ. Поди онъ противъ—и его сейчасъ забудутъ, а этого-то онъ и боится больше всего на свѣтѣ. Иногда онъ кажется оригинальнымъ и, въ свою очередь, порождаетъ толпу подражателей; но эта оригинальность тотчасъ изчезаетъ, какъ скоро привыкнутъ и приглядятся къ ней, и оказывается или результатомъ чуждаго вліянія, или проявленіемъ дурнаго вкуса эпохи; а толпа подражателей доказываетъ только то, что и талантъ имѣетъ степени, и менѣе талантливые подражаютъ болѣе талантливому.

Очевидно, что геній и талантъ суть только крайнія степени, противоположные полюсы творческой силы, и что между ними должно быть что-нибудь среднее. Въ самомъ дѣлѣ, иначе міръ искусства былъ бы очень скуденъ, состоя изъ однихъ геніяльныхъ твореній, окруженныхъ развалинами эфемерныхъ произведеній таланта. Напротивъ, во всѣхъ сферахъ человѣческой дѣятельн ости, исторія сохранила имена людей, которые не были геніями, не были полномочными властелинами своего времени, но тѣмъ не менѣе имѣли на него свое дѣйствительное вліяніе и потому заняли хотя и второстепенныя, но почетныя мѣста въ благодарной памяти потомства. Въ сферѣ искусства, такихъ людей называютъ большими и великими талантами, въ отличіе отъ геніевъ и отъ обыкновенныхъ талантовъ. Но это названіе довольно неопредѣленно. Мы думаемъ, къ такимъ людямъ лучше бы шло названіе геніяльныхъ талантовъ, какъ выражающее и ихъ сродство съ геніемъ и съ талантомъ, и ту средину, которую они занимаютъ между тѣмъ и другимъ.

Но слова ничего не значатъ, если не выражаютъ идеи, доказывающей ихъ необходимость и дѣйствительность. И потому, мы должны оправдать употребленное нами выраженіе «геніяльнаго таланта», показавши его отношеніе къ «генію» и «таланту». Геніяльный талантъ отличается отъ обыкновеннаго таланта тѣмъ, что, подобно генію, живетъ собственною жизнію, творитъ свободно, а не подражательно, и на свои творенія налагаетъ печать оригинальности и самобытности со стороны, какъ содержанія, такъ и формы. Отъ генія же онъ отличается объемомъ своего содержанія, которое у него бываетъ менѣе обще и болѣе частно. И потому, геній есть полный властелинъ своего времени, которое носитъ на себѣ его имя,—тогда-какъ вліяніе геніяльнаго таланта, какъ бы оно ни было сильно, всегда простирается только на одну какую-нибудь сторону искусства и жизни. Другими словами: геній захватываетъ и наполняетъ собою цѣлую область современной ему дѣйствительности, геніяльный талантъ — одинъ уголокъ ея. Что̀ въ геніи составляетъ полноту его существованія,—то въ геніяльномъ талантѣ есть какъ бы отблескъ генія. Но сходное и общее между ними, не смотря на всю огромность раздѣляющаго ихъ пространства—это та оригинальность и самобытность, которая порождаетъ множество подражателей, но ни одного самостоятельнаго таланта, которой можно подражать, но которой невозможно усвоить. И вотъ гдѣ существенное отличіе геніяльнаго таланта отъ обыкновеннаго. Послѣдній есть не болѣе, какъ посредникъ между геніемъ и толпою, родъ фактора, необходимаго для облегченія сношеній между ними: невольно увлекаясь идеями генія, онъ ихъ совлекаетъ съ ихъ высокаго, недоступнаго толпѣ пьедестала и тѣмъ самымъ приближаетъ ихъ къ разумѣнію толпы. Подъ рукою таланта, идеи генія, такъ сказать, мельчаютъ и опошливаются, но этимъ самымъ онѣ и дѣлаются популярными, становятся всѣмъ доступными и

каждому извѣстными. И потому, талантъ совершаетъ великое дѣло; но въ этомъ случаѣ, онъ дѣлается жертвою собственнаго успѣха: по мѣрѣ того, какъ онъ болѣе знакомитъ и сближаетъ толпу съ геніемъ, добродушно думая знакомить и сближать ее только съ самимъ собою,—толпа все болѣе и болѣе отворачивается отъ него, обращаясь все болѣе и болѣе къ самому генію, непосредственныя сношенія съ которымъ стали для нея уже возможными и доступными. Сдѣлавши свое дѣло, таланты (потому-что для такого дѣла одного таланта мало, а нужна толпа талантовъ) забываются: имена ихъ остаются въ исторіи литературы, но сочиненія предаются болѣе или менѣе полному забвенію.

Но мы все-таки еще не сказали послѣдняго слова о существенномъ различіи между геніяльнымъ и обыкновеннымъ талантомъ. Оно заключается въ тайнѣ натуры человѣка. Въ человѣкѣ, владѣющемъ обыкновеннымъ талантомъ, талантъ есть сила абстрактная, родъ капитала, который принадлежитъ своему владѣльцу, но который — не одно съ нимъ. Продолжимъ наше сравненіе. Потерявши капиталъ, можно нажить другой: капиталъ — внѣшнее средство для жизни, но не сама жизнь. Какъ часто видимъ мы людей, которые, долгое время пользовавшись огромною извѣстностію своего таланта, пережили свой талантъ и свою извѣстность, и которые, несмотря на то, съумѣли вознаградить себя другими благами жизни: пріобрѣли большіе чины или большія деньги, и прекрасно живутъ себѣ безъ таланта и безъ славы. Не таковъ человѣкъ, одаренный геніяльнымъ талантомъ: его нельзя отдѣлить отъ его таланта, его талантъ — его жизнь, его кровь, его духъ, его плоть, біеніе его сердца, дыханіе его груди, словомъ — весь онъ самъ. Это роковая сила, которая всегда будетъ мчать его къ одной цѣли, къ одной дѣятельности, наперекоръ судьбѣ, рожденію, воспитанію, всѣмъ внѣшнимъ обстоятельствамъ его жизни, какъ бы ни были они сильны. Онъ страстенъ къ славѣ и

очень не чуждъ самолюбія; но еще не въ этомъ только источникъ его ничѣмъ неудержимаго стремленія къ творчеству: оно у него—инстинктъ, натура, страсть. Въ отношеніи къ своему призванію, онъ смѣло можетъ сказать о себѣ:

Я зналъ одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть:
Она, какъ червь, во мнѣ жила,
Изгрызла душу и сожгла.
. . . .
Я эту страсть во тьмѣ ночной
Вскормилъ слезами и тоской;
Ее предъ небомъ и землей
Я нынѣ громко признаю
И о прощеньи не молю.

Сила геніяльнаго таланта основана на живомъ, неразрывномъ единствѣ человѣка съ поэтомъ. Тутъ замѣчательность таланта происходитъ отъ замѣчательности человѣка, какъ личности, какъ натуры; тогда-какъ обыкновенный талантъ отнюдь не условливаетъ собою необыкновеннаго человѣка: тутъ человѣкъ и талантъ—каждый самъ по-себѣ. и человѣкъ, въ отношеніи къ таланту, есть то же, что ящикъ въ отношеніи къ деньгамъ, которыя въ немъ лежатъ. Сильная и богатая натура всегда отличается отъ натуръ обыкновенныхъ, никогда на нихъ не похожа, всегда оригинальна,—и удивительно ли, если печать этой оригинальности налагаетъ она и на свои творенія? Самобытность поэтическихъ произведеній есть отраженіе самобытности создавшей ихъ личности.

У всякаго человѣка есть лицо, слѣдовательно, всякій человѣкъ есть личность; и однакожь, въ человѣческомъ родѣ гораздо больше существъ неопредѣленныхъ, безцвѣтныхъ, безхарактерныхъ, слѣдовательно, безличныхъ, нежели существъ съ рѣзкимъ выраженіемъ особности. Лицо

есть выраженіе, душа человѣка; но вѣдь есть лица, которыхъ нельзя забыть, разъ увидѣвши, и есть лица, которыя видишь безпрестанно цѣлые годы, и забываешь, не видя недѣлю Слѣдовательно, личность имѣетъ свои степени и свою постепенность. Чѣмъ общѣе, тѣмъ ничтожнѣе она; чѣмъ болѣе поражаетъ оригинальностію, тѣмъ она выше. Поэтому, геній есть высочайшее развитіе личности. Тайну генія составляетъ собственно не умъ: умъ, и часто весьма замѣчательный, бываетъ и у обыкновенныхъ людей; не талантъ: талантъ, и притомъ весьма замѣчательный, часто бываетъ и у обыкновенныхъ людей; не сердце: оно тоже, и очень часто, бываетъ удѣломъ людей обыкновенныхъ. Нѣтъ, тайна генія заключается больше всего въ какой-то непосредственной творческой способности вдохновенія, похожаго на откровеніе и составляющаго тайну личности человѣка. Это что-то такъ же неуловимое и невыразимое словомъ, какъ выраженіе физіономіи, какъ органическая жизнь. Намъ извѣстны средства жизни, ея органы, ихъ отправленія; но физіологическая жизнь все-таки для насъ тайна. Мы не можемъ выразить сущности генія, но всегда вѣрно чувствуемъ преобладающее надъ нами вліяніе не только генія, но и всякой сколько-нибудь высшей насъ личности. Иногда геніальная личность, обдѣленная образованіемъ и не подозрѣвающая своего значенія, съ смиреніемъ и съ робостью подходитъ къ человѣку обыкновенному, но образованному, развитому и ученіемъ и свѣтскою жизнію; но дѣло всегда оканчивается тѣмъ, что первая незамѣтно беретъ верхъ надъ послѣднимъ, и обыкновенный человѣкъ, въ присутствіи геніальнаго невѣжды, какъ-то невольно дѣлается осторожнымъ, какъ бы боясь проговориться. Вотъ что значитъ личность, натура,—и талантъ тогда только бываетъ плодотворенъ и живучъ, когда онъ тѣсно соединенъ съ личностью, съ натурою человѣка. И вотъ почему иногда бываютъ люди съ талантомъ, не имѣя ни ума, ни

сердца: это таланты обыкновенные, которые могутъ существовать безъ связи съ личностію и натурою человѣка.

Когда талантъ въ человѣкѣ есть не просто внѣшняя сила производить на основаніи увлеченія самобытными образцами, но выраженіе внутренней сущности человѣка, его личности, его натуры—тогда, каковъ бы ни былъ объемъ этого таланта, но онъ уже сила творческая, зиждительная, слѣдовательно, въ немъ уже заключается искра геніяльности,—и если, по его объему, его нельзя назвать «геніемъ», то можно и должно назвать «геніяльнымъ талантомъ».

Къ числу такихъ талантовъ принадлежитъ и талантъ Кольцова.

Пока сочиненія Кольцова были разбросаны по разнымъ періодическимъ изданіямъ, подобное заключеніе о его талантѣ не безъ основанія могло бы показаться нѣсколько преувеличеннымъ; но теперь, когда все написанное имъ собрано въ одной книгѣ, и наше мнѣніе можетъ быть повѣреннымъ, мы смѣло выговариваемъ его не какъ просто мнѣніе, но какъ глубокое и обдуманное убѣжденіе.

Кромѣ пѣсенъ, созданныхъ самимъ народомъ, и потому называющихся «народными», до Кольцова, у насъ не было художественныхъ народныхъ пѣсенъ, хотя многіе русскіе поэты и пробовали свои силы въ этомъ родѣ, а Мерзляковъ и Дельвигъ даже пріобрѣли себѣ большую извѣстность своими русскими пѣснями, за которыми публика охотно утвердила титулъ «народныхъ». Въ самомъ дѣлѣ, въ пѣсняхъ Мерзлякова попадаются иногда мѣста, въ которыхъ онъ удачно подражаетъ народнымъ мелодіямъ, и вообще онъ по этой части сдѣлалъ все, что́ можетъ сдѣлать талантъ. Но, не смотря на то, въ цѣломъ, его русскія пѣсни не что́ иное, какъ романсы, пропѣтые на русскій народный мотивъ. Въ нихъ видѣнъ баринъ, которому пришла охота попробовать сыграть роль крестьянина. Что́ же касается до русскихъ пѣсенъ Дельвига—это уже рѣшительно романсы,

въ которыхъ русскаго—одни слова. Это чистая поддѣлка, въ которой роль русскаго крестьянина игралъ даже и не совсѣмъ русскій, а скорѣе нѣмецкій, или, еще ближе къ дѣлу, италіанскій баринъ. Мерзляковъ по крайней мѣрѣ перенесъ въ свои русскія пѣсни русскую грусть-тоску, русское гореванье, отъ котораго щемитъ сердце и захватываетъ духъ. Въ пѣсняхъ Дельвига нѣтъ ничего, кромѣ сладенькаго любезничанья и сладенькой задумчивости, слѣдовательно, нѣтъ ничего русскаго. Впрочемъ, наше мнѣніе о пѣсняхъ Мерзлякова клонится не къ униженію его таланта, весьма замѣчательнаго; но мы хотимъ только сказать, что русскія пѣсни могъ создать только русскій человѣкъ, сынъ народа, въ такомъ смыслѣ, въ какомъ и самъ Пушкинъ не былъ и не могъ быть русскимъ человѣкомъ, по причинѣ рѣзкаго разрыва, произведеннаго реформою Петра Великаго между образованными классами русскаго общества и массою народа. Въ піесахъ Пушкина, содержаніе которыхъ взято изъ народной жизни и выражено въ народной формѣ, видна душа глубоко-русская, но, въ то же время, видна и та художественная объективность, которая дѣлала для Пушкина возможнымъ быть какъ у себя дома во всѣхъ сферахъ жизни, даже самыхъ противоположныхъ другъ другу, и благодаря которой онъ въ «Каменномъ гостѣ» изобразилъ природу и нравы Испаніи съ такою же поразительною вѣрностію, какъ въ «Русалкѣ» изобразилъ природу и нравы Руси временъ удѣловъ. Сверхъ того, въ этой «Русалкѣ», если внимательнѣе прислушаться къ ея звукамъ, приглядѣться къ ея колориту,—нельзя не открыть примѣси поэтическихъ элементовъ, болѣе обрусѣнныхъ поэтомъ, если можно такъ выразиться, нежели чисто русскихъ. Сейчасъ видно, что эта піеса писана поэтомъ, который образованъ европейски и который безъ этого обстоятельства не могъ бы написать ее такъ. Не таковъ міръ русскихъ пѣсенъ Кольцова: въ нихъ и содержаніе и форма

чисто русскія,—и, несмотря на всю объективность своего генія, Пушкинъ не могъ бы написать ни одной пѣсни въ родѣ Кольцова, потому-что Кольцовъ одинъ и безраздѣльно владѣлъ тайною этой пѣсни. Этою пѣснею, онъ создалъ свой особенный, только одному ему довлѣвшій міръ, въ которомъ и самъ Пушкинъ не могъ бы съ нимъ соперничествовать,—но не по недостатку таланта, а потому, что міръ пѣсни Кольцова требуетъ всего человѣка, а для Пушкина, какъ для генія, этотъ міръ былъ бы слишкомъ тѣсенъ и малъ, и потому могъ входить только, какъ элементъ, въ огромный и необъятный міръ Пушкинской поэзіи.

Кольцовъ родился для поэзіи, которую онъ создалъ. Онъ былъ сыномъ народа, въ полномъ значеніи этого слова Бытъ, среди котораго онъ воспитался и выросъ, былъ тотъ же крестьянскій бытъ, хотя нѣсколько и выше его. Кольцовъ выросъ среди степей и мужиковъ. Онъ не для фразы, не для краснаго словца, не воображеніемъ, не мечтою, а душою, сердцемъ, кровью любилъ русскую природу, и все хорошее и прекрасное, что́, какъ зародышъ, какъ возможность, живетъ въ натурѣ русскаго селянина. Не на словахъ, а на дѣлѣ сочувствовалъ онъ простому народу въ его горестяхъ, радостяхъ и наслажденіяхъ. Онъ зналъ его бытъ, его нужды, горе и радость, прозу и поэзію его жизни,—зналъ ихъ не по наслышкѣ, не изъ книгъ, не черезъ изученіе, а потому, что самъ, и по своей натурѣ и по своему положенію, былъ вполнѣ русскій человѣкъ. Онъ носилъ въ себѣ всѣ элементы русскаго духа, въ особенности—страшную силу въ страданіи и въ наслажденіи, способность бѣшено предаваться и печали и веселію, и вмѣсто того, чтобы падать подъ бременемъ самаго отчаянія, способность находить въ немъ какое-то буйное, удалое, размашистое упоеніе, а если уже пасть, то спокойно, съ полнымъ сознаніемъ своего паденія, не прибѣгая къ ложнымъ утѣшеніямъ, не ища спасенія въ томъ, чего не нужно было ему въ его

лучшіе дни. Въ одной изъ своихъ пѣсенъ, онъ жалуется, что у него нѣтъ воли,

Чтобъ въ чужой сторонѣ
На людей поглядѣть;
Чтобъ порой предъ бѣдой
За себя постоять;
Подъ грозой роковой
Назадъ шагу не дать;
И чтобъ съ горемъ, въ пиру,
Быть съ веселымъ лицомъ;
На погибель идти—
Пѣсни пѣть соловьемъ.

Нѣтъ, въ томъ не могло не быть такой воли, кто въ столь мощныхъ образахъ могъ выразить свою тоску по такой волѣ....

Нельзя было тѣснѣе слить своей жизни съ жизнію народа, какъ это само-собою сдѣлалось у Кольцова. Его радовала и умиляла рожь, шумящая спѣлымъ колосомъ, и на чужую ниву смотрѣлъ онъ съ любовію крестьянина, который смотритъ на свое поле, орошенное его собственнымъ пóтомъ. Кольцовъ не былъ земледѣльцемъ, но урожай былъ для него свѣтлымъ праздникомъ: прочтите его «Пѣсню пахаря» и «Урожай». Сколько сочувствія къ крестьянскому быту въ его «Крестьянской пирушкѣ» и въ пѣснѣ:

Что ты спишь, мужичокъ!
Вѣдь ужь лѣто прошло,
Вѣдь ужь осень на дворъ
Черезъ прясло глядитъ;
Вслѣдъ за нею зима
Въ теплой шубѣ идетъ,
Путь снѣжкомъ порошитъ,
Подъ санями хруститъ.
Всѣ сосѣди на нихъ
Хлѣбъ везутъ, продаютъ,
Собираютъ казну,
Бражку ковшикомъ пьютъ.

Кольцовъ зналъ и любилъ крестьянскій бытъ такъ, какъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, не украшая и не поэтизируя

его. Поэзію этого быта нашелъ онъ въ самомъ этомъ бытѣ, а не въ риторикѣ, не въ піитикѣ, не въ мечтѣ, даже не въ фантазіи своей, которая давала ему только ȯбразы для выраженія уже даннаго ему дѣйствительностію содержанія. И потому, въ его пѣсни смѣло вошли и лапти, и рваные кафтаны, и всклоченныя бороды, и старыя онучи — и вся эта грязь превратилась у него въ чистое золото поэзіи. Любовь играетъ въ его пѣсняхъ большую, но далеко не исключительную роль: нѣтъ, въ нихъ вошли и другіе, можетъ-быть, еще болѣе общіе элементы, изъ которыхъ слагается русскій простонародный бытъ. Мотивъ многихъ его пѣсенъ составляетъ то нужда и бѣдность, то борьба изъ копейки, то прожитое счастье, то жалобы на судьбу-мачиху.

Въ одной пѣснѣ, крестьянинъ садится за столъ, чтобы подумать, какъ ему жить одинокому; въ другой выражено раздумье крестьянина, на чтȯ ему рѣшиться—жить ли въ чужихъ людяхъ, или дома браниться съ старикомъ отцомъ, разсказывать ребятишкамъ сказки, ботѣть, старѣться. Такъ,говоритъ онъ, хоть оно и не того, но ужь такъ бы и быть, да кто пойдетъ за нищаго? «Гдѣ избытокъ мой зарытъ лежитъ?» И это раздумье разрѣшается въ саркастическую русскую иронію:

Куда глянешь—всюду наша степь;
На горахъ—лѣса, сады, домȧ;
На днѣ моря—груды золота;
Облака идутъ—нарядъ несутъ!...

Но если гдѣ идетъ дѣло о горѣ и отчаяніи русскаго человѣка—тамъ поэзія Кольцова доходитъ до высокаго, тамъ обнаруживаетъ она страшную силу выраженія, поразительное могущество ȯбразовъ.

Пала грусть-тоска тяжелая
На кручинную головушку;
Мучитъ душу мука смертная,
Вонъ изъ тѣла душа просится.

И какая же вмѣстѣ съ тѣмъ сила духа и воли въ самомъ отчаяніи:

Въ ночь, подъ бурей, я коня сѣдлалъ,
Безъ дороги въ путь отправился—
Горе мыкать, жизнью тѣшиться:
Съ злою долей перевѣдаться...

И послѣ этой пѣсни («Измѣна суженой»), прочтите пѣсню: «Ахъ, зачѣмъ меня»—какая разница! Тамъ буря отчаянія сильной мужской души, мощно опирающейся на самое себя; здѣсь грустное воркованіе горлицы, глубокая, раздирающая душу жалоба нѣжной женской души, осужденной на безвыходное страданіе....

Когда форма есть выраженіе содержанія, она связана съ нимъ такъ тѣсно, что отдѣлить ее отъ содержанія, значитъ уничтожить само содержаніе; и наоборотъ: отдѣлить содержаніе отъ формы, значитъ уничтожить форму. Эта живая связь, или, лучше сказать, это органическое единство и тождество идеи съ формою и формы съ идеею бываетъ достояніемъ только одной геніальности. Простой талантъ всегда опирается или преимущественно на содержаніе, и тогда его произведенія не долговѣчны со стороны формы, или преимущественно блистаетъ формою, и тогда его произведенія эфемерны со стороны содержанія; но главное, и въ томъ и другомъ случаѣ, богатыя мыслію, или щеголяющія внѣшнею красотою, они лишены оригинальности формы, свидѣтельствующей о самобытности мысли. Здѣсь-то всего яснѣе и открывается, что обыкновенный талантъ основанъ на способности подражанія, на способности увлеченія образцами,—и въ этомъ заключается причина недолговѣчности, а чаще всего и эфемерности таланта. И потому, оригинальность есть не случайное, но необходимое свойство геніальности, есть черта, которая отдѣляетъ геніальность отъ простой талантливости или даровитости. Но эта оригинальность,

прежде всего поражающая читателя въ языкѣ поэта, не должна быть искусственною, или изысканною: тогда она увлекаетъ только на минуту и потомъ тѣмъ болѣе дѣлается предметомъ осмѣянія и презрѣнія, чѣмъ больше сперва имѣла успѣха. Поэтъ долженъ быть оригиналенъ, самъ не зная какъ, и если долженъ о чемъ-нибудь заботиться, такъ это не объ оригинальности, а объ истинѣ выраженія: оригинальность придетъ сама-собою, если въ талантѣ его есть геніяльность. Истинная оригинальность въ изобрѣтеніи, а слѣдовательно, и въ формѣ, возможна только при вѣрности дѣйствительности и истинѣ.

Такою оригинальностію Кольцовъ обладалъ въ высшей степени. Съ этой стороны, его пѣсни смѣло можно равнять съ баснями Крылова. Даже русскія пѣсни, созданныя народомъ не могутъ равняться съ пѣснями Кольцова въ богатствѣ языка и ѡбразовъ, чисто русскихъ. Это естественно: въ народныхъ пѣсняхъ заключаются только элементы народнаго духа и поэзіи, но въ нихъ нѣтъ художественности, подъ которою должно разумѣть цѣлость, единство, полноту, оконченность и выдержанность мысли и формы. Многія русскія пѣсни имѣютъ значеніе только въ пѣніи, а въ чтеніи почти, или и вовсе лишены смысла; другія, при богатствѣ наивныхъ поэтическихъ ѡбразовъ не чужды прозаическихъ выраженій и слабыхъ мѣстъ, и только очень немногія, и то не вполнѣ, удовлетворяютъ болѣе или менѣе богатствомъ содержанія при силѣ выраженія. Изъ поэтовъ, только Мерзляковъ, и то въ одной только пѣснѣ, и то не вполнѣ, умѣлъ приблизиться къ языку народному безъ изысканности, народному не внѣшнимъ только, образомъ, но и внутренно; умѣлъ сохранить силу чувства и избѣжать будуарной сантиментальности романса,—въ пѣснѣ: «Чернобровый, черноглазый». По-крайней-мѣрѣ, слѣдующіе стихи изъ этой пѣсни нельзя не признать удивительными:

Воетъ сыръ-боръ за горою.
Мятелица въ полѣ;
Встала вьюга, непогода.
Запала дорога....

Кольцовъ, напротивъ, никогда не проговаривается противъ народности, ни въ чувствѣ, ни въ выраженіи. Чувство его всегда глубоко, сильно, мощно и никогда не впадаетъ въ сантиментальность, даже и тамъ, гдѣ оно становится нѣжнымъ и трогательнымъ. Въ выраженіи, онъ также вѣренъ русскому духу. Даже въ слабыхъ его пѣсняхъ никогда не найдете фальшиваго русскаго выраженія; но лучшія его пѣсни представляютъ собою изумительное богатство самыхъ роскошныхъ, самыхъ оригинальныхъ образовъ въ высшей степени русской поэзіи. Съ этой стороны, языкъ его столько же удивителенъ, сколько и неподражаемъ. Гдѣ, у кого, кромѣ Кольцова, найдете вы такіе обороты, выраженія и образы, какими, напримѣръ, усыпаны, такъ сказать, двѣ пѣсни Лихача-Кудрявича? У кого, кромѣ Кольцова, можно встрѣтить такіе стихи:

Грудь бѣлая волнуется,
Чтò рѣченька глубокая—
Песку со дна не выкинетъ.
Въ лицѣ огонь, въ глазахъ туманъ...
Смеркаетъ степь, горитъ заря....

—

На гумнѣ—ни снопа,
Въ закромахъ—ни зерна;
На дворѣ, по травѣ,
Хоть шаромъ покати.
Изъ клѣтей домовой
Соръ метлою посмелъ,
И лошадокъ, за долгъ,
По сосѣдямъ развелъ.

—

Иль у сокола
Крылья связаны.
Иль пути ему
Всѣ *заказаны?*

Не держи жь, пусти, дай волюшку
Тамъ опять мнѣ жить, гдѣ хочется,
Безъ таланта—гдѣ таланится,
Молодымъ кудрямъ счастливится.

Отчего жь на свѣтъ
Глядѣть хочется,
Облетѣть его
Душа просится?

Мы не выбирали этихъ отрывковъ, но брали, что̀ прежде попадалось на глаза. Выписывать все хорошее, значило бы большую часть піесъ Кольцова въ одной и той же книгѣ напечатать вдвойнѣ. И потому, мы не войдемъ въ подробный разборъ отдѣльныхъ піесъ. Скажемъ просто: если бы Кольцовъ написалъ только такія піесы, какъ «Совѣтъ старца», «Крестьянская пирушка», «Размышленіе поселянина», «Два прощанія,» «Размолвка», «Кольцо», «Пѣсня старика», «Не шуми ты, рожь», «Удалецъ», «Ты не пой, соловей», «Пѣсня пахаря», «Не на радость, не на счастіе», «Всякому свой таланъ», «Пѣсню о Грозномъ», «Я любила его», «Что онъ ходитъ за мной», «Нынче ночью къ себѣ»,—и тогда въ его талантѣ нельзя было бы не признать чего-то необыкновеннаго. Но что̀ же сказать о такихъ піесахъ, какъ «Урожай», «Молодая жница», «Косарь», «Раздумье селянина», «Горькая доля», «Пора любви», «Послѣдній поцѣлуй», «Въ полѣ вѣтеръ вѣетъ», «Пѣсня разбойника», «Тоска по волѣ», «Говорилъ мнѣ другъ прощаючись», «Безъ ума безъ разума», «Разлука», «Разсчетъ съ жизнію», «Перепутье», «Дуютъ вѣтры», «Грусть дѣвушки», «Доля бѣдняка», «Ты прости-прощай», «Разступитесь, лѣса темные», «Какъ здоровъ да молодъ»?—Такія піесы громко говорятъ сами за

себя, и кто бы не увидалъ въ нихъ огромнаго таланта, съ тѣмъ нечего и словъ тратить—съ слѣпыми о цвѣтахъ не разсуждаютъ. Что же касается до піесъ: «Лѣсъ» (посвященный памяти Пушкина), «Двѣ пѣсни Лихача-Кудрявича», «Ахъ, зачѣмъ меня», «Измѣна суженой», «Деревенская бѣда», «Бѣгство», «Путь», «Что ты спишь, мужичокъ», «Въ непогоду вѣтеръ», «Дума сокола», «Свѣтитъ солнышко», «Такъ и рвется душа», «Много есть у меня», «Не весна тогда», «Хуторокъ» и «Ночь»—эти піесы принадлежатъ не только къ лучшимъ піесамъ Кольцова, но и къ числу замѣчательнѣйшихъ произведеній русской поэзіи. Мы не говоримъ уже о неподражаемомъ превосходствѣ собственно лирическихъ пѣсенъ—талантъ Кольцова былъ по преимуществу лирическій: но не можемъ не указать на повѣствовательный характеръ піесъ: «Измѣна суженой», «Деревенская бѣда», «Бѣгство», обѣ «пѣсни Лихача-Кудрявича», и на страстно-драматическій характеръ піесы: «Хуторокъ» и «Ночь».

Почти всѣ пѣсни Кольцова писаны правильнымъ размѣромъ; но этого вдругъ не замѣтишь, а если замѣтишь, то не безъ удивленія. Дактилическое окончаніе ямбовъ и хореевъ и полуриѳма, вмѣсто риѳмы, а часто и совершенное отсутствіе риѳмы, какъ созвучія слова, но, взамѣнъ, всегда риѳма смысла, или цѣлаго реченія, цѣлой соотвѣтственной фразы—все это приближаетъ размѣръ пѣсенъ Кольцова къ размѣру народныхъ пѣсенъ. Кольцовъ не имѣлъ яснаго понятія о версификаціи, и руководствовался только своимъ слухомъ. И потому, безъ всякаго старанія и даже совершенно безсознательно, умѣлъ онъ искусно замаскировать правильный размѣръ своихъ пѣсенъ, такъ-что его и не подозрѣваешь въ нихъ. Притомъ, онъ придалъ своему стиху такую оригинальность, что и самые ихъ размѣры кажутся совершенно оригинальными. И въ этомъ отношеніи, какъ и во всемъ другомъ, подражать Кольцову невозможно: легче сдѣлаться такимъ же, какъ онъ, оригинальнымъ поэтомъ,

нежели въ чемъ-нибудь поддѣлаться подъ него. Съ нимъ родилась его поэзія, съ нимъ и умерла ея тайна.

Нѣкоторыя пѣсни Кольцова положены на музыку многими нашими композиторами. Жаль, что это большею частію не лучшія его пѣсни, что̀ произошло, вѣроятно, отъ того, что пѣсни Кольцова были доселѣ разсѣяны во множествѣ періодическихъ изданій. Теперь, выходомъ въ свѣтъ этой книги, музыкальному таланту предоставляется прекрасное поприще для состязанія съ поэтическимъ талантомъ. Русскіе звуки поэзіи Кольцова должны породить много новыхъ мотивовъ національной музыки. И придетъ время, когда пѣсни Кольцова пройдутъ въ народъ и будутъ пѣться на всемъ пространствѣ безпредѣльной Руси, какъ нѣкогда пройдутъ въ народъ и будутъ заучены имъ наизустъ басни Крылова....

Къ третьему разряду произведеній Кольцова принадлежатъ думы—особый и оригинальный родъ стихотвореній, созданный имъ. Эти думы далеко не могутъ равняться въ достоинствѣ съ его пѣснями; нѣкоторыя изъ нихъ даже слабы, и только немногія прекрасны. Въ нихъ онъ силился выразить порыванія своего духа къ знанію, силился разрѣшить вопросы, возникавшіе въ его умѣ. И потому, въ нихъ естественно представляются двѣ стороны: вопросъ и рѣшеніе. Въ первомъ отношеніи, нѣкоторыя думы прекрасны, какъ напримѣръ: «Великая тайна», «Неразгаданная истина», «Молитва», «Вопросъ». Такъ, напримѣръ, что̀ можетъ быть прекраснѣе этихъ стиховъ, проникнутыхъ глубокою мыслію, выраженною поэтически и страстно:

Спаситель, Спаситель!
Чиста моя вѣра,
Какъ пламя молитвы!
Но, Боже, и вѣрѣ
Могила темна!
Что́ слухъ мой замѣнитъ?

Потухшія очи?
Глубокое чувство
Остывшаго сердца?
Что́ будетъ жизнь духа
Безъ этого сердца?

Но во второмъ отношеніи, эти думы, естественно, не могутъ имѣть никакого значенія. Сильный, но неразвитый умъ, томясь великими вопросами, и чувствуя себя не въ силахъ разрѣшить ихъ, обыкновенно старается успокоить себя или какою-нибудь риторическою фразою о высшемъ мірѣ, или ироническою выходкою противъ слабости ума человѣческаго, какъ, напримѣръ, сдѣлалъ это Кольцовъ въ думѣ: «Неразгаданная истина», которая оканчивается такъ:

Подсѣку-жъ я крылья
Дерзкому сомнѣнью,
Прокляну усилья
Къ тайнамъ провидѣнья,
Умъ нашъ не шагаетъ
Міра за границу,
Наобумъ мѣшаетъ
Съ былью небылицу.

Это случалось и случается и съ великими мыслителями, когда они брались или берутся за вопросы выше ихъ времени, или выше ихъ самихъ. Кольцовъ, съ его вопросами, не могъ быть ни въ какихъ отношеніяхъ ни съ какимъ вѣкомъ: они были важны только для него, и тѣмъ труднѣе было ему рѣшать ихъ. Но самый вопросъ излагается у него часто съ необыкновенною поэзіею, доходящею до высокаго (sublime); чтобы убѣдиться въ этомъ, сто́итъ только прочесть его «Великую тайну». Несмотря на мистическую темноту выраженія, которая иногда доходитъ до рѣшительной безсмыслицы, какъ, напримѣръ, въ трехъ первыхъ стихахъ думы «Божій міръ», и естественная причина которой была та, что поэтъ больше ощущалъ и чувство-

валъ, или, лучше сказать, больше предощущалъ и предчувствовалъ сердцемъ, нежели сознавалъ умомъ то, что̀ хотѣлъ выразить словомъ,—несмотря на эту мистическую темноту, почти во всѣхъ его думахъ есть поэзія, и мысли, и выраженія. Многіе осуждали Кольцова за этотъ родъ стихотвореній, видя въ нихъ претензіи полуграмотнаго прасола на философское умничанье. Да если вспомнить, мало ли за что̀ не осуждали Кольцова эти «многіе»—даже за то, что въ бесѣдахъ онъ сидѣлъ не все молча, но иногда осмѣливался высказывать свое мнѣніе о предметѣ общаго разговора. Этою строгостію къ Кольцову особенно отличались умные и образованные люди, книжники, литераторы, полулитераторы и литературщики. И по-дѣломъ ему: какъ было смѣть ему, безграмотному мѣщанину, удостоенному, за его талантъ, чести быть принятымъ въ общество умныхъ людей,—какъ было ему, при нихъ, «смѣть свое сужденіе имѣть!»... Люди съ книжнымъ, вычитаннымъ умомъ, съ готовыми сужденіями о чемъ угодно, никогда не поймутъ, чтобы человѣкъ съ высшею натурою, но обдѣленный образованіемъ, могъ, на своемъ странномъ языкѣ, вслухъ выговаривать то, что̀ глубоко запало въ его душу и сильно заняло его умъ; никогда не растолкуете вы имъ, что такой человѣкъ и ошибается-то лучше, нежели какъ они говорятъ дѣло, потому что онъ ошибается посвоему, а они говорятъ чужое...

Особенное достоинство думъ Кольцова заключается въ ихъ чисто-русскомъ, народномъ языкѣ. Кольцовъ не по кокетству таланта, а по необходимости прибѣгалъ къ этому складу. Въ своихъ думахъ, Кольцовъ—русскій простолюдинъ, ставшій выше своего сословія на столько, чтобы только увидѣть другую, высшую сферу жизни, но не настолько, чтобы овладѣть ею, и самому совершенно отрѣшиться отъ своей прежней сферы. И потому, онъ по необходимости говоритъ ея понятіями и ея языкомъ объ увидѣнной имъ вда-

ли сферѣ другихъ, высшихъ понятій; но потому же онъ въ своихъ думахъ искрененъ и истиненъ до наивности,—что и составляетъ главное ихъ достоинство. Хотя пѣсни Кольцова были бы понятны и доступны для нашего простаго народа, но все же онѣ были бы для него гораздо высшею школою поэзіи, а слѣдовательно, чувствъ и понятій, нежели поэзія народныхъ пѣсенъ,—и потому были бы очень полезны для нравственнаго и эстетическаго его образованія. Такимъ же точно образомъ, думы Кольцова, изложенныя образами и складомъ чисто-русскими, и представляющія собою первую высшую ступень простаго русскаго человѣка въ стремленіи къ нравственно-идеальному развитію,—были бы очень полезны для избранныхъ натуръ въ простомъ народѣ.

Мистическое направленіе Кольцова, обнаруженное имъ въ думахъ, не могло бы у него долго продолжиться, еслибъ онъ остался живъ. Этотъ простой, ясный и смѣлый умъ не могъ бы долго плавать въ туманахъ неопредѣленныхъ представленій. Доказательствомъ этому служитъ его превосходная дума «Не время ль намъ оставить», написанная имъ менѣе, нежели за годъ до смерти. Въ ней виденъ рѣшительный выходъ изъ тумановъ мистицизма и крутой поворотъ къ простымъ созерцаніямъ здраваго разсудка.

—

Теперь намъ остается сказать слова два о редакціонной части изданія сочиненій Кольцова. Мы расположили его сочиненія по годамъ и раздѣлили ихъ на два отдѣла. Въ первомъ помѣстили мы одно лучшее, избранное, не нарушая однако же хронологической послѣдовательности,—и потому, въ этомъ отдѣлѣ сперва идутъ піесы перваго періода поэтическихъ опытовъ Кольцова, которыя, естественно, слабѣе послѣдующихъ, которыя занимаютъ собою середину и бо́льшую часть отдѣла; а въ концѣ его, по той же

причинѣ, рѣшились мы помѣстить и четыре послѣднія стихотворенія, довольно слабыя и написанныя Кольцовымъ уже не задолго до смерти, во время тяжкой болѣзни, въ мучительныхъ обстоятельствахъ. Изъ нихъ, стихотвореніе «На новый 1842-й годъ» имѣетъ свой интересъ, какъ скорбное предчувствіе поэта—увы! слишкомъ вѣрно сбывшееся; остальныя же три—какъ послѣдніе, уже замирающіе звуки еще недавно громкаго, мощнаго и гармоническаго голоса... Думы помѣстили мы отдѣльно, непосредственно послѣ пѣсенъ и не отдѣлили лучшихъ изъ нихъ отъ слабыхъ, потому что эти піесы слишкомъ тѣсно слиты съ личностію Кольцова и интересны болѣе, какъ факты его внутренней жизни, нежели какъ поэтическія произведенія, хотя нѣкоторыя изъ нихъ прекрасны и съ этой точки зрѣнія, какъ напримѣръ: «Великая тайна», «Могила», «Не время ль намъ оставить». Такимъ образомъ, изъ 125 піесъ въ первомъ отдѣлѣ помѣщено 79 піесъ. Остальныя 46 стихотвореній мы напечатали въ особомъ отдѣлѣ, въ видѣ приложенія. Между ними есть много слабыхъ, даже очень слабыхъ; но нѣтъ ни одного, которое не имѣло бы хотя относительнаго интереса или замѣчательною степенью одушевленія, даже страсти, или оригинальною мыслію, или счастливыми оборотами выраженій, или, наконецъ, болѣе или менѣе любопытнымъ отношеніемъ къ жизни и личности автора. Нѣкоторыя изъ стихотвореній этого отдѣла были бы даже очень недурны, если бы отзывались большею зрѣлостію и выдержанностію. Таковы, напримѣръ, піесы: «Если встрѣчусь съ тобой», «Теремъ», «По-надъ Дономъ садъ цвѣтетъ», «Домикъ лѣсника», «Размышленіе поселянина», «Глаза», «Два прощанія», «Бѣдный призракъ», «Товарищу», «Не скажу никому», «Гдѣ вы, дни мои».

Такъ же, въ видѣ приложенія, рѣшились мы, при собраніи стихотвореній Кольцова, напечатать «Мысли о музыкѣ», статью друга его Серебрянскаго. Это единствен-

ный оставшійся послѣ Серебрянскаго литературный памятникъ, погребенный въ одномъ малоизвѣстномъ и притомъ старомъ уже журналѣ. Мы увѣрены, что отношенія Серебрянскаго къ Кольцову, равно какъ и достоинство статьи, которая сама такъ похожа на музыкальное произведеніе, вполнѣ оправдываютъ ея помѣщеніе въ книгѣ сочиненій Кольцова.

НИКОЛАЙ АЛЕКСѢЕВИЧЪ ПОЛЕВОЙ.

....На жизненныхъ браздахъ
Мгновенной жатвой, поколѣнья,
По тайной волѣ провидѣнья
Восходятъ, зрѣютъ и падутъ,
Другія имъ вослѣдъ идутъ....

ПУШКИНЪ.

Всякая сфера дѣятельности безконечно разнообразна и требуетъ различныхъ дѣятелей. Съ перваго взгляда, кажется, что науку можетъ поднять и двинуть впередъ только ученый, поэзію—поэтъ, литературу — литераторъ. Безъ всякаго сомнѣнія, безъ ученыхъ наука не могла бы не только подниматься и двигаться, но даже и существовать, такъ же какъ и поэзія—безъ поэтовъ, литература—безъ литераторовъ: однакожъ, тѣмъ не менѣе справедливо и то, что наукѣ, искусству и литературѣ оказывали иногда величайшія услуги люди, которые ничего не писали и не были ни учеными, ни поэтами, ни литераторами. Нужно ли говорить, какое великое вліяніе на успѣхи литературы можетъ иногда имѣть книгопродавецъ-издатель? Вспомнимъ Новикова. Этотъ человѣкъ,—столь мало у насъ извѣстный и оцѣненный (по причинѣ почти совершеннаго отсутствія публичности),—имѣлъ сильное вліяніе на движеніе русской литературы и, слѣдовательно, русской образованности. Самъ онъ ничего, или почти ничего не писалъ, но онъ обладалъ удивительною способностію заставлять писать другихъ.

Владѣя значительными средствами, онъ издавалъ множество книгъ въ такое время, когда у насъ почти вовсе не было книгъ. Но и въ этомъ случаѣ, онъ дѣйствовалъ не какъ книгопродавецъ, хотя въ то время и роль дѣльнаго книгопродавца была бы еще благодѣтельнѣе, нежели какъ могла бы она быть теперь. Нѣтъ! Новиковъ не былъ книгопродавцемъ: нажиться продажею книгъ нисколько не было его цѣлью. Благородная натура этого человѣка постоянно одушевлялась высокою гражданскою страстію — разливать свѣтъ образованія въ своемъ отечествѣ. И онъ увидѣлъ могущественное средство для достиженія этой цѣли въ распространеніи въ обществѣ страсти къ чтенію. Для чтенія нужны книги и журналы, а ихъ-то и не было тогда. И вотъ Новиковъ издаетъ книги и журналы, всюду ищетъ молодыхъ людей, способныхъ или охотливыхъ къ книжному дѣлу. Знающимъ иностранные языки онъ заказываетъ переводы, у стихотворцевъ печатаетъ стихи, у прозаиковъ — прозу; всѣхъ одобряетъ и понуждаетъ, бѣднымъ даетъ средства къ образованію. Кому не извѣстно, что самъ Карамзинъ многимъ былъ обязанъ Новикову? Еслибы это и несправедливо было приписано Новикову, все же это важный фактъ въ его пользу. Когда явился Пушкинъ, всякое ходячее по рукамъ стихотвореніе, дѣйствительно хорошее, или только казавшееся хорошимъ, приписывалось Пушкину, хотя бы и вовсе не принадлежало ему. Такъ и Новикову приписывалось изданіе всякой книги и одобреніе всякаго таланта: это выразительно указываетъ на его роль на сценѣ русской литературы...

Но эта роль, какъ ни важна и ни велика она, имѣла опредѣленный и ограниченный характеръ. Новикову нужно было, во что бы ни стало, заохотить общество къ чтенію, давши ему средства удовлетворять этой охотѣ — книги и журналы. О направленіи этой охоты онъ не думалъ, да и думать тогда объ этомъ было рано. Онъ печаталъ почти

все, что ни писалось, и считалъ за писателя всякаго, кто только имѣлъ охоту писать для печати. Новиковъ не былъ архитекторомъ: онъ приготовлялъ только строительныя матеріалы и строительныхъ мастеровъ. Давать литературѣ направленіе, дѣйствовать на нее лично,—это роль людей другаго рода. Но и для этой роли — повторяемъ — нужны не одни ученые и поэты.

Три человѣка, нисколько не бывшіе поэтами, имѣли сильное вліяніе на русскую поэзію и вообще русскую изящную литературу, въ три различныя эпохи ея историческаго существованія. Эти люди были — Ломоносовъ, Карамзинъ и Полевой... Каждый изъ нихъ оказалъ свое вліяніе на литературу своимъ особеннымъ образомъ, сообразно съ обстоятельствами и требованіями своего времени.

Ломоносовъ, Карамзинъ — и Полевой!... Какъ многихъ оскорбитъ такое сближеніе именъ! Имена еще до сихъ поръ играютъ въ нашей литературѣ чрезвычайно важную роль, потому-что для многихъ еще замѣняютъ они идеи... Имена въ нашей литературѣ—то же что чины въ нашей общественной жизни, т. е. легкое внѣшнее средство оцѣнять человѣка... Не всякому дана способность судить вѣрно о качествахъ человѣка и узнавать безошибочно, хорошъ онъ, или нѣтъ. Такъ точно, не всякому дана способность судить вѣрно объ истинномъ значеніи и достоинствѣ писателя; но нѣтъ глупца и невѣжды, который бы, услышавъ громкое или извѣстное имя, не догадался бы тотчасъ же, что это— большой сочинитель. Чѣмъ старѣе имя писателя, тѣмъ бо̀льшимъ уваженіемъ пользуется оно (особенно со стороны людей, никогда не читавшихъ этого писателя),—и поставить съ нимъ рядомъ имя хоть бы и весьма извѣстнаго, но еще живаго, или только недавно умершаго писателя, — значитъ разсердить на-смерть множество людей, которымъ литература, по разнымъ отношеніямъ, близка къ сердцу, а еще болѣе людей, которымъ до литературы вовсе нѣтъ

никакого дѣла... Въ настоящемъ случаѣ мы дѣлаемъ большой рискъ въ этомъ отношеніи. Старики, которые и теперь считаютъ Ломоносова, вмѣстѣ съ Сумароковымъ и Херасковымъ, образцовыми писателями, увидятъ страшную профанацію въ сближеніи имени Полеваго съ именемъ Ломоносова. Но этихъ уже не много, и они будутъ жаловаться про себя и между собою; ихъ дрожащіе голоса не возвысятся среди общества, которое такъ молодо въ отношеніи къ нимъ, что уже не помнитъ пудренныхъ косъ съ кошельками... Но что̀ скажутъ тѣ, которые съ личностію и эпохою Карамзина сливаютъ воспоминаніе о лучшемъ времени своей жизни; которые, наконецъ, помнятъ въ Полевомъ человѣка, писавшаго противъ Карамзина, хотя и послѣ его смерти... Что̀ скажутъ бывшіе журналисты, современники Полеваго, и многіе писатели и писаки, которыхъ нѣкогда уничтожалъ онъ своимъ журналомъ, и у которыхъ еще цѣлы шрамы, отъ глубокихъ ранъ, нанесенныхъ его перомъ ихъ самолюбію?... Что̀ скажутъ всѣ они?—Пусть говорятъ что̀ хотятъ: страшенъ сонъ да милостивъ Богъ!... Истина выше людей и не должна бояться ихъ, особенно истина объ умершемъ человѣкѣ, могила котораго требуетъ суда, а не осужденія, должной справедливости, а не восторженныхъ похвалъ ложныхъ друзей, или пристрастнаго ропота раненныхъ самолюбій...

За Ломоносовымъ потомство не безъ основанія утвердило имя основателя и отца русской поэзіи и литературы. Что онъ былъ первый, по времени, русскій поэтъ: это такъ же очевидно, какъ и то, что Державинъ былъ первый, по таланту, русскій поэтъ. Но Ломоносовъ, натура поэтическая, какъ всякая геніяльная натура, тѣмъ не менѣе не былъ поэтомъ. Онъ поэтически чувствовалъ и мыслилъ, но не владѣлъ поэтическимъ даромъ творчества. Лучшая оцѣнка, въ этомъ отношеніи, была сдѣлана ему Пушкинымъ:

«Ломоносовъ былъ великій человѣкъ. Между Петромъ I-мъ и Екатериною II-ою онъ одинъ является самобытнымъ сподвижникомъ просвѣщенія. Онъ создалъ первый университетъ; онъ, лучше сказать, самъ былъ первымъ нашимъ университетомъ. Но въ семъ университетѣ, профессоръ поэзіи и элоквенціи не что иное, какъ исправный чиновникъ, а не поэтъ, вдохновенный свыше, не ораторъ, мощно увлекающій. Однообразныя и стѣснительныя формы, въ кои отливалъ онъ свои мысли, даютъ его прозѣ ходъ утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость полу-славянская, полу-латинская, сдѣлалась было необходимостію; къ счастію, Карамзинъ освободилъ языкъ отъ чуждаго ига и возвратилъ ему свободу, обративъ его къ живымъ источникамъ народнаго слова.

«Въ Ломоносовѣ нѣтъ ни чувства, ни воображенія. Оды его, писанныя по образцу тогдашнихъ нѣмецкихъ стихотворцевъ, давно уже забытыхъ въ самой Германіи, утомительны и надуты. Его вліяніе на словесность было вредное, и до сихъ поръ въ ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращеніе отъ простоты и точности, отсутствіе всякой народности и оригинальности—вотъ слѣды, оставленные Ломоносовымъ. Ломоносовъ самъ не дорожилъ своею поэзіею, и гораздо болѣе заботился о своихъ химическихъ опытахъ, нежели должностныхъ одахъ на высокоторжественный день тезоименитства и проч. Съ какимъ презрѣніемъ говоритъ онъ о Сумароковѣ, страстномъ къ своему искусству, объ этомъ человѣкѣ, который ни о чемъ, кромѣ какъ о бѣдномъ своемъ риѳмотворствѣ, не думаетъ... За то, съ какимъ жаромъ говоритъ онъ о наукахъ, о просвѣщеніи».

Въ этихъ словахъ виденъ взглядъ удивительно вѣрный, но тѣмъ не менѣе односторонній. «Вліяніе Ломоносова на словесность было вредное и до сихъ поръ въ ней отзывается»: это такъ и не такъ въ одно и то же время. Подъ статьей Пушкина не выставлено года, когда она написана, и потому, намъ слѣдуетъ ограничиться увѣренностію, что она была написана не раньше 1836 года,—десять или около того лѣтъ назадъ тому. Въ Россіи все идетъ скоро, и десять лѣтъ для насъ — много времени. Въ новой школѣ, которую сами враги ея почтили именемъ «натуральной», нѣтъ уже ни малѣйшихъ слѣдовъ Ломоносовскаго вліянія, слѣдовательно, оно уже прошло. Даже въ старой школѣ

видно устарѣлое вліяніе Карамзина, но уже не Ломоносова. Если вліяніе послѣдняго и было вредно, все же оно не было зломъ неизлѣчимымъ. Съ другой стороны, если и нельзя согласиться, что вліяніе Ломоносова на русскую литературу было вредное, то изъ этого еще отнюдь не слѣдуетъ, чтобы оно не было необходимо. А что̀ необходимо, то уже полезно, хотя бы съ другой стороны и было вредно. Во время Ломоносова намъ не нужно было народной поэзіи: тогда великій вопросъ—быть или не быть, заключался для насъ не въ народности, а въ европеизмѣ. Далеко ли ушелъ бы Ломоносовъ въ наукѣ, еслибы, оставивъ безъ вниманія ея успѣхи въ Европѣ, сталъ хлопотать о наукѣ русской, рѣшился бы сдѣлаться не нововводителемъ въ этой области, а продолжателемъ трудовъ россійскихъ книжниковъ и мудрецовъ до него бывшихъ?... Первымъ благодѣтельнымъ слѣдствіемъ возникавшей тогда литературы долженствовало быть отрѣшеніе общества не отъ національности, а отъ непосредственнаго, или безсознательнаго характера этой національности. Мы должны были на время перестать быть Русскими, чтобы потомъ сознательно сдѣлаться Русскими. Что вліяніе Ломоносова на литературу было надолго вредно,—это правда; но развѣ не правда и то̀, что и результаты реформы Петра Великаго были, во многихъ отношеніяхъ, временно вредны? Однакожь изъ этого вѣдь не слѣдуетъ, чтобы реформа Петра Великаго не была въ высочайшей степени полезна и благодѣтельна для Россіи? — Ломоносовъ былъ Петромъ Великимъ нашей литературы. Отъ его сочиненій (кромѣ ученыхъ) ничего не осталось теперь для нашего наслажденія; но многое ли осталось теперь, и отъ учрежденій Петра Великаго, и похожа ли сколько-нибудь Россія нашего времени на Россію Петра Великаго? А между тѣмъ, Россія нашего времени, все-таки твореніе Петра Великаго...

Сужденіе Пушкина о Ломоносовѣ очень вѣрно, какъ отвѣтъ на безсознательно восторженные возгласы слѣпыхъ почитателей Ломоносова, которые и теперь, вопреки всякой очевидности, упорно хотятъ видѣть въ немъ не только поэта, но еще и великаго поэта, тогда какъ въ сущности онъ не былъ ни то, ни другое; но какъ окончательный приговоръ надъ Ломоносовымъ, сужденіе о немъ Пушкина—повторяемъ—одностороннее. Имя основателя и отца русской литературы и поэзіи по праву принадлежитъ этому великому человѣку. Натура по преимуществу практическая, онъ былъ рожденъ реформаторомъ и основателемъ. Не приписывая непринадлежащаго ему титла поэта, нельзя не видѣть, что онъ былъ превосходный стихотворецъ (версификаторъ). Если прибавить къ этому его глубокое знаніе русскаго языка (хотя по духу и потребностямъ своего времени, онъ и старался придавать ему полу-славянскую и полу-латинскую величавость),—то нельзя не согласиться, что, въ отношеніи къ стиху, можно подумать, что Державинъ жилъ и писалъ прежде Ломоносова. Этого мало: въ нѣкоторыхъ стихахъ Ломоносова, не смотря на ихъ декламаторскій и напыщенный тонъ, промелькиваетъ иногда поэтическое чувство—отблескъ его поэтической души. Въ словахъ нашихъ нѣтъ противорѣчія: живая натура—всегда поэтическая натура, хотя изъ этого и нисколько не слѣдуетъ, чтобы человѣкъ съ живою натурою былъ непремѣнно поэтъ: иначе и изъ Наполеона легко было бы сдѣлать поэта, и имя его внести въ исторію французской поэзіи... Метрика, усвоенная Ломоносовымъ нашей поэзіи, есть большая заслуга съ его стороны. Нѣкоторые думаютъ, что ямбы, хореи, дактили, амфибрахіи и анапесты несвойственны просодической натурѣ русскаго языка. Говорятъ, будто самъ Пушкинъ впослѣдствіи ставилъ себѣ въ вину, что своими дивными стихами окончательно и безвозвратно утвердилъ эти размѣры за русскою поэзіею, и

будто онъ хотѣлъ воротиться къ размѣрамъ нашихъ народныхъ пѣсенъ, для чего и написалъ свою «Сказку о Рыбакѣ и Рыбкѣ». Если это правда, — это была ошибка со стороны великаго поэта. Метръ народныхъ пѣсенъ былъ хорошъ для выраженія бѣднаго круга понятій, выражаемыхъ ими; но и въ этомъ кругѣ онъ далеко не изчерпывалъ просодическаго богатства русскаго языка; для выраженія же новой безконечно-разнообразной и широкой сферы понятій, онъ былъ бы совершенно недостаточенъ и крайне однообразенъ. Версификація Ломоносова не даромъ удержалась: она сродна духу русскаго языка и сама въ себѣ носила свою силу; отъ этого всѣ попытки замѣнить ее были и будутъ безплодны.

Что̀ касается до славяно-латино-нѣмецкихъ періодовъ Ломоносова, напыщенности его рѣчи, — намъ теперь до всего этого такъ же мало дѣла, какъ и до странныхъ костюмовъ эпохи Петра Великаго: то и другое замѣнено теперь лучшимъ. По словамъ Пушкина, Карамзинъ къ счастію освободилъ нашъ языкъ отъ чуждаго ига. Слово: къ счастію указываетъ какъ бы на случайность, тогда какъ тутъ была необходимость, и Карамзинъ, — или кто бы ни былъ, лишь бы съ такими же способностями, — не могъ бы, послѣ Ломоносова, сдѣлать ничего другаго, кромѣ этого освобожденія языка отъ чуждаго ига. Карамзинъ, разрушивъ дѣло Ломоносова, тѣмъ самымъ только продолжалъ его. Великій реформаторъ приходитъ не съ тѣмъ, чтобы разрушить, а съ тѣмъ, чтобы создать, разрушая...

Но точно ли Карамзинъ возвратилъ свободу нашему языку, и обратилъ его къ живымъ источникамъ народнаго слова? Извѣстно, что его прозаическій слогъ дѣлится на двѣ эпохи — до-историческую и историческую, т. е., что слогъ его «Исторіи Государства Россійскаго» рѣзко отличается отъ слога всѣхъ его сочиненій, предшествовавшихъ ей. До-историческій слогъ Карамзина былъ великимъ шагомъ

впередъ со стороны и языка литературы русской: въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Но не менѣе несомнѣнно и тò, что это слогъ далеко еще не русскій, хотя и несравненно болѣе свойственный духу русскаго языка, нежели слогъ Ломоносова. Скажемъ болѣе: не безъ причины восхищавшій современниковъ, до-историческій слогъ Карамзина теперь блѣденъ и безцвѣтенъ. Онъ относится къ настоящему русскому слогу, какъ языкъ новѣйшихъ латинистовъ къ языку Горація и Тацита Въ немъ и для иностранца, учащагося по-русски, будетъ все просто и легко, потому что иностранецъ не встрѣтитъ въ немъ того, чтò называется идіотизмами, т. е., чисто-русскихъ оборотовъ, или руссизмовъ. Историческій же слогъ Карамзина слишкомъ отзывается искусственною поддѣлкой подъ языкъ лѣтописей, и слишкомъ не лишенъ риторическаго оттѣнка. Впрочемъ, все это мы говоримъ не для униженія великаго подвига Карамзина, а какъ бы въ отвѣтъ на слова Пушкина, чтобы показать, что и Карамзинъ не сдѣлалъ всего, какъ не сдѣлалъ всего Ломоносовъ, и что, относительно, потомство въ правѣ обвинять и Карамзина въ тѣхъ же недостаткахъ, въ какихъ обвиняетъ Пушкинъ Ломоносова; но что тотъ и другой — и Ломоносовъ и Карамзинъ — оба сдѣлали именно тò, что нужно было сдѣлать въ ихъ время и, слѣдовательно, обоимъ имъ равно принадлежитъ вѣчная честь великаго подвига...

Карамзинъ явился въ то самое время, когда направленіе, данное Ломоносовымъ литературѣ, такъ сказать, истощило само-себя и обратилось въ застой. Въ духѣ этого направленія уже ничего нельзя было дѣлать. Въ самой литературѣ обнаружилась ему реакція: языкъ и самый характеръ сочиненій Фонъ-Визина уже отошли отъ Ломоносовскаго типа. Позднѣе, Макаровъ, независимо отъ Карамзина, началъ переводить и писать языкомъ, совершенно Карамзинскимъ. Нуженъ былъ только человѣкъ, который, по своимъ интеллектуальнымъ средствамъ, былъ бы способенъ завладѣть

общественнымъ мнѣніемъ и стать во главѣ литературнаго движенія. Такимъ человѣкомъ явился Карамзинъ. Онъ былъ для своей эпохи всѣмъ: и реформаторомъ, и теоретикомъ, и практикомъ, и стихотворцемъ, и прозаикомъ, и поэтомъ, и журналистомъ, лирикомъ, сказочникомъ, нувеллистомъ, археологомъ. Его стихи учились наизусть, его повѣсти, особенно «Бѣдная Лиза» и «Марѳа Посадница», сводили съ ума всю публику. И хотя Карамзинъ нисколько не былъ поэтомъ, тѣмъ не менѣе этотъ успѣхъ былъ вполнѣ заслуженный. Его «Письма Русскаго Путешественника» познакомили тогдашнее общество съ Европою, которая только для высшаго слоя его не была terra incognita,—и въ этомъ отношеніи Карамзинъ былъ истиннымъ Колумбомъ. Письма Фонъ-Визина изъ Франціи были несравненно дѣльнѣе «Писемъ Русскаго Путешественника», но они не могли произвести на общество такого вліянія, потому что были понятны только для людей, знакомыхъ съ состояніемъ дѣлъ въ Европѣ того времени, а всѣмъ другимъ могли сообщить о ней самое превратное понятіе. Письма Фонъ-Визина такъ дѣльны, что только теперь настало время для ихъ настоящей оцѣнки. Но во времена переходныя, въ эпохи преобразованій, часто бываютъ нужнѣе и полезнѣе тѣ легкія произведенія, которыя, могущественно увлекая толпу, тотчасъ умираютъ, какъ скоро сдѣлаютъ свое дѣло. И вотъ гдѣ самая слабая, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и самая важная сторона литературной дѣятельности Карамзина. Онъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, творенія которыхъ всегда свѣжи и юны, не знаютъ ни старости, ни смерти. Нѣтъ, къ чему лицемѣрить! «Бѣдная Лиза», «Наталья Боярская Дочь», «Счастливый Карло», «Марѳа Посадница», «Островъ Борнгольмъ»,—всѣ эти и другія повѣсти Карамзина для однихъ теперь дороги только какъ воспоминаніе о свѣтлыхъ дняхъ юности, какъ память о сказочкѣ нянюшки, подъ разсказъ которой когда-то сладко было засы-

пать; для другихъ онѣ интересны какъ стародавніе костюмы, какъ факты образованія и развитія общества во времена давнопрошедшія; но читать ихъ для эстетическаго наслажденія, читать ихъ какъ поэтическія произведенія теперь никто не будетъ... Еще въ то время, когда авторитетъ Карамзина только стремился къ своей апогеѣ, равно какъ и въ то время, когда онъ достигъ ея, появились Крыловъ, Жуковскій и Батюшковъ—поэты по натурѣ, люди призванные давать неувядаемые образцы настоящей поэзіи, а не преходящей бельлетристики только. Имя Пушкина уже прогремѣло по всей Россіи, когда умеръ Карамзинъ...

Но все это служитъ не къ уменьшенію заслугъ Карамзина, а къ опредѣленію рода и характера его литературной дѣятельности. Если его творенія, какъ говорится, отжили свое время, тѣмъ не менѣе имя его будетъ всегда знаменито и почтенно, если хотите — безсмертно: его навсегда сохранитъ не только исторія литературы, но и благодарная память образованной части народа русскаго.

Новиковъ старался распространить въ русскомъ обществѣ охоту къ чтенію множествомъ книгъ; Карамзинъ дѣлалъ то же самое, но уже заманчивостію сочиненій. Удивительно ли, что онъ болѣе Новикова успѣлъ въ своемъ дѣлѣ? Онъ создалъ въ Россіи многочисленный, въ сравненіи съ прежнимъ, классъ читателей, создалъ, можно сказать, нѣчто въ родѣ публики, потому что образованный имъ классъ читателей получилъ уже извѣстное направленіе, извѣстный вкусъ, слѣдовательно, болѣе или менѣе отличался характеромъ единства. До Карамзина этого не было на Руси. Его читатели относились къ прежнимъ, какъ относятся люди съ гастрономическими замашками къ людямъ, которые безъ разбору ѣдятъ все, что̀ ни поставятъ передъ ними, ни чѣмъ особенно не услаждаясь, ни чѣмъ не оскорбляясь. Это былъ безмѣрный шагъ впередъ. Повѣсти Карамзина, извлекшія столько слезъ изъ очей его

нѣжныхъ читательницъ, и столько вздоховъ изъ груди его чувствительныхъ читателей, нисколько не были произведеніями поэзіи, какъ искусства, какъ творчества; но тѣмъ не менѣе онѣ были для своего времени прекрасными беллетристическими произведеніями человѣка съ большимъ дарованіемъ. Самая сантиментальность направленія вообще всего, написаннаго Карамзинымъ, имѣетъ свое великое достоинство: она была необходима, какъ для своего времени была необходима схоластическая напыщенность Ломоносова. Это было новою ступенью, новымъ шагомъ впередъ начавшей развиваться литературы. До Карамзина у насъ были періодическія изданія, но не было ни одного журнала: онъ первый намъ далъ его. Его «Московскій Журналъ» и «Вѣстникъ Европы» были для своего времени явленіемъ удивительнымъ и огромнымъ, особенно если сравнить ихъ не только съ бывшими до нихъ, но и съ бывшими послѣ нихъ на Руси журналами, до самаго «Московскаго Телеграфа»... Какое разнообразіе, какая свѣжесть, какой тактъ въ выборѣ статей, какое умное, живое передаваніе политическихъ новостей, столь интересныхъ въ то время! Какая, по тому времени, умная и ловкая критика!

Къ чему не обратитесь въ нашей литературѣ, — всему начало положено Карамзинымъ: журналистикѣ, критикѣ, повѣсти-роману, повѣсти исторической, публицизму, изученію исторіи. Мы не говоримъ уже о его стихотворствѣ, имѣвшемъ большую цѣну для своего времени; ни о его «Исторіи Государства Россійскаго», положившей начало дѣльному, ученому изученію русской исторіи и давшей для этого возможность. Въ «Исторіи Государства Россійскаго» — весь Карамзинъ, со всею огромностію оказанныхъ имъ Россіи услугъ и со всею несостоятельностію на безусловное достоинство въ будущемъ своихъ твореній. Причина этого—повторяемъ—заключается въ родѣ и характерѣ его литературной дѣятельности. Если онъ былъ великъ, то не

какъ художникъ-поэтъ, не какъ мыслитель-писатель, а какъ практическій дѣятель, призванный проложить дорогу среди непроходимыхъ дебрей, разчистить арену для будущихъ дѣятелей, приготовить матеріалы, чтобы геніяльные писатели въ разныхъ родахъ не были остановлены на ходу своемъ необходимостью предварительныхъ работъ. Державинъ былъ геніяльный поэтъ по своей натурѣ, но если онъ не явился такимъ же по своимъ твореніямъ,—это потому именно, что прежде его былъ только Ломоносовъ, а не Карамзинъ,—тогда какъ для Пушкина было большимъ счастіемъ явиться уже на закатѣ дней Карамзина... Это вполнѣ опредѣляетъ нашу мысль о сущности дѣятельности и заслугъ Карамзина. Онъ, сказали мы, создалъ на Руси если еще не публику, то возможность публики, нѣчто въ родѣ публики: подвигъ великій, но для котораго требовался не геній, обыкновенно устремляющій всѣ силы свои въ одну сторону, на одинъ предметъ, а энциклопедическій, разнообразный талантъ.

Сильно было движеніе, сообщенное нашей литературѣ Карамзинымъ. И оно принесло свои плоды. При полномъ владычествѣ и очарованіи имени Карамзина, тихо и незамѣтно возникало то̀ новое, которое должно было смѣнить собою Карамзинскую эпоху. Но новый духъ не сознавалъ своихъ правъ и охотно подчинялся вліянію Карамзина. Крыловъ считался не больше, какъ замѣчательнымъ послѣ Дмитріева баснописцемъ, и дѣйствительно, самобытность его таланта проявлялась только изрѣдка; но большею частію, онъ или подражалъ въ своихъ басняхъ Лафонтену, или морализировалъ въ нихъ въ пользу и назиданіе дѣтей. Жуковскаго, пересадившаго романтизмъ на почву русской литературы, всѣ похваливали, но немногіе подозрѣвали его истинное значеніе. Батюшковъ, основатель пластически-художественнаго элемента въ русской поэзіи, восхищалъ своихъ современниковъ совсѣмъ не тѣмъ, что̀ составляло

величайшее достоинство его музы, родственной музѣ эллинской. Всѣ эти люди смотрѣли на Карамзина, какъ на своего учителя и хорега; всѣ они находились подъ вліяніемъ его идей. Очевидно, что это была школа, или, лучше сказать, это были школы новыя, но переходныя и потому не рѣшительныя, изъ которыхъ ни одна не была въ силахъ стоять во главѣ движенія и руководить имъ. Все, какъ будто, колебалось между прошедшимъ и будущимъ, и только ждало человѣка, который сдѣлалъ бы рѣшительный шагъ. И этотъ человѣкъ не замедлилъ явиться: то былъ Пушкинъ... Съ нимъ явилась новая школа поэзіи, не совсѣмъ удачно провозглашенная «романтическою»...

Съ Пушкинымъ почти изчезли изъ русской поэзіи всѣ слѣды карамзинскаго направленія. Новое время и новое положеніе вещей дали поэту той эпохи другое направленіе. Но онъ былъ силенъ не столько силою времени, сколько своею глубоко художественною натурою: вотъ что̀ съ перваго же шагу эманципировало его отъ вліянія Карамзина. Первоначальному направленію своему онъ измѣнилъ въ послѣдствіи, именно потому, что источникъ его скрывался въ современности, а не въ натурѣ его. Какъ человѣкъ, Пушкинъ отразилъ на себѣ всю неопредѣленность и шаткость направленій и убѣжденій своего времени, и въ умѣ его какъ-то странно уживались вмѣстѣ тенденціи поэта и помѣщика, человѣка и дворянина, мѣщанина и аристократа. Какъ поэтъ, Пушкинъ противорѣчилъ себѣ какъ человѣку, по крайней мѣрѣ, вездѣ, гдѣ былъ онъ вѣренъ своей артистической натурѣ, гдѣ онъ былъ преимущественно художникомъ. Повторяемъ: сила его всегда была въ его художественной натурѣ. Становясь человѣкомъ (лицомъ частнымъ—particulier), онъ суевѣрно благоговѣлъ передъ карамзинскими идеями; становясь поэтомъ, онъ опережалъ ихъ на цѣлые вѣка...

Пушкинъ былъ главою поэтическаго движенія. Но вре-

мена перемѣнились: если уже бельлетристъ-публицистъ не могъ быть главою литературной эпохи, то и одинъ поэтъ, какъ бы ни былъ онъ великъ, уже не могъ удовлетворить собою всѣмъ требованіямъ эпохи. До какой степени эта эпоха рѣзко отдѣлилась отъ предшествовавшей, можно видѣть изъ обстоятельствъ появленія Пушкина на литературное поприще. Прежде всѣ поэты принимались безусловно, и каждому, кому только ни захотѣлось бы въ поэтическіе боги, готово было почетное мѣсто въ капищѣ поэзіи. Когда явился Карамзинъ, ограниченный кругъ тогдашнихъ читальщиковъ почти съ равнымъ восторгомъ произносилъ имена Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина. Самъ Карамзинъ высоко поставилъ Богдановича. Первые опыты Карамзина приняты были всѣми съ восхищеніемъ. Появленіе Жуковскаго и Батюшкова не возбудило никакого ропота. И только нѣкоторыя сомнѣнія въ безусловномъ достоинствѣ Сумарокова и Хераскова, обнаруженныя Мерзляковымъ (1815 года), да юношески-рьяная нападка на Хераскова со стороны студента Строева *), нѣсколько нарушили аркадскую безмятежность, съ которою весь пишущій людъ пользовался заслуженною и незаслуженною славою. Явившись на поприще литературной дѣятельности, Карамзинъ принялъ всѣ авторитеты; по крайней мѣрѣ не счелъ нужнымъ возставать противъ тѣхъ, которыхъ не признавалъ втайнѣ. Самъ онъ былъ вполнѣ главою литературной эпохи и, изъ новыхъ писателей, только Дмитріеву уступалъ пальму первенства въ стихотворствѣ. Во всемъ прочемъ онъ безусловно первенствовалъ въ литературѣ и былъ въ ней не только первымъ литераторомъ, но и первымъ поэтомъ, какъ нувеллистъ-романистъ.

---

*) Теперь почтеннаго археолога. Въ 1815 году, онъ издавалъ журналъ: *Современный наблюдатель россійской словесности,* въ которомъ отъ него порядкомъ и дѣльно досталось *Россіядѣ* и *Владиміру*, къ величайшему соблазну литературныхъ старовѣровъ.

И это первенство было безусловно признано всѣми. Нападки на Карамзина славянофиловъ того времени, подъ предводительствомъ Шишкова, касались одного языка и были притомъ слишкомъ ничтожны сами по себѣ, потому-что на сторонѣ пуристовъ были только книжники, а на сторонѣ Карамзина вся публика. Не такъ былъ принятъ Пушкинъ. Онъ былъ слишкомъ великъ, чтобы тотчасъ же быть понятымъ и оцѣненнымъ всѣми. И потому, его встрѣтили, съ одной стороны восторженные клики молодаго поколѣнія, а съ другой — ожесточенная брань теоретиковъ и людей привычки, для которыхъ хорошо все старое, и дурно все новое. Притомъ же, хотя поэзія Пушкина, въ смыслѣ историческаго развитія, и была, такъ сказать, результатомъ поэтическихъ усилій всѣхъ прежде него бывшихъ поэтовъ, отъ Ломоносова до Жуковскаго и Батюшкова, — тѣмъ не менѣе однакожь она была и ихъ отрицаніемъ. По крайней мѣрѣ, такъ могло казаться съ перваго взгляда. Тогда естественно многимъ могла придти въ голову такая диллема: «Если сочиненія Пушкина, писанныя вопреки всѣмъ правиламъ, извлеченнымъ изъ твореній великихъ геніевъ и утвержденнымъ вѣками; если они — истинныя поэтическія произведенія, — то произведенія нашихъ великихъ поэтовъ (Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина, Богдановича), писанныя по вѣковымъ правиламъ, уже не истинныя поэтическія творенія». Это ихъ по инстинкту рѣшило не признавать въ Пушкинѣ поэта, или, по крайней мѣрѣ, видѣть въ немъ не болѣе, какъ обыкновенный талантъ, способный писать только безъ правилъ. Съ своей стороны, восторженные почитатели Пушкина естественнымъ образомъ доходили до такой же несправедливости въ отношеніи къ его предшественникамъ на поэтическомъ поприщѣ. Такъ всегда раздѣляетъ людей на двѣ крайнія стороны всякая рѣзкая реформа. Тогда литература стала вопросомъ, съ которымъ незамѣтно

слились многіе вопросы о жизни. Вопросъ долженъ былъ родить живые споры, упорныя битвы за мнѣнія, ареною которыхъ должна была сдѣлаться журналистика.

Теперь понятна роль Полеваго въ нашей литературѣ. Она условливалась обстоятельствами. По роду своихъ способностей, Полевой имѣлъ большое сходство съ Карамзинымъ: его доставало на все—на повѣсть, на романъ, на драму, на стихи, на исторію. Но играть первую роль въ литературѣ для него было уже невозможно, потому что тогда былъ Пушкинъ, а при истинномъ великомъ поэтѣ, нельзя играть роль поэта человѣку, не рожденному поэтомъ. Сверхъ того, Полевой, въ вопросѣ о поэзіи, находился подъ вліяніемъ Пушкина, какъ живой практики всѣхъ теорій о поэзіи; но Пушкинъ, въ этомъ отношеніи, ни съ какой стороны не могъ находиться ни подъ чьимъ вліяніемъ, потому что самъ могъ черпать идеи изъ того же источника, который служилъ всякому журналисту: т. е. изъ личнаго знакомства съ иностранными литературами. Въ этомъ отношеніи, Пушкинъ былъ однимъ изъ образованнѣйшихъ людей своей эпохи и ужь, конечно, не изъ русскихъ журналовъ могъ учиться и слѣдить за ходомъ европейскаго развитія.

Но не смотря на это, Полевому предстояла роль дѣятельная и блестящая, вполнѣ сообразная съ его натурою и способностями. Онъ былъ рожденъ на то, чтобъ быть журналистомъ, и былъ имъ по призванію, а не по случаю. Чтобъ оцѣнить его журнальную дѣятельность и ея огромное вліяніе на русскую литературу, необходимо взглянуть на состояніе, въ которомъ находилась тогда литература и особенно журналистика. Первые опыты Пушкина огласились во всей Россіи, проникли во всѣ ея захолустья, въ которыя дотолѣ проникали только буквари и сонники. Масса читателей увеличилась чрезъ это, по крайней мѣрѣ, въ десятеро и стала походить на публику. Вездѣ чувст-

вовалась потребность въ опредѣленномъ вкусѣ, слѣдовательно, и въ теоріи. А этого-то тогда и не было. Всѣ авторитеты стояли на неприступной высотѣ; Сумарокова считали великимъ писателемъ; между Ломоносовымъ и Державинымъ не видѣли никакой разницы; басни Крылова считались ниже басенъ Дмитріева. Великихъ писателей было безъ счету, и объ нихъ позволялось говорить однѣ только похвальныя фразы, которыя давно уже обратились въ общія мѣста. Литературные нравы вполнѣ соотвѣтствовали такимъ литературнымъ понятіямъ. Молодой человѣкъ, желавшій попасть въ писатели, долженъ былъ прежде всего найдти себѣ мецената или между знаменитыми писателями, или между знаменитыми покровителями литературы, затѣмъ долженъ былъ добиться лестной чести— попасть на литературные вечера своего мецената. Тамъ предстоялъ ему долгій искусъ: прежде всего онъ обязанъ былъ «не смѣть свое сужденіе имѣть»; его дѣло было слушать умныя рѣчи опытныхъ людей, молча или словесно во всемъ соглашаться съ ними. Только со временемъ, уже пріобрѣтя лестную репутацію грибоѣдовскаго Молчалина, могъ онъ дерзнуть просить позволенія—прочесть свое первое произведеніе. Прочтя его, онъ выслушивалъ критику и совѣты, обязанъ былъ перемѣнять, переправлять и передѣлывать каждую строку, каждое слово, которое не одобрялось кѣмъ либо изъ опытныхъ и почтенныхъ знатоковъ словесности. Сто разъ передѣланное и переправленное его дѣтище поступало наконецъ въ печать. Еще лѣтъ десятокъ—и литература русская обогащалась, въ лицѣ этого новиціанта, или писателемъ съ талантомъ, но уже безъ всякой самостоятельности, или дюжиннымъ писакою. Во всякомъ случаѣ, онъ поступалъ тогда, съ благословенія своихъ меценатовъ, въ число опытныхъ и знаменитыхъ писателей,—и всѣ вѣрили, что онъ—большой писатель, потому что за него ручались не его сочиненія, а такіе зна-

менитые авторитеты. Затѣмъ, онъ самъ попадалъ въ авторитеты и меценаты, и въ отношеніи къ другимъ игралъ такую же курьезную роль, какую играли въ отношеніи къ нему знаменитости, которыя «вывели его въ люди». Теперь это невѣроятно, а тогда было такъ!

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!

Всякое независимое, самобытное мнѣніе, всякій свѣжій голосъ, все, что̀ не отзывалось рутиною, преданіемъ, авторитетомъ, общимъ мѣстомъ, ходячею фразою,—все это считалось ересью, дерзостью, чуть не буйствомъ...

А журналы тогдашніе?... «Вѣстникъ Европы», вышедши изъ-подъ редакціи Карамзина, только подъ кратковременнымъ завѣдываніемъ Жуковскаго напоминалъ о своемъ прежнемъ достоинствѣ. Затѣмъ, онъ становился все суше, скучнѣе и пустѣе, наконецъ, сдѣлался просто сборникомъ статей, безъ направленія, безъ мысли, и потерялъ совершенно свой журнальный характеръ. Конечно, всегда, даже въ самые худшіе годы свои, былъ онъ лучше всѣхъ журналовъ, существовавшихъ въ Россіи до «Московскаго Журнала», издававшагося Карамзинымъ въ 1791 и 1792 годахъ. И не диво: благодаря Карамзину, ему и не было возможно быть хуже ихъ; но онъ долженъ былъ бы считать своею обязанностію быть лучше даже карамзинскаго «Вѣстника Европы», потому что съ тѣхъ поръ, какъ Карамзинъ оставилъ его (съ 1804 года), много прошло времени, и отъ издателя уже не требовалось таланта Карамзина, чтобы возвысить и улучшить начатый имъ журналъ. Но вышло не такъ. Въ началѣ двадцатыхъ годовъ «Вѣстникъ Европы» былъ идеаломъ мертвенности, сухости, скуки и какой-то старческой заплѣсневѣлости. О другихъ журналахъ не сто̀итъ и говорить: иные изъ нихъ были, сравнительно, лучше «Вѣстника Европы», но не какъ журналы съ мнѣніемъ и направленіемъ, а только какъ сбор-

ники разныхъ статей. «Сынъ Отечества» даже принималъ на свои, до крайности сѣрые и жосткіе, листки стихотворенія Пушкина, Баратынскаго и другихъ поэтовъ новой тогда школы, даже открыто взялъ на себя обязанность защищать эту школу; но тѣмъ не менѣе самъ онъ представлялъ собою смѣсь стараго съ новымъ и отсутствіе всякихъ началъ, всего, что̀ похоже на опредѣленное и ни въ чемъ не противорѣчащее себѣ мнѣніе. Какъ судилъ и рядилъ «Сынъ Отечества» объ искусствѣ, даже въ послѣдствіи, можно видѣть изъ его опредѣленія романтизма, который, по его мнѣнію, начался съ Байрона и отличается отъ классицизма тѣмъ, что начинаетъ съ половины или даже съ конца дѣла!...

Вообще должно замѣтить, что война за такъ-называемый романтизмъ противъ такъ-называемаго классицизма была начата не Полевымъ. Романтическое броженіе было общимъ между молодежью того времени. Острыя и бойкія полемическія статейки Марлинскаго противъ литературныхъ старовѣровъ, печатавшіяся въ «Сынѣ Отечества», и его же такъ-называемые обзоры русской словесности, печатавшіеся въ извѣстномъ тогда альманахѣ, трехъ-мѣсячный сборникъ «Мнемозина», — все это выразило собою совершенно новое направленіе литературы, котораго о̀рганомъ былъ «Телеграфъ», и все это нѣсколькими годами упредило появленіе «Телеграфа». Слѣдовательно, Полевой не былъ ни первымъ, ни единственнымъ представителемъ новаго направленія русской литературы, какъ Карамзинъ былъ въ свое время первымъ и почти единственнымъ представителемъ новаго направленія, почти имъ же одномъ и произведеннаго, потому что подлѣ его имени, въ этомъ дѣлѣ, можно вспомнить только два другихъ имени — Макарова и Дмитріева.

Но это нисколько не уменьшаетъ заслуги Полеваго: мы увидимъ, что онъ съумѣлъ, на своемъ пути, стать выше

всѣхъ соперничествъ и даже восторжествовать въ борьбѣ противъ всѣхъ враждебныхъ соревнованій...

Романтизмъ—вотъ слово, которое было написано на знамени этого смѣлаго, неутомимаго и даровитаго бойца,—слово, которое отстаивалъ онъ даже и тогда, когда потеряло оно свое прежнее значеніе и когда уже не было противъ кого отстаивать его!... Что же такое этотъ «романтизмъ», который наполнялъ собою цѣлую литературную эпоху, за который было столько чернильныхъ войнъ, столько полемическихъ битвъ на жизнь и на смерть? Когда мы впервые услышали это слово, въ европейскихъ литературахъ уже давно кипѣли страшныя войны за него. Но не вездѣ онъ имѣлъ одинаковое значеніе. Первое движеніе въ его пользу обнаружилось въ Германіи, какъ реакція вліянію французской литературы, какъ протестъ въ пользу нѣмецкой національности въ литературѣ. Въ своей настоящей, современной дѣйствительности, Германія не видѣла, по извѣстнымъ причинамъ, никакихъ національныхъ элементовъ и обратилась къ своему прошедшему, къ своимъ среднимъ вѣкамъ, къ рыцарскимъ замкамъ съ ихъ башнями и подъемными мостами, съ ихъ поэтическимъ варварствомъ и романтическою дикостью ихъ нравовъ. Гёте и Шиллеръ не были вполнѣ представителями этого романтическаго движенія, но заплатили ему не малую дань, особенно послѣдній. Потомъ нѣмецкій романтизмъ началъ принимать новое направленіе, какъ реакція сухой и обнаженной простоты протестантизма, какъ усиліе въ пользу мистицизма среднихъ вѣковъ и противъ философскаго раціонализма. Жаркими поборниками этого направленія явились братья Шлегели. Думая найдти всякую опору своимъ теоріямъ въ посредственномъ, но за то ультра-романтическомъ Тикѣ, они провозгласили его великимъ поэтомъ, имѣли жалкую смѣлость противопоставлять его Гёте. Теперь эта затѣя не больше, какъ воспоминаніе: романтизмъ, на время искусно

воскрешенный, давно уже вновь опочилъ сномъ непробуднымъ. Шлегелей нѣтъ, а Тику удивляется только рѣдѣющая толпа стариковъ, скудно вознаграждая его этимъ удивленіемъ за насмѣшки и презрѣніе молодыхъ поколѣній... Въ Англіи романтизмъ былъ освобожденіемъ отъ вліянія французскаго классицизма, принятаго школою Попе, Адиссона и Драйдена. Байронъ и не думалъ быть въ смыслѣ поборника среднихъ вѣковъ: онъ смотрѣлъ не назадъ, а впередъ. Романтизмъ во Франціи сперва былъ реакціею революціонному раціонализму, и явился въ ней съ Шатобріаномъ, этимъ рыцаремъ реставраціи. Потомъ французскій романтизмъ превратился въ простой, чисто литературный вопросъ о свободѣ поэтическихъ формъ, до уродливости сжатыхъ и искаженныхъ прежнимъ классицизмомъ. Въ сущности, дѣло тутъ шло о томъ, которая школа натуральнѣе — Рассина или Шекспира, и можно ли, въ трагедіи, вводить лица низшихъ сословій, и патетическое мѣшать съ комическимъ. Представителемъ этого романтическаго движенія во Франціи былъ Викторъ Гюго, поэтъ даровитый, отнюдь не геніяльный, болѣе богатый воображеніемъ, нежели тактомъ истины. По чувству противорѣчія, онъ дошелъ до величайшихъ нелѣпостей: вмѣсто того, чтобы отрицать въ прежней псевдо-классической школѣ однѣ ея крайности, онъ почелъ за нужное идти ей наперекоръ даже и въ томъ, что̀ составляло ея истинное и высокое достоинство, что̀ дѣлало ее глубоко національною: чувство мѣры и постоянное присутствіе того, что̀ Французы называютъ le bon sens. Онъ дошелъ до того, что гордо объявилъ чудовищное прекраснымъ: le laid, c'est le beau... Подчиняясь нѣмецкому вліянію, онъ ринулся въ средніе вѣка, но вынесъ оттуда только однѣ нелѣпыя преувеличенія. Гюго имѣлъ свою минуту торжества, но давно уже во Франціи и онъ и романтизмъ не больше, какъ преданіе... Свобода формы выиграна и утверждена, и теперь никто не держится

тамъ условныхъ и стѣснительныхъ формъ псевдоклассицизма, но за это никого уже не называютъ тамъ «романтикомъ».

Само-собою разумѣется, что у насъ романтизмъ не могъ имѣть никакого соотношенія ни съ католицизмомъ, ни съ средними вѣками. Онъ могъ бы еще быть стремленіемъ къ лирической, субъективной настроенности въ поэзіи, усиліемъ сдѣлать поэзію выраженіемъ преимущественно внутреннихъ тайнъ сердца, мистики человѣческой личности, потому-что такое направленіе поэзіи есть дѣйствительно романтическое. Но Жуковскій уже ввелъ въ нашу поэзію этотъ романтизмъ гораздо прежде, нежели слово «романтизмъ» сдѣлалось извѣстнымъ въ нашей литературѣ. И однакожъ Жуковскаго, ни тогда, ни послѣ, никто не называлъ романтикомъ: это названіе было утверждено общимъ голосомъ за Пушкинымъ, который, и по своей натурѣ и по характеру своей поэзіи, несравненно меньше Жуковскаго былъ романтикомъ. За что же прослылъ онъ такимъ ультра-романтикомъ?—За то, что откинулъ, въ своихъ произведеніяхъ, всѣ старыя формы, и началъ писать элегіи и поэмы. Изъ этого ясно видно, что нашъ романтизмъ никогда не былъ ничѣмъ другимъ, какъ реакціею стѣснительнымъ и условнымъ формамъ, занятымъ нашею литературою у французской литературы. Новѣйшій классицизмъ былъ не чѣмъ инымъ, какъ усиліемъ поддѣлываться подъ формы древнихъ литературъ, греческой и латинской, произведенія которой были признаны классическими, т. е. образцовыми, такими, которыя могли читаться въ училищахъ, въ классахъ, какъ непогрѣшительные образцы, достойныя подражанія. Потомъ дошли до убѣжденія, что писать хорошо можно не иначе, какъ рабски подражая древнимъ. Разумѣется, подражать древнимъ можно было только въ формѣ, а не въ духѣ, но и это не могло не вредить добровольнымъ подражателямъ, потому-что это значило но-

вый духъ заковывать въ старыя и чуждыя ему формы. Такъ и было во Франціи. Но французскіе писатели, подражая древнимъ, на зло самимъ-себѣ и безъ собственнаго вѣдома, оставались вѣрными своему національному духу, тогда-какъ ихъ подражатели, думая быть Греками и Римлянами, были ровно ничѣмъ. Объ уравновѣшеніи природы и духа, выражавшемся въ пластически-прекрасной формѣ, никто не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, а всѣ твердили только о знаменитомъ тріединствѣ, плохо понятомъ изъ Аристотеля. Толковали, правда, и тогда, что въ классическомъ искусствѣ форма преобладаетъ надъ идеею, а въ романтическомъ, наоборотъ—идея надъ формою. Но это, во первыхъ, не совсѣмъ было вѣрно въ отношеніи къ древнему искусству, потому-что въ немъ видно было примиреніе духа съ природою, уравновѣшеніе идеи съ формою, а не перевѣсъ формы надъ идеею. Равнымъ образомъ, не совсѣмъ вѣрно судили и о романтизмѣ, считая его представителями не только Шекспира, но и Байрона, — тогда какъ истинные представители романтизма были трубадуры и менестрели, а изъ извѣстныхъ поэтовъ развѣ только Петрарка и Дантъ, первый въ своихъ сонетахъ, исполненныхъ мечтательной идеальной любви, а второй въ своей чудовищной и тѣмъ не менѣе великой поэмѣ, исполненной католическихъ тенденцій и богословскихъ аллегорій, и такъ полно отразившей въ себѣ всю уродливо-величавую жизнь среднихъ вѣковъ. Новѣйшее искусство скорѣе должно стремиться подойдти къ древнему, нежели къ романтическому, оставаясь въ сущности равно ни тѣмъ, ни другимъ. Все это теперь ясно какъ день. Но тогда вопросъ былъ многосложенъ, и спорящія стороны не понимали ни себя, ни другъ друга. Какъ ни бросались въ философію, что́ ни твердили о внѣшнемъ и внутреннемъ, о формѣ и идеѣ, но главнымъ вопросомъ все-таки оставалось освобожденіе отъ условныхъ правилъ, безъ нужды стѣснявшихъ вдохновеніе и отдаляв-

шихъ искусство отъ естественности, самобытности и народности.

Вопросъ стоилъ споровъ, дѣло стоило битвы. Теперь на этомъ полѣ все тихо и мертво, забыты и побѣжденные и побѣдители; но плоды побѣды остались, и литература навсегда освободилась отъ условныхъ и стѣснительныхъ правилъ, связывавшихъ вдохновеніе и стоявшихъ непреодолимою плотиною для самобытности и народности. И первымъ поборникомъ и пламеннымъ бойцомъ является въ этой битвѣ Полевой, какъ журналистъ, публицистъ, критикъ, литераторъ, бельлетристъ.

«Московскій Телеграфъ» былъ явленіемъ необыкновеннымъ, во всѣхъ отношеніяхъ. Человѣкъ, почти вовсе неизвѣстный въ литературѣ, нигдѣ не учившійся, купецъ званіемъ, берется за изданіе журнала, — и его журналъ, съ первой же книжки, изумляетъ всѣхъ живостію, свѣжестію, новостію, разнообразіемъ, вкусомъ, хорошимъ языкомъ, наконецъ, вѣрностію въ каждой строкѣ однажды принятому и рѣзко выразившемуся направленію. Такой журналъ не могъ бы не быть замѣченнымъ и въ толпѣ хорошихъ журналовъ, но среди мертвой, вялой, безцвѣтной, жалкой журналистики того времени, онъ былъ изумительнымъ явленіемъ. И съ первой до послѣдней книжки своей издавался онъ, въ теченіи почти десяти лѣтъ, съ тою постоянною заботливостію, съ тѣмъ вниманіемъ, съ тѣмъ неослабѣваемымъ стремленіемъ къ улучшенію, которыхъ источникомъ можетъ быть только призваніе и страсть. Первая мысль, которую тотчасъ же началъ онъ развивать съ энергіею и талантомъ, которая постоянно одушевляла его, была мысль о необходимости умственнаго движенія, о необходимости слѣдовать за успѣхами времени, улучшаться, идти впередъ, избѣгать неподвижности и застоя, какъ главной причины гибели просвѣщенія, образованія, литературы. Эта мысль, теперь общее мѣсто даже для всякаго невѣжды

и глупца, тогда была новостью, которую почти всѣ приняли за опасную ересь. Надо было развивать ее, повторять, твердить о ней, чтобы провести ее въ общество, сдѣлать, ходячею истиною. И это совершилъ Полевой! Боже мой! какъ взъѣлись на него за эту мысль ученые невѣжды, безталанные литературы, плохіе журналисты, закоснѣвшіе въ предразсудкахъ старики! И какъ усилилась эта буря негодованія и злобы умною, оригинальною, чуждою предразсудковъ критикою «Московскаго Телеграфа», высказывавшаго свои мнѣнія прямо, не смотрѣвшаго ни на какія авторитеты! И было изъ чего сердиться на этотъ журналъ: нѣтъ возможности пересчитать всѣ авторитеты, уничтоженные имъ! И сколько было тогда великихъ писателей, которые ничего путнаго не написали! Одинъ дубовыми стишищами переложилъ расиновскую трагедію; другой написалъ мадригалъ Лилетѣ и тріолетъ Хлоѣ; третій—дюжину плаксивыхъ стишонковъ; четвертый—сантиментальную повѣсть; извѣстность пятаго была основана на статьѣ, выкраденной изъ иностранной книги, а шестой просто выдалъ за свое сочиненіе забытый трудъ какого-нибудь стараго русскаго писателя. «Московскій Телеграфъ» на все навелъ справки, все вспомнилъ, все вывелъ наружу.... Многимъ сказалъ онъ, что ихъ сочиненія, въ свое время, могли имѣть свою относительную цѣнность, но что время ихъ прошло, и что теперь мальчики пишутъ лучше ихъ, заслуженныхъ и знаменитыхъ авторовъ. На все на это нужно было тогда много смѣлости: въ то время самое легкое замѣчаніе не въ пользу автора или сочиненія принималось за брань и ругательство и служило поводомъ ко множеству критикъ, антикритикъ, рекритикъ, отвѣтовъ, возраженій и пр. Считавшіе себя обиженными, не забывали этого; а кому пріятно имѣть безчисленное множество враговъ, иногда просто изъ ничего? Да, для этого нужно было больше, чѣмъ смѣлость — нужно было самоотверженіе. Особенную непа-

висть навлекъ на себя Полевой со стороны ученаго люда, учившагося по старымъ книгамъ и не подозрѣвавшаго, что могутъ быть новыя и лучшія. Тогда-то раздались ожесточенные вопли: да что онъ, да кто онъ, гдѣ онъ учился, гдѣ его аттестаты, какія его ученыя званія? онъ купецъ, торгашъ, самоучка, всезнайка и т. п. Повѣрятъ ли, что многіе «ученые», въ своихъ выходкахъ противъ Полеваго, не стыдились дѣлать намеки на его водочный заводъ—пятно, какъ сказалъ Пушкинъ, ужасное, какъ извѣстно, всему нашему дворянству!... Вотъ что́, напримѣръ, было сказано, между прочимъ, о Полевомъ въ «Вѣстникѣ Европы» (1828 года, № 23, стр. 199): «Онъ прикидываетъ къ нимъ (къ поэтамъ) волчокъ критики съ размаху, и опредѣляетъ мигомъ, сколько въ нихъ поэтическаго угара»....

Загляните въ современные «Московскому Телеграфу» журналы — и вы подумаете, что Полевой не умѣлъ иначе говорить, какъ страшными ругательствами, что журналъ его былъ складочнымъ мѣстомъ полемики дурнаго тона, брани, дерзостей, лжей. Но пересмотрите «Московскій Телеграфъ» хоть за все время его существованія,—и вы увидите, что всегда, въ жару самой запальчивой полемики, онъ умѣлъ сохранять свое достоинство, уважать приличіе и хорошій тонъ, и что въ самыхъ любезностяхъ его противниковъ было больше грубости и плоскости, нежели въ его брани. Мы пишемъ не панегирикъ, не эклогу, а характеристику замѣчательнаго дѣятеля на поприщѣ русской литературы, и потому мы не скажемъ не только того, чтобы Полевой никогда не ошибался, но и того, чтобы онъ всегда былъ безпристрастенъ въ отношеніи къ своимъ противникамъ, всегда умѣлъ отдавать имъ должную справедливость. Нѣтъ, онъ былъ человѣкъ, и притомъ постоянно раздражаемый самыми возмутительными въ отношеніи къ нему несправедливостями, ошибался и бывалъ не правъ; но въ исторіи человѣческихъ дѣлъ вопросъ не въ томъ, кто былъ

безупреченъ и непогрѣшителенъ, а въ томъ, кто болѣе другихъ, относительно, по возможности, былъ справедливъ, или у кого сумма добраго стремленія и добрыхъ дѣлъ если не перевѣшиваетъ недостатковъ и слабостей, то искупляетъ ихъ.... И въ этомъ отношеніи, издатель «Московскаго Телеграфа», смѣло могъ бы разсказать всему свѣту исторію своихъ отношеній къ противникамъ, не скрывая своихъ промаховъ и ошибокъ, смѣло могъ бы одинъ противостать цѣлой ихъ фалангѣ.... Наведя справки, не трудно убѣдиться, что полемики въ «Московскомъ Телеграфѣ» было не много, по крайней мѣрѣ меньше, нежели въ каждомъ изъ современныхъ ему журналовъ, не говоря уже о томъ, что его полемическія статьи всегда были умны, дѣльны, остроумны, ловки и приличны. И потому, причину общаго ожесточенія противъ этого журнала должно искать не столько въ полемическихъ статьяхъ, сколько въ его критикѣ и библіографіи, гдѣ правда высказывалась столько же прямо, сколько и прилично, отъ чего и кусалась больнѣе. До «Телеграфа», въ нашей журналистикѣ уклончивый тонъ принимали за одно съ вѣжливымъ; старались какъ можно меньше говорить о писателяхъ и сочиненіяхъ, а если говорили, то съ тѣмъ, чтобы хвалить общими избитыми фразами. Полевой показалъ первый, что литература — не игра въ фанты, не дѣтская забава, что исканіе истины есть ея главный предметъ, и что истина — не такая бездѣлица, которою можно было бы жертвовать условнымъ приличіямъ и пріязненнымъ отношеніямъ. Изъявить публично такой образъ мыслей въ то время значило сдѣлать страшную дерзость и выказать себя человѣкомъ «безпокойнымъ», т. е. хуже, чѣмъ безнравственнымъ.

Многіе раздѣляютъ людей, въ нравственномъ отношеніи, на благонамѣренныхъ и безпокойныхъ: первые не мѣшаютъ другимъ обдѣлывать свои дѣлишки, каковы бы они ни были, лишь бы только и имъ никто не мѣшалъ въ тихомолочку

заниматься тѣмъ же самымъ; вторые никакъ не могутъ вытерпѣть, чтобы не заговорить громко, узнавши, что ихъ сосѣдъ, посредствомъ справокъ и отношеній, пустилъ по міру цѣлое семейство, или,

> *Когда* весь городъ знаетъ,
> Что у него ни за собой,
> Ни за женой —
> А смотришь: помаленьку,
> То домикъ выстроитъ, то купитъ деревеньку.

И въ литературномъ мірѣ, даже и теперь, «благонамѣренныхъ» несравненно больше, нежели «безпокойныхъ», а въ то время, то есть до «Телеграфа», послѣднихъ почти вовсе не было. И потому, очень естественно, что этотъ журналъ многимъ казался чудовищнымъ явленіемъ, именно потому, что здравый смыслъ, образованный вкусъ и истину ставилъ выше людей и ради ихъ не щадилъ авторскихъ самолюбій. Теперь съ трудомъ можно повѣрить, чтобы когда-нибудь могло быть такимъ образомъ и до такой степени: и это опять заслуга Полеваго, и заслуга великая!

Это обстоятельство опять указываетъ на рѣзкое различіе роли Полеваго отъ роли Карамзина на одномъ и томъ же, впрочемъ, поприщѣ. Карамзинъ не былъ связанъ прошедшимъ, и ему не съ чѣмъ было бороться, почему онъ и не оскорбилъ ни чьего самолюбія, не возбудилъ ни чьей вражды къ себѣ, кромѣ завистниковъ, блѣдный рой которыхъ скоро долженъ былъ изчезнуть при быстрыхъ успѣхахъ его славы и при общей любви къ нему большинства образованнаго общества. Обстоятельства, положеніе литературы, дали Полевому роль бойца. Онъ не столько утверждалъ, сколько отрицалъ, не столько доказывалъ, сколько оспаривалъ. Кромѣ того, во время Карамзина было не до идей и вопросовъ; первыхъ никто не спрашивалъ, вторыхъ не было, общество было для нихъ еще слишкомъ молодо,

неразвито и безсознательно. Спорили о фразахъ, хлопотали о правильности и чистотѣ языка, и всѣ вопросы заключались въ стилистикѣ. Во всемъ остальномъ, дѣло шло о томъ, чтобы педантическую, школьную литературу сдѣлать свѣтскою, общественною и общительною, равно привлекательною и для кабинетнаго труженика, и для дѣловаго человѣка, и для свѣтскаго щеголя и свѣтской дамы. И Карамзинъ это сдѣлалъ не теоріями, не спорами, а образчиками сочиненій, которыхъ требовалъ духъ времени. Онъ былъ знакомъ хорошо и съ французской, и съ нѣмецкой, и съ англійской литературами, но ихъ вліяніе на него было больше внѣшнее, нежели внутреннее. Идеи XVIII вѣка не волновали его, по крайней мѣрѣ, этого не замѣтно въ его сочиненіяхъ. Фонъ-Визинъ, предшественникъ Карамзина, гораздо больше его былъ сыномъ своего вѣка. Карамзинъ занялъ у XVIII вѣка только сантиментальное направленіе и обожаніе природы, которую называлъ онъ Натурою, тоже сантиментальное, но не пантеистическое; о любви и всѣхъ сердечныхъ склонностяхъ говорилъ онъ какъ будто съ голосу Руссо, но въ сущности смотрѣлъ на нихъ не больше, какъ на извинительныя слабости человѣческаго естества. Вотъ все, чѣмъ ограничилось вліяніе на него вѣка. Но чрезъ двадцать-пять лѣтъ явились уже другія потребности, явилось стремленіе къ сознанію, къ изслѣдованію, къ анализу. Захотѣли узнать, что̀ такое Шекспиръ и Байронъ, Данте и Сервантесъ, Гёте и Шиллеръ, что̀ такое Востокъ и классическая древность, что̀ такое философія, политическая экономія и т. д., и все это свели на вопросъ о классицизмѣ и романтизмѣ, или, по крайней мѣрѣ, кстати и некстати все это привязали къ нему.

Всѣ новыя идеи, возникшія въ Европѣ въ началѣ XIX вѣка смутно доходили до русской любознательности и смутно отражались въ ней. Это было время, когда хотѣли ломать и строить, но на половинѣ ломки останавливались, чтобы

сдѣлать новую надстройку, а на половинѣ стройки останавливались, чтобы кончить по старому. Это была эпоха чисто переходная. И «Телеграфъ», вѣрный своему названію, былъ полнымъ представителемъ этой эпохи. Въ немъ было много силы, энергіи, жару, стремленія, безпокойства, тревожности; онъ неусыпно слѣдилъ за всѣми движеніями умственнаго развитія въ Европѣ и тотчасъ же передавалъ ихъ такъ, какъ они отражались въ его понятіи; но вмѣстѣ съ тѣмъ все въ немъ было неопредѣленно, часто смутно, а иногда и противорѣчиво. Это давало полную возможность придираться къ нему людямъ, стоявшимъ внѣ умственнаго движенія своей эпохи. И они не шутя считали себя неизмѣримо выше Полеваго, и съ важностію ловили и высчитывали его обмолвки, промахи, ошибки, не понимая, что ихъ преимущество надъ нимъ состояло только въ томъ, что они спали, а онъ жилъ и дѣйствовалъ: кто спитъ, тотъ, разумѣется, не грѣшитъ, особенно если спитъ такъ крѣпко, что и во снѣ ничего не видитъ... Они гордо величали его то самоучкою, то недоучкою, и на основаніи его ошибокъ (а часто и того, что̀ только имъ казалось ошибками, то есть чего они не въ состояніи были понять) оказывали, что онъ невѣжда и шарлатанъ.

Правда, онъ учился самоучкою, и то̀, что̀ другимъ давалось безъ труда, досталось ему страшными усиліями; но если этотъ путь къ знанію не могъ не повредить Полевому, болѣе или менѣе разладивши его съ систематичностію и методою, за то и принесъ ему большую пользу: спасъ его отъ школьныхъ предразсудковъ, отъ педантизма и образовалъ изъ него публициста, которому нужно имѣть дѣло не съ аудиторіею, а съ обществомъ. Его все интересовало, ко всему влекло, и онъ учился съ жаромъ, съ упорствомъ, съ настойчивостію; но этотъ энциклопедизмъ, эта жажда всезнанія, при житейскихъ заботахъ, при изданіи журнала, естественно, не допускала его углубиться

въ какой-нибудь исключительный предметъ, сдѣлаться ученымъ. Неопредѣленность идей (свойство той эпохи) и поверхностность многосторонняго знанія (результатъ энциклопедическаго направленія и самообразованія) отзывались во многомъ, что̀ писалъ онъ, особенно въ его философскихъ воззрѣніяхъ; но онъ равно былъ чуждъ и невѣжества и шарлатанства, въ которыхъ его обвиняли противники. Натура живая и воспріимчивая, онъ страстно увлекался всѣми современными идеями, и его можно было обвинять только въ томъ, что онъ часто понималъ ихъ по своему, но не въ томъ, чтобы онъ говорилъ о нихъ, не понимая ихъ. Журналистъ и бельлетристъ по призванію, человѣкъ практическій по своей природѣ, онъ всегда былъ ясенъ и опредѣлененъ, когда не бросался въ теорію, но говорилъ просто, какъ человѣкъ со вкусомъ, съ здравымъ смысломъ и съ образованіемъ. Нѣмецкая философія сильно занимала его умъ, но онъ знакомился съ ея идеями не изъ прямаго источника, недоступнаго для диллетантовъ и любителей философіи, а изъ популярныхъ лекцій Кузена, — и его главная ошибка тутъ состояла въ томъ, что этого бельлетриста философіи онъ принялъ за главу философическаго движенія, будто бы скончавшагося въ Германіи съ Шеллингомъ. Даже и въ этомъ отношеніи, можетъ-быть, составляющемъ самую слабую сторону образованія Полеваго, нельзя не удивляться его тревожной любознательности, за все хватавшейся, ко всему стремившейся, ничего не оставившей безъ вниманія. Вмѣстѣ съ нимъ много вышло на литературную арену людей, основательно учившихся и потомъ называвшихъ себя «учеными»; всѣ они были противъ него одного; но что̀ же сдѣлали они, или что̀ они дѣлаютъ теперь?... Гдѣ свершеніе тѣхъ надеждъ, которыя они подавали?... Черезъ два года послѣ «Московскаго Телеграфа» явился «Московскій Вѣстникъ», за нимъ «Атеней» и «Галатея», даже дряхлый «Вѣстникъ Европы» оживился,

ударился въ ожесточенную полемику, схватился за теорію и даже философію, потомъ всѣ они соединились въ «Телескопѣ», чтобы сильнѣе ударить на своего общаго врага; но они могли только поднять его своими нападками, ничего не сдѣлавши ни для себя, ни для публики...

Сначала въ «Телеграфѣ» принимали участіе, хотя и не большое, даже Жуковскій и Пушкинъ, и весьма значительное участіе принималъ въ немъ князь Вяземскій. Но вскорѣ участь этого журнала стала зависѣть только отъ дѣятельности и таланта его издателя, постоянно вспомоществуемаго только своимъ братомъ, К. А. Полевымъ; но журналъ отъ этого не упалъ, а годъ отъ году становился лучше. Этого мало: его не уронили даже двѣ важныя ошибки его издателя. Первая изъ нихъ была—примиреніе съ однимъ петербургскимъ журналомъ и одною петербургскою газетою, послѣ продолжительной и постоянной войны съ ними. Такъ-какъ эта война дѣлала особенную честь «Телеграфу», то примиреніе не могло не окомпрометировать его. Эта важная ошибка была слѣдствіемъ другой, еще важнѣйшей. Въ 1829 году, Полевой напечаталъ въ своемъ журналѣ критическую статью объ «Исторіи Государства Россійскаго». Статья была превосходно написана, мѣра заслугъ Карамзина оцѣнена въ ней была вѣрно, безпристрастно, съ полнымъ уваженіемъ къ имени знаменитаго писателя. Но чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ явилось въ «Телеграфѣ» объявленіе о скоромъ выходѣ «Исторіи Русскаго Народа». Тогда поднялась противъ Полеваго страшная буря: его статья объ исторіи Карамзина объяснялась его противниками, какъ предисловіе къ объявленію о подпискѣ на собственную исторію. Но всѣ эти вопли Полевому легко было сдѣлать ничтожными и обратить къ собственной чести и къ предосужденію своихъ противниковъ: ему сто́ило только всегда сохранять тонъ должнаго уваженія къ Карамзину, даже доказывая его ошибки; но онъ не

вытерпѣлъ—и досаду на своихъ противниковъ сталъ вымѣщать на исторіи Карамзина. «Исторія Русскаго Народа» явилась съ двойнымъ текстомъ: въ одномъ была исторія, а въ другомъ довольно нехладнокровныя нападки на Карамзина, и каждому изъ этихъ текстовъ было отведено ровно по полустраницѣ... Пожалѣемъ о слабости замѣчательнаго человѣка, оказавшаго литературѣ и общественному образованію великія заслуги; но не будемъ оправдывать его слабости, или называть ее добродѣтелью...

Къ этой же эпохѣ «Телеграфа» относится и принятіе имъ въ свои сотрудники одного писателя, съ его статьями, многоглаголивыми, широковѣщательными, плоскими и пошлыми, въ которыхъ подъ фирмою ратованія за новое, скрывались отсталость и страшная ограниченность въ понятіяхъ... Но «Телеграфъ» вынесъ и этотъ сильный ударъ, имъ же самимъ нанесенный себѣ: не смотря на все это, онъ не падалъ, а улучшался. Причина этого заключалась въ личности его издателя. Онъ былъ литераторомъ, журналистомъ и публицистомъ не по случаю, не изъ разсчета, не отъ нечего дѣлать, не по самолюбію, а по страсти, по призванію. Онъ никогда не неглижировалъ изданіемъ своего журнала, каждую книжку его издавалъ съ тщаніемъ, обдуманно, не жалѣя ни труда, ни издержекъ. И при этомъ, онъ владѣлъ тайною журнальнаго дѣла, былъ одаренъ для него страшною способностію. Онъ постигъ вполнѣ значеніе журнала, какъ зеркала современности, и «современное» и «кстати»—были въ рукахъ его по-истинѣ два волшебные жезла, производившіе чудеса. Пронесется ли слухъ о пріѣздѣ Гумбольдта въ Россію, онъ помѣщаетъ статью о сочиненіяхъ Гумбольдта; умираетъ ли какая нибудь европейская знаменитость,—въ «Телеграфѣ» тотчасъ является ея біографія, а если это ученый, или поэтъ, то критическая оцѣнка его произведеній. Ни одна новость никогда не ускользала отъ дѣятельности этого журнала. И

потому каждая книжка его была животрепещущею новостію, и каждая статья въ ней была на своемъ мѣстѣ, была кстати. По этому «Телеграфъ» совершенно былъ чуждъ недостатка, столь общаго даже хорошимъ журналамъ: въ немъ никогда не было балласту, т. е. такихъ статей, которыхъ помѣщеніе не оправдывалось бы необходимостію... И потому, безъ всякаго преувеличенія, можно сказать положительно, что «Московскій Телеграфъ» былъ рѣшительно лучшимъ журналомъ въ Россіи, отъ начала журналистики.

Въ 1832, 1833 и 1834 годахъ, «Телеграфъ», нисколько не ослабѣвая ни въ энергіи, ни въ разнообразіи, ни въ достоинствѣ, тѣмъ не менѣе былъ уже въ своей апогеѣ, даже на поворотѣ съ нея. Онъ сдѣлалъ свое дѣло и, по прежнему хлопоча о движеніи впередъ, безъ собственнаго вѣдома и желанія, на перекоръ самому себѣ, началъ принимать характеръ косненія. Въ эти три года были напечатаны въ немъ большіе критическіе разборы Полеваго сочиненій Державина, Жуковскаго, Пушкина, и повѣсти: «Блаженство Безумія», «Живописецъ», «Эмма». Въ тѣхъ и другихъ, Полевой высказался вполнѣ, въ тѣхъ и другихъ вполнѣ выказались уголъ его зрѣнія, сгибъ его ума, характеръ его образованія, равно, какъ вполнѣ отразилась его эпоха, съ ея живою дѣятельностію, безпокойнымъ тревожнымъ движеніемъ, заносчивостію, юношескимъ жаромъ, простодушнымъ убѣжденіемъ, съ полуфранцузскими тенденціями и полунѣмецкими идеями, съ поверхностію и неопредѣленностію въ понятіяхъ, съ чувствами вмѣсто мыслей, предощущеніями вмѣсто отчетливаго сознанія, часто съ громкими словами и туманными фразами вмѣсто теоріи, съ смѣлостію, отвагою, одушевленіемъ. Въ этихъ статьяхъ и повѣстяхъ, Полевой какъ бы поспѣшилъ представить результатъ своей журнальной дѣятельности, разомъ цѣлостно и обдуманно высказавъ въ нихъ все, о чемъ гово-

рилъ нѣсколько лѣтъ отрывочно и случайно. Онъ какъ будто чувствовалъ, не сознавая этого ясно, что возникаетъ въ нашей литературѣ новое движеніе, ему невѣдомое и непонятное,—и торопился высказаться вполнѣ и опредѣленно. А новое между тѣмъ дѣйствительно возникало,— и Полевой отступилъ отъ Пушкина, какъ отъ отсталаго поэта, въ ту самую минуту, когда тотъ изъ поэта, подававшаго великія надежды, началъ становиться дѣйствительно великимъ поэтомъ; съ перваго же разу не понялъ онъ Гоголя и, по искреннему убѣжденію, навсегда остался при этомъ непониманіи...

Съ прекращеніемъ «Телеграфа» поприще Полеваго, какъ журналиста, было кончено, и ему слѣдовало ограничиться такъ называемыми солидными трудами—доканчивать свою исторію, писать и издавать книги... Но что̀ прикажете дѣлать съ неугомонною журнальною натурою? Быть столько времени и съ такимъ успѣхомъ первымъ голосомъ въ журналистикѣ—и слышать новые, дотолѣ безвѣстные голоса, которые поютъ уже совсѣмъ другую пѣсню—на это у него не достало силы резиньироваться. Изъ журналиста онъ пошелъ въ сотрудники, расходился и вновь сходился съ журналами, въ которыхъ участвовалъ, принимался было за редакцію новыхъ—и только доказывалъ этимъ, что время его прошло невозвратно... При этомъ, естественно, не могъ онъ не увлекаться спорами, полемикою, выгоды которыхъ уже не могли быть на его сторонѣ... Но довольно объ этомъ: заслуги Полеваго такъ велики, что, при мысли о нихъ, нѣтъ ни охоты, ни силы распространяться о его ошибкахъ...

О его драмахъ мы ничего не скажемъ, кромѣ того, что онѣ доказываютъ его удивительную способность быть всѣмъ въ области бельлетристики, и во всемъ дѣйствовать съ бо̀льшимъ или меньшимъ успѣхомъ. Возьмись онъ за нихъ въ началѣ, а не въ концѣ своего поприща, — и онѣ, мо-

жеть-быть, умножили бы его права на общую признательность... Повѣсти его потому именно имѣютъ свое относительное достоинство, что явились во время. Не долго нравились онѣ, но нравились сильно, читались съ жадностью. Въ нихъ онъ былъ вѣренъ себѣ, и для него онѣ были только особенною отъ журнальныхъ статей формою для развитія тѣхъ же тенденцій, которыя развивалъ онъ и въ своихъ журнальныхъ статьяхъ. То́ же должно сказать и о его романахъ, изъ которыхъ «Клятва при Гробѣ Господнемъ» отличается мѣстами замѣчательнымъ умѣніемъ пользоваться историческими источниками для романтическихъ сценъ и картинъ.

Вѣренъ былъ онъ себѣ и въ своей «Исторіи Русскаго Народа»: какъ во всемъ, что̀ ни писалъ онъ, и въ ней былъ онъ журналистомъ, а не историкомъ. Въ этомъ ея слабая сторона, но въ этомъ и ея относительныя достоинства. Онъ взялся за нее не по приказанію, однакожь и не изъ разсчета, какъ утверждали это его противники, а по страстному влеченію своей журнальной натуры—все представлять въ новомъ видѣ, ко всему прилагать новыя идеи. Ему казалось, что смутный хаосъ, образовавшійся въ его головѣ изъ идей Гердера, Шеллинга, Гизо и Тьерри, очень удобоприложимъ къ русской исторіи. Это значило вовсе не понять русской исторіи, и не нужно говорить, что̀ изъ этого вышло. Истина взяла наконецъ свое, и послѣдніе томы «Исторіи Русскаго Народа» уже очень похожи на «Исторію Государства Россійскаго»... Конечно, нельзя сказать, чтобы въ первой не было ничего дѣльнымъ образомъ новаго, но въ сущности исторія Полеваго только возвысила исторію Карамзина... Это опять была ошибка, и очень важная, но ошибка, вышедшая изъ хорошаго источника, ошибка человѣка умнаго и даровитаго, думавшаго быть дальше своей эпохи, но на дѣлѣ бывшаго только однимъ изъ самыхъ рѣзкихъ ея выраженій... Въ послѣдствіи Полевой

написалъ русскую исторію для дѣтей: это былъ трудъ простой, безъ претензій, и потому очень дѣльный и полезный, отличавшійся даже ясностію и картинностію историческаго изложенія.

Полевой родился въ купеческомъ семействѣ и готовился быть купцомъ. Ему было около двадцати лѣтъ отъ роду, когда рѣшился онъ учиться и образоваться. Отецъ его, человѣкъ стараго времени, неблагосклонно смотрѣлъ на его любовь къ книгамъ, и Полевой занимался ими тайкомъ. Кончивъ днемъ дѣла свои по торговлѣ, ночью, вмѣсто того, чтобы спать, принимался онъ за ученье. Не всегда могъ доставать онъ для этого огарокъ свѣчи, потому-что отецъ его запретилъ ему сидѣть по ночамъ. Не было свѣчи—онъ пользовался луннымъ свѣтомъ; доставалъ свѣчу—и затыкалъ щелки своей комнаты, чтобы предательскій свѣтъ огня не бросился въ глаза отцу. Въ такихъ страшныхъ, разрушительныхъ для здоровья трудахъ провелъ онъ три года. Въ это время написалъ онъ статью о проѣздѣ императора Александра черезъ Курскъ и послалъ ее въ «Московскія Вѣдомости». Статья обратила на себя вниманіе курскаго губернатора, который захотѣлъ познакомиться съ молодымъ авторомъ. Это живо затронуло самолюбіе старика-отца, и онъ позволилъ своему сыну заниматься книгами. У пьянаго дьячка началъ Полевой учиться латинскому и французскому языку и, пользуясь своей необыкновенною памятью, для начала выучилъ наизустъ цѣлый французскій лексиконъ... Эта неудержимая страсть къ ученію, эта страшная сила воли въ достиженіи цѣли и преодолѣніи препятствій, достаточно доказываютъ, что Полевой не былъ человѣкомъ обыкновеннымъ. Почти двадцати-двухъ лѣтъ началъ онъ самоучкою учиться русской грамматикѣ: это было около 1818 года, а въ 1825 году, т. е. чрезъ семь лѣтъ, Полевой былъ издателемъ лучшаго журнала въ Россіи... Такіе люди не часто являются, и гораздо легче попасть въ док-

тора всѣхъ возможныхъ наукъ, нежели сравниться съ ними...

Заключаемъ. Предлагаемая статья не есть ни памфлетъ, ни панигирикъ; мы старались безъ преувеличенія оцѣнить заслуги одного изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей русской литературы, не скрывая слабыхъ сторонъ его литературной дѣятельности, но смотря на нихъ sine ira et studio. Пусть судитъ читатель, до какой степени успѣли мы въ этомъ. Явится много толковъ о Полевомъ: одни будутъ безъ мѣры превозносить, другіе безъ мѣры унижать его, тѣ провозгласятъ его великимъ ученымъ, другіе—великимъ романистомъ и нувеллистомъ, третьи,—чего добраго!—великимъ драматургомъ; но едва ли кто-нибудь признаетъ его тѣмъ, чѣмъ онъ въ самомъ дѣлѣ былъ замѣчателенъ... Такъ думаемъ мы, хорошо зная современную литературу и ея дѣятелей... Дай Богъ, чтобы мы ошиблись въ этомъ; но, во всякомъ случаѣ, смѣемъ думать, что голосъ нашъ, упредившій другія сужденія, не будетъ безполезенъ для тѣхъ, которые возьмутся судить о Полевомъ...

ПАВЕЛЪ СТЕПАНОВИЧЪ МОЧАЛОВЪ.

16 числа прошлаго мѣсяца (марта 1848) скончался въ Москвѣ знаменитый русскій трагическій актеръ, Павелъ Степановичъ Мочаловъ. Сценическое искусство понесло въ немъ горькую утрату. Это былъ человѣкъ съ необыкновеннымъ, огромнымъ талантомъ, какіе являются рѣдко. Самая противорѣчивость и преувеличенность сужденій о талантѣ Мочалова доказываютъ, что онъ дѣйствительно стоялъ далеко за чертою обыкновеннаго. Одни видѣли въ немъ высшую степень совершенства, до какого только можетъ доходить трагическій талантъ; другіе видѣли въ немъ совершенно бездарнаго актера. Какъ ни преувеличенно первое мнѣніе, однако въ немъ въ тысячу разъ больше истины, нежели въ послѣднемъ, но и послѣднее существуетъ не безъ основанія; самъ Мочаловъ вызвалъ его; дѣло въ томъ, что, получивши отъ природы огромный талантъ и богатыя средства для представленія трагическихъ ролей, Мочаловъ съ молодыхъ лѣтъ имѣлъ несчастіе пренебречь развитіемъ своего таланта и обработкою своихъ средствъ, ничего не сдѣлалъ во-время, чтобъ овладѣть ими. Одаренный въ высшей степени страстною натурою, онъ владѣлъ при этомъ голосомъ, который способенъ былъ выражать всѣ оттѣнки страстей и чувствъ: въ немъ слышны были и громовый рокотъ отчаянія, и порывистые крики бѣшенства и мщенія, и тихій шопотъ сосредоточившагося въ себѣ негодованія,—шопотъ, который раздавался, бывало,

по всему театру, и каждое слово доходило до слуха и сердца зрителя; и мелодическій лепетъ любви, и язвительность ироніи, и спокойно-высокое слово. Голосъ для актера великое дѣло. Конечно, актеру нуженъ не такой голосъ, какъ пѣвцу, но все же нуженъ необыкновенно гармоническій, звучный и гибкій голосъ: иначе онъ никогда не выкажетъ во всей полнотѣ своего таланта, какъ бы великъ онъ ни былъ. Голосъ Мочалова былъ дивнымъ инструментомъ, въ которомъ заключались всѣ звуки страстей и чувствъ. Лицо его также было создано для сцены. Красивое и пріятное въ спокойномъ состояніи духа, оно было измѣнчиво, подвижно — настоящее зеркало всевозможныхъ оттѣнковъ ощущеній, чувствъ и страстей. При этомъ онъ былъ крѣпкаго здоровья — обстоятельство, очень важное для трагическаго актера. Ростомъ онъ былъ не высокъ, но совсѣмъ не такъ, чтобъ это могло казаться въ немъ недостаткомъ на сценѣ. Сложенъ былъ хорошо.

И невозможно себѣ представить, до какой степени мало воспользовался Мочаловъ богатыми средствами, которыми надѣлила его природа! Со дня вступленія на сцену, привыкши надѣяться на вдохновеніе, всего ожидать отъ внезапныхъ и волканическихъ вспышекъ своего чувства, онъ всегда находился въ зависимости отъ расположенія своего духа: найдетъ на него одушевленіе—и онъ удивителенъ, безподобенъ; нѣтъ одушевленія—и онъ впадаетъ, не то, чтобы въ посредственность — это бы еще куда ни шло — нѣтъ, въ пошлость и тривіальность. Тогда невысокій ростъ его дѣлался на сценѣ большимъ недостаткомъ, вся фигура его становилась непріятною, манеры—безобразными. Чувствуя внутреннюю скуку и апатію, понимая, что онъ играетъ дурно, Мочаловъ выходилъ изъ себя, и, желая насильно возбудить въ себѣ вдохновеніе, онъ кричалъ, кривлялся, ломался, хлопалъ себя руками по бедрамъ, и оттого становился еще нестерпимѣе. Вотъ въ такіе-то не-

удачные для него спектакли и видѣли его люди, имѣющіе о немъ понятіе, какъ о дурномъ актерѣ. Это особенно пріѣзжіе въ Москву, и особенно петербургскіе жители. Они, конечно, правы въ отношеніи къ самимъ себѣ, тѣмъ болѣе, что по слухамъ ожидали увидѣть чудо таланта. Правда, едва ли когда-нибудь Мочаловъ цѣлую большую роль игралъ дурно отъ начала до конца; напротивъ, въ продолженіи большой піесы у него не разъ вспыхивало вдохновеніе, и онъ хоть въ нѣсколькихъ только сцѣнахъ, но все-таки бывалъ удивителенъ; но не у всякаго станетъ терпѣнія высидѣть длинную трагедію, дурно разыгрываемую даже главнымъ лицомъ, въ надеждѣ вознаградить себя нѣсколькими минутами удовольствія. Москвичи любили его, много извиняли ему и терпѣливо дожидались его «превращеній» на сценѣ,— и какъ хорошъ онъ былъ въ этихъ «превращеніяхъ»; онъ словно выросталъ въ глазахъ зрителя, манеры его мгновенно облагороживались, лицо и голосъ измѣнялись—точно совсѣмъ другой человѣкъ на сценѣ, въ глазахъ зрителей! Ему никогда не удавалось выполнить ровно свою роль отъ начала до конца, т. е. выполнить ее художнически, артистически; но ему нерѣдко удавалось, въ продолженіи цѣлой роли, постоянно держать зрителей подъ неотразимымъ обояніемъ тѣхъ могущественныхъ и мучительно-сладкихъ впечатлѣній, которыя производила на нихъ его страстная, простая и въ высшей степени натуральная игра. И въ этой игрѣ бывали неровности и небольшіе промахи; но зритель подъ бременемъ волновавшихъ его ощущеній не успѣвалъ приходить въ себя, чтобъ ясно видѣть оттѣнки игры. Иногда Мочаловъ бывалъ превосходенъ только въ нѣсколькихъ актахъ трагедіи, иногда въ одномъ, иногда цѣлая роль его была безпрестанною смѣною паденія возстаніемъ и возстанія паденіемъ; невозможно исчислить всѣхъ этихъ комбинацій удачъ съ неудачами.

Торжествомъ его таланта былъ «Гамлетъ»: бывалъ онъ

превосходенъ и въ «Отелло», но большею частію только въ трехъ послѣднихъ актахъ, когда выходитъ на сцену ревность. Прежде онъ блисталъ въ роляхъ Карла Мора и Фердинанда. Сослуживцы его увѣряютъ, что онъ былъ удивителенъ въ ролѣ Мейнау, въ піесѣ Коцебу: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе»; онъ особенно любилъ эту роль, охотно и часто игралъ ее, и всегда, не въ примѣръ прочимъ ролямъ, выполнялъ ее съ удивительнымъ совершенствомъ, съ начала до конца, какъ истинный художникъ, и немногіе могли смотрѣть безъ слезъ на его игру въ этой роли.

Чтобы вѣрно оцѣнить такой талантъ, какъ Мочалова, надо было часто видѣть его на сценѣ, освоиться съ его игрою, изучить ее. По огромности таланта, Мочаловъ былъ необыкновеннымъ феноменомъ; но этотъ талантъ былъ чисто природный, нисколько не развитый ни наукою, ни искусствомъ, всегда зависѣвшій отъ вдохновенія. Конечно, безъ вдохновенія нельзя сыграть какъ слѣдуетъ никакой роли, тѣмъ болѣе трагической, но и безъ вдохновенія можно играть прилично, умно, отчетливо. Почти всякая роль начинается довольно холодно и разогрѣвается по мѣрѣ хода драмы. Вотъ тутъ-то особенно важно для актера не потеряться, испугавшись своего внутренняго нерасположенія къ игрѣ, но играть съ полнымъ присутствіемъ духа; вдохновеніе мало-по-малу придетъ само собою, его вызовутъ рукоплесканія публики; притомъ же, играя отчетливо, актеръ невольно входитъ въ свою роль и самъ себя разогрѣваетъ ею. Но этого самообладанія своими средствами актеръ можетъ достичь только усиленнымъ и долговременнымъ изученіемъ своего искусства. Этого-то изученія и недоставало Мочалову, чтобъ быть истиннымъ чудомъ сценическаго искусства. И потому онъ давно уже шелъ назадъ, вмѣсто того, чтобъ идти впередъ. Въ 1846 году Мочалова едва узнавали на сценѣ, невидавшіе его лѣтъ шесть. Были и

тутъ вспышки, но уже не прежняго Мочалова; голосъ хриплый; страсть еще есть, но ужь средства для выраженія ея ослабли....

Въ мірѣ искусства Мочаловъ примѣръ поучительный и грустный. Онъ доказалъ собою, что одни природныя средства, какъ бы они ни были огромны, но безъ искусства и науки, доставляютъ торжества только временныя, и часто человѣкъ ихъ лишается именно въ ту эпоху своей жизни, когда бы имъ слѣдовало быть въ полномъ ихъ развитіи. Мочаловъ, какъ мы уже сказали, еще довольно задолго до смерти своей началъ ослабѣвать въ талантѣ и умеръ онъ всего на сорокъ восьмомъ году отъ роду... Біографическія подробности о жизни Мочалова читатели найдутъ въ брошюрѣ подъ названіемъ: «Воспоминаніе о П. С. Мочаловѣ», которую въ скоромъ времени намѣренъ издать В. С. Межевичъ. Г. Межевичъ коротко зналъ Мочалова, онъ имѣетъ его письма, рукописныя стихотворенія и даже краткую автобіографію, доставленную ему Мочаловымъ въ 1846 г.,— стало быть, можно съ достовѣрностію предполагать, что брошюра г. Межевича будетъ интересна.

ПЕТЕРБУРГЪ и МОСКВА.

Предки наши, принужденные въ кровавыхъ бояхъ познакомиться съ божіими дворянами и съ берегами Невы, конечно, не воображали, чтобъ на этихъ дикихъ, бѣдныхъ, низменныхъ и болотистыхъ берегахъ суждено было возникнуть Россійской Имперіи, равно какъ не воображали они, чтобы Московское Царство когда-нибудь сдѣлалось Россійской Имперіею. И возможно ли было вообразить что-нибудь подобное? Кто можетъ предузнать явленіе генія, и можетъ ли толпа предвидѣть пути генія, хотя этотъ геній и есть не что̀ иное, какъ мысль, разумъ, духъ и воля самой этой толпы, съ тою только разницею, что все, что̀ таится въ ней, какъ смутное предчувствіе, въ немъ является отчетливымъ сознаніемъ? Въ концѣ XVII вѣка, Московское Царство не представляло собою уже слишкомъ рѣзкій контрастъ съ европейскими государствами, уже не могло болѣе двигаться на ржавыхъ колесахъ своего азіатскаго устройства; ему надо было кончиться, но народу русскому надо было жить; ему предлежало великое будущее, и потому изъ него же самого Богъ воздвигъ ему генія, который долженъ былъ сблизить его съ Европою. Какъ всѣ великіе люди, Петръ явился въ пору для Россіи, но въ многомъ не походилъ онъ на другихъ великихъ людей. Его доблести, гигантскій ростъ и гордая, величвая наружность съ огромнымъ творческимъ умомъ и исполин-

скою волею,—все это такъ походило на страну, въ которой онъ родился, на народъ, который возсоздать былъ онъ призванъ, страну безпредѣльную, но тогда еще не сплоченную органически, народъ великій, но съ однимъ глухимъ предчувствіемъ своей великой будущности. Поэтому, Петръ самъ долженъ былъ создать самого себя, и средства для этого самовоспитанія найдти не въ общественныхъ элементахъ своего отечества, а внѣ его, и первымъ пестуномъ его было—отрицаніе. Совершенные невѣжды и фанатики обвиняли его въ презрѣніи къ родной странѣ; но они обманывались: Петра тѣсно связывало съ Россіею обоимъ имъ родное и ничѣмъ непобѣдимое чувство своего великаго призванія въ будущемъ. Петръ страстно любилъ эту Русь, которой самъ онъ былъ представителемъ по праву высшаго, отъ Бога истекавшаго избранія; но въ Россіи онъ видѣлъ двѣ страны—ту, которую онъ засталъ, и ту, которую онъ долженъ былъ создать: послѣдней принадлежали его мысль, его кровь, его потъ, его трудъ, вся жизнь, все счастіе и вся радость его жизни. Ученикъ Европы, онъ остался Русскимъ въ душѣ, вопреки мнѣнію слабоумныхъ, которыхъ много и теперь, будто бы европеизмъ изъ русскаго человѣка долженъ сдѣлать не-русскаго человѣка, и будто бы, слѣдовательно, все русское можетъ поддерживаться только дикими и невѣжественными формами азіатскаго быта. Москва, столица Московскаго царства, Москва, уже по самому своему положенію въ центрѣ Руси, не могла соотвѣтствовать видамъ Петра на всеобщую и коренную реформу: ему нужна была столица на берегу моря. Но моря у него не было, потому что берега Сѣвернаго и Восточнаго океана и Каспійское море нисколько не могли способствовать сближенію Россіи съ Европою. Надо было немедля завоевать новое море. Два моря могъ онъ имѣть въ виду для завоеванія—Черное и Балтійское. Но для перваго ему нужно имѣть Маллороссію въ своемъ полномъ

подданствѣ, а не подъ своимъ только верховнымъ покровительствомъ, а это совершилось не прежде, какъ по измѣнѣ Мазепы. Кромѣ того, ему нужно было отнять у Турковъ Крымъ и взять въ свое владѣніе обширныя степныя пустыни, прилегающія къ Черному морю, а взять ихъ во владѣніе, значило—населить ихъ: трудъ несвоевременный! и притомъ къ чему бы повелъ онъ? Столица на берегу Чернаго моря сблизила бы Россію не съ Европою, а развѣ съ Турціею, и насильственно притянула бы силы Россіи къ пункту столь отдаленному, что Россія имѣла бы тогда свою столицу, такъ сказать, въ чужомъ государствѣ. Не такіе виды представляло Балтійское море. Прилежащія къ нему страны изстари знакомы были русскому мечу; много пролилось на нихъ русской крови, и оставить ихъ въ чужомъ владѣніи, не сдѣлать Балтійскаго моря границею Россіи, значило бы сдѣлать Россію навсегда открытою для непріятельскихъ вторженій и навсегда закрытою для сношеній съ Европою. Петръ слишкомъ хорошо понялъ это, и война съ Швеціею по необходимости сдѣлалась главнымъ вопросомъ всей его жизни, главною пружиною всей его дѣятельности. Ревель и особенно Рига какъ бы просились сдѣлаться новою столицею Россіи—мѣстомъ, гдѣ русскій элементъ лицомъ къ лицу столкнулся бы съ европейскимъ, не для того, чтобы погибнуть въ немъ, но принять его въ себя. Но Ревель и Рига сдѣлались позднѣе достояніемъ Петра, который въ началѣ хлопоталъ не изъ многаго—только изъ уголка на берегу Балтики, а медлить Петру, въ ожиданіи завоеваній, было некогда: ему надо было торопиться жить, т. е. творить и дѣйствовать,—и потому, когда Ревель и Рига сдѣлались русскими городами,—городъ Санктпетербургъ существовалъ уже семь лѣтъ, на него было уже истрачено столько денегъ, положено столько труда, а по причинѣ Котлина острова и Невы съ ея четвернымъ устьемъ, онъ представлялъ такое выгодное и обольстительное для ума

преобразователя положеніе, что уже поздно и грустно было бы ему думать о другомъ мѣстѣ для новой столицы. Онъ давно уже смотрѣлъ на Петербургъ, какъ на свое твореніе, любилъ его какъ дитя своей творческой мысли; можетъ-быть, ему самому не разъ казалась трудною и отчаянною эта борьба съ дикою, суровою природою, съ болотистою почвою, сырымъ и нездоровымъ климатомъ, въ краю пустынномъ и отдаленномъ отъ населенныхъ мѣстъ, откуда можно было получать продовольствіе,—но непреклонная сила воли надо всѣмъ восторжествовала; геній упоренъ, потому именно, что онъ — геній, и чѣмъ тяжелѣе борьба, охлаждающая слабыхъ, тѣмъ больше для него наслажденія развертывать передъ міромъ и самимъ собою все богатство своихъ неисчерпаемыхъ силъ. Торжественна была минута, когда, при осмотрѣ дикихъ береговъ Финскаго залива, впервые заронилась въ душу Великаго мысль основать здѣсь столицу будущей имперіи. Въ этой минутѣ была заключена цѣлая поэма, обширная и грандіозная; только великому поэту можно было разгадать и охватить все богатство ея содержанія этими немногими стихами:

На берегу пустынныхъ волнъ
Стоялъ Онъ, думъ великихъ полнъ,
И вдаль глядѣлъ.... Предъ нимъ широко
Рѣка неслася; бѣдный челнъ
По ней стремился одиноко;
По мшистымъ, топкимъ берегамъ
Чернѣли избы здѣсь и тамъ,
Пріютъ убогаго Чухонца;
И лѣсъ, невѣдомый лучамъ
Въ туманѣ спрятаннаго солнца,
Кругомъ шумѣлъ...
И думалъ Онъ:
„Отсель грозить мы будемъ Шведу;
„Здѣсь будетъ городъ заложенъ
„На зло надменному сосѣду;
„*Природой здѣсь намъ суждено*

„*Въ Европу прорубить окно*,
„Ногою твердой стать при морѣ;
„Сюда, по новымъ имъ волнамъ,
„Всѣ флаги въ гости будутъ къ намъ,
„И запируемъ на просторѣ“.

Петербургъ строился экспромптомъ: въ мѣсяцъ дѣлалось то, чего бы стало дѣлать на годъ. Воля одного человѣка побѣдила и самую природу. Казалось, сама судьба, вопреки всѣмъ разсчетамъ вѣроятностей, захотѣла забросить столицу Россійской Имперіи въ этотъ непріязненный и враждебный человѣку природою и климатомъ край, гдѣ небо блѣдно-зелено, тощая травка мѣшается съ ползучимъ верескомъ, сухимъ мхомъ, болотными порослями и сѣрыми кочками; гдѣ царствуетъ колючая сосна и печальная ель и невсегда нарушаетъ ихъ томительное однообразіе чахлая береза — это растеніе сѣвера; гдѣ болотистыя испаренія и разлитая въ воздухѣ сырость проникаютъ и каменные дома и кости человѣка; гдѣ нѣтъ ни весны, ни лѣта, ни зимы, но круглый годъ свирѣпствуетъ гнилая и мокрая осень, которая пародируетъ то весну, то лѣто, то зиму... Казалось, судьба хотѣла, чтобы, спавшій дотолѣ непробуднымъ сномъ, русскій человѣкъ кровавымъ потомъ и отчаянною борьбою выработалъ свое будущее, ибо прочны только тяжкимъ трудомъ одержанныя побѣды, только страданіями и кровью стяжанныя завоеванія! Можетъ-быть, въ болѣе благопріятномъ климатѣ, среди менѣе враждебной природы, при отсутствіи неодолимыхъ препятствій, русскій человѣкъ скоро возгордился бы своими легкими успѣхами, и его энергія снова заснула бы, не успѣвъ даже и проснуться вполнѣ. И для того-то, тотъ, кто посланъ ему былъ отъ Бога, былъ не только царемъ и повелителемъ, дѣйствовалъ не однимъ авторитетомъ, но еще болѣе собственнымъ примѣромъ, который обезоруживалъ закоснѣлое невѣжество и вѣками взлелѣянную лѣнь:

То академикъ, то герой,
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ всеобъемлющей душой
На тронѣ вѣчный былъ работникъ!

Не смотря на всю дѣятельность, которой исторія не представляетъ подобнаго примѣра, Петербургъ, оставленный Петромъ Великимъ, былъ слишкомъ бѣдный и ничтожный городокъ, чтобъ объ немъ можно было говорить, какъ о чемъ-то важномъ. Казалось, этому городку, обязанному своимъ насильственнымъ существованіемъ волѣ великаго человѣка, не суждено было пережить своего строителя. Воля одного изъ его наслѣдниковъ могла осудить его на вѣчное забвеніе, или на ничтожное чахоточное существованіе... Но здѣсь-то и является во всемъ блескѣ творческій геній Петра Великаго: его планы, его предначертанія должны были продолжаться вѣковѣчно. Таковы право и сила генія: онъ кладетъ камень въ основаніе новому зданію и оставляетъ его чертежъ; пріемники дѣла, можетъ, быть, и хотѣли бы перенести зданіе на другое мѣсто, да негдѣ имъ взять такого прочнаго камня въ основаніе, а камень, положенный геніемъ, такъ великъ, что съ человѣческими силами нельзя и мечтать сдвинуть его.

Петербургъ не могъ не продолжаться, потому что съ его существованіемъ тѣсно было связано существованіе Россійской Имперіи, смѣнившей собою Московское царство. И росъ Петербургъ не по днямъ, а по часамъ.

Прошло сто лѣтъ—и юный градъ,
Полночныхъ странъ краса и диво,
Изъ тьмы лѣсовъ, изъ топи блатъ
Вознесся пышно, горделиво.
Гдѣ прежде финскій рыболовъ,
Печальный пасынокъ природы,
Одинъ у низкихъ береговъ.
Бросалъ въ невѣдомыя воды.

Свой ветхій неводъ; нынѣ тамъ
По оживленнымъ берегамъ
Громады стройныя тѣснятся
Дворцовъ и башенъ; корабли
Толпой со всѣхъ концовъ земли
Къ богатымъ пристанямъ стремятся;
Въ гранитъ одѣлася Нева,
Мосты повисли надъ водами;
Темнозелеными садами
Ея покрылись острова;
И передъ младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Какъ передъ новою царицей
Порфироносная вдова.

Такимъ образомъ, Россія явилась вдругъ съ двумя столицами—старою и новою, Москвою и Петербургомъ. Исключительность этого обстоятельства не осталась безъ послѣдствій болѣе или менѣе важныхъ. Въ то время, какъ росъ и украшался Петербургъ, по своему измѣнялась и Москва. Вслѣдствіе неизбѣжнаго вторженія въ нее, европеизма, съ одной стороны, и въ цѣлости сохранившагося элемента старинной неподвижности, съ другой стороны, она вышла какимъ-то причудливымъ городомъ, въ которомъ пестрѣютъ и мечутся въ глаза перемѣшанныя черты европеизма и азіятизма. Раскинулась и растянулась она на огромное пространство: кажется, куда огромный городъ! А походите по ней,—и вы увидите, что ея обширности много способствуютъ длинные, предлинные заборы. Огромныхъ зданій въ ней нѣтъ; самые большіе дома не то, чтобы малы, да и не то, чтобы велики; архитектурнымъ достоинствомъ они не щеголяютъ. Въ ихъ архитектуру явно вмѣшался геній древняго Московскаго царства, который остался вѣренъ своему стремленію къ семейному удобству. Стоитъ часъ походить по кривымъ и косымъ улицамъ Москвы,—и вы тотчасъ же замѣтите, что это городъ патріархаль-

ной семейственности: дома стоятъ особнякомъ, почти при каждомъ есть довольно обширный дворъ, поросшій травою и окруженный службами. Самый бѣдный Москвичъ, если онъ женатъ, не можетъ обойдтись безъ погреба и, при наймѣ квартиры, болѣе заботится о погребѣ, гдѣ будутъ храниться его съѣстные припасы, нежели о комнатахъ, гдѣ онъ будетъ жить. Нерѣдко, у самаго бѣднаго Москвича, если онъ женатъ, любимѣйшая мечта цѣлой его жизни—когда-нибудь перестать шататься по квартирамъ и зажить своимъ домкомъ. И вотъ, съ горемъ пополамъ, призвавъ на помощь родное «авось», онъ покупаетъ, или нанимаетъ на извѣстное число лѣтъ пустопорожнее мѣсто въ какомъ-нибудь захолустьѣ, и лѣтъ пять, а иногда и десять строитъ домишко о трехъ окнахъ, покупая матеріалы то въ долгъ, то по случаю, изворачиваясь такъ и сякъ. И наконецъ, наступаетъ вожделѣнный день переѣзда въ собственный домъ; домишко плохъ, да за то свой, и при томъ съ дворомъ—стало-быть, можно и куръ водить, и теленка есть гдѣ пасти; но главное, при домишкѣ есть погребъ— чего же болѣе? Такихъ домишекъ въ Москвѣ неизчислимое множество, и они-то способствуютъ ея обширности, если не ея великолѣпію. Эти домишки попадаются даже на лучшихъ улицахъ Москвы, между лучшими домами, такъ же, какъ хорошіе (т. е. каменные въ два и три этажа) попадаются въ самыхъ отдаленныхъ и плохихъ улицахъ, между такими домишками. Для Русскаго, который родился и жилъ безвыѣздно въ Петербургѣ, Москва такъ же точно изумительна, какъ и для иностранца. По дорогѣ въ Москву, нашъ Петербуржецъ увидѣлъ бы, разумѣется, Новгородъ и Тверь, которые совсѣмъ не приготовили бы его къ зрѣлищу Москвы; хотя Новгородъ и древній городъ, но отъ древняго въ немъ остался только его кремль, весьма невзрачнаго вида, съ софійскимъ соборомъ, примѣчательнымъ своею древностію, но ни огромностію, ни изяществомъ.

Улицы въ Новѣгородѣ не кривы и не узки; многіе дома своею архитектурою и даже цвѣтомъ напоминаютъ Петербургъ. Тверь тоже не дастъ нашему Петербуржцу идеи о Москвѣ: ея улицы прямы и широки, а для губернскаго города она довольно красива. Слѣдовательно, въѣзжая въ первый разъ въ Москву, нашъ Петербуржецъ въѣдетъ въ новый для него міръ. Тщетно будетъ онъ искать главной, или лучшей московской улицы, которую могъ бы онъ сравнить съ Невскимъ проспектомъ. Ему покажутъ Тверскую улицу,—и онъ съ изумленіемъ увидитъ себя посреди кривой и узкой, по горѣ тянущейся улицы, съ небольшою площадкою съ одной стороны,—улицы, на которой самый огромный и самый красивый домъ считался бы въ Петербургѣ весьма скромнымъ, со стороны огромности и изящества, домомъ; съ страннымъ чувствомъ увидѣлъ бы онъ, привыкшій къ прямымъ линіямъ и угламъ, что одинъ домъ выбѣжалъ на нѣсколько шаговъ на улицу, какъ будто бы для того, чтобы посмотрѣть, что́ дѣлается на ней, а другой отбѣжалъ на нѣсколько шаговъ назадъ, какъ будто изъ спѣси, или изъ скромности,—смотря по его наружности; что между двумя довольно большими каменными скромно и уютно помѣстился ветхій деревянный домишко и, прислонившись стѣнами своими къ стѣнамъ сосѣднихъ домовъ, кажется, не нарадуется тому, что они не даютъ ему упасть, и, сверхъ того, защищаютъ его отъ холода и дождя; что подлѣ великолѣпнаго моднаго магазина лѣпится себѣ крохотная табачная лавочка, или грязная харчевня, или таковая же пивная. И еще болѣе удивился бы нашъ Петербуржецъ, почувствовавъ, что въ странномъ гротескѣ этой улицы есть своя красота. И пошелъ бы онъ на Кузнецкій мостъ: тамъ все то же за исключеніемъ деревянныхъ домишекъ; за то увидѣлъ бы онъ каменные съ модными магазинами, но до того миніатюрные, что ему пришла бы въ голову мысль — ужъ не заѣхалъ ли онъ, новый Гуливеръ,

въ царство Лиллипутовъ... Хотя ни одинъ истинный Петербуржецъ ничему не удивляется и ничѣмъ не восторгается, но не удержался бы онъ отъ какого-нибудь громко произнесеннаго междометія, если бы, пройдя кругъ опоясывающихъ Москву бульваровъ — лучшаго ея украшенія, которому Петербургъ имѣетъ полное право завидовать,— онъ, то спускаясь подъ гору, то подымаясь въ гору, видѣлъ бы со всѣхъ сторонъ амѳитеатры крышъ, перемѣшанныхъ съ зеленью садовъ: будь при этомъ вмѣсто церквей минареты, онъ счелъ бы себя перенесеннымъ въ какой-нибудь восточный городъ, о которомъ читалъ въ Шехерезадѣ. И это зрѣлище ему понравилось бы, и онъ, по крайней мѣрѣ, въ продолженіи весны и лѣта охотно не сталъ бы искать столицы и города тамъ, гдѣ, въ замѣнъ этого, есть такіе живописные ландшафты...

Многія улицы въ Москвѣ, какъ то: Тверская, Арбатская, Поварская, Никитская, обѣ линіи по сторонамъ Тверскаго и Никитскаго Бульваровъ, состоятъ преимущественно изъ «господскихъ» (московское слово!) домовъ. И тутъ вы видите больше удобства, чѣмъ огромности или изящества. Во всемъ и на всемъ печать семейственности: и удобный домъ, обширный, но тѣмъ не менѣе для одного семейства, широкій дворъ, а у воротъ, въ лѣтніе вечера, многочисленная дворня. Вездѣ разъединенность, особность; каждый живетъ у себя дома и крѣпко отгораживается отъ сосѣда. Это еще замѣтнѣе въ Замоскворѣчьи, этой чисто купеческой и мѣщанской части Москвы: тамъ окна завѣшены занавѣсками, ворота на запоръ; при ударѣ въ нихъ раздается сердитый лай цѣпной собаки, все мертво, или, лучше сказать, сонно; домъ, или домишко похожъ на крѣпостцу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду. Вездѣ семейство, и почти нигдѣ не видно города!...

Въ Москвѣ много трактировъ, и они всегда биткомъ набиты преимущественно тѣмъ народомъ, который въ нихъ

пьетъ только чай. Не нужно объяснять, о какомъ народѣ говоримъ мы: это народъ, выпивающій въ день по пятнадцати самоваровъ, народъ, который не можетъ жить безъ чаю, который пять разъ пьетъ его дома и столько же разъ въ трактирахъ. И если бы вы посмотрѣли на этотъ народъ, вы не удивились бы, что чай не разстроиваетъ ему нервъ, не мѣшаетъ спать, не портитъ зубовъ; вы подумали бы, что онъ безнаказанно для здоровья можетъ пудами употреблять опіумъ... Кандитерскихъ въ Москвѣ мало; въ нихъ покупаютъ много, но посѣщаютъ ихъ мало. Гостинницы въ Москвѣ существуютъ преимущественно для пріѣзжающихъ, или для холостой молодежи, любящей кутнуть. Обѣдаютъ въ Москвѣ больше дома. Тамъ даже бѣдные холостые люди по большей части любятъ обѣдать у себя дома, вѣрные семейственному характеру Москвы. Если же они обѣдаютъ внѣ дома, то въ какомъ-нибудь знакомомъ имъ семействѣ, особенно у родныхъ. Вообще, Москва, славная своимъ хлѣбосольствомъ и гостепріимствомъ, чуждается жизни городской, общественной и любитъ обѣдать у себя дома, семейно. Славится своими сытными обѣдами Англійскій клубъ въ Москвѣ; но попробуйте въ немъ пообѣдать—и, несмотря на то, что вы будете сидѣть между пятью стами или болѣе человѣкъ, вамъ непремѣнно покажется, что вы пообѣдали у родныхъ. Что́ же касается до постоянныхъ членовъ клуба, они потому и любятъ въ немъ обѣдать, что имъ кажется, будто они обѣдаютъ у себя дома, въ своемъ семействѣ. Характеръ семейственности лежитъ на всемъ и во всемъ московскомъ! Родство даже до сихъ поръ играетъ великую роль въ Москвѣ. Тамъ никто не живетъ безъ родни. Если вы родились бобылемъ и пріѣхали жить въ Москву,—васъ сейчасъ женятъ, и у васъ будетъ огромное родство до семьдесятъ-седьмаго колѣна. Не любить и не уважать родни въ Москвѣ считается хуже, чѣмъ вольнодумствомъ. Вы обязаны будете знать день рожденія и име-

нинъ по крайней мѣрѣ полутораста человѣкъ, и горе вамъ, если вы забудете поздравить хоть одного изъ нихъ. Это немножко хлопотно и скучно, но вѣдь за то родство—священная вещь. Гдѣ развита въ такой степени семейственность, тамъ родство не можетъ не быть въ великомъ почетѣ. По смерти Петра Великаго, Москва сдѣлалась убѣжищемъ опальныхъ дворянъ высшаго разряда и мѣстомъ отдохновенія удалившихся отъ дѣлъ вельможъ. Вслѣдствіе этого, она получила какой-то аристократическій характеръ, который особенно развился въ царствованіе Екатерины Второй. Кто не слышалъ о широкой, распашной жизни вельможъ въ Москвѣ? Кто не слышалъ разсказовъ о томъ, какъ въ своихъ великолѣпныхъ палатахъ ежедневно угощали они столомъ и званаго и незванаго, и знакомаго и незнакомаго, и въ городѣ, и въ деревнѣ, гдѣ для всѣхъ отворяли свои пышные сады? Кто не слышалъ разсказовъ о ихъ пирахъ,—разсказовъ, похожихъ на отрывки изъ «Тысячи и Одной Ночи»? Видите ли, что Москва и тутъ осталась вѣрна своему древне-московитскому элементу: чванство и чивость, распашная и потѣшная жизнь въ ней нашли свой пріютъ! Но, съ предшествовавшаго царствованія, Москва мало-по-малу начала дѣлаться городомъ торговымъ, промышленнымъ и мануфактурнымъ. Она одѣваетъ всю Россію своими бумажно-прядильными издѣліями; ея отдаленныя части, ея окрестности и ея уѣздъ—все это усѣяно фабриками и заводами, большими и малыми. И въ этомъ отношеніи, не Петербургу тягаться съ нею, потому что самое ея положеніе почти въ серединѣ Россіи назначило ей быть центромъ внутренней промышленности. И то ли будетъ она въ этомъ отношеніи, когда желѣзная дорога соединитъ ее съ Петербургомъ и, какъ артеріи отъ сердца, потянутся отъ нея шоссе въ Ярославль, въ Казань, въ Воронежъ, въ Харьковъ, въ Кіевъ и Одессу....

Москва гордится своими историческими древностями, па-

мятниками, она—сама историческая древность и во внѣшнемъ и во внутреннемъ отношеніи! Но какъ она сама, такъ и ея допетровскія древности представляютъ странное зрѣлище смѣси съ новымъ: отъ Кремля остался одинъ чертежъ, потому что его ежегодно поправляютъ, а въ немъ возникаютъ новыя зданія. Духъ новаго вѣетъ и на Москву и стираетъ мало-по-малу ея древній отпечатокъ.

Мы начали о Петербургѣ, а распространились о Москвѣ, но это совсѣмъ не отступленіе отъ главнаго предмета. У насъ двѣ столицы: какъ же говорить объ одной, не сравнивая ея съ другою? Только чрезъ такое сравненіе можемъ мы узнать особенности и характеръ каждой изъ нихъ. Ничто въ мірѣ не существуетъ напрасно: если у насъ двѣ столицы—значитъ, каждая изъ нихъ необходима, а необходимость можетъ заключаться только въ идеѣ, которую выражаетъ каждая изъ нихъ. И потому, Петербургъ представляетъ собою идею; Москва—другую. Въ чемъ состоитъ идея того и другаго города это можете узнать, только проведя параллель между тѣмъ и другимъ. И потому, мы не разъ еще, говоря о Петербургѣ, будемъ обращаться и къ Москвѣ. Пока мы нашли, что отличительный характеръ Москвы—семейственность. Обратимся къ Петербургу.

О Петербургѣ привыкли думать, какъ о городѣ, построенномъ даже не на болотѣ, а чуть ли не на воздухѣ. Многіе не шутя увѣряютъ, что это городъ безъ исторической святыни, безъ преданій, безъ связи съ родною страною, городъ, построенный на сваяхъ и на разсчетѣ. Всѣ эти мнѣнія немного ужь устарѣли, и ихъ пора бы оставить. Правда, коли хотите, въ нихъ есть своя сторона истины, но за то много и лжи. Петербургъ построенъ Петромъ Великимъ какъ столица новой Россійской имперіи, и Петербургъ—городъ неисторическій, безъ преданія!... Это нелѣпость, не стоящая опроверженія! Вся бѣда вышла изъ того, что Петербургъ слишкомъ молодъ для самого себя, и совер-

шенное дитя въ сравненіи съ старушкою Москвою. Такъ неужели молодой человѣкъ, ознаменовавшій свое вступленіе въ жизнь великимъ подвигомъ—не историческій человѣкъ, потому что онъ мало жилъ; а старичекъ какой-нибудь—историческій человѣкъ, потому что онъ много жилъ? Не только много жила, но и много испытала древняя Москва, столица Московскаго царства; у ней есть своя исторія—никто не споритъ противъ этого, но что же вся ея исторія въ сравненіи съ великимъ эпосомъ біографіи Петра Великаго? А не тѣсно ли связанъ Петербургъ съ этою біографіею? Отвергать историческую важность Петербурга, не значитъ ли не умѣть цѣнить Петра для русской исторіи? Говоря объ исторической святынѣ, спрашиваютъ: гдѣ у Петербурга эти памятники, надъ которыми пролетѣли вѣка, не разрушивъ ихъ? Да, милостивые государи, такихъ памятниковъ въ Петербургѣ нѣтъ и быть не можетъ, потому что самъ онъ существуетъ со дня своего заложенія только сто сорокъ одинъ годъ; но за то, онъ самъ есть великій историческій памятникъ. Всюду видите вы въ немъ живые слѣды его строителя, и для многихъ (и въ томъ числѣ и для насъ) такія маленькія строенія, какъ напримѣръ, домикъ на Петербургской сторонѣ, дворецъ въ Лѣтнемъ-саду, дворецъ въ Петергофѣ, стоятъ не одного, а многихъ Кремлей... Что дѣлать—у всякаго свой вкусъ! Петербургъ построенъ на разсчетѣ—правда; но чѣмъ же разсчетъ ниже слѣпаго случая? Мудрые вѣка говорятъ, что желѣзный гвоздь, сдѣланный грубою рукою деревенскаго кузнеца, выше всякаго цвѣтка, съ такою красотою рожденнаго природою,—выше его въ томъ отношеніи, что онъ—произведеніе сознательнаго духа, а цвѣтокъ есть произведеніе непосредственной силы. Разсчетъ есть одна изъ сторонъ сознанія. Говорятъ еще, что Петербургъ не имѣетъ въ себѣ ничего оригинальнаго, самобытнаго, что онъ есть какое-то, будто бы, общее воплощеніе идеи столичнаго го-

рода и, какъ двѣ капли воды, похожъ на всѣ столичные города въ мірѣ. Но на какіе же именно? На старые, каковы, напр. Римъ, Парижъ, Лондонъ, онъ походить никакъ не можетъ; стало-быть, это сущая неправда. Если онъ похожъ на какіе-нибудь города, то, вѣроятно, на большіе города Сѣверной Америки, которые, подобно ему, тоже выстроены на разсчетѣ. И развѣ въ этихъ городахъ нѣтъ своего, оригинальнаго? Развѣ въ стѣнахъ города и въ каждомъ камнѣ его видѣть будущее, не значитъ — видѣть что-то оригинальное и притомъ прекрасно оригинальное? Но Петербургъ оригинальнѣе всѣхъ городовъ Америки, потому-что онъ есть новый городъ въ старой странѣ, слѣдовательно, есть новая надежда, прекрасное будущее этой страны. Что-нибудь одно: или реформа Петра Великаго была только великою историческою ошибкою; или Петербургъ имѣетъ необъятно-великое значеніе для Россіи. Что-нибудь одно: или новое образованіе Россіи, какъ ложное и призрачное, скоро изчезнетъ совсѣмъ, не оставивъ по себѣ и слѣда; или Россія навсегда и безвозвратно оторвана отъ своего прошедшаго. Въ первомъ случаѣ, разумѣется, Петербургъ — случайное и эѳемерное порожденіе эпохи, принявшей ошибочное направленіе, грибъ, который въ одну ночь выросъ и въ одинъ день высохъ, во второмъ случаѣ, Петербургъ есть необходимое и вѣковѣчное явленіе, величественный и крѣпкій дубъ, который сосредоточитъ въ себѣ всѣ жизненные соки Россіи. Нѣкоторые доморощенные политики, считающіе себя удивительно глубокомысленными, думаютъ, что такъ какъ де Петербургъ явился непосредственно, выросъ и расширился не вѣками, а обязанъ своимъ существованіемъ волѣ одного человѣка, то другой человѣкъ, имѣющій власть свыше, также можетъ оставить его, выстроить себѣ новый городъ на другомъ концѣ Россіи: мнѣніе крайне дѣтское! Такія дѣла не такъ легко затѣваются и исполняются. Былъ человѣкъ, который имѣлъ не только власть, но и силу сот-

ворить чудо, и былъ мигъ, когда эта сила могла проявиться въ такомъ чудѣ, — и потому для новаго чуда въ этомъ родѣ потребуется опять два условія: не только человѣкъ, но и мигъ. Произволъ не производитъ ничего великаго: великое исходитъ изъ разумной необходимости, слѣдовательно, отъ Бога. Произволъ не состроитъ въ короткое время великаго города: произволъ можетъ выстроить развѣ только вавилонскую башню, слѣдствіемъ которой будетъ не возрожденіе страны къ великому будущему, а раздѣленіе языковъ. Гораздо легче сказать—оставить Петербургъ, чѣмъ сдѣлать это: языкъ безъ костей, по русской пословицѣ, и можетъ говорить, что̀ ему угодно; но дѣло не то, что̀ пустое слово. Только господамъ Маниловымъ легко строить въ своей праздной фантазіи мосты черезъ пруды, съ лавками по обѣимъ сторонамъ.

Иностранецъ Альгаротти сказалъ: «Петербургъ есть окно, черезъ которое Россія смотритъ на Европу»,—счастливое выраженіе, въ немногихъ словахъ удачно схватившее великую мысль! И вотъ въ чемъ заключается твердое основаніе Петербурга, а не въ сваяхъ, на которыхъ онъ построенъ, и съ которыхъ его не такъ-то легко сдвинуть! Вотъ, въ чемъ его идея и, слѣдовательно, его великое значеніе, его святое право на вѣковѣчное существованіе! Говорятъ, что Петербургъ выражаетъ собою только внѣшній европеизмъ. Положимъ, что и такъ; но при развитіи Россіи, совершенно противоположномъ европейскому, т.-е при развитіи сверху внизъ, а не снизу вверхъ, внѣшность имѣетъ гораздо высшее значеніе, бо̀льшую важность, нежели какъ думаютъ. Что̀ вы видите въ поэзіи Ломоносова?—одну внѣшность, русскія слова, втиснутыя въ латинско-нѣмецкую конструкцію; выписныя мысли, какихъ и признака не было въ обществѣ, среди котораго и для котораго писалъ Ломоносовъ свои риторическіе стихи! И однакожъ, Ломоносова не безъ основанія называютъ отцомъ

русской поэзіи, которая тоже не безъ основанія гордится, напримѣръ, хоть такимъ поэтомъ, какъ Пушкинъ. Нужно ли доказывать, что еслибы у насъ не было заведено этой мертвой, подражательной, чисто внѣшней поэзіи, — то не родилась бы у насъ и живая, оригинальная и самобытная поэзія Пушкина? Нѣтъ, это и безъ доказательствъ ясно, какъ день Божій. И такъ, иногда и внѣшность чего-нибудь да стòитъ. Скажемъ болѣе: внѣшнее иногда влечетъ за собою внутреннее. Положимъ, что надѣть фракъ или сюртукъ, вмѣсто овчиннаго тулупа, синяго армяка, или смураго кафтана, еще не значитъ сдѣлаться Европейцемъ; но отъ чего же у насъ, въ Россіи, и учатся чему-нибудь, и занимаются чтеніемъ, и обнаруживаютъ и любовь и вкусъ къ изящнымъ искусствамъ только люди, одѣвающіеся по европейски? Чтó ни говорите, а даже и фракъ съ сюртукомъ—предметы, кажется совершенно внѣшніе, не мало дѣйствуютъ на внутреннее благообразіе человѣка. Петръ Великій это понималъ, и отсюда его гоненіе на бороды, охабни, терлики, шапки-мурмолки и всѣ другія завѣтныя принадлежности московитскаго туалета.

Есть мудрые люди, которые презираютъ всѣмъ внѣшнимъ; имъ давай идею, любовь, духъ, а на факты, на міръ практическій, на будничную сторону жизни они не хотятъ и смотрѣть. Есть другіе мудрые люди, которые, кромѣ фактовъ и дѣла, ни о чемъ знать не хотятъ, а въ идеѣ и духѣ видятъ однѣ мечты. Первые изъ нихъ за особенную честь поставляютъ себѣ слушать съ презрительнымъ видомъ, когда при нихъ говорятъ о желѣзной дорогѣ. Эти средства къ возвышенію нравственнаго достоинства страны имъ кажутся и ложными и ничтожными: они всего ждутъ отъ чуда, и думаютъ, что образованіе въ одно прекрасное утро свалится прямо съ неба, а народъ возьметъ на себя трудъ только поднять его, да проглотить, не жевавши. Мудрецы этого разряда давно уже ославлены

именемъ романтиковъ. Мудрецы втораго разряда спятъ и видятъ шоссе, желѣзныя дороги, мануфактуры, торговлю, банки, общества для разныхъ спекуляцій: въ этомъ ихъ идеалъ народнаго и государственнаго блаженства; духъ, идея, въ ихъ глазахъ—вредныя, или безполезныя мечты. Это классики нашего времени. Не принадлежа ни къ тѣмъ, ни къ другимъ, мы въ послѣднихъ видимъ хоть что-нибудь, тогда какъ въ первыхъ—виноваты—ровно ничего не видимъ. Есть два способа проводить новый источникъ жизни въ застоявшійся организмъ общественнаго тѣла: первый—наука, или ученіе, книгопечатаніе, въ обширномъ значеніи этого слова, какъ средство къ распространенію идей; второй—жизнь, разумѣя подъ этимъ словомъ формы обыкновенной, ежедневной жизни, нравы, обычаи. Тотъ и другой способъ равно важны, и послѣдній едва ли еще не важнѣе въ томъ отношеніи, что и само чтеніе, и сама идея тогда только важны и дѣйствительны, когда входятъ въ жизнь, становятся, такъ сказать, обычаемъ, или обыкновеніемъ. Нѣтъ ничего сильнѣе и крѣпче обычая: гораздо легче убѣдить людей логикой въ какой угодно истинѣ, нежели преклонить ихъ къ практическому примѣненію этой истины, если въ этомъ мѣшаетъ имъ обычай. Намъ кажется, что на долю Петербурга преимущественно выпалъ этотъ второй способъ распространенія и утвержденія европеизма въ русскомъ обществѣ. Петербургъ есть образецъ для всей Россіи во всемъ, что касается до формъ жизни, начиная отъ моды до свѣтскаго тона, отъ манеры класть кирпичи до высшихъ таинствъ архитектурнаго искусства, отъ типографскаго изящества до журналовъ, исключительно владѣющихъ вниманіемъ публики. Сравните петербургскую жизнь съ московскою—и въ ихъ различіи или, лучше сказать, ихъ противоположности, вы сейчасъ увидите значеніе того и другаго города. Несмотря на узкость Московскихъ улицъ, снабженныхъ тротуарами въ поларшина шириною,

онѣ только днемъ бываютъ тѣсны, и то далеко не всѣ, и притомъ больше по причинѣ ихъ узкости, чѣмъ по многолюдству. Съ десяти часовъ вечера Москва уже пустѣетъ и, особенно зимою, скучны и пустынны эти кривыя улицы съ еще болѣе кривыми переулками. Широкія улицы Петербурга почти всегда оживлены народомъ, который куда то спѣшитъ, куда-то торопится. На нихъ до двѣнадцати часовъ ночи довольно людно и до утра вездѣ попадаются то тамъ, то сямъ запоздалые. Кандитерскія полны народомъ: Нѣмцы, Французы и другіе иностранцы, туземные и заѣзжіе, пьютъ, ѣдятъ и читаютъ газеты; Русскіе больше пьютъ и ѣдятъ, а нѣкоторые пробѣгаютъ «Пчелу», «Инвалидъ» и иногда пристально читаютъ толстые журналы, переплетенные, для удобства, въ особенныя книжки, по отдѣламъ: это охотники до литературы; охотниковъ до политики у насъ вообще мало. Рестораны всегда полны, кухмистерскія заведенія тоже. Тутъ то же самое: пьютъ, ѣдятъ, читаютъ, курятъ, играютъ на билліардѣ, и все большею частію молча. Если и говорятъ, то тихо, и то сосѣдъ съ сосѣдомъ; за то часто случается слышать прегромкіе голоса, которые ни мало не женируются говорить о предметахъ, нисколько для постороннихъ не интересныхъ, напримѣръ, о томъ, какъ Иванъ Семеновичъ вчера остался безъ двухъ, играя семь въ червяхъ, или о томъ, что Петръ Николаевичъ получилъ мѣсто, а Василій Степановичъ произведенъ въ слѣдующій чинъ, и тому подобныхъ литературныхъ и политическихъ новостяхъ. Домà въ Петербургѣ, какъ извѣстно, огромные. Петербуржецъ о погребѣ не заботится: если не женатъ, онъ обѣдаетъ въ трактирѣ; женатъ, — онъ все беретъ изъ лавочки. Домъ, гдѣ нанимаетъ онъ квартиру, сущій ноевъ ковчегъ, въ которомъ можно найдти по парѣ всякихъ животныхъ. Рѣдко случается узнать Петербуржцу, кто живетъ возлѣ него, потому-что и съ верху, и съ низу, и съ боковъ его живутъ люди, которые

такъ же какъ и онъ, заняты своимъ дѣломъ и такъ же не имѣютъ времени узнавать о немъ, какъ и онъ о нихъ. Главное удобство въ квартирѣ, за которымъ гонится Петербуржецъ, состоитъ въ томъ, чтобы ко всему быть поближе — и къ мѣсту своей службы, и къ мѣсту, гдѣ все можно достать и лучше и дешевле. Послѣдняго удобства онъ часто достигаетъ въ своемъ Ноевомъ ковчегѣ, гдѣ есть и погребокъ, и кандитерская, и кухмистеръ, и магазины, и портные, и сапожники и все на свѣтѣ. Идея города больше всего заключается въ сплошной сосредоточенности всѣхъ удобствъ въ наиболѣе сжатомъ кругѣ: въ этомъ отношеніи, Петербургъ несравненно больше городъ, чѣмъ Москва и, можетъ-быть, одинъ городъ во всей Россіи, гдѣ все разбросано, разъединено, запечатлѣно семейственностію. Если въ Петербургѣ нѣтъ публичности въ истинномъ значеніи этого слова, за то ужь нѣтъ и домашняго, или семейнаго затворничества. Петербургъ любитъ улицу, гулянье, театръ, кофейню, воксалъ, словомъ, любитъ всѣ общественныя заведенія. Этого пока еще немного, но за то изъ этого можетъ многое выйдти впереди. Петербургъ не можетъ жить безъ газетъ, безъ аффишъ и разнаго рода объявленій; Петербургъ давно уже привыкъ, какъ къ необходимости, къ «Полицейской Газетѣ», къ городской почтѣ. Едва проснувшись, Петербуржецъ хочетъ тотчасъ же знать, что̀ дается сегодня на театрахъ, нѣтъ ли концерта, скачки, гулянья съ музыкою, словомъ, хочетъ знать все, что̀ составляетъ сферу его удовольствій и разсѣяній, — а для этого ему стоитъ только протянуть руку къ столу, если онъ получаетъ всѣ эти извѣстительныя изданія, или забѣжать въ первую попавшуюся кандитерскую. Въ Москвѣ, многіе подписчики на «Московскія Вѣдомости», выходящія три раза въ недѣлю (по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ), посылаютъ за ними только по субботамъ и получаютъ вдругъ три нумера. Оно и удобно: подъ праздникъ есть свободное

время заняться новостями всего міра... Кромѣ того, по неимѣнію городской почты и разсыльныхъ, надо посылать своего человѣка въ контору университетской типографіи, а это не для всякаго удобно и не для всѣхъ даже возможно. Для Петербуржца, заглянуть каждый день въ «Пчелу» или «Инвалидъ»—такая же необходимость, такой же обычай, какъ напиться по утру чаю... Въ противоположность Москвѣ, огромные дома въ Петербургѣ днемъ не затворяются и доступны черезъ ворота и черезъ двери; ночью, у воротъ всегда можно найти дворника, или вызвать его звонкомъ, слѣдовательно, всегда можно попасть въ домъ, въ который вамъ непремѣнно нужно попасть. У дверей каждой квартиры видна ручка звонка, а на многихъ дверяхъ не только нумеръ, но и мѣдная или желѣзная дощечка съ именемъ занимающаго квартиру. Хотя въ Москвѣ улицы не длинны, каждая носитъ особенное названіе и почти въ каждой есть церковь, а иногда еще и не одна, почему легко бы, казалось, отъискать кого нужно, если знаешь адресъ; однакожь, отъискивать тамъ—истинное мученіе, если въ домѣ есть не одинъ жилецъ. Обыкновенно, входите вы тамъ на довольно большой дворъ, на которомъ кромѣ собаки, или собакъ, ни одного живаго существа; спросить некого, надо стучаться въ двери съ вопросомъ: не здѣсь ли живетъ такой-то, потому что въ Москвѣ дворники рѣдки, а звонки еще и того рѣже. Нѣтъ никакой возможности ходить по московскимъ улицамъ, которыя узки, кривы и наполнены проѣзжающими. Надо быть Москвичемъ, чтобы умѣть смѣло ходить по нимъ, такъ же, какъ надо быть Парижаниномъ, чтобы, ходя по Парижу, не пачкаться на его грязныхъ улицахъ. Впрочемъ, сами Москвичи ходить не любятъ; отъ того извощикамъ въ Москвѣ много работы. Извощики тамъ дешевы, но на плохихъ дрожкахъ и прескверныхъ саняхъ; дрожки вездѣ скверны, по самому ихъ устройству; это просто орудіе пытки для допроса обвиненныхъ; но саней

плохихъ въ Петербургѣ не бываетъ: здѣсь самыя скверныя санишки сдѣланы па маперъ будто бы хорошихъ и покрыты полостью изъ теленка, похожаго па медвѣдя, а полость покрыта чѣмъ-то въ родѣ сукна. Въ Петербургѣ никто не сѣлъ бы на сани безъ медвѣдя!... Впрочемъ, въ Петербургѣ мало ѣздятъ; больше ходятъ: оно и здорово, ибо движеніе есть лучшее и притомъ самое дешевое средство противъ геморроя, да притомъ же, въ Петербургѣ удобно ходить: горъ и косогоровъ нѣтъ, все ровно и гладко, троттуары изъ плитняка, а гдѣ и изъ гранита, широкіе, ровные и во всякое время года чистые, какъ полы.

Чтобы ближе познакомиться съ обѣими нашими столицами, сравнимъ между собою ихъ народонаселеніе.

Высшее сословіе, или высшій кругъ общества, во всѣхъ городахъ въ мірѣ составляетъ собою нѣчто исключительное. Большой свѣтъ въ Петербургѣ еще болѣе, чѣмъ гдѣ нибудь, есть истинная terra incognita для всѣхъ, кто не пользуется въ немъ правомъ гражданства; это городъ въ городѣ, государство въ государствѣ. Непосвященные въ его таинства смотрятъ на него издалека, на почтительномъ разстояніи, смотрятъ на него съ завистью и томленіемъ, съ какими путникъ, заблудившійся въ песчаной степи Аравіи, смотритъ на миражъ, представляющійся ему цвѣтущимъ оазисомъ; но недоступный для нихъ рай большаго свѣта, стрегомый булавою швейцара и толпою оффиціянтовъ, разодѣтыхъ маркизами XVIII вѣка, даже и не смотритъ на этихъ чающихъ для себя движенія райской воды. Люди различныхъ слоевъ средняго сословія, отъ высшаго до низшаго, съ напряженнымъ вниманіемъ прислушиваются къ отдаленному и непонятному для нихъ гулу большаго свѣта, и по своему толкуютъ долетающіе до ихъ ушей анекдоты, искаженные ихъ простодушіемъ. Словомъ, они такъ заботятся о большомъ свѣтѣ, какъ будто безъ него не могутъ дышать. Не довольствуясь этимъ, они изо-всѣхъ

силъ бьются, бѣдные, передразнивать бытъ большаго свѣта, и—à force de forger—достигаютъ до сладостной самоувѣренности, что и они—тоже большой свѣтъ. Конечно, настоящій большой свѣтъ очень бы добродушно разсмѣялся, еслибъ узналъ объ этихъ безчисленныхъ претендентахъ на близкое родство съ нимъ; но отъ этого тѣмъ не менѣе страсть считать себя принадлежащимъ или прикосновеннымъ къ большому свѣту, доходитъ въ среднихъ сословіяхъ Петербурга до изступленія. Поэтому, въ Петербургѣ счету нѣтъ различнымъ кругамъ «большаго свѣта». Всѣ они отличаются со стороны высшаго къ низшему—величаво, или лукаво насмѣшливымъ взглядомъ; а со стороны низшаго къ высшему—досадою обиженнаго самолюбія, впрочемъ, утѣшающаго себя тѣмъ, что и мы-де не отстанемъ отъ другихъ и постоимъ за себя въ хорошемъ тонѣ. Хорошій тонъ, это — точка помѣшательства для петербургскаго жителя. Послѣдній чиновникъ, получающій не болѣе семисотъ рублей жалованья, ради хорошаго тона отпускаетъ при случаѣ искаженную французскую фразу—единственную, какую удалось ему затвердить изъ «Самоучителя»; изъ хорошаго тона онъ одѣвается всегда у порядочнаго портнаго и носитъ на рукахъ хотя и засаленныя, но жолтыя перчатки. Дѣвицы даже низшихъ классовъ ужасно любятъ ввернуть въ безграмотной русской запискѣ безграмотную французскую фразу,—и если вамъ понадобится писать къ такой дѣвицѣ, то ничѣмъ вы ей такъ не польстите, какъ смѣшеніемъ нижегородскаго съ французскимъ: этимъ вы ей покажете, что считаете ее дѣвицею образованною и «хорошаго тона». Любятъ онѣ также и стишки, особенно изъ водевильныхъ куплетовъ; но нѣкоторыя возвышаются своимъ вкусомъ даже до поэзіи г. Бенедиктова,—и это дѣвицы самыхъ аристократическихъ, самыхъ бонтонныхъ круговъ чиновническаго сословія. Видите ли: Петербургъ во всемъ себѣ вѣренъ; онъ стремится къ высшей формѣ общественнаго бы-

та... Не такова, въ этомъ отношеніи, Москва. Въ ней даже большой свѣтъ имѣетъ свой особенный характеръ. Но кто не принадлежитъ къ нему, тотъ о немъ и не заботится, будучи весь погруженъ въ сферу собственнаго сословія.

Ядро кореннаго московскаго народонаселенія составляетъ купечество. Девять десятыхъ этого многочисленнаго сословія носятъ православную, отъ предковъ завѣщенную бороду, длиннополый сюртукъ синяго сукна и ботфорты съ кисточкою, скрывающіе въ себѣ оконечности плисовыхъ, или суконныхъ брюкъ; одна десятая позволяетъ себѣ брить бороду и, по одеждѣ, по образу жизни, вообще во внѣшности, походитъ на разночинцевъ и даже дворянъ средней руки. Сколько старинныхъ вельможескихъ домовъ перешло теперь въ собственность купечества! И вообще, эти огромныя зданія, памятники уже отжившихъ свой вѣкъ нравовъ и обычаевъ, почти всѣ безъ исключенія превратились или въ казенныя учебныя заведенія, или, какъ мы уже сказали, поступили въ собственность богатаго купечества. Какъ расположилось и какъ живетъ въ этихъ палатахъ и дворцахъ «поштенное» купечество,—объ этомъ любопытные могутъ справиться, между прочимъ, въ повѣсти г. Вельтмана «Пріѣзжій изъ Уѣзда, или Суматоха въ Столицѣ». Но не въ однѣхъ княжескихъ и графскихъ палатахъ,—хороши также эти купцы и въ дорогихъ каретахъ и колясках, которыя вихремъ несутся на превосходныхъ лошадяхъ, блистающихъ самою дорогою сбруею: въ экипажѣ сидитъ «поштенная» и весьма довольная собою борода; возлѣ нея помѣщается плотная и объёмистая масса ея дражайшей половины, разбѣленная, разрумяненная, обремененная жемчугами, иногда съ платкомъ на головѣ и съ косичками отъ висковъ, но чаще, въ шляпкѣ съ перьями (прекрасный полъ даже и въ купечествѣ далеко обогналъ мужчинъ на пути европеизма!), а на запяткахъ стоитъ сидѣлецъ въ длиннополомъ жидовскомъ сюртукѣ, въ ры-

жихъ сапогахъ съ кисточками, пуховой шляпѣ и въ зеленыхъ перчаткахъ... Проходящіе мимо купцы средней руки и мѣщане съ удовольствіемъ пощолкиваютъ языкомъ, смотря на лихихъ коней, и гордо приговариваютъ: «Вишь, какъ наши-то!», а дворяне, смотря изъ оконъ, съ досадою думаютъ: «мужикъ проклятый — развалился, какъ и Богъ знаетъ кто!..» Для русскаго купца, особенно Москвича, толстая статистая лошадь и толстая статистая жена—первыя блага въ жизни... Въ Москвѣ повсюду встрѣчаете вы купцовъ, и все показываетъ вамъ, что Москва, по преимуществу, городъ купеческаго сословія. Ими населенъ Китай-городъ; они исключительно завладѣли Замоскворѣчьемъ, и ими же кишатъ даже самыя аристократическія улицы и мѣста въ Москвѣ, каковы—Тверская, Тверской бульваръ, Пречистенка, Остоженка, Арбатская, Поварская, Мясницкая и другія улицы. Базисомъ этому многочисленному сословію въ Москвѣ служитъ еще многочисленнѣйшее сословіе: это — мѣщанство, которое создало себѣ какой-то особенный костюмъ изъ національнаго русскаго и изъ бусурманскаго нѣмецкаго, гдѣ неизбѣжно красуются зеленыя перчатки, пуховая шляпа, или картузъ такого устройства, въ которомъ равно изуродованы и опошлены и русскій и иностранный типы головной мужской одежды; выростковые сапоги, въ которыхъ прячутся нанковые или суконные штанишки: сверху что-то среднее между долгополымъ жидовскимъ сюртукомъ и кучерскимъ кафтаномъ; красная александрійская или ситцевая рубаха съ косымъ воротомъ, а на шеѣ грязный пестрый платокъ. Прекрасная половина этого сословія представляетъ своимъ костюмомъ такое же дикое смѣшеніе русской одежды съ европейскою: мѣщанки ходятъ большею частію (кромѣ ужь самыхъ бѣдныхъ) въ платьяхъ и шаляхъ порядочныхъ женщинъ, а волосы прячутъ подъ шапочку, сдѣланную изъ цвѣтнаго шелковаго платка; бѣлила, румяна и сюрма составляютъ неотъемле-

мую часть ихъ самихъ, точно также, какъ стеклянные глаза, безжизненное лицо и черные зубы. Это мѣщанство есть вездѣ, гдѣ только есть русскій городъ, даже большое торговое село. Типъ этого мѣщанства вполнѣ постигъ петербургскій актёръ, г. Григорьевъ 2-й,—и этому-то типу обязанъ онъ своимъ необыкновеннымъ успѣхомъ на Александринскомъ театрѣ.

Но въ Москвѣ есть еще другаго рода среднее сословіе— образованное среднее сословіе. Мы не считаемъ за нужное объяснять нашимъ читателямъ, что́ мы разумѣемъ вообще подъ образованными сословіями: кому не извѣстно, что у насъ, въ Россіи, есть рѣзкая черта, которая отдѣляетъ необразованныя сословія отъ образованныхъ и которая заключается, во-первыхъ, въ костюмахъ и обычаяхъ, обнаруживающихъ рѣшительное притязаніе на европеизмъ; во вторыхъ, въ любви къ преферансу; въ третьихъ, въ бо́льшемъ или меньшемъ занятіи чтеніемъ. Касательно послѣдняго пункта, можно сказать съ достовѣрностію, что кто читаетъ постоянно хоть «Московскія Вѣдомости», тотъ уже принадлежитъ къ образованному сословію, если, кромѣ того, онъ въ одеждѣ и обычаяхъ придерживается западнаго типа. Къ числу необходимыхъ отличій «образованнаго» человѣка отъ «необразованнаго» у насъ полагается и чинъ, хотя, съ нѣкотораго времени, и у насъ уже начинаютъ убѣждаться, что и безъ чина такъ же можно быть образованнымъ человѣкомъ, какъ и невѣждою съ чиномъ. Впрочемъ, подобное мнѣніе нисколько не проникло въ низшіе классы общества, — и милліонеръ купецъ, поглаживая свою бородку, смѣло претендуетъ на умъ (благо плутоватъ и мастеръ надуть и недруга и друга), но никогда на образованность. Различій и степеней между «образованными» людьми у насъ множество. Одни изъ нихъ читаютъ только дѣловыя бумаги и письма, до нихъ лично касающіяся, да еще календари и «Московскія Вѣдомости»; нѣкоторые идутъ

далѣе—и постоянно читаютъ «Сѣверную Пчелу»; есть такіе, которые читаютъ рѣшительно всѣ русскіе журналы, газеты, книги и брошюры, и не читаютъ ничего иностраннаго, даже зная какой-нибудь иностранный языкъ; наконецъ, есть такіе esprits-forts, которые очень много читаютъ на иностранныхъ языкахъ и рѣшительно ничего на своемъ родномъ; но «образованнѣйшими» должно почитать, безъ сомнѣнія, тѣхъ немногихъ у насъ людей, которые, иногда заглядывая въ русскіе журналы, постоянно читаютъ иностранные, изрѣдка прочитывая русскія книги (благо хорошихъ-то изъ нихъ очень мало), часто читаютъ иностранныя книги. Но еще многочисленнѣе оттѣнки нашей образованности въ отношеніи къ одеждѣ, обычаямъ и картамъ. Есть у насъ люди, которые европейскую одежду носятъ только оффиціально, но у себя дома, безъ гостей, постоянно пребываютъ въ татарскихъ халатахъ, сафьянныхъ сапогахъ и разнаго рода ермолкахъ; нѣкоторые халату предпочитаютъ ухорскій архалухъ—щегольство провинціяльныхъ лакеевъ; другіе, напротивъ, и дома остаются вѣрны европейскому типу и ходятъ въ пальто, въ которомъ могутъ, безъ нарушенія приличія, принимать визиты за просто; одни слѣдуютъ постоянно модѣ, другіе увлекаются венгерками, казачьими шароварами и тому подобными удалыми, залихватскими и ухорскими изобрѣтеніями провинціяльнаго изящнаго вкуса. Въ образѣ жизни, главный оттѣнокъ различій состоитъ въ томъ, что одни поздно встаютъ, обѣдаютъ никакъ не ранѣе четырехъ часовъ, вечеромъ пьютъ чай никакъ не ранѣе десяти часовъ, и чѣмъ позже ложатся спать, тѣмъ лучше, а другіе, въ этомъ отношеніи, болѣе придерживаются старины. Въ обращеніи, оттѣнки нашего общества такъ безчисленны, что нѣтъ никакой возможности и говорить объ нихъ. Но въ этомъ отношеніи, всѣ оттѣнки, отъ самаго высшаго до самаго низшаго, имѣютъ въ себѣ то общаго, что всѣ равно вѣрны внѣшности, которая

не обязываетъ ни къ чему внутреннему: это та же одежда. Въ отношеніи къ картамъ, есть только три различія: одни играютъ только въ преферансъ; другіе только въ банкъ и въ палки; третьи и въ преферансъ, и въ палки. Различіе кушей подразумѣвается само собою. Въ Петербургѣ въ преферансъ играютъ по мастямъ и на семь не прикупаютъ; въ Москвѣ и въ провинціи прикупаютъ и на десять, безъ различія мастей. Образованный классъ въ Москвѣ довольно многочисленъ и чрезвычайно разнообразенъ. Несмотря на то, всѣ Москвичи очень похожи другъ на друга, къ нимъ всегда будетъ идти эта характеристика, сдѣланная знаменитѣйшимъ Москвичемъ Фамусовымъ.

От головы до пятокъ
На всѣхъ московскихъ есть особый отпечатокъ.

Москвичи — люди на распашку, истинные Аѳиняне, только на русско-московскій ладъ. Они любятъ пожить и, въ ихъ смыслѣ, дѣйствительно хорошо живутъ. Кто не слышалъ о московскомъ англійскомъ клубѣ и его сытныхъ обѣдахъ? Кромѣ англійскаго и нѣмецкаго клубовъ, теперь въ Москвѣ есть еще — дворянскій. Кто не слышалъ о московскомъ хлѣбосольствѣ, гостепріимствѣ и радушіи? Въ какомъ другомъ городѣ въ мірѣ можете вы съ такимъ удобствомъ и жениться и пообѣдать, какъ въ Москвѣ?... Гдѣ, кромѣ Москвы, вы можете и служить, и торговать, и сочинять романы, и издавать журналы, не для чего инаго, какъ только для собственнаго развлеченія, для отдыха? Гдѣ лучше можете вы отдохнуть и поправить свое здоровье, какъ не въ Москвѣ? Гдѣ, если не въ Москвѣ, можете вы много говорить о своихъ трудахъ, настоящихъ и будущихъ, прослыть за дѣятельнѣйшаго человѣка въ мірѣ — и въ то же время, ровно ничего не дѣлать? Гдѣ, кромѣ Москвы, можете вы быть довольнѣе тѣмъ, что вы ничего не дѣлаете, а время проводите препріятно? Оттого-то въ Москвѣ такъ

много заѣзжаго празднаго народа, который собирается туда изъ провинціи жуировать, кутить, веселиться, жениться. Оттого-то тамъ такъ много халатовъ, венгерокъ, штатскихъ панталонъ съ лампасами и такихъ невиданныхъ сюртуковъ съ шнурами, которые, появившись на Невскомъ проспектѣ, заставили бы смотрѣть на себя съ ужасомъ все народонаселеніе Петербурга. Въ Москвѣ есть, говорятъ, даже шапки мурмолки, въ родѣ той, которую, по увѣренію Москвичей, носилъ еще Рюрикъ. Оттого-то, наконецъ, въ Москвѣ только можетъ процвѣтать цыганскій хоръ Илюшки. Лицо Москвича никогда не озабочено: оно добродушно и откровенно, и смотритъ такъ, какъ будто хочетъ вамъ сказать: а гдѣ вы сегодня обѣдаете? Кто хоть сколько нибудь знаетъ Москву, тотъ не можетъ не знать, что, кромѣ англійскаго комфорта, есть еще и московскій комфортъ, иначе называемый «жизнью на распашку». Москвичи такъ рѣзко отличаются ото всѣхъ не Москвичей, что, напримѣръ, московскій баринъ, московская барыня, московская барышня, московскій поэтъ, московскій мыслитель, московскій литераторъ, московскій архивный юноша: все это—типы, все это слова техническія, рѣшительно непонятныя для тѣхъ, кто не живетъ въ Москвѣ. Это происходитъ отъ исключительнаго положенія Москвы, въ которое постановила ее реформа Петра Великаго. Москва одна соединила въ себѣ тройственную идею Оксфорда, Манчестера и Реймса. Москва—городъ промышленный. Въ Москвѣ находится не только старѣйшій, но и лучшій русскій университетъ, привлекающій въ нее свѣжую молодежь изо всѣхъ концовъ Россіи. Хотя значительная часть воспитанниковъ этого университета, по окончаніи курса, оставляетъ Москву, чтобъ хоть что-нибудь дѣлать на этомъ свѣтѣ, но все же изъ нихъ довольно остается и въ Москвѣ. Эти остающіеся, вмѣстѣ съ учащимися, составляютъ собою особенное среднее сословіе, въ которомъ находятся люди

всѣхъ сословій. Ихъ соединяетъ и подводитъ подъ общій уровень образованіе, или, по крайней мѣрѣ, стремленіе къ образованію. Среднее сословіе такого рода—оазисъ на песчаномъ грунтѣ всѣхъ другихъ сословій. Такіе оазисы находятся во многихъ, если не во всѣхъ, русскихъ городахъ. Въ иномъ городѣ, такой оазисъ состоитъ изъ пяти, въ иномъ изъ двухъ, въ иномъ и изъ одной только души, а въ нѣкоторыхъ городахъ и совсѣмъ нѣтъ такихъ оазисовъ—все чистый песокъ, или чистый черноземъ, поросшій бурьяномъ и крапивою. Къ особенной чести Москвы, никакъ нельзя не согласиться, что въ ней такихъ оазисовъ едва ли не больше, чѣмъ въ какомъ-нибудь другомъ русскомъ городѣ. Это происходитъ отъ двухъ причинъ: во первыхъ, отъ исключительнаго положенія Москвы, чуждой всякаго административнаго, бюрократическаго и оффиціяльнаго характера, ея значенія и столицы, и вмѣстѣ огромнаго губернскаго города; во вторыхъ, отъ вліянія Московскаго университета. Оттого, въ дѣлѣ вопросовъ, касающихся до науки, искусства, литературы у Москвичей больше простора, знанія, вкуса, такта, образованности, чѣмъ у большинства читающей и даже пишущей петербургской публики. Это, повторяемъ, лучшая сторона московскаго быта. Но на свѣтѣ все такъ чудно устроено, что самое лучшее дѣло непремѣнно должно имѣть свою слабую сторону. Что нѣтъ въ мірѣ народа ученѣе Нѣмцевъ — это извѣстно всякому: сами Москвичи, по наукѣ, не годятся Нѣмцамъ въ ученики. Но за то и у Нѣмцевъ есть та слабая сторона, что они до тридцати лѣтъ бываютъ буршами, а остальную—и большую—половину жизни—филистерами, и поэтому не имѣютъ времени быть людьми. Такъ и въ Москвѣ: люди, поставившіе образованность цѣлью своей жизни, сначала бываютъ молодыми людьми, подающими о себѣ большія надежды, и потомъ, если во время не выѣдутъ изъ Москвы, дѣлаются Москвичами, и тогда уже перестаютъ подавать о

себѣ какія-нибудь надежды, какъ люди, для которыхъ прошла пора обѣщать, а пора исполнять еще не наступила. Даже и молодые люди, «подающіе о себѣ большія надежды», въ Москвѣ имѣютъ тотъ общій недостатокъ, что часто смѣшиваютъ между собою самыя различныя и противоположныя понятія, какъ-то: стихотворство съ дѣломъ, фантазіи празднаго ума—съ мышленіемъ. Многимъ изъ нихъ (исключенія рѣдки) стòитъ сочинить свою, а всего чаще вычитать готовую теорію, или фантазію о чемъ бы то ни было,—и они уже твердо рѣшаются видѣть оправданіе этой теоріи, или этой фантазіи въ самой дѣйствительности,—и чѣмъ болѣе дѣйствительность противорѣчитъ ихъ любимой мечтѣ, тѣмъ упрямѣе убѣждены они въ ея безусловномъ тождествѣ съ дѣйствительностію. Отсюда игра словами, которыя принимаются за дѣла, игра въ понятія, которыя считаются фактами. Все это очень невинно, но отъ того не меньше смѣшно. Чтò бы ни дѣлали въ жизни молодые люди, оставляющіе Москву для Петербурга — они дѣлаютъ; Москвичи же ограничиваются только бесѣдами и спорами о томъ, чтò должно дѣлать, бесѣдами и спорами, часто очень умными, но всегда рѣшительно безплодными. Страсть разсуждать и спорить есть живая сторона Москвичей; но дѣла изъ этихъ разсужденій и споровъ у нихъ не выходитъ. Нигдѣ нѣтъ столько мыслителей, поэтовъ, талантовъ, даже геніевъ, особенно высшихъ «натуръ», какъ въ Москвѣ; но всѣ они дѣлаются болѣе или менѣе извѣстными внѣ Москвы только тогда, какъ переѣдутъ въ Петербургъ; тутъ они, волею или неволею, или попадаютъ въ составъ той толпы, которую всегда бранили, и дѣлаются простыми смертными, или дѣйствительно находятъ, какое бы то ни было, поприще своимъ способностямъ, часто болѣе или менѣе замѣчательнымъ, если и не геніяльнымъ. Нигдѣ столько не говорятъ о литературѣ, какъ въ Москвѣ, и между тѣмъ въ Москвѣ-то и нѣтъ никакой литературной

дѣятельности, по крайней мѣрѣ теперь. Если тамъ появится журналъ, то не ищите въ немъ ничего, кромѣ напыщенныхъ толковъ о мистическомъ значеніи Москвы, опирающихся на царь-пушкѣ и большомъ колоколѣ, какъ будто городъ Петра Великаго стоитъ внѣ Россіи, и какъ будто исполинъ на Исакіевской площади не есть величайшая историческая святыня русскаго народа; не ищите ничего кромѣ множества посредственныхъ стихотвореній къ дѣвѣ, къ лунѣ, къ Ивану великому, Сухаревой башнѣ, а иногда— повѣрятъ ли?—къ пѣнному вину, будто бы источнику всего великаго въ русской народности, плохихъ повѣстей, запоздалыхъ сужденій о литературѣ, исполненныхъ враждою къ Западу и прямыми и косвенными нападками на безнравственность людей, не принадлежащихъ къ приходу этого журнала и не удивляющихся геніяльности его сотрудниковъ. Если выйдетъ брошюрка,—это опять или несовсѣмъ образованныя выходки противъ, будто бы, гніющаго Запада; или какія-нибудь дѣтскія фантазіи съ самонадѣянными притязаніями на открытіе глубокихъ истинъ въ родѣ тѣхъ, что Гоголь — не шутя нашъ Гомеръ, а «Мертвыя Души» единственный послѣ «Иліады» типъ истиннаго эпоса.

Разумѣется, мы говоримъ здѣсь о слабыхъ сторонахъ, не отрицая возможности прекраснѣйшихъ исключеній изъ нихъ. Вездѣ есть свое хорошее и, слѣдовательно, свое слабое или недостаточное. Петербургъ и Москва — двѣ стороны, или, лучше сказать, двѣ односторонности, которыя могутъ современемъ образовать своимъ сліяніемъ прекрасное и гармоническое цѣлое, прививъ другъ другу то, что̀ въ нихъ есть лучшаго. Время это близко: желѣзная дорога дѣятельно дѣлается...

Обратимся къ Петербургу.

Низшій слой народонаселенія, собственно простой народъ, вездѣ одинаковъ. Впрочемъ, петербургскій простой народъ нѣсколько разнится отъ московскаго: кромѣ полугара и чая,

онъ любитъ еще и кофе и сигары, которыми даже лакомятся подгородные мужики; а прекрасный полъ петербургскаго простонародья, въ лицѣ кухарокъ и разнаго рода служанокъ, чай и водку отнюдь не считаетъ необходимостію, а безъ кофею рѣшительно не можетъ жить; подгородныя крестьянки Петербурга забыли уже національную русскую пляску для французской кадрили, которую танцуютъ подъ звуки гармоники, ими самими извлекаемые: вліяніе лукаваго Запада, разсчитанное слѣдствіе его адскихъ козней! Петербургскія швейки и вообще всѣ простыя женщины, усвоившія себѣ европейскій костюмъ, предпочитаютъ шляпки чепцамъ, тогда какъ въ Москвѣ наоборотъ, и вообще одѣваются съ бо́льшимъ вкусомъ противъ московскихъ женщинъ даже не одного съ ними сословія. То же должно сказать и о мущинахъ: къ какому сословію принадлежитъ иной служитель и мастеровой, это можно узнать только по его манерамъ, но не всегда по его платью. Это опять вліяніе того же лукаваго Запада! Далѣе, въ нашей книгѣ, благосклонный читатель, современемъ найдетъ описаніе такъ называемыхъ «лакейскихъ баловъ», о которыхъ въ Москвѣ люди этого сословія еще и не мечтали. Говоря о Москвѣ, мы нарочно распространились о купеческомъ и мѣщанскомъ сословіяхъ, какъ о самыхъ характеристическихъ ея принадлежностяхъ. Безъ всякаго сомнѣнія, мѣщане, въ родѣ тѣхъ, которыхъ такъ удачно представляетъ на сценѣ Александринскаго театра г. Григорьевъ 2-й, есть и въ Петербургѣ, и при томъ еще въ довольномъ количествѣ; но здѣсь они какъ будто не у себя дома, какъ будто въ гостяхъ, какъ будто колонисты, или заѣзжіе иностранцы. Петербургскій Нѣмецъ болѣе ихъ туземецъ петербургскій. На улицахъ Петербурга они попадаются гораздо рѣже, чѣмъ въ Москвѣ; ихъ надо искать на Щукиномъ, въ овощныхъ лавкахъ, въ мясныхъ рядахъ и всякаго рода маленькихъ лавочкахъ, которыя разсыпаны тамъ и сямъ по Петербур-

гу. Мѣщане — сидѣльцы и прикащики въ лавкахъ, находящихся на болѣе видныхъ улицахъ Петербурга, какъ-то цивилизованнѣе своихъ московскихъ собратій. Вообще же, всѣ они такъ перетасованы въ петербургскомъ народонаселеніи, что не бросаются въ глаза прежде всего, какъ въ Москвѣ; скажемъ болѣе: въ Петербургѣ они какъ-то совсѣмъ незамѣтны. И вотъ почему мы думаемъ, что г. Григорьевъ 2-й не имѣлъ бы такого успѣха на московской сцѣнѣ, какимъ пользуется онъ на петербургской: представляемый имъ типъ, конечно — не невидаль въ Петербургѣ, но въ то же время онъ—и не такое обыкновенное явленіе, которое своимъ рѣзкимъ контрастомъ съ нравами преобладающаго сословія въ Петербургѣ могло бы не возбуждать громкаго и веселаго смѣха на свой счетъ. Что же касается до петербургскаго купечества, — оно рѣзко отличается отъ московскаго. Купцовъ съ бородами, особенно богатыхъ, въ Петербургѣ очень мало, и они кажутся рѣшительными колонистами въ этомъ оевропеевшемся городѣ; они даже выбрали особенныя улицы своимъ исключительнымъ мѣстомъ жительства: это — Троицкій переулокъ, улицы, сопредѣльныя Пяти-угламъ и около старообрядческой церкви. Въ Петербургѣ множество купцовъ изъ Нѣмцевъ, даже Англичанъ, и потому большая часть даже русскихъ купцовъ, смотрятъ не купчинами, а негоціантами, и ихъ не отличить отъ сплошной массы, составляющей петербургское среднее сословіе. Наконецъ мы дошли до главнаго (по его многочисленности и общности его физіономіи) «петербургскаго сословія». Извѣстно, что ни въ какомъ городѣ въ мірѣ нѣтъ столько молодыхъ, пожилыхъ и даже старыхъ бездомныхъ людей, какъ въ Петербургѣ, и нигдѣ осѣдлые и семейные такъ не похожи на бездомныхъ, какъ въ Петербургѣ. Въ этомъ отношеніи, Петербургъ — антиподъ Москвы. Это рѣзкое различіе объясняется отношеніями, въ которыхъ оба города находятся въ Россіи. Петер-

бургъ — центръ правительства, городъ по преимуществу административный, бюрократическій и офиціальный. Едва ли не цѣлая треть его народонаселенія состоитъ изъ военныхъ, а число штатскихъ чиновниковъ едва ли еще не превышаетъ собою числа военныхъ офицеровъ. Въ Петербургѣ все служитъ, все хлопочетъ о мѣстѣ, или объ опредѣленіи на службу. Въ Москвѣ вы часто можете слышать вопросъ: «чѣмъ вы занимаетесь?» въ Петербургѣ этотъ вопросъ рѣшительно замѣненъ вопросомъ: «гдѣ вы служите?». Слово «чиновникъ» въ Петербургѣ такое же типическое, какъ въ Москвѣ «баринъ», «барыня», и т. д. Чиновникъ—это туземецъ, истый гражданинъ Петербурга. Если къ вамъ пришлютъ лакея, мальчика, дѣвочку хоть пяти лѣтъ, каждый изъ этихъ посланныхъ, отыскивая въ домѣ вашу квартиру, будетъ спрашивать у дворника, или у самого васъ: здѣсь ли живетъ чиновникъ такой-то? хотя бы вы не имѣли никакого чина и нигдѣ не служили и никогда не намѣревались служить. Такой ужъ петербургскій «норовъ»! Петербургскій житель вѣчно боленъ лихорадкою дѣятельности; часто онъ въ сущности дѣлаетъ ничего, въ отличіе отъ Москвича, который ничего не дѣлаетъ, но «ничего» петербургскаго жителя, для него самого всегда есть «нѣчто»: по крайней мѣрѣ, онъ всегда знаетъ, изъ чего хлопочетъ. Москвичи. Богъ ихъ знаетъ какъ, нашли тайну все на свѣтѣ дѣлать такъ, какъ въ Петербургѣ отдыхаютъ или ничего не дѣлаютъ. Въ самомъ дѣлѣ, даже визитъ, прогулка, обѣдъ—все это Петербуржецъ исправляетъ съ озабоченнымъ видомъ, какъ будто боясь опоздать, или потерять дорогое время, и на все это рѣшается онъ не всегда безъ цѣли и безъ разсчета. Въ Москвѣ, даже солидные люди молчатъ только тогда, когда спятъ, а юноши, особенно «подающіе о себѣ большія надежды», говорятъ даже и во снѣ, а потомъ даже иногда печатаютъ, если имъ случится сказать во снѣ что-нибудь хорошее —

чѣмъ и должно объяснить иныя литературныя явленія въ Москвѣ. Петербуржецъ, если онъ человѣкъ солидный, скупъ на слова, если они не ведутъ ни къ какой положительной цѣли. Лицо Москвича открыто, добродушно, беззаботно, весело, привѣтливо; Москвичъ всегда радъ заговорить и заспорить съ вами о чемъ угодно, и въ разговорѣ Москвичъ откровененъ. Лицо Петербуржца всегда озабочено и пасмурно; Петербуржецъ всегда вѣжливъ, часто даже любезенъ, но какъ-то холодно и осторожно; если разговорится, то о предметахъ самыхъ обыкновенныхъ; серьёзно онъ говоритъ только о службѣ, а спорить и разсуждать ни о чемъ не любитъ. По лицу Москвича видно, что онъ доволенъ людьми и міромъ; по лицу Петербуржца видно, что онъ доволенъ—самимъ собою, если, разумѣется, дѣла его идутъ хорошо. Отсюда проистекаетъ его тонкая наблюдательность; отъ этого безпрестанно вспыхиваетъ его тонкая иронія: онъ сейчасъ замѣтитъ, если ваши сапоги не хорошо вычищены, или у вашихъ панталонъ оборвалась штрипка, а у жилета виситъ готовая оборваться пуговка, замѣтитъ— и улыбнется лукаво, самодовольно... Въ этой улыбкѣ, впрочемъ, и состоитъ вся его иронія. Москвичъ снисходителенъ ко всякому туалету и не замѣчателенъ вообще во всемъ, что̀ касается до наружности. Прежде всего, онъ требуетъ, чтобы вы были—или добрый малый, или человѣкъ съ душою и сердцемъ... При первой же встрѣчѣ, онъ съ вами заспоритъ, и только тогда начнетъ иронически улыбаться, когда увидитъ, что ваши мнѣнія не сходятся съ мнѣніями кружка, въ которомъ онъ ораторствуетъ, или въ которомъ онъ слушаетъ, какъ другіе ораторствуютъ, и который онъ непремѣнно считаетъ за литературную или философскую «партію». Вообще, всякій Москвичъ, къ какому бы званію ни принадлежалъ онъ, вполнѣ доволенъ жизнію, потому что доволенъ Москвою, и по своему умѣетъ наслаждаться жизнію, потому что, по своему онъ живетъ широко, раз-

дольно, на-распашку. Въ чемъ заключается его наслажденіе жизнію — это другой вопросъ. Умные люди давно уже согласились между собою, что крѣпкій сонъ, сильный аппетитъ, здоровый желудокъ, внушающіе уваженіе размѣры брюшныхъ полостей, полное и румяное лицо и, наконецъ, завидная способность быть всегда въ добромъ расположеніи духа, суть самое прочное основаніе истиннаго счастія въ семъ подлунномъ мірѣ. Москвичи, какъ умные люди, вполнѣ соглашаясь съ этимъ, думаютъ еще, что чѣмъ менѣе человѣкъ о чемъ-нибудь заботится серьёзно, чѣмъ менѣе что-нибудь дѣлаетъ и чѣмъ болѣе обо всемъ говоритъ, тѣмъ онъ счастливѣе. И едва ли они не правы въ этомъ отношеніи, счастливые мудрецы! За то, одинъ видъ Москвича возбуждаетъ въ васъ аппетитъ и охоту говорить много, горячо, съ убѣжденіемъ, но рѣшительно безъ всякой цѣли и безъ всякаго результата! Не такое дѣйствіе производитъ на душу наблюдателя видъ петербургскаго жителя. Онъ рѣдко бываетъ румянъ, часто бываетъ блѣденъ, но всего чаще его лицо отзывается геморроидальнымъ колоритомъ, свойственнымъ петербургскому небу; и на этомъ лицѣ почти всегда видна бываетъ забота, что-то безпокойное, тревожное и, вмѣстѣ съ этимъ, какое-то довольство самимъ собою, что-то похожее на непобѣдимое убѣжденіе въ собственномъ достоинствѣ. Петербургскій житель никогда не ложится спать ранѣе двухъ часовъ ночи а иногда и совсѣмъ не ложится; но это не мѣшаетъ ему въ девять часовъ утра сидѣть уже за дѣломъ, или быть въ департаментѣ. Послѣ обѣда онъ непремѣнно въ театрѣ, на вечерѣ, на балѣ, въ концертѣ, маскарадѣ, за картами, на гуляньѣ, смотря по времени года. Онъ успѣваетъ вездѣ и, какъ работаетъ, такъ и наслаждается торопливо, часто поглядывая на часы, какъ будто боясь, что у него не хватитъ времени. Москвичъ—предобрѣйшій человѣкъ, довѣрчивъ, разговорчивъ и особенно наклоненъ къ дружбѣ.

Петербуржецъ, напротивъ, не говорливъ, на другихъ смотритъ съ недовѣрчивостью и съ чувствомъ собственнаго достоинства: ему какъ будто все кажется, что онъ или занятъ дѣловыми бумагами, или играетъ въ преферансъ, а извѣстно, что важныя занятія требуютъ вниманія и молчаливости. Петербуржецъ рѣзко отличается отъ Москвича даже въ способѣ наслаждаться: въ столѣ и винахъ онъ ищетъ утонченнаго гастрономическаго изящества, а не излишества, не разливаннаго моря. Въ обществѣ, онъ рѣшится лучше скучать, нежели, предавшись обаянію живаго разговора, манкировать передъ чинностію и церемонностію, въ которыхъ онъ привыкъ видѣть величіе и хорошій тонъ. Исключеніе остается за холостыми пирушками: русскій человѣкъ кутитъ одинаково во всѣхъ концахъ Россіи, и въ его кутежѣ всегда равно проглядываетъ какое-то степное раздолье, напоминающее древне-повгородскіе нравы.

Въ Москвѣ нѣтъ чиновниковъ. Порядочные люди въ Москвѣ, къ чести ихъ, внѣ мѣста своей службы, умѣютъ быть просто людьми, такъ что и не догадаешься, что они служатъ. Низшій классъ бюрократіи тамъ слыветъ еще подъ именемъ «приказныхъ» и мало замѣтенъ, разумѣется, для тѣхъ, кто не имѣетъ до нихъ дѣла, и за то, разумѣется, тѣмъ замѣтнѣе для тѣхъ, кому есть до нихъ нужда. Военныхъ въ Москвѣ мало; притомъ, многіе изъ нихъ являются туда на время, въ отпускъ. Словомъ, въ Москвѣ почти не замѣтно ничего оффиціальнаго, и петербургскій чиновникъ въ Москвѣ есть такое же странное и удивительное явленіе, какъ московскій мыслитель въ Петербургѣ. Хотя Москвичъ вообще оригинальнѣе и какъ будто самобытнѣе Петербуржца, однако тѣмъ не менѣе онъ очень скоро свыкается съ Петербургомъ, если переѣдетъ въ него жить. Куда дѣваются высокопарныя мечты, идеалы, теоріи, фантазіи! Петербургъ, въ этомъ отношеніи, пробный камень человѣка: кто, живя въ немъ, не увлекся водово-

ротомъ призрачной жизни, умѣлъ сберечь и душу и сердце не насчетъ здраваго смысла, сохранить свое человѣческое достоинство, не предаваясь донкихотству,—тому смѣло можете вы протянуть руку, какъ человѣку... Петербургъ имѣетъ на нѣкоторыя натуры отрезвляющее свойство: сначала, кажется вамъ, что отъ его атмосферы, словно листья съ дерева, спадаютъ съ васъ самыя дорогія убѣжденія; но скоро замѣчаете вы, что то̀ не убѣжденія, а мечты, порожденныя праздною жизнію и рѣшительнымъ незнаніемъ дѣйствительности,—и вы остаетесь, можетъ-быть, съ тяжелою грустью, но въ этой грусти такъ много святаго, человѣческаго... Что̀ мечты! Самыя обольстительныя изъ нихъ не сто̀ятъ въ глазахъ дѣльнаго (въ разумномъ значеніи этого слова) человѣка самой горькой истины, потому что счастіе глупца есть ложь, тогда какъ страданіе дѣльнаго человѣка есть истина, и при томъ плодотворная въ будущемъ...

Для дополненія нашей картины, выпишемъ нѣсколько строкъ о Москвѣ и Петербургѣ изъ одной старой статьи, которая такъ хороша, что въ ней многое осталось новымъ, и по прошествіи семи лѣтъ *).

Петербургъ весь шевелится, отъ погребовъ до чердака; съ полночи начинаетъ печь французскіе хлѣбы, которые назавтра всѣ съѣстъ разноплеменный народъ, и во всю ночь то одинъ глазъ его свѣтится, то другой; Москва ночью вся спитъ и на другой день, перекрестившись и поклонившись на всѣ четыре стороны, выѣзжаетъ съ калачами на рынокъ. Москва женскаго рода, Петербургъ мужескаго. Въ Москвѣ все невѣсты, въ Петербургѣ все женихи. Петербургъ наблюдаетъ большое приличіе въ своей одеждѣ, не любитъ пестрыхъ цвѣтовъ и никакихъ рѣзкихъ и дерзкихъ отступленій отъ моды; за то Москва требуетъ, если ужь пошло на моду, чтобъ во всей формѣ была мода: если талія длинна, то она пускаетъ ее еще длиннѣе; если отвороты фрака велики, то у ней какъ сарайныя двери. Петербургъ — аккуратный человѣкъ, совершенный

*) «Современникъ», 1837, т. VI, стр. 403.

Нѣмецъ, на все глядитъ съ разсчетомъ и, прежде, нежели задумаетъ дать вечеринку, посмотритъ въ карманъ; Москва—русскій дворянинъ, и если ужь веселится, то веселится до упаду и не заботится о томъ, что уже хватаетъ больше того, сколько находится въ карманѣ; она не любитъ середины. Москва всегда ѣдетъ завернувшись въ медвѣжью шубу и большею частію на обѣдъ; Петербургъ въ байковомъ сюртукѣ, заложивъ обѣ руки въ карманъ, летитъ во всю прыть на биржу или въ «должность». Москва гуляетъ до четырехъ часовъ ночи и на другой день не подымается съ постели раньше втораго часа; Петербургъ тоже гуляетъ до четырехъ часовъ, но на другой день, какъ ни въ чемъ не бывало, въ девять часовъ спѣшитъ въ своемъ байковомъ сюртукѣ въ присутствіе. Въ Москву тащится Русь съ деньгами въ карманѣ и возвращается на легкѣ; въ Петербургъ ѣдутъ люди безденежные и разъѣзжаются во всѣ стороны свѣта съ изряднымъ капиталомъ. Въ Москву тащится Русь въ зимнихъ кибиткахъ, по зимнимъ ухабамъ сбывать и покупать;—въ Петербургъ идетъ русскій народъ пѣшкомъ лѣтнею порою строить и работать. Москва—кладовая: она наваливаетъ тюки да вьюки, на мелкаго продавца и смотрѣть не хочетъ; Петербургъ весь расточился по кусочкамъ, раздѣлился, разложился на лавочки и магазины и ловитъ мелкихъ покупщиковъ. Москва говоритъ, «коли нужно покупщику,—сыщетъ»; Петербургъ суетъ вывѣску подъ самый носъ, подкапывается подъ вашъ полъ съ «ренскимъ погребомъ» и ставитъ извощичью биржу въ самыя двери вашего дома. Москва не глядитъ на своихъ жителей, а шлетъ товары во всю Русь; Петербургъ продаетъ галстуки и перчатки своимъ чиновникамъ. Москва—большой гостинный дворъ; Петербургъ—свѣтлый магазинъ. Москва нужна Россіи; для Петербурга нужна Россія. Въ Москвѣ рѣдко встрѣтишь гербовую пуговицу на фракѣ; въ Петербургѣ нѣтъ фраковъ безъ гербовыхъ пуговицъ. Петербургъ любитъ подтрунить надъ Москвою, надъ ея неловкостью и безвкусіемъ; Москва кольнетъ Петербургъ тѣмъ, что онъ не умѣетъ говорить по-русски. Въ Петербургѣ, на Невскомъ проспектѣ, гуляютъ въ два часа люди, какъ будто сошедшіе съ журнальныхъ модныхъ картинокъ, выставляемыхъ въ окна, даже старухи съ такими узенькими таліями, что дѣлается смѣшно; на гуляньяхъ въ Москвѣ всегда попадется въ самой серединѣ модной толпы какая-нибудь матушка съ платкомъ на головѣ и уже совершенно безъ всякой таліи».

Мы выпустили нѣсколько строкъ изъ этого отрывка, потому что онѣ уже устарѣли и безъ комментарій не годят-

ся. Кромѣ этого, нельзя оставить безъ замѣчанія фразы: «Москва нужна Россіи; для Петербурга нужна Россія». Эта фраза болѣе остроумна, чѣмъ справедлива. Петербургъ такъ же нуженъ Россіи, какъ и Москва, а Россія такъ же нужна для Москвы, какъ и для Петербурга. Нельзя отнять важнаго значенія у Москвы, хотя и нельзя еще сказать, въ чемъ именно оно состоитъ. Значеніе самого Петербурга яснѣе пока à priori, чѣмъ à posteriori. Это отъ того, что мы все еще находимся въ настоящемъ моментѣ нашей исторіи; наше прошедшее такъ еще невелико, что по немъ мы можемъ только догадываться о будущемъ, а не говорить о немъ утвердительно. Мы все еще въ переходномъ положеніи. Поэтому, мудрено схватить вѣрно и опредѣленно характеристику обоихъ городовъ. Говоря о томъ, что̀ они теперь, все надо думать, чѣмъ они могутъ сдѣлаться въ будущемъ. Можетъ-быть, назначеніе Москвы состоитъ въ удержаніи національнаго начала (сущности котораго, какъ сущности многихъ вещей міра сего, пока нѣтъ возможности опредѣлить) и въ противоборствѣ иноземному вліянію, которое могло бы оставаться рѣшительно внѣшнимъ, а потому и безплоднымъ, еслибъ не встрѣчало на своемъ пути національнаго элемента и не боролось съ нимъ. Все живое, есть результатъ борьбы; все, что̀ является и утверждается безъ борьбы, все то мертво. Несмотря на видимую падкость Москвы до новыхъ мнѣній, или, пожалуй, и до новыхъ идей,—она, моя матушка, до сихъ поръ живетъ все по старому и не тужитъ. Съ этими идеями она обращается какъ-то по-нѣмецки: идеи у ней сами по себѣ, а жизнь сама по себѣ. Ясно, что въ ней есть свое собственное консервативное начало, которое только уступаетъ, и то по немногу и медленно, новизнѣ, но не покоряется ей. Представитель этой новизны есть Петербургъ, и въ этомъ его великое значеніе для Россіи. Петербургъ не заносится идеями; онъ человѣкъ положи-

тельный и разсудительный. Своего байковаго сюртука онъ никогда не назоветъ римскою тогою; онъ лучше будетъ играть въ преферансъ, нежели хлопатать о невозможномъ; его не удивишь ни теоріями, ни умозрѣніями, а мечты онъ терпѣть не можетъ; стоять на болотѣ, ему не совсѣмъ пріятно, но все-таки лучше, чѣмъ держаться безъ всякихъ подпоръ, на воздухѣ. Его законъ—нудящая сила обстоятельствъ, и онъ готовъ сдѣлаться чѣмъ угодно, если это угодно будетъ обстоятельствамъ. Поэтому, его мудрено опредѣлить на основаніи того, чѣмъ онъ былъ и что́ онъ есть. Ни одинъ Петербуржецъ не лѣзетъ въ геніи и не мечтаетъ передѣлывать дѣйствительности: онъ слишкомъ хорошо ее знаетъ, чтобъ не смиряться передъ ея силою. Геніи родятся сотнями только тамъ, гдѣ, вслѣдствіе обстоятельствъ, царствуетъ полное невѣдѣніе того, что́ называется дѣйствительностію, гдѣ каждый собою мѣряетъ весь міръ и мечты своей праздношатающейся фантазіи принимаетъ за несомнѣнные факты исторіи и современной дѣйствительности. Въ Петербургѣ, каждый является на своемъ мѣстѣ и самимъ собою, потому что, еслибы въ немъ кто-нибудь объявилъ притязанія быть лучше и выше другихъ, ему сказали бы: «а ну-те, попробуйте!» Словомъ, Петербургъ не вѣритъ, а требуетъ дѣла. Въ немъ каждый стремится къ своей цѣли, и, какова бы ни была его цѣль, Петербуржецъ ее достигаетъ. Это имѣетъ свою пользу, и притомъ большую: какова бы ни была дѣятельность, но привычка и пріобрѣтаемое чрезъ нее умѣнье дѣйствовать—великое дѣло. Кто не сидѣлъ сложа руки и тогда, какъ нечего было дѣлать, тотъ съумѣетъ дѣйствовать, когда настанетъ для этого время. Городъ—не то, что человѣкъ; для него и сто лѣтъ не Богъ знаетъ какое время. Короче: мы думаемъ, что Петербургу назначено всегда трудиться и дѣлать, такъ же, какъ Москвѣ—подготовлять дѣлателей. Это видно и теперь: сколько молодыхъ людей, окончившихъ

въ Московскомъ университетѣ курсъ наукъ, пріѣзжаетъ въ Петербургъ на службу! Вслѣдствіе вліянія Московскаго университета и вслѣдствіе тихаго, провинціяльнаго положенія Москвы, въ ней, говоря вообще, читаютъ не больше, чѣмъ въ Петербургѣ, но въ дѣлѣ вопросовъ науки, искусства, литературы, Москвичи обнаруживаютъ больше простора, знанія, вкуса, такта, образованности, чѣмъ большинство петербургской читающей и разсуждающей публики. Вслѣдствіе тѣхъ же самыхъ обстоятельствъ, въ Москвѣ больше, чѣмъ въ Петербургѣ, молодыхъ людей, способныхъ къ дѣлу, но дѣлаютъ что-нибудь они опять-таки только въ Петербургѣ, а въ Москвѣ только говорятъ о томъ, что́ бы и ка́къ бы они дѣлали, еслибы стали что-нибудь дѣлать.

МЫСЛИ И ЗАМѢТКИ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

Какова бы ни была наша литература, во всякомъ случаѣ ея значеніе для насъ гораздо важнѣе, нежели какъ можетъ оно казаться: въ ней, въ одной ей вся наша умственная жизнь и вся поэзія нашей жизни. Только въ ея сферѣ перестаемъ мы быть Иванами и Петрами, а становимся просто людьми, обращаемся къ людямъ и съ людьми.

Въ нашемъ обществѣ преобладаетъ духъ разъединенія: у каждаго нашего сословія все свое, особенное—и платье, и манеры, и образъ жизни, и обычаи, и даже языкъ. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стòитъ только провести вечеръ, на которомъ сошлись бы нечаянно чиновникъ, военный, помѣщикъ, купецъ, мѣщанинъ, повѣренный по дѣламъ или управляющій, духовный, студентъ, семинаристъ, профессоръ, художникъ; увидя себя въ такомъ обществѣ, вы можете подумать, что присутствуете при раздѣленіи языковъ... Такъ велико разъединеніе, царствующее между этими представителями разныхъ классовъ одного и того же общества! Духъ разъединенія враждебенъ обществу: общество соединяетъ людей, каста разъединяетъ ихъ. Многіе думаютъ, что спѣсь, остатокъ славянской старины, уничтожаетъ у насъ соціябельность (sociabilité). Если это и справедливо, то развѣ отчасти только. Положимъ, что дворянинъ неохотно сходится съ людьми низшаго званія; но люди низшихъ званій чѣмъ не готовы пожертвовать для сближенія съ

дворяниномъ? Это ихъ страсть! Но бѣда въ томъ, что это сближеніе всегда бываетъ внѣшнимъ, формальнымъ, похожимъ на шапочное знакомство; самолюбію богатаго купца льститъ знакомство даже съ бѣднымъ дворяниномъ, но перезнакомившись и съ богатыми дворянами, онъ все же остается вѣренъ привычкамъ, понятіямъ, языку, образу жизни своего, то есть купеческаго, званія. Этотъ духъ особенности такъ силенъ у насъ, что даже и новыя сословія, возникшія изъ новаго порядка дѣлъ, основаннаго Петромъ Великимъ, не замедлили принять на себя особенные оттѣнки. Чему удивляться, что дворянинъ на купца, а купецъ на дворянина вовсе не походятъ, если иногда почти то же различіе существуетъ и между ученымъ и художникомъ?... У насъ еще не перевелись ученые, которые всю жизнь остаются вѣрными благородной рѣшимости не понимать, что̀ такое искусство и зачѣмъ оно; у насъ еще много художниковъ, которые и не подозрѣваютъ живой связи ихъ искусства съ наукою, съ литературою, съ жизнію. И потому, сведите такого ученаго съ такимъ художникомъ,—и вы увидите, что они будутъ или молчать, или перекидываться общими фразами, да и тѣ для нихъ будутъ не разговоромъ, а работою. Иной нашъ ученый, особенно если онъ посвятилъ себя точнымъ наукамъ, смотритъ съ ироническою улыбкою на философію и исторію, и на тѣхъ, кто ими занимается, а на поэзію, литературу, журналистику, смотритъ просто какъ на вздоръ. Такъ-называемый нашъ «словесникъ» съ презрѣніемъ смотритъ на математику, которая не далась ему въ школѣ. Скажутъ: все это не духъ разъединенія, а духъ полупросвѣщенія или полуобразованности. Такъ! но вѣдь всѣ эти люди получили первоначальное образованіе, если не довольно глубокое, то довольно многостороннее: словесникъ учился еще въ школѣ математикѣ, а математикъ — словесности. Многіе изъ нихъ даже очень хорошо разсуждаютъ, при случаѣ, о томъ, что существуетъ только

искусственное раздѣленіе наукъ, а существеннаго нѣтъ и быть не можетъ, потому что всѣ науки составляютъ одно знаніе объ одномъ предметѣ—о бытіи, что искусство такъ же, какъ и наука, есть то же сознаніе бытія, только въ другой формѣ, и что литература должна быть наслажденіемъ и роскошью ума равно для всѣхъ образованныхъ людей. Но когда эти прекрасныя разсужденія придется имъ приложить къ дѣлу,—тогда они сейчасъ же раздѣляются на цехи, которые посматриваютъ другъ на друга или съ нѣкоторою ироническою улыбкою и съ чувствомъ своего достоинства, или съ какою-то недовѣрчивостью.... Какъ же тутъ требовать соціябельности между людьми различныхъ сословій, изъ которыхъ каждое по своему и думаетъ, и говоритъ, и одѣвается, ѣстъ, и пьетъ?...

И однакожь, несмотря на то, сказать, чтобъ у насъ вовсе не было общества, значило бы сказать неправду. Несомненно то, что у насъ есть сильная потребность общества и стремленіе къ обществу, а это уже важно! Реформа Петра Великаго не уничтожила, не разрушила стѣнъ, отдѣлявшихъ въ старомъ обществѣ одинъ классъ отъ другаго; но она подкопалась подъ основаніе этихъ стѣнъ, и если не повалила, то наклонила ихъ на̀ бокъ,—и теперь со дня на день онѣ все болѣе и болѣе клонятся, обсыпаются и засыпаются собственными своими обломками, собственнымъ своимъ щебнемъ и мусоромъ такъ-что починять ихъ значило бы придавать имъ тяжесть, которая, по причинѣ подрытаго ихъ основанія, только ускорила бы ихъ, и безъ того неизбѣжное, паденіе. И если теперь, раздѣленныя этими стѣнами сословія не могутъ переходить черезъ нихъ, какъ черезъ ровную мостовую, зато легко могутъ перескакивать черезъ нихъ тамъ, гдѣ онѣ особенно пообвалились, или пострадали отъ проломовъ. Все это прежде дѣлалось медленно и незамѣтно, теперь дѣлается быстрѣе и замѣтнѣе, — и близко время, когда все это очень скоро и начисто сдѣлается.

Желѣзныя дороги пройдутъ и подъ стѣнами и чрезъ стѣны, тунелями и мостами; усиленіемъ промышленности и торговли онѣ переплетутъ интересы людей всѣхъ сословій и классовъ и заставятъ ихъ вступить между собою въ тѣ живыя и тѣсныя отношенія, которыя невольно сглаживаютъ всѣ рѣзкія и ненужныя различія.

Но начало этого сближенія сословій между собою, которое есть начало образующагося общества, отнюдь не принадлежитъ исключительно нашему времени: оно сливается съ началомъ нашей литературы. Разнородное общество, сплоченнное въ одну массу только одними матеріяльными интересами, было бы жалкимъ и нечеловѣческимъ обществомъ. Какъ бы ни были велики внѣшнее благоденствіе и внѣшняя сила какого-нибудь общества,— но если въ немъ торговля, промышленность, пароходство, желѣзныя дороги и вобще всѣ матеріяльныя движущія силы составляютъ первоначальныя, главныя и прямыя, а не вспомогательныя только средства къ просвѣщенію и образованію,—то едва ли можно позавидовать такому обществу... Въ этомъ отношеніи намъ нельзя пожаловаться на судьбу: общественное просвѣщеніе и образованіе потекло у насъ въ началѣ ручейкомъ мелкимъ и едва замѣтнымъ, но за то изъ высшаго и благороднѣйшаго источника—изъ самой науки и литературы. Наука у насъ и теперь только укореняется, но еще не укоренилась, тогда какъ образованіе только еще не разрослось, но уже укоренилось. Листъ его мелокъ и рѣдокъ, стволъ не высокъ и не толстъ, но корень уже такъ глубокъ, что его не вырвать никакой бурѣ, никакому потоку, никакой силѣ: вырубите этотъ лѣсокъ въ одномъ мѣстѣ,— корень дастъ отпрыски въ другомъ, и вы скорѣе устанете вырубать, нежели устанетъ онъ давать новые отпрыски и разрастаться....

Говоря объ успѣхахъ образованія нашего общества, мы говоримъ объ успѣхахъ нашей литературы, потому-что

наше образованіе есть непосредственное дѣйствіе нашей литературы на понятіе и нравы общества. Литература наша создала нравы нашего общества, воспитала уже нѣсколько поколѣній, рѣзко отличающихся одно отъ другаго, положила начало внутреннему сближенію сословій, образовала родъ общественнаго мнѣнія и произвела нѣчто въ родѣ особеннаго класса въ обществѣ, который отъ обыкновеннаго с р е д н я г о с о с л о в і я отличается тѣмъ, что состоитъ не изъ купечества и мѣщанства только, но изъ людей всѣхъ сословій, сблизившихся между собою черезъ образованіе, которое у насъ исключительно сосредоточивается на любви къ литературѣ.

Если хотите понять и оцѣнить вліяніе нашей литературы на общество, посмотрите на представителей ея различныхъ эпохъ, поговорите съ ними, или заставьте ихъ поговорить между собою. Литература наша такъ молода, такъ недавно началась, что и теперь еще можно встрѣтить въ обществѣ всѣхъ ея представителей. Первое замѣчательное русское стихотвореніе, написанное правильнымъ размѣромъ, Ломоносова «Ода на взятіе Хотина», явилась въ 1739 году, ровно 107 лѣтъ тому назадъ, а Ломоносовъ умеръ въ 1765 году, съ небольшимъ 80 лѣтъ назадъ тому. Теперь, конечно, нѣтъ уже людей, которые видѣли бы Ломоносова хотя въ дѣтствѣ ихъ, или, видѣвши его, могли бы помнить объ этомъ; но и теперь еще много на Руси людей, которые по сочиненіямъ Ломоносова научились любить поэзію и литературу, и которые и теперь считаютъ его такимъ же великимъ поэтомъ, какимъ всѣ считали его въ ихъ время. Еще больше теперь людей, которые живо помнятъ и лицо, и голосъ Державина и эпоху его полной славы считаютъ лучшимъ временемъ своей жизни. Многіе старики и теперь убѣждены отъ всей души въ высокомъ достоинствѣ поэмъ Хераскова, и давно ли маститый поэтъ Дмитріевъ жаловался печатно на неуваженіе молодыхъ по-

колѣній къ таланту творца «Россіады» и Владиміра»? Есть еще много стариковъ, которые съ умиленіемъ вспоминаютъ о трагедіяхъ Сумарокова и, при спорѣ, готовы наизустъ продекламировать лучшія, по ихъ мнѣнію, тирады изъ «Димитрія Самозванца». Другіе изъ нихъ, уже соглашаясь, что языкъ Сумарокова дѣйствительно очень устарѣлъ, укажутъ вамъ съ особеннымъ уваженіемъ на трагедіи и комедіи Княжнина, какъ на образецъ драматическаго паѳоса и чистоты русскаго языка. Еще больше можно теперь встрѣтить такихъ, которые ничего не станутъ говорить о Сумароковѣ и Княжнинѣ, но тѣмъ съ бо̀льшимъ жаромъ и съ бо̀льшею увѣренностію заговорятъ объ Озеровѣ. Что̀ же касается до Карамзина,—не только старыя, но и старѣющія поколѣнія беззавѣтно принадлежатъ ему душою и тѣломъ, чувствуютъ, думаютъ и живутъ его духомъ, несмотря на то, что они не только читали Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина, Грибоѣдова, Гоголя, Лермонтова, но и восхищались всѣми ими болѣе или менѣе.... Потомъ, есть теперь люди, которые иронически улыбаются при имени Пушкина, и съ благоговѣніемъ и восторгомъ говорятъ о Жуковскомъ, какъ будто уваженіе къ послѣднему несовмѣстно съ уваженіемъ къ первому. А сколько теперь людей, которые не понимаютъ Гоголя и оправдываютъ свое предубѣжденіе на счетъ его тѣмъ, что они понимаютъ Пушкина!... Но не думайте, чтобы все это были чисто литературные факты: нѣтъ, если вы внимательнѣе присмотритесь и прислушаетесь къ этимъ представителямъ различныхъ эпохъ нашей литературы и различныхъ эпохъ нашего общества,—вы не можете не замѣтить болѣе или менѣе живаго отношенія между ихъ литературными и ихъ житейскими понятіями и убѣжденіями. Что̀ же касается собственно до литературнаго ихъ образованія,—это люди, раздѣленные другъ отъ друга какъ-будто столѣтіями, потому-что наша литература съ небольшимъ во сто лѣтъ

пробѣжала разстояніе не одного вѣка. И потому, была большая разница между обществомъ, которое восторгалось громоздкими фразами высокопарныхъ одъ и тяжелыхъ эпическихъ поэмъ, и обществомъ, которое ходило плакать на Лизинъ прудъ; между обществомъ, которое жадно читало «Людмилу» и «Свѣтлану», упивалось фантастическими ужасами «Двѣнадцати Спящихъ Дѣвъ», или нѣжилось въ романтической задумчивости подъ таинственные звуки «Эоловой Арфы»,—и между обществомъ, которое для «Евгенія Онѣгина» забыло и «Кавказскаго Плѣнника» и «Бахчисарайскій Фонтанъ», для «Горя отъ Ума» — комедіи Фонъ-Визина, для «Бориса Годунова»—«Димитрія Донскаго» Озерова (какъ нѣкогда для послѣдняго забыло оно «Димитрія Самозванца» Сумарокова), а потомъ для Пушкина и Лермонтова какъ-будто охолодѣло къ поэтамъ, которые имъ предшествовали; для Гоголя совершенно забыло всѣхъ романистовъ и нувеллистовъ, которыми еще недавно такъ восхищалось.... Подумайте только, какое неизмѣримое пространство времени легло между «Иваномъ Выжигинымъ», который вышелъ въ 1829 году, и между «Мертвыми Душами», которыя вышли въ 1842 году.... Это различіе литературнаго образованія общества перешло въ жизнь и раздѣлило людей на различно дѣйствующія, мыслящія и убѣжденныя поколѣнія, которыхъ живые споры и полемическія отношенія, выходя изъ принциповъ, а не изъ матеріяльныхъ интересовъ, являютъ собою признаки возникающей и развивающейся въ обществѣ духовной жизни. И это великое дѣло есть дѣло нашей литературы!...

Литература была для нашего общества живымъ источникомъ даже практическихъ нравственныхъ идей. Она началась сатирою, и въ лицѣ Кантемира объявила нещадную войну невѣжеству, предразсудкамъ, сутяжничеству, ябедѣ, крючкотворству, лихоимству и казнокрадству, которые она застала въ старомъ обществѣ не какъ пороки, но какъ

правила жизни, какъ моральныя убѣжденія. Каковъ бы ни былъ талантъ Сумарокова, но его сатиритическіе нападки на «крапивное семя» всегда будутъ заслуживать почетнаго упоминовенія отъ историка русской литературы. Комедіи Фонъ-Визина были еще болѣе заслугою предъ обществомъ, нежели предъ литературою. Отчасти то же можно сказать и объ «Ябедѣ» Капниста. Басня потому такъ хорошо и принялась у насъ, что она принадлежитъ къ сатирическому роду поэзіи. Самъ Державинъ, поэтъ по преимуществу лирическій, былъ въ то же время и сатирическимъ поэтомъ какъ, напримѣръ, въ «Фелицѣ», «Вельможѣ» и другихъ піесахъ. Наконецъ, пришло время, когда въ нашей литературѣ сатира перешла въ юморъ, который высказывается въ художественномъ воспроизведеніи житейской дѣйствительности. Конечно, смѣшно было бы предполагать, чтобъ сатира, комедія, повѣсть или романъ, могли исправить порочнаго человѣка; но нѣтъ сомнѣнія, что они, открывая глаза обществу на самого же его, способствуя пробужденію его самосознанія, покрываютъ порочнаго презрѣніемъ и позоромъ. Не даромъ же многіе у насъ не могутъ безъ ненависти слышать имени Гоголя, и его «Ревизора» называютъ «безнравственнымъ» сочиненіемъ, которое слѣдовало бы запретить. Равнымъ образомъ, теперь уже никто не будетъ такъ простодушенъ, чтобы думать, что комедія или повѣсть можетъ взяточника сдѣлать честнымъ человѣкомъ,— нѣтъ, кривое дерево, когда оно уже выросло и потолстѣло, не сдѣлаешь прямымъ; но вѣдь у взяточниковъ такъ же бываютъ дѣти, какъ и у не-взяточниковъ: тѣ и другія, еще не имѣя причинъ считать безнравственными яркія изображенія взяточничества, восхищаются ими и незамѣтно для самихъ себя обогащаются такими впечатлѣніями, которыя не всегда оказываются безплодными въ ихъ послѣдующей жизни, когда они дѣлаются дѣйствительными членами общества. Впечатлѣнія юности сильны, и юность тò и при-

нимаетъ за несомнѣнную истину, что прежде всего поразило ея чувство, воображеніе и умъ. И вотъ какимъ образомъ дѣйствуетъ литература уже не на одно образованіе, но и на нравственное улучшеніе общества! Какъ бы то ни было, но это фактъ, не подлежащій никакому сомнѣнію, что только въ послѣднее время у насъ начало дѣлаться замѣтнымъ число людей, которые нравственныя убѣжденія стараются осуществлять на дѣлѣ, въ ущербъ своимъ личнымъ выгодамъ и во вредъ своему общественному положенію....

Не менѣе этого неоспоримъ и тотъ фактъ, что литература служитъ у насъ точкою соединенія людей, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ внутренно разъединенныхъ. Мѣщанинъ Ломоносовъ, за свой талантъ и свою ученость, достигаетъ важныхъ чиновъ, и вельможи допускаютъ его въ свой кругъ. Съ другой стороны, литература же сближаетъ его съ людьми бѣдными и ничтожными въ гражданскомъ отношеніи. Бѣдный дворянинъ Державинъ, за свой талантъ, самъ дѣлается вельможею,—и между людьми, съ которыми сблизила его литература, онъ нашелъ не однихъ меценатовъ, но и друзей. Казанскій купецъ Каменевъ, написавшій балладу «Громвалъ», пріѣхавъ въ Москву по дѣламъ, пошелъ познакомиться съ Карамзинымъ, а черезъ него перезнакомился со всѣмъ московскимъ литературнымъ кругомъ. Это было назадъ тому сорокъ лѣтъ, когда купцы хаживали только въ переднія дворянскихъ домовъ, и то по дѣламъ, съ товарами или за должкомъ, объ уплатѣ котораго смиренно докучали. Первые журналы русскіе, которыхъ и самыя имена теперь забыты, издавались кружками молодыхъ людей, сблизившихся между собою черезъ общую имъ всѣмъ страсть къ литературѣ. Образованность равняетъ людей. И въ наше время, уже нисколько не рѣдкость встрѣтить дружескій кружокъ, въ которомъ найдется и знатный баринъ, и разночинецъ, и купецъ, и мѣщанинъ,—

кружокъ, члены котораго совершенно забыли раздѣляющія ихъ внѣшнія различія и взаимно уважаютъ другъ въ другѣ просто людей. Вотъ истинное начало образованной общественности, созданное у насъ литературою! Кто изъ имѣющихъ право на имя человѣка не пожелаетъ отъ всей души, чтобъ эта общественность росла и увеличивалась не по днямъ, а по часамъ, какъ росли наши сказочные богатыри! Какъ все живое, общество должно быть органическимъ, то есть множествомъ людей связанныхъ между собою внутренно. Денежные интересы, торговля, акціи, балы, собранія, танцы—тоже связь, но только внѣшняя, слѣдовательно, не живая, не органическая, хотя и необходимая и полезная. Внутренно связываютъ людей общіе нравственные интересы, сходство въ понятіяхъ, равенство въ образованіи и, при этомъ, взаимное уваженіе къ своему человѣческому достоинству. Но всѣ наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша, сосредоточивалась до сихъ поръ и еще долго будетъ сосредоточиваться исключительно въ литературѣ: она живой источникъ, изъ котораго просачиваются въ общество всѣ человѣческія чувства и понятія...

По видимому нѣтъ ничего легче, а въ сущности нѣтъ ничего труднѣе, какъ писать о русской литературѣ. Это потому, что русская литература все еще младенецъ, положимъ, младенецъ Алкидъ, но все же младенецъ. А о дѣтяхъ вообще гораздо труднѣе сказать что-нибудь положительное, опредѣленное, нежели о взрослыхъ людяхъ. Притомъ же наша литература, подобно нашему обществу, представляетъ собою зрѣлище всевозможныхъ противорѣчій, противоположностей, крайностей, странностей. Это оттого, что она началась не сама-собою, а была сперва пересадкомъ на нашу почву съ чуждой намъ почвы. Поэтому, объ нашей литературѣ всего легче говорить крайностями. Доказывайте, что она не уступаетъ въ богатствѣ и зрѣлости ни одной

европейской литературѣ, и что мы можемъ десятками считать нашихъ геніевъ и сотнями нашихъ талантовъ; или доказывайте, что у насъ вовсе нѣтъ литературы, что наши лучшіе писатели — или случайныя явленія, или просто ничего не стоятъ: въ обоихъ случаяхъ васъ по крайней мѣрѣ поймутъ, и ваше мнѣніе найдетъ себѣ жаркихъ послѣдователей. Любовь къ крайностямъ въ сужденіяхъ—одно изъ свойствъ еще не установившейся натуры русской; русскій человѣкъ любитъ или не въ мѣру хвастаться, или не въ мѣру скромничать. И потому, у насъ такъ много, съ одной стороны, пустоголовыхъ Европейцевъ, которые съ восхищеніемъ говорятъ о послѣдней фёльетонной сказкѣ выписавшагося французскаго бельлетриста, или съ амфазомъ поютъ новый водевильный куплетъ, давно забытый Парижанками, — и съ презрительнымъ равнодушіемъ, или съ оскорбительною недовѣрчивостію смотрятъ на геніяльное произведеніе русскаго поэта, для которыхъ Россія не имѣетъ будущаго, и въ ней все дурно и ничего порядочнаго быть не можетъ; а съ другой стороны, у насъ такъ много квасныхъ патріотовъ, которые всѣми силами натягиваются ненавидѣть все европейское — даже просвѣщеніе, и любить все русское — даже сивуху и рукопашную дуэль. Пристаньте къ одной изъ этихъ партій,—она сейчасъ же произведетъ васъ въ великіе люди и въ геніи, тогда какъ другая —возненавидитъ и объявитъ бездарнымъ человѣкомъ. Но во всякомъ случаѣ, имѣя враговъ, вы будете имѣть и друзей. Держась же безпристрастнаго, трезваго мнѣнія объ этомъ предметѣ, — вы возстановите противъ себя обѣ стороны. Одна изъ нихъ обременитъ васъ своимъ моднымъ, попугайнымъ презрѣніемъ; другая, пожалуй, объявитъ васъ человѣкомъ безпокойнымъ, опаснымъ, подозрительнымъ. ренегатомъ и будетъ писать на васъ литературныя доnесенія—разумѣется, публикѣ.... Самое непріятное тутъ то, что вы не будете поняты, и въ вашихъ словахъ будутъ

находить то неумѣренныя похвалы, то неумѣренную брань, но не будутъ видѣть въ нихъ вѣрной характеристики факта дѣйствительности, какъ онъ есть, со всѣмъ его добромъ и зломъ, достоинствами и недостатками, со всѣми противорѣчіями, которыя онъ носитъ въ самомъ себѣ. Это особенно прилагается къ нашей литературѣ, которая представляетъ собою столько крайностей и противорѣчій, что, сказавши о ней что-нибудь утвердительное, тотчасъ же должно сдѣлать оговорку, которая большинству публики, больше любящему читать, нежели разсуждать, легко можетъ показаться отрицаніемъ или противорѣчіемъ. Такъ, напримѣръ, сказавши о сильномъ и благотворномъ вліяніи нашей литературы на общество и, слѣдовательно, о ея великой для насъ важности, мы должны оговориться, чтобы этому вліянію и этой важности не приписали бо̀льшихъ размѣровъ, нежели какіе мы разумѣли, и такимъ образомъ не вывели бы изъ нашихъ словъ такого заключенія, что мы не только имѣемъ литературу, но еще и богатую литературу, которая смѣло можетъ стать наравнѣ съ любою европейскою литературою. Подобное заключеніе было бы всячески ложно. У насъ есть литература, и литература богатая талантами и произведеніями, если брать въ соображеніе ея средства и молодость, — но наша литература существуетъ только для насъ: для иностранцевъ же она еще вовсе не литература, и они имѣютъ полное право не признавать ея существованія, потому-что они не могутъ черезъ нее изучать и узнавать насъ какъ народъ, какъ общество. Литература наша слишкомъ молода, неопредѣленна и безцвѣтна для того, чтобъ иностранцы могли видѣть въ ней фактъ нашей умственной жизни. Еще недавно была она робкимъ, хотя и даровитымъ ученикомъ, который поставлялъ себѣ за славу копировать европейскіе образцы, который за картины русской жизни выдавалъ копіи съ картинъ европейской жизни. И это составляетъ характеръ цѣлой эпохи литературы на-

шей отъ Кантемира и Ломоносова до Пушкина. Потомъ, почувствовавъ свои силы, она изъ ученика сдѣлалась мастеромъ, и вмѣсто того, чтобы копировать съ готовыхъ картинъ европейской жизни, простодушно выдавая ихъ за оригинальныя картины русской жизни, она смѣло начала воспроизводить картины и европейской и русской жизни. Но пока еще только въ первыхъ была она вполнѣ мастеромъ, а во вторыхъ только стремилась, и не всегда безуспѣшно, стать мастеромъ. И это составляетъ характеръ періода нашей литетуры отъ Пушкина до Гоголя. Съ появленія Гоголя, литература наша исключительно обратилась къ русской жизни, къ русской дѣйствительности. Можетъ-быть, черезъ это она сдѣлалась болѣе одностороннею и даже однообразною, за то и болѣе оригинальною, самобытною, а, слѣдовательно, и истинною. Теперь взглянемъ на эти періоды русской литературы въ отношеніи къ ихъ значенію не для насъ, а для иностранцевъ. Нѣтъ никакой нужды доказывать, что Ломоносовъ и Карамзинъ имѣютъ для насъ великое значеніе; но попробуйте перевести ихъ сочиненія на любой европейскій языкъ,—и вы увидите, станутъ ли иностранцы читать ихъ, а если и прочтутъ, то много ли найдутъ въ нихъ интереснаго для себя. Они скажутъ: «мы давно уже прочли все это у себя дома; дайте намъ русскихъ писателей». То же бы самое сказали они и о сочиненіяхъ Дмитріева, Озерова, Батюшкова, Жуковскаго. Изо всего этого періода былъ бы имъ интересенъ только одинъ писатель — баснописецъ Крыловъ; но онъ рѣшительно непереводимъ ни на какой языкъ въ мірѣ, и его могутъ оцѣнить только тѣ изъ иностранцевъ, которые знаютъ русскій языкъ и долго жили въ Россіи. Итакъ, цѣлый періодъ русской литературы рѣшительно не существуетъ для Европы. Что̀ же касается до втораго,—онъ можетъ существовать для нихъ, но только въ извѣстной степени. Если бы такія произведенія Пушкина, какъ, напримѣръ, «Моцартъ и

Сальери», «Скупой Рыцарь», «Каменный Гость» были переведены достойнымъ ихъ образомъ на какой-нибудь европейскій языкъ,—иностранцы не могли бы не признать ихъ превосходными созданіями поэзіи, но тѣмъ не менѣе эти піесы не имѣли бы для нихъ почти никакого интереса какъ созданія русской поэзіи. То же можно сказать и о лучшихъ произведеніяхъ Лермонтова. Ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ не могутъ не терять отъ переводовъ, какъ бы ни хороши были переводы ихъ сочиненій. Причина очевидна: хотя въ твореніяхъ Пушкина и Лермонтова видна душа русская, ясный, положительный русскій умъ, сила и глубокость чувства,—однакожь эти качества виднѣе намъ, Русскимъ, нежели иностранцамъ, потому-что русская національность еще не довольно выработалась и развилась, чтобы русскій поэтъ могъ налагать на свои произведенія ея рѣзкую печать, выражая въ нихъ общечеловѣческія идеи. А требованія Европейцевъ въ этомъ отношеніи велики. И не мудрено: національный духъ европейскихъ народовъ такъ самобытно и рѣзко отражается въ ихъ литературахъ, что, какъ бы ни было велико, въ художественномъ отношеніи, произведеніе, не запечатлѣнное рѣзкою печатью національности,—оно уже теряетъ въ глазахъ Европейца главное свое достоинство. Въ какомъ-нибудь Марріетѣ, Бульверѣ, или еще меньше значительномъ бельлетристѣ англійскомъ, вы такъ же точно видите Англичанина, какъ и въ Шекспирѣ, Байронѣ, Вальтеръ-Скоттѣ. Жоржъ Зандъ и Поль-де-Кокъ представляютъ собою крайнія стороны французскаго духа, и хотя первый выражаетъ собою все прекрасное, человѣческое и высокое, а послѣдній — ограниченное и пошлое французской національности,—однако вы сейчасъ видите, что оба они равно могли явиться только во Франціи. Какой-нибудь Клауренъ или Августъ Лафонтенъ такъ же Нѣмцы, какъ Гёте и Шиллеръ. Въ каждой изъ этихъ литературъ писатель выражаетъ своими сочиненіями хорошую

или слабую сторону своей родной національности, и національный духъ, словно таможенный штемпель, лежитъ тамъ какъ на произведеніи генія, такъ и на произведеніи бездарнаго писаки, Французы оставались въ высшей степени національными, изо всѣхъ силъ подражая Грекамъ и Римлянамъ. Виландъ остался Нѣмцемъ, подражая Французамъ. Барьеры національности непереходимы для Европейцевъ. Можетъ-быть, это наша величайшая выгода, что намъ равно доступны всѣ національности, и наши поэты такъ легко и свободно становятся, въ своихъ произведеніяхъ, и Греками, и Римлянами, и Французами, и Нѣмцами, и Англичанами, и Итальянцами, и Испанцами; но эта выгода въ будущемъ, какъ указаніе на то, что наша національность должна выработаться широко и многосторонно. Въ настоящемъ же, это пока скорѣе недостатокъ, чѣмъ достоинство, не только широкость и многосторонность, сколько невыработанность и неопредѣленность своего собственнаго личнаго начала.

И потому, для иностранцевъ, интереснѣе другихъ были бы въ хорошихъ переводахъ тѣ созданія Пушкина и Лермонтова, которыхъ содержаніе взято изъ русской жизни. Такимъ образомъ, «Евгеній Онѣгинъ» былъ бы для иностранцевъ интереснѣе «Моцарта и Сальери», «Скупаго Рыцаря» и «Каменнаго Гостя». И вотъ почему, самый интересный для иностранцевъ русскій поэтъ есть Гоголь. Это не предположеніе, а фактъ, доказанный замѣчательнымъ успѣхомъ во Франціи перевода пяти повѣстей этого писателя, въ прошломъ году изданныхъ въ Парижѣ, г. Луи Віардо. Этотъ успѣхъ понятенъ: кромѣ огромности своего художническаго таланта. Гоголь строго держится въ своихъ сочиненіяхъ сферы русской житейской дѣйствительности. А это-то всего и интереснѣе для иностранцевъ: они хотятъ черезъ поэта знакомиться съ страною, которая произвела его. Въ этомъ отношеніи, Гоголь—самый національный изъ

русскихъ поэтовъ, и ему нельзя бояться перевода, хотя, по причинѣ самой національности его сочиненій, и въ лучшемъ переводѣ не можетъ не ослабиться ихъ колоритъ.

Но и этимъ успѣхомъ не должно слишкомъ заноситься. Для поэта, который хочетъ, чтобъ геній его былъ признанъ вездѣ и всѣми, а не одними только его соотечественниками, національность есть первое, но не единственное условіе: необходимо еще, чтобъ, будучи національнымъ, онъ, въ то же время, былъ и всемірнымъ, то есть, чтобы національность его твореній была формою, тѣломъ, плотью, физіономіею, личностію духовнаго и безплотнаго міра, общечеловѣческихъ идей. Другими словами: необходимо, чтобъ національный поэтъ имѣлъ великое историческое значеніе не для одного только своего отечества, но чтобы его явленіе имѣло всемірно-историческое значеніе. Такіе поэты могутъ являться только у народовъ, призванныхъ играть въ судьбахъ человѣчества, всемірно-историческую роль, то есть, своею національною жизнію имѣть вліяніе на ходъ и развитіе всего человѣчества. И потому, если, съ одной стороны, безъ всякаго генія отъ природы, нельзя быть всемірно-историческимъ поэтомъ, то, съ другой стороны, и съ великимъ геніемъ иногда можно быть не всемірно-историческимъ поэтомъ, то есть, имѣть важность только для одного своего народа. Здѣсь значеніе поэта зависитъ уже не отъ него самого, не отъ его дѣятельности, направленія, генія, но отъ значенія страны, которая произвела его. Съ этой точки зрѣнія, у насъ нѣтъ ни одного поэта, котораго мы имѣли бы право ставить наравнѣ съ первыми поэтами Европы, — даже и въ такомъ случаѣ, если бы мы ясно видѣли, что, со стороны таланта, онъ не уступаетъ тому или другому изъ нихъ. Піесы Пушкина: «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь» и «Каменный Гость» такъ хороши, что безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что онѣ достойны генія самого Шекспира;

но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобъ Пушкинъ былъ равенъ Шекспиру. Не говоря уже о томъ, что есть большая разница въ силѣ и объемѣ между геніемъ Шекспира и геніемъ Пушкина, — еслибы Пушкинъ написалъ столько же и въ такой же мѣрѣ превосходнаго, сколько Шекспиръ, и тогда его равенство съ Шекспиромъ было бы слишкомъ смѣлою ипотезою. Тѣмъ болѣе это теперь, когда мы знаемъ, что число и объемъ его лучшихъ произведеній такъ бѣдны въ сравненіи съ числомъ и объемомъ лучшихъ произведеній Шекспира. Вообще, мы скорѣе можемъ сказать, что въ нашей литературѣ есть нѣсколько произведеній, которыя мы можемъ, по ихъ художественному достоинству, противопоставлять нѣкоторымъ геніяльнымъ произведеніямъ европейскихъ литературъ; но мы не можемъ сказать, чтобъ у насъ были поэты, которыхъ мы могли бы противопоставлять европейскимъ поэтамъ первой величины. Есть глубокій смыслъ въ томъ, что мы нуждаемся въ знакомствѣ съ великими поэтами иностранныхъ литературъ, и что иностранцы не нуждаются въ знакомствѣ съ нашими. Отношеніе нашихъ великихъ поэтовъ къ великимъ поэтамъ Европы можно выразить такъ: о нѣкоторыхъ піесахъ Пушкина можно сказать, что самъ Шекспиръ не постыдился бы назвать ихъ своими, такъ же какъ нѣкоторыя піесы Лермонтова самъ Байронъ не постыдился бы назвать своими; но, не рискуя впасть въ нелѣпость, нельзя сказать наоборотъ, что подъ нѣкоторыми сочиненіями Шекспира и Байрона Пушкинъ и Лермонтовъ не постыдились бы подписать своего имени. Мы можемъ называть нашихъ поэтовъ Шекспирами, Байронами, Вальтеръ-Скоттами, Гёте, Шиллерами и пр., только для показанія силы, или направленія ихъ таланта, но не ихъ значенія въ глазахъ всего образованнаго міра. Кого называютъ не своимъ именемъ, тотъ не можетъ быть равенъ тому, чьимъ именемъ его называютъ. Байронъ явился послѣ Гёте и Шиллера, — и остался Байрономъ, а не былъ прозванъ англійскимъ

Гёте, или англійскимъ Шиллеромъ. Когда для Россіи придетъ время производить поэтовъ всемірнаго значенія, — этихъ поэтовъ будутъ называть ихъ собственными именами, и каждое имя такого поэта, оставаясь собственнымъ, будетъ въ то же время и нарицательнымъ, будетъ употребляться и во множественномъ числѣ, потому что будетъ типическимъ.

Говоря, что русскій великій поэтъ, будучи одаренъ отъ природы и равнымъ великому европейскому поэту талантомъ, все-таки не можетъ, въ настоящее время, достигать равнаго съ ними значенія, — мы хотимъ этимъ сказать, что онъ можетъ соперничествовать съ нимъ только въ формѣ, но не въ содержаніи своей поэзіи. Содержаніе даетъ поэту жизнь его народа, слѣдовательно, достоинство, глубина, объемъ и значеніе этого содержанія зависятъ прямо и непосредственно не отъ самого поэта, и не отъ его таланта, а отъ историческаго значенія жизни его народа. Только сто-тридцать-шесть лѣтъ прошло съ того вѣчно памятнаго дня, какъ Россія громами полтавской битвы возвѣстила міру о своемъ пріобщеніи къ европейской жизни, о своемъ вступленіи на поприще всемірно-историческаго существованія, — и какой блестящій путь преуспѣянія и славы совершила она въ этотъ короткій срокъ времени! Это что-то баснословно-великое, безпримѣрное нигдѣ и никогда не бывалое! Россія рѣшила судьбы современнаго міра, «поваливъ въ бездну тяготѣвшій надъ царствами кумиръ», и теперь, занявъ по праву принадлежавшее ей мѣсто между первоклассными державами Европы, она, вмѣстѣ съ ними, держитъ судьбы міра на вѣсахъ своего могущества.... Но это показываетъ, что мы ни отъ кого не отстали, а многихъ и опередили въ политическо-историческомъ значеніи — важной, но еще не единственной, не исключительной сторонѣ жизни для народа, призваннаго для великой роли. Наше политическое величіе есть несомнѣнный залогъ нашего будущаго великаго значенія и въ другихъ отношені-

яхъ; но въ одномъ въ немъ еще нѣтъ окончательнаго достиженія до развитія всѣхъ сторонъ, долженствующихъ составлять полноту и цѣлость жизни великаго народа. Въ будущемъ, мы, кромѣ побѣдоноснаго русскаго меча, положимъ на вѣсы европейской жизни еще и русскую мысль.... Тогда будутъ у насъ и поэты, которыхъ мы будемъ имѣть право равнять съ европейскими поэтами первой величины. Но теперь будемъ довольны тѣмъ, что̀ есть, не преувеличивая и не уменьшая того, чѣмъ владѣемъ. По времени, наша литература оказала огромные успѣхи, свидѣтельствующіе несомнѣнно о плодотворности почвы русскаго духа. Если еще не литература наша, то уже кое-что въ литературѣ нашей начинаетъ интересовать даже иностранцевъ. Интересъ этотъ пока еще довольно односторонен̆ъ потому что въ произведеніяхъ русскихъ поэтовъ иностранцы, могутъ находить для себя только мѣстный колоритъ, живопись нравовъ и обычаевъ, сто̀ль рѣзко противоположной имъ страны....

—

У насъ изстари ведется обычай нападать то на публику за ея, будто бы, равнодушіе ко всему родному, а преимущественно къ отечественнымъ талантамъ, къ отечественной литературѣ; то на критиковъ, будто-бы, старающихся унижать заслуженные авторитеты русской литературы. Мы не безъ причины поставили рядомъ оба эти обвиненія: между ними такъ много общаго. Начнемъ съ перваго. Неутомимые защитники нашей литературы, скромно величающіе себя «патріотами» и «правдолюбами», больше всего жалуются на упадокъ нашей книжной торговли, на малый расходъ книгъ. Но факты говорятъ совсѣмъ другое: изъ нихъ ясно, какъ дважды два—четыре, что у насъ хорошо расходятся даже сколько-нибудь порядочныя книги, не говоря уже о превосходныхъ. «Героя нашего времени», въ продолженіи шести лѣтъ, разошлось три изданія; стихотвореній Лермонтова скоро потребуется третье изданіе, пе-

смотря на то, что они всѣ были первоначально напечатаны въ журналахъ; «Вечера на Хуторѣ» Гоголя печатались едва ли не четыре раза; «Ревизора» разошлось три изданія; второе изданіе (1842 г.) сочиненій Гоголя разошлось въ числѣ трехъ тысячъ экземпляровъ; «Мертвыя Души», напечатанныя въ 1842 году, въ числѣ двухъ тысячъ четырехъ сотъ экземпляровъ, давно расхватаны до послѣдняго экземпляра. Даже повѣсти графа Соллогуба, прочитанныя публикою въ журналахъ, вышли уже вторымъ изданіемъ; «Тарантасъ», вѣроятно, тоже скоро появится вторымъ изданіемъ. Этихъ фактовъ достаточно. Говорятъ даже, что у насъ не можетъ не окупиться изданіе самой плохой книги, почему книгопродавцы и печатаютъ такъ много плохихъ книгъ. Исключеніе, видно, остается только за сочиненіями господъ «правдолюбовъ», жалующихся на то, что книги не идутъ съ рукъ. Но это доказываетъ только, какъ выгодно запаздывать талантомъ, умомъ и понятіями. Въ горести и отчаяніи при мысли о залежавшемся товарѣ своего ума и фантазіи, эти господа вздумали свалить вину паденія книжнаго товара на толстые журналы и на новую, будто бы, ложную школу литературы, основанную Гоголемъ. Оба эти обвиненія стòятъ одно другаго. Обвинители, говорятъ, будто наша литература гибнетъ оттого, что въ журналахъ печатаются цѣликомъ многотомные романы, исторіи, и тому подобное. Они даже увѣряютъ, что сама публика недовольна этимъ. Конечно! для публики очень невыгодно за пятьдесятъ рублей въ годъ пріобрѣтать столько сочиненій, которыя, будучи изданы отдѣльно, обошлись бы ей чуть ли не въ пятеро дороже!... Какъ же послѣ этого публикѣ не жаловаться на журналы! Вамъ хочется, чтобы и книги, несмотря на то, шли своимъ чередомъ?—Издавайте ихъ какъ можно дешевле и въ большомъ количествѣ экземпляровъ: журналы вамъ не помѣшаютъ. Несмотря на то, что книги и у насъ сдѣлались гораздо

дешевле, нежели какъ были онѣ лѣтъ за пятнадцать назадъ тому, когда крошечные альманахи, сѣренько издававшіеся, продавались по десяти рублей ассигнаціями, а плохіе переводы романовъ Вальтеръ-Скотта и оригинальные русскіе романы—по двадцати и больше рублей ассигнаціями за экземпляръ,—несмотря на то, книги у насъ еще и теперь — страшно дорогой товаръ. Это, къ несчастію, слишкомъ хорошо знаютъ тѣ, кто считаетъ за необходимое имѣть въ своей библіотекѣ сочиненія всѣхъ извѣстныхъ русскихъ писателей. Только въ прошломъ году вышло изданіе сочиненій Державина, стоящее три рубля серебромъ,—тогда какъ этимъ сочиненіямъ давно бы слѣдовало продаваться еще вдвое дешевле. Смирдинское изданіе сочиненій Батюшкова стоитъ пятнадцать рублей ассигнаціями. Первые восемь томовъ сочиненій Жуковскаго теперь съ трудомъ можно пріобрѣсти и за пятнадцать рублей серебромъ, потому что изданіе давно разошлось, а новаго все нѣтъ какъ нѣтъ. Сочиненія Пушкина, дурно изданныя, стоятъ до шестидесяти рублей ассигнаціями. «Мертвыя Души» Гоголя, продававшіяся по три рубля серебромъ, теперь нельзя купить меньше десяти рублей серебромъ, а о новомъ изданіи даже и не слышно. Какъ же процвѣтать книжной торговлѣ, когда публикѣ нечего покупать, при всей ея охотѣ покупать? Скажутъ: у насъ есть книгопродавцы-издатели, которые, вмѣсто того, чтобы наживаться, только разоряются отъ изданія книгъ. Такъ; но многіе ли изъ этихъ книгопродавцевъ знаютъ толкъ въ товарѣ, которымъ торгуютъ?... Кто же тутъ виноватъ — неужели толстые журналы?...

Конечно, нельзя не согласиться отчасти и въ томъ, что наша публика не совсѣмъ похожа, напримѣръ, на французскую, въ ея любви къ отечественнымъ талантамъ и отечественной литературѣ. Въ Парижѣ вышло новое изданіе (которое счетомъ—и сказать трудно) сочиненій Гюго,

въ то самое время, когда Французская академія отказала ему въ званіи своего члена: публика изъявила свое неудовольствіе тѣмъ, что въ нѣсколько дней раскупила все изданіе... У насъ еще невозможны такія явленія. Почти каждый образованный Французъ считаетъ необходимымъ имѣть въ своей библіотекѣ всѣхъ своихъ писателей, которыхъ общественное мнѣніе признало классическими. И онъ читаетъ и перечитываетъ ихъ всю жизнь свою. У насъ—что грѣха таить?—не всякій записной литераторъ считаетъ за нужное имѣть старыхъ писателей. И вообще, у насъ всѣ охотнѣе покупаютъ новую книгу, нежели старую; старыхъ писателей у насъ почти никто не читаетъ, особенно тѣ, которые всѣхъ громче кричатъ о ихъ геніи и славѣ. Это отчасти происходитъ отъ того, что наше образованіе еще не установилось, и образованныя потребности еще не обратились у насъ въ привычку. Но тутъ есть и другая, можетъ-быть, еще болѣе существенная причина, которая не только объясняетъ, но частію и оправдываетъ это нравственное явленіе. Французы до сихъ поръ читаютъ, напримѣръ, Рабле, или Паскаля, писателей XVI и XVII вѣка: тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, потому-что этихъ писателей и теперь читаютъ и изучаютъ не одни Французы, но и Нѣмцы и Англичане, словомъ, люди всѣхъ образованныхъ націй. Языкъ этихъ писателей, и особенно Рабле, устарѣлъ, но содержаніе ихъ сочиненій всегда будетъ имѣть свой живой интересъ, потому-что оно тѣсно связано съ смысломъ и значеніемъ цѣлой исторической эпохи. Это доказываетъ ту истину, что только содержаніе, а не языкъ, не слогъ можетъ спасти отъ забвенія писателя, несмотря на измѣненіе языка, нравовъ и понятій въ обществѣ. Тутъ даже и талантъ, какъ бы онъ ни былъ великъ, не составляетъ всего. Ломоносовъ былъ великій, геніяльный человѣкъ; его ученыя сочиненія всегда будутъ имѣть свою цѣну; но его стихи для насъ могутъ имѣть

только одинъ интересъ—какъ историческій фактъ раждающейся литературы, а больше никакого. Читать ихъ и скучно и трудно. На это можно рѣшиться по обязанности, а не по склонности. Державинъ былъ положительно одаренъ поэтическимъ геніемъ; но его эпоха такъ мало могла дать содержанія для его творчества, что если его и читаютъ теперь, то больше съ цѣлію изученія исторіи русской литературы, нежели для прямаго эстетическаго наслажденія. Карамзинъ изъ торной, ухабистой и каменистой дороги латинско-нѣмецкой конструкціи, славяно-церковныхъ рѣченій и оборотовъ, и схоластической надутости выраженія, вывелъ русскій языкъ на настоящій и естественный ему путь, заговорилъ съ обществомъ языкомъ общества, создалъ, можно сказать, и литературу, и публику: заслуга великая и безсмертная! Мы признаемъ ее со всею охотою и считаемъ для себя не только за долгъ но и за наслажденіе быть признательными къ имени знаменитаго мужа; но все это не дастъ содержанія «Бѣдной Лизѣ», «Натальѣ Боярской Дочери», «Марѳѣ Посадницѣ», и пр., не сдѣлаетъ ихъ интересными для нашего времени, и не заставитъ насъ читать и перечитывать ихъ. И обо многихъ писателяхъ нашихъ можно сказать то же. Намъ возразятъ: «Таково было ихъ время; они не виноваты, что родились въ ихъ, а не въ наше время». Согласны, совершенно согласны; но мы и не винимъ ихъ: мы только снимаемъ вину съ нашей публики; наша роль отнюдь не обвинительная, но чисто оправдывательная. О вкусахъ спорить трудно; но если кого изъ старыхъ писателей нашихъ можно читать съ истиннымъ удовольствіемъ, такъ это Фонъ-Визина. Его сочиненія такъ похожи на записки или мемуары этой эпохи, хотя они и совсѣмъ не записки и не мемуары. Фонъ-Визинъ былъ необыкновенно умный человѣкъ; онъ не хлопоталъ о высокопарной, иллюминованной сторонѣ своего времени, но смотрѣлъ больше на его внутреннюю, домаш-

пюю сторону. Потому сочиненія его крайне интересны. О Крыловѣ не говоримъ: всѣ мы, разъ заучивъ его въ дѣтствѣ, уже никогда не забываемъ.

Сказанное нами о Ломоносовѣ, Державинѣ и Карамзинѣ, многими принято будетъ за flagrant délit злостнаго униженія критикою нашихъ литературныхъ славъ. Въ самомъ дѣлѣ, улика на лицо—и намъ нѣтъ спасенія! Но, какъ говоритъ русская пословица, «страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ!» Къ счастію, мнѣніе объ униженіи критикою литературныхъ славъ со дня на день перестаетъ быть мнѣніемъ публики: теперь оно осталось на долю самихъ же такъ называемыхъ критиковъ, сдѣлалось любимымъ орудіемъ обиженныхъ самолюбій, забытыхъ извѣстностей, падшихъ талантовъ, выписавшихся сочинителей, — орудіемъ, вполнѣ достойнымъ ихъ!.. Кто не хочетъ превозносить ихъ, или, еще болѣе, кто не хочетъ замѣчать ихъ; кто, говоря о знаменитыхъ писателяхъ, не хочетъ повторять готовыхъ стереотипныхъ и избитыхъ фразъ, быть эхомъ чужихъ мнѣній, но хочетъ, по своему разумѣнію, по мѣрѣ силъ своихъ, судить независимо и свободно, оцѣнить заслуги каждаго писателя, показать его достоинства и недостатки, указать на его настоящее мѣсто и значеніе въ русской литературѣ; что́ дѣлать съ такимъ критикомъ, особенно, если его мнѣнія находятъ отзывъ въ публикѣ? — Больше нечего съ нимъ дѣлать, какъ кричать о немъ, сколько можно, громче и чаще, что онъ унижаетъ литературныя славы, порочитъ Ломоносова, Державина, Карамзина, Батюшкова, Жуковскаго, даже Пушкина!.. Кстати можно намекнуть, что онъ проповѣдуетъ безнравственность, развращаетъ молодыя поколѣнія, что онъ... по крайней-мѣрѣ—ренегатъ, если не что-нибудь еще хуже... Это тоже называется «критикою»... Неужели такая критика находитъ еще себѣ послѣдователей въ публикѣ?... Какихъ—это другой вопросъ, но что находитъ, это очень возможно, потому что наша

читающая публика такъ же разнообразна, пестра и не единична, какъ и наше общество. Между нею есть люди, для которыхъ «Ревизоръ» и «Мертвыя Души»—грубые фарсы, а «Сенсаціи госпожи Курдюковой»—остроумнѣйшее произведеніе; есть люди, которые, какъ сказалъ Гоголь, «любятъ потолковать о литературѣ, хвалятъ Булгарина, Пушкина и Греча, и говорятъ съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловѣ». Такіе люди, или такіе чтецы (читателями ихъ грѣхъ назвать) въ критикѣ видятъ или безусловную похвалу, или безусловную брань; имъ такъ легко понимать такую критику, отъ всякой другой у нихъ закружилась бы голова, потому что имъ пришлось бы думать, что для нихъ всего тяжелѣе и труднѣе. Когда является разборъ сочиненій писателя, написанный въ духѣ истинной критики, отдѣляющій въ авторѣ безусловныя достоинства отъ условныхъ, недостатки таланта отъ недостатковъ времени,—такого разбора помянутые чтецы не станутъ читать; но имъ скажетъ о немъ какой-нибудь присяжный ихъ критикъ, какой-нибудь творецъ всякой всячины, который изо всей мочи хвалитъ себя, да старыхъ писателей, уже не опасныхъ ему, и бранитъ наповалъ все даровитое въ новомъ поколѣніи. Этотъ критикъ по-своему разберетъ для своихъ чтецовъ вновь явившійся разборъ, вырветъ изъ него по строчкѣ, по слову изъ страницы и воскликнетъ: можно ли такъ унижать заслуженные авторитеты! И чтецы вѣрятъ ему, потому-что понимаютъ его: онъ говоритъ имъ ихъ языкомъ, ихъ понятіями, ихъ чувствами, ихъ вкусомъ, —les beaux esprits se rencontrent... Имъ, этимъ чтецамъ, и въ голову не входитъ, что правда не унижаетъ таланта, такъ же, какъ и ошибочное мнѣніе не вредитъ ему, что унизить можно только незаслуженную извѣстность, и что, слѣдовательно, независимое сужденіе о литературѣ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть вредно, но часто бываетъ полезно. Изобрѣтатель такой кри-

тики увѣритъ своихъ чтецовъ еще и въ томъ, что критикъ, при имени котораго онъ не можетъ оставаться хладнокровнымъ, хвалитъ только своихъ друзей; а чтецы и вѣрятъ печатному: гдѣ же имъ справляться, что этотъ критикъ едва ли знакомъ лично съ живыми писателями, которымъ онъ удивляется?—Это дѣло частное; и гдѣ же имъ сообразить, что онъ еще не родился на свѣтъ, когда умеръ Ломоносовъ, и не зналъ еще грамотѣ, когда умеръ Державинъ и когда были въ полнотѣ своей славы Карамзинъ и Жуковскій, заслугамъ и генію которыхъ онъ отдаетъ полную справедливость, но только не съ чужаго голоса и не безотчетно?—Для соображенія вѣдь нужна способность соображать. Гораздо легче повѣрить на слово тому, кто повторяетъ себѣ да и только: хвалитъ-де все своихъ пріятелей...

Вообще, вмѣстѣ съ удивительными и быстрыми успѣхами въ умственномъ и литературномъ образованіи, проглядываетъ у насъ какая-то незрѣлость, какая-то шаткость и неопредѣленность. Истины, въ другихъ литературахъ давно сдѣлавшіяся аксіомами, давно уже не возбуждающія споровъ и не требующія доказательствъ,—у насъ все еще не подвергались сужденію, еще не всѣмъ извѣстны. Вы, напримѣръ, не написали никакой книги, а между тѣмъ издаете журналъ, пользующійся огромнымъ успѣхомъ,—и ваши противники кричатъ, что вашъ журналъ плохъ, потому что вы не написали никакой книги. Это «потому что» очень оригинально! Да если журналъ хорошъ, какое вамъ дѣло до того, написалъ или не написалъ его издатель книгу?—Вы занимаетесь критикою и, хоть на столько успѣшно, чтобы живо затронуть чужія мнѣнія, или пристрастія, и нажить себѣ враговъ: не думайте, чтобы ваши противники стали опровергать ваши положенія, оспаривать ваши выводы. Нѣтъ, вмѣсто всего этого, они начнутъ вамъ говорить, что, ничего не написавши сами, вы не имѣете

права критиковать другихъ; что вы молоды, а между тѣмъ судите о произведеніяхъ людей, которые уже стары, и т. д. Подобныя выходки хоть кого приведутъ въ затруднительное положеніе,—не потому, чтобы трудно было отвѣчать на нихъ, а потому именно, что слишкомъ легко отвѣчать на нихъ. Но у кого же достанетъ духу опровергать подобныя мнѣнія, съ важностію доказывать, что можно не быть поваромъ — и вѣрно судить о столѣ; не быть портнымъ—и безошибочно сказать свое мнѣніе о достоинствѣ или недостаткахъ новаго фрака;—такъ же точно, какъ не умѣть писать стиховъ, романовъ, повѣстей, драмъ—и быть въ состояніи дѣльно и здраво судить о чужихъ произведеніяхъ; и что, если въ сферѣ гастрономіи имѣть тонкій вкусъ есть своего рода талантъ—то тѣмъ болѣе это въ сферѣ искусства, и что критика есть своего рода искусство. Есть истины, которыя даже пошлы, потому именно, что слишкомъ очевидны, какъ, напримѣръ, то, что лѣтомъ тепло, а зимою холодно, что подъ дождемъ можно вымочиться, а передъ огнемъ высушиться. А между-тѣмъ, у насъ иногда необходимо защищать подобныя истины всею силою логики и діалектики... Но это еще можетъ быть только или смѣшно, или досадно, смотря по расположенію вашего духа; но бываютъ явленія, отъ которыхъ не захочется смѣяться. Вспомните только, что произведеніе, вѣрно схватывающее какія-нибудь черты общества, считается у насъ часто пасквилемъ то на общество, то на сословіе, то на лица. Отъ нашей литературы требуютъ, чтобы она видѣла въ дѣйствительности только героевъ добродѣтели, да мелодраматическихъ злодѣевъ, и чтобы она и не подозрѣвала, что въ обществѣ можетъ быть много смѣшныхъ, странныхъ и уродливыхъ явленій. Каждый, чтобъ ему было широко и просторно жить, готовъ, еслибъ могъ, запретить другимъ жить... Писаки во фризовыхъ шинеляхъ, съ небритыми подбородками, пишутъ на заказъ мелкимъ книго-

продавцамъ плохія книжонки: что̀ жь тутъ худаго? Почему писакѣ не находить свой кусокъ хлѣба, какъ онъ можетъ и умѣетъ?—Но эти писаки портятъ вкусъ публики, унижаютъ литературу и званіе литератора?—Положимъ такъ; но чтобы они не вредили вкусу публики и успѣхамъ литературы, для этого есть журналы, есть критика. — Нѣтъ, намъ этого мало: будь наша воля—мы запретили бы писакамъ писать вздоры, а книгопродавцамъ издавать ихъ... И откуда, отъ кого выходятъ подобныя мысли?—изъ журналовъ, отъ литераторовъ!.. Между ними есть ужасные запретители: кромѣ своихъ сочиненій, такъ бы все и запретили гуртомъ... Нѣкоторые и на этомъ не остановились бы, но желали бы запретить продажу всякихъ другихъ товаровъ,—даже хлѣба и соли, кромѣ своихъ сочиненій... Явился у насъ писатель, юмористическій талантъ котораго имѣлъ до того сильное вліяніе на всю литературу, что далъ ей совершенно новое направленіе. Его стали порочить. Хотѣли увѣрить публику, что онъ—Поль де-Кокъ, живописецъ грязной, неумытой и непричесанной природы. Онъ не отвѣчалъ никому и шелъ себѣ впередъ. Публика въ отношеніи къ нему, раздѣлилась на двѣ стороны, изъ которыхъ самая многочисленная была рѣшительно противъ него,—что̀, впрочемъ, нисколько не мѣшало ей раскупать, читать и перечитывать его сочиненія. Наконецъ, и большинство публики стало за него: что̀ дѣлать порицателямъ? Они начали признавать въ немъ талантъ, даже большой, хотя, по ихъ словамъ, идущій не по настоящему пути; но, вмѣстѣ съ этимъ, стали давать знать, и намекали прямо, что онъ, будто бы, унижаетъ все русское, оскорбляетъ почтенное сословіе чиновниковъ, и т. п. Но эти господа хлопочутъ совсѣмъ не о чиновникахъ, а о самихъ себѣ: имъ бы хотѣлось заставить молчать всю современную литературу, чтобы публика, не имѣя ничего хорошаго, поневолѣ принялась за чтеніе ихъ сочиненій, и

начала бы снова покупать ихъ... И это все печатается, а публика читаетъ, потому что, еслибы этого никто не читалъ, то это и не печаталось бы... Всѣ мнѣнія находятъ у насъ мѣсто, просторъ, вниманіе и даже послѣдователей. Что́ же это, если не незрѣлость и не шаткость общественнаго мнѣнія? Но со всѣмъ этимъ, истина и здравый вкусъ все-таки идутъ твердыми шагами и овладѣваютъ полемъ этой безпорядочной битвы мнѣній. Если всякій ложный и пустой, но блестящій талантъ непремѣнно пользуется успѣхомъ, то не было еще примѣра, чтобъ истинный талантъ не былъ у насъ признанъ и не получилъ успѣха. Ложные авторитеты падаютъ со дня на день. Давно ли слава Марлинскаго — этого жонглёра фразы, казалась колоссальною?—Теперь о немъ уже и не говорятъ, не только не хвалятъ, даже и не бранятъ его. Такихъ примѣровъ можно бы привести много. Все это доказываетъ, что и литература и общество наше еще слишкомъ молоды и незрѣлы, но что въ нихъ кроется много здоровой жизненной силы, обѣщающей богатое развитіе въ будущемъ.

—

Разъ гдѣ-то была высказана мысль, что у насъ больше художественныхъ, нежели бельлетристическихъ произведеній, больше геніевъ, нежели талантовъ. Какъ всякая самобытная и оригинальная мысль, она возбудила толки. И дѣйствительно, съ перваго взгляда эта мысль можетъ показаться страннымъ парадоксомъ; но тѣмъ не менѣе она справедлива въ основаніи. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стóитъ только бросить бѣглый взглядъ на хóдъ нашей литературы, отъ ея начала до настоящаго времени. Бельлетристъ есть подражатель, онъ живетъ чужою мыслію — мыслію генія. Правда, геніи перваго періода нашей литературы, до Пушкина, были ни чѣмъ инымъ, какъ бельлетристами, въ отношеніи къ европейскимъ писателямъ, у которыхъ они учились писать, заимствовали и форму, и

мысли; но въ нашей литературѣ роль ихъ была совсѣмъ другая. Кантемиръ подражалъ Горацію и Буало, и со всѣмъ тѣмъ въ русской литературѣ былъ совершенно оригинальнымъ писателемъ, предметомъ удивленія для современниковъ, которые видѣли въ немъ генія, и уваженія для потомства, которое видитъ въ немъ одно изъ замѣчательныхъ лицъ нашей литературы. Нечего и говорить въ этомъ отношеніи о Ломоносовѣ, Державинѣ и Фонъ-Визинѣ: это были дѣйствительно геніальные люди, а второй изъ нихъ даже былъ дѣйствительно геніальнымъ поэтомъ. Но и Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Богдановичъ и Княжнинъ считались въ ихъ время, и даже долго послѣ ихъ смерти, великими поэтами. Сергѣй Николаевичъ Глинка—сей почтенный и всегда вдохновенный ветеранъ нашей литературы,— и теперь считаетъ ихъ великими поэтами. И хотя наше время думаетъ объ этомъ совсѣмъ иначе, однакожь онъ не можетъ не согласиться, что и мнѣніе Сергѣя Николаевича Глинки и его времени имѣетъ свое основаніе. Первые дѣятели всякой литературы, а особенно подражательной, являются даже и потомству въ такихъ большихъ размѣрахъ, которые уже не существуютъ для такихъ же талантовъ, но являющихся позже, уже во время успѣховъ и развитія литературы. Сумароковъ, по убѣжденію его современниковъ, далеко оставилъ за собою и баснописца Лафонтена, и трагиковъ Корнеля и Расина и сравнялся съ господиномъ Вольтеромъ. Херасковъ былъ нашимъ Гомеромъ, Петровъ— Пиндаромъ, Богдановичъ — Зефиръ давалъ ему перо изъ своихъ крылъ, и Амуръ водилъ его рукою, когда онъ писалъ «Душеньку»... Но много ли породили подражателей эти, положимъ, условные геніи? Много ли породилъ подражателей самъ Державинъ? Правда, торжественныхъ одъ было въ тѣ блаженныя времена написано и напечатано милліоны; но это оттого, что тысячи рукъ писали ихъ, и если на каждую руку по одной одѣ — такъ ужь выйдетъ

страшный итогъ. Но много ли дошло до насъ именъ талантливыхъ бельлетристовъ, порожденныхъ движеніемъ, сообщеннымъ нашей литературѣ ея первыми геніями? Положимъ, что у Сумарокова, Хераскова и Петрова и не могло быть талантливыхъ подражателей: но много ли было ихъ у Державина? Нѣсколько одъ написалъ Дмитріевъ, и немного больше написалъ ихъ Капнистъ—вотъ и все... Оды обоихъ этихъ поэтовъ, по числу,—ничто въ сравненіи съ численнымъ богатствомъ одъ Державина. А между тѣмъ, такъ естественно, что бельлетристу легче писать много, нежели его образцу; но у насъ это всегда бывало наоборотъ. Макаровъ и Подшиваловъ, очень мало написавшіе, особенно послѣдній, дѣйствовали независимо отъ Карамзина; подражателями же Карамзина были Владиміръ Измайловъ, князь Шаликовъ и, право, не помнимъ, кто еще: такъ мало ихъ было, и бывшіе такъ мало и вяло писали! Вліяніе Жуковскаго было обширнѣе: у него и теперь и всегда можно учиться переводить, стихъ его тоже всегда будетъ образцовымъ. Козловъ, г. Ѳ. Глинка и частію г. Туманскій, были отголосками музы Жуковскаго. Геній Пушкина породилъ еще болѣе подражателей, у которыхъ нельзя отрицать таланта и которые въ свое время пользовались огромною извѣстностію; но, всѣ вмѣстѣ взятые, они едва ли написали половину того, что̀ написалъ одинъ Пушкинъ, хотя и онъ написалъ не очень много,—и какъ скоро пережили они свой талантъ и свою извѣстность! И теперь пишутъ многіе; одинъ сходитъ со сцены, то есть, забывается (это у насъ дѣлается необыкновенно скоро), другой является, въ сложности всѣ производятъ довольно много (по крайней мѣрѣ относительно), но каждый особенно пишетъ очень мало. И притомъ, всѣ претендуютъ на художественность, на творчество, никто не хочетъ быть просто разскащикомъ, сказочникомъ, бельлетристомъ. Почти всѣ пишутъ на заказъ, зная впередъ, сколько дастъ имъ каждая

строчка, каждое слово, каждая запятая; но въ то же время, всѣ пишутъ и по вдохновенію. Многіе продаютъ еще ненаписанныя повѣсти, но не потому, что слишкомъ много пишутъ и много получаютъ заказовъ, а потому, что слишкомъ мало пишутъ. Иной разразится повѣстью въ годъ— и смотритъ Наполеономъ послѣ аустерлицкой битвы. Удастся написать въ годъ двѣ повѣсти: это уже равняется завоеванію всего міра. Оттого, у насъ нѣтъ бельлетристики, и публикѣ нечего читать. Всѣ сколько-нибудь замѣчательныя произведенія каждаго года (со включеніемъ сюда и такихъ, которыя только что сносны) можно перечесть по пальцамъ. Во Франціи это дѣлается иначе: тамъ пишутъ полосами, и каждый сколько-нибудь извѣстный бельлетристъ исписываетъ ежегодно цѣлые томы, чуть не десятки томовъ, не заботясь о томъ, за что̀ приметъ его публика—за генія или просто за талантъ. Тамъ бельлетристъ пишетъ гораздо болѣе, чѣмъ художникъ-поэтъ: Жоржъ-Зандъ написала много, больше, нежели сколько у насъ пишется многими въ продолженіи многихъ лѣтъ; но кипа сочиненій Жоржъ-Занда въ сравненіи съ кипою сочиненій Ежена Сю или Александра Дюма—то же, что̀ озеро въ сравненіи съ моремъ, или море въ сравненіи съ океаномъ. Оно и естественно: творчество не покоряется волѣ, и художнику нужно время обдумать и выносить въ умѣ своемъ концепированную имъ мысль... Въ настоящемъ, въ истинномъ значеніи этого слова, у насъ было и есть только три бельлетриста: это— гг. Булгаринъ, Полевой и Кукольникъ. Неутомимость ихъ изумительна.....

Изъ всѣхъ родовъ поэзіи, слабѣе другихъ принялась у насъ драма, особенно комедія. По крайней мѣрѣ, хоть такъ называемая классическая трагедія имѣла у насъ свое время развитія и успѣховъ. Трагедіи Сумарокова дали пищу нашему раждающемуся театру и, не только восхищали со-

временниковъ, но «Димитрій Самозванецъ» давался на провинціальныхъ театрахъ еще въ началѣ двадцатыхъ годовъ текущаго столѣтія. Трагедіи и комедіи Княжнина имѣли для своего времени неотъемлемое достоинство,—и вообще, можно сказать, что наше время много бы выиграло, еслибъ теперь явился такой умный и ловкій заимствователь по части драматической литературы, какимъ для своего времени былъ Княжнинъ. Еще выше его былъ Озеровъ. Изъ этого видно, что классическая трагедія у насъ развивалась въ продолженіи цѣлыхъ трехъ поколѣній. Явился романтизмъ,—и пошли романтическія драмы, кровавыя, страшныя, эффектныя, наконецъ, даже народныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ больше безтолковыя и пустыя. Теперь ужь и онѣ пишутся только для бенефисовъ, да и то все рѣже и рѣже. Есть надежда, что скоро онѣ и совсѣмъ прекратятся. И хорошо! лучше вовсе ничего, нежели много великолѣпнаго, или какого бы то ни было вздору!

Но и въ дѣлѣ драмы, еще больше, чѣмъ гдѣ нибудь, оправдалось положеніе, что у насъ во всемъ больше геніевъ (хотя ихъ и очень мало), нежели талантовъ. Пушкинъ, въ своемъ «Борисѣ Годуновѣ», далъ намъ истинный и геніяльный образецъ народной драмы; но потому-то, можетъ-быть, онъ и остался безъ всякаго вліянія на нашу драматическую литературу, что былъ слишкомъ истиненъ и геніяленъ. По крайней мѣрѣ, ни на одномъ драматическомъ произведеніи, съ признаками таланта, не отразилось вліяніе «Бориса Годунова». Скажутъ: это оттого, что ни одной драмы съ признаками таланта никогда не появлялось у насъ. Правда! но отъ-чего же у насъ появлялись и появляются поэмы въ стихахъ, съ признаками таланта, да иногда еще и замѣчательнаго, доказывающія, какъ сильно и плодотворно вліяніе Пушкина и Лермонтова на нашу литературу?... Послѣ «Бориса Годунова», лучшее драматическое произведеніе въ народномъ духѣ принадлежитъ Пуш-

книу-же: это—«Русалка». Его драматическія поэмы: «Сцена изъ Фауста», «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Каменный Гость», тоже не отозвались въ русской литературѣ никакими сколько-нибудь счастливыми опытами. А между-тѣмъ, всѣ драматическія опыты Пушкина — великія художественныя созданія...

Такова же участь и нашей комедіи: или что-нибудь необыкновенное, или—меньше чѣмъ ничего. О русскихъ комедіяхъ до Фонвизина почти нечего и говорить: это были или переводы, или передѣлки и въ этомъ отношеніи труды Княжнина заслуживаютъ уваженія, но какъ оригинальныя русскія комедіи — это было странное уродство. «Бригадиръ» и «Недоросль», не будучи художественными произведеніями въ строгомъ смыслѣ этого слова, тѣмъ не менѣе были геніяльными созданіями. По ихъ характеру, ихъ можно назвать вѣрными и мѣткими сатирами въ формѣ комедіи. Были имъ подражанія, но уродливыя и нелѣпыя. Впрочемъ, хоть и поздно, но ихъ вліяніе отозвалось въ комедіи Основьяненко «Дворянскіе Выборы»—произведеніи имѣющемъ свои недостатки, но и не безъ достоинствъ. Между «Бригадиромъ» и «Недорослемъ», Аблесимовъ какъ-то обмолвился премилымъ народнымъ водевилемъ. Это была случайность, хотя и прекрасная; ей и слѣдовало остаться безъ послѣдствій для литературы. «Ябеда» Капниста замѣчательна больше по цѣли, нежели по выполненію. Теперь должно перейдти прямо къ «Горе отъ Ума» Грибоѣдова, потому что множество комедій, написанныхъ, въ стихахъ и прозѣ, въ промежуткѣ времени отъ Фонъ-Визина до Грибоѣдова, не стоятъ упоминовенія. «Горе отъ Ума» — это на половину художественная, на половину сатирическая комедія, этотъ высокій образецъ ума, остроумія, таланта, геніяльности, злаго, желчнаго вдохновенія,—«Горе отъ Ума» до сихъ поръ остается единственнымъ произведеніемъ въ нашей литературѣ, въ родѣ котораго ни одинъ талантъ не рѣшил-

ся попытать своихъ силъ. Отъ комедіи Грибоѣдова должно перейдти прямо къ «Ревизору». Кромѣ этой въ высочайшей степени художественной комедіи, исполненной глубочайшаго юмора и поразительной истины, Гоголь еще написалъ небольшую комедію—«Женитьба», и нѣсколько сценъ, которыхъ нельзя назвать комедіями по ихъ объему и которыя относятся къ комедіи, какъ повѣсть относится къ роману. Всѣ эти сцены носятъ на себѣ рѣзкую печать таланта автора «Ревизора» и, подобно ему, до-сихъ-поръ остаются въ нашей литературѣ уединенными памятниками среди широкой песчаной степи, гдѣ не видно ни дерева, ни былинки... Были, правда, двѣ или три попытки, не совсѣмъ неудачныя, но слишкомъ нерѣшительныя...

—

Односторонность во взглядѣ на предметы всегда ведетъ къ ложнымъ выводамъ, хотя бы этотъ взглядъ не былъ лишенъ глубокости и проницательности. Способность убѣжденія, одна изъ прекраснѣйшихъ способностей человѣческой природы, при односторонности ведетъ къ фанатизму. Литературный фанатизмъ такъ же глухъ и слѣпъ, какъ и всякій другой, особенно, когда онъ живетъ во имя теоріи. Нѣмецкія эстетическія теоріи такъ хорошо принялись на воспріимчивой почвѣ нашего недавняго образованія, что нашли себѣ такихъ жаркихъ и фанатическихъ послѣдователей, на которыхъ и въ самой Германіи, особенно теперь, посмотрѣли бы какъ на чудо теоретическаго изступленія Для неисправимыхъ фанатиковъ этого рода французская литература и французское искусство есть истинный камень преткновенія: не понимая ихъ и упорствуя сознаться въ этомъ, они ни мало не затрудняются не признавать ихъ существованія. Это, впрочемъ, не удивительно: вѣдь нѣкоторые историки временъ реставраціи настаивали же на томъ, что Наполеонъ былъ полководецъ Людовика XVIII?... Въ самомъ дѣлѣ, съ чисто теоретической точки зрѣнія, не

много хорошаго можно найдти во французской литературѣ, восторгаясь нѣмецкою. Нѣмецкая эстетика вышла изъ ученаго кабинета, а нѣмецкая поэзія вышла изъ нѣмецкой эстетики. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только вспомнить, какъ писалъ, впрочемъ, геніяльный Шиллеръ: въ «Валенштейнѣ» все было имъ не только заранѣе обдумано, но и доказано и оправдано, все вышло изъ теоріи, и авторъ писалъ эту драму восемь лѣтъ. Шиллеръ хотѣлъ писать эпическую поэму изъ жизни Фридриха Великаго; но хотѣлъ за нее приняться не прежде, какъ сперва развивши философски теорію эпической поэмы новаго времени. Всѣ эти явленія, немного странныя, чтобы не сказать уродливыя, и много повредившія генію Шиллера, какъ и другихъ нѣмецкихъ поэтовъ, вышли прямо изъ соціяльнаго положенія Нѣмцевъ, тихаго, семейнаго, созерцательнаго, кабинетнаго. Французская литература, напротивъ, вся вышла изъ общественной и исторической жизни, и тѣсно слита съ нею. Поэтому, о французской литературѣ нельзя судить по готовой теоріи, не впавши въ односторонность и не доходя до ложныхъ выводовъ. Трагедіи Корнеля, правда, очень уродливы по ихъ классической формѣ, и теоретики имѣютъ полное право нападать на эту китайскую форму, которой поддался величавый и могущественный геній Корнеля, вслѣдствіе насильственнаго вліянія Ришлье, который и въ литературѣ хотѣлъ быть первымъ министромъ. Но теоретики жестоко ошиблись бы, еслибы, за уродливою псевдоклассическою формою корнелевскихъ трагедій, проглядѣли страшную внутреннюю силу ихъ пѳоса. Французы нашего времени говорятъ, что Мирабо обязанъ Корнелю лучшими вдохновеніями своихъ рѣчей. Послѣ этого удивляйтесь Французамъ, что они забываютъ скоро свои романическія трагедіи à la Шекспиръ и до сихъ поръ читаютъ и всегда будутъ читать стараго Корнеля. Каждый изъ знаменитыхъ ихъ писателей неразрывно связанъ съ эпохою, въ кото-

рую онъ жилъ, и имѣетъ право на мѣсто не въ одной исторіи французской литературы, но и въ исторіи Франціи. Здѣсь всѣ мысли о творчествѣ имѣютъ уже нѣсколько другое значеніе, нежели какое имѣютъ онѣ въ нѣмецкой литературѣ: онѣ должны раздѣлить свою власть и силу съ мыслями объ обществѣ и его историческомъ ходѣ. У насъ есть люди, которымъ удалось понять, что «Ревизоръ» есть глубоко творческое и художественное произведеніе, и что ни одна комедія Мольера не выдержитъ эстетической критики. Они правы въ этомъ отношеніи, но не правы въ выводѣ, который они дѣлаютъ изъ этого факта. Дѣйствительно, ни одна комедія Мольера не выдержитъ эстетической критики, потому-что всѣ онѣ больше сдѣланы, нежели созданы, часто сбиваются на фарсъ, или по крайней мѣрѣ допускаютъ въ себя фарсы (какъ, напримѣръ, ложные: муфтій, дервишъ и Турки въ Le Bourgeois-Gentilhomme); пружины ихъ дѣйствія всегда искусственны и однообразны, характеры абстрактны, сатира слишкомъ рѣзко выглядываетъ изъ-подъ формы поэтическаго изобрѣтенія и т. д. Но вмѣстѣ съ этимъ, Мольеръ имѣлъ огромное вліяніе на современное ему общество и высоко поднялъ французскій театръ,—что̀ могъ сдѣлать только человѣкъ даже не просто съ талантомъ, а съ геніемъ. Чтобы судить о его комедіяхъ, ихъ надо не читать, а видѣть на сценѣ, и притомъ непремѣнно на французской сценѣ, потому-что ихъ сценическое достоинство выше драматическаго. Французы не имѣютъ права гордиться именно тою или вотъ этою комедіею Мольера; но имѣютъ полное право гордиться комедіями, или, лучше сказать, театромъ Мольера, потому-что Мольеръ далъ имъ цѣлый театръ. То же можно сказать и о Скрибѣ. Нельзя указать ни на одну его драму, ни на одинъ водевиль, какъ на художественное произведеніе, которое всегда будетъ имѣть свою цѣну; но можно сказать утвердительно, что театръ Скриба всегда будетъ

имѣть свою цѣну, а теперь ему и цѣны нѣтъ: такъ онъ важенъ для современнаго общества, составленнаго изъ всѣхъ классовъ, образованныхъ и не образованныхъ, которые стекаются въ театръ, чтобы видѣть на сценѣ самихъ себя...

У насъ есть нѣсколько высоко художественныхъ комедій, которыя, по своему числу, не могутъ составить постояннаго репертуара для театра, и которыя, при всемъ ихъ достоинствѣ, смертельно надоѣли бы всѣмъ, еслибы кромѣ ихъ, ничего не давалось на театрѣ, потому что одно и вѣчно одно всегда надоѣдаетъ...

У Французовъ, положимъ, нѣтъ ни одной художественной комедіи, но за то есть театръ, который существуетъ для всѣхъ и въ которомъ общество и учится, и эстетически наслаждается...

На чьей сторонѣ выгода?..

Пусть рѣшатъ читатели. Наше дѣло—сторона.

Чѣмъ отличается геній отъ таланта? — Вопросъ очень важный, тѣмъ болѣе, что его рѣшаютъ всегда очень мудрено. Не беремся, но попытаемся объяснить его просто. Что геній и талантъ дается природою, что тотъ и другой есть, такъ сказать, свойство самаго организма человѣка, какъ свѣтъ и теплота есть свойство огня,—объ этомъ нечего и говорить, какъ о предметѣ, на счетъ котораго давно согласились всѣ. Вопросъ въ различіи генія отъ таланта, и наоборотъ.

Кому не случалось встрѣчать множество людей, которые любятъ, напримѣръ, читать, слѣдятъ за литературою и хотятъ судить о ней; но которые тогда только смѣло судятъ о новой книгѣ, когда успѣли прочитать о ней сужденіе журнала, пользующагося ихъ безусловною довѣренностію, и которые чувствуютъ себя въ самомъ затрудни-

тельномъ положеніи, если рецензія или критика на книгу, надѣлавшую шуму, долго не является въ ихъ журналѣ? Кому не случалось встрѣчать людей, которые готовы судить обо всемъ, но лишь кто-нибудь рѣзко возразитъ имъ, они тотчасъ же отказываются отъ своего мнѣнія и безусловно соглашаются съ мнѣніемъ возразившаго? Это люди безъ мнѣнія, безъ способности имѣть мнѣніе, люди, которые могутъ быть сильны только чужимъ мнѣніемъ, и для которыхъ авторитетъ есть необходимость перваго разряда. Надобно замѣтить, что у людей этого рода очень сильно развитъ инстинктъ чувствовать чужую силу и всегда узнавать ее. Между-тѣмъ, это могутъ быть совсѣмъ неглупые люди: для нихъ существуютъ доказательства, у нихъ есть судительная способность, но только эта способность у нихъ лишена самодѣятельности и требуетъ опоры въ авторитетѣ. Толпа большею частію состоитъ изъ такихъ людей, и ею всегда и вездѣ управляютъ люди съ большею или меньшею самостоятельностію мнѣнія. И вотъ причина, почему толпа не долго увлекается ложнымъ и уродливымъ, и рано или поздно, но всегда признаетъ достоинство истиннаго и прекраснаго: за нее дѣйствуютъ другіе, а она только повинуется. Безъ этой нравственной дисциплины, въ понятіяхъ людей не было бы единства, но была бы страшная анархія.

Талантъ, какъ способность дѣлать, производить, относится больше къ формѣ созданія, и съ этой точки зрѣнія, талантъ есть сила внѣшняя, которая можетъ существовать въ человѣкѣ независимо отъ ума, сердца и другихъ интеллектуальныхъ и нравственныхъ сторонъ человѣческой природы. Но для формы нужно содержаніе, — и вотъ здѣсь-то получаетъ всю свою важность самостоятельная дѣятельность духовныхъ силъ человѣка. Если есть люди, которые лишены способности имѣть о вещахъ свое мнѣніе, и которые принимаютъ чужое мнѣніе цѣликомъ,

какъ что-то готовое, о чемъ имъ уже нечего больше и думать; то есть люди, которые, вѣчно живя чужимъ мнѣніемъ, имѣютъ способность усвоять его себѣ, развивать, выводить изъ него новыя слѣдствія, находить чрезъ него на другія мысли,—и эта способность до того обманываетъ людей этого рода, что они очень добросовѣстно убѣждены въ самостоятельности своей собственной мыслительности. И они почти правы въ этомъ: натуры живыя и воспріимчивыя, они сами не знаютъ и не помнятъ, отъ кого зашла къ нимъ та или другая мысль, потому-что все извнѣ легко и быстро пристаетъ къ нимъ почти безсознательно, инстинктивно. Имъ стоитъ только поговорить съ умнымъ человѣкомъ, или прочесть хорошую книгу, чтобы въ нихъ тотчасъ же возбудился цѣлый рядъ новыхъ мыслей, которыя они не могутъ не принять за свои собственныя. Эти люди, управляясь другими, въ свою очередь, имѣютъ большое вліяніе на толпу. Они довольно часто встрѣчаются на свѣтѣ; особенно ихъ много бываетъ въ столицахъ. Вообще, чѣмъ просвѣщеннѣе и образованнѣе общество, тѣмъ больше въ немъ такихъ людей. Наконецъ, есть люди (такихъ очень мало), которые дѣйствительно обладаютъ способностью творческой самодѣятельности своихъ способностей. Они на все смотрятъ какъ-то особенно, оригинально, во всемъ видятъ именно то, чего безъ нихъ никто не видитъ, а послѣ нихъ всѣ видятъ и всѣ удивляются, что прежде этого не видѣли. Эти люди совсѣмъ не хитрые и не мудреные; они все понимаютъ просто, но ихъ простое пониманіе сначала кажется всѣмъ очень мудренымъ, а иногда безумнымъ и нелѣпымъ, а потомъ кажется уже столь простымъ, что нѣтъ глупца, который не подивился бы, какъ ему не пришло этого въ голову—вѣдь это такъ просто! Когда Колумбъ собирался открыть Америку,—на него всѣ смотрѣли, какъ на помѣшаннаго мечтателя, а когда онъ открылъ Америку, то почти никто не хотѣлъ признать

въ этомъ даже заслуги, потому-что открытую Америку всѣмъ казалось такъ легко открыть!..

Говоря объ этихъ трехъ разрядахъ людей, мы хотѣли сказать о толпѣ, талантѣ и геніи...

Въ наше время, талантъ не рѣдкость во всемъ, но особенно въ литературѣ. Просто ни почемъ! Его часто даже смѣшиваютъ съ геніемъ. И не мудрено, нуженъ своего рода большой талантъ, чтобы съ перваго разу отличить талантъ отъ генія. Это приводитъ намъ на память то мѣсто изъ повѣсти извѣстнаго французскаго писателя нашего времени, гдѣ онъ такъ разсказываетъ объ авторствѣ своего героя.

„Онъ признавался, что все начатое имъ принимало, послѣ первыхъ десяти строкъ, трехъ или четырехъ стиховъ, такое сходство съ писателями, которыхъ читалъ онъ, что онъ краснѣлъ, видя себя способнымъ только на подражаніе. Онъ показалъ мнѣ нѣсколько стиховъ и фразъ, подъ которыми Ламартинъ, Викторъ Гюго, Поль Курье, Шарль Нодье, Бальзакъ и даже Беранже могли бы подписать имена свои. Но всѣ эти опыты, которые можно бы назвать отрывками изъ отрывковъ, служили бы, въ сочиненіяхъ тѣхъ писателей, для украшенія индивидуальныхъ идей; но этой-то индивидуальности и не было у Ораса. Если онъ хотѣлъ выразить какую-нибудь идею, вы тотчасъ и увидѣли бы (онъ и самъ тотчасъ же видѣлъ) явную кражу; идея эта была не его; она принадлежала этимъ писателямъ, *принадлежала всѣмъ, только не ему*".

Вотъ вѣчная исторія таланта! Конечно, она не всегда бываетъ именно такою, какъ представлена въ словахъ автора, на котораго мы сослались; но сущность ея всегда такова. Какъ бы талантъ ни былъ великъ, онъ не можетъ наложить печати своей личности на свои произведенія, и потому не можетъ быть оригиналенъ и самобытенъ. Какъ бы ни велика была его способность усвоять себѣ чужія идеи, онъ не надолго скроетъ, что его вдохновеніе не бьетъ живымъ родникомъ изъ тайниковъ его натуры, но есть только «плѣнной мысли раздраженье». Но за то, какъ бы ни тѣсна и ни ограничена была сфера таланта, но если

на его произведеніяхъ видѣнъ тотъ рѣзкій отпечатокъ личности, который дѣлаетъ произведенія такъ оригинальными, что подъ нихъ невозможно поддѣлаться,—тогда это уже не талантъ, а геній. Къ числу такихъ геніальныхъ поэтовъ принадлежитъ въ нашей литературѣ баснописецъ Крыловъ.

РАЗДѢЛЕНІЕ ПОЭЗІИ НА РОДЫ И ВИДЫ *).

Поэзія есть высшій родъ искусства. Всякое другое искусство болѣе или менѣе стѣснено и ограничено въ своей творческой дѣятельности тѣмъ матеріаломъ, посредствомъ котораго оно проявляется. Произведенія архитектуры поражаютъ насъ или гармоніею своихъ частей, образующихъ собою граціозное цѣлое, или грамадностію и грандіозностію своихъ формъ, восторгая съ собою духъ нашъ къ небу, въ которомъ изчезаютъ ихъ остроконечные шпицы. Но этимъ и ограничиваются средства ихъ обаянія на душу. Это еще только переходъ отъ условнаго символизма къ абсолютному искусству; это еще не искусство въ полномъ значеніи, а только стремленіе, первый шагъ къ искусству; это еще не мысль, воплотившаяся въ художественную форму, но худо-

*) Мысль написать критическую исторію русской литературы занимала Бѣлинскаго почти до самой смерти его. Онъ принимался за нее нѣсколько разъ, и въ 1841 году хотѣлъ приступить даже къ печатанію ея подъ заглавіемъ: «Теоретическаго и критическаго Курса Русской Литературы», который долженъ былъ составлять слѣдующіе отдѣлы, тѣсно связанные между собою единствомъ основной мысли и систематическимъ изложеніемъ: *Общее Введеніе; Эстетика* (развитіе идеи искусства вообще и теорія поэзіи въ частности); *Теорія русскаго стихосложенія; Теорія словесности вообще* (теорія краснорѣчія и взглядъ на такъ-называемыя *бельлетрическія*, или собственно литературныя, а не художественныя,—и догматическія сочиненія, принадлежащія ни къ искусству въ строгомъ смыслѣ, ни къ ученой литературѣ); *Взглядъ на народную поэзію вообще; Критическое разсмотрѣніе памятниковъ русской народной поэзіи*) «Сло-

жественная форма, только намекающая на мысль. Сфера скульптуры шире, средства ея богаче, чѣмъ у зодчества: она уже выражаетъ красоту формъ человѣческаго тѣла, оттѣнки мысли въ лицѣ человѣческомъ; но она схватываетъ только одинъ моментъ мысли лица, одно положеніе тѣла (attitude). Притомъ же, сфера творческой дѣятельности скульптуры не простирается на всего человѣка, а ограничивается только внѣшними формами его тѣла, изображаетъ только мужество, величіе и силу въ мужчинѣ, красоту и грацію въ женщинѣ. Живописи доступенъ весь человѣкъ—даже внутренній міръ его духа; но и живопись ограничивается схватываніемъ одного момента явленія. Музыка—по преимуществу выразительница внутренняго міра души; но выражаемыя ею идеи неотдѣлимы отъ звуковъ, а звуки, много говоря душѣ, ничего не выговариваютъ ясно и опредѣленно уму. Поэзія выражается въ свободномъ человѣческомъ словѣ, которое есть и звукъ, и картина, и опредѣленное, ясно выговоренное представленіе. Посему,

---

во о полку Игоревомъ» и русскія пѣсни эпическаго и лирическаго содержанія); *Историческое обозрѣніе памятниковъ русской письменности отъ ея начала до временъ Петра Великаго; Исторія книжной русской литературы отъ Кантемира и Ломоносова до Карамзина, отъ Карамзина до Пушкина, и отъ Пушкина до 1841 года включительно; Общій взглядъ на русскую литературу, надежды въ будущемъ, заключеніе.* Сверхъ подробнаго критическаго разсмотрѣнія художественныхъ созданій и даже произведеній беллетрическихъ, по чему бы то ни было примѣчательныхъ, въ «Теоретическомъ и Критическомъ Курсѣ Русской Литературы» онъ предполагалъ обратить полное вниманіе и на исторію всѣхъ повременныхъ изданій, имѣвшихъ бо́льшее или меньшее, хорошее или вредное вліяніе на литературу и пользовавшихся заслуженною или незаслуженною извѣстностію,—отъ начала журналистики до «Московскаго Журнала» и «Вѣстника Европы» Карамзина, а отъ нихъ до настоящаго времени включительно.

Эта статья, напечатанная въ 3 № «Отечеств. Запис.» 1841 года,—отрывокъ изъ отдѣла Эстетики.

поэзія заключаетъ въ себѣ всѣ элементы другихъ искусствъ, какъ бы пользуется вдругъ и нераздѣльно всѣми средствами, которыя даны порознь каждому изъ прочихъ искусствъ. Поэзія представляетъ собою всю цѣлость искусства, всю его организацію, и объемля собою всѣ его стороны, заключаетъ въ себѣ ясно и опредѣленно всѣ его различія.

I. Поэзія осуществляетъ смыслъ идеи во внѣшнемъ и организуетъ духовный міръ въ совершенно опредѣленныхъ, пластическихъ образахъ. Все внутреннее глубоко уходитъ здѣсь во внѣшнее, и обѣ эти стороны—внутреннее и внѣшнее—не видны отдѣльно одна отъ другой, но въ непосредственной совокупности являютъ собою опредѣленную, замкнутую въ самой себѣ реальность—событіе. Здѣсь не видно поэта; міръ, пластически опредѣленный, развивается самъ собою, и поэтъ является только какъ бы простымъ повѣствователемъ того, что̀ совершилось само собою. Это поэзія эпическая.

II. Всякому внѣшнему явленію предшествуетъ побужденіе, желаніе, намѣреніе, словомъ—мысль; всякое внѣшнее явленіе есть результатъ дѣятельности внутреннихъ, сокровенныхъ силъ: поэзія проникаетъ въ эту вторую внутреннюю сторону событія, во внутренность этихъ силъ, изъ которыхъ развивается внѣшняя реальность, событіе и дѣйствіе; здѣсь поэзія является въ новомъ, противоположномъ родѣ. Это царство субъективности, это міръ внутренній, міръ начинаній, остающійся въ себѣ и не выходящій наружу. Здѣсь поэзія остается въ элементѣ внутренняго, въ ощущающей мыслящей думѣ; духъ уходитъ здѣсь изъ внѣшней реальности въ самого себя и даетъ поэзіи различные до безконечности переливы и оттѣнки своей внутренней жизни, которая претворяетъ въ себя все внѣшнее. Здѣсь личность поэта является на первомъ планѣ, и мы не иначе, какъ черезъ нее, все принимаемъ и понимаемъ. Это поэзія лирическая.

III. Наконецъ, эти два различные рода совокупляются въ неразрывное цѣлое: внутреннее перестаетъ оставаться въ себѣ и выходитъ во внѣ, обнаруживается въ дѣйствіи; внутреннее, идеальное (субъективное) становится внѣшнимъ, реальнымъ (объективнымъ). Какъ и въ эпической поэзіи, здѣсь также развивается опредѣленное, реальное дѣйствіе, выходящее изъ различныхъ субъективныхъ и объективныхъ силъ; но это дѣйствіе не имѣетъ уже чисто внѣшняго характера. Здѣсь дѣйствіе, событіе представляется намъ не вдругъ, уже совсѣмъ готовое, вышедшее изъ сокрытыхъ отъ насъ производительныхъ силъ, совершившее въ себѣ свободный кругъ и успокоившееся въ себѣ,—нѣтъ, здѣсь мы видимъ самый процессъ начала и возникновенія этого дѣйствія изъ индивидуальныхъ воль и характеровъ. Съ другой стороны, эти характеры не остаются въ самихъ себѣ, но безпрерывно обнаруживаются, и въ практическомъ интересѣ открываютъ содержаніе внутренней стороны своего духа. Это высшій родъ поэзіи и вѣнецъ искусства—поэзія драматическая.

Теперь, сдѣлавъ общій и краткій очеркъ каждаго изъ трехъ родовъ поэзіи, разовьемъ ихъ глубочайшее и дальнѣйшее значеніе чрезъ сравненіе одного съ другимъ.

Эпическая и лирическая поэзія представляютъ собою двѣ отвлеченныя крайности дѣйствительнаго міра, діаметрально одна другой противоположныя; драматическая поэзія представляетъ собою сліяніе (конкрецію) этихъ крайностей въ живое и самостоятельное третье.

Эпическая поэзія есть по-преимуществу поэзія объективная, внѣшняя, какъ въ отношеніи къ самой себѣ, такъ и къ поэту и его читателю. Въ эпической поэзіи выражается созерцаніе міра и жизни, какъ сущихъ по себѣ и пребывающихъ въ совершенномъ равнодушіи къ самимъ себѣ и созерцающему ихъ поэту, или его читателю.

Лирическая поэзія есть, напротивъ, по преимуществу

поэзія субъективная, внутренняя, выраженіе самого поэта. «Въ лирической поэзіи, — говоритъ Жанъ-Поль-Рихтеръ,—живописецъ становится картиною, творецъ—своимъ твореніемъ». Эпическую поэзію можно сравнить съ образовательными искусствами—архитектурою, ваяніемъ и живописью; лирическую поэзію можно сравнить только съ музыкою. Есть даже такія лирическія произведенія, въ которыхъ почти уничтожаются границы, раздѣляющія поэзію отъ музыки. Такъ, напр., многія русскія народныя пѣсни удерживаются въ памяти народа не содержаніемъ своимъ (ибо въ нихъ почти совсѣмъ нѣтъ содержанія), не значеніемъ словъ, изъ которыхъ состоятъ (ибо соединеніе этихъ словъ лишено почти всякаго значенія и при грамматическомъ смыслѣ, не имѣетъ почти никакого логическаго), но музыкальностію звуковъ, образуемыхъ соединеніемъ словъ, ритмомъ стиховъ, и своимъ мотивомъ въ пѣніи, или своимъ «голосомъ», какъ говорятъ простолюдины. Другія лирическія піесы, не заключая въ себѣ особеннаго смысла, хотя и не будучи лишены обыкновеннаго, выражаютъ собою безпечно знаменательный смыслъ одною музыкальностію своихъ стиховъ, какъ, напр., эти стихи изъ пѣсни сумасшедшей Офеліи:

Онъ во гробѣ лежалъ съ непокрытымъ лицомъ,
Съ *непокрытымъ*, съ *открытымъ* лицомъ.

Непокрытый есть то же, что̀ открытый, а открытый — то же, что̀ непокрытый; но какое глубокое впечатлѣніе производитъ на душу это повтореніе одного и того же слова, съ незначительнымъ грамматическимъ измѣненіемъ! И какъ чувствуется, что эти стихи должны не читаться, а пѣться! Вотъ пѣсня Дездемоны, переведенная, или передѣланная Козловымъ:

Бѣдняжка въ раздумьи подъ тѣнью густою
Сидѣла вздыхая, крушима тоскою:
«*Вы пойте мнѣ иву, зеленую иву!*»

Она свою руку на грудь положила,
И голову тихо къ колѣнямъ склонила.

Студеныя волны шумя тамъ бѣжали,
И стонъ ея жалкій тѣ волны роптали.
«О ива, ты, ива, зеленая ива!»

Горячія слезы катились ручьями,
И дикіе камни смягчались слезами.

«О ива, ты, ива, зеленая ива!»
Зеленая ива мнѣ будетъ вѣнкомъ.
«О ива, ты, ива, зеленая ива!»

Скажите, какое отношеніе имѣетъ здѣсь ива къ предмету стихотворенія—страданію Дездемоны? Развѣ тó, что Дездемона, когда она пѣла свою пѣсню, представляла себя сидящею подъ ивою, — и въ безотрадной тоскѣ, обращаясь къ ней, какъ-бы хотѣла высказать все свое безнадежное горе, всю плачевность своей неизбѣжной судьбы, и какъ-бы просила у ней утѣшенія?... Какъ бы то ни было, но этотъ стихъ: «О ива, ты, ива, зеленая ива», невыражающій никакого опредѣленнаго смысла, заключаетъ въ себѣ глубокую мысль, отрѣшившуюся отъ слова, безсильнаго выразить ее, и превратившуюся въ чувство, въ звукъ музыкальный.... И потому-то этотъ стихъ такъ глубоко западаетъ въ сердце и волнуетъ его мучительно-сладостнымъ чувствомъ неутомимой грусти.... Совсѣмъ въ другомъ родѣ, но тоже подходитъ подъ разрядъ этихъ музыкальныхъ стихотвореній извѣстный романсъ Пушкина:

Ночной зефиръ
Струитъ эѳиръ.
Шумитъ,
Бѣжитъ
Гвадалквивиръ.

Вотъ взошла луна златая....
Тише.... чу.... гитары звонъ....
Вотъ Испанка молодая
Оперлася на балконъ.

Ночной зефиръ
Струитъ эѳиръ.
Шумитъ,
Бѣжитъ
Гвадалквивиръ.

Скинь мантилью, ангелъ милый,
И явись какъ яркій день!
Сквозь чугунныя перилы
Ножку дивную продѣнь!

Ночной зефиръ
Струитъ эѳиръ.
Шумитъ,
Бѣжитъ
Гвадалквивиръ.

Что̀ это такое?—волшебная картина, фантастическое видѣніе или музыкальный аккордъ, раздавшійся съ вышины и пролетѣвшій надъ утомленной нѣгою и желаніемъ головою обольстительной Испанки?... Звуки серенады, раздававшіеся въ таинственномъ, прозрачномъ мракѣ роскошной, сладострастной ночи юга, звуки серенады, полной томленія и страсти, которую лѣниво слушаетъ прекрасная Испанка, небрежно опершись на балконъ и жадно впивая въ себя ароматической воздухъ упоительной ночи?... Въ гармонической музыкѣ этихъ дивныхъ стиховъ не слышно ли, какъ переливается эѳиръ, струимый движеніемъ вѣтерка, какъ плещутъ серебряныя волны бѣгущаго Гладалквивира?... Что̀ это—поэзія, живопись, музыка? Или то, и другое, и третье, слившіяся въ одно, гдѣ картина горитъ звуками, звуки образуютъ картину, а слова блещутъ красками, вьются образами, звучатъ гармоніею и выражаютъ разумную рѣчь?... Что̀ такое первый куплетъ, повторяющійся въ серединѣ піесы и потомъ замыкающій ее? Не есть ли это рулада—голосъ безъ словъ, который сильнѣе всякихъ словъ?...

Эпическая поэзія употребляетъ образы и картины для

выраженія образовъ и картинъ, въ природѣ находящихся; лирическая поэзія употребляетъ образы и картины для выраженія безъ-образнаго и безформеннаго чувства, составляющаго внутреннюю сущность человѣческой природы. «Эпосъ—говоритъ Жанъ-Поль-Рихтеръ, — представляетъ событіе, развивающееся изъ прошедшаго; лира—чувствованіе, заключенное въ настоящемъ». Даже, когда лирическій поэтъ выражаетъ чувство, по-видимому, совершенно внѣшнее его личности, заимствованное имъ изъ чуждаго ему міра,—и тогда онъ субъективенъ: ибо всякое выражаемое имъ чувство, въ минуту творчества, становится его собственнымъ чувствомъ, будучи переведено чрезъ его личность. «Историческое въ эпосѣ разсказывается; въ драмѣ придвидится или творится; въ лирѣ чувствуется или переживается»—говоритъ Жанъ-Поль-Рихтеръ. По мнѣнію этого знаменитаго поэта-мыслителя Германіи, лирика предшествуетъ всѣмъ формамъ поэзіи, потому что «она есть мать, зажигательная искра всякой поэзіи, какъ безъ-образный прометеевъ огонь, который оживляетъ всѣ образы». Въ историческомъ смыслѣ нельзя согласиться съ Жанъ-Поль-Рихтеромъ, чтобъ лирика предшествовала другимъ родамъ поэзіи. Образцомъ, формою и высшимъ авторитетомъ должно быть для насъ искусство греческое, ибо ни у одного народа въ мірѣ искусство не развилось такъ самобытно и нормально, какъ у Грековъ, полнота богатой жизни которыхъ преимущественно выразилась въ искусствѣ. Посему, акты историческаго развитія греческаго искусства должны имѣть для насъ всю силу разумнаго авторитета. Эпопея предшествовала у нихъ лирѣ, такъ-же какъ лира предшествовала драмѣ. Такой ходъ искусства оправдывается и самымъ умозрѣніемъ: для младенствующаго народа, объективное воззрѣніе на природу и жизнь, какъ на предметы сущіе по себѣ, и мысль, какъ приданіе о прошедшемъ, должны предшествовать внутреннему созерцанію и мысли,

какъ самостоятельному сознанію. Однакожъ, изъ этого отнюдь не слѣдуетъ заключать, чтобъ развитіе искусства у всѣхъ народовъ должно было совершаться въ одинаковой послѣдовательности. Не должно забывать, что вся полнота жизни Эллиновъ выразилась преимущественно въ искусствѣ, такъ-что ихъ національная исторія есть по преимуществу исторія развитія искусства; тогда-какъ у другихъ народовъ искусство было побочнымъ элементомъ жизни, второстепеннымъ интересомъ и подчинялось другимъ стихіямъ общественной жизни. Такъ религіозная поэзія Евреевъ по преимуществу только лирическая, т. е. или чисто-лирическая, или эпико-лирическая, или лирико-догматическая. У Арабовъ, какъ не народа, а племени, и притомъ племени номаднаго, разсѣяннаго по пустынѣ, чуждаго общественности, существовала только лирическая, или лирико-эпическая поэзія, но драматической никогда не было и не могло быть. У Римлянъ, какъ народа завоевательнаго и законодательнаго, поглощеннаго интересами чисто политическими и гражданственными, поэзія состояла въ безцвѣтномъ подражаніи образцовымъ произведеніямъ художественной Греціи. У новѣйшихъ народовъ Европы, по необъятному богатству содержанія ихъ жизни, по неистощимой многочисленности элементовъ ихъ общественности и высшему ея развитію, существуютъ всѣ роды поэзіи; но они явились у каждаго изъ народовъ въ своей особенной послѣдовательности, или, лучше сказать, въ совершенной смѣшанности. Такъ, напр., у Англичанъ сперва развилась драма въ лицѣ Шекспира, и уже черезъ два вѣка лирическая поэзія достигла высшаго развитія въ лицѣ Байрона, Томаса Мура, Вордсворта и другихъ, и, вмѣстѣ съ лирическою, эпическая поэзія, въ лицѣ Вальтера-Скотта, а въ Сѣверо-Американскихъ штатахъ, родныхъ Англіи по происхожденію и по языку, въ лицѣ Купера.

Что̀ же касается до мысли Жанъ-Поля, что лирическая

поэзія есть основная стихія всякой поэзіи, эта мысль совершенно справедлива и глубоко-основательна. Лирика есть жизнь и душа всякой поэзіи; лирика есть поэзія по преимуществу, есть поэзія поэзіи,—и Жанъ-Поль-Рихтеръ сколько остроумно, столько и вѣрно, называя ее общимъ элементомъ всякой поэзіи, сравниваетъ ее съ обращающеюся кровью во всей поэзіи. Посему, лиризмъ, существуя самъ по себѣ, какъ отдѣльный родъ поэзіи, входитъ во всѣ другіе, какъ стихія, живитъ ихъ, какъ огонь прометеевъ живитъ всѣ созданія Зевеса. Вотъ почему драмы Шекспира—эти по преимуществу драматическія созданія высочайшей творческой силы, — такъ богаты лиризмомъ, который проступаетъ сквозь драматизмъ, и сообщаетъ ему игру переливнаго свѣта жизни, какъ румянецъ лицу прекрасной дѣвушки, какъ алмазный блескъ и сіяніе—ея чарующимъ очамъ. Безъ лиризма, эпопея и драма были бы слишкомъ прозаичны и холодно равнодушны къ своему содержанію; точно такъ же, какъ онѣ становятся медленны, неподвижны и бѣдны дѣйствіемъ, какъ скоро лиризмъ дѣлается преобладающимъ элементомъ ихъ.

Содержаніе эпопеи составляетъ событіе; мимолетное и мгновенное ощущеніе, потрясшее душу поэта, какъ вѣтеръ струны эоловой арфы, составляетъ содержаніе лирическаго произведенія. Поэтому, какова бы ни была идея лирическаго произведенія, — оно никогда не должно быть слишкомъ длинно, но по большей части всегда должно быть очень коротко. Объемъ эпической поэзіи зависитъ отъ объема самого событія,—и если событіе, при длиннотѣ своей, интересно и хорошо изложено, наше вниманіе не утомляется имъ; оно даже можетъ прерываться, обращаясь на другіе предметы и снова возвращаясь къ нему: «Иліаду», какъ и всякій романъ Вальтера-Скотта или Купера, мы можемъ читать нѣсколько дней, оставляя книгу и снова принимаясь за нее, а въ промежуткахъ занимаясь совсѣмъ дру-

тими предметами. Вообще, эпопея, въ отношеніи къ объему, даетъ поэту гораздо больше свободы, чѣмъ другіе роды поэзіи. Драма, какъ увидимъ ниже, имѣетъ болѣе или менѣе опредѣленныя границы величины и объема; но лирическія произведенія, въ этомъ отношеніи, тѣсно ограничены. Если бы драма была и слишкомъ велика,—наше вниманіе и дѣятельность нашей воспріемлемости впечатлѣній могли бы долго поддерживаться безпристаннымъ измѣненіемъ развивающагося въ драмѣ дѣйствія; но лирическое произведеніе, выражая собою только чувство, и дѣйствуетъ на одно только наше чувство, не возбуждая въ насъ не любопытства, не поддерживая вниманія нашего объективными фактами, которые, даже и въ дѣйствительности—не только въ поэзіи, сильно занимаютъ нашъ умъ и дѣйствуютъ на чувство. При всемъ богатствѣ своего содержанія, лирическое произведеніе какъ будто лишено всякаго содержанія—точно музыкальная піеса, которая, потрясая все существо наше сладостными ощущеніями, совершенно невыговариваемо въ своемъ содержаніи, потому-что это содержаніе непереводимо на человѣческое слово. Вотъ почему всегда можно не только пересказать другому содержаніе прочитанной поэмы или драмы, но даже и подѣйствовать, болѣе или менѣе, на другаго своимъ пересказомъ,—тогда какъ никогда нельзя уловить содержанія лирическаго произведенія. Да, его нельзя ни пересказать, ни растолковать, но только можно дать почувствовать, и то не иначе, какъ прочтя его такъ, какъ оно вышло изъ-подъ пера поэта: будучи же пересказано словами, или переложено въ прозу, оно превращается въ безобразную и мертвую личинку, изъ которой сейчасъ только выпорхнула блестящая радужными цвѣтами бабочка. Вотъ почему псевдо-лирическія и богатыя мнимыми «мыслями» произведенія почти ничего не теряютъ въ переложеніи изъ стиховъ въ прозу; тогда какъ величайшія созданія, вышедшія

изъ глубочайшихъ нѣдръ творческаго духа, часто теряютъ, въ переложеніи на прозу, или мало мальски неудачномъ переводѣ, всякое значеніе. И это очень естественно: какъ дадите вы другому понятіе о мотивѣ слышанной вами музыки, если не пропоете, или не проиграете его на инструментѣ? Если вы скажете, что въ такомъ-то музыкальномъ произведеніи удачно возпроизведена идея любви и ревности,—вы этимъ ровно ничего не скажете объ этой музыкальной піесѣ: начните ее пѣть или играть — и она сама за себя заговоритъ.

Конечно, лирическое произведеніе не есть одно и то же съ музыкальнымъ произведеніемъ, но въ ихъ основной сущности есть нѣчто общее. Въ лирическомъ произведеніи, какъ и во всякомъ произведеніи поэзіи, мысль выговаривается словомъ; но эта мысль скрывается за ощущеніемъ и возбуждаетъ въ насъ созерцаніе, которое трудно перевести на ясный и опредѣленный языкъ сознанія. И это тѣмъ труднѣе, что чисто лирическое произведеніе представляетъ собою какъ бы картину, между тѣмъ, какъ въ немъ, главное дѣло не самая картина, а чувство, которое она возбуждаетъ въ насъ, — такъ точно, какъ въ оперѣ драматическое положеніе дѣйствующаго лица важно не само по себѣ, но по той музыкѣ, которою отзовется, или отгрянетъ оно изъ глубины духа дѣйствующаго лица. Такова, напр., лирическая піеса Пушкина «Туча»:

Послѣдняя туча разсѣянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тѣнь,
Одна ты печалишь ликующій день.

Ты небо недавно кругомъ облекала,
И молнія грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный громъ
И алчную землю поила дождемъ.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освѣжилась, и буря промчалась,
И вѣтеръ, лаская листочки древесъ,
Тебя съ успокоенныхъ гонитъ небесъ.

Сколько есть людей на бѣломъ свѣтѣ, которые, прочтя эту піесу и не найдя въ ней нравственныхъ апофегмъ и философскихъ афоризмовъ, скажутъ: «Да что́ же тутъ такого?—препустенькая піеска!» Но тѣ, въ душѣ которыхъ находятъ свой отзывъ бури природы, кому понятнымъ языкомъ говоритъ «таинственный громъ» и кому «послѣдняя туча разсѣянной бури», которая одна печалитъ ликующій день, тяжела, какъ грустная мысль при общей радости, — тѣ увидятъ въ этомъ маленькомъ стихотвореніи великое созданіе искусства.

Хотя драма и есть примиреніе противоположныхъ элементовъ—эпической объективности и лирической субъективности, но тѣмъ не менѣе она не есть ни эпопея, ни лирика, но третіе, совершенно новое и самостоятельное, хотя и вышедшее изъ двухъ первыхъ. Посему, у Грековъ драма была какъ бы результатомъ эпоса и лиры, ибо и явилась-то послѣ нихъ, и была самымъ пышнымъ, но и послѣднимъ цвѣтомъ эллинской поэзіи. Несмотря на то, что въ драмѣ, какъ и въ эпопеѣ, есть событіе, драма и эпопея діаметрально противоположны другъ другу, по своей сущности. Въ эпопеѣ господствуетъ событіе, въ драмѣ—человѣкъ. Герой эпоса — происшествіе; герой драмы — личность человѣческая. Жизнь въ эпопеѣ является какъ нѣчто сущее по себѣ, т. е. такъ, какъ она есть, независимая отъ человѣка, независимая сама собою, равнодушно пребывающая и къ человѣку и къ самой себѣ. Эпосъ —это сама природа, вѣчно неизмѣнная въ своемъ исполинскомъ величіи, всегда равнодушная въ пышномъ блескѣ красоты своей. Въ драмѣ, жизнь является уже не только по себѣ, но и для себя сущею, какъ разумное сознаніе, какъ свободная

воля. Человѣкъ есть герой драмы, и не событіе владычествуетъ въ ней надъ человѣкомъ, но человѣкъ владычествуетъ надъ событіемъ, по свободной волѣ давая ему ту или другую развязку, тотъ или другой конецъ. Чтобъ яснѣе развить это, представимъ примѣры изъ извѣстныхъ и великихъ художественныхъ созданій древняго и новаго міра.

Въ «Иліадѣ» царствуетъ судьба. Она управляетъ дѣйствіями не только людей, но и самихъ боговъ. Едва успѣлъ поэтъ поднять занавѣсъ, скрывавшій отъ насъ сцену повѣствуемаго имъ событія,—какъ мы уже узнаемъ впередъ, что Иліонъ долженъ пасть отъ Ахейцевъ. Убитъ ли Патроклъ: это сдѣлалось не случайно, по возможностямъ кроваваго боя—нѣтъ, это заранѣе было предназначено судьбою. Когда Антилохъ, сынъ Нестора, спѣшитъ къ Ахиллесу съ горькою вѣстію о смерти Патрокла,—Ахиллесъ въ это время сидѣлъ передъ своимъ шатромъ, томимый грустнымъ предчувствіемъ, и такъ думалъ съ самимъ собою:

О, не свершили ли боги несчастій, ужаснѣйшихъ сердцу,
Кои мнѣ матерь давно предвѣщала; она говорила:
Въ Троѣ, прежде меня, Мирмидонянинъ, въ брани храбрѣйшій,
Долженъ подъ дланью троянской разстаться съ солнечнымъ свѣтомъ.
Боги безсмертные! умеръ менетіевъ сынъ благородный.
(*Пѣснь XVIII, ст. 8—12*).

Ахиллъ долженъ отомстить убійцѣ друга своего Патрокла; но убивши его, долженъ и самъ пасть отъ стрѣлы Париса, направленной рукою Феба: это знаетъ самъ Ахиллъ,—и вотъ что говоритъ онъ своей матери, среброногой Ѳетидѣ, безсмертной нимфѣ океана:

Должно теперь и тебѣ безконечную горесть извѣдать,
Горесть о сынѣ погибшемъ, котораго ты не увидишь
Въ домѣ отеческомъ! ибо и сердце мое не велитъ мнѣ

Жить, и въ обществѣ быть человѣческомъ, ежели Гекторъ,
Первый, моимъ копіемъ пораженный, души не извергнетъ,
И за грабежъ надъ Патрокломъ любезнѣйшимъ мнѣ не заплатитъ!

(*Ibid.*, *cm.* 88—93).

Мать отговариваетъ его пророчествомъ о предстоящей ему погибели, въ случаѣ, если Гекторъ падетъ отъ руки его:

Скоро умрешь ты, о сынъ мой, судя по тому, что вѣщаешь!
Скоро за сыномъ Пріама конецъ и тебѣ уготованъ!

(*Ib.*, *cm.* 95—96).

Ахиллесъ даже и не спрашиваетъ ее, почему это такъ, и только обнаруживаетъ героическую готовность, за сладкую цѣну мщенія, подчиниться роковому предопредѣленію:

О, да умру я теперь же! далеко, далеко отъ родины милой
Палъ онъ; и вѣрно меня призывалъ, да избавлю отъ смерти!
Что же мнѣ въ жизни! Я ни отчизны драгой не увижу,
Я ни Патрокла отъ смерти не спасъ, ни другимъ благородным
Не былъ защитой друзьямъ, отъ могучаго Гектора падшимъ.
Праздный сижу предъ судами, земли безполезное бремя,
Будучи мужъ! среди всѣхъ мѣднолатныхъ героевъ ахейскихъ
Первый во брани, хотя на совѣтахъ и лучше другіе!
. . . .
Я выхожу, да главы мнѣ любезной губителя встрѣчу,
Гектора! *Смерть же принять готовъ я, когда не разсудитъ*
Здѣсь мнѣ назначить ее всемогущій Кроніонъ и боги!
Смерти не могъ избѣжать ни Гераклъ, изъ мужей величайшій,
Какъ ни любезенъ онъ былъ громоносному Зевсу Крониду;
Мощнаго рокъ одолѣлъ и вражда непреклонныя Геры.
Также и я, коль назначена доля мнѣ равная, лягу,
Гдѣ суждено; но сіяющей славы я прежде добуду!
Прежде еще не одну между женъ полногрудныхъ троянскихъ
Вздохами тяжкими грудь разрывать я заставлю, и въ горѣ
Съ нѣжныхъ ланитъ отирать руками обѣими слезы!
Скоро узнаютъ, что долгіе дни отдыхалъ я отъ брани!
Въ бой выхожу; не удерживай, матерь, ничѣмъ не преклонишь.

(*Ib.*, *cm.* 9—126).

Роковая катастрофа жизни Ахиллеса извѣстна самому Гектору: умирая, онъ умолялъ своего врага—не предавать тѣла его поруганію, но, вмѣсто согласія, услышавъ проклятія,

Духъ испуская, къ нему провѣщалъ шлемоблещущій Гекторъ:
Зналъ я тебя; предчувствовалъ я, что моимъ ты моленьемъ
Тронутъ не будешь: въ груди у тебя желѣзное сердце.
Но трепещи, да не буду тебѣ я божіимъ гнѣвомъ,
Въ оный день, когда Александръ и Фебъ стрѣловержецъ,
Какъ ни могучаго, въ Скейскихъ воротахъ тебя ниспровергнутъ!
(*Пѣснь XXII, ст. 355—360*).

Мало этого: самъ Зевесъ-промыслитель, при всемъ своемъ доброжелательствѣ Гектору, при всемъ своемъ состраданіи къ его жребію, не можетъ помочь ему своею властію верховнаго божества, котораго трепещутъ всѣ другіе боги, но прибѣгаетъ къ рѣшенію другой, высшей власти:

Зевесъ распростеръ, промыслитель, вѣсы золотыя; на нихъ онъ
Бросилъ два жребія смерти, въ сонъ погружающей долгій:
Жребій одинъ Ахиллеса, другой Пріамова сына.
Взялъ посрединѣ и поднялъ: поникнулъ Гектора жребій;
Тяжкій, къ Аиду упалъ; Аполлонъ отъ него удалился.
(*Ib., ст. 9—13*).

Изъ всего этого ясно, что герой поэмы не Ахиллъ: ибо онъ, какъ-будто, лишенъ свободной воли, дѣйствуетъ не отъ себя, но только выполняетъ волю другой высшей себя и неотразимой воли. То воля судьбы! Чтò же такое эта «судьба», которой трепещутъ люди и которой безпрекословно повинуются сами боги? Это понятіе Грековъ о томъ, чтó мы, новѣйшіе, называемъ разумною необходимостію, законами дѣйствительности, соотношеніемъ между причинами и слѣдствіемъ, словомъ — объективное дѣйствіе, которое развивается и идетъ себѣ, движимое внутреннею силою своей разумности, подобно паровой машинѣ,—идетъ не останавливаясь и не совращаясь съ пути, встрѣчается ли ей человѣкъ, котораго она можетъ раздавить, или каменный утесъ, о который она сама можетъ разбиться....

Нѣкоторые упрекаютъ Вальтеръ-Скотта, что герои многихъ его романовъ, сосредоточивая на себѣ дѣйствіе цѣлаго произведенія, въ то же время отличаются столь безцвѣтнымъ характеромъ, что не приковываютъ къ себѣ исключительно всего нашего интереса, который какъ-бы уступаютъ они второстепеннымъ лицамъ романа, какъ болѣе оригинальнымъ и характернымъ. Въ самомъ дѣлѣ, что́ такое, напр., рыцарь Иваное — герой одного изъ лучшихъ романовъ Вальтеръ-Скотта? — храбрый и благородный рыцарь въ общемъ духѣ своего времени, но не болѣе. Въ сравненіи съ неистовымъ Бріаномъ, очаровательною Ревеккою, даже Цедрихомъ Саксонцемъ и Ательстаномъ, Иваное—какая-то блѣдная тѣнь, слабый очеркъ, образъ безъ лица. Онъ мало и дѣйствуетъ, мало имѣетъ вліянія на ходъ романа. Онъ то раненъ, то при смерти, то въ плѣну, тогда какъ другіе дѣйствуютъ и рисуются на первомъ планѣ. Несмотря на дикость своихъ страстей, звѣрски проявляющихся, несмотря на всю безнравственность и преступность своихъ дѣйствій, храмовой рыцарь Бріанъ въ тысячу разъ больше, чѣмъ Иваное, возбуждаетъ къ себѣ участіе читателя ,потому что онъ — лицо типическое, характеръ могучій и самобытный. А между тѣмъ, Бріанъ все-таки второстепенный персонажъ въ романѣ, котораго всѣ нити сходятся на личной судьбѣ Иваное, какъ главнаго лица, какъ героя романа. Но тѣмъ не менѣе, это обвиненіе противъ геніальнаго романиста только по наружности имѣетъ видъ справедливости, но въ самомъ дѣлѣ оно совершенно ложно: то̀, что́ кажется недостаткомъ въ романѣ, есть сущность эпопеи. Еще разительнѣйшимъ образцомъ этого можетъ служить, напр., «Маннерингъ или Астрологъ», гдѣ герой романа является на сценѣ только въ третьей части и то какимъ-то таинственнымъ лицомъ, въ которомъ узнаете вы героя только въ концѣ романа, хотя и съ первыхъ страницъ повѣсти, еще только родившись на свѣтъ

онъ уже сосредоточиваетъ на себѣ все дѣйствіе романа. Это такъ и должно быть въ произведеніи чисто эпическаго характера, гдѣ главное лицо служитъ только внѣшнимъ центромъ развивающагося событія, и гдѣ оно можетъ отличатся только обще-человѣческими чертами, заслуживающими нашего человѣческаго участія: ибо герой эпопеи есть сама жизнь, а не человѣкъ. Въ эпопеѣ, событіе, такъ-сказать, подавляетъ собою человѣка, заслоняетъ своимъ величіемъ и своею огромностію личность человѣческую, отвлекаетъ отъ нея наше вниманіе своимъ собственнымъ интересомъ, разнообразіемъ и множествомъ своихъ картинъ.

Въ драмѣ сила и важность событія даетъ себя знать, какъ «коллизія», или та сшибка, то столкновеніе между естественнымъ влеченіемъ сердца героя и его понятіемъ о долгѣ, которыя не зависятъ отъ его воли, которыхъ онъ не можетъ ни произвесть, ни предотвратить, но которыхъ разрѣшеніе зависитъ не отъ событія, но единственно отъ свободной воли героя. Власть событія становитъ героя драмы на распутіи и приводитъ его въ необходимость избрать одинъ изъ двухъ, совершенно противоположныхъ другъ другу путей для выхода изъ борьбы съ самимъ собою; но рѣшеніе въ выборѣ пути зависитъ отъ героя драмы, а не отъ событія. Мало того: катастрофа драмы можетъ воспослѣдовать и ускориться даже вслѣдствіе нерѣшительнаго колебанія со стороны героя; но и эта нерѣшительность заключается не въ сущности и силѣ событія но единственно въ характерѣ героя. Лучшій примѣръ этого представляетъ намъ шекспировъ Гамлетъ; онъ узнаетъ объ ужасной смерти отца своего изъ устъ самой тѣни отца: вотъ событіе, приготовленное не Гамлетомъ, но вышедшее изъ развращенной воли вѣроломнаго брата умершаго короля; оно ставитъ Гамлета въ необходимость играть роль мстителя; но какъ эта роль совсѣмъ не въ его натурѣ, то онъ и повергается во внутреннюю борьбу съ самимъ собою, произведенную

слибкою двухъ враждебныхъ силъ—долга, повелѣвающаго мстить за смерть отца и личною неспособностію къ мщенію; вотъ трагическая коллизія! Ужасное открытіе тайны отцовской смерти, вмѣсто того, чтобы исполнить Гамлета однимъ чувствомъ, однимъ помышленіемъ—чувствомъ и мыслію мщенія, каждую минуту готовыми осуществиться въ дѣйствіи,—это ужасное открытіе заставило его не выйдти изъ самаго себя, а уйдти въ самаго себя и сосредоточиться во внутренности своего духа, возбудило въ немъ вопросы о жизни и смерти, времени и вѣчности, долгѣ и слабости воли, обратило его вниманіе на свою собственную личность, ея ничтожность и позорное безсиліе, родило въ немъ ненависть и презрѣніе къ самому себѣ. Гамлетъ пересталъ вѣрить добродѣтели, нравственности, потому что увидѣлъ себя неспособнымъ и безсильнымъ наказать порокъ и безнравственность, и перестать быть добродѣтельнымъ и нравственнымъ. Мало того: онъ перестаетъ вѣрить въ дѣйствительность любви, въ достоинство женщины; какъ безумный, топчетъ онъ въ грязь свое чувство, безжалостною рукою разрываетъ свой святой союзъ съ чистымъ, прекраснымъ женственнымъ существомъ, которое такъ беззавѣтно, такъ невинно отдалось ему все, которое такъ глубоко и нѣжно любитъ онъ; безжалостно и грубо оскорбляетъ онъ это существо, кроткое и нѣжное, все созданное изъ эѳира, свѣта и мелодическихъ звуковъ, какъ бы спѣша отрѣшиться отъ всего въ мірѣ, что̀ напоминаетъ собою о счастіи и добродѣтели. Ясно, что натура Гамлета чисто внутренняя, созерцательная, субъективная, рожденная для чувства и мысли; а ужасное событіе требуетъ отъ него не чувства и мысли, но дѣла, изъ идеальнаго міра вызываетъ его въ міръ практическій, въ чуждый его духовной настроенности міръ дѣйствія. Естественно, что изъ этого положенія возникаетъ внутри Гамлета страшная борьба, которая и составляетъ сущность

всей драмы. И если конецъ этой драмы совершается какъ бы въ эпическомъ характерѣ, вытекая не изъ свободнаго рѣшенія воли со стороны Гамлета, а изъ случайности (изъ неумышленнаго обмѣна шпагъ Гамлетомъ и Лаэртомъ, и неумышленной ошибки королевы-матери, выпившей отравленный кубокъ, назначенный ея сыну), тѣмъ не менѣе, «Гамлетъ» есть нисколько не эпическое, но по преимуществу драматическое произведеніе: ибо сущность содержанія и развитія этой трагедіи заключается во внутренней борьбѣ ея героя съ самимъ собою. Внѣ этой борьбы «Гамлетъ» не имѣетъ для насъ никакого даже побочнаго интереса, ибо и самая участь Офеліи, такъ глубоко насъ трогающая, есть слѣдствіе этой же борьбы. Кромѣ того, смерть короля-братоубійцы есть столько же необходимое слѣдствіе его преступленія, сколько и дѣло воли Гамлета, вспыхнувшей могучимъ рѣшеніемъ при концѣ его жизни, какъ вспыхиваетъ болѣе яркимъ пламенемъ угасающая лампада... «Макбетъ и «Отелло» представляютъ собою совершеннѣйшіе образцы коллизіи, какъ драматической сущности. Торжествующій полководецъ, знаменитый вельможа и родственникъ добраго, благороднаго старца-короля, Макбетъ слышитъ въ себѣ ревущій голосъ глубоко затаеннаго, но сильнаго и страстнаго честолюбія. Эта страсть, столь ужасная и гибельная въ душахъ мощныхъ, но не проникнутыхъ елейною теплотою любви и правдивости, является ему въ страшной апоѳеозѣ трехъ вѣдьмъ. Ихъ загадочныя предсказанія, сейчасъ же сбывающіяся, не на долго смущаютъ его, ибо скоро узнаетъ онъ въ нихъ осуществившійся глубокій и мрачный замыселъ собственной души. Его честолюбіе является ему въ новой и еще болѣе чудовищной апоѳеозѣ— въ лицѣ его жены, этого демонскаго существа въ видѣ женщины. Она заглушаетъ въ немъ послѣдній ропотъ совѣсти, примѣромъ собственной сатанинской рѣшимости на злодѣйство, возбуждаетъ въ немъ ложный стыдъ, и окон-

чательно подвигнетъ его на проклятое дѣло. Здѣсь событіе почти не играетъ никакой роли: оно пріуготовляется волею самаго Макбета, а роковое стеченіе благопріятствующихъ злодѣйству обстоятельствъ только помогаетъ совершенію злодѣйства, но не порождаетъ его. Мы видимъ Макбета въ борьбѣ съ самимъ собою, въ трагической коллизіи: онъ могъ побѣдить въ себѣ грѣховное побужденіе и могъ послѣдовать ему. И эта вина его воли, что онъ послѣдовалъ влеченію злаго начала: его воля родила событіе, но не событіе дало направленіе его волѣ. Остальная часть этой драмы представляетъ уже слѣдствіе свободнаго выхода Макбета изъ роковой борьбы: уже не въ его волѣ измѣнить послѣдовавшія за цареубійствомъ событія; преступленіе отдало его во власть фуріямъ, которыя взяли его за руки и, какъ слѣпца, повели отъ злодѣйства къ новому злодѣйству. Отъ его воли зависѣло только пасть съ честію—и онъ палъ, сраженный, но непобѣжденный, какъ довлѣетъ виновному, но великому въ самой винѣ своей мужу. Событіе поставляетъ Отелло въ состояніе ревности. Это событіе вышло, конечно, не изъ его воли или сознанія, но тѣмъ не менѣе онъ самъ способствовалъ его совершенію своимъ волканическимъ темпераментомъ, своими знойными страстями, которыя мгновенно вспыхивали подобно песчанымъ мятелямъ въ пустыняхъ Аравіи, и не покорялис голосу разсудка, своимъ младенчески-довѣрчивымъ характеромъ, своимъ суевѣрнымъ воображеніемъ, напоминавшимъ его восточное, африканское происхожденіе. Обуздай онъ въ роковую минуту свое звѣрство въ отношеніи къ мнимо-виновной Дездемонѣ, — и истина открылась бы глазамъ его для счастія и блаженства жизни; но онъ не хотѣлъ, или не могъ обуздать порыва животной мести, — и свѣтъ истины озарилъ его глаза, подобно адскому блеску отъ свѣточей Эвменидъ, для того только, чтобъ онъ могъ измѣрить глубину бездны, въ которую стремглавъ низвергся....

Хотя всѣ эти три рода поэзіи существуютъ отдѣльно одинъ отъ другаго, какъ самостоятельные элементы: однакожь, проявляясь въ особныхъ произведеніяхъ поэзіи, они не всегда отличаются одинъ отъ другаго рѣзко опредѣленными границами. Напротивъ, они часто являются въ смѣшанности, такъ что иное эпическое по формѣ своей произведеніе отличается драматическимъ характеромъ, и наоборотъ. Эпическое произведеніе не только ничего не теряетъ изъ своего достоинства, когда въ него входитъ драматическій элементъ, но еще много выигрываетъ отъ этого. Это особенно относится къ произведеніямъ христіянскаго искусства, въ которомъ нѣтъ ничего выше человѣческой личности съ ея внутренней, субъективной стороны, и въ которомъ, посему, драматическій элементъ входитъ въ эпическій по праву и возвышаетъ его цѣну. Превосходный примѣръ эпическаго произведенія, проникнутаго драматическимъ элементомъ, представляетъ собою повѣсть Гоголя «Тарасъ Бульба». Это дивно-художественное созданіе заключаетъ въ себѣ двѣ трагическія коллизіи, изъ которыхъ каждой стало бы на великое драматическое произведеніе. Во время осады непріятельскаго города, уже доведеннаго до послѣдней крайности всѣми ужасами голода, Андрій сынъ Бульбы, встрѣчается съ давно уже плѣнившею его дѣвушкою изъ враждебнаго племени. Онъ не можетъ отдаться ей, не навлекши на себя проклятія отца, не измѣнивши своимъ соотчичамъ и единовѣрцамъ, а между тѣмъ, онъ не можетъ и оторваться отъ нея, ибо онъ столько же человѣкъ, сколько и Малороссіянинъ: вотъ коллизія. И полная натура, кипящая избыткомъ юныхъ силъ, безъ рефлексіи отдалась влеченію сердца; и за мигъ безконечнаго блаженства заплатила лютою казнію, смертію отъ рукъ роднаго отца, смертію, которая была необходимымъ слѣдствіемъ рѣшенія его воли въ коллизіи, и единственнымъ выходомъ изъ ложнаго, неестественнаго поло-

женія! Съ другой стороны, отецъ, который поставленъ уже не въ возможность, но въ необходимость быть палачемъ собственнаго сына: какое трагическое положеніе, какая ужасная коллизія, и такъ страшно вышла изъ нея желѣзная воля полудикаго Запорожца!.. Эта повѣсть Гоголя во всякомъ случаѣ была бы превосходнымъ произведеніемъ искусства, но, благодаря обилію драматическихъ элементовъ, насквозь проникнувшихъ ее, она должна занимать почетное мѣсто между созданіями перваго разряда величайшихъ творцовъ. Сколько внутренней жизни, сколько движенія сообщаетъ «Полтавѣ» Пушкина драматическій элементъ! Какимъ неотразимымъ обаяніемъ вѣетъ на душу, какъ глубоко потрясаетъ все существо наше одна сцена между Мазепою и Маріею, эта сцена, набросанная шекспировскою кистью! Мучимая ревностію любящаго женскаго сердца, Марія допытывается у Мазепы объясненія его холодности и таинственнаго поведенія:

О милый мой,
Ты будешь царь земли родной!
Твоимъ сѣдинамъ какъ пристанетъ
Корона царская!

Мазепа.

Постой,
Не все свершилось. Буря грянетъ;
Кто можетъ знать, что̀ ждетъ меня?

Марія.

Я близъ тебя не знаю страха—
Ты такъ могущъ! О! знаю я:
Тронъ ждетъ тебя.

Мазепа.

А если плаха?...

Марія.

Съ тобой на плаху, если такъ.
Ахъ, пережить тебя могу ли?
Но нѣтъ: ты носишь власти знакъ.

Мазепа.

Меня ты любишь?

Марія.

Я! люблю ли!

Мазепа.

Скажи: отецъ, или супругъ
Тебѣ дороже?

Марія.

Милый другъ,
Къ чему вопросъ такой? тревожитъ
Меня напрасно онъ. Семью
Стараюсь я забыть мою.
Я стала ей въ позоръ; быть можетъ,
(Какая страшная мечта!)
Моимъ отцомъ я проклята,
А за кого?

Мазепа.

Такъ я дороже
Тебѣ отца? Молчишь....

Марія.

О, Боже!

Мазепа.

Что жь? отвѣчай.

Марія.

Рѣши ты самъ.

Мазепа.

Послушай: если бъ было намъ,
Ему иль мнѣ, погибнуть надо,
А ты бы намъ судьей была:
Кого бъ ты въ жертву принесла,
Кому бы ты была ограда?

Марія.

Ахъ, полно! сердца не смущай!
Ты искуситель.

Мазепа.

Отвѣчай!

Марія.

Ты блѣденъ; рѣчь твоя сурова....
О, не сердись! Всѣмъ, всѣмъ готова
Тебѣ я жертвовать, повѣрь:
Но страшны мнѣ слова такія.
Довольно.

Мазепа.
Помни же, Марія,
Что̀ ты сказала мнѣ теперь.

Можно ли глубже заглянуть въ сердце женщины, беззавѣтно отдавшейся страстно любимому человѣку? Какъ дитя блестящею игрушкою, Марія уже заранѣе любуется короною на сѣдыхъ волосахъ возлюбленнаго; она любитъ его, и потому не знаетъ съ нимъ страха; въ ея глазахъ онъ «такъ могущъ», что она не хочетъ и вѣрить, чтобъ ему могла грозить опасность, хоть онъ и самъ предупреждаетъ ее о грозящей ему опасности!.. А если ему и суждено погибнуть, для нея не все еще кончено: для нея остается еще радость—вмѣстѣ съ нимъ умереть на плахѣ!.. Тутъ вся женщина въ апоѳеозѣ любви своей, и самъ Шекспиръ ни одной черты не могъ бы прибавить къ этому дивно-художественному изображенію нашего поэта! Сколько истины и вѣрности дѣйствительности въ страхѣ Маріи при мысли объ ужасномъ выборѣ между отцомъ и любовникомъ! Какъ естественно, что она желаетъ уклониться отъ утвердительнаго и неизбѣжнаго отвѣта на этотъ вопросъ, оледѣняющій холодомъ смерти сердце ея! Какое торжество женской натуры въ ея отвѣтѣ въ пользу возлюбленнаго, какъ бы насильно, подобно болѣзненному воплю, исторгнутомъ изъ ея души! Какимъ могильнымъ холодомъ вѣетъ отъ мрачныхъ словъ Мазепы, замыкающихъ собою эту дивную сцену:

Помни же, Марія,
Что̀ ты сказала мнѣ теперь!

А сцены между Орликомъ и Кочубеемъ, передъ пыткою послѣдняго; между Маріею и ея матерью; между Мазепою и Орликомъ, передъ полтавскою битвою, и между бѣгущимъ Мазепою и сумасшедшею Маріею: каждая изъ нихъ—трагедія, во всей безконечности значенія этого слова!..

Въ большей части романовъ Вальтера-Скотта и Купера есть важный недостатокъ, хотя на него никто не указы-

ваетъ и никто не жалуется (покрайней-мѣрѣ, въ русскихъ журналахъ): это рѣшительное преобладаніе эпическаго элемента и отсутствіе внутренняго, субъективнаго начала. Вслѣдствіе такого недостатка, оба эти великіе творца являются, въ отношеніи къ своимъ произведеніямъ, какъ-бы какими-то холодными безличностями, для которыхъ все хорошо, какъ есть, которыхъ сердце какъ-будто не ускоряетъ своего біенія при видѣ ни блага, ни зла, ни красоты, ни безобразія, и которыя какъ будто и не подозрѣваютъ существованія внутренняго человѣка. Конечно, это можетъ почитаться недостаткомъ только въ наше время, но тѣмъ не менѣе, оно все-таки есть недостатокъ: ибо современность есть великое достоинство въ художникѣ. Однакожь, оба эти романиста какъ бы невольно платили иногда дань духу новѣйшаго искуства, и мы ссылаемся на свидѣтельство собственныхъ ихъ созданій, чтобы показать, что лучшія и высшія изъ нихъ суть тѣ, которыя больше или меньше проникнуты драматическимъ элементомъ. «Ламмермурская Невѣста» даже на простыхъ читателей производитъ необыкновенно глубое впечатлѣніе, чѣмъ, конечно, обязано это произведеніе тому, что оно есть не что̀ иное, какъ трагедія въ формѣ романа. Вотъ почему Эдгардъ Равенсвудъ уже не просто сосредоточиваетъ на себѣ интересъ романа, но въ полномъ смыслѣ слова есть его герой, лицо оригинальное, характеръ типическій, существо дѣйствующее, а не страдательное. Посему, благородная личность его приковываетъ къ себѣ все наше вниманіе, а несчастная участь болѣзненно потрясаетъ все существо наше. Однакожь, этой безконечной силой впечатлѣнія романъ обязанъ не одному своему содержанію, но и простотѣ формы, сжатой и сосредоточенной, чуждой многосложности и запутанности въ ходѣ и развитіи событія, строгому единству дѣйствія, и очень жаль, что авторъ представилъ своего героя больше со-внѣ, и не заглянулъ глубже въ его душу, не освѣтивъ для насъ

драмы, которая разыгрывалась въ сокровенныхъ глубинахъ его сердца. Сдѣлай онъ это, и тогда его «Ламмермурская Невѣста» была бы истинною шекспировскою драмою, и дѣйствіе, производимое ею на читателя, было бы еще въ тысячу разъ сильнѣе. Въ «Сен-Ронанскихъ Водахъ», любовь и трагическія отношенія Франца Тирреля къ Кларѣ Мобрай, равно какъ и ужасныя отношенія его къ своему развратному брату, Этерингтону, раскрыты до сокровенныхъ глубинъ души и сердца. Сцены свиданія въ горахъ Тирреля съ Кларою, и потомъ свиданія Тирреля съ капитаномъ Джекилемъ, уполномоченнымъ посредникомъ со стороны преступнаго брата, проникнуты такою истиною, отличаются такою глубиною сердцевѣдѣнія и тайнъ страстей и страданія, что украсили бы собою любую драму Шекспира. Прочтя разъ, невозможно забыть, какъ безнравственный больше по привычкѣ и легкомыслію, чѣмъ по натурѣ, капитанъ Джекель, пришедши къ Тиррелю съ лукавыми намѣреніями, уходитъ отъ него, повѣсивъ голову и въ глубокомъ раздумьи, какъ бы въ первый еще разъ потрясенный непривычнымъ ему зрѣлищемъ безконечной любви, безконечнаго страданія и безконечнаго самоотверженія. Вообще, въ этомъ отношеніи, мы ставимъ «Сен-Ронанскія воды» несравненно выше и, такъ сказать, человѣчнѣе «Ламмермурской Невѣсты». Если не всѣ раздѣляютъ наше мнѣніе въ семъ случаѣ, причина этого заключается въ многосложности «Сен-Ронанскихъ Водъ», въ обиліи и запутанности происшествій и во множествѣ лицъ, столь характерныхъ и типическихъ. Въ отношеніи къ Тиррелю и Кларѣ, этотъ романъ больше драма, чѣмъ «Ламмермурская Невѣста»; но со стороны аксессуаровъ, это чистая эпопея, и притомъ болѣе или менѣе заслоняющая собою заключенную въ ней драму. Отверженная, непризнанная любовь Ревекки къ рыцарю Иваное, будучи, въ отношеніи къ цѣлому роману, какъ бы эпизодомъ, тѣмъ не менѣе даетъ ему цѣлость, какъ его основная

идея, живитъ и согрѣваетъ его, какъ свѣтъ солнечный природу, которая величественна, прекрасна и въ пасмурный день, но при солнцѣ является въ новомъ и преображенномъ видѣ. Сцена свиданія Ревекки съ лэди Ровенною, замыкающая собою романъ, производитъ на душу глубоко грустное, но и безконечно-отрадное впечатлѣніе, открывая намъ таинство страданія непризнанной любви глубокаго женственнаго существа, которое вполнѣ достойно обожанія, но судьбою своего рожденія среди отверженнаго и презираемаго племени, лишено, въ собственныхъ глазахъ, всякаго права и всякой надежды на взаимность христіянина и рыцаря... И вотъ благородная, прекрасная Еврейка приходитъ къ своей сопернице, предлагаетъ ей драгоцѣнные подарки и молитъ ее, какъ о милости, отдернуть покрывало и показать ей прекрасное лицо, плѣнившее идола ея растерзаннаго сердца... Какая картина сама по себѣ, и какую безконечную перспективу открываетъ она въ глубинѣ своего фона упоенному любовію и грустію взору читателя!...

Но еще несравненно высшій образецъ, чѣмъ всѣ эти, драматическаго романа представляетъ собою «Путеводитель въ Пустынѣ» Купера. Человѣкъ съ глубокою натурою и мощнымъ духомъ, проведшій лучшіе года своей жизни съ охотничьимъ ружьемъ за плечами, въ дѣвственныхъ неисходныхъ лѣсахъ Америки, добровольно отказавшійся отъ удобствъ и приманокъ цивилизованной жизни для широкаго раздолья величавой природы, для возвышенной бесѣды съ Богомъ въ торжественномъ безмолвіи его великаго творенія; человѣкъ, только что вполнѣ разцвѣтшій всѣми силами тѣла и духа, въ ту эпоху жизни, когда другіе уже отцвѣтаютъ, и въ сорокъ лѣтъ сохранившій свѣжесть и пламень чувства, дѣвственную чистоту младенчески-незлобиваго сердца; человѣкъ, возмужавшій подъ открытымъ небомъ, въ вѣчной борьбѣ съ опасностями, въ вѣчной войнѣ съ хищными звѣрями и злыми Мингами; человѣкъ съ желѣзными мышцами

и стальными мускулами въ сухощавомъ тѣлѣ, съ голубинымъ сердцемъ въ львиной груди,—этотъ человѣкъ встрѣчаетъ на дорогѣ жизни прекрасное, граціозное явленіе женственнаго міра—и тихо и незамѣтно любовь овладѣваетъ всѣмъ существомъ его.... Другъ его, сержантъ, отецъ прекрасной дѣвушки, давно уже обѣщалъ ему руку своей дочери. Вмѣстѣ съ нимъ, Мабель провожаетъ молодой и прекрасный Джасперъ. Безхитростное и простодушное сердце Патфайндера не предчувствуетъ въ Джасперѣ опаснаго соперника себѣ. Онъ любитъ его съ нѣжностью отца, съ преданностію друга; любитъ за его открытую душу, благородный и мужественный характеръ, бодрый и смѣлый нравъ, трудолюбіе и ловкость. Патфайндеръ не упускаетъ ни одного случая похвалить Мабели Джаспера, выставить ей на видъ его достоинства. И вотъ наступаетъ минута его объясненія съ Мабелью, — и всѣ мечты его уничтожаются жестокою дѣйствительностію: существо, которое одно заставило биться его сердце, которое одно могъ онъ полюбить со всею силою глубокой натуры, съ которымъ слилъ онъ драгоцѣннѣйшія мечты о счастіи и блаженствѣ всей жизни, доселѣ одинокой и грубой,—это существо уважаетъ его глубоко, свято, но женой его быть не можетъ.... Судорожно сжалъ онъ своими желѣзными пальцами шею и, улыбаясь сквозь страдальческое выраженіе своего лица, повторялъ: «Да, сержантъ виноватъ, сержантъ ошибся!» О, какъ глубоко страдалъ онъ, и какой благородный, человѣческій характеръ имѣло его страданіе: ничего звѣрскаго, ничего дикаго; грубые глаза его орошаются слезами, съ улыбкою сжимаетъ онъ руку Мабели—и отнынѣ, не оторвавшись отъ любви, отрывается навсегда отъ ея предмета, и мужественно несетъ на себѣ тяжелый крестъ!... Ужасная была минута, когда наконецъ онъ узнаетъ въ Джасперѣ своего соперника; но онъ выдержалъ и это испытаніе: онъ вручаетъ ему ее, благословляетъ ихъ обоихъ на радость и счастіе, которыхъ

ему самому уже не знать болѣе, онъ проситъ Джаспера цѣнить подругу своей жизни, не оскорблять грубою мужскою натурою ея нѣжнаго, женственнаго сердца—и скрывается отъ нихъ навсегда.... Мы пишемъ не критику этого превосходнаго произведенія и, боясь увлечься его частностями, намекаемъ только на общія черты; тѣ, кто прочелъ и понялъ этотъ романъ, тѣ помнятъ цѣлый рядъ дивно-художественныхъ сценъ, въ которыхъ съ такою потрясающею вѣрностію изображена борьба чувствъ, буря души Патфайндера, и которыхъ достоинства нельзя показать иначе, какъ прослѣдивши, въ послѣдовательномъ порядкѣ, всѣ ихъ подробности, а нѣкоторыя и выписавши цѣликомъ. Повторяемъ: читавшіе и уразумѣвшіе поймутъ насъ, и скажемъ только, что весь этотъ романъ есть апоѳеоза самоотреченія (Resignation), великая мистерія страданія, разоблаченіе глубочайшихъ и благороднѣйшихъ таинствъ человѣческаго сердца.

Куперъ является здѣсь глубокимъ сердцевѣдцемъ, великимъ живописцемъ міра души, подобно Шекспиру. Опредѣленно и ясно выговорилъ онъ невыразимое, примирилъ и слилъ во едино внѣшнее и внутреннее,—и его «Путеводитель въ Пустынѣ» есть шекспировская драма въ формѣ романа, единственное созданіе въ этомъ родѣ, неимѣющее ничего равнаго съ собою, торжество новѣйшаго искусства въ сферѣ эпической поэзіи. И всѣмъ этимъ романъ обязанъ, послѣ великаго творческаго генія своего автора, глубокому драматическому началу, которое просвѣчиваетъ въ каждой строкѣ повѣствованія, какъ солнечный лучъ въ граненомъ хрусталѣ....

Точно такъ же, какъ бываетъ драма въ эпопеѣ, бываетъ и эпопея въ драмѣ. У Грековъ, всѣ роды поэзіи, не исключая и самой лирики, отличаются характеромъ болѣе или менѣе эпическимъ; ибо вся жизнь этого народа выразилась преимущественно въ пластической созерцательности.

Трагедія Грековъ особенно отличается эпическимъ характеромъ и, въ этомъ отношеніи, діаметрально противоположна драмѣ новѣйшей, христіянской, шекспировской. Герой греческой трагедіи не человѣкъ, а событіе; интересъ ея сосредоточенъ не на участи индивидуума, а на судьбахъ народа, въ лицѣ его представителей. И оттого, главное лицо греческой трагедіи есть всегда полубогъ, царь, герой. а второе по немъ и противопоставленное ему лицо есть самъ народъ, присутствующій въ трагедіи какъ хоръ, который самъ не имѣетъ прямаго, дѣятельнаго вліянія на ходъ піесы, но который какъ бы созерцаетъ ея развитіе и выговариваетъ свое о немъ сознаніе. Въ своихъ герояхъ, греческіе трагики олицетворяли общія силы и стихіи народной и общественной жизни. Такъ въ благороднѣйшемъ созданіи Софокла «Антигонѣ», въ лицѣ героини трагедіи осуществлена идея естественнаго права семейственности, а въ лицѣ Креона—торжество государственнаго права, силы закона. Креонъ запрещаетъ, подъ смертною казнію, хоронить тѣло Полиника, какъ врага отчизны; а лишеніе погребенія считалось, по религіознымъ и общественнымъ понятіямъ Грековъ, величайшимъ позоромъ и бѣдствіемъ какъ для умершаго, такъ и для живыхъ его родственниковъ. Антигона, сестра Полиника, преклоняетъ свою сестру, Исмену, тайно погребсти тѣло ихъ несчастнаго брата. Робкая и слабая Исмена отказывается, — и великодушная Антигона одна совершаетъ свой благородный подвигъ. Когда узнавшій объ этомъ Креонъ спрашиваетъ ее, точно ли она сдѣлала это преступленіе и знала ли объ ожидавшей ее за тò казни,—Антигона отвѣчаетъ утвердительно, прибавляя, что если ея братъ былъ и виновенъ, то все-таки она «не ненавидѣть, а любить рождена». Безтрепетно выслушиваетъ она приговоръ лютой казни и не молитъ о прощеніи. Эмонъ, женихъ ея и сынъ Креона, молитъ его о пощадѣ своей невѣсты, ссорится съ непреклоннымъ отцомъ

и уходитъ отъ него въ отчаяніи. Жрецъ Тирезій совѣтуетъ ему погребсти тѣло Полиника, угрожая зловѣщими выраженіями гнѣва боговъ, оскорбленныхъ нарушеніемъ родственнаго права. Голосъ народа, въ лицѣ хора, явно на сторонѣ благородной Антигоны. Креонъ непреклоненъ, но сомнѣніе уже безпокоитъ его: онъ, можетъ быть, и готовъ бы простить благородную преступницу, но ему трудно ослабить силу закона и унизить достоинство государственнаго права. Наконецъ, голосъ хора, подкрѣпившій силу угрозъ Тирезія, преклоняетъ Креона спасти Антигону, хотя и неохотно. Но уже поздно: она повѣсилась въ пещерѣ, куда была отведена на голодную смерть, а Эмонъ, въ глазахъ отца, закалывается при ея трупѣ. Эвредика, супруга Креона, и мать Эмона, узнавши о гибели сына, тоже лишаетъ себя жизни. Креонъ проклинаетъ свою жестокость, оплакивая въ лютомъ отчаяніи милыя тѣни погубленныхъ имъ единокровныхъ. Трагедія торжественно заключается нравственною апоѳегмою хора, въ духѣ наивной древности. Итакъ, оскорбленное правомъ крови государственное право отомщаетъ за себя оскорбителю; но мститель, въ ужасныхъ слѣдствіяхъ своей мести, навлекаетъ на себя мщеніе оскорбленнаго имъ права крови; а мудрость, извлеченная народомъ изъ этого событія, служитъ примиреніемъ обѣихъ крайностей.... Какъ и въ эпопеѣ, въ трагедіи Грековъ преобладаетъ ихъ основное міросозерцаніе—судьба. Эдипъ безъ всякаго преступленія дѣлается ужаснымъ преступникомъ, и самъ караетъ себя за это лишеніемъ свѣта очей.... Смерть царственнаго страдальца примиряетъ съ нимъ подземныя силы—и могила его, по опредѣленію боговъ, дѣлается залогомъ благосостоянія для страны, пріютившей его мученическій прахъ.... Дѣйствіе каждой греческой трагедіи совершается во-внѣ; внутренній міръ дѣйствователей закрытъ отъ глазъ зрителей. Развитіе дѣйствія просто, не многосложно, въ одномъ моментѣ: ибо и самаго содержанія, чисто-объективнаго и

абстрактнаго, не могло бы стать на большое произведеніе. Механизмъ однообразенъ, пружины всегда однѣ и тѣ же. Дѣйствующія лица похожи на статуи, съ прекрасными, но почти неизмѣняющимися физіономіями, съ рельефнымъ выраженіемъ, но съ глазами безъ зрачковъ и живаго блеска.

Въ новѣйшемъ искусствѣ, эпическимъ характеромъ отличаются иногда только драмы собственно историческаго содержанія, основная идея которыхъ берется изъ сферы высшей государственной жизни. Таковы, напр., «Макбетъ» и «Ричардъ II» Шекспира. Въ «Отелло» развито чувство, каждому болѣе или менѣе понятное и доступное; въ «Королѣ Лирѣ», представлено положеніе, еще болѣе близкое и возможное для каждаго въ самой толпѣ, — и потому, эти піесы производятъ на всѣхъ сильное впечатлѣніе. Но интересъ «Макбета» и «Ричарда II» чисто объективный, и потому слишкомъ немногимъ доступный и родственный. Впрочемъ, обѣ драмы только въ этомъ отношеніи и могутъ быть названы эпическими: развитіе же ихъ въ высшей степени драматическое, ибо оно полно движенія, и каждое лицо, вполнѣ и всего себя высказываетъ въ сферѣ своего внутренняго интереса. Но «Борисъ Годуновъ» Пушкина есть трагедія чисто эпическаго характера. Преступленіе Годунова совершено еще до начала драмы, и поэтъ не показалъ намъ своего героя въ борьбѣ трагической коллизіи. Мы видимъ, какъ хитро и искусно допускаетъ онъ народу умолить себя—принять вѣнецъ, который давно уже почитаетъ своимъ; но не видимъ, что дѣлается у него внутри и какъ отзывается тамъ преступное дѣйствіе цареубійства. Тотчасъ вниманіе наше переходитъ на новаго героя, будущаго самозванца — орудіе, избранное историческою Немезидою для отмщенія попраннаго государственнаго права. Только тогда уже, какъ мститель является на сцену, поэтъ приподымаетъ слегка завѣсу, скрывавшую отъ насъ внутреннее состояніе Годунова, и дѣлаетъ насъ свидѣтелями

его нѣмыхъ бесѣдъ съ самимъ собою, его страшныхъ разсчетовъ съ своею совѣстію. Въ трагедіи Пушкина два героя, или, говоря собственно, нѣтъ ни одного: ея герой— событіе, идея котораго—мщеніе исторической Немезиды за оскорбленное государственное право. Вотъ почему это великое созданіе Пушкина немногимъ доступно и не можетъ пользоваться заслуживаемою имъ славою въ большинствѣ нашей публики: его идея и характеръ не имѣютъ общедоступнаго для всѣхъ интереса. Къ этому должно отнести и самый характеръ Годунова: слишкомъ держась исторіи, во вредъ своему произведенію, Пушкинъ представилъ Годунова не больше, какъ необыкновенно умнымъ честолюбцемъ, и не придалъ ему никакого личнаго величія, никакой геніяльной силы духа, свойственной герою исторіи. И потому, понимая цѣну нѣкоторыхъ частностей трагедіи (какъ, напр., геніяльной сцены Пимена лѣтописца въ кельѣ, наединѣ съ собою, и въ бесѣдѣ съ будущимъ самозванцемъ), не могутъ схватить идею цѣлаго созданія, столь колоссальнаго въ своемъ медленномъ и величаво-эпическомъ развитіи.

Къ эпическимъ драмамъ принадлежатъ многія драматическія произведенія, занимающія середину между трагедіею и комедіею. Таковы, напр., «Буря», «Цимбелинъ», «Двѣнадцатая Ночь», или «Что̀ угодно» Шекспира, въ которыхъ героемъ является сама жизнь. Возьмемъ, напр., «Что̀ угодно»: тутъ нѣтъ героя, или героини; тутъ каждое лицо равно занимаетъ насъ собою; даже внѣшній интересъ цѣлаго произведенія сосредоточенъ на двухъ любящихся па̀рахъ, которыя обѣ равно интересуютъ читателя, и которыхъ соединеніе составляетъ развязку драмы.

Перевѣсъ лирическаго элемента также бываетъ и въ эпопеѣ, и въ драмѣ. Къ разряду лирическихъ поэмъ относятся поэмы Байрона и Пушкина. Въ нихъ господствуетъ не событіе, какъ въ эпопеѣ, а человѣкъ, какъ въ драмѣ,

или обѣ эти стороны уравновѣшиваются и взаимно сопроникаются. Главное ихъ отличіе есть то, что въ нихъ берутся и сосредоточиваются только поэтическіе моменты событія, и самая проза жизни идеализируется и опоэтизировывается. «Евгеній Онѣгинъ» Пушкина также долженъ относиться къ числу лирическихъ поэмъ. Хотя проза жизни и составляетъ едва ли не большую часть содержанія «Онѣгина», но эта проза улеглась въ немъ въ живой, летучій, свѣтлый, поэтическій и гармоническій стихъ, который, даже сверкая огнемъ эпиграммы, растворенъ грустію—элементомъ чисто-лирическимъ. Отступленія поэта отъ разсказа, его обращенія къ самому себѣ, составляютъ драгоцѣннѣйшіе лирическіе перлы этого единственнаго и превосходнѣйшаго художественнаго созданія.

«Орлеанская Дѣва» и «Мессинская Невѣста» Шиллера суть по-преимуществу лирическія драмы, въ которыхъ дѣйствіе совершается какъ-бы не само для себя, но имѣетъ значеніе опернаго либретто, и которыхъ сущность составляютъ лирическіе монологи, высказывающіе основную идею каждой изъ нихъ. Это поэтическіе апоѳеозы благородныхъ страстей, высокихъ помысловъ и великихъ явленій,—что̀ особенно можно сказать объ «Орлеанской Дѣвѣ». Байроновъ «Манфредъ» и Гётевъ «Фаустъ» — тоже лирическія драмы, хотя и въ другомъ характерѣ: это поэтическія апоѳеозы распавшейся натуры внутренняго человѣка, чрезъ рефлексію стремящейся къ утраченной полнотѣ жизни. Вопросы субъективнаго, созерцательнаго духа, вопросы о тайнахъ бытія и вѣчности, о судьбѣ личнаго человѣка и его отношеніяхъ къ самому-себѣ и общему, составляютъ сущность обоихъ этихъ великихъ произведеній. По своему свойству, лирическая драма можетъ презирать условіями внѣшней дѣйствительности: вызывать на сцену духовъ и давать живые образы и лица страстямъ, желаніямъ и думамъ. Недостаткомъ лирической драмы можетъ быть на-

склонность къ символизму и аллегоріи,—въ чемъ болѣе или менѣе справедливо упрекаютъ вторую часть «Фауста».

Что̀ касается до собственно лирическихъ произведеній,—они иногда принимаютъ эпическій характеръ, какъ въ романсѣ и балладѣ, — о чемъ подробнѣе будетъ сказано ниже. Отъ драмы же они заимствуютъ, но не сущность, а только форму, которая способствуетъ сильнѣйшему выраженію мысли, подстрекая, такъ сказать, энергію чувства. Превосходнѣйшіе образцы такого рода лирическихъ произведеній въ драматической формѣ представляютъ слѣдующія піесы: «Поэтъ и Чернь» и «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ» Пушкина, «Поэтъ и Другъ» Веневитинова, «Журналистъ, Читатель и Писатель» Лермонтова.

Развивъ общее значеніе каждаго рода поэзіи и чрезъ опредѣленіе и чрезъ сравненіе, перейдемъ къ особенностямъ каждаго изъ нихъ и раздѣленію на виды.

ПОЭЗІЯ ЭПИЧЕСКАЯ.

Эпосъ, слово, сказаніе, передаетъ предметъ въ его внѣшней видимости и вообще развиваетъ, что̀ есть предметъ и какъ онъ есть. Начало эпоса есть всякое изрѣченіе, которое въ сосредоточенной краткости схватываетъ въ какомъ либо данномъ предметѣ всю полноту того, что̀ есть существеннаго въ этомъ предметѣ, что̀ составляетъ его сущность. У древнихъ, эпиграмма (въ смыслѣ надписи) имѣла этотъ характеръ. Сюда же принадлежатъ и такъ-называемые гномы древнихъ, т. е. нравственныя сентенціи, которыя нѣкоторымъ образомъ соотвѣтствуютъ нашимъ пословицамъ и притчамъ, впрочемъ, различаясь отъ этихъ послѣднихъ своимъ возвышеннымъ, поэтическимъ, а иногда и религіознымъ характеромъ, и отсутствіемъ комизма и прозаичности. Сюда же относятся цѣлыя собранія поученій, этихъ свѣжихъ твореній младенческаго народа, въ кото-

рыхъ онъ, до разрыва въ своей жизни поэзіи и прозы, въ непосредственной и живой формѣ созерцаній, излагалъ свое возрѣніе на міръ, на различныя части природы и т. п. Съ ними никакъ не должно смѣшивать позднѣйшихъ, возникшихъ изъ прозы жизни, такъ-называемыхъ дидактическихъ стихотвореній.

Еще выше на лѣстницѣ развитія эпоса находятся космогоніи и теогоніи древнихъ. Въ первыхъ представляется возникновеніе вселенной изъ первоначальныхъ субстанціяльныхъ силъ, а во-вторыхъ индивидуализированіе этихъ силъ въ различныя божества. Наконецъ, эпическая поэзія достигаетъ вершины своего развитія, полнаго осуществленія самой себя, дошедъ до живаго источника событій, человѣка, и выразившись въ собственно такъ называемой эпопеѣ.

Эпопея всегда считалась высшимъ родомъ поэзіи, вѣнцомъ искусства. Причина этому — великое уваженіе, которое питали къ «Иліадѣ» Греки, а за ними и другіе народы до нашего времени. Это безпредѣльное и безсознательное уваженіе къ величайшему произведенію древности, въ которомъ выразилось все богатство, вся полнота жизни Грековъ, простиралось до того, что на «Иліаду» смотрѣли не какъ на эпическое произведеніе въ духѣ своего времени и своего народа, но какъ на самую эпическую поэзію, т. е. смѣшали сочиненіе съ родомъ поэзіи, къ которому оно принадлежитъ. Думали, что всякое близкое къ формѣ «Иліады» произведеніе, всякій сколокъ съ нея, долженъ быть эпическою поэмою, и что всякій народъ долженъ имѣть свою эпопею, и притомъ точно такую, какая была у Грековъ. По «Иліадѣ» смастерили даже опредѣленіе эпической поэмы, по которому она сдѣлалась воспѣваніемъ великаго историческаго событія, имѣвшаго вліяніе на судьбу народа. Вслѣдствіе этого, оставалось только пріискать въ отечественной исторіи подобное событіе, призвать въ началѣ музу, на-

чать съ завѣтнаго «пою», и пѣть, пока не охрипнешь. И вотъ, Виргилій вспомнилъ преданіе о прибытіи Энея изъ Трои къ берегамъ Тибра, по претерпѣніи неизчетныхъ бѣдствъ, и, какъ онъ началъ съ слова «cano», то и самъ подумалъ и другихъ увѣрилъ, что будто написалъ эпическую поэму. Его выглаженное, обточенное и щегольское риторическое произведеніе, явившись въ анти-поэтическое время, въ эпоху смерти искусства въ древнемъ мірѣ, долго оспоривало у «Иліады» пальму первенства. Католическіе монахи Западной Европы чуть не причислили Виргилія къ лику святыхъ; анти-поэтическій французскій критикъ, Лагарпъ, чуть ли не ставилъ «Энеиду» еще выше «Иліады». Итакъ, «Энеида» породила «Освобожденный Іерусалимъ», «Похожденія Телемака, сына Улиссова», «Потерянный Рай», «Мессіаду», «Генріаду» «Гонзальва Кордуанскаго», «Тилемахиду», «Петріаду», «Россіаду» и множество другихъ «адъ». Испанцы гордились своею «Араукано́ю», Португальцы—«Луизитанами». Стоитъ только бросить взглядъ на сущность и условія эпопеи вообще и на характеръ «Иліады», чтобъ увидѣть до какой степени простирается безусловное достоинство этихъ «эпическихъ» и «героическихъ» поэмъ и піимъ.

Эпосъ есть первый зрѣлый плодъ въ сферѣ поэзіи только что пробудившагося сознанія народа. Эпопея можетъ явиться только во времена младенчества народа, когда его жизнь еще не распалась на двѣ противоположныя стороны—поэзію и прозу, когда его исторія есть еще только преданіе, когда его понятія о мірѣ суть еще религіозныя представленія, когда его сила, мощь и свѣжая дѣятельность проявляется только въ героическихъ подвигахъ. Въ «Иліадѣ» поэзія и проза жизни такъ нераздѣльно слиты между собою, что въ ней простыя ремесла называются искусствами, и Гефестъ-небожитель созидаетъ (а не работаетъ или дѣлаетъ), по творческимъ замысламъ, и щиты и оружіе для боговъ и ге-

роевъ, и золотые треноги, деревянныя подножія (по-просту—скамейки), чтобъ покоить богамъ ноги на пиршествахъ сладкихъ, храмины съ хитро устроенными дверями на петляхъ и съ задвижками плотными (а не замками—куда! до такой нѣмецкой хитрости не простиралось еще искусство самихъ боговъ). Въ «Иліадѣ», боги принимаютъ личное участіе въ дѣйствіяхъ людей; движимые страстями и пристрастіями, боги ссорятся между собою на совѣтахъ, дѣйствуютъ другъ противъ друга партіями, сражаются другъ съ другомъ въ рядахъ Ахеянъ и Данаевъ; ихъ прямое, непосредственное вліяніе рѣшаетъ судьбу событія. Въ «Иліадѣ» религія является еще не отдѣленною отъ другихъ стихій общественной жизни; право народное, понятія политическія, отношенія гражданскія и семейныя,—все вытекаетъ прямо изъ религіи и все возвращается въ нее. Хитроумный Одиссей состязается въ бѣгствѣ съ Аяксомъ Теламонидомъ, и видя, что тотъ обгоняетъ его, молитъ о помощи Палладу: вняла своему любимцу голубоокая дочь Эгіоха, и Аяксъ, поскользнувшись на тельчіемъ пометѣ, упадаетъ, и Одиссей получаетъ первую награду, серебряную шестимѣрную чашу, «Сидонянъ изящное дѣло», а Аяксъ радъ, что успѣлъ добыть второй призъ, «тельца откормленнаго, тяжкаго тукомъ». Видите ли: простая случайность не есть случайность, а дѣло богини, побороающей своему любимцу. Самъ Аяксъ отъ всей души вѣритъ этому:

Сталъ, и рукою держася за роги вола полеваго,
Онъ выплевывалъ калъ, и такъ говорилъ Аргивянамъ:
«Дочь громовержца, друзья, повредила мнѣ ноги, Аѳина.
«Вѣчно, какъ матерь, она Одиссею на помощь приходитъ!»
(Пѣснь XXIII, стр. 780—784)!

Одиссей есть апоѳеоза человѣческой мудрости; но въ чемъ состоитъ его мудрость? въ хитрости, часто грубой и плоской, въ томъ, что на нашемъ прозаическомъ языкѣ называется «надувательствомъ». И между тѣмъ, въ глазахъ

младенческаго народа, эта хитрость не могла не казаться крайнею степенью возможной премудрости. Отсюда вытекаетъ и наивный характеръ какъ самыхъ высокихъ, такъ и самыхъ простыхъ мыслей у Гомера, выражается ли въ нихъ народное міросозерцаніе, или только практическое наблюденіе, правило житейской мудрости. Существованіе Гомера полагаютъ за 600 лѣтъ до нашествія Ксеркса на Грецію, эпохи совершеннаго выхода народа изъ состоянія младенчества и полнаго развитія его духовной и гражданской жизни. Слѣдовательно, Гомеръ былъ именно тѣмъ, чѣмъ является въ своей «Иліадѣ»: старцемъ-младенцемъ, простодушнымъ геніемъ, который отъ всей души вѣритъ, что описываемое имъ могло быть именно такъ, какъ представлялось оно ему въ его вдохновенномъ ясновидѣніи; словомъ, онъ былъ одно съ своимъ твореніемъ, и его твореніе было искреннимъ и наивнымъ выраженіемъ святѣйшихъ его вѣрованій, глубочайшихъ его убѣжденій. Однакожъ, Гомеръ явился не въ самое время троянской войны, но около двухъсотъ лѣтъ послѣ нея. Будь онъ современнымъ свидѣтелемъ этого событія, онъ не могъ бы создать изъ него поэмы: надобно было, чтобъ событіе сдѣлалось поэтическимъ преданіемъ живой и роскошной фантазіи младенческаго народа; надобно было, чтобъ герои событія представлялись въ отдаленной перспективѣ, въ туманѣ прошедшаго, которые увеличили бы ихъ естественный ростъ до колоссальныхъ размѣровъ, поставили бы ихъ на котурнъ, облили бы ихъ съ головы до ногъ сіяніемъ славы, и скрыли бы отъ созерцающаго взора всѣ неровности и прозаическія подробности, столь замѣтныя и рѣзкія вблизи настоящаго. Настоящее не бываетъ предметомъ поэтическихъ созданій младенчествующаго народа,—и древній старецъ Гезіодъ, который, въ своемъ миѳическомъ гимнѣ Музамъ высказалъ всю сущность поэзіи, сознательно развитую германскимъ мышленіемъ, Гезіодъ говоритъ, что «Музы вдунули въ него

пѣснь божественную, да славитъ онъ будущее и бывшее», но что сами музы «увеселяютъ на Олимпѣ пѣснями великій умъ отца Дія, говоря обо всемъ, что̀ есть, что̀ будетъ и что̀ было»: только поэзія боговъ, кромѣ прошедшаго и будущаго, объемлетъ и настоящее, ибо у боговъ самая жизнь есть блаженство, поэзія *).... Но эпоха существованія Гомера не была отдѣлена слишкомъ рѣзкою чертою отъ эпохи воспѣтаго имъ событія: еще все было полно имъ, и преданію о немъ вѣрили, какъ исторіи, не видя большой разницы между прошедшимъ и настоящимъ, и потому Гомеръ, не бывши современникомъ троянской войны, тѣмъ не менѣе былъ полонъ гуломъ паденія священнаго Иліона...

Теперь ясно видно достоинство «Энеиды». Конечно, остроумный авторъ ея взялся за прошедшее, ухватился за преданіе; но это прешедшее, это преданіе интересовало его ни чѣмъ не больше, сколько насъ, Русскихъ, интересуютъ сомнительные походы Олега подъ Цареградъ. Членъ народа, почти совершившаго полный циклъ своей жизни, клонившагося къ паденію, сынъ цивилизаціи состарѣвшейся, одряхлѣвшей, утратившей всѣ вѣрованія, наружно чтившей боговъ, но подъ рукой смѣявшейся надъ ними,—какъ могъ Виргилій, не будучи лицемѣромъ и ханжею, быть благочестивымъ (pius), и не смѣясь говорить съ благоговѣніемъ и поэтическимъ жаромъ о томъ, что̀ не возбуждало въ немъ задушевнаго участія, не потрясало всѣхъ струнъ его сердца, не было его религіознымъ вѣрованіемъ?... Одно уже то, что его поэма родилась не изъ самобытной мысли, а была плодомъ сознательнаго дѣйствія, возбужденнаго существованіемъ «Иліады»; одно уже то̀, что его «Энеида» была не оригинальнымъ произведеніемъ, а рабскимъ подражаніемъ

---

*) «Теорія Поэзіи въ историческомъ развитіи у древнихъ и новыхъ народовъ» С. Шевырева, стр. 17.

великому образцу,—служитъ ей лучшею критикою и окончательнымъ приговоромъ. Это просто — «Похожденія Телемака, сына Уллисова» въ прекрасныхъ (со стороны внѣшней отдѣлки) латинскихъ гекзаметрахъ.

Лучшія попытки въ эпопеѣ у новѣйшихъ народовъ— безъ сомнѣнія, «Освобожденный Іерусалимъ», «Потерянный Рай» и «Мессіада». Онѣ въ самомъ дѣлѣ изобилуютъ превосходными поэтическими частностями и обнаруживаютъ въ своихъ творцахъ великія поэтическія способности; но усиліе дать имъ форму, чуждую ихъ содержанію и духу времени, усиліе сдѣлать изъ нихъ, во что бы то ни стало, «Иліады», естественнымъ образомъ исказило и изуродовало ихъ въ цѣломъ; но въ цѣломъ онѣ и потому уже не могли быть стройными, художественными созданіями, что вышли не изъ непосредственнаго акта творчества, а изъ сознательной и притомъ ошибочной мысли. Что имѣетъ общаго европейское рыцарство среднихъ вѣковъ съ жизнію героической Греціи? Что имѣютъ общаго крестовые походы съ троянскою войною? – ровно ничего, ибо внѣшняго сходства нечего и брать въ разсчетъ! И однакожь Тассъ изъ того и другаго непремѣнно хотѣлъ сдѣлать «Иліаду» и нѣсколько разъ передѣлывалъ свою поэму въ угоду академическимъ парикамъ.... Хотя «Orlando Furioso» Аріоста и далеко не пользуется такою знаменитостію, какъ «Освобожденный Іерусалимъ», но онъ въ тысячу разъ больше рыцарская эпопея, чѣмъ пресловутое твореніе Тасса. Калейдоскопическая пестрота лицъ и происшествій, узорочная ткань переплетенныхъ случайностей и столкновеній, самый комическій элементъ по праву духа и условій времени распавшійся на поэзію и прозу жизни, вошедшій въ поэму, любовь и бои, волшебство и чудеса, отступленія, эпизоды—все это въ чуждомъ претензій, натянутости и риторики произведеніи Аріоста гораздо больше, чѣмъ въ поэмѣ Тасса, выражаетъ духъ и колоритъ жизни европейскаго рыцарства, и

гораздо больше удовлетворяетъ требованіямъ рыцарской эпопеи.

«Потерянный Рай» есть произведеніе великаго таланта; но подобная поэма могла-бъ быть написана только Евреемъ библейскихъ временъ, а не пуританиномъ кромвелевской эпохи, когда въ вѣрованіе вошелъ уже свободный мыслительный (и притомъ еще чисто-разсудочный) элементъ. И потому, форма этой поэмы неестественна, и при многихъ превосходныхъ отдѣльныхъ мѣстахъ, обличающихъ исполинскую фантазію, въ ней множество уродливыхъ частностей, несоотвѣтствующихъ величію предмета: стòитъ только указать на сраженія ангеловъ съ падшими духами земнымъ оружіемъ, на раны, которыя наносятъ они своимъ эѳирнымъ тѣламъ и которыя заживаютъ, смотря по силѣ удара, отъ часу до сутокъ времени, на пушки, которыя ангелы добываютъ ночью изъ горъ, чтобъ стрѣлять изъ нихъ въ злыхъ духовъ....

«Мессіада» тоже не лишена поэтическихъ частностей....

О нашихъ россійскихъ «идахъ», «адахъ» и «ядахъ» нечего сказать, кромѣ: «Покойся, милый прахъ, до радостнаго утра»....

Если не всѣ, то почти всѣ народы, въ эпоху своего младенчества, имѣли эпическія сказанія; но не всѣ эти сказанія могутъ быть разсматриваемы съ художественной точки зрѣнія; ибо въ нихъ необходима безконечная идея. Если состояніе народа, его субстанція, составляютъ главное содержаніе эпоса,—необходимо еще, чтобъ народъ вмѣщалъ въ себѣ идею, духъ, чтобъ онъ былъ всемірно-историческимъ народомъ. Вотъ почему въ образецъ эпопеи могутъ быть приводимы только немногія созданія, какъ-то: индійскія поэмы «Махабгарата» и «Рамайяна», но преимущественно Гомеровы эпосы—«Иліада« и «Одиссея». Индійскія поэмы, при всемъ богатствѣ своемъ, не могутъ выдержать сравненія съ сими послѣдними, принадлежа къ

той степени развитія искусства, на которой оно еще только стремится къ своему осуществленію, слѣдовательно, не удовлетворяетъ еще всѣмъ требованіямъ поэзіи. Другія эпическія пѣснопѣнія, важныя въ національномъ отношеніи, какъ, напр., Niebelungenlied Германцевъ, не имѣютъ еще въ себѣ всеобъемлющаго человѣческаго интереса и не представляютъ художественной полноты.

Итакъ, содержаніе эпопеи должны составлять сущность жизни, субстанціяльныя силы, состояніе и бытъ народа, еще неотдѣлившагося отъ индивидуальнаго источника своей жизни. Посему, народность есть одно изъ основныхъ условій эпической поэмы: самъ поэтъ еще смотритъ на событіе глазами своего народа, не отдѣляя отъ этого событія своей личности. Но, чтобъ эпопея, будучи въ высшей степени національнымъ, была бы въ то же время и художественнымъ созданіемъ,—необходимо, чтобъ форма индивидуальной народной жизни заключала въ себѣ обще-человѣческое, міровое содержаніе. Такова была индивидуальная жизнь Грековъ,—и потому даже младенческій лепетъ ихъ космогоническихъ и теогоническихъ пѣснопѣній заключаетъ въ себѣ идеи, которыя въ послѣдствіи сдѣлались достояніемъ всего человѣчества. Повторяемъ: въ гимнѣ Гезіода Музамъ, на который мы уже ссылались выше, заключается зерно и сущность эстетики новѣйшаго времени, полной философіи изящнаго, развитой созерцательною мыслительностію современныхъ намъ Германцевъ. Вотъ почему «Иліада» и «Одиссея», будучи національно-греческими созданіями, въ то же время принадлежатъ всему человѣчеству, равно доступны всѣмъ вѣкамъ и всѣмъ народамъ, болѣе или менѣе удобно переводимы на всѣ языки и нарѣчія въ мірѣ. Греки, эпохою своего младенчества, выразили младенчество цѣлаго человѣчества, какъ полные и достойные его представители, — и въ поэмахъ Гомера человѣчество вспоминаетъ съ умиленіемъ о свѣтлой эпохѣ своего собственнаго (а не гре-

ческаго только) младенчества. Въ русскихъ, напр., пѣсняхъ и эпическихъ сказаніяхъ, много поэзіи, но эта поэзія заключена въ тѣсномъ и заколдованномъ кругу народной индивидуальности, лишена обще-человѣческаго содержанія, и потому понятно и сильно говоритъ только русской душѣ, но безмолвна для всякаго другаго народа и непереводима ни на какой другой языкъ. По этой же причинѣ, наши народныя пѣсни и эпическія сказанія лишены всякой художественности и, сверкая мѣстами яркими блестками поэзіи, въ то же время исполнены прозаическихъ мѣстъ; часто мысль въ нихъ не находитъ своего выраженія и лепечетъ намеками и символами. Только обще-человѣческое, міровое содержаніе можетъ проявиться въ художественной формѣ.

Субстанціяльная жизнь народа должна выразиться въ событіи, чтобъ дать содержаніе для эпопеи. Во времена младенчества народа, жизнь его преимущественно выражается въ удальствѣ, храбрости и героизмѣ. Посему общенародная война, которая пробудила, вызвала наружу и напрягла всѣ внутреннія силы народа, которая составила собою эпоху въ его (еще миѳической) исторіи, и имѣла вліяніе на всю его послѣдующую жизнь, — такая война представляетъ собою по превосходству эпическое событіе и даетъ богатый матеріялъ для эпопеи. Баснословная троянская война была для Грековъ именно такимъ событіемъ и дала содержаніе для «Иліады» и «Одиссеи», а эти поэмы дали содержаніе большей части трагедій Софокла и Эврипида. Дѣйствующія лица эпопеи должны быть полными представителями національнаго духа; но герой преимущественно долженъ выражать своею личностію всю полноту силъ народа, всю поэзію его субстанціяльнаго духа. Таковъ Ахиллесъ Гомера. Вы любите Гектора, опору своего погибающаго народа и семейства, нѣжнаго супруга и отца, храбраго и мощнаго витязя, уступающаго одному Ахиллесу,

вы горько жалѣете о его смерти и какъ-будто досадуете на пристрастіе судьбы и боговъ, поборающихъ Ахиллесу на счетъ справедливости, но вглядитесь пристальнѣе — и вы увидите, что рьяный, гнѣвный, доблестный и поэтическій Пелидъ по праву беретъ верхъ надъ Гекторомъ. Онъ герой по преимуществу, съ головы до ногъ облитый нестерпимымъ блескомъ славы, полный представитель всѣхъ сторонъ духа Греціи, достойный сынъ богини. Гекторъ человѣчнѣе Ахилла, но Ахиллъ божественнѣе Гектора. Ахиллъ выше всѣхъ другихъ героевъ цѣлою головою; Аяксъ равенъ ему силою, но уступаетъ въ быстротѣ ногъ. Несторъ, мужъ совѣта, убѣленный лѣтами, представляетъ собою апоѳеозу старости, умудренной опытомъ долговременной жизни, апоѳеозу елейной теплоты сердца и старческаго благодушія. Одиссей — представитель мудрости въ смыслѣ политики. Аяксъ исполненъ рьяности, дикаго мужества и тѣлесной силы. Пастырь народовъ, Агамемнонъ, отличается царственнымъ величіемъ. Словомъ, каждое изъ дѣйствующихъ лицъ «Иліады» выражаетъ собою какую-нибудь сторону національнаго греческаго духа; но Ахиллъ представляетъ собою совокупность субстанціяльныхъ силъ народа. Онъ не видитъ себѣ равнаго, и только на совѣтахъ добровольно уступаетъ нѣкоторымъ. Ахиллъ — это поэтическая апоѳеоза героической Греціи, это герой поэмы по праву; великая геройская душа его обитаетъ въ прекрасномъ, богоподобномъ тѣлѣ; мужество слилось съ красотою въ лицѣ его; въ движеніяхъ его величавость, грація и пластическая живописность; въ рѣчахъ его благородство и энергія. Не диво, что боги и сама судьба побораютъ ему; не диво, что одно появленіе его, безоружнаго, на валу и троекратный крикъ обратилъ въ бѣгство войско Троянъ. Онъ есть центръ всей поэмы: его гнѣвъ на Агамемнона и примиреніе съ нимъ дали ей завязку и развязку, начало, середину и конецъ. Гнѣвный, онъ сидитъ въ бездѣйствіи

въ своей палаткѣ, играя на злотострунной лирѣ, не участвуя въ бояхъ; но онъ ни на минуту не перестаетъ быть героемъ поэмы: въ ней все отъ него исходитъ и все къ нему возвращается. Но это потому, что онъ присутствуетъ въ поэмѣ не отъ себя, а отъ лица народа, какъ его представитель....

Что эпопея должна имѣть цѣлость, единство дѣйствія, соразмѣрность въ частяхъ — это составляетъ необходимое условіе каждаго художественнаго произведенія, а не исключительное свойство эпопеи.

Эпопея нашего времени есть романъ. Въ романѣ, всѣ родовые и существенные признаки эпоса, съ тою только разницею, что въ романѣ господствуютъ иные элементы и иной колоритъ. Здѣсь уже не миѳическіе размѣры героической жизни, не колосальныя фигуры героевъ, здѣсь не дѣйствуютъ боги; но здѣсь идеализируются и подводятся подъ общій типъ явленія обыкновенной прозаической жизни. Романъ можетъ брать для своего содержанія или историческое событіе, и въ его сферѣ развить какое-нибудь частное событіе, какъ въ эпосѣ: различіе заключается въ характерѣ самыхъ этихъ событій, а слѣдовательно, и въ характерѣ развитія и изображенія; или, романъ можетъ брать жизнь въ ея положительной дѣйствительности, въ ея настоящемъ состояніи. Это вообще право новѣйшаго искусства, гдѣ судьбы частнаго человѣка важны не столько по отношенію его къ обществу, сколько къ человѣчеству. Ежедневная жизнь хотя и имѣетъ своимъ послѣднимъ основаніемъ вѣчныя субстанціяльныя силы, но въ своемъ проявленіи случайно и подавлена внѣшностями, лишенными всякой значительности. Исторія хотя уже обнаруживаетъ въ дѣйствительномъ проявленіи вѣчные законы и разумную необходимость, но въ проявленіи, ея факты лишены самосознанія, и потому имѣютъ видъ внѣшнихъ событій, а притомъ они вѣчно перепутаны и переплетены

съ случайностями ежедневной жизни. Задача романа, какъ художественнаго произведенія, есть—совлечь все случайное съ ежедневной жизни и съ историческихъ событій, проникнуть до ихъ сокровеннаго сердца — до животворной идеи, сдѣлать сосудомъ духа и разума внѣшнее и разрозненное. Отъ глубины основной идеи и отъ силы, съ которою она организуется въ отдѣльныхъ особностяхъ, зависитъ большая или меньшая художественность романа. Исполненіемъ своей задачи, романъ становится на ряду со всѣми другими произведеніями свободной фантазіи, и въ такомъ смыслѣ, долженъ быть строго отдѣляемъ отъ эѳемерныхъ произведеній бельлетристики, удовлетворяющихъ насущнымъ потребностямъ публики. Имена Ричардсоновъ, Фильдинговъ, Радклифъ, Левисовъ, Дюкре-дю-Менилей, Лафонтеновъ, Шписовъ, Крамеровъ, Поль-де-Коковъ, Марріетовъ, Диккенсовъ, Лесажей, Мачьюреновъ, Гюго, Де-Виньи, имѣютъ свою относительную важность и пользуются, или пользовались, заслуженною извѣстностію; но ихъ отнюдь не должно смѣшивать съ именами Сервантеса, Вальтера-Скотта, Купера, Гофмана и Гёте, какъ романистовъ.

Сфера романа несравненно обширнѣе сферы эпической поэмы. Романъ, какъ показываетъ самое его названіе, возникъ изъ новѣйшей цивилизаціи христіянскихъ народовъ, въ эпоху человѣчества, когда всѣ гражданскія, общественныя, семейныя, и вообще человѣческія отношенія, сдѣлались безконечно многосложны и драматичны, жизнь разбѣжалась въ глубину и ширину въ безконечномъ множествѣ элементовъ. Кромѣ занимательности и богатства содержанія, романъ ни чѣмъ не ниже эпической поэмы и какъ художественное произведеніе. Намъ возразятъ, можетъ-быть, тѣмъ, что мы сами признали образцовыми только двѣ поэмы, тогда какъ одинъ Вальтеръ-Скоттъ написалъ больше тридцати романовъ. Правда, эпическая поэма требуетъ большей сосредоточенности въ силѣ генія, который видитъ въ ней

подвигъ цѣлой жизни своей; но причина этого совсѣмъ не въ превосходствѣ эпопеи надъ романомъ, а въ богатѣйшемъ и превосходнѣйшемъ содержаніи жизни новѣйшихъ народовъ въ сравненіи съ жизнію древнихъ Грековъ. Ихъ историческая жизнь вся выразилась въ одномъ событіи и въ одной поэмѣ (ибо «Одиссея» есть какъ бы продолженіе и окончаніе «Иліады», хотя и выражаетъ собою другую сторону греческой жизни). Явись у нихъ новый Гомеръ,— и для его поэмы уже не было бы другаго событія въ родѣ троянской войны; а еслибы, положимъ, и нашлось такое событіе, то все - таки его поэма была бы повтореніемъ «Иліады» и, слѣдовательно, не имѣла бы никакого достоинства. Но возьмите, напр., крестовые походы: Вальтеръ-Скоттъ написалъ цѣлые четыре романа, относящихся къ этой эпохѣ («Графъ Робертъ Парижскій», «Коннетабль Честерскій», «Талисманъ», «Иваное»),—и еслибы онъ написалъ ихъ тысячу, и тогда бы не исчерпалъ всей полноты этого событія. Кромѣ того, на сторонѣ романа еще и то великое преимущество, что его содержаніемъ можетъ служить и частная жизнь, которая никакимъ образомъ не могла служить содержаніемъ греческой эпопеи: въ древнемъ мірѣ существовало общество, государство, народъ, но не существовало человѣка, какъ частной индивидуальной личности, и потому въ эпопеѣ Грековъ, равно какъ и въ ихъ драмѣ, могли имѣть мѣсто только представители народа— полубоги, герои, цари. Для романа же, жизнь является въ человѣкѣ, и мистика человѣческаго сердца, человѣческой души, участь человѣка, всѣ ея отношенія къ народной жизни, для романа—богатый предметъ. Въ романѣ совсѣмъ не нужно, чтобъ Ревекка была непремѣнно царица или героиня въ родѣ Юдиѳи: для него нужно только, чтобъ она была женщина.

Романъ обязанъ Вальтеръ-Скотту своимъ высокимъ художественнымъ развитіемъ. До него, романъ удовлетворялъ

только требованіямъ эпохи, въ которую являлся, и вмѣстѣ съ нею умиралъ. Исключеніе остается только за безсмертнымъ твореніемъ Испанца Мигэля Сервантеса «Донъ Кихотъ», да развѣ еще за романами Гёте («Вертеръ», «Вильгельмъ Мейстеръ», «Die Wahlverwandschaften»). Послѣдніе, впрочемъ, имѣютъ особое, хотя и великое значеніе, какъ созданія рефлектирующаго, а не непосредственнаго творчества. Вальтеръ-Скоттъ, можно сказать, создалъ историческій романъ, до него не существовавшій. Люди, лишенные отъ природы эстетическаго чувства и понимающіе поэзію разсудкомъ, а не сердцемъ и духомъ, возстаютъ противъ историческихъ романовъ, почитая въ нихъ незаконнымъ соединеніе историческихъ событій съ частными происшествіями. Но развѣ въ самой дѣйствительности, историческія событія не переплетаются съ судьбою частнаго человѣка; и наоборотъ, развѣ частный человѣкъ не принимаетъ иногда участія въ историческихъ событіяхъ? Кромѣ того, развѣ всякое историческое лицо, хотя бы то былъ и царь, не есть въ то же время и просто человѣкъ, который, какъ и всѣ люди, и любитъ и ненавидитъ, страдаетъ и радуется, желаетъ и надѣется? И тѣмъ болѣе, развѣ обстоятельства его частной жизни не имѣютъ вліянія на историческія событія, и наоборотъ? Исторія представляетъ намъ событіе съ его лицевой, сценической стороны, не приподнимая завѣсы съ закулисныхъ происшествій, въ которыхъ скрываются и возникновеніе представляемыхъ ею событій и ихъ совершеніе въ сферѣ ежедневной, прозаической жизни? Романъ отказывается отъ изложенія историческихъ фактовъ и беретъ ихъ только въ связи съ частнымъ событіемъ, составляющимъ его содержаніе; но черезъ это, онъ разоблачаетъ предъ нами внутреннюю сторону, изнанку, такъ сказать, историческихъ фактовъ, вводитъ насъ въ кабинетъ и спальню историческаго лица, дѣлаетъ насъ свидѣтелями его домашняго быта, его се-

мейныхъ тайнъ, показываетъ его намъ не только въ парадномъ историческомъ мундирѣ, но и въ халатѣ съ колпакомъ. Колоритъ страны и вѣка, ихъ обычаи и нравы, выказываются въ каждой чертѣ историческаго романа, хотя и не составляютъ его цѣли. И потому, историческій романъ есть какъ бы точка, въ которой исторія, какъ наука, сливается съ искусствомъ; есть дополненіе исторіи, ея другая сторона. Когда мы читаемъ историческій романъ Вальтера-Скотта, то какъ бы дѣлаемся сами современниками эпохи, гражданами страны, въ которыхъ совершается событіе романа, и получаемъ о нихъ, въ формѣ живаго созерцанія, болѣе вѣрное понятіе, нежели какое могла бы намъ дать о нихъ какая-угодно исторія.

По художественному достоинству своихъ романовъ, Вальтеръ-Скоттъ стоитъ на ряду съ величайшими творцами всѣхъ вѣковъ и народовъ. Онъ истинный Гомеръ христіанской Европы. Наравнѣ съ нимъ стоитъ геніяльный Куперъ, романистъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ. Его романы совершенно самобытны и, кромѣ высокаго художественнаго достоинста, не имѣютъ ничего общаго съ романами Вальтеръ-Скотта, хотя, впрочемъ, и были ихъ результатомъ, въ смыслѣ исторической послѣдовательности развитія новѣйшей литературы: за Вальтеръ-Скоттомъ остается слава созданія новѣйшаго романа.

Повѣсть есть тотъ же романъ, въ меньшемъ объемѣ, который условливается сущностію и объемомъ самаго содержанія. Въ нашей литературѣ, этотъ видъ романа имѣетъ представителемъ истиннаго художника — Гоголя. Лучшія изъ его повѣстей: «Тарасъ Бульба», «Старосвѣтскіе Помѣщики» и «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ». Близко, по художественному достоинству, стоитъ повѣсть Пушкина «Капитанская Дочка», а отрывокъ изъ его неконченнаго романа «Арапъ Петра Великаго» показываетъ, что еслибы не

преждевременная кончина поэта, то русская литература обогатилась бы художественнымъ историческимъ романомъ. Кромѣ ихъ, для повѣсти и даже романа, много обѣщаетъ въ будущемъ молодой, недавно явившійся на поприще нашей литературы талантъ—г. Лермонтовъ. Въ нѣмецкой литературѣ, повѣсть имѣетъ своимъ представителемъ геніяльнаго Гофмана, создавшаго, можно сказать, особый родъ фантастической поэзіи. Другія литературы не представляютъ такого богатаго развитія повѣсти; даже въ самой англійской литературѣ нѣтъ нувеллистовъ, которыхъ имена могли бы упоминаться послѣ именъ Вальтеръ-Скотта и Купера. Вашингтонъ-Ирвингъ необыкновенно даровитый разскащикъ, по не болѣе.

Хотя новѣйшія стихотворныя поэмы, образцы которыхъ представляютъ поэмы Байрона и Пушкина, и которыя, въ эпоху своего появленія, назывались романтическими поэмами,—хотя онѣ, по явному присутствію въ нихъ лирическаго элемента, и должны называться лирическими поэмами; но тѣмъ не менѣе, онѣ принадлежатъ къ эпическому роду; ибо основаніе каждой изъ нихъ есть событіе, да и самая форма ихъ чисто эпическая. Впрочемъ, это уже эпопея нашего времени, эпопея смѣшанная, проникнутая насквозь и лиризмомъ, и драматизмомъ и нерѣдко занимающая у нихъ и формы. Въ ней событіе не заслоняетъ собою человѣка, хотя и само по себѣ можетъ имѣть свой интересъ.

Къ эпическому роду относится еще и идиллія или эклога, изъ которой XVIII вѣкъ сдѣлалъ особый родъ поэзіи—поэзію пастушескую, или буколическую. Тогда непремѣнно хотѣли, чтобъ идиллія воспѣвала жизнь пастуховъ въ до-общественный періодъ человѣчества, когда люди (будто-бы) были невинны, какъ барашки, добры, какъ овечки, нѣжны, какъ голубки. Приторная, сладенькая сантиментальность, растлѣнное, гнилое чувство любви, лишен-

ное всякой энергіи, составляли отличительный характеръ этой пастушеской поэзіи. И ее выдумали на основаніи древнихъ, во имя Теокрита. Чтобы показать, до какой степени нелѣпа эта плоская клевета на древнихъ и на Теокрита, и чтобъ дать истинное понятіе объ идилліи,—представляемъ здѣсь мнѣніе объ этомъ предметѣ знаменитаго Гнѣдича, глубокаго знатока древности, проникнутаго ея художественнымъ духомъ, обвѣяннаго ея священными звуками, истиннаго поэта по душѣ и по таланту. Вотъ что̀ говоритъ онъ въ предисловіи къ переведенной имъ съ греческаго идилліи Теокрита «Сиракузянки, или праздникъ Адониса»:

«Поэзія идиллическая у насъ, какъ и въ новѣйшихъ литературахъ европейскихъ, ограничена тѣснымъ опредѣленіемъ поэзіи пастушеской: опредѣленіе ложное. Изъ него истекаютъ и другія, столько же неосновательныя мнѣнія, что поэзія пастушеская (т. е. идиллія, эклоги), въ словесности нашей существовать не можетъ, ибо у насъ нѣтъ пастырей, подобныхъ древнимъ, и проч. и проч.

«Идиллія Грековъ, по самому значенію слова *) есть видъ, картина, или то̀, что̀ мы называемъ сцена; но сцена жизни и пастушеской, и гражданской, и даже героической. Это доказываютъ идилліи Теокрита, поэта перваго, а лучше сказать, единственнаго, который, въ семъ особенномъ родѣ поэзіи, служилъ образцомъ для всѣхъ народовъ Запада. Хотя не онъ началъ обработывать сей родъ, но онъ усовершенствовалъ его, приблизивъ болѣе къ природѣ.—Занявъ для идиллій своихъ формы изъ мимъ, сценическихъ представленій, изобрѣтенныхъ въ отечествѣ его, Сициліи, онъ обогатилъ ихъ разнообразіемъ содержанія; но предметы для нихъ избиралъ большею частію простонародные, чтобъ пыш-

*) ἰδύλλιων происходитъ отъ εἶδος *видъ* и есть слово уменьшительное, такъ сказать, *видикъ*.

ности двора александрійскаго, при которомъ жилъ, противопоставить мысли простыя, народныя, и сею противоположностью плѣнить читателей, которые были вовсе удалены отъ природы. Дворъ Птоломеевъ совершенно не зналъ нравовъ пастырей сицилійскихъ; картины жизни ихъ должны были имѣть для читателей идиллій двоякую прелесть, и по новости предмета, и по противоположности съ чрезмѣрною изнѣженностію и необузданною роскошью того времени. Сердце, утомленное бременемъ роскоши и шумомъ жизни, жадно плѣняется тѣмъ, что̀ напоминаетъ ему жизнь болѣе тихую, болѣе сладостную. Природа никогда не теряетъ своего могущества надъ сердцемъ человѣка.

«Вездѣ, гдѣ общества человѣческія доходили до предѣла, на которомъ былъ тогда Египетъ, поэты также пытались производить подобныя противоположности. Но одни Греки умѣли быть вмѣстѣ и естественными и оригинальными. Всѣ другіе народы хотѣли улучшивать, или по своему переиначивать самую природу: чувство замѣняли чувствительностію, простоту—изысканностію. У Римлянъ нѣсколько разъ пытались представить горожанамъ картины жизни сельской. Идилліями началъ свое поприще Виргилій; но несмотря на прелесть стиховъ, онъ остался позади Теокрита: пастухи его большею частію ораторы. Калпурній и другіе изъ Римлянъ подражали Виргилію, не природѣ.

«Въ литературахъ новѣйшихъ временъ, особенно въ итальянской, когда всѣ роды поэзіи были испытаны, являлось множество идиллій, посреди народа развращеннаго; но какъ мало естественности въ Санназаро, какая изысканность въ Гваринп! О французахъ и говорить нечего. Геснеръ, котораго много читали при дворѣ Людовика XV, также не могъ выдержать испытанія времени: онъ создалъ природу сантиментальную, на свой образецъ, пастуховъ своихъ идеализировалъ, а что̀ хуже, въ идилліи ввелъ миѳологію греческую. Въ этомъ состояло его важнѣйшее за-

блужденіе: нимфы, фавны, сатиры для насъ умерли, и не могутъ показаться въ поэзіи нашего времени, не разливая ледянаго холода.—Такимъ образомъ, Теокритъ остается, какъ Гомеръ, тѣмъ свѣтлымъ фаросомъ, къ которому всякій разъ, когда мы заблуждаемся, должно возвратиться.

«До сихъ поръ одни поэты германскіе, намъ современные, хорошо поняли Теокрита: Фоссъ, Бропнеръ, Гебель, произвели идилліи истинно народныя; плѣнительныя картины ихъ переносятъ читателя къ той сладостной жизни въ нѣдрахъ природы, отъ которой нынѣшнее состояніе общества такъ насъ удаляетъ: онѣ вселяютъ даже любовь къ сему роду жизни. Успѣхъ сей производятъ не одни дарованія писателей. Санназаро, Геснеръ имѣли также дарованія. Германскіе поэты поняли, что родъ поэзіи идиллической болѣе, нежели всякій другой, требуетъ содержаній народныхъ, отечественныхъ; что не одни пастухи, но всѣ состоянія людей, по роду жизни близкихъ къ природѣ, могутъ быть предметами сей поэзіи. Вотъ главная причина ихъ успѣха».

Вотъ содержаніе «Сиракузянокъ» Теокрита: Сиракузянки, съ семействами ихъ пріѣхавшія въ Александрію, приходятъ одна къ другой; желая видѣть праздникъ Адониса, идутъ во дворецъ Птоломея Филадельфа, гдѣ жена его, Арсиноя, великолѣпно устроила это празднество. Эта идиллія представляетъ съ одной стороны быть простаго народа, его повседневную жизнь, семейныя отношенія; съ другой стороны, отношенія простаго народа къ высшей субстанціяльной народной жизни, заставляя простыхъ женщинъ приходить въ восторгъ и умиленіе отъ высокой, поэтической пѣсни Адонису, пропѣтой знаменитою пѣвицею, дѣвою аргивскою. Та и другая сторона, т. е. проза и поэзія простонароднаго быта, видны даже въ заключительной рѣчи Горго, одной изъ Сиракузянокъ:

Ахъ, Праксиноя, чудесное пѣнье! Аргивская дѣва
Счастлива даромъ, стократъ она счастлива голосомъ сладкимъ!
Время однако домой: Діоклидъ мой еще не обѣдалъ:
Мужъ у меня онъ презлой, а какъ голоденъ, съ нимъ не встрѣчайся.
Милый Адонисъ, прости! возвратися опять намъ на радость!

Образцами идиллій могутъ служить также переведенныя Жуковскимъ стихотворенія Гебеля и другихъ нѣмецкихъ поэтовъ: «Красный Карбункулъ», «Двѣ Были и еще одна», «Неожиданное Свиданіе», «Норманскій Обычай», «Путешественникъ и Поселянка» (Гёте), «Овсяный Кисель», «Деревенскій Сторожъ», «Тлѣнность, разговоръ на дорогѣ, ведущей въ Базель, въ виду развалинъ замка Ретлера, вечеромъ», «Воскресное Утро въ Деревнѣ». На русскомъ языкѣ было много оригинальныхъ идиллій, но, слѣдуя пословицѣ:» кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ», мы о нихъ умалчиваемъ. Блестящее исключеніе представляетъ собою превосходная идиллія Гнѣдича «Рыбаки». Бытъ и самый образъ выраженія дѣйствующихъ лицъ въ ней идеализированы, но не въ смыслѣ мнимо-классической идеализаціи, которая состояла въ ходуляхъ, бѣлилахъ, и румянахъ, а тѣмъ, что слишкомъ проникнута лиризмомъ и вѣетъ духомъ древнее-эллинской поэзіи, несмотря на руссизмъ многихъ выраженій. Во всякомъ случаѣ, роскошь красокъ, глубокая внутренняя жизнь, счастливая идея и прекрасные стихи, дѣлаютъ идиллію Гнѣдича истиннымъ, хотя, къ сожалѣнію, еще и неоцѣненнымъ перломъ нашей литературы. Пушкина «Гусаръ», «Будрысъ и его Сыновья» также суть идилліи.

Къ эпической поэзіи принадлежатъ апологъ и басня, въ которыхъ опоэтизировывается проза жизни и практическая обиходная мудрость житейская. Этотъ родъ поэзіи достигъ высшаго своего развитія только въ двухъ новѣйшихъ литературахъ — французской и русской. Въ первой представитель басни есть Лафонтенъ; наша литература

имѣетъ нѣсколько талантливыхъ баснописцевъ, а въ Крыловѣ истинно-геніяльнаго творца народныхъ басень, въ которыхъ выразилась вся полнота практическаго ума, смышлености, повидимому, простодушной, но язвительной насмѣшки русскаго народа.

Къ эпической же поэзіи должна относиться и такъ называемая дидактическая поэзія; но о ней мы еще будемъ говорить.

ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗІЯ.

Въ эпосѣ субъектъ поглощенъ предметомъ; въ лирикѣ, онъ не только переноситъ въ себя предметъ, растворяетъ, проникаетъ его собою, но и изводитъ изъ своей внутренней глубины всѣ тѣ ощущенія, которыя пробудило въ немъ столкновеніе съ предметомъ, Лирика даетъ слово и óбразъ нѣмымъ ощущеніямъ, выводитъ ихъ изъ душнаго заточенія тѣсной груди на свѣжій воздухъ художественной жизни, даетъ имъ особое существованіе. Слѣдовательно, содержаніе лирическаго произведенія не есть уже развитіе объективнаго происшествія, но самъ субъектъ и все, что̀ проходитъ черезъ него. Этимъ условливается дробность лирики: отдѣльное произведеніе не можетъ обнять цѣлости жизни, ибо субъектъ не можетъ въ одинъ и тотъ же мигъ быть всѣмъ. Отдѣльный человѣкъ въ различные моменты полонъ различнымъ содержаніемъ. Хотя и вся полнота духа доступна ему, но не вдругъ, а въ отдѣльности, въ безчисленномъ множествѣ различныхъ моментовъ. Все общее, все субстанціяльное, всякая идея, всякая мысль—основные двигатели міра и жизни, могутъ составить содержаніе лирическаго произведенія, но при условіи, однакожь, чтобъ общее было претворено въ кровное достояніе субъекта, входило въ его ощущеніе, было связано не съ какою либо

одною его стороною, но со всею цѣлостію его существа. Все, что̀ занимаетъ, волнуетъ, радуетъ, печалитъ, услаждаетъ, мучитъ, успокоиваетъ, тревожитъ, словомъ, все, что̀ составляетъ содержаніе духовной жизни субъекта, все, что̀ входитъ въ него, возникаетъ въ немъ,—все это пріемлется лирикою, какъ законное ея достояніе. Предметъ здѣсь не имѣетъ цѣны самъ по себѣ, но все зависитъ отъ того, какое значеніе даетъ ему субъектъ, все зависитъ отъ того вѣянія, того духа, которыми проникается предметъ фантазіею и ощущеніемъ. Что̀, напр., за предметъ— засохшій цвѣтокъ, найденный поэтомъ въ книгѣ?—но онъ внушилъ Пушкину одно изъ лучшихъ, одно изъ благоуханнѣйшихъ, музыкальнѣйшихъ его лирическихъ произведеній.

Лирическое произведеніе, выходя изъ моментальнаго ощущенія, не можетъ и не должно быть слишкомъ длинно; иначе, оно будетъ и холодно и натянуто, и вмѣсто наслажденія, только утомитъ читателя. Чтобъ пробудить наше чувство и долго поддерживать его въ дѣятельности,—намъ нужно созерцаніе какого-нибудь объективнаго содержанія: иначе, чѣмъ глубже раскроется и чѣмъ пышнѣйшимъ цвѣтомъ развернется чувство, тѣмъ скорѣе и охладѣетъ оно. Вотъ почему опера есть самое длинное музыкальное произведеніе: въ ней музыка привязана къ объективному дѣйствію, и драматизмъ ея, несмотря на господствующій мотивъ, придаетъ ей живое разнообразіе. Та же бы самая опера, но написанная на воображаемое, а не на существующее либретто, показалась бы утомительною. По тому же самому, и лирическая поэма, или драма, не имѣетъ опредѣленныхъ границъ для своего объема. Но собственно лирическое произведеніе, плодъ минутнаго вдохновенія, можетъ потрясти все существо наше, наполнить насъ собою на долгое время,—но не иначе, какъ если для его прочтенія нужно не больше нѣсколькихъ минутъ. Плодъ мгно-

венной настроенности духа поэта, лирическое произведеніе пропадаетъ невозвратно, если не переходитъ на бумагу прежде, нежели духъ поэта не подчинился новой настроенности. И потому, ни поэтъ не можетъ написать длинной лирической піесы, которая, при длиннотѣ своей, отличалась бы единствомъ ощущенія, а слѣдовательно, и единствомъ мысли, и потому была бы полна, цѣлостна и индивидуальна; ни воспріемлемость нашего чувства не можетъ быть долго въ дѣятельности и скоро не утомиться, не будучи поддерживаема разнообразіемъ идей и ỏбразовъ, возбуждающихъ ее и вмѣстѣ дѣйствующихъ и на умъ. Вотъ почему лирическія произведенія Пушкина всѣ безъ исключенія такъ коротки, въ сравненіи съ лирическими піесами его предшественниковъ. Длиннота лирическихъ піесъ обыкновенно происходитъ или оттого, что поэтъ, въ одной и той же піесѣ, переходитъ отъ одного ощущенія къ другому, и переходы эти поневолѣ принужденъ связывать риторическими вставками, или отъ ложнаго, анти-поэтическаго и еще болѣе анти-лирическаго направленія—развивать дидактически какія-нибудь отвлеченныя мысли. Полный представитель того и другаго недостатка, производящаго длинноту лирическихъ піесъ, есть риторическій элегистъ Ламартинъ. Хотя тѣ же самые недостатки въ Державинѣ выкупаются иногда яркими проблесками сильнаго таланта, однако такія длинныя оды его, какъ «Ода на взятіе Измаила» въ цѣломъ невыносимо утомительны; самый «Водопадъ» его трудно прочесть сразу. Чтỏ же касается до ораторскихъ рѣчей въ стихахъ, которыми безсмертный Ломоносовъ плѣнялъ слухъ вѣрныхъ Россовъ; до надутыхъ пузырей риторическаго эмфаза въ «торжественныхъ одахъ» Петрова; до водяныхъ разглагольствованій Капниста, въ которыхъ онъ, по правиламъ риторики г. Кошанскаго, оплакиваетъ свои утраты и «злополучія», наконецъ, до торжественныхъ и казенныхъ лиропѣній Мерзлякова, читан-

ныхъ имъ на университетскихъ актахъ *): онѣ годятся только для того, чтобъ магнетически погружать душу читателей въ тяжкую скуку и сонную апатію.

Лирическая поэзія возникаетъ на всѣхъ ступеняхъ жизни и сознанія; во всѣ вѣка и эпохи; но цвѣтущее ея состояніе, въ противоположность эпосу, бываетъ уже тогда, какъ образуется въ народѣ субъективность, съ одной стороны, и положительная прозаическая дѣйствительность, съ другой. На ступени же непосредственнаго сознанія, гдѣ такъ роскошно и полно развивается эпосъ, лирическая поэзія еще далека отъ своего высшаго назначенія и, говоря собственно, находится еще внѣ сферы искусства. Это такъ-называемая естественная, или народная поэзія.

Виды лирической поэзіи зависятъ отъ отношеній субъекта къ общему содержанію, которое онъ беретъ для своего произведенія. Если субъектъ погружается въ элементъ общаго созерцанія и какъ бы теряетъ въ этомъ созерцаніи свою индивидуальность, то являются: гимнъ, диѳирамбъ, псальмы, пеаны. Субъективность на этой ступени какъ бы не имѣетъ еще своего собственнаго голоса, и вся вполнѣ отдается тому высшему, которое осѣнило ее; здѣсь еще мало обособленія, и общее хотя и проникается вдохновеннымъ ощущеніемъ поэта, однако проявляется болѣе или менѣе отвлеченно. Это начало, первый моментъ лирической поэзіи, и потому, напримѣръ, гимны Каллимаха и Гезіода, диѳирамбы Пиндара носятъ на себѣ характеръ эпическій, допускаютъ въ себя повѣствованія, и вообще

*) Здѣсь разумѣются только оды Мерзлякова, а не его переводы изъ древнихъ и русскія пѣсни, большая часть которыхъ превосходна. Натура Мерзлякова была поэтическая, но риторика и піитика прошлаго вѣка часто сбивали ее съ толку. Что же до одъ Ломоносова, то здѣсь разумѣются только торжественныя, въ которыхъ длинноты и риторическій характеръ не выкупаются и блестками поэзіи.

являются въ видѣ лирическихъ поэмъ довольно большаго объема. Новѣйшая поэзія мало можетъ представить образцовъ такого рода лирическихъ произведеній. Знаменитый «Гимнъ Радости» Шиллера слишкомъ проникнутъ сознаніемъ, чтобъ его можно было отнести къ нимъ, хотя по эксцентрической силѣ пламеннаго, бурнаго одушевленія, онъ и можетъ назваться и гимномъ и диѳирамбомъ. Содержаніе Пушкина «Торжества Вакха», его же «Вакхической Пѣсни» и «Вакханки» Батюшкова взято изъ древней жизни. «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская Годовщина» Пушкина, хотя и дышутъ бурнымъ, пламеннымъ, диѳирамбическимъ вдохновеніемъ, но тоже не могутъ быть названы гимнами, или диѳирамбами въ строгомъ смыслѣ, потому-что въ нихъ слишкомъ замѣтна личность поэта. Образцы произведеній этого рода представляетъ только древность.

Субъективность поэта, сознавъ уже себя, свободно беретъ и объемлетъ собою какой-либо интересующій ее предметъ: тогда является ода. Предметъ оды и самъ по себѣ можетъ имѣть какой-либо субстанціяльный интересъ (различныя сферы жизни, дѣйствительности, сознанія: государство, слава боговъ, героевъ, любовь, дружба и т. п.); въ такомъ случаѣ, оды имѣютъ характеръ торжественный. Хотя здѣсь поэтъ и весь отдается своему предмету, но не безъ рефлексіи на свою субъективность; онъ удерживаетъ свое право, и не столько развиваетъ самый предметъ, сколько свое, полное этимъ предметомъ вдохновеніе. Таковы піесы Пушкина: «Наполеонъ», «Къ морю», «Кавказъ», и «Обвалъ». Вообще, надо замѣтить, что ода—этотъ средній родъ между гимномъ, или диѳирамбомъ и пѣснею, тоже мало свойственъ нашему времени; поэтъ нашего времени дѣлаетъ изъ увлекшаго его предмета фантазію, картину (какъ, напримѣръ, Лермонтовъ изъ Кавказа «Дары Терека»); но любимый и задушевный его родъ — пѣсня, значеніе и сущность которой болѣе лирическія и субъек-

тивныя. Въ одѣ больше внѣшняго, объективнаго; тогда какъ пѣсня есть чистѣйшій эѳиръ субъективности. Вотъ почему у Пушкина такъ мало одъ, въ которыхъ преимущественно проявлялась могучая поэтическая дѣятельность Державина. Многія оды Державина, несмотря на ихъ невыдержанность, на нехудожественную отдѣлку, регулярную форму и большее или меньшее присутствіе риторики, могутъ служить, въ духѣ своего времени, образцами одъ, какъ вида лирической поэзіи. Таковы особенно: «На Смерть Мещерскаго», «Водопадъ», «Къ первому сосѣду», «Осень во время осады Очакова», «Хариты», «Рожденіе Красоты» и проч.

Чистый, безпримѣсный элементъ лирики является въ пѣснѣ, въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова, какъ выраженіе чисто-субъективныхъ ощущеній. Все безчисленное многоразличіе тѣхъ таинственныхъ, невыразимыхъ безъ творческой силы поэзіи ощущеній, которыя такъ безотчетно, такъ особенно возникаютъ въ темнотѣ нашей внутренности, освобождаются здѣсь отъ своей особенности, т. е. отъ исключительной принадлежности мнѣ, и выпархиваютъ на свѣтъ, окрыленныя фантазіею. Наконецъ, субъектъ, кромѣ этихъ совершенно личныхъ ощущеній, выражаетъ въ лирическихъ произведеніяхъ болѣе общіе, болѣе сознательные факты своей жизни, различныя созерцанія, воззрѣнія, сближенія, мысли, весь объективный запасъ свѣдѣній, и пр. Сюда, кромѣ собственно пѣсни, относятся сонеты, станцы, канцоны, элегіи, посланія, сатиры, и наконецъ, всѣ тѣ многоразличныя стихотворенія, которыя трудно даже и назвать особеннымъ именемъ. Всѣ они, вмѣстѣ съ пѣснею, составляютъ исключительную лирику нашего времени. Лучшія, задушевнѣйшія созданія лирической музы Пушкина принадлежатъ къ числу ихъ. Таковы, напр., «Уединеніе», «Недоконченная Картина», «Возрожденіе», «Погасло дневное свѣтило», «Люб-

лю вашъ сумракъ неизвѣстный», «Простишь ли мнѣ ревнивыя мечты», «Ненастный день потухъ», «Демонъ», «Желаніе славы», «Подъ небомъ голубымъ страны своей родной», «19 октября», «Зимняя дорога», «Ангелъ», «Поэтъ», «Воспоминаніе», «Предчувствіе», «Цвѣтокъ», «На холмахъ Грузіи лежитъ ночная тѣнь», «Когда твои младыя лѣта», «Зимнее Утро», «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ», «Поэту», «Трудъ», «Мадонна», «Зимній Вечеръ», «Даръ напрасный», «Анчаръ», «Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье», и многія другія. По нашему перечню можно видѣть, что большая ихъ часть безъ названія и означается первымъ стихомъ: это свойство лирическихъ произведеній, содержаніе которыхъ неуловимо для опредѣленія, какъ музыкальное ощущеніе. Какъ образецъ благоуханности, музыкальности, легкой, прозрачной формы, граціи выраженія чувства нѣжнаго, но глубокаго и мужескаго, какъ образецъ сущности лиризма, растореннаго и насквозь проникнутаго чистѣйшимъ, безпримѣснымъ эѳиромъ благороднѣйшей субъективности, выписываемъ здѣсь одно изъ посмертныхъ стихотвореній Пушкина:

Для береговъ отчизны дальной
Ты покидала край чужой;
Въ часъ незабвенный, часъ печальный,
Я долго плакалъ предъ тобой.
Мои хладѣющія руки
Тебя старались удержать;
Томленья страшнаго разлуки
Мой стонъ молилъ не прерывать.
Но ты отъ горькаго лобзанья
Свои уста оторвала;
Изъ края мрачнаго изгнанья
Ты въ край иной меня звала.
Ты говорила: въ день свиданья
Подъ небомъ вѣчно голубымъ,
Въ тѣни оливъ, любви лобзанья

Мы вновь, мой другъ, соединимъ.
Но тамъ, увы, гдѣ неба своды
Сіяютъ въ блескѣ голубомъ,
Гдѣ подъ скалами дремлютъ воды,
Заснула ты послѣднимъ сномъ.
Твоя краса, твои страданья
Изчезли въ урнѣ гробовой—
А съ нимъ и поцѣлуй свиданья....
Но жду его: онъ за тобой. ..

Это мелодія сердца, музыка души, непереводимая на человѣческій языкъ, и тѣмъ не менѣе заключающая въ себѣ цѣлую повѣсть, которой завязка на землѣ, а развязка на небѣ...

Въ посланіяхъ и сатирахъ взглядъ поэта на предметы преобладаетъ надъ ощущеніемъ. Посему стихотворенія этого рода могутъ превосходить объемомъ пѣсню и другія собственно лирическія произведенія. Впрочемъ, и въ посланіи и въ сатирѣ, поэтъ смотритъ на предметы сквозь призму своего чувства, даетъ своимъ созерцаніямъ и воззрѣніямъ живые поэтическіе ὀбразы; дидактизмъ, какъ обыкновенно понимаютъ его, тутъ не можетъ имѣтъ мѣста. Сатира не должна быть осмѣяніемъ пороковъ и слабостей, но порывомъ, энергіею раздраженнаго чувства, громомъ и молніею благороднаго негодованія. Въ ея основаніи долженъ лежать глубочайшій юморъ, а не веселое и невинное остроуміе. Превосходный образецъ посланія представляетъ собою стихотвореніе Пушкина «Къ Вельможѣ», въ которомъ поэтъ въ дивно-художественныхъ ὀбразахъ характеризовалъ русскій XVIII вѣкъ и намекнулъ на значеніе XIX-го. Чтò до сатиры, то мы не знаемъ на русскомъ языкѣ лучшихъ образцовъ ей, какъ «Дума» и «Не вѣрь себѣ» Лермонтова.

Элегія собственно есть пѣсня грустнаго содержанія; но въ нашей литературѣ, по преданію отъ Батюшкова, написавшаго «Умирающаго Тасса», возникъ особый родъ исто-

рической или эпической элегіи. Поэтъ вводитъ здѣсь даже событіе подъ формою воспоминанія, проникнутаго грустью. Посему и объемъ такихъ элегій обширнѣе обыкновенныхъ лирическихъ произведеній. Таковы: Батюшкова же элегія «На развалинахъ Замка въ Швеціи», Пушкина «Андрей Шенье»; самый «Водопадъ» Державина можно назвать эпическою элегіею. Впрочемъ, эпическая элегія можетъ имѣть и не историческое содержаніе, какъ, напр., знаменитая элегія Грея, «Сельское Кладбище», такъ прекрасно переданная по-русски Жуковскимъ, и элегія Батюшкова «Тѣнь Друга». Къ лирическимъ произведеніямъ принадлежатъ еще дума, баллада и романсъ. Дума есть тризна историческому событію, или просто пѣсня историческаго содержанія. Дума почти тò же, чтò эпическая элегія; только она требуетъ непремѣнно народности во взглядѣ и выраженіи. Превосходныя образцы того и другаго имѣемъ мы въ «Пѣснѣ объ Олегѣ Вѣщемъ» и «Пирѣ Петра Великаго» Пушкина. Въ балладѣ, поэтъ беретъ какое-нибудь фантастическое и народное преданіе, или самъ изобрѣтаетъ событіе въ этомъ родѣ. Но въ ней главное не событіе, а ощущеніе, которое оно возбуждаетъ, дума, на которую оно наводитъ читателя. Баллада и романсъ возникли въ средніе вѣка, и потому герои европейскихъ балладъ—рыцари, дамы, монахи; содержаніе—явленія духовъ, таинственныя силы подземнаго міра; сцена—замокъ, монастырь, кладбище, темный лѣсъ, поле битвы. Превосходные переводы Жуковскаго познакомили насъ съ балладами Шиллера, Гёте, Вальтеръ-Скотта, и другихъ германскихъ и англійскихъ пѣвцовъ. Жуковскій и самъ написалъ нѣсколько превосходныхъ балладъ; лучшія изъ нихъ тѣ, которыхъ содержаніе взято не изъ русской жизни. Особенно прекрасны: «Эолова Арфа» и «Ахиллъ». Пушкина «Женихъ», «Утопленникъ» и «Бѣсы» представляютъ превосходнѣйшіе образцы національныхъ русскихъ балладъ. Романсъ отли-

чается отъ баллады рѣшительнымъ преобладаніемъ лирическаго элемента надъ эпическимъ, а вслѣдствіе этого, и гораздо меньшимъ объемомъ. Жуковскій познакомилъ насъ своими поэтическими переводами и съ этимъ родомъ лирической поэзіи.

Лиризмъ есть преобладающій элементъ въ германской литературѣ. Лирическая поэзія и музыка составляютъ самый пышный цвѣтъ художественной жизни этой націи. Шиллеръ и Гёте—это цѣлые два міра лирической поэзіи, два великія ея солнца, окруженныя множествомъ спутниковъ и звѣздъ различныхъ величинъ. Богатая литература Англіи, и въ лиризмѣ также едва ли уступаетъ какой литературѣ, какъ и превосходитъ всѣ другія литературы въ эпической и драматической поэзіи. Сонеты и лирическія поэмы (какъ, напр. «Венера и Адонисъ») Шекспира, поэмы и мелкія піесы Байрона, лирическія поэмы Вальтеръ-Скотта, произведенія Томаса Мура, Уордсворта, Борнса, Сутея, Кольриджа, Купера и другихъ, составляютъ богатѣйшую сокровищницу лирической поэзіи. Французы почти не имѣютъ лирической поэзіи; по крайней мѣрѣ, она не восходила у нихъ дальше народной пѣсни (водевиля); Беранже единственный великій ихъ лирикъ, но его летучія созданія, по народной формѣ своего выраженія, непереводимы ни на какой языкъ. Послѣ его пѣсенъ, достойны замѣчанія проникнутыя духомъ пластической древности элегіи Андрея Шенье и ямбы энергическаго Барбье.

Собственно лирическая поэзія, въ смыслѣ выраженія внутренняго субъективнаго чувства при виртуозности формы, началась у насъ съ Пушкина. О его собственныхъ произведеніяхъ здѣсь довольно сказать, что имъ нѣтъ цѣны. Онъ увлекъ ими за собою всю нашу литературу, всѣ возникавшіе таланты, и со времени его появленія, элегія-пѣсня сдѣлалась исключительнымъ родомъ лирической поэзіи; только старики и пожилые люди допѣвали еще свои

торжественныя оды. Явившіеся съ Пушкинымъ и пошедшіе по данному имъ направленію таланты, теперь уже вполнѣ опредѣлились, пишутъ мало, или уже и совсѣмъ не пишутъ; тѣмъ не менѣе, нѣкоторые изъ нихъ отличались замѣчательною силою и обогатили русскую лирическую поэзію прекрасными произведеніями. Но никто, съ перваго же появленія своего, не обнаружилъ такой мощи, такого богатства фантазіи, такой виртуозности въ формѣ своихъ созданій, какъ Лермонтовъ. Нѣкоторые изъ его лирическихъ произведеній могутъ состязаться въ художественномъ достоинствѣ съ пушкинскими. Справедливость требуетъ замѣтить еще, какъ рѣзко выдавшееся явленіе, могучій талантъ Кольцова. Онъ создалъ себѣ особый, совершенно оригинальный и неподражаемый родъ поэзіи. Правда, сфера его поэзіи вращается въ заколдованномъ кругу народности, но онъ расширяетъ этотъ кругъ, внося въ народную и наивную форму своихъ пѣсенъ и думъ болѣе общее содержаніе изъ болѣе высшей сферы сознанія.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭЗІЯ.

Драма представляетъ совершившееся событіе какъ бы совершающимся въ настоящемъ времени, передъ глазами читателя или зрителя. Будучи примиреніемъ эпоса съ лирою, драма не есть отдѣльно ни то, ни другое, но образуетъ собою особенную органическую цѣлость. Съ одной стороны, кругъ дѣйствія въ драмѣ не замкнутъ для субъекта, но, напротивъ, изъ него выходитъ и къ нему возвращается. Съ другой стороны, присутствіе субъекта въ драмѣ имѣетъ совсѣмъ другое значеніе, чѣмъ въ лирѣ: онъ уже не есть сосредоточенный въ себѣ внутренній міръ, чувствующій и созерцающій, не есть уже самъ поэтъ, но онъ выходитъ и становится самъ для созерцанія среди объективнаго и реальнаго міра, организуемаго собственною его

дѣятельностію; онъ раздѣлился и является живою совокупностію многихъ лицъ, изъ дѣйствія и противодѣйствія которыхъ слагается драма. Вслѣдствіе этого, драма не допускаетъ въ себя эпическихъ изображеній мѣстности, происшествій, состояній, лицъ, которыя всѣ сами должны быть передъ нашимъ созерцаніемъ. Требованія самой народности въ драмѣ гораздо слабѣе, чѣмъ въ эпопеѣ: въ «Гамлетѣ» мы видимъ Европу, и, по духу и натурѣ лицъ, Европу сѣверную, но не Данію, и притомъ Богъ-знаетъ въ какую эпоху. Драма не допускаетъ въ себя никакихъ лирическихъ изліяній; лица должны высказывать себя въ дѣйствіи: это уже не ощущенія и созерцанія — это характеры. То, что обыкновенно называется въ драмѣ лирическими мѣстами, есть только энергія раздраженнаго характера, его паѳосъ, невольно окриляющій рѣчь особеннымъ полетомъ; или тайная, сокровенная дума дѣйствующаго лица, о которой нужно намъ знать и которую поэтъ заставляетъ его думать вслухъ. Дѣйствіе драмы должно быть сосредоточено на одномъ интересѣ и быть чуждо побочныхъ интересовъ. Въ романѣ, иное лицо можетъ имѣть мѣсто не столько по дѣйствительному участію въ событіи, сколько по оригинальному характеру: въ драмѣ, не должно быть ни одного лица, которое не было бы необходимо въ механизмѣ ея хода и развитія. Простота, немногосложность и единство дѣйствія (въ смыслѣ единства основной идеи) должно быть однимъ изъ главнѣйшихъ условій драмы; въ ней все должно быть направлено къ одной цѣли, къ одному намѣренію. Интересъ драмы долженъ быть сосредоточенъ на главномъ лицѣ, въ судьбѣ котораго выражается ея основная мысль.

Впрочемъ, все это относится болѣе къ высшему роду драмы — къ трагедіи. Сущность трагедіи, какъ мы уже выше говорили, заключается въ коллизіи, т. е. въ столкновеніи, сшибкѣ естественнаго влеченія сердца съ нравственнымъ долгомъ, или просто съ непреоборимымъ пре-

пятствіемъ. Съ идеею трагедіи соединяется идея ужаснаго, мрачнаго событія, роковой развязки. Нѣмцы называютъ трагедію печальнымъ зрѣлищемъ, Trauerspiel,—и трагедія въ самомъ дѣлѣ есть печальное зрѣлище! Если кровь и трупы, кинжалъ и ядъ не суть всегдашніе ея аттрибуты, тѣмъ не менѣе ея окончаніе всегда—разрушеніе драгоцѣннѣйшихъ надеждъ сердца, потеря блаженства цѣлой жизни. Отсюда и вытекаетъ ея мрачное величіе, ея исполинская грандіозность: рокъ царитъ въ ней, рокъ составляетъ ея основу и сущность... Что̀ такое коллизія? — безусловное требованіе судьбою жертвы себѣ. Побѣди герой естественное влеченіе сердца своего въ пользу нравственнаго закона—прости, счастіе, простите, радости и обаянія жизни! онъ мертвецъ посреди живущихъ; его стихія—грусть глубокой души, его пища—страданіе, ему единственный выходъ—или болѣзненное самоотрѣченіе, или скорая смерть! Послѣдуй герой трагедіи естественному влеченію своего сердца — онъ преступникъ въ собственныхъ глазахъ, онъ жертва собственной совѣсти, ибо его сердце есть почва, въ которую глубоко вросли корни нравственнаго закона — не вырвать ихъ, не разорвавши самого сердца, не заставивши его истечь кровью. Въ коллизіи, законъ бытія напоминаетъ собою повелѣніе Нерона, по которому казнили, какъ преступниковъ, и тѣхъ, кто не плакалъ объ умершей сестрѣ властелина: ибо они не сочувствовали его утратѣ,—и тѣхъ, кто плакалъ о ея смерти, ибо она была причислена къ сонму богинь, а слезы по богинѣ могли быть только знакомъ зависти къ ея благополучію... И между тѣмъ, ни одинъ родъ поэзіи не властвуетъ такъ сильно надъ нашею душою, не увлекаетъ насъ такимъ неотразимымъ обаяніемъ, и не доставляетъ намъ такого высокаго наслажденія, какъ трагедія. И въ основѣ этого лежитъ великая истина, высшая разумность. Мы глубоко сострадаемъ падшему въ борьбѣ, или погибшему въ побѣдѣ герою; но мы же знаемъ, что

безъ этого паденія, или этой погибели, онъ не былъ бы героемъ, не осуществилъ бы своею личностію вѣчныхъ субстанціяльныхъ силъ, міровыхъ и непреходящихъ законовъ бытія. Если бы Антигона погребла тѣло Полиника, не зная, что ее ожидаетъ за это неизбѣжная казнь, или безъ всякой опасности подпасть казни, ея дѣйствіе было бы только доброе и похвальное, но обыкновенное и не героическое дѣйствіе. Въ такомъ случаѣ, Антигона не возбудила бы къ себѣ всего нашего участія, и еслибъ тотчасъ же умерла какъ-нибудь случайно, мы не пожалѣли бы о ея смерти: вѣдь каждый часъ на земномъ шарѣ умираютъ тысячи людей, такъ если жалѣть обо всѣхъ, некогда будетъ выпить и чашки чаю! Нѣтъ, безвременная насильственная смерть юной и прекрасной Антигоны потому только потрясаетъ все существо наше, что въ ея смерти мы видимъ искупленіе человѣческаго достоинства, торжество общаго и вѣчнаго надъ преходящимъ и частнымъ, подвигъ, созерцаніе котораго возноситъ къ небу нашу душу, заставляетъ биться высокимъ восторгомъ наше сердце! Судьба избираетъ, для рѣшенія великихъ нравственныхъ задачъ, благороднѣйшіе сосуды духа, возвышеннѣйшія личности, стоящія во главѣ человѣчества, героевъ, олицетворяющихъ собою субстанціяльные силы, которыми держится нравственный міръ. Исмена была также сестра Полинику; доброе и родственное сердце ея тоже страдало при мысли о позорѣ погибшаго брата, но это страданіе не было въ ней сильнѣе страха смерти; Антигонѣ же казалось легче перенести муки лютой казни, нежели позоръ единокровнаго; ей жаль было разстаться съ юною жизнію, столь полною надеждъ и очарованія: она горестно прощается съ обольщеніями гименея, сладости котораго судьба не дала ей вкусить; но она не проситъ о помилованіи, о пощадѣ, она не отвращается ужасающей ее смерти, но спѣшитъ броситься ей въ объятія: слѣдовательно, разница между обѣими сестрами не въ чув-

ствахъ, но въ силѣ, энергіи и глубинѣ чувства, вслѣдствіе чего одна изъ нихъ—доброе, но обыкновенное существо, а другая—героиня. Уничтожьте роковую катастрофу въ любой трагедіи—и вы лишите ее всего величія, всего ея значенія, изъ великаго созданія сдѣлаете обыкновенную вещь, которая надъ вами же первымъ утратитъ всю свою обаятельную силу.

Иногда коллизія можетъ состоять въ ложномъ положеніи человѣка, вслѣдствіе несоотвѣтственности его натуры съ мѣстомъ, на которое поставила его судьба. Просимъ читателей вспомнить одного изъ героевъ романа В. Скотта «Пертской Красавицы», несчастнаго шефа клана, который при гордой душѣ и сильныхъ страстяхъ своихъ, наканунѣ роковой битвы, долженствующей рѣшить участь его клана, признается своему пѣстуну въ томъ, что онъ — трусъ.... Гамлетъ не трусъ, но его внутренняя, созерцательная натура создана не для бурь жизни, не для борьбы съ порокомъ и наказанія преступленія, а между тѣмъ, судьба зоветъ его на этотъ подвигъ.... Что̀ ему дѣлать? Избѣгнуть — люди не узнаютъ и не осудятъ; но развѣ есть во вселенной другое мѣсто, кромѣ гроба, куда можно укрыться отъ себя самого? — и бѣдный Гамлетъ дѣйствительно нашелъ свое убѣжище въ могилѣ.... Судьба сторожитъ человѣка на всѣхъ путяхъ жизни: за мгновенное увлеченіе безумной страсти, юноша платится иногда счастіемъ всей своей жизни, отравляя ее воспоминаніемъ о невинной жертвѣ, которую погубила его любовь.... И почему это такъ? потому, что въ его душѣ глубоко пустили корни сѣмена нравственнаго закона, тогда какъ ничтожное, подлое существо спокойно наслаждается плодами своего разврата, и нагло хвалится числомъ погубленныхъ жертвъ!... Только человѣкъ высшей природы можетъ быть героемъ, или жертвою трагедіи: такъ бываетъ въ самой дѣйствительности!

Случайность, какъ, напримѣръ, нечаянная смерть лица,

или другое непредвидѣнное обстоятельство, не имѣющее прямаго отношенія къ основной идеѣ произведенія, не можетъ имѣть мѣста въ трагедіи. Не должно упускать изъ виду, что трагедія есть болѣе искусственное произведеніе, нежели другой родъ поэзіи. Помедли Отелло одною минутою задушить Дездемону, или поспѣши отворить двери стучавшейся Эмиліи — все бы объяснилось, и Дездемона была бы спасена, но за то трагедія была бы погублена. Смерть Дездемоны есть слѣдствіе ревности Отелло, а не дѣло случая, и потому поэтъ имѣлъ право сознательно отдалить всѣ, самыя естественныя случайности, которыя могли бы служить къ спасенію Дездемоны. Дездемона такъ же могла бы и замѣтить сброшенный съ головы своей мужемъ ея платокъ, послужившій къ ея погибели, какъ она могла и не замѣтить его; но поэтъ имѣлъ полное право воспользоваться этою случайностію, какъ соотвѣтствовавшею его цѣли. Цѣль же его трагедіи была—не предостеречь другихъ отъ ужасныхъ слѣдствій слѣпой ревности, но потрясти души зрителей зрѣлищемъ слѣпой ревности, не какъ порока, но какъ явленія жизни. Ревность Отелло имѣла свою причинность, свою необходимость, заключавшіяся въ пламенной натурѣ, воспитаніи и обстоятельствахъ цѣлой его жизни: онъ столько же былъ виноватъ въ ней, сколько былъ и невиноватъ. Вотъ почему этотъ великій духъ, этотъ мощный характеръ возбуждаетъ въ насъ не отвращеніе и ненависть къ себѣ, а любовь, удивленіе и состраданіе. Гармонія міровой жизни была нарушена диссонансомъ его преступленія, — и онъ возстановляетъ ее добровольною смертію, искупаетъ сю тяжкую вину свою — и мы закрываемъ драму съ примиреннымъ чувствомъ, съ глубокою думою о непостижимомъ таинствѣ жизни, и предъ очарованнымъ взоромъ нашимъ носятся рука съ рукою двѣ помирившіяся за гробомъ тѣни.... Трупы и кровь возмущаютъ наше чувство только тогда, когда мы не видимъ ихъ не-

обходимости, когда авторъ щедро устилаетъ и наводняетъ ими сцену для эффектовъ. Но, слава Богу, отъ частаго употребленія, эти эффекты потеряли всю свою силу и теперь производятъ уже смѣхъ, а не ужасъ.

Въ условіяхъ жизни есть что-то несовершенное, роковое. Жизнь слагается изъ толпы и героевъ, и обѣ эти стороны въ вѣчной враждѣ, ибо первая ненавидитъ вторую, а вторая презираетъ первую. Всякое прекрасное явленіе въ жизни должно сдѣлаться жертвою своего достоинства. Едва прочли вы ночную сцену, въ саду между Ромео и Юліею—и уже въ душу вашу закрадывается грустное предчувствіе.... «Нѣтъ,—говорите вы—не для земли такая любовь и такая полнота жизни, не между людей жить такимъ существамъ! И за что̀ они будутъ такъ счастливы, когда всѣ другіе и не подозрѣваютъ возможности такого счастія? Нѣтъ, дорогою цѣною должны они поплатиться за свое блаженство!»... И въ самомъ дѣлѣ, что̀ губитъ Ромео и Юлію? — Не злодѣйство, не коварство людей, а развѣ глупость и ничтожество ихъ. Старики Капулеты просто —добрые, но пошлые люди; они не умѣютъ вообразить ничего выше самихъ себя, судятъ о чувствахъ дочери по своимъ собственнымъ, измѣряютъ ея натуру своею натурою — и погубили ее, а потомъ, когда уже было поздно, догадались, простили и даже похвалили.... О, горе! горе! горе!...

Насъ возмущаетъ преступленіе Макбета и демонская натура его жены; но еслибы спросили перваго, какъ онъ совершилъ свой злодѣйскій поступокъ, онъ вѣрно отвѣтилъ бы: «и самъ не знаю»; а еслибы спросить вторую, зачѣмъ она такъ нечеловѣчески-ужасно создана, она вѣрно отвѣтила бы, что знаетъ объ этомъ столько же, сколько и вопрошающіе, и что если слѣдовала своей натурѣ, такъ это потому, что не имѣла другой.... Вотъ вопросы, которые рѣшаются только за гробомъ, вотъ царство рока, вотъ сфера трагедіи.... Ричардъ II возбуждаетъ въ насъ къ себѣ

непріязненное чувство своими поступками, унизительными для короля. Но вотъ двоюродный братъ его, Болингброкъ, похищаетъ у него корону — и недостойный король, пока царствовалъ, является великимъ королемъ, когда лишился царства. Онъ входитъ въ сознаніе величія своего сана, святости своего помазанія, законности своихъ правъ, — и мудрыя рѣчи, полныя высокихъ мыслей, бурнымъ потокомъ льются изъ его устъ, а дѣйствія обнаруживаютъ великую душу. Вы уже не просто уважаете его — вы благоговѣете предъ нимъ; вы уже не просто жалѣете о немъ — вы сострадаете ему. Ничтожный въ счастіи, великій въ несчастіи — онъ герой въ вашихъ глазахъ. Но для того, чтобъ вызвать наружу всѣ силы своего духа, чтобъ стать героемъ, ему нужно было испить до дна чашу бѣдствія и погибнуть.... Какое противорѣчіе, и какой богатый предметъ для трагедіи, а слѣдовательно, и какой неисчерпаемый источникъ высокаго наслажденія для васъ!...

Драматическая поэзія есть высшая ступень развитія поэзіи и вѣнецъ искусства, а трагедія есть высшая ступень и вѣнецъ драматической поэзіи. Посему, трагедія заключаетъ въ себѣ всю сущность драматической поэзіи, объемлетъ собою всѣ элементы ея, и слѣдовательно, въ нее по праву входитъ и элементъ комическій. Поэзія и проза ходятъ объ-руку въ жизни человѣческой, а предметъ трагедіи есть жизнь во всей многосложности ея элементовъ. Правда, она сосредоточиваетъ въ себѣ только высшіе, поэтическіе моменты жизни, но это относится только къ герою, или героямъ трагедіи, а не къ остальнымъ лицамъ, между которыми могутъ быть и злодѣи и добродѣтельные, и глупцы, и шуты, такъ какъ вся жизнь человѣческая состоитъ въ столкновеніи и взаимномъ воздѣйствіи другъ на друга героевъ, злодѣевъ, обыкновенныхъ характеровъ, ничтожныхъ людей и глупцовъ. Раздѣленіе трагедіи на историческую и не-историческую не имѣетъ никакой существенной

важности: герои той и другой равно представляютъ собою осуществленіе вѣчныхъ, субстанціяльныхъ силъ человѣческаго духа. Въ новѣйшемъ христіянскомъ искусствѣ, человѣкъ является не отъ общества, а отъ человѣчества; трагедія же есть вѣнецъ новѣйшаго искусства, а потому король Ричардъ II, мавръ Отелло, аристократическій юноша Ромео, аѳинскій гражданинъ Тимонъ, имѣютъ совершенно равное право занимать въ ней первыя мѣста, потому что всѣ они—равно герои. Вотъ почему искаженіе историческихъ лицъ, менѣе допускаемое въ романѣ, есть какъ бы неотъемлемое право трагедіи, вытекающее изъ самой ея сущности. Трагикъ хочетъ представить своего героя въ извѣстномъ историческомъ положеніи: исторія даетъ ему положеніе, и если историческій герой этого положенія не соотвѣтствуетъ идеалу трагика, онъ имѣетъ полное право измѣнить его по своему. Въ трагедіи Шиллера «Донъ Карлосъ», Филиппъ изображенъ совсѣмъ не такимъ, какимъ представляетъ его намъ исторія, но это нисколько не уменьшаетъ достоинства піесы, скорѣе увеличиваетъ его. Альфьери, въ своей трагедіи, изобразилъ истиннаго, историческаго Филиппа II, но его произведеніе все-таки неизмѣримо ниже Шиллерова. Что̀ же до принца Карлоса,—смѣшно и смотрѣть, какъ на что̀-то серьезное, на искаженіе его историческаго характера въ трагедіи Шиллера, ибо донъ-Карлосъ слишкомъ незначительное лицо въ исторіи. Многихъ соблазняетъ вольность Гёте, который изъ семидесяти-лѣтняго Эгмонта, отца многочисленнаго семейства, сдѣлалъ кипящаго юношу, страстно любящаго простую дѣвушку: вольность самая законная! — ибо Гёте хотѣлъ изобразить въ своей трагедіи не Эгмонта, а молодаго человѣка, страстнаго къ упоеніямъ жизни и, вмѣстѣ съ тѣмъ, жертвующаго ею для искупленія счастія родины. Всякое лицо трагедіи принадлежитъ не исторіи, а поэту, хотя бы носило и историческое имя. Глубоко справедливы эти слова

Гёте: «Для поэта нѣтъ ни одного лица историческаго; онъ хочетъ изобразить свой нравственный міръ, и для этой цѣли дѣлаетъ нѣкоторымъ историческимъ лицамъ честь, относя ихъ имена къ своимъ созданіямъ».

Что касается до раздѣленія трагедіи на акты, до ихъ числа—это относится къ внѣшней формѣ драмы вообще. Трагедія можетъ быть написана и прозою и стихами; но болѣе всего этому соотвѣтствуетъ смѣшеніе того и другаго, смотря по сущности содержанія отдѣльныхъ мѣстъ, т. е. потому, поэзія или проза жизни въ нихъ выражается.

Драматическая поэзія является у народа уже съ созрѣвшею цивилизаціею, въ эпоху пышнаго цвѣта его историческаго развитія. Такъ было и у Грековъ. Знаменитѣйшіе ихъ трагики — Эсхилъ, Софоклъ и Эврипидъ. Мы уже намекнули выше сего на сущность и характеръ греческой драмы, а изложеніемъ содержанія «Антигоны» дали читателямъ и фактъ для повѣрки нашихъ намековъ. Изъ новѣйшихъ народовъ, ни у кого драма не достигла такого полнаго и великаго развитія, какъ у Англичанъ. Шекспиръ есть Гомеръ драмы; его драма — высочайшій первообразъ христіянской драмы. Въ драмахъ Шекспира всѣ элементы жизни и поэзіи слиты въ живое единство, необъятное по содержанію, великое по художественной формѣ. Въ нихъ все настоящее человѣчества, все его прошедшее и будущее; онѣ—пышный цвѣтъ и роскошный плодъ развитія искусства у всѣхъ народовъ и во всѣ вѣка. Въ нихъ и пластицизмъ и рельефность художественной формы, и цѣломудренная непосредственность вдохновенія, и рефлектирующая дума, міръ объективный и міръ субъективный, проникли другъ друга и слились въ неразрывномъ единствѣ. Говорить о глубокомъ сердцевѣдѣніи, вѣрности натурѣ и дѣйствительности, безконечности и высокости творческихъ идей этого царя поэтовъ всего міра, значило бы повторять уже много разъ сказанное тысячами людей. Опредѣлять

достоинство каждой его драмы, значило бы — написать огромную книгу и не высказать сотой доли того, что̀ бы хотѣлось высказать, и не высказать милліонной частицы того, что̀ заключается въ нихъ.

Послѣ англійской, первое мѣсто занимаетъ нѣмецкая трагедія. Шиллеръ и Гёте возвели ее на эту степень знаменитости. Впрочемъ, нѣмецкая драма имѣетъ совсѣмъ другой характеръ и даже другое значеніе, чѣмъ шекспировская: это большею частію или лирическая, или рефлектирующая драма. Только въ «Гёцѣ фонъ Берлихингенѣ» и «Эгмонтѣ» Гёте, «Вильгельмѣ Телѣ» и «Валенштейнѣ» Шиллера замѣтенъ порывъ къ непосредственному творчеству. Значеніе нѣмецкой драмы тѣсно связано съ значеніемъ нѣмецкаго искуства вообще *).

Испанская драма мало извѣстна, хотя и гордится не однимъ славнымъ драматическимъ именемъ, каковы Лопе-де-Вега и Кальдеронъ. Кажется, причина этому — національность ея драмы, еще не возвысившейся до общаго, міроваго содержанія.

Исторія французской литературы блеститъ многими драматическими именами. Корнель и Расинъ почти два вѣка считались первыми трагиками въ мірѣ, а послѣ нихъ — Кребильонъ и Вольтеръ. Но теперь ясно, что исторія драматической поэзіи во Франціи относится къ исторіи костюмовъ, модъ и общественныхъ нравовъ добраго стараго времени, но съ исторіею искусства ничего общаго не имѣетъ, Изъ новѣйшихъ писателей, въ драмахъ Гюго просвѣчиваютъ иногда блестки замѣчательнаго дарованія, но не болѣе.

Наша русская трагедія съ Пушкина началась, съ нимъ и умерла. Его «Борисъ Годуновъ» есть твореніе, достойное занимать первое мѣсто послѣ шекспировскихъ драмъ. Кромѣ

---

*) Объ этомъ подробно говорится въ другомъ мѣстѣ этого сочиненія. *Авт.*

того, Пушкинъ создалъ особый родъ драмы, который къ настоящему относится, какъ повѣсть къ роману; таковы его: «Сцена между Фаустомъ и Мефистофелемъ», «Сальери и Моцартъ», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Каменный Гость». По формѣ и объему, это не больше, какъ драматическіе очерки, но по содержанію и его развитію, это—трагедіи, въ полномъ смыслѣ этого слова. По оригинальности, онѣ не могутъ быть сравниваемы ни съ какими другими, но по глубокости идей и художественности формы, свидѣтельствующей о непосредственности акта творчества, изъ котораго онѣ вышли,—ихъ достоинство можетъ измѣряться только шекспировскими драмами. Въ наше время, великій поэтъ не можетъ быть исключительно эпикомъ, лирикомъ или драматургомъ: въ наше время творческая дѣятельность является въ совокупности всѣхъ сторонъ поэзіи; но великіе художники большею частію начинаютъ съ эпическихъ произведеній, продолжаютъ лирикою, а оканчиваютъ драмою. Такъ было и съ Пушкинымъ: даже въ первыхъ поэмахъ его, драматическій элементъ рѣзко проявлялся, и многія мѣста въ нихъ образуютъ собою превосходныя трагическія сцены, особенно въ «Цыганахъ» и «Полтавѣ». Послѣднія же произведенія его показываютъ, что онъ рѣшительно обращался къ драмѣ, и что его «драматическіе очерки» были только пробою пера, очиненнаго для болѣе великихъ созданій: каковы же были бы эти созданія! Но смерть застала его въ то время, какъ его геній совершенно созрѣлъ и возмужалъ для драмы,—и страдальческая тѣнь его унесла съ собою

Святую тайну, и для насъ
Погибъ животворящій гласъ!

Всѣ другія попытки на драму въ русской литературѣ, отъ Сумарокова до г. Кукольника включительно, могутъ имѣть право только на упоминовеніе въ исторіи литературы, гдѣ о нихъ и говорится въ своемъ мѣстѣ, но не въ

эстетикѣ, гдѣ имѣютъ право быть указаны только художественныя произведенія.

Комедія есть послѣдній видъ драматической поэзіи, діаметрально противоположный трагедіи. Содержаніе трагедіи—міръ великихъ нравственныхъ явленій, герои ея—личности, полныя субстанціяльныхъ силъ духовной человѣческой природы; содержаніе комедіи—случайности, лишенныя разумной необходимости, міръ призраковъ, или кажущейся, но не существующей на самомъ дѣлѣ дѣйствительности; герои комедіи—люди, отрѣшившіеся отъ субстанціяльныхъ основъ своей духовной натуры. Посему, дѣйствіе производимое трагедіею — потрясающій душу священный ужасъ; дѣйствіе, производимое комедіею—смѣхъ, то веселый, то сардоническій. Сущность комедіи—противорѣчіе явленій жизни съ сущностію и назначеніемъ жизни. Въ этомъ смыслѣ, жизнь является въ комедіи, какъ отрицаніе самой себя. Какъ трагедія сосредоточиваетъ въ тѣсномъ кругѣ своего дѣйствія только высокіе, поэтическіе моменты въ событіи героя, такъ комедія изображаетъ преимущественно прозу повседневной жизни, ея мелочи и случайности. Трагедія есть поворотный кругъ солнца поэзіи, которое, доходя до нея, становится въ апогеѣ своего теченія, а переходя въ комедію, спускается внизъ. У Грековъ, комедія была смертію поэзіи. Аристофанъ былъ послѣдній поэтъ ихъ, а его комедіи — похоронная пѣсня на всегда утраченной полноты жизни и возникшаго изъ нея прекраснаго искуства Греціи. Но въ новомъ мірѣ, гдѣ всѣ элементы жизни, проникая другъ друга, не мѣшаютъ развитію одинъ другаго, комедія не имѣетъ такого печальнаго значенія для искуства: ея элементъ вошелъ, или можетъ входить во всѣ роды поэзіи, и она можетъ развиваться вмѣстѣ съ трагедіею, и даже предшествовать ей въ историческомъ развитіи искусства.

Въ основаніи истинно-художественной комедіи лежитъ

глубочайшій юморъ. Личности поэта въ ней не видно только по наружности; но его субъективное созерцаніе жизни, какъ arrière-pensée, непосредственно присутствуетъ въ ней, и изъ за животныхъ, искаженныхъ лицъ, выведенныхъ въ комедіи, мерещатся вамъ другія лица, прекрасныя и человѣческія, и смѣхъ вашъ отзывается не веселостью, а горечью и болѣзненностію... Въ комедіи, жизнь для того показывается намъ такою, какъ она есть, чтобъ навести насъ на ясное созерцаніе жизни такъ, какъ она должна быть. Превосходнѣйшій образецъ художественной комедіи представляетъ собою «Ревизоръ» Гоголя.

Художественная комедія не должна жертвовать предположенной поэтомъ цѣли объективною истиною своихъ изображеній: иначе, изъ художественной, она сдѣлается дидактическою, въ томъ смыслѣ, какъ мы ниже сего развиваемъ значеніе этого слова. Но если дидактическая комедія выходитъ не изъ невиннаго желанія поострить, но изъ глубоко-оскорбленнаго пошлостію жизни духа, если ея насмѣшка растворена саркастическою жолчью, въ основаніи ея лежитъ глубочайшій юморъ, а въ выраженіи дышитъ бурное одушевленіе, словомъ, если она есть выстраданное созданіе,—то стóитъ всякой художественной комедіи. Разумѣется, такая комедія не можетъ быть произведеніемъ не великаго таланта; изображенія ея могутъ отличаться излишнею яркостію и густотою красокъ, но не быть преувеличены до неестественности и каррикатурности; разумѣется, что характеры дѣйствующихъ лицъ должны быть въ ней созданы, а не выдуманы, и въ изображеніи ихъ видна бóльшая или меньшая степень художественности. Высочайшій образецъ такой комедіи имѣемъ мы въ «Горе отъ Ума»—этомъ благороднѣйшемъ созданіи геніяльнаго человѣка, этомъ бурномъ, диѳирамбическомъ изліяніи жолчнаго, громоваго негодованія, при видѣ гнилаго общества ничтожныхъ людей, въ души которыхъ не проникалъ лучъ божь-

яго свѣта, которые живутъ по обветшалымъ преданіямъ старины, по системѣ пошлыхъ и безнравственныхъ правилъ, которыхъ мелкія цѣли и низкія стремленія направлены только къ призракамъ жизни—чинамъ, деньгамъ, сплетнямъ, униженію человѣческаго достоинства, и которыхъ апатическая, сонная жизнь есть смерть всякаго живаго чувства, всякой разумной мысли, всякаго благороднаго порыва... «Горе отъ Ума» имѣетъ великое значеніе и для нашей литературы, и для нашего общества.

Есть еще низшая комедія, которая можетъ возвышаться до художественности созданіемъ оригинальныхъ характеровъ, вѣрнымъ изображеніемъ нравовъ общества, но въ основаніи которой лежитъ не юморъ, а только комическая веселость. По мѣрѣ своего достоинства, такая комедія можетъ относиться и къ искусству и къ бельлетристикѣ, колеблясь между этими двумя сторонами литературы. Въ нашей литературѣ нѣтъ образцовъ такой комедіи. «Недоросль» и «Бригадиръ» Фонъ-Визина относятся къ комедіи нравовъ и сатирической, въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова. Истинно-художественная комедія никогда не можетъ устарѣть, вслѣдствіе измѣненія изображенныхъ въ ней нравовъ общества: «Ревизоръ» и «Горе отъ Ума» безсмертны.

Есть еще особый видъ драматической поэзіи, занимающій середину между трагедіею и комедіею: это то, что называется собственно драмою. Драма ведетъ начало свое отъ мелодрамы, которая въ прошломъ вѣкѣ дѣлала оппозицію надутой и неестественной тогдашней трагедіи, и въ которой жизнь находила себѣ единственное убѣжище отъ мертвящаго псевдоклассицизма, такъ же, какъ въ романахъ Радклифъ, Дюкре-дю-Мениля и Августа Лафонтена отъ риторическихъ поэмъ въ родѣ «Гонзальва Кордуанскаго», «Кадма и Гармоніи» и т. п. Впрочемъ, это происхожденіе относится только къ названію «драма», видоваго, а не родоваго имени, и развѣ еще къ новѣйшей драмѣ (какова, напр.

«Клавиго» Гёте). Шекспиръ, всегда шедшій своею дорогою, по вѣчнымъ уставамъ творчества, а не по правиламъ нелѣпыхъ піитикъ, написалъ множество произведеній, которыя должны занимать середину между трагедіею и комедіею, и которыя можно назвать эпическими драмами, Въ нихъ есть характеры и положенія трагическія (какъ, напр., въ «Венеціянскомъ Купцѣ»); но развязка ихъ почти всегда счастливая, потому-что роковая катастрофа не требуется ихъ сущностію. Героемъ драмы должна быть сама жизнь. Но несмотря на эпической характеръ драмы, ея форма должна быть въ высшей степени драматическою. Драматизмъ состоитъ не въ одномъ разговорѣ, а въ живомъ дѣйствіи разговаривающихъ однаго на другаго. Если, напримѣръ, двое спорятъ о какомъ-нибудь предметѣ, тутъ нѣтъ не только драмы, но и драматическаго элемента; но когда спорящіе, желая пріобрѣсть другъ надъ другомъ поверхность, стараются затронуть другъ въ другѣ какія-нибудь стороны характера, или задѣть за слабыя струны души, и когда чрезъ это въ спорѣ выказываются ихъ характеры, а конецъ спора становитъ ихъ въ новыя отношенія другъ къ другу,—это уже своего рода драма. Но главное въ драмѣ—отсутствіе длинныхъ разсказовъ, и чтобы каждое слово высказывалось въ дѣйствіи. Драма не должна быть ни простымъ списываніемъ съ природы, ни сборомъ отдѣльныхъ, хотя бы и прекрасныхъ сценъ, но образовывать собою отдѣльный, замкнутый міръ, гдѣ каждое лицо, стремясь къ собственной цѣли и дѣйствуя только для себя, способствуетъ, само того не зная, общему дѣйствію піесы. А это можетъ быть только тогда, когда драма возникла и развилась изъ мысли, а не слѣпилась черезъ соображеніе.

—

Вотъ всѣ роды поэзіи. Ихъ только три, и больше нѣтъ и быть не можетъ. Но въ піитикахъ и литературахъ про-

шлаго вѣка существовало еще нѣсколько родовъ поэзіи, между которыми особенную важность имѣлъ дидактическій или поучительный. Въ огромныхъ поэмахъ учили земледѣлію, скотоводству, астрономіи, ариѳметикѣ и чуть ли еще не портному мастерству. Этотъ родъ возникъ въ древности по упадкѣ искусства. Обыкновенно, когда поэзія изчезаетъ, ее замѣняетъ стихотворство.

И однакожь, мы признаёмъ существованіе дидактической поэзіи, только принимаемъ дидактику не какъ родъ, а какъ характеръ поэзіи и относимъ ее къ эпическому роду. Слово «дидактическій», по нашему мнѣнію, есть такое же выраженіе свойства и характера, какъ, напр., объективный и субъективный.

Образцомъ дидактическихъ поэмъ мы считаемъ не агрономическія поэмы Виргилія, не гораціеву Ars Poetica, не L'Art Poétique Буало, не водяныя поэмы Делиля,—а міробъемлющія созерцанія исполинской фантазіи и поэтическіе афоризмы Жанъ-Поля-Рихтера. Они отличаются отъ произведеній художественной поэзіи тѣмъ, что сознаніе ихъ основной идеи можетъ предшествовать въ душѣ художника самому акту творчества, и тѣмъ еще, что мысль въ нихъ есть главное, а форма только какъ бы средство для ея выраженія. Общаго же съ произведеніями художественной поэзіи они имѣютъ то, что выходятъ изъ живаго и пламеннаго вдохновенія, а не мертваго и холоднаго разсудка, берутъ у поэзіи всѣ ея краски, говорятъ душѣ образами, а не отвлеченными идеями. Кому извѣстны «Сонъ» и «Уничтоженіе» Жанъ-Поля-Рихтера, тѣ поймутъ, о чемъ мы говоримъ. Для незнакомыхъ же съ этимъ писателемъ, выписываемъ здѣсь двѣ маленькія его піески:

— Любишь ли ты меня? воскликнулъ молодой человѣкъ въ минуту чистѣйшаго восторга любви, въ то мгновеніе, когда души встрѣчаются и отдаются другъ другу.— Молодая дѣвушка взглянула на него и молчала.

— О, если ты меня любишь, продолжалъ онъ, заговори!

Но она взглянула на него, не будучи въ состояніи говорить.

— Да, я былъ слишкомъ счастливъ, я надѣялся, что ты меня любишь, все теперь изчезло—надежда и блаженство!

— Возлюбленный, неужели я тебя не люблю!— и она повторила вопросъ.

— О, зачѣмъ такъ поздно произнесла ты эти небесные звуки!

— Я была слишкомъ счастлива, я не могла говорить; только тогда возвращенъ мнѣ былъ даръ слова, когда ты передалъ мнѣ свою скорбь....

—

Старецъ стоялъ подъ окномъ, въ полночь на новый годъ, и съ горькимъ отчаяніемъ смотрѣлъ на неподвижное, вѣчно цвѣтущее небо, и оттуда на безмолвную, чистую, обѣленную землю, на которой никому теперь не были столько чужды радость и сонъ, сколько ему, ибо его гробъ стоялъ близь него; не юношеская зелень, но старческій снѣгъ лежалъ на немъ, и онъ уносилъ съ собою изо всѣхъ богатствъ жизни одни только заблужденія, преступленія и недуги – разоренное тѣло, запустѣвшую душу, грудь напоенную ядомъ и возрастъ раскаянія. Прекрасные дни юности мелькали предъ нимъ, какъ привидѣнія, и манили его опять къ тому прелестному утру, когда отецъ въ первый разъ поставилъ его на распутіи жизни, вправо ведущемъ по солнечной стезѣ добродѣтели, въ дальнюю мирную страну, полную свѣта и жатвы и полную ангеловъ; влѣво же сводящемъ въ кротовую нору порока, въ черный вертепъ, полный точащагося яда, полный гнѣздящихся змѣй и мрачныхъ, удушающихъ паровъ.

Ахъ! змѣи висѣли у него на груди и капли яда на языкѣ: онъ зналъ теперь, гдѣ онъ былъ!

Безчувственный, съ неизрекаемою скорбію, воскликнулъ онъ къ небу: «Отдай мою юность! о, отецъ мой! поставь меня опять на распутіи, дабы я могъ выбрать иначе!»

Но его отецъ и его юность были уже далеко. Онъ видѣлъ блудящіе огни, скакавшіе по болотамъ, угасавшіе на кладбищѣ, и говорилъ; «Это буйные дни мои!» Онъ видѣлъ падавшую съ неба звѣзду, сверкавшую въ своемъ паденіи и разсыпавшуюся на землѣ: «Это я!» сказало сердце его, облитое кровью, и змѣиные зубы раскаянія глубже еще впились въ раны

Распаленное воображеніе представляло ему лунатиковъ, бѣгающихъ по кровлямъ; вѣтренная мельница угрожала раздробить его размахнутыми крыльями, и запавшее въ опустѣломъ жилищѣ мертвыхъ страшилище принимало на себя мало-по-малу черты его.

Посреди сихъ ужасныхъ судорогъ, вдругъ отдалась съ башни музыка на новый годъ, какъ отдаленное церковное пѣніе. Кроткія, тихія движенія пробудились въ немъ.—Онъ провелъ взоры по небосклону вокругъ широкой земли; вспомнилъ о друзьяхъ своей юности, кои, счастливѣе и лучше его, были теперь наставниками земли, отцами счастливыхъ дѣтей, благословляемыми мужами; вспомнилъ— и воскликнулъ: «О! и я бы могъ, еслибъ захотѣлъ, продремать эту первую ночь такъ же, какъ и вы, съ сухими глазами!—ахъ! я бы могъ быть счастливымъ, любезные родители! когда бы исполнилъ ваши новогодныя желанія и наставленія!»

Въ лихорадочномъ воспоминаніи о дняхъ юности, ему показалось, что на кладбищѣ встаетъ страшилище, имѣющее черты его; суевѣріе, мечтающее ночью подъ новый годъ видѣть духовъ будущности, превратило это страшилище въ живаго юношу.

Онъ не могъ смотрѣть болѣе;—закрылъ глаза;—потоки горячихъ слезъ брызгали изъ нихъ, растопляя снѣгъ; онъ вздыхалъ—и вздыхалъ тихо, безъутѣшно, безчувственно: «Воротись только, воротись опять, юность!»

. . . . . . *И она опять воротилась*, ибо это былъ только страшный *сонъ* подъ новый годъ. *Онъ былъ еще юноша:* только—*заблужденія его были не сонъ!* — Но онъ благодарилъ Бога, что, будучи юнъ еще, можетъ пока воротиться назадъ съ грязныхъ путей порока и вступить снова на солнечную стезю, ведущую въ богатую страну жатвы.

Воротись съ нимъ, юный читатель! если стоишь на его пути лукавомъ! Этотъ ужасный сонъ будетъ нѣкогда твоимъ судьею; и если ты тогда съ сокрушеніемъ звать будешь: «воротись, прекрасная юность!»—ахъ, она не воротится!

Русская литература имѣетъ писателя, по духу, формѣ и достоинству своихъ произведеній близкаго къ Жанъ-Полю-Рихтеру. Мы говоримъ о князѣ Одоевскомъ, и имѣемъ въ виду такія его произведенія, какъ «Послѣдній Квартетъ Бетховена», «Operi del cavaliere Giambattista Piranesi», «Импровизаторъ», «Насмѣшка Мертваго», «Бригадиръ» и пр. Содержаніе каждой изъ этихъ піесъ составляетъ феноменъ духа человѣческаго, или нравственный вопросъ въ глубочайшемъ значеніи этого слова; въ основѣ ихъ глубокое міросозерцаніе и благородный юморъ, форма дышитъ красками вдохновенной поэзіи, мысль мощно охватываетъ

душу читателя, и высказывается рѣзко и опредѣленно. Колоритъ этихъ піесъ—фантастическій, какъ самый приличный произведеніямъ такого рода. Впрочемъ, и повѣсть кн. Одоевскаго «Княжна Мими», хотя ея содержаніе и взято изъ прозы жизни, принадлежитъ также къ тому, что̀ мы называемъ дидактическою поэзіею. Ея цѣль чисто нравственная; но эта цѣль высказывается въ живыхъ картинахъ, въ увлекательномъ разсказѣ, въ проникнутыхъ чувствомъ и одушевленіемъ мысляхъ, а не въ холодной аллегоріи, не въ моральныхъ сентенціяхъ и ходячихъ истинахъ, которыхъ справедливость всѣ признаютъ, какъ и то, что два, умноженныя на два, составляютъ четыре, но которыя всѣмъ надоѣли, никого не убѣждаютъ, какъ и почтенныя истины, что если выйдешь на холодъ съ открытой грудью, то можешь простудиться, а если пойдешь на улицу въ дождь, то непремѣнно вымочишься.

Желая быть для всѣхъ сколько возможно ясными, выписываемъ здѣсь одну піесу кн. Одоевскаго, какъ фактъ того, что̀ мы называемъ дидактическою поэзіею.

Балъ разгорался часъ-отъ-часу сильнѣе; надъ безчисленными тускнѣющими свѣчами волновался тонкій чадъ и сквозь него трепетали штофныя занавѣсы, мраморныя вазы, золотыя кисти, барельефы, колонны, картины; отъ обнаженной груди красавицъ поднимался знойный воздухъ, и часто, когда па̀ры, будто бы вырвавшіяся изъ рукъ чародѣя, въ быстромъ круженіи промелькивали предъ глазами,—васъ, какъ въ безводныхъ степяхъ Аравіи, обдавалъ горячій, удушающій вѣтеръ; часъ-отъ-часу скорѣе развивались душистые локоны; смятая дымка небрежнѣе свертывалась на распаленныя плечи; быстрѣе бился пульсъ, чаще встрѣчались руки, близились вспыхивающія лица; темнѣе дѣлались взоры, слышнѣе смѣхъ и шопотъ; старики поднимались съ мѣстъ своихъ, расправляли безсильные члены, и въ ихъ остолбенѣлыхъ глазахъ мѣшалась горькая зависть съ бѣшенымъ воспоминаніемъ прошедшаго—и все вертѣлось, прыгало, бѣсновалось въ сладострастномъ безуміи....

На небольшомъ возвышеніи, съ визгомъ скользили смычки по натянутымъ струнамъ, трепеталъ могильный голосъ валторнъ, и однообразные звуки литавръ отзывались насмѣшливымъ хохотомъ. Сѣдой

капельмейстеръ, съ улыбкой на лицѣ, внѣ себя отъ восторга, безпрестанно учащалъ размѣръ и взоромъ, тѣлодвиженіями, возбуждалъ утомленныхъ музыкантовъ.

— «Не правда ли?» говорилъ онъ мнѣ отрывисто, не оставляя смычка: «не правдали? я говорилъ, что оживлю этотъ балъ—и сдержалъ свое слово. Все дѣло въ музыкѣ,—не умѣютъ составлять ея, она поднимаетъ съ мѣста,— она невольно вводитъ танцующихъ въ упоеніе,—въ сочиненіяхъ славныхъ музыкантовъ есть мѣста, которыя производятъ странное дѣйствіе—я славно подобралъ ихъ—въ этомъ все дѣло—вотъ слышите: это вопль донны Анны, когда донъ-Хуанъ насмѣхается надъ нею; вотъ это стонъ умирающаго Командора; вотъ минута, когда Отелло начинаетъ вѣрить своей ревности, вотъ послѣдняя молитва Дездемоны....»

Еще долго капельмейстеръ изчислялъ мнѣ всѣ человѣческія страданія, получившія голосъ въ произведеніяхъ славныхъ музыкантовъ; но я не слушалъ его болѣе,—я замѣтилъ въ музыкѣ что-то странное, обворожительно - ужасное, я замѣтилъ, что къ каждому звуку присоединялся другой звукъ болѣе пронзительный, отъ котораго холодъ пробѣгалъ по жиламъ и волосы дыбомъ становилось на головѣ; прислушиваюсь: то какъ-будто крикъ страждущаго младенца, или буйный вопль юноши, или визгъ сиротѣющей матери, или трепещущее стенаніе старца, и всѣ голоса различныхъ терзаній человѣческихъ явились мнѣ, какъ музыкальные тоны, разложенными по степенямъ одной безконечной *гаммы,* продолжавшейся отъ перваго вопля новорожденнаго, до послѣдней мысли умирающаго Байрона: каждый звукъ вырывался изъ раздраженнаго нерва и каждый напѣвъ былъ судорожнымъ движеніемъ.

Этотъ страшный оркестръ темнымъ облакомъ висѣлъ надъ танцующими,—при каждомъ ударѣ оркестра вырывались изъ облака: и громкая рѣчь негодованія, и прерывающійся лепетъ побѣжденнаго болью, и глухой говоръ отчаянія, и рѣзкая скорбь жениха, разлученнаго съ невѣстою, и раскаяніе измѣны, и крикъ торжествующихъ возмутителей, и насмѣшка невѣрія, и безплодное рыданіе генія, и таинственная печаль обманутаго лицемѣра, и стонъ страдальца, непризнаннаго своимъ вѣкомъ, и вопль человѣка, въ грязь стоптавшаго сокровищницу души своей, и болѣзненный голосъ изможденнаго долгою жизнію человѣка, и радость мщенія, и трепетаніе злобы, и упоеніе истребителя, и томленіе жажды, и скрежетъ зубовъ, и хрустъ костей, и плачъ, и взрыдъ, и хохотъ.... и все сливалось въ неистовыя созвучія, которыя громко выговаривали проклятіе природѣ и ропотъ на провидѣніе; при каждомъ ударѣ оркестра выставлялись

изъ него: то посинѣлое лицо истерзаннаго пыткою, то смѣющіеся глаза сумасшедшаго, то трясущіяся колѣни убійцы, то замолчавшія уста убитаго тайною грустію; изъ темнаго облака капали на паркетъ кровавыя слезы,—по нимъ скользили атласные башмаки красавицъ—и все по прежнему вертѣлось, прыгало, бѣсновалось въ сладострастномъ холодномъ безуміи......

Долго за разсвѣтъ длился балъ, долго поднятые съ постели житейскими заботами, останавливались посмотрѣть на мелькающія тѣни въ свѣтлыхъ окошкахъ.

Закруженный, усталый, истерзанный его мучительнымъ весельемъ, я выскочилъ на улицу изъ душныхъ комнатъ и впивалъ въ себя свѣжій воздухъ, утренній благовѣстъ терялся въ шумѣ разъѣзжающихся экипажей и предо мною были растворенныя двери храма.

Я вошелъ; въ церкви пусто; одна свѣча горѣла предъ иконою, и тихій голосъ священника раздавался подъ сводами: онъ произносилъ завѣтныя слова любви, вѣры, надежды; онъ возвѣщалъ таинство искупленія, онъ говорилъ о Томъ, Кто соединилъ въ Себѣ всѣ страданія человѣка; онъ говорилъ о высокомъ созерцаніи Божества, о мирѣ душевномъ, о милосердіи къ ближнему, о братскомъ соединеніи человѣчества, о забвеніи обидъ, о прощеніи врагамъ, о тщетѣ замысловъ богопротивныхъ, о безпрерывномъ совершенствованіи души человѣка, о смиреніи предъ судьбами Всевышняго; онъ молился объ оглашенныхъ, о предстоящихъ!

Я бросился къ притвору храма, хотѣлъ удержать бѣснующихся страдальцевъ, сорвать съ сладострастнаго ложа ихъ растерзанное сердце, возбудить его отъ холоднаго сна огненною гармоніею любви и вѣры, но уже было поздно!—всѣ проѣхали мимо церкви и никто не слыхалъ словъ священника....

Была еще въ старину такъ называемая описательная поэзія. Цѣлыя огромныя поэмы были посвѣщаемы описанію извѣстныхъ садовъ, мѣстоположеній, временъ года, и пр.; такую поэзію приличнѣе было бы назвать статистическою. Впрочемъ, это вздоръ, который не стоитъ и опроверженія. Поэзія говоритъ не описаніями, а картинами и образами; поэзія не описываетъ и не списываетъ предмета, а создаетъ его.

Была еще эпиграматическая поэзія. Выше, мы намекнули на значеніе эпиграммы у древнихъ. Въ наше время,

это—острота, bon-mot, оправленное въ рифму, Въ прошломъ вѣкѣ, эпиграмма занимала почетное мѣсто въ ряду другихъ родовъ поэзіи; иные поэты тогда только и писали, что эпиграммы. Теперь это—или шалость поэта, или его хлопушка по иной физіономіи. Во всякомъ случаѣ, она относится не къ искусству, а къ бельлетристикѣ.

СТАТЬИ

НЕ БЫВШІЯ ВЪ ПЕЧАТИ.

ИДЕЯ ИСКУССТВА *).

Искусство есть непосредственное созерцаніе истины, или мышленіе въ образахъ.

Въ развитіи этого опредѣленія искусства заключается вся теорія искусства: его сущность, его раздѣленіе на роды, равно какъ условія и сущность каждаго рода.

Примѣч. Это опредѣленіе еще въ первый разъ произносится на русскомъ языкѣ, и его нельзя найдти ни въ одной русской эстетитѣ, или такъ-называемой теоріи словесности,—и по этому, чтобы оно не показалось страннымъ, дикимъ и ложнымъ для тѣхъ, которые слышатъ его въ первый разъ, мы должны войдти въ самыя подробныя объясненія всѣхъ представленій, заключающихся въ этомъ совершенно новомъ у насъ опредѣленіи искусства, — хотя бы многое тутъ и не относилось собственно къ искусству, и могло бы для людей, знакомыхъ съ наукую въ ея современномъ состояніи, показаться неважнымъ, лишнимъ, мелочно-подробнымъ.

Первое, что особенно должно, въ нашемъ опредѣленіи искусства, поразить собою, какъ странностію, многихъ изъ

*) Это другой отрывокъ изъ отдѣла Эстетики, найденный въ бумагахъ покойнаго, большая часть которыхъ, къ несчастію, была уничтожена имъ самимъ въ 1848 году. Весь написанный карандашемъ и оставленный не окопченнымъ, онъ принадлежитъ, судя по звему, къ одному времени съ первымъ.

читателей, — есть безъ сомнѣнія то, что мы искусство называемъ мышленіемъ, и тѣмъ самымъ соединяемъ между собою два самыя противоположныя, самыя несоединимыя представленія.

Въ самомъ дѣлѣ, философія всегда враждовала съ поэзіею,— и въ самой Грнціи, истинномъ отечествѣ и поэзіи и философіи, философъ осудилъ поэтовъ на изгнаніе изъ своей идеальной республики, хотя и увѣнчалъ ихъ предварительно лаврами. Общее мнѣніе приписываетъ поэтамъ живую, страстную натуру, которая заставляетъ ихъ увлекаться настоящимъ, мгновеннымъ, забывая о прошедшемъ и будущемъ, пріятному жертвовать полезнымъ, ненасытимую ничѣмъ и никогда не удовлетворяемую жажду наслажденія, всегда предпочитаемаго нравственности, легкость, измѣнчивость и непостоянство во вкусахъ и стремленіяхъ, наконецъ—безпокойную фантазію, которая всегда увлекаетъ ихъ отъ дѣйствительнаго къ идеальному и отнимаетъ въ ихъ глазахъ цѣну вѣрному счастію дня для прекрасной и несбыточной мечты. Напротивъ, философамъ общее мнѣніе приписываетъ стремленіе къ мудрости, какъ высшему благу жизни, непонятному для толпы и недостижимому для людей обыкновенныхъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, оно почитаетъ ихъ неотъемлемыми качествами—несокрушимую силу воли, постоянства въ стремленіи къ единой и неизмѣнной цѣли, благоразуміе въ поступкахъ, умѣренность въ желаніяхъ, предпочтеніе полезнаго и истиннаго пріятному и обольщающему, умѣніе достигать въ жизни благъ прочныхъ, дѣйствительныхъ и наслаждаться, находя ихъ источникъ въ самихъ себѣ, въ таинственной сокровищницѣ своего безсмертнаго духа, а не въ призрачной внѣшности и калейдоскопической пестротѣ обманчивыхъ обольщеній земной жизни. И потому общее мнѣніе видитъ въ поэтѣ любимое дитя, счастливаго баловня пристрастной матери природы, дитя испорченное, шаловливое, капризное, часто злое даже,

но тѣмъ больше очаровательное и милое; въ философѣ видитъ оно строгаго служителя вѣчной истины и мудрости, олицетворенную правду въ словахъ, добродѣтель въ поступкахъ. И потому перваго встрѣчаетъ оно съ любовью, и если, оскорбляемое его легкостію, изъявляетъ ему иногда свое негодованіе, то не иначе, какъ съ улыбкою на устахъ; втораго встрѣчаетъ оно съ уваженіемъ, сквозь которое просвѣчиваетъ робость и холодность. Однимъ словомъ, простое, непосредственное, эмпирическое сознаніе видитъ между поэзіею и философіею ту же разницу, какъ и между живою, пламенною, радужною, легкокрылою фантазіею и сухимъ, холоднымъ, кропотливымъ и суровымъ брюзгою-разсудкомъ. Но то же самое общее мнѣніе, которое положило между поэзіею и философіею такую же разницу, какъ-бы между огнемъ и водою, жаромъ и холодомъ, — то же самое общее мнѣніе, или непосредственное сознаніе, указало имъ и одинаковое стремленіе къ единой цѣли — къ небу. Поэзіи приписываетъ оно божественную силу восторгать къ небу духъ человѣческій высокими ощущеніями, возбуждая ихъ въ немъ прекрасными нерукотворенными образами общей жизни; дѣломъ философіи поставляетъ оно роднить духъ человѣческій съ тѣмъ же небомъ и тѣми же высокими ощущеніями, но возбуждая ихъ живымъ сознаніемъ въ мысли законовъ общей жизни.

Мы нарочно привели здѣсь простое, естественное сознаніе толпы: оно всѣмъ доступно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, заключаетъ въ себѣ глубокую истину, такъ что наука вполнѣ подтверждаетъ и оправдываетъ его. Дѣйствительно, въ самой сущности искусства и мышленія заключается и ихъ враждебная противоположность и ихъ тѣсное, единокровное родство другъ съ другомъ, какъ мы увидимъ ниже.

Все сущее, все, что̀ есть, все, что̀ называемъ мы матеріею и духомъ, природою, жизнію, человѣчествомъ, исто-

рiею, мiромъ, вселенною,—все это есть мышленiе, которое само себя мыслитъ. Все существующее, все это безконечное разнообразiе явленiй мiровой жизни, есть ничто иное, какъ формы и факты мышленiя; слѣдовательно, существуетъ одно мышленiе, и кромѣ мышленiя ничто не существуетъ.

Мышленiе есть дѣйствiе, а всякое дѣйствiе необходимо предполагаетъ при себѣ движенiе. Мышленiе состоитъ въ дiалектическомъ движенiи, или развитiи мысли изъ самой себя. Движенiе или развитiе есть жизнь и сущность мышленiя: безъ нихъ не было бы движенiя, а была бы какая-то мертвая, неподвижно-стоячая пребываемость первосущныхъ силъ только что наклюнувшейся жизни, безъ всякаго опредѣленiя, осуществившаяся въ явѣ картина хаотическаго состоянiя души, съ такою ужасающею вѣрностiю изображенная поэтомъ:

То было тьма безъ темноты;
То было бездна пустоты
Безъ протяженья и границъ;
То были óбразы безъ лицъ;
То страшный мiръ какой-то былъ,
Безъ неба, свѣта и свѣтилъ,
Безъ времени, безъ дней и лѣтъ,
Безъ промысла, безъ благъ и бѣдъ;
Ни жизнь, ни смерть—какъ сонъ гробовъ,
Какъ океанъ безъ береговъ,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, мрачный и нѣмой.

Точка отправленiя, исходный пунктъ мышленiя есть божественная абсолютная идея; движенiе мышленiя состоитъ въ развитiи этой идеи изъ самой себя, по законамъ высшей (трансцендентальной) логики или метафизики; развитiе идеи изъ самой себя есть ея прохожденiе черезъ собственные моменты,—какъ мы покажемъ это ниже самимъ примѣромъ.

Развитіе идеи изъ самой себя, или изнутри самой себя называется на философскомъ языкѣ имманентнымъ. Отсутствіе всякихъ внѣшнихъ вспомогательныхъ способовъ и толчковъ, которые могъ бы представить опытъ, есть условіе имманентнаго развитія; въ жизненномъ содержаніи самой идеи заключается органическая сила имманентнаго развитія,—такъ живое зерно заключаетъ въ нѣдрахъ своихъ силу своего развитія въ растеніе, и чѣмъ богаче жизненное содержаніе, въ нѣдрахъ зерна заключенное, тѣмъ могущественнѣйшее растеніе развивается изъ него, и наоборотъ: изъ жолудя и изъ маленькаго орѣшка развиваются величественный дубъ и огромный кедръ, въ облака упирающіеся своими вершинами, а изъ картофелины, которая, можетъ-быть, въ пятьдесятъ разъ больше жолудя и въ тысячу разъ больше кедроваго орѣха — огородная былинка, едва ли на нѣсколько вершковъ возвышающаяся надъ землею.

Мышленіе необходимо условливаетъ собою существованіе двухъ противоположныхъ, какъ явленія, сторонъ духа, которыя себѣ находятъ въ немъ свое примиреніе, единство и тождество: это—духъ субъективный (внутренній, мыслящій) и духъ объективный (внѣшній первому, мыслимый, предметъ мышленія). Изъ сего ясно видно, что мышленіе, какъ дѣйствіе, необходимо предполагаетъ два противоположные другъ другу предмета—мыслящій (субъектъ) и мыслимый (объектъ), и что оно невозможно безъ разумнаго существа—человѣка. Послѣ этого насъ вправѣ спросить: какимъ же образомъ весь міръ и сама природа есть ничто иное, какъ мышленіе?

Мыслимое съ мыслящимъ—однородно, единосущно и тождественно, такъ что первое движеніе первобытной матеріи, стремившейся стать (werden) нашею планетою, и послѣднее разумное слово сознающаго человѣка есть ничто иное, какъ одна и та же сущность, только въ различныхъ мо-

ментахъ своего развитія. Сфера познаваемаго есть почва, изъ которой возникаетъ и образуется сознаніе.

Ничто повидимому такъ ни противоположно и ни враждебно одно другому, какъ природа и духъ, и въ то же время ничто такъ и ни родственно и ни единосущно одно съ другимъ, какъ природа и духъ. Духъ есть причина и жизнь всего сущаго; но самъ по себѣ онъ есть только возможность бытія, но не его дѣйствительность; чтобы стать (werden) бытіемъ дѣйствительнымъ, онъ долженъ былъ явиться тѣмъ, что̀ мы называемъ міромъ, и прежде всего стать природою.

Итакъ, природа есть первый моментъ духа, изъ возможности стремящагося стать дѣйствительностію. Но и этотъ первый шагъ его къ бытію дѣйствительному не былъ имъ сдѣланъ вдругъ, но совершался въ послѣдовательномъ рядѣ множества моментовъ, изъ которыхъ каждый ознаменовался особенною ступенью творенія. Прежде, нежели явились творенія населяющія землю, образовалась сама земля, и образовалась не вдругъ а постепенно, перейдя черезъ множество превращеній, перетерпѣвъ множество переворотовъ, но такъ, что всякій послѣдующій переворотъ былъ ступенью къ ея совершенству *). Законъ всякаго развитія есть то, что каждый послѣдующій моментъ выше предшествовавшаго. Но вотъ планета наша готова, — и изъ нѣдръ ея возникаютъ милліоны созданій, образующія собою три царства природы. Мы видимъ ихъ въ безпорядкѣ, въ хаотическомъ смѣшеніи: на вершинѣ дерева сидитъ птица, у корня змѣя сторожитъ свою добычу, возлѣ пасется волъ и т. д. Воля человѣка на одномъ небольшомъ пространствѣ соединяетъ самыя разнородныя явленія природы: бѣлаго медвѣдя, жителя полярныхъ льдовъ, со львомъ и

*) Новая Голландія и теперь еще представляетъ собою зрѣлище не достигшаго своего развитія материка.

тигромъ, жителями знойныхъ странъ тропическихъ; разводитъ въ Европѣ американскія растенія — табакъ и картофель, и въ сѣверныхъ странахъ, съ помощію теплицъ, возращаетъ роскошные плоды вѣчно весенняго юга. Но въ этомъ хаотическомъ безпорядкѣ, въ этой пестрой смѣси, въ этомъ безконечномъ разнообразіи теряется и изчезаетъ только утомленный взоръ человѣка: разумъ же его видитъ въ этихъ явленіяхъ строгую послѣдовательность, непреложное единство. Отвлекая отъ этихъ безконечно разнообразныхъ и безконечно безчисленныхъ явленій природы ихъ общія свойства, онъ доходитъ до сознанія родовъ и видовъ, — и нестройный хаосъ изчезаетъ передъ нимъ, уступая мѣсто совершенному порядку; милліоны случайныхъ явленій превращаются въ единицы необходимыхъ явленій, изъ которыхъ каждое есть навсегда остановившійся въ своемъ полетѣ моментъ воплощенія развивающейся божественной идеи! Какая строгая послѣдовательность! Нигдѣ нѣтъ скачковъ — звенья цѣпляются за звенья и образуютъ единую безконечную цѣпь, въ которой каждое послѣдующее звено лучше предшествовавшаго! Коралловыя деревья соединяютъ минеральное царство съ растительнымъ; полипы — животнорастенія соединяютъ живымъ звеномъ растительное царство съ животнымъ, которое открывается миріадами насѣкомыхъ, этихъ какъ бы сорвавшихся съ своихъ стеблей и летающихъ цвѣтовъ, и постепенно переходя до высшихъ организацій, оканчивается оранг-утангомъ, этимъ неудавшимся человѣкомъ! Всему свое мѣсто и время, и каждое послѣдующее явленіе есть какъ бы необходимый результатъ предшествовавшаго: какая строгая логическая послѣдовательность, какое непреложно правильное мышленіе! Но вотъ является человѣкъ — и царство природы оканчивается — начинается царство духа, но духа еще порабощеннаго природѣ, хотя уже и порывающагося къ свободѣ чрезъ побѣду надъ нею. Полу-звѣрь и полу-человѣкъ, онъ

весь покрытъ волосами, огромный станъ его наклоненъ впередъ, нижняя челюсть высунулась впередъ, голени почти безъ икръ, большой палецъ на ногахъ отстоящій; но его надежда уже не на одну силу, но и на ловкость и соображеніе: руки его вооружены, но не простою палкою, не дубиною, но чѣмъ-то въ родѣ каменнаго топора, прикрѣпленнаго къ длинной палкѣ... Въ Австраліи мы видимъ дикарей, раздѣленными на племена: они пожираютъ подобныхъ себѣ, — и физіологи говорятъ, что причина этого страшнаго заблужденія—ихъ организація, требующая пищи изъ человѣческаго мяса, какъ наилучше претворяющагося въ кровь и плоть питающихся имъ. Туземецъ Африки— лѣнивое, звѣрообразное, тупоумное существо, осужденное на вѣчное рабство и работающее изъ-подъ палки и смертельныхъ истязаній. Въ Америкѣ только мелкія племена, на окружающихъ ее островахъ, были подвержены человѣкоядѣнію; на материкѣ же ея были двѣ огромныя монархіи, Перу и Мехика, представительницы высшаго образованія, до какого только могли достигнуть дикари высшей противъ другихъ организаціи. Какая правильная постепенность, какая строго непреложная послѣдовательность въ этихъ переходахъ изъ низшаго рода въ высшій, изъ низшей организаціи въ высшую, въ этомъ безконечномъ стремленіи духа найдти самого себя, какъ самосознающую личность. Принимая новую форму и какъ бы не удовлетворяясь ею, онъ не разрушаетъ ее, но оставляетъ какъ воплощенный и навсегда прикованный къ пространству моментъ своего развитія—и принимаетъ новую форму, какъ выраженіе новаго момента своего развитія. Бѣдные сыны Америки и теперь остались тѣми же, какими застали ихъ Европейцы. Переставши бояться огнестрѣльнаго оружія, какъ гласа боговъ раздраженныхъ, даже научившись употреблять его сами,—они все-таки нисколько не очеловѣчились съ тѣхъ поръ, и дальнѣйшаго развитія человѣческаго существа мы

должны искать въ Азіи. Только тутъ кончилось твореніе, природа совершила свой полный кругъ и уступила свое мѣсто новому, чисто духовному развитію — исторіи. Тутъ опять раздѣленіе человѣческаго рода на расы — и племя кавказское является цвѣтомъ человѣчества. Изъ колѣнъ и племенъ образуются народы, изъ семействъ — государства, — и каждое государство есть ничто иное, какъ моментъ духа, развивающагося въ человѣчествѣ, и даже время явленія каждаго соотвѣтствуетъ моменту развивающейся изъ себя абстрактной мысли или философскому мышленію. И для человѣчества тѣ же законы, что и для человѣческой личности: и для него есть эпохи младенчества, юности и возмужалости. Въ своей священной колыбели — въ Азіи, оно—дитя природы, спеленанное ею по рукамъ и по ногамъ, исповѣдуетъ непосредственную вѣру преданія, живетъ религіозными миѳами, до тѣхъ поръ, пока въ Греціи не вышло изъ подъ опеки природы, а темныя религіозныя вѣрованія изъ символовъ не возвысило до поэтическихъ образовъ и не просвѣтило свѣтомъ разумной мысли. Жизнь греческаго народа была цвѣтомъ древней жизни, конкреціею ея элементовъ, богатымъ пиромъ, за которымъ послѣдовалъ упадокъ древняго міра. Младенчество кончилось— наступилъ періодъ религіозный, по преимуществу, рыцарскій, поэтическій, полный жизни, движенія, романическихъ подвиговъ, несбыточныхъ предпріятій. Открытіе Америки, изобрѣтеніе пороху и книгопечатанія были внѣшними толчками для перехода человѣчества изъ юношескаго возраста въ эпоху возмужалости, продолжающейся и теперь. Каждый вѣкъ вытекалъ изъ другаго и одинъ былъ необходимымъ результатомъ другаго.

Старѣясь въ сомнѣньяхъ
О великихъ тайнахъ,
Идутъ невозвратно
Вѣки за вѣками;

У каждаго вѣка
Вѣчность вопрошаетъ
Чѣмъ кончилось дѣло?
Вопроси другаго!
Каждый отвѣчаетъ.

Каждое важное событіе въ человѣчествѣ совершается въ свое время, а не прежде и не послѣ. Каждый великій человѣкъ совершаетъ дѣло своего времени, рѣшаетъ современные ему вопросы, выражаетъ своею дѣятельностію духъ того времени, въ которое онъ родился и развился. Въ наше время невозможны ни крестовые походы, ни инквизиція, ни всемірное владычество державнаго священника; въ средніе вѣка невозможны были ни эта личная безопасность, которою пользуется каждый изъ членовъ новѣйшаго гражданскаго общества, ни это свободное развитіе, возможность котораго предоставляетъ новѣйшее гражданское общество даже послѣднѣйшему изъ своихъ членовъ, ни эти великія побѣды духа надъ природою, или, лучше сказать, это полное покореніе природы духу, которое выразилось въ паровыхъ машинахъ, почти уничтожившихъ время и пространство. Организаціи, подобныя организаціямъ Колумба, Карла V, Франциска I, герцога Альбы, Лютера и проч., возможны и въ наше время, какъ онѣ и всегда были возможны; да только, явившись въ наше время, онѣ совсѣмъ не такъ бы дѣйствовали и не то бы совсѣмъ сдѣлали.

Итакъ, отъ перваго пробужденія довременныхъ силъ и элементовъ жизни, отъ перваго движенія ихъ въ матеріи чрезъ всю лѣствицу развивавшейся въ твореніи природы, до вѣнца творенія—человѣка; отъ перваго соединенія людей въ общества до послѣдняго историческаго факта нашего времени — одна цѣпь развитія, нигдѣ не прерывающаяся, единая лѣствица съ земли на небо, на которой нельзя подняться на высшую ступень, не опершись на ту, которая подъ нею! И въ природѣ и въ исторіи владычествуетъ не

слѣпой случай, а строгая непреложная внутренняя необходимость, по причинѣ которой всѣ явленія связаны другъ съ другомъ родственными узами, въ безпорядкѣ является стройный порядокъ, въ разнообразіи единство, и по причинѣ которой возможна наука. Что же такое эта внутренняя необходимость, дающая смыслъ и значеніе всѣмъ явленіямъ бытія, и эта строгая послѣдовательность и постепенность, въ которой явленія слѣдуютъ другъ за другомъ, какъ бы выходя другъ изъ друга? — Это мышленіе, само себя мыслящее.

Природа есть какъ бы средство для духа стать дѣйствительностію и увидѣть и сознать самого себя. Посему ея вѣнецъ — человѣкъ, съ которымъ окончилась и на которомъ остановилась ея творческая дѣятельность. Гражданское общество есть средство для развитія человѣческихъ личностей, которыя суть—все, и въ которыхъ живетъ и природа, и общество, и исторія, въ которыхъ снова повторяются всѣ процессы міровой жизни, то есть природы и исторіи. Какимъ же образомъ это происходитъ? Чрезъ мышленіе, посредствомъ котораго человѣкъ проводитъ чрезъ себя все внѣ его существующее—и природу, и исторію, и, наконецъ, собственную свою личность, какъ будто бы и она была чуждый и внѣ его находящійся предметъ.

Въ человѣкѣ духъ обрѣлъ самого себя, нашелъ свое полное и непосредственное выраженіе, созналъ въ немъ себя, какъ субъектъ или личность. Человѣкъ есть воплощенный разумъ, существо мыслящее — титулъ, которымъ онъ и отличается отъ всѣхъ другихъ существъ и возвышается какъ царь надъ всѣмъ твореніемъ. Подобно всему въ природѣ существующему, онъ есть мышленіе уже по одному непосредственному существованію какъ факту; но еще болѣе есть онъ мышленіе по дѣйствію своего разума, въ которомъ повторяется, какъ въ зеркалѣ, все бытіе, весь міръ, со всѣми его явленіями, физическими и умственными. Сре-

доточіе и фокусъ этого мышленія есть его *я*, которое, или которому, онъ противопоставляетъ и на которое онъ рефлектируетъ (отражаетъ) всякій мыслимый имъ предметъ, не исключая и самого себя. Еще не пріобрѣтши никакихъ идей, онъ уже родится мыслящимъ, ибо самая природа его непосредственно открываетъ ему тайны бытія,—и всѣ первоначальные миѳы младенчествующихъ народовъ суть не выдумки, не изобрѣтенія, не вымыслы, а непосредственное откровеніе истины о Богѣ и мірѣ и ихъ отношеніяхъ, откровенія, которыя своею образностію дѣйствовали на младенческій умъ не прямо, а чрезъ фантазію передавались сперва чувству. Вотъ религія въ ея философскомъ опредѣленіи: непосредственное представленіе истины.

Во всякомъ младенчествующемъ народѣ замѣчается сильная наклонность выражать кругъ своихъ понятій видимымъ чувственнымъ образомъ и, начиная съ символа, доходить до поэтическихъ образовъ. Это второй путь, вторая форма мышленія—искусство, котораго философское опредѣленіе есть — непосредственное созерцаніе истины. Мы къ нему скоро возвратимся, такъ какъ оно составляетъ главный предметъ нашей книги.

Наконецъ, вполнѣ развившійся и созрѣвшій человѣкъ переходитъ въ высшую и послѣднюю сферу мышленія — въ мышленіе чистое, отрѣшенное отъ всего непосредственнаго, все возвышающее до чистаго понятія и опирающееся на само себя.

Очевидно, что все это только три различныя пути, три различныя формы одного и того же содержанія, которое есть — бытіе. Какъ бы то ни было, только эти три рода мышленія, если можно такъ выразиться, совсѣмъ не то, что мы называли мышленіемъ до человѣка, міромъ природы и исторіи. Дѣйствительно это не одно и то же, хотя и одно и то же, точно такъ же, какъ человѣкъ-младенецъ и человѣкъ-мужъ есть не одно и то же существо, хотя послѣд-

ній все-таки есть ничто иное, какъ новая и высшая форма перваго

Читатели не забыли, что въ нашемъ опредѣленіи искусства мы употребили слово «непосредственный»; вѣроятно, также они замѣтили, что и потомъ мы часто его употребляли. Значеніе этого слова такъ важно, оно замѣняетъ собою такъ много словъ и, посему, частое употребленіе его такъ необходимо, что мы почитаемъ долгомъ сдѣлать отступленіе отъ предмета для его объясненія.

Слово «непосредственный» и происходящее отъ него «непосредственность» взято съ нѣмецкаго языка и принадлежитъ новѣйшей философіи. Оно означаетъ и бытіе и дѣйствіе прямо изъ самого-себя выходящее, безъ всякаго посредства. Объяснимъ это примѣромъ. Ежели вы знаете человѣка по его образу мыслей и его образу жизни и характеру дѣйствій, любите и уважаете его за нихъ,—вы знаете его не непосредственно, потому что онъ открылся вашему разумѣнію, не непосредственно, а посредствомъ своего образа мыслей, жизни и дѣйствій. И такимъ, вы можете передать его и разумѣнію другаго человѣка, никогда его не видавшаго,—и изъ вашихъ словъ этотъ другой можетъ почувствовать къ нему такое же уваженіе и такую же любовь. Но тутъ еще не весь человѣкъ, а только тѣнь, которую онъ отъ себя отбрасываетъ, не самъ человѣкъ, а только его описаніе. Когда вы слышите отъ другаго разсказъ о такомъ человѣкѣ, — умъ вашъ занятъ болѣе или менѣе яснымъ представленіемъ разныхъ хорошихъ или дурныхъ качествъ, но воображеніе ваше пусто,—въ немъ не отражается, какъ въ зеркалѣ, никакого живаго образа, который бы говорилъ самъ за себя, или подтверждалъ бы то, что вамъ говорятъ о немъ. Что жь это значитъ?—то, что какъ описаніе примѣтъ человѣка не даетъ яснаго представленія его наружности, такъ и изображеніе (отвлеченіе) его хорошихъ или дурныхъ качествъ, какъ бы ни были

они замѣчательны, не дастъ живаго созерцанія личности человѣка; надо, чтобы онъ самъ за себя говорилъ, внѣ своихъ хорошихъ или дурныхъ качествъ. Есть лица, которыя, будучи и хороши и дурны, не оставляютъ въ нашей памяти рѣзкаго слѣда и скоро исчезаютъ изъ нея. Есть, напротивъ, другія, которыя, повидимому, ничего не имѣя особеннаго, рѣзко хорошаго, или рѣзко дурнаго, съ перваго взгляда навсегда остаются въ вашемъ воображеніи. Это особенно поразительно въ отношеніи къ женскимъ лицамъ: часто ослѣпительная красота уступаетъ въ нашемъ созерцаніи мѣсто самому скромному, самому, кажется, обыкновенному лицу. Причина такой разности въ впечатлѣніяхъ, производимыхъ тою или другою личностію, безъ сомнѣнія, заключается въ самой этой личности, но тѣмъ не менѣе эта причина не выговариваема словомъ, какъ всякая тайна. Вотъ человѣкъ: смѣло и бойко говоритъ онъ обо всемъ, ловко и искусно даетъ вамъ знать о своихъ высокихъ качествахъ; по его словамъ, онъ живетъ въ одномъ высокомъ и прекрасномъ, готовъ отдать за истину свою жизнь; вы слушаете его, видите въ немъ много ума, не отрицаете даже и чувства, его мнѣніе о самомъ себѣ кажется вамъ правдоподобнымъ,—и между тѣмъ вы остаетесь къ нему холодны, онъ не возбуждаетъ въ васъ никакого живаго интереса. Что̀ это значитъ? Конечно то, что вы безсознательно чувствуете какое то противорѣчіе между его словами и имъ самимъ. Разсудокъ вашъ одобряетъ его слова, беретъ ихъ какъ данныя для сужденія о немъ, а непосредственное впечатлѣніе, которое онъ производитъ на васъ, возбуждаетъ недовѣрчивость къ его словамъ и отталкиваетъ васъ отъ него. Но вотъ другой человѣкъ: онъ такъ чуждъ всякихъ претензій, такъ простъ, такъ обыкновененъ; онъ говоритъ о томъ же, о чемъ и всѣ говорятъ—о погодѣ, о лошадяхъ, о шампанскомъ, объ устрицахъ,—а между тѣмъ вы, видя его въ первый разъ, какъ

будто по какому-то капризу своего чувства, на зло вашему разсудку, увѣряетесь, что этотъ человѣкъ не то, чѣмъ кажется, что ему открыты высшія идеальныя области и глубочайшія тайны бытія, — и онъ смѣло и прямо, какъ свою собственность, беретъ вашу любовь и уваженіе, прежде нежели вы успѣете замѣтить это. Здѣсь опять та же причина — сила и власть непосредственнаго впечатлѣнія, которое производитъ на васъ этотъ человѣкъ. Все, что̀ скрывается въ его натурѣ,—все это выражается въ самыхъ его движеніяхъ, жестахъ, голосѣ, лицѣ, игрѣ физіономіи, словомъ—въ его непосредственности. Такъ точно иногда вся роскошь образованія, умственнаго, эстетическаго и свѣтскаго, даже при выгодной наружности, не возбуждаетъ въ насъ къ женщинѣ того трепетнаго, музыкальнаго чувства, которое внушаетъ присутствіе женщины, того благоговѣнія, какимъ оно насъ оковываетъ; а простая дѣвушка, лишенная всякаго образованія, но которой натура глубока и богата, однимъ спокойнымъ взглядомъ заставляетъ опускаться дерзко устремленные на нее взоры, какъ будто бы ихъ поразили лучи солнечные. По той же самой причинѣ, вы иногда тяготитесь и скучаете самыми острыми словами, самыми умными шутками, не находя въ нихъ ничего забавнаго, кромѣ претензіи быть забавными; и вы же не можете безъ смѣха ни слышать ни одного слова, ни видѣть ни одного движенія иного человѣка, хотя ни въ его словахъ, ни въ его движеніяхъ, повидимому, нѣтъ ничего смѣшнаго, такъ-что, пересказывая о нихъ кому-нибудь и думая произвести несомнѣнный эффектъ, вы сами находите, къ своему удивленію, что въ нихъ ровно ничего нѣтъ, и что вся ихъ обаятельная сила заключалась въ непосредственности того человѣка.

Эта же самая непосредственность, составляющая такое важное условіе личности всякаго человѣка, является и въ дѣйствіи человѣка. Бываютъ случаи, въ которыхъ

наша натура какъ бы дѣйствуетъ за насъ, не ожидая посредничества нашей мысли, или нашего сознанія, — и мы какъ бы инстинктивно поступаемъ тамъ, гдѣ, повидимому, невозможно дѣйствовать безъ сознательнаго соображенія. Такъ, напримѣръ, случается, что человѣкъ сильно ушибившись, или подвергавшись опасности сильно ушибиться объ какой-нибудь, незамѣченный имъ по разсѣянности, или по сосредотеченности въ себѣ предметъ,—всякій разъ, какъ проходитъ мимо того мѣста, хотя бы ночью, наклоняется безсознательно. Такое дѣйствіе есть вполнѣ непосредственное. Но гораздо выше и поразительнѣе тѣ непосредственныя дѣйствія человѣческаго духа, въ которыхъ проявляется его высшая жизнь. Какъ бы ни было свято и истинно убѣжденіе человѣка, какъ бы ни были благородны и чисты его намѣренія, но чтобы высказать, или привести ихъ въ исполненіе, для этого еще недостаточно ни силы убѣжденія, ни благонамѣренности стремленія: для этого необходимъ тотъ вдохновенный порывъ, въ которомъ сливаются во едино всѣ силы человѣка, физическая природа его проникаетъ собою духовную его сущность, которая, въ свою очередь, просвѣтляетъ собою физическую его природу, разумное дѣйствіе становится инстинктивнымъ движеніемъ и наоборотъ. мысль дѣлается фактомъ, дѣйствіе разумной и свободной человѣческой воли — непосредственнымъ явленіемъ. Исторія представляетъ намъ поразительный примѣръ подобнаго непосредственнаго проявленія силы человѣческаго духа, торжествующаго даже надъ законами природы: сынъ Креза былъ отъ рожденія нѣмъ, но увидѣвъ, что непріятельскій солдатъ хочетъ по незнанію убить его отца, вдругъ получилъ употребленіе языка и воскликнулъ: «Воинъ, не убивай царя!» Но и этотъ примѣръ, какъ ни поразителенъ онъ, еще не представляетъ самаго высшаго проявленія непосредственной разумности: ее можно видѣть во всей безконечности ея великаго значенія только въ тѣхъ свободныхъ

и разумныхъ дѣйствіяхъ человѣка, въ которыхъ обнаруживается его высшая духовная природа и стремленіе къ безконечному. Вся исторія человѣчества, съ одной стороны, есть ничто иное, какъ безконечный рядъ картинъ такого рода непосредственно-разумныхъ и разумно-непосредственныхъ дѣйствій, въ которыхъ личное желаніе сливается съ внѣшнею для личности необходимостію, воля дѣлается инстинктомъ, порывъ къ дѣйствію самимъ дѣйствіемъ. Непосредственность дѣйствія не исключаетъ изъ себя ни воли, ни сознанія,—напротивъ, чѣмъ болѣе того и другаго участвуетъ въ немъ, тѣмъ оно выше, плодотворнѣе и дѣйствительнѣе; но воля и сознаніе, сами по себѣ, какъ отдѣльно взятые элементы духа, никогда не переходятъ въ дѣйствіе и не приносятъ плодовъ въ высшихъ сферахъ дѣйствительности, ибо тутъ они являются силами враждебными непосредственности, въ которой заключается живая производительная сила. Начало и развитіе природы, всѣ явленія исторіи и искусства совершались непосредственно.

Можетъ-быть многимъ изъ нашихъ читателей слово «непосредственный» покажется совершенно равнозначительнымъ слову «безсознательный», а «непосредственность»—«безсознательности», — и они, можетъ-быть, упрекнутъ насъ въ суетномъ желаніи изобрѣтать и вводить въ моду новыя и никому неизвѣстныя слова для старыхъ и всѣмъ извѣстныхъ понятій, давно уже выраженныхъ тоже всѣмъ извѣстными словами, и обвинятъ въ педантской охотѣ вдаваться въ излишнія объясненія и ненужныя отступленія, которыя не поясняютъ, а только затемняютъ дѣло. Если это случится, и если причиною этого будетъ не опрометчивая невнимательность поверхностнаго читателя,—то уже, конечно, и не справедливость его обвиненія, а развѣ то, что мы неудовлетворительно объяснили этотъ предметъ. Въ непосредственности можетъ быть безсознательность, но не всегда бываетъ, — и оба эти слова отнюдь не одно и

то же, и даже не синонимы. Природа, напримѣръ, произошла непосредственно и вмѣстѣ съ тѣмъ безсознательно; историческія же явленія, каковы начало языковъ и политическихъ обществъ, произошли непосредственно, но отнюдь не безсознательно; также точно непосредственность явленія есть основной законъ, непреложное условіе въ искусствѣ, дающее ему высокое значеніе; но безсознательность не только не составляетъ необходимой принадлежности искусства, но враждебна ему и унизительна для него. Слово «непосредственный» объемлетъ собою и заключаетъ въ себѣ гораздо обширнѣйшее, глубочайшее и высшее понятіе нежели слово «безсознательный»: это мы ясно докажемъ въ дальнѣйшемъ развитіи идеи искусства.

Условіе непосредственности всякаго явленія, есть вдохновенный порывъ; результатъ непосредственности всякаго явленія есть — организація. Только вдохновенное можетъ явиться непосредственно, только непосредственно-явившееся можетъ быть органическимъ, только органическое можетъ быть живымъ. Организмъ и механизмъ, или природа и ремесло, — вотъ два міра, враждебно-противоположные другъ другу. Одинъ—свободный, безпрестанно движущійся, измѣняющійся, неуловимый въ переливахъ цвѣтовъ и красокъ, шумный и звучный; другой — оцѣпенѣлый въ мертвенной неподвижности, рабски правильный и безжизненно-опредѣленный, съ ложнымъ блескомъ, поддѣльною жизнію, нѣмой и безгласный. Явленія перваго міра, живыя и непосредственно произраждающіяся, называются еще и вдохновенными или творческими, а явленія втораго міра—предметами механическими, или произведеніями рукъ человѣческихъ. Разумѣется, что этого не должно понимать буквально, и первоначальную живоносную причину смѣшивать съ посредствующею: всѣ статуи и всѣ картины дѣлаются руками человѣческими, но несмотря на то, есть статуи и картины

органическія, вдохновенныя, творческія, и есть статуи и картины механическія, не созданныя, а сдѣланныя.

Очевидно, что созданнымъ или творческимъ называется все, что не можетъ быть произведено соображеніемъ, разсчетомъ, разсудкомъ и волею человѣка, даже все, что не можетъ назваться и изобрѣтеніемъ; но что непосредственно является изъ небытія въ бытіе или творящею силою природы, или творческою силою духа человѣческаго, и что, въ противоположность изобрѣтенію, должно называться откровеніемъ. Организація, составляющая существенное различіе между произведеніями творческими и произведеніями механическими, очевидно, есть результатъ того процесса, посредствомъ котораго она возникаетъ. Противопоставимъ природу ремеслу, чтобы объяснить это примѣромъ. Когда у человѣка изобрѣтшаго часы мелькнула въ головѣ первая мысль объ этой машинѣ,—дѣло не было кончено этимъ многовеніемъ: не говоря уже о томъ, что много долженъ былъ думать и соображать прежде нежели приступилъ къ выполненію своей мысли,—онъ долженъ былъ еще и безпрестанно повѣрять ее опытомъ, и въ опытѣ искать дополненія своей мысли. Созидая, онъ снова разрушалъ, слагая—разбиралъ, ибо всегда находилъ, что чего-нибудь да не доставало. Главный духовный дѣятель въ актѣ его изобрѣтенія было соображеніе, разсчетъ, вычисленіе вѣроятностей. Осторожно, будто въ потьмахъ дѣлалъ онъ шагъ за шагомъ, работая головою и считая на пальцахъ. И потому его изобрѣтеніе не могло быть тотчасъ же совершеннымъ, но нужны были вѣковыя успѣхи точныхъ наукъ, чтобы оно могло дойдти до совершенства. Хочетъ ли ремесло подражать природѣ,—тутъ еще поразительнѣе видно могущество одной и безсиліе другаго. Человѣкъ хочетъ сдѣлать цвѣтокъ—розу. Для этого онъ беретъ натуральную, долго и внимательно изучаетъ ее во всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ—каждый лепестокъ, складку, переливъ и оттѣнокъ

цвѣта, общую форму, и уже послѣ многихъ соображеній и разсчетовъ выкраиваетъ и сшиваетъ свой цвѣтокъ изъ тканей, окрашенныхъ подъ цвѣта природы. И въ самомъ дѣлѣ, какъ велико его искусство: за десять шаговъ вы не отличите его искусственной розы отъ натуральной; но подойдите ближе—и вы увидите холодный, неподвижный трупъ подлѣ прекраснаго, полнаго жизни созданія природы,—и ваше чувство оскорбится мертвою поддѣлкою. Съ радостнымъ чувствомъ схватываете вы очаровательный цвѣтокъ—разсматриваете и обоняете его. Его листики и лепестки расположены такъ симметрически, такъ пропорціонально, что ихъ правильность можетъ постигаться только нашимъ умомъ, а не повѣряться нашими инструментами, слишкомъ недостаточно для этого правильными, и потомъ каждый изъ нихъ такъ тщательно, съ такою заботливостью, съ такимъ безконечнымъ совершенствомъ отдѣланъ и изукрашенъ до малѣйшихъ подробностей... Какъ роскошно прекрасенъ этотъ цвѣтокъ, сколько на немъ жилочекъ и оттѣнковъ, какая нѣжная и яркая пыль... о, самъ царь Соломонъ во славѣ своей не одѣвался такъ великолѣпно!... И какое, наконецъ, упоительное благоуханіе!... Но до сихъ поръ, пока мы на эту розу смотримъ со-внѣ, любуясь и дивясь ея видомъ, цвѣтомъ и запахомъ, искусственный цвѣтокъ еще можетъ быть сравниваемъ съ нею, по крайней мѣрѣ, хоть какъ пародія на нее, доказывающая своего рода силу и могущество человѣческаго ума; но развѣ въ розѣ однимъ этимъ все оканчивается? О, нѣтъ! это только внѣшняя форма, выраженіе внутренняго: эти чудныя краски вышли изнутри растенія, этотъ обаятельный ароматъ есть его бальзамическое дыханіе... Загляните туда, внутрь этого цвѣтка,—и всякое сравненіе съ нимъ искусственной розы уничтожается само собою, какъ нелѣпость, оскорбляющая здравый смыслъ. Тамъ, внутри зеленаго стебелька, на которомъ такъ граціозно держится этотъ роскошный цвѣтокъ, тамъ

цѣлый новый міръ: тамъ самостоятельная лабораторія жизненности, тамъ по тончайшимъ сосудцамъ дивно-правильной отдѣлки, течетъ влага жизни, струится невидимый эѳиръ духа. И между тѣмъ природа употребила на этотъ дивный цвѣтокъ и меньше времени и болѣе простые и дешевые матеріалы, и нисколько труда, соображенія, или разсчета: пало въ землю небольшое зерно,—и изъ земли вышло растеніе, одѣлось въ листья и украсилось цвѣтами на брачный пиръ весны... Уже въ его зернѣ заключался и корень, и стволъ, и красивые листочки, и пышный ароматическій цвѣтъ, и вся архитектура растенія, со всѣми его формами и пропорціями! Но что же тутъ сдѣлала природа? Чѣмъ же ознаменовала она свое участіе въ созданіи этого цвѣтка? Повторяемъ: ей это ничего не стоило. Спокойно, безъ всякихъ усилій, повторяетъ она теперь однажды навсегда созданныя ею явленія. Но было мгновеніе, когда она страшно работала, въ напряженіи и борьбѣ всѣхъ силъ своихъ... Когда всемощное «Да будетъ» пробудило довременный хаосъ, небытіе воззвало къ бытію, возможность къ дѣйствительности, идею къ явленію,—тогда безплотная божественная мысль, довременно существовавшая, изъ ничего явилась нашею планетою,—и долго вращалась эта планета то въ океанѣ воды, то въ океанѣ огня, — и высокіе хребты горъ на мѣстѣ бывшаго дна морскаго, подземные потоки водъ и огней, бездонныя моря, острова и озера, огнедышущіе волканы свидѣтельствуютъ о ея страшныхъ переворотахъ, прежде чѣмъ она стала тѣмъ, что теперь есть, о ея великой работѣ, которая и теперь еще не кончилась, судя по цѣлому огромному материку, еще и доселѣ не совершенно сформировавшемуся (Новая-Голландія). Да, это была великая работа; какъ будто съ болями и страданіями порождала природа безконечные ряды явленій, — и каждое изъ нихъ было могучимъ, мгновеннымъ и нечаяннымъ порывомъ изъ тьмы небытія на свѣтъ жизни.

Величественно и прекрасно зданіе вселенной! Какъ правиленъ этотъ голубой куполъ неба, по которому въ такомъ строгомъ порядкѣ, въ такой неизмѣнной правильности и гармоніи восходитъ и заходитъ солнце, появляется и скрывается луна съ миріадами звѣздъ! И между тѣмъ не циркулю обязаны своимъ существованіемъ эти круги и сферы, не было начертано на бумагѣ предварительнаго плана, и соображеніе математика не опредѣлило заранѣе этихъ безконечныхъ отношеній между безконечными величинами, тяжестями и пространствами. Нѣтъ конца вселенной, нѣтъ числа небеснымъ тѣламъ, и всѣ они дѣлятся на міры, подчиненные одинъ другому, и каждое изъ нихъ есть часть цѣлаго, составляющаго какъ бы живое органическое тѣло, и находится во взаимномъ отношеніи и взаимной зависимости отъ всякаго другаго, — и все это пространство безъ границъ, вся эта величина безъ измѣренія, все это множество безъ исчисленія, составляющее собою единое и цѣлое, родилось само изъ себя, заключая въ себѣ и свои законы, и свои вѣчныя неизмѣнныя числа и линіи, и весь чертежъ своего тоталитета. Вселенная есть божественная мысль, отъ вѣчности довременно существовавшая, какъ разумная возможность, и вдругъ ставшая очевидною дѣйствительностію, черезъ воплощеніе въ форму. Въ полнотѣ ея существованія мы видимъ двѣ, повидимому противоположныя, но въ сущности родственныя стороны: духъ и матерію. Духъ есть божественная мысль, источникъ жизни; матерія есть та форма, безъ которой мысль не могла бы проявиться. Очевидно, что оба эти элемента нуждаются другъ въ другѣ: безъ мысли всякая форма мертва, безъ формы, мысль есть только могущее быть, но не сущее. Въ явленіи они составляютъ единое и нераздѣльное, проникая другъ друга и изчезая другъ въ другѣ. Процессъ ихъ слитія во-едино (конкреціи) есть таинство, въ которомъ жизнь какъ бы сокрылась отъ самой себя, не желая

и самое себя сдѣлать свидѣтельницею своего величайшаго акта, своего торжественнѣйшаго священнодѣйствія. Мы знаемъ необходимость, но только ощущаемъ или созерцаемъ таинство этого процесса. Онъ есть необходимое условіе жизненности явленій, и его результатъ есть—организація, результатъ которой есть особность, индивидуальность и личность.

Всѣ явленія природы суть ничто иное, какъ частныя и особныя проявленія общаго. Общее есть идея. Что̀ такое идея? По философскому опредѣленію, идея есть конкретное понятіе, котораго форма не есть что-нибудь внѣшнее ему, но форма его развитія, его же собственнаго содержанія. Но какъ мы чужды философскаго изложенія нашего предмета, то и постараемся намекнуть о немъ нашимъ читателямъ, какъ можно, менѣе отвлеченно, какъ можно о̀бразнѣе. Во второй части «Фауста» Гёте есть мѣсто, которое можетъ навести насъ на предъощущеніе значенія «идеи» близкое къ истинѣ. Фаустъ, давъ обѣщаніе императору вызвать предъ него Париса и Елену, требуетъ помощи у Мефистофеля, который неохотно указываетъ ему единственное средство для выполненія этого обѣщанія. «Въ неприступной пустотѣ — говоритъ онъ — царствуютъ богини; тамъ нѣтъ пространства, еще менѣе времени: то матери».— Матери? — восклицаетъ изумленный Фаустъ,— матери, матери, повторяетъ онъ, — это такъ странно звучитъ....— «Богини, — продолжаетъ Мефистофель, — невѣдомыя вамъ смертнымъ, и неохотно именуемыя нами. Готовъ ли ты? Тебя не остановятъ ни замки, ни запоры; тебя обоймётъ пустота. Имѣешь ли ты понятіе о совершенной пустотѣ?» Фаустъ увѣряетъ его въ своей готовности.—«Еслибъ тебѣ надобно было плыть,—продолжаетъ снова Мефистофель,— по безграничному океану, еслибы тебѣ надобно было созерцать эту безграничность, — ты бы увидѣлъ тамъ по крайней мѣрѣ стремленіе волны за волной, ты бы увидѣлъ

тамъ нѣчто, ты бы увидѣлъ на зелени усмирившагося моря плескающихся дельфиновъ; передъ тобою ходили бы облака, солнце, мѣсяцъ, звѣзды; но въ пустой, вѣчно пустой дали ты не увидишь ничего, не услышишь своего собственнаго шага, ногѣ твоей не на что́ будетъ опереться». Фаустъ непоколебимъ: — Въ твоемъ ничто, — говоритъ онъ, — я надѣюсь найдти все (In deinem Nichts hoff ich das All zu finden). Мефистофель послѣ этого даетъ Фаусту ключъ. «Ступай за этимъ ключемъ, — говоритъ онъ ему, — онъ доведетъ тебя до матерей». Слово «матери» снова заставляетъ Фауста содрогнуться. — Матерей! — восклицаетъ онъ, — какъ ударъ поражаетъ меня это слово! Что это за слово такое, что я не могу его слышать? — «Неужели ты такъ ограниченъ, — отвѣчаетъ ему Мефистофель, — что новое слово смущаетъ тебя?»... Мефистофель потомъ даетъ ему наставленія, какъ онъ долженъ поступать въ своемъ дивномъ путешествіи, и Фаустъ, ощутивъ въ груди своей новыя силы отъ прикосновенія къ волшебному ключу, топнувъ ногой, погружается въ бездонную глубь. «Любопытно — говоритъ Мефистофель, оставшись одинъ, — возвратится ли онъ назадъ?» Но Фаустъ возвратился, и возвратился съ успѣхомъ: онъ вынесъ съ собою, изъ бездонной пустоты, треножникъ, тотъ треножникъ, который былъ необходимъ для того, чтобы вызвать въ міръ дѣйствительный красоту въ лицѣ Париса и Елены *).

Да, странное это слово «матери», безъ тайнаго содраганія нельзя его выговаривать, какъ будто бы это было одно изъ тѣхъ мистическихъ словъ, отъ которыхъ блѣднѣетъ луна и мертвые шевелятся въ гробахъ своихъ!... Но еще болѣе нужно отваги, чтобы пуститься въ безпредѣльную

*) Все это мѣсто, содержащее въ себѣ указаніе на „Фауста“, есть выписка къ статьѣ Ретшера „О философской критикѣ художественнаго произведенія“, сдѣланная переводчикомъ этой статьи, г. Катковымъ, и здѣсь цѣликомъ взятая нами. См. „Московскій Наблюдатель“ 1832. Часть XVIII, стр. 187 и 188.

пустоту и дойдти до «матерей»!... Но кто не содрогнется и не отступитъ назадъ и не изнеможетъ въ своемъ страшномъ подвигѣ, тотъ воротится съ волшебнымъ треножникомъ, съ которымъ можно вызывать тѣни давно умершихъ и безплотныя мысли одѣвать въ благолѣпныя тѣла... Эти «матери» — тѣ первосущныя, довременныя идеи, которыя, воплотившись въ формы, стали мірами и явленіями жизни. Жизнь никого не страшитъ, но какъ красавица съ огненнымъ взоромъ, розовыми ланитами и манящими поцѣлуй устами, она влечетъ къ себѣ насъ неодолимою обаятельною силою: закрывъ глаза, потерявъ сознаніе, мы бросаемся въ ея объятія, и мы смотримъ на нее—не насмотримся, любуемся ею—не налюбуемся... Но въ насъ сидитъ червякъ, отравляющій полноту наслажденія; этотъ червякъ жажда знанія. Лишь только онъ зашевелится, очаровательный образъ красавицы начинаетъ отъ насъ скрываться; червякъ ростетъ, превращается въ змѣю, сосущую кровь изъ нашего сердца,—красавица исчезаетъ совсѣмъ, и чтобы возвратить ее, мы должны отвратить нашъ взоръ отъ формъ и красокъ, и устремить его на скелеты безъ жизни и красоты. Но скоро мы должны отказаться и отъ этого, и ринуться въ безграничную пустоту, гдѣ нѣтъ жизни, нѣтъ образовъ, нѣтъ звуковъ и красокъ, нѣтъ пространства и времени, гдѣ не на чемъ остановиться взору, не начто опереться ногѣ, гдѣ царствуютъ—матери всего сущаго—безтѣлесныя идеи, которыя суть то ничто, изъ которыхъ произошло все, которыя были отъ вѣчности прежде міра, и отъ которыхъ двинулось время и потекли міры своимъ вѣковѣчнымъ путемъ...

Итакъ, идеи суть матери жизни, ея субстанціяльная сила и содержаніе, тотъ неизсякаемый резервуаръ, изъ котораго немолчно текутъ волны жизни. Идея по существу своему есть общее, ибо она не принадлежитъ ни извѣстному времени, ни извѣстному пространству; переходя въ явленіе

она дѣлается особнымъ, индивидуальнымъ, личнымъ. Вся лѣствица творенія есть ничто иное, какъ обособленіе общаго въ частное, явленіе общаго частнымъ. Изъ общей міровой матеріи вышла наша планета и, получивъ свою единичную и особную форму, въ свою очередь стала общею субстанціею, матеріею, которая безпрестанно стремится къ обособленію въ миріадахъ существъ. Безобразныя массы металловъ и камней, не представляя собою никакой опредѣленной формы, тѣмъ не менѣе представляютъ собою особныя явленія, имѣющія свою, хотя и низшую и внѣшнюю организацію. Нѣкоторые изъ нихъ даже организуются въ опредѣленныя и правильныя формы призмъ, какъ бы вырастающихъ изъ какой-то почвы, которая состоитъ изъ одинаковаго съ ними вещества и служитъ имъ безобразнымъ базисомъ. Организація растеній выше, и вообще они представляютъ собою что-то уже высшее особности, хотя еще и не достигшее индивидуальности. Въ каждомъ изъ нихъ равно необходимы и корень, и стволъ, и вѣтвь, и листъ, но число листовъ ихъ неопредѣленно, и отшибенные не измѣняютъ особности дерева; что же до вѣтвей, то, хотя онѣ.....

ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНІЕ СЛОВА ЛИТЕРАТУРА *).

Прежде, нежели приступимъ къ изложенію исторіи русской литературы, опредѣлимъ общее значеніе слова литература, чтобы потомъ можно было яснѣе показать, какимъ образомъ и до какой степени русская литература соотвѣтствуетъ значенію литературы вообще.

Многіе придаютъ совершенно одинаковое значеніе словамъ: «словесность», «письменность», «литература» и употребляютъ ихъ безъ разбору. Другіе, по принцыпу пуризма, вовсе не хотятъ употреблять иностраннаго слова литература, думая, что его значеніе вполнѣ выражается русскими словами: словесность и письменность. Пуристы хотѣли бы совершенно изгнать изъ употребленія слово «литература», какъ иностранное и притомъ лишнее въ русскомъ языкѣ. Но ихъ усилія остаются безплодными. Слово существуетъ; стало-быть, оно необходимо, и его не можетъ замѣнить собою никакое другое слово, потому что въ языкѣ не можетъ существовать двухъ словъ, совершенно равносильныхъ и тождественныхъ въ выраженіи одного и того же понятія. Если «словесностію» можно замѣнить «литературу», то книжное и нѣсколько тяжелое слово словесникъ не можетъ замѣнить собою слова литераторъ. Всѣ говорятъ и пишутъ: «литературный журналъ», «литератур-

---

*) Эта статья, какъ введеніе, должна была составлять первую главу отдѣла „Критической исторіи Русской литературы“.

ная газета», но никто, подъ опасеніемъ быть или непонятымъ, или смѣшнымъ, не скажетъ: «словесный журналъ», «словесная газета». Равнымъ образомъ, можно сказать: «человѣкъ есть словесное (въ смыслѣ одареннаго словомъ) животное», но нельзя сказать: «человѣкъ есть литературное животное». Изъ этого видно, что ни «словесность» не можетъ совершенно замѣнить собою «литературы» ни «литература» — «словесности»: оба эти слова равно необходимы, потому что, несмотря на ихъ родственность, есть рѣзкій оттѣнокъ въ сущности выражаемыхъ ими понятій.

Впрочемъ, требовать, чтобы три эти слова: «словесность», «письменность» и «литература» никогда не употреблялись одно вмѣсто другаго,—значило бы впасть въ педантизмъ, тѣмъ болѣе, что эти слова иногда дѣйствительно сходятся между собою въ значеніи. Но какъ, съ другой стороны, они часто расходятся въ оттѣнкахъ общаго имъ всѣмъ значенія, то и странно было бы не опредѣлить этой разницы и не воспользоваться ею, какъ средствомъ къ большей опредѣлительности и ясности въ понятіяхъ. Во всѣхъ европейскихъ языкахъ, употребляется только одно слово—«литература» для выраженія понятія, выражаемаго по-русски тремя словами — «словесность», «письменность» и «литература»; тѣмъ лучше для насъ! Значитъ: въ этомъ отношеніи, нашъ языкъ богаче другихъ. Надобно же пользоваться этимъ богатствомъ.

Письменность и литература прежде всего относится къ словесности, какъ видъ къ роду. Понятіе, выражаемое словесностію, гораздо общее, нежели понятія, выражаемыя письменностію и литературою: въ обширномъ смыслѣ, словесность заключаетъ въ себѣ и письменность и литературу, какъ ея же собственныя проявленія. Все, что находитъ свое выраженіе въ словѣ, все это принадлежитъ къ области словесности: и народная поговорка, или пословица—и курсъ философіи; и народная сказка, или пѣсня—и

эпическая поэма, или драматическое произведеніе, какъ великаго поэта, такъ и бездарнаго сочинителя; и лѣтопись, и исторія, и ученое сочиненіе, и учебникъ, и лексиконъ, и каталогъ книгъ, и книжка о легчайшемъ способѣ отращивать волоса и истреблять мухъ. Къ области письменности принадлежатъ тѣ словесныя произведенія, которыя народъ, не знавшій еще книгопечатанія, почелъ достойными сохранить отъ забвенія, посредствомъ письменнаго искусства. Подъ литературою разумѣется или словесность народа, исторически развившаяся и отражающая въ себѣ народное сознаніе, или какая-нибудь отрасль словесности, обнимающая собою извѣстную сторону искусства и науки. Такъ, въ послѣднемъ случаѣ, говорится: литература эстетики, литература исторіи, литература математики, медицины, технологіи и т. д., разумѣя подъ этимъ собраніе всѣхъ сочиненій, относящихся до того или другаго изъ исчисленныхъ предметовъ. Понятіе о литературѣ тѣсно связано съ понятіемъ о книгопечатаніи.

Изъ этого видно, что письменность и литература относятся еще къ словесности и какъ постепенные моменты ея развитія. Другими словами: словесность, письменность и литература суть три главные періода въ исторіи народнаго сознанія, выражающагося въ словѣ. Сознаніе всѣхъ младенчествующихъ народовъ прежде всего выражается въ поэзіи, и потому каждый народъ и каждое племя непремѣнно имѣетъ свою поэзію, на какой-бы низкой степени цивилизаціи и образованія ни стояли они. Отсюда не исключаются ни номады средней Азіи, ни дикари океанійскіе. Народъ или племя можетъ не знать искусства писанія, но не можетъ не имѣть поэзіи. Поэзія младенчествующихъ народовъ состоитъ не столько въ поэтическомъ содержаніи и поэтической формѣ, сколько въ поэтическомъ выраженіи. Форма и выраженіе—не всегда одно и то же: первая относится къ расположенію, къ композиціи поэтическаго про-

изведенія; подъ вторымъ должно разумѣть только складъ рѣчи, слогъ, короче—форму слова. И потому у младенчествующихъ народовъ выраженіе всегда поэтическое, хотя содержаніе часто бываетъ нелѣпое, а форма чудовищная. Они поэтически выражаютъ и свою опытную мудрость (поговорки, пословицы, параболы, басни), и прошедшее ихъ жизни (преданіе) и свои космогоническія и религіозныя понятія (миѳы, гимны и т. п.). О такомъ народѣ, или племени, можно сказать, что они имѣютъ словесность,— и въ этомъ смыслѣ, нѣтъ на землѣ народа, ни племени, даже дикаго, у которыхъ не было бы словесности. Когда народъ знакомится съ искусствомъ письменъ, его словесность получаетъ новый характеръ, зависящій отъ духа народа и отъ степени его цивилизаціи и образованности. Такимъ образомъ, самые древніе памятники космогонической и миѳической поэзіи Грековъ дошли до насъ, сохраненные посредствомъ письма; по преимуществу народъ эстетическаго чувства, Греки, познакомившись съ искусствомъ писать, тотчасъ же поспѣшили передать храненію буквы прежде всего поэтическія произведенія ихъ національнаго духа. Другое зрѣлище представляютъ славянскія племена въ отношеніи къ письменности: этимъ искусствомъ они обязаны ревности христіанскихъ проповѣдниковъ, которые видѣли въ немъ вѣрнѣйшее средство распространить между ними евангельское ученіе. А такъ какъ христіанство, естественно, произвело въ славянскихъ племенахъ духъ безусловнаго отрицанія прежней языческой ихъ національности, и такъ какъ понятіе о письменности въ умѣ этихъ племенъ тѣсно слилось съ понятіемъ о христіянской религіи, то письменность и приняла у нихъ характеръ по-преимуществу церковный: Славяне считали достойнымъ предавать письменамъ только книги религіознаго и теологическаго содержанія. Къ этому присовокупился еще родъ словесности, бывшій долгое время исключительнымъ досто-

ніемъ монашествующаго духовенства—лѣтописи. Благочестивые иноки, въ назидательное поученіе потомству, описывали дѣла мірскія, съ тѣмъ взглядомъ на вещи, который невольно сообщало имъ чувство ихъ разъединенія съ міромъ, въ нѣдрахъ тихаго успокоенія кельи. Естественно, что памятники языческой поэзіи были забыты и не ввѣрялись буквѣ. Оттого, до насъ не дошло не только никакихъ пѣсенъ языческаго періода Руси, но мы даже не имѣемъ почти никакого понятія о славянской миѳологіи. Немногія имена боговъ и названія праздниковъ и обрядовъ сохранились для насъ только въ обличительныхъ противу остатковъ язычества словахъ ревностныхъ поборниковъ церкви. Если до насъ дошло нѣсколько сказокъ, или поэмъ въ сказочномъ родѣ, въ которыхъ имя «Владиміра Краснаго Солнышка, ласковаго князя кіевскаго стольнаго» играетъ значительную роль, — это сдѣлалось какъ бы случайно. Сказки эти долго хранились въ народной памяти и до того измѣнялись съ каждымъ вѣкомъ, подновляясь и въ языкѣ и въ понятіяхъ, что въ то время, когда грамотнымъ людямъ пришла охота положить ихъ на бумагу, онѣ уже совершенно лишились своего первобытнаго вида. А списаны онѣ со словъ народа на бумагу, вѣроятно, не раньше XVII столѣтія. «Слово о полку Игоревомъ», этотъ прекрасный памятникъ уже полуязыческой поэзіи, дошло до насъ въ единственномъ и притомъ искаженномъ спискѣ. Сколько же памятниковъ народной поэзіи погибло совсѣмъ! Этому причиною было, во первыхъ, высокое понятіе нашихъ предковъ о достоинствѣ письменности: они думали, что письмо назначено только для сохраненія слова Божія и важныхъ дѣлъ государственныхъ, и что значило бы унижать его, записывая выдумки праздныхъ балагуровъ и потѣшниковъ; во вторыхъ, наши предки, какъ бы чувствуя безсознательно ничтожность и незначительность ихъ народной поэзіи, по инстинкту не дорожили ея памятниками.

И они были правы: гибнетъ въ потокѣ времени только то, что лишено крѣпкаго зерна жизни, и что, слѣдовательно, не стоитъ жизни. И потому, не презирая уцѣлѣвшими остатками нашей народной поэзіи, въ то же время не будемъ слишкомъ жалѣть объ утраченныхъ. Такимъ образомъ, періодъ нашей словесности до временъ письменности для насъ погибъ невозвратно, а періодъ нашей письменности, совпадая въ своемъ началѣ съ эпохою изобрѣтенія Кирилломъ и Меѳодіемъ славянской азбуки (эпохою до сихъ-поръ еще не опредѣленною съ точностію), совпадаетъ въ своемъ концѣ съ эпохою начала русской литературы, т. е. съ эпохою появленія первыхъ свѣтскихъ русскихъ писателей. Періодъ русской письменности ознаменовался нѣсколькими (весьма немногими) сочиненіями, если не совсѣмъ литературными, но и не подходящими подъ разрядъ ни теологическихъ, ни лѣтописныхъ произведеній словесности.

Литература есть послѣднее и высшее выраженіе мысли народа, проявляющейся въ словѣ. Органическая послѣдовательность въ развитіи—вотъ что составляетъ характеръ литературы, и вотъ чѣмъ отличается литература отъ словесности и письменности. Если произведеніе литературы носитъ на себѣ печать существеннаго достоинства, — оно уже не можетъ быть случайнымъ явленіемъ, которое не было бы нѣкоторымъ образомъ результатомъ предшествовавшихъ ему произведеній, или, по крайней-мѣрѣ, не объяснялось бы ими, и которое бы, въ свою очередь, не порождало бы другихъ литературныхъ явленій, или, по крайней мѣрѣ, не имѣло бы на нихъ прямаго или косвеннаго вліянія. Такимъ образомъ, не только современная намъ французская, но и современная намъ германская литература, не могутъ быть поняты и оцѣнены надлежащимъ образомъ безъ знанія французской литературы XVII вѣка,— равно какъ и послѣдняя можетъ быть объяснена только

чрезъ изученіе французской литературы, вѣка Лудвига XIV-го. И мало того, что нужно особенное изученіе вообще литературы среднихъ вѣковъ, чтобы понять французскую литературу XVI и послѣдующихъ столѣтій: надобно еще имѣть понятіе о древней классической литературѣ Грековъ и Римлянъ, чтобъ владѣть возможностію изучать какую бы то ни было изъ европейскихъ литературъ отъ временъ возрожденія до настоящей минуты. Изъ этого видно, что всякая сфера, въ какой ни развивается духъ человѣческій, состоитъ изъ фактовъ, органически связанныхъ одинъ съ другимъ, и послѣдовательно родившихся одинъ изъ другаго, и что, кромѣ литературы того или другаго народа, есть еще литература всеобщая, человѣческая, вселенская, у которой есть своя исторія. Предметъ этой исторіи—развитіе человѣческаго сознанія въ сферѣ слова. Литература, которая не можетъ имѣть своей исторіи, т. е. литература, явленія которой не состоятъ въ живой органической связи между собою, не есть литература, но только словесность, или письменность. Правда, и словесность и письменность могутъ имѣть свою исторію, но какую — вотъ вопросъ! Исторія словесности, или письменности есть ничто иное, какъ болѣе или менѣе обширный каталогъ произведеній, хранящихся въ памяти народа, или въ его письменности,— каталогъ съ необходимыми объясненіями и учеными комментаріями. Но каталогъ можетъ служить только матеріяломъ для исторіи но самъ исторіею быть не можетъ.

Періодъ литературы у всѣхъ новѣйшихъ народовъ начинается собственно съ эпохи изобрѣтенія книгопечатанія. И потому, понятіе о литературѣ у нихъ какъ то невольно сливается съ понятіемъ о книгопечатаніи.—Дѣйствительно, до изобрѣтенія книгопечатанія, словесность Европы носитъ на себѣ характоръ письменности, т. е. разъединенности и случайности. Исключеніе остается почти за одною Италіею, которая считалась уже просвѣщеннѣйшею

страною Европы, когда еще сама Франція тонула во мракѣ невѣжества и дикости нравовъ. Поэтому Италія гордилась именами Данта, Петрарки и Боккачіо еще въ XIII и XIV столѣтіяхъ, тогда какъ сама Франція только въ XVI вѣкѣ гордилась довольно ничтожными знаменитостями, въ родѣ Ронсара, Ренье, Малерба, и только въ XVII вѣкѣ увидѣла своего перваго великаго поэта — Корнеля; имена Рабле и Монтаня принадлежатъ XV и XVI столѣтію. Правда, еще въ средніе вѣка являлись великіе люди, сильные мыслію, и упреждавшіе свое время; такъ Франція еще въ XII вѣкѣ имѣла Абеллара; но люди, подобные ему, безплодно бросали во мракъ своего времени яркія молніи могучей мысли: они были поняты и оцѣнены черезъ нѣсколько вѣковъ послѣ ихъ смерти. Наука и мысль, до начала XVI вѣка, скрывались во мракѣ, какъ чернокнижничество, разбой и контрабанда. Ученыя сочиненія, какъ тайна, передавались въ рукописяхъ отъ одного адепта къ другому. Словомъ, это была письменность, но не литература. Только словесность одной Италіи и въ варварскія времена имѣетъ характеръ литературы; по крайней мѣрѣ, въ Италіи поэзія является уже, какъ литература, въ то время, какъ въ другихъ странахъ Европы поэзія находилась еще на степени словесности и письменности.

Въ области словесности нѣтъ знаменитыхъ именъ, потому-что авторъ словесности — всегда народъ. Никто не знаетъ, кто сложилъ его простыя и наивныя пѣсни, въ которыхъ такъ безыскусственно и ярко отразилась внутренняя и внѣшняя жизнь юнаго народа или племени. Въ эпоху младенчества народъ и не заботится объ именахъ своихъ первыхъ поэтовъ, равно какъ и сами поэты не заботятся о сохраненіи ихъ имени въ потомствѣ. Въ эти времена, поэзія — не заслуга, а инстинктивная потребность: человѣку поется — и онъ поетъ, совсѣмъ не подозрѣвая, что онъ — поэтъ. И переходитъ пѣсня изъ рода въ родъ,

отъ поколѣнія къ поколѣнію; и измѣняется она со временемъ: то укоротятъ ее, то удлиннятъ, то передѣлаютъ, то соединятъ ее съ другою пѣснею, то сложатъ другую пѣсню въ дополненіе къ ней; и вотъ изъ пѣсенъ выходятъ поэмы, которыхъ авторомъ можетъ назвать себя только народъ. Послѣ этого понятно, почему письменность, когда она удостоивала своего вниманія поэтическія произведенія, не передавала именъ ихъ творцовъ, и мы не знаемъ имени автора «Нибелунговъ» и другихъ поэмъ въ этомъ родѣ. Другое дѣло—литература: ея дѣятелемъ является уже не народъ, а отдѣльныя лица, выражающія своею умственною дѣятельностію различныя стороны народнаго духа. Въ литературѣ, личность вступаетъ въ полное право свое, и литературныя эпохи всегда означаются именами лицъ. Литература образуетъ собою отдѣльную и самостоятельную область умственной дѣятельности, существованіе и права которой признаются всѣмъ обществомъ. Литература всегда опирается на публичность, получаетъ свое утвержденіе отъ общественнаго мнѣнія. Она существуетъ не при свѣтѣ только уединенной лампы отшельника, или гонимаго ученаго, но при свѣтѣ солнца, открыто и явно. Она поддерживается не вниманіемъ только небольшаго круга посвященныхъ, составляющихъ родъ тайнаго общества, или избранныхъ любителей, но вниманіемъ всего народа, по крайней мѣрѣ въ лицѣ его образованныхъ классовъ. Литература есть достояніе всего общества, которое, черезъ нее, обратно получаетъ себѣ, въ сознательной и изящной формѣ, все то, чему источникомъ было его же собственное непосредственное бытіе. Общество находитъ въ литературѣ свою дѣйствительную жизнь, возведенную въ идеалъ, приведенную въ сознаніе. Поэтому, въ моментахъ развитія литературы, обыкновенно вызываемыхъ литературными эпохами и періодами, отражаются моменты историческаго развитія народа,—и въ такомъ случаѣ, литература точно такъ

же объясняетъ собою политическую исторію народа, какъ и исторія—литературу. Такъ, исторія Франціи XVIII вѣка вся заключается преимущественно въ ея литературѣ этого времени.

Если мы сказали, что понятіе о книгопечатаніи почти тождественно съ понятіемъ о литературѣ—это потому, что книгопечатаніе есть великое и могущественное средство къ публичности, безъ которой слово «литература» есть звукъ безъ смысла, тѣло безъ души. Публичность такъ важна для литературы, что теперь во Франціи вошло въ употребленіе слово пресса (la presse — книгопечатаніе), какъ выражающее болѣе общее и обширное понятіе, нежели слово литература. Вся сфера современнаго общественнаго движенія теперь выражается словомъ пресса: это живой пульсъ общества, по біенію котораго вѣрнѣе, нежели по какому-нибудь другому признаку, можно судить о состояніи общества въ отношеніяхъ: политическомъ, административномъ, ученомъ, литературномъ, эстетическомъ, нравственномъ, въ отношеніи къ народному духу, богатству, промышленности, ремесламъ, и пр. и пр. Нѣтъ стороны въ обществѣ, которая бы теперь не выражалась прессою, не жила въ ней и ею. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы литература могла быть только у народа, знакомаго съ искусствомъ книгопечатанія; изъ этого слѣдуетъ только, что публичность, въ смыслѣ доступности литературныхъ произведеній вниманію общества, составляетъ одно изъ главнѣйшихъ условій существованія литературы. Книгопечатаніе есть только могущественнѣйшее, но не единственное средство къ публичности. Подъ литературою, въ точномъ и опредѣленномъ значеніи этого слова, должно разумѣть сознаніе народа, исторически выразившееся въ словесныхъ произведеніяхъ его ума и фантазіи,—а такъ какъ сознаніе есть высшее проявленіе жизни народа, то литература необходимо должна быть его общимъ достояніемъ,

чѣмъ-то такимъ, что до всѣхъ равно касается, всѣхъ равно интересуетъ, всѣмъ равно доступно. Словомъ: литература должна быть, въ отношеніи къ народу, вмѣстѣ и сценою и спектаклемъ, который на ней разыгрывается, а народъ, въ отношеніи къ литературѣ, долженъ быть публикою, которая не сводитъ глазъ со сцены, созерцая представляемое на ней зрѣлище. Лучшее для этого средство, повторяемъ, есть книгопечатаніе,—и однакожъ, несмотря на то, древняя греческая литература, со стороны публичности, едва ли не болѣе подходитъ подъ наше опредѣленіе, нежели любая изъ новѣйшихъ литературъ, не исключая и французской, хотя Греки и не знали искусства печатанія. Жизнь Грековъ, политическая, государственная, общественная, религіозная, артистическая, ученая была, и безъ книгопечатанія, въ высшей степени публична, такъ что книгопечатаніе, столь важное въ новомъ мірѣ, можетъ-быть, противорѣчило бы духу и характеру ихъ публичности. Хотя произведенія поэтовъ греческихъ существовали и письменно, тѣмъ не менѣе Эллины предпочитали живое изустное слово мертвой буквѣ и лучше любили слушать, нежели читать. Оттого декламація была у нихъ отдѣльнымъ и самостоятельнымъ искусствомъ, которое требовало не только изученія, но и природнаго дарованія. Древніе читали стихи не такъ, какъ читаемъ ихъ мы, но нараспѣвъ; ихъ поэзія тѣсно была соединена съ музыкою, и пѣвучая декламація стиховъ ихъ сопровождалась аккомпаниментомъ на лирѣ. Отъ имени этого инструмента получила свое названіе лирическая поэзія; а отъ пѣвучей декламаціи стиховъ, слова пѣть и воспѣвать, получили значеніе слова сочинять, творить, что сохранилось, по преданію отъ Грековъ, и притомъ не совсѣмъ основательно, и въ новѣйшей европейской поэзіи, въ которой весьма обыкновенны выраженія «пою то-то, или того-то», «я пѣлъ мою любовь, мои страданія» и т. п. Что Греки не читали,

а как бы пѣли свои стихи, это имѣло у нихъ глубокое основаніе, ибо происходило не отъ произвола обыкновенія и привычки, а отъ свойственнаго и сроднаго ихъ національному духу созерцанія искусства. У насъ каждый самъ читаетъ для себя стихи и наслаждается ихъ изяществомъ также полно и при дурномъ чтеніи, какъ и при хорошемъ; для Грека хорошо продекламировать стихи было то же, что для насъ разыграть музыкальную піесу. Оттого у насъ хорошее чтеніе стиховъ есть не больше, какъ умѣніе, которое не даетъ ни славы, ни извѣстности; у Грековъ хорошая декламація стиховъ была искусствомъ, для котораго требовался своего рода талантъ. Это было одною изъ причинъ, почему греческій театръ такъ же мало имѣлъ общаго съ нашимъ театромъ, какъ и наша драма мало имѣетъ общаго съ греческою. По понятію Грековъ, искусство было представленіемъ, въ грандіозныхъ образахъ, явленій идеальной жизни—родъ религіозно-государственнаго представленія, героемъ котораго была національная жизнь. Посему ихъ трагедія могла сосредоточивать свой паѳосъ и свою главную идею на полубогахъ, герояхъ *), царяхъ и народѣ (который, въ видѣ хора, изъявлялъ свое мнѣніе о созерцаемомъ имъ зрѣлищѣ); изъ жизни же своихъ божественныхъ и царственныхъ героевъ, трагедія греческая могла брать только идеальные, высокіе моменты. Поэтому, актеры играли на котурнѣ и въ маскѣ: въ ихъ рѣчи хотѣли слышать спокойно-возвышенный голосъ, исполненный достоинства и величія; котурнъ, возвышавшій ростъ актеровъ, отходя отъ натуры дѣйствительности, тѣмъ болѣе приближался къ натурѣ идеальности, дѣлая представляемыхъ ими героевъ какъ бы жителями другаго высшаго міра, для которыхъ были бы унизительны обыкновенные

---

*) Отчего и произошло, по преданію отъ Грековъ, слово *герой*, въ смыслѣ главнаго дѣйствующаго лица въ поэмѣ, драмѣ, романѣ, повѣсти, даже комедіи.

размѣры человѣческаго роста; маски, увеличивавшія собою лица актеровъ и носившія на себѣ общее идеальное выраженіе, такъ же представляли глазамъ зрителей героевъ трагедіи въ особенномъ, идеальномъ свѣтѣ. Къ тому же, греческій народъ почелъ бы за профанацію увидѣть героя въ знакомомъ ему лицѣ актера. Современность тоже не могла давать содержанія для трагедіи: нужно было, чтобы колосальные образы героевъ представлялись въ священномъ сумракѣ и таинственной дали вѣковъ и преданія. Изо всего этого видно, что какъ трагедія, такъ и театръ греческій, были чисто искусственны. Здѣсь слово «искусственный» должно понимать въ смыслѣ «художественнаго», «артистическаго», противоположнаго пошлой, повседневной дѣйствительности, презрѣнной прозѣ житейскаго, а не въ смыслѣ противоположнаго натурѣ и естественности, поддѣльнаго и ложнаго, какъ понимаемъ мы слово «искусственный». Французы XVII и XVIII столѣтій, проникнувшіе отчасти въ таинства греческой буквы, но не проникнувшіе въ таинства греческаго духа, не понявши, что у всякаго вѣка и всякаго народа свои идеи, а слѣдовательно, и свои соотвѣтственныя имъ, формы, — создали у себя искусство на маперъ древнихъ, тѣмъ болѣе не похожее на него, чѣмъ болѣе рабски было оно копировано съ его непонятныхъ ими формъ и внѣшностей. Французы рѣшились не пускать въ трагедію никого, кромѣ царей и ихъ наперсниковъ, а изъ простаго народа допустили только вѣстниковъ, заставивъ ихъ рапортовать надутымъ слогомъ о томъ, что́ сдѣлалось за кулисами; они забыли, что въ новѣйшемъ обществѣ проза жизни получила полное свое право на поэтическое представленіе, и что драма новѣйшей жизни слагалась изъ лицъ всѣхъ сословій.

Этой же страсти Грековъ къ живому, изустному слову обязано было своимъ развитіемъ и процвѣтаніемъ ораторское искусство, кромѣ дара краснорѣчія, требовавшее еще

и необыкновеннаго дара декламаціи. Кому не извѣстно, какихъ чрезвычайныхъ усилій стоило Демосѳену, отъ природы надѣленному огромнымъ даромъ краснорѣчія, выработать изъ себя настоящаго оратора? Но страсть Грековъ къ живому изустному слову не ограничивалась только театромъ и ораторскою каѳедрою: преданіе говоритъ, что древніе поэты—Гомеръ и Гезіодъ,—особенно первый, и притомъ слѣпецъ и старецъ, ходя по Греціи, пѣли свои поэмы царямъ и народамъ. Пиндаръ состязался съ Коринною на олимпійскихъ играхъ. Оклеветанный въ безуміи неблагодарными дѣтьми, старецъ Софоклъ оправдался передъ народомъ, прочтя ему отрывки изъ своего «Эдипа». Отецъ исторіи, Геродотъ, читалъ передъ народомъ, на олимпійскихъ играхъ, свое повѣствованіе о славной борьбѣ Эллады съ персидскими царями; а юноша Ѳукидитъ, слушая его, всенародно плакалъ отъ умиленія, въ предчувствіи собственнаго торжества на томъ же поприщѣ... Самая наука у Грековъ была публичнымъ дѣломъ, а не таинственною магіею, какъ въ новѣйшія времена. Сократъ преподавалъ свое живое ученіе на площадяхъ и улицахъ; толпами могли ходить Аѳиняне въ сады академіи, чтобы внимать урокамъ высшей мудрости изъ устъ божественнаго Платона... Причиною такого въ высшей степени прекраснаго и человѣческаго зрѣлища, единственнаго, какое когда-либо представляла собою народная жизнь, былъ національный духъ древней Эллады—первобытной родины изящной гуманности. Если въ Аѳинахъ не было равенства состояній и даже равенства просвѣщенія и образованія, за то въ нихъ не было и черни, невѣжественной, грязной, покрытой лохмотьями, помышляющей только о матеріяльномъ удовлетвореніи грубыхъ потребностей тѣла, чуждой всякаго чувства человѣческаго достоинства: масса аѳинскаго народонаселенія состояла не изъ черни, а изъ народа. Образованіе Грековъ было общественное, а потому и всеобщее, народное, а не

исключительное, въ пользу однихъ и невыгоду другихъ сословій. Аѳиняне столь важнымъ считали публичное воспитаніе дѣтей, что когда, при нашествіи Ксеркса, они принуждены были оставить свой городъ, и взрослые сѣли на суда, чтобы сражаться съ непріятелемъ, а дѣти, жены и старцы удалились въ Тризену,—то Тризенцы, въ числѣ другихъ знаковъ своего радушія и участія къ бѣдственному положенію Аѳинянъ, опредѣлили платить за ихъ дѣтей жалованье учителямъ. Удивительно ли, послѣ этого, что Периклъ, сбираясь говорить передъ аѳинскимъ народомъ, просилъ боговъ, чтобы никакое неприличное предмету или неблагозвучное слово не вырвалось изъ устъ его; удивительно ли, что старая зеленщица аѳинская по выговору могла признать въ ученомъ Грекѣ не-аѳинскаго уроженца? Удивительно ли, что Аѳиняне были не только народомъ войны и гражданственности, но и народомъ-артистомъ, народомъ-художникомъ, и что массы аѳинскаго народонаселенія могли быть судіями и страстными любителями изящнаго. Когда, обвиняемый въ растратѣ общественной казны на зданія, Периклъ погрозилъ заплатить свои деньги, но за то написать на зданіяхъ свое имя, то народныя толпы закричали единодушно, чтобы онъ не щадилъ казны на зданія. Причиною всего этого была публичность, составлявшая основу гражданственной жизни Грековъ. Оттого жизнь ихъ отличается полнотой, многосторонностію и какою-то цѣлостностію, такъ-что религія была у нихъ искусствомъ, искусство—религіею, жречество было тѣсно слито съ администраціею; воинъ во время мира учился мудрости, а мудрецъ, во время войны, сражался за отечество; художникъ былъ гражданиномъ, а простолюдинъ не могъ жить безъ театра. Не такъ, какъ въ новомъ мірѣ, гдѣ ученый дичится свѣта и боится запаху пороха; военный, какъ достоинствомъ, хвалится безграмотностію и гордится невѣжествомъ, а художникъ поставляетъ себѣ за честь и обя-

занность жить внѣ современныхъ интересовъ общества и за облаками не видѣть земли, забывъ, что облака не другое что̀, какъ пустой туманъ, разсѣявающійся отъ лучей солнца! Да и какъ понятно послѣ этого, что Греки только себя считали людьми, а иностранцевъ считали варварами, и не хотѣли дѣлиться правами даже съ тѣми, у кого отецъ или мать не были чистой, безпримѣсной аѳинской крови.

Итакъ, литература Грековъ, въ полномъ значеніи слова, была выраженіемъ ихъ сознанія, слѣдовательно, всей ихъ жизни: религіозной, гражданственной, политической, умственной, нравственной, артистической, семейственной. Исторія греческой литературы тѣсно и неразрывно связана съ ихъ государственною или политическою исторіею; тогда какъ исторія литературы новѣйшихъ народовъ есть только исторія одной стороны существованія каждаго изъ нихъ. Это оттого, что какъ въ древнемъ мірѣ всѣ стихіи общественной жизни были тѣсно и неразрывно связаны другъ съ другомъ и, взаимно проникая одна другую, образовывали собою прекрасное и живое единое цѣлое, такъ въ новомъ мірѣ всѣ общественныя стихіи дѣйствуютъ разъединенно и каждая самобытно и особно. Это распаденіе, представляющее собою столь печальное и грустное зрѣлище, особенно при сравненіи его съ свѣтлымъ и прекраснымъ міромъ греческой жизни, было однакожь необходимо для того, чтобы стихіи общественности, развиваясь отдѣльно, тѣмъ полнѣе, глубже и совершеннѣе разработались, а потомъ бы уже снова слились и образовали новое, цѣлое и единое, которое будетъ тѣмъ выше міра греческой жизни, чѣмъ разъединеннѣе было въ новомъ мірѣ развитіе отдѣльныхъ стихій общественности. И начало этого новаго единенія мы видимъ уже и теперь: стѣна національности между народами постепенно падаетъ; дружественно и братски начинаютъ они дѣлиться духовными дарами своего національнаго историческаго развитія и постепенно сливаются въ

единое семейство человѣчества; наука мирится съ жизнію, искусство проникается общественными интересами; ученый принимаетъ участіе въ дѣлахъ общественныхъ и миритъ кабинетную жизнь свою съ жизнью свѣтскаго салона; воинъ и купецъ не только ищутъ литературнаго образованія, но не чуждаются и интересовъ науки, хода идей. Конечно, все это еще только начало, и все это преимущественно относится пока только къ Франціи, этой Элладѣ новаго міра, отечества всемогущей прессы; но за началомъ всегда слѣдуетъ конецъ, и скоро, или еще и не скоро, но придетъ же время, когда въ новомъ человѣчествѣ воскреснетъ древняя Греція, лучше и прекраснѣе, чѣмъ была она: Греція, прошедшая черезъ христіянство, побѣдившая климаты, природу, пространство и время, вполнѣ покорившая духу своему царство матеріи.

Книгопечатаніе есть публичность новѣйшихъ народовъ, фокусъ, сосредоточивающій въ себѣ свѣтлые лучи народнаго сознанія. Но какъ мы уже сказали выше, у новѣйшихъ народовъ, несмотря на усиливающіеся со дня на день успѣхи книгопечатанія, литература все еще остается только одною изъ многихъ сторонъ сознанія, а не полнымъ его выраженіемъ, какъ въ Греціи. Въ самыхъ образованнѣйшихъ государствахъ Европы, книгопечатаніе все еще болѣе или менѣе остается чѣмъ-то въ родѣ кабалистики, темныя таинства которой открыты только для одной, сравнительно съ массою цѣлаго народонаселенія, весьма малой части: большинство, нигдѣ не лишенное благодѣтельнаго вліянія цивилизаціи, тѣмъ не менѣе вездѣ коснѣетъ въ дикомъ невѣжествѣ, которое сильно заставляетъ сомнѣваться въ чрезвычайныхъ будто бы въ настоящее время успѣхахъ человѣчества. Сама литература у новѣйшихъ народовъ раздроблена на множество отраслей, такъ что знакомый съ одною почитаетъ себя въ правѣ не знать другихъ. Впрочемъ, это нисколько не отрицаетъ существованія ли-

тературъ, въ полномъ значеніи этого слова, у новѣйшихъ народовъ: ибо хотя большинство и массы не пользуются у нихъ, какъ это было въ древней Греціи, дарами національнаго духа, котораго они сами источникъ и почва, однако внимательный взоръ легко открываетъ въ литературахъ новѣйшихъ народовъ живое историческое развитіе духа тѣхъ самыхъ массъ, которыя, въ своемъ невѣжествѣ, и не подозрѣваютъ существованія литературы, выразившей сущность ихъ же собственнаго нравственнаго существованія. И потому, литературы новѣйшихъ народовъ представляютъ собою картину исторически развившагося народнаго духа, гдѣ каждое отдѣльное явленіе вышло изъ предшествовавшаго и произвело, въ свою очередь, послѣдующее; гдѣ ничего не являлось случайно, особно, но все связано въ единый живой организмъ.

Мы сказали, что литература есть сознаніе народа, исторически выражающееся въ словесныхъ произведеніяхъ его ума и фантазіи. Исторію можетъ имѣть только то, что̀ органически развивается, имѣя точкою отправленія зародышъ, зерно національнаго духа народа (субстанцію), выходя изъ предыдущаго и производя послѣдующее. Развиваться же органически можетъ только то, что̀ въ самомъ себѣ заключаетъ собственное свое содержаніе, подобно зерну, заключающему въ себѣ, какъ возможность, жизнь и форму будущаго растенія, а потому и одаренному жизненностію, которая, при выполненіи необходимыхъ условій — почвы, воздуха, свѣта, влажности, — тотчасъ же принимается за отправленіе своихъ функцій, превращая зерно въ стебель, стебель въ стволъ съ вѣтвями и листьями, съ цвѣтомъ и плодомъ. Вслѣдствіе этого, литературу могутъ имѣть только тѣ народы, въ національномъ развитіи которыхъ выразилось развитіе человѣчества, и которымъ, слѣдовательно, міродержавныя судьбы предоставили высокую роль представителей человѣчества въ великой драмѣ всемірной исто-

ріи. И потому-то изъ древнихъ народовъ, только у Грековъ и Римлянъ была своя литература, которой высокое значеніе не утратилось до сихъ поръ, но, какъ драгоцѣнное наслѣдіе, перешло къ новымъ народамъ и послужило къ развитію ихъ общественной, ученой и литературной жизни. Причиною этому — богатое содержаніемъ субстанціяльное зерно духовной жизни Грековъ: въ этомъ зернѣ заключалась плодородная идея, изъ которой развилась вся исторія, а слѣдовательно, и литература этого народа. Идея эта была обще-человѣческая въ греческой формѣ, а потому и греческая литература, отслуживши Грекамъ, не умерла вмѣстѣ съ ними, но перешла въ общее достояніе народовъ, въ лицѣ которыхъ, послѣ Грековъ, стало выражаться человѣчество. Литература Римлянъ не имѣетъ такого высокаго значенія въ сферѣ искусства, какъ литература греческая; лучшее и величайшее произведеніе Римлянъ былъ кодексъ Юстиніана— плодъ историческаго развитія римской жизни. И однакожь зерно національнаго духа Римлянъ, развившееся въ «вѣчный городъ» оцивилизовавшее весь древній міръ и давшее новое направленіе цивилизаціи новѣйшаго міра, заключаетъ въ себѣ такое великое, всемірно-историческое и обще-человѣческое значеніе, что, ради его, латинская литература, поэтическая и историческая, возросшая, такъ сказать, на могилѣ римской жизни, доселѣ уважается почти наравнѣ съ греческою. И чѣмъ обще-человѣчественнѣе оплодотворяющая жизнь народа субстанціяльная идея, чѣмъ болѣе народъ выражаетъ своею жизнію человѣчество и чѣмъ болѣе имѣетъ вліянія на его судьбы, — тѣмъ болѣе литература такого народа подходитъ подъ значеніе литературы вообще, тѣмъ она выше и важнѣе. И наоборотъ, чѣмъ меньше источникъ духовной жизни народа, чѣмъ отдѣльнѣе судьба народа отъ судебъ человѣчества,—тѣмъ ограниченнѣе значеніе его литературы, тѣмъ менѣе — она литература. И потому-то гораздо болѣе такихъ народовъ, которыхъ лите-

ратуры или незначительны, или у которыхъ вовсе нѣтъ литературы, чѣмъ народовъ, которыхъ литературы значительны, или которые имѣютъ какую нибудь литературу.

Говоря о литературѣ, мы преимущественно разумѣемъ изящную литературу—кругъ произведенiй поэтическихъ, художественныхъ. Сюда, для полноты слова «литература», могутъ относиться такiя словесныя произведенiя, которыя, принадлежа къ сферѣ ученой, какъ исторiя, или, имѣя своимъ источникомъ опредѣленную практическую цѣль, какъ ораторскiя рѣчи, тѣмъ не менѣе составляютъ собою предметъ живаго общаго интереса и требуютъ, для своего выраженiя, болѣе или менѣе художественной формы, а отъ людей, посвящающихъ себя такого рода дѣятельности, болѣе или менѣе художественнаго таланта. Такимъ образомъ, творенiя Геродота, Ѳукидита, Тацита, ученыя по своему содержанiю, въ то же время суть и изящныя произведенiя, по искусству ихъ концепцiи и изложенiя. О рѣчахъ Демосѳена и Цицерона нечего и говорить: хотя краснорѣчiе и не вполнѣ искусство, какъ поэзiя, потому что оно имѣетъ опредѣленную, чисто-практическую цѣль и опирается на дiалектику, а не на творчество, но все же оно—искусство, потому что требуетъ отъ импровизацiи художественности въ выраженiи, а отъ оратора—таланта и вдохновенiя.

Съ этой точки зрѣнiя литература и словесность представляются въ новыхъ отношенiяхъ различiя между собою. Поэзiя, не возвысившаяся на степень искусства, художества, принадлежитъ къ области словесности, а не литературы. Такая поэзiя называется народною. Она выражаетъ собою сознанiе народа, еще не вышедшее изъ пеленъ непосредственнаго, безсознательнаго созерцанiя. Въ произведенiяхъ народной поэзiи еще нѣтъ мысли, а есть только темное стремленiе къ мысли, ея предощущенiе, предчувствiе. И потому произведенiя народной поэзiи не могутъ возвыситься до художественной формы, въ которую можетъ

только воплощаться развившееся до идеи созерцаніе. Вслѣдствіе этого, народная поэзія одного народа мало и не вполнѣ доступна другому: на ней лежитъ печать исключительной особности. Сфера народной поэзіи не обширна и не многосложна: пословица, поговорка, порабола, басня, пѣсня, сказка, легенда — эти первыя проявленія сознанія младенческихъ обществъ — вотъ все, что́ заключаетъ въ себѣ поэзія, которую называютъ народною, естественною или непосредственною, и которую еще можно назвать поэтическою словесностію народа. Если субстанціяльное зерно духовной жизни народа попадаетъ на историческую почву и получаетъ возможность развиться изъ самого себя,— тогда естественная поэзія народа перерождается въ художественную, его словесность въ литературу, и первая остается преимущественно на долю низшихъ, необразованныхъ классовъ народа, никогда не умирая въ его устахъ, а вторая дѣлается исключительнымъ достояніемъ высшихъ образованныхъ классовъ народа. Когда наступаетъ періодъ исторической и критической разработки литературы,—естественная, или народная поэзія, т. е. словесность становится предметомъ изученія для ученыхъ и литераторовъ, а черезъ нихъ, дѣлается извѣстною и читающей публикѣ, и болѣе или менѣе интересуетъ ее своими наивными произведеніями. Художественная же поэзія только развѣ черезъ театръ бываетъ болѣе или менѣе доступна низшимъ классамъ народа. Если содержаніе жизни народа лишено обще-человѣческаго значенія, такъ что безъ искусственнаго и насильственнаго отрицанія своей національности и своего историческаго развитія, въ пользу цивилизаціи народовъ, представляющихъ въ лицѣ своемъ человѣчество, онъ не можетъ возвыситься до значенія всемірно-историческаго народа: то изъ естественной поэзіи такого народа, не можетъ развиться художественная, а изъ его словесности литература. Тогда словесность такого народа остается

исключительнымъ достояніемъ простонародья, а для образованныхъ классовъ создается подражательная литература, господствующая до тѣхъ поръ, пока чужеземные элементы не проникнутъ національныхъ и, вслѣдствіе этого, не возникнетъ наконецъ литература самобытная. Въ послѣднемъ случаѣ, народная поэзія вновь обращаетъ на себя вниманіе образованныхъ классовъ и, по духу реакціи, дѣлается предметомъ подражанія даже со стороны истинныхъ художниковъ; но скоро узнаютъ, что изъ нея немного выжмешь, и отводятъ ей укромное мѣсто въ исторіи отечественнаго слова, отдѣльно и безъ связи съ исторіею собственно литературы. Такъ было, какъ увидимъ ниже, съ народною поэзіею въ Россіи.

Произведенія словесности, непосредственно выходя изъ духа народа, носятъ на себѣ общій отпечатокъ этого духа и въ содержаніи и въ формѣ: этимъ однимъ и ограничиваются ихъ отношенія и связь между собою. Ни одно изъ нихъ не имѣетъ вліянія на другое, ни одно не бываетъ слѣдствіемъ другаго; они являются отдѣльно, разрозненно, и для нихъ, слѣдовательно, нѣтъ исторіи. Память народа хранитъ ихъ также отрывочно, не зная ихъ числа, многія изъ нихъ измѣняя, другія забывая совсѣмъ. Изъ этого общаго правила должна быть исключена только греческая народная поэзія, въ первыхъ проявленіяхъ которой виденъ зародышъ, изъ котораго въ послѣдствіи развилась вся греческая литература. Глубокія философскія идеи скрыты въ гимнахъ поэтовъ до-омировскаго времени, и эти гимны приписываются извѣстнымъ именамъ, а не безличному лицу народа. Оттого и самая форма первыхъ проблесковъ возникавшаго народнаго сознанія въ греческой поэзіи не чужда нѣкоторой художественности, хотя въ то же время, ихъ содержаніе и исполнено символизма. И потому, у Грековъ почти не было ни народной поэзіи, ни словесности въ томъ смыслѣ, какъ мы понимаемъ эти слова; но

была художественная поэзія и литература. Ихъ литература, съ самаго начала ея, теряющагося во мракѣ временъ, была національною, а не народною, потому что въ Греціи народъ никогда не составлялъ особеннаго государства въ государствѣ, никогда не былъ чернью, и творенія Омира и трагиковъ точно такъ же существовали и для него, какъ и для высшихъ сословій. Въ греческой литературѣ, нѣтъ рѣзкой черты, которая бы отдѣляла ихъ младенческую, естественную поэзію отъ художественной; напротивъ, въ ней все вытекаетъ одно изъ другаго, подобно рѣкѣ, становясь въ своемъ теченіи все шире и шире... Хотя нѣкоторыя изъ новѣйшихъ литературъ тоже связаны съ своею естественною поэзіею и развились изъ нея, однакожъ эта связь въ нихъ далеко не такъ тѣсна, какъ въ греческой. Если пѣсня, романсъ и баллада—эти чисто народныя произведенія Европы среднихъ вѣковъ,— были началомъ и источникомъ художественной лирической поэзіи въ Европѣ,—то все-же между какимъ-нибудь Байрономъ, Гёте и Шиллеромъ едва ли есть такъ много общаго съ менестрелями, трубадурами, труверами и бардами, какъ много общаго въ гимнахъ, приписываемыхъ Лину, Музею и Орѳею, съ позднѣйшими гимнами Изіода и Омира, съ «Иліадою» и трагиками. Если испанская и англійская драма развились изъ мистерій среднихъ вѣковъ, какъ греческая изъ вакхическихъ праздниковъ, то все же нѣтъ ничего общаго между этими мистеріями и драмами Шекспира, и по крайней мѣрѣ, очень немного общаго между этими мистеріями и драмами Лопеца де-Веги и Кальдерона, не говоря уже о французской трагедіи, которая вслѣдствіе ошибочнаго подражанія греческой, пошла совершенно другою дорогою.

Письменность служитъ, хотя и не всегда, естественнымъ переходомъ отъ словесности къ литературѣ; ею иногда какъ бы оканчивается словесность и начинается литература. Письменность оказываетъ великую услугу словеснымъ произве-

деніямъ народа, освобождая ихъ отъ непосредственной принадлежности лицамъ и избавляя отъ опасности погибнуть навсегда съ лицами, вслѣдствіе разныхъ случайностей. Но эта услуга не полная, потому-что рукопись такъ же, въ свою очередь, подвержена вліянію случайностей: можетъ сгорѣть, потонуть, сгнить, затеряться. «Слово о Полку Игоревѣ» дошло до насъ въ единственномъ спискѣ, и то искаженномъ мѣстами до безсмыслицы. А кто поручится, что древняя Русь не имѣла и другихъ поэмъ въ родѣ «Слова о Полку Игоревомъ», которыхъ не сохранила для насъ письменность? Сколько погибло памятниковъ древней литературы Греціи и Рима.

У народовъ, не игравшихъ всемірно-исторической роли, письменность мало, или почти никакихъ услугъ не оказала поэзіи, какъ мы уже говорили объ этомъ выше. Такъ, до насъ дошли только тѣ изъ русскихъ пѣсенъ, которыя сохранились въ памяти народа, хотя и измѣненныя временемъ. Но совсѣмъ другую роль играла письменность у народовъ, которые, своею жизнію, выразили движеніе всемірно-историческаго духа. Такъ, напримѣръ, когда монархія Алексанра Македонскаго рушилась, міръ греческой жизни уже отцвѣлъ, и свитокъ рукописи заглушилъ собою живое изустное слово: тогда явилась письменная литература, образовавшая нѣчто цѣлое и единое соединеніемъ въ себѣ произведеній такъ-называемой «Александрійской» или «Неоплатонической школы». Такъ, въ послѣдствіи, творенія отцовъ церкви христіанской всегда образовывали собою, и на Востокѣ и на Западѣ, отдѣльную литературу, которой развитіе совершилось въ связи и послѣдовательности, и которой исторія тѣсно связана съ исторіею человѣчества въ ту великую эпоху.

Существенное и главное различіе между «словесностію» и «литературою» состоитъ въ томъ, что въ «словесности» преобладающимъ интересомъ является языкъ, какъ мате-

ріялъ всякаго словеснаго произведенія; а въ «литературѣ» самостоятельный интересъ языка изчезаетъ, подчиняясь другому, высшему интересу — содержанію, которое въ литературѣ является преобладающимъ и самостоятельнымъ интересомъ. И потому, если можетъ быть исторія словесности, такъ это въ смыслѣ исторіи развитія языка въ словесныхъ произведеніяхъ народа, безъ отношенія къ ихъ содержанію. А оттого, «словесность» и принимается въ смыслѣ науки, и можно сказать: «учиться словесности» Въ этомъ отношеніи, словесность соприкасается въ своемъ значеніи съ филологіею. Но литературѣ нельзя учиться, а можно только изучать литературу. Словесныя произведенія могутъ разсматриваться со стороны этимологіи, графики, лексикографіи, грамматики, стилистики. Словесныя произведенія народа могутъ раздѣляться по содержанію только внѣшнимъ образомъ, чтобы поэтическіе памятники не смѣшивать съ лѣтописями и памятниками духовной, юридической словесности; но главное и существенное ихъ раздѣленіе бываетъ по эпохамъ, въ которыхъ совершились измѣненія, испытанныя языкомъ въ его развитіи во времени. Когда же словесныя произведенія разсматриваются со стороны ихъ содержанія, мимо интереса языка, тогда они совершенно выходятъ изъ сферы словесности и поступаютъ въ вѣдѣніе той науки, къ которой относится ихъ содержаніе: такъ, напримѣръ, произведенія духовнаго содержанія отходятъ тогда къ церковной исторіи, лѣтописи и хроники къ политической исторіи, памятники законодательства, судебные и т. п. къ исторіи права, и т. д. Вообще, словесность не разборчива: она принимаетъ въ себя равно и худое и хорошее, и посредственное и превосходное, лишь бы оно выразилось въ словѣ. Литература исключаетъ изъ себя все случайное и признаетъ своими произведеніями только то, въ чемъ положительно или отрицательно выразилось діалектическое движеніе развива-

ющейся во времени идеи. Поэтому, къ литературѣ относятся даже и такія произведенія, въ которыхъ видно уклоненіе отъ здраваго вкуса и основныхъ законовъ творчества, если только это уклоненіе было не случайное, но или выразило собою, необходимо, вслѣдствіе глубокихъ историческихъ причинъ, родившееся заблужденіе общества или и цѣлаго человѣчества (какъ, напримѣръ, псевдо-классическая поэзія во Франціи XVII и XVIII вѣковъ и морально-романическая школа въ Англіи XVIII вѣка, школа Фильдинга и Ричардсона), или необходимый переходъ отъ стараго къ новому (какъ, напримѣръ, неистовыя произведенія новѣйшей романтической школы). Напротивъ того, литература исключаетъ изъ себя даже ознаменованныя бо̀льшею или меньшею степенью таланта произведенія, если только они, не принадлежа къ высшимъ явленіямъ въ сферѣ искусства, въ то же время не выражаютъ собою духа времени, его господствующей идеи, а потому и лишены всякаго историческаго значенія. Въ область литературы входятъ только родовыя типическія явленія, которыя фактически осуществили собою моменты историческаго развитія. И потому, всякая литература имѣетъ свою исторію, тогда какъ словесность можетъ имѣть только библіографію. Задача всякой исторіи состоитъ въ томъ, чтобы подвести многоразличіе частныхъ явленій подъ общее значеніе, открыть въ многоразличіи частныхъ явленій органическую связь, взаимнодѣйствіе и отношенія, и прослѣдить въ послѣдовательности многоразличныхъ явленій развитіе живой идеи, составляющей ихъ душу. Задача библіографіи состоитъ только въ томъ, чтобы описать каждое изъ данныхъ произведеній словесности по его содержанію, формѣ, особенностямъ. Библіографія говоритъ просто: такая-то рукопись или книга заключаетъ въ себѣ то̀-то и то̀-то, принадлежитъ она къ такому-то вѣку, писана на пергаменѣ, или на бумагѣ, уставомъ, столбцами, или печатана такимъ-то шрифтомъ,

въ такую-то долю листа и т. п. Если библіографія соблюдаетъ какой-нибудь порядокъ, то всегда внѣшній, для удобства употребленія, а не по требованію сущности предмета; она классифируетъ рукописи и книги, какъ классифируютъ ихъ каталоги и реестры. По этому, произведенія словесности суть какъ бы тѣни, являющіяся на заклинанія магика; произведенія литературы—живыя, всѣмъ извѣстныя и для всѣхъ равно-доступныя лица, съ опредѣленными именами. Лабораторія словесности—келья монаха, уединеніе мудреца, зала пиршества, темный лѣсъ, зеленыя дубравы и широкія поля; оттуда выходили всѣ произведенія ея — хроники, лѣтописи, поученія, легенды, пѣсни, сказки и т. п. Лабораторія литературы—общество съ его интересами и жизнію. Словесность лишена арены: она можетъ интересовать только любознательныхъ ученыхъ, тружениковъ науки, книжниковъ, литераторовъ, которые одни только и могутъ ею заниматься. Литература имѣетъ опредѣленную арену въ книгѣ, журналѣ, театрѣ, трибунѣ; она сама есть родъ сцены, на которой разыгрывается драма передъ лицомъ многочисленнаго собранія, изъявляющаго рукоплесканіями и кликами свое участіе и восторгъ

Письменность есть средство равно и для словесности и для литературы, сохраняя произведенія первой, и выражая собою движеніе послѣдней. Если въ письменности выражается духъ эпохи и она принимаетъ характеръ не только догматическій, но и полемическій, тогда она бываетъ литературою, или по крайней мѣрѣ служитъ переходомъ отъ словесности къ литературѣ. Разумѣется, это бываетъ только у народовъ, стоящихъ во главѣ человѣчества, и притомъ въ самыя жизненныя эпохи своего историческаго существанія. Такъ было, какъ сказали мы выше, въ первые вѣка христіанской церкви, во время расколовъ и соборовъ; такъ было въ западной Европѣ среднихъ вѣковъ, гдѣ изъ богословской полемики образовалась діалектика, логика и мета-

физика. Но письменность во всякомъ случаѣ представляетъ для развитія литературы слишкомъ тощую почву и ограниченную сферу, и безъ книгопечатанія новѣйшая литература навсегда бы могла остаться слабымъ растеніемъ, поддерживающимся искусственными средствами. Съ другой стороны, не должно забывать, что у народа, лишеннаго духа всемірно-исторической жизни, и книгопечатаніе не родитъ литературы: будутъ книги и, пожалуй, въ огромномъ количествѣ, но литературы все-таки не будетъ.

Выше сказали мы, что «литература есть выраженіе умственнаго существованія (сознанія) народа въ его словесныхъ произведеніяхъ». Каждый народъ живетъ своею жизнію, а какъ жить не значитъ только родиться, ѣсть, пить и умирать, но и мыслить, знать,—то, слѣдовательно, каждый народъ живетъ и своимъ сознаніемъ, которое есть не что иное, какъ одна изъ многихъ сторонъ сознающаго себя обще-человѣческаго духа. Особенность сознанія, принадлежащаго одному народу и отличающаго его отъ всѣхъ другихъ народовъ, состоитъ въ его міросозерцаніи, въ томъ инстинктивномъ внутреннемъ взглядѣ на міръ, съ которымъ онъ, такъ сказать, родится, какъ съ непосредственнымъ и только одному ему присущнымъ откровеніемъ истины, и который есть его самодвижительная сила, жизнь и значеніе. Міросозерцаніе народа,—это та умственная призма, съ однимъ или нѣсколькими первосущными цвѣтами радуги, сквозь которую онъ созерцаетъ тайну бытія всего сущаго. Народъ есть идеальная личность, у которой, подобно каждому отдѣльному человѣку, своя особенная натура, свой темпераментъ, свой характеръ, словомъ, своя субстанція (слово, котораго значеніе далеко не вполнѣ можетъ быть выражено словомъ сущность). Почему у того или другаго народа именно такая, а не этакая субстанція,—этого такъ же невозможно объяснить, какъ и того, почему одинъ человѣкъ родится съ способностію къ живо-

писи, а не къ музыкѣ, другой — къ математикѣ, а не къ военному искусству, и. т. д. Правда, на образованіе субстанціи народа имѣютъ бо́льшее или меньшее вліяніе географическія, климатическія и историческія обстоятельства; но тѣмъ не менѣе очевидно, что первая и главная причина субстанціи всякаго народа, какъ и всякаго человѣка, есть физіологическая, составляющая непроницаемую тайну непосредственно-творящей природы. Субстанція, въ свою очередь, есть прямой и непосредственный источникъ міросозерцанія народа. Изъ міросозерцанія народа возникаетъ животворная идея; развитіе этой идеи въ живой практической дѣятельности составляетъ историческую жизнь народа. Движительнымъ развитіемъ этой идеи народъ живетъ; ею онъ и силенъ, и крѣпокъ, и могущъ, такъ что, когда эта идея совершитъ полный кругъ своего развитія,— животворный источникъ народной жизни изсякнетъ, народъ теряетъ свою энергію и начинаетъ существовать только внѣшнимъ образомъ, пока какой-нибудь внѣшній же толчекъ не прекратитъ его призрачнаго существованія. Такъ кончилось существованіе Греціи и Рима, когда первая изжила всю свою религіозно-миѳическую и эстетически-гражданственную жизнь, а второй утратилъ энтузіазмъ республиканской доблести. Міросозерцаніе, а слѣдовательно, и субстанціяльная идея народа проявляется въ его религіи, въ его гражданственности, въ его искусствѣ и знаніи. Уловить міросозерцаніе какого бы то нибыло народа въ краткое и удовлетворительное опредѣленіе—чрезвычайно трудно; довольно указать на его присутствіе въ многоразличныхъ проявленіяхъ народнаго сознанія. Въ Индіи, напр., издревле до нашихъ временъ царствуетъ пантеистическое міросозерцаніе, и Богъ понятъ, какъ вѣчно-производящая и вѣчно-разрушающая сила природы. Для Индійца, каждое явленіе природы есть воплощеніе Брамы, и потому для него все въ природѣ выше человѣка, и онъ набожно хранитъ

жизнь всякаго животнаго, хотя бы то было насѣкомое, и небрежетъ о своей собственной и о своихъ ближнихъ. Погружаться въ созерцаніе совершенствъ Брамы, изчезать въ восторженномъ блаженствѣ этого піэтистическаго созерцанія и духомъ и плотью — цѣль жизни Индійца. И потому-то въ Индіи въ такомъ употребленіи добровольно терзать свою плоть физическими муками, бросаться подъ колесы гигантскаго истукана, сожигаться на кострахъ, и т. п. Это міросозерцаніе отразилось въ искусствѣ индійскомъ. Неопредѣленное божество, подавляющее бѣднаго человѣка своимъ всесокрушающимъ величіемъ, не могло выразиться иначе, какъ въ храмахъ колоссальныхъ, подобно горамъ, въ гигантскихъ и уродливыхъ истуканахъ. То же явленіе повторилось и въ литературѣ: «Махабгарата» и «Рамаяна», по ихъ внѣшней формѣ, огромны, нестройны, завалены эпизодами; по содержанію, исполнены присутствіемъ божества, производящаго и разрушающаго, и человѣкъ въ нихъ съ безусловнымъ самоотверженіемъ поглощается въ деспотической волѣ этого страшнаго божества, изъ подъ безчисленныхъ образовъ котораго всегда выглядываетъ обоготворенная матерія вселенной. Въ Персіи это пантеистическое божество отрѣшилось отъ всякой образности, изъ царства видимой природы перешло въ царство духовъ (самодѣйствующихъ и первосущныхъ силъ природы) и распалось на двойственное и враждебное себѣ самому понятіе добра и зла. Въ племенахъ симическихъ, божество, отрѣшившись отъ всякой образности, явилось безплотною и отвлеченною идеею всесущности—безличною индивидуальностію. Это міросозерцаніе перешло въ послѣдствіи и въ магаметанство. Но, несмотря на свою духовность, оно есть тотъ же индійскій пантеизмъ, только на высшей степени своего развитія. Въ Египтѣ видна борьба природы съ человѣкомъ: египетское ваяніе коснулось и человѣка, но этотъ человѣкъ лишенъ жизни, связанъ и блещетъ толь-

ко мертвою правильностію черть лица. Часто онъ является тамъ неотдѣленнымъ отъ животнаго, и въ сфинксѣ выразилось торжество египетской фантазіи, не могшей ни оторваться отъ животнаго, ни возвыситься до человѣка. Въ Греціи, въ лицѣ миѳическаго Эдипа, человѣкъ побѣдилъ сфинкса, разгадавъ его загадку, смыслъ которой былъ—«человѣкъ», и въ разгадкѣ которой выразилось самосознаніе человѣка: Сфинксъ, отъ стыда и досады бросился въ море, а человѣкъ остался царемъ на землѣ. И потому, если Грекъ очеловѣчилъ божество, выражавшееся на Востокѣ только въ животныхъ образахъ, то и обожествилъ человѣка — и это не въ одномъ изяществѣ благородныхъ формъ его тѣла, но и въ духовномъ стремленіи его къ истинному, прекрасному, доблестному, которое, по понятію Грека, было божественнымъ, хотя въ немъ и отразилась его же собственная человѣческая сущность. Итакъ, по созерцанію Эллина, божественное внѣшняго человѣка состояло въ красотѣ, а божественное внутренняго человѣка состояло въ героизмѣ, въ смыслѣ борьбы долга съ рокомъ, — и тамъ, гдѣ побѣда оставалась за человѣкомъ, человѣкъ дѣлался выразителемъ и представителемъ божественнаго, а гдѣ человѣческая личность побѣждалась страстью и эгоизмомъ, тамъ божественное являлось торжествующимъ въ трагической катастрофѣ падшей нравственно личности. Во всемъ, и въ природѣ, и въ духѣ человѣка, и въ религіи, и въ гражданственности и въ искусствѣ, Грекъ искалъ и находилъ божественное и упивался имъ въ блаженномъ созерцаніи. Цѣль жизни для Грека было—наслажденіе, заключавшееся въ одномъ божественномъ. И потому, у Грека самая чувственность была обожествлена чувствомъ красоты и изящества, которыя тѣсно были соединены въ его созерцаніи съ чувствомъ нравственнаго. Жрецъ ли, воинъ ли, администраторъ ли, мудрецъ ли, художникъ ли, гость ли на пиру: Грекъ вездѣ священнодѣй-

ствовалъ, вездѣ былъ актеромъ, который беретъ себѣ роль, чтобы, слившись съ страданіемъ и блаженствомъ героя драмы, насладиться и своимъ съ нимъ единствомъ и своею отъ него особностію въ одно и то же время. Вотъ это-то міросозерцаніе и лежитъ въ основѣ каждаго художественнаго произведенія греческаго, а слѣдовательно, и въ греческой литературѣ, лежитъ въ ихъ основѣ, какъ мысль затаенная, но тѣмъ не менѣе ясная и ощутительная, какъ національный мотивъ, по которому узнаютъ музыку того или другаго народа во всѣхъ его пѣсняхъ. И это-то міросозерцаніе и составляетъ то вѣчное и непреходящее, то божественное греческой литературы, которое и сдѣлало ее общимъ достояніемъ человѣчества, несмотря на измѣненіе нравовъ и понятій, въ теченіе тысячелѣтій, которое пережило эмперическое существованіе Грековъ и умретъ только съ человѣчествомъ, если человѣчество можетъ умереть. Въ греческомъ міросозерцаніи мы видимъ торжество развитія древняго міра, видимъ въ ней цвѣтомъ то, что̀ въ Индіи было корнемъ, въ Египтѣ стеблемъ и листьями. По этому самому, даже искусство и литература Индійцевъ имѣютъ всемірно-историческое значеніе, какъ выраженіе ступени всемірно-историческаго развитія. Египтяне оставили памятники своего интеллектуальнаго существованія преимущественно въ зодчествѣ и ваяніи, въ громадной нескладности и животныхъ типахъ которыхъ выразилось окончательное обожествленіе природы и порываніе къ идеѣ человѣка. И потому египетское искусство тоже имѣетъ всемірно-историческое значеніе. Но несравненно выше ихъ всемірно-историческое значеніе греческаго искусства и греческой литературы, въ которыхъ все, что̀ въ другихъ древнихъ народахъ проявлялось неопредѣленно, разрозненно, чудовищно, явилось опредѣленно, полно, и изящно.

Пантеистическое міросозерцаніе, отправившееся отъ Индіи, черезъ Персію, къ симитическимъ племенамъ и принявъ-

шее отвлеченно-духовный характеръ, миновало Грецію и перешло въ Европу среднихъ вѣковъ, преображенное христіянствомъ; а въ Азіи преобразовалось въ магометанство. Нѣтъ нужды доказывать, что священная литература Евреевъ имѣетъ всемірно-историческое значеніе; но должно сказать, что поэзія восточныхъ народовъ, какъ до исламизма, такъ и во время его владычества, имѣетъ свое всемірно-историческое значеніе въ той мѣрѣ, въ какой выражается въ ней пантеистическое міросозерцаніе. Въ Европѣ новыхъ временъ, по исходѣ среднихъ вѣковъ, геній Востока, развивавшійся мимо Греціи, снова встрѣтился съ древне-европейскимъ міромъ, чрезъ знакомство съ литературами Греціи и Рима.

У Римлянъ, какъ у народа, по преимуществу практически дѣятельнаго, не могло развиться ни самостоятельной поэзіи, ни самобытной литературы: литература ихъ есть подражаніе греческой и явилась у нихъ при крутомъ поворотѣ римской жизни къ упадку и гніенію. Латинская литература преимущественно заключается въ рѣчахъ ораторовъ и въ историческихъ твореніяхъ, которыхъ характеръ болѣе риторическій, какъ оно и должно было быть у народа общественнаго, гдѣ краснорѣчіе имѣло характеръ судебный и политическій. Истинная латинская литература, т. е. національная и самобытная латинская литература, заключается въ Тацитѣ и сатирикахъ, изъ которыхъ главнѣйшій—Ювеналъ. Эта литература, явившаяся въ эпоху крайняго разложенія стихій общественной жизни Римлянъ, имѣетъ высокое значеніе высшаго нравственнаго суда надъ сгнившимъ въ развратѣ обществомъ, что̀ и даетъ ей по-преимуществу всемірно-историческое, а слѣдовательно, и никогда не умирающее значеніе. Литература же великаго и цвѣтущаго Рима преимущественно заключается въ его законодательствѣ.

На позорищѣ новаго міра три націи представляютъ въ

своемъ лицѣ современное намъ человѣчество — Францiя, Германiя и Англiя. Прежде нихъ вышедшая на поприщѣ всемiрно-исторической дѣятельности Италiя уже какъ бы умерла въ настоящее время и въ летаргическомъ усыпленiи, съ тоскою, тщетно ожидаетъ своего возрожденiя для будущаго. Мы говоримъ не о политическомъ, а о нравственномъ, духовномъ существованiи народовъ. Италiя, по разрушенiи Рима варварами, никогда не играла сколько нибудь значительной роли въ политическомъ мiрѣ и только хитростiю отдѣлывалась отъ многочисленныхъ враговъ, и съ сѣвера и съ юга безпрестанно наводнявшихъ собою ея прекрасную почву. Германiя и теперь не одно государство, не одинъ народъ, а множество государствъ и народовъ, и въ политическомъ мiрѣ, не Германiя, а Прусiя и Австрiя играютъ теперь первостепенныя роли. Но предметъ нашего изслѣдованiя—не Пруссiя, и еще менѣе Австрiя, а Германiя, или, лучше сказать, духъ германскаго племени, его нравственное, а не политическое владычество въ современномъ мiрѣ. И вотъ, въ этомъ-то отношенiи, Италiя—страна мертвая въ наше время. А какую блестящую роль играла она еще въ то время, когда вся остальная Европа была погружена во мракѣ варварства! Еще тогда въ ней была уже цивилизацiя—отблескъ наслѣдованной ею классической цивилизацiи, утонченность нравовъ, наука и искусство. Въ XIII и XIV столѣтiяхъ, какъ мы уже говорили объ этомъ выше, Италiя имѣла уже Данта, Петрарку, и Боккачiо; въ XVI—Арiоста и Тасса; но не этимъ только ограничивалось владычество Италiи въ сферѣ искусства: Италiя—отечество зодчества, живописи, скульптуры, музыки. Нѣтъ никакой нужды приводить здѣсь имена ея великихъ художниковъ: они такъ извѣстны всѣмъ. Италiянецъ, это—или артистъ, или диллетантъ уже по самой натурѣ своей; онъ родится или артистомъ, или диллетантомъ. Гондольеръ, въ Италiи, поетъ октавы Тасса, народъ апплодируетъ

при появленіи на улицѣ какого-нибудь знаменитаго маэстро. Путешественники всѣхъ странъ не могутъ не удивляться правильной и благородной красотѣ римскаго простонародья, искусству римскаго крестьянина драпироваться своимъ бѣднымъ плащомъ и принимать живописныя позы во всѣхъ его положеніяхъ. Земля священныхъ развалинъ, почва, усѣянная памятниками и обломками древняго искусства, царство благодатной и роскошной природы, вся прелесть, вся наслажденіе, вся восторгъ и вдохновеніе, — поэтическая, живописная и пѣвучая Италія, въ артистическомъ отношеніи, была наслѣдницею древней Греціи. Она царила въ области изящнаго, въ области вкуса. Что̀ было этому причиною, если не субстанція народа? Скажутъ: это направленіе произвели обстоятельства, видъ памятниковъ древняго искусства, непосредственное наслѣдіе древней цивилизаціи. Но почему же Римляне, ограбившіе Грецію произведеніями ея искусства, почему они, несмотря на то, по прежнему остались народомъ безъ эстетическаго вкуса, безъ всякой способности къ творчеству, потому что всѣ, даже позднѣйшія произведенія древняго рѣзца, уже ознаменованныя признаками упадка искусства, были дѣломъ рукъ Грековъ, пріѣзжавшихъ, или переселявшихся въ Римъ? Чтобы Италія сдѣлалась отчизною искусствъ, римской крови нужно было возродиться черезъ смѣшеніе съ кровію Готѳовъ и Лонгобардовъ...

Другая роль въ человѣчествѣ суждена Французамъ, Нѣмцамъ и Англичанамъ—этимъ тремъ національностямъ, идущимъ теперь во главѣ человѣчества. Германія и Франція представляютъ собою два противоположные полюса, двѣ противоположныя крайнія стороны духа человѣческаго; первая: вся—мысль, вся—созерцаніе, вся—знаніе, вся—мышленіе; вторая: вся—страсть, вся—движеніе, вся—дѣятельность, вся—жизнь. Германія понимаетъ (созерцаетъ) природу и человѣка, словомъ,—дѣйствительность, понима-

етъ ее не иначе, какъ предметъ для сознанія,—и отсюда мыслительно-созерцательный, субъективно-идеальный, восторженно-аскетическій, отвлеченно-ученый характеръ ея искусства и науки. Оттого и само искусство ея не что̀ иное, какъ параллель философіи, какъ особенная форма созерцательнаго мышленія, и оттого же и всемірно-историческій характеръ произведеній ея литературы и науки, и поэзіи. Отсюда же проистекаетъ и яркая противоположность между высокимъ, всемірно-историческимъ значеніемъ Нѣмцевъ въ наукѣ и икусствѣ, и ихъ пошлостію въ гражданскомъ и семейственномъ быту. Франція, напротивъ, понимаетъ жизнь, какъ жизнь, а мысль, какъ дѣятельность, какъ развитіе общественности, какъ приложеніе къ обществу всѣхъ успѣховъ науки и искусства. Для Нѣмца, наука и искусство—сами себѣ цѣль, самостоятельная и священная сфера, которую значило бы профанировать, внося въ нее что-нибудь отъ міра, или требуя отъ нея вмѣшательства въ дѣла жизни; для Француза, наука и искусство—средства для общественнаго развитія, для отрѣшенія личности человѣческой отъ тяготящихъ и унижающихъ ее оковъ преданія и временныхъ (а не вѣчныхъ) общественныхъ отношеній. И вотъ причина, почему литература французская имѣетъ такое огромное вліяніе на всѣ образованные и даже полуобразованные народы міра; вотъ почему даже ея летучія, эфемерныя произведенія пользуются такою всеобщностію, такою повсюдною извѣстностію. Нѣмецъ бьется только изъ того, чтобы понять истину, а поймутъ ли его самого,—объ этомъ онъ мало заботится; онъ пишетъ для тружениковъ истины, готовыхъ добиваться ея въ потѣ лица, для ученыхъ; людей просто, общества онъ и знать не хочетъ. Отсюда туманность, неуклюжесть и часто педантизмъ нѣмецкаго способа писать и выражаться. Французъ, по преимуществу человѣкъ общительный и общественный, исполненный симпатіи къ людямъ и обществу,

прежде всего заботится о томъ, чтобы его поняли всѣ, и скорѣе рѣшится пожертвовать глубокостію мысли, лишь бы только быть понятымъ, нежели заслужить упрекъ въ темнотѣ изложенія, оставаясь глубокомысленнымъ. Оттого, Нѣмцы изъ самыхъ популярныхъ предметовъ умѣютъ сдѣлать родъ элевзинскихъ таинствъ; а Французы, изъ самыхъ отвлеченныхъ и сухихъ предметовъ, умѣютъ сдѣлать общедоступный и увлекательный предметъ знанія. Положите Нѣмца въ тиски,—ему и въ нихъ будетъ хорошо, если онъ пойметъ ихъ механизмъ и переведетъ ихъ значеніе на языкъ науки; Французу всегда тѣсно и на просторѣ, потому-что для него жить, значитъ безпрестанно расширять горизонтъ жизни. Нѣмецъ сознаетъ дѣйствительность; Французъ творитъ ее. Нѣмецъ любитъ знаніе о человѣкѣ; Французъ любитъ человѣка. Особенность каждаго изъ народовъ рѣзко выражается въ ихъ литературѣ, и эта-то особенность и даетъ литературѣ каждаго изъ нихъ всемірно-историческое значеніе. Примиреніе и взаимное проникновеніе нѣмецкаго и французскаго элементовъ, если оно произойдетъ, какъ и должно ожидать этого, никогда не изгладитъ ни особенности, ни самостоятельности той и другой литературы, но придастъ имъ еще бо̀льшее всемірно - историческое значеніе и будетъ истиннымъ торжествомъ для человѣчества.

Гораздо труднѣе характеризовать и опредѣлить всемірно-историческое значеніе англійской націи и ея литературы. Англійская національность доселѣ представляетъ собою зрѣлище самыхъ поразительныхъ противоположностей. Всегда живя и дѣйствуя внѣ человѣчества, погруженная въ свой національный эгоизмъ, Англія тѣмъ не менѣе служитъ человѣчеству, заботясь только о собственныхъ выгодахъ на чужой счетъ. Распространяя свою всемірную торговлю, а для этого распространяя свои завоеванія на всемъ земномъ шарѣ, она по всему лицу его разноситъ сѣмена европейской цивилизаціи. Опередивши всю Европу

въ общественныхъ учрежденіяхъ, на совершенно новыхъ основаніяхъ, Англія, въ то же время, упорно держится феодальныхъ формъ и чтитъ букву закона, потерявшаго смыслъ и давно замѣненнаго другимъ. Политическое и религіозное ханжество Англичане считаютъ своею обязанностію, своею добродѣтелью, потому-что она имъ полезна, какъ опора ихъ statu quo. Нигдѣ индивидуальная, личная свобода не доведена до такихъ безграничныхъ размѣровъ, и нигдѣ такъ не сжата, такъ не стѣснена общественная свобода, какъ въ Англіи. Нигдѣ нѣтъ ни такого чудовищнаго богатства, ни такой чудовищной нищеты, какъ въ Англіи. Нигдѣ такъ не прочны общественныя основы, какъ въ Англіи, и нигдѣ, какъ въ ней же, не находятся онѣ въ такой опасности ежеминутно разрушиться, подобно черезчуръ крѣпко натянутымъ струнамъ инструмента, ежеминутно готовымъ лопнуть. Народъ по преимуществу практическій, промышленный, торговый, мануфактурный, словомъ, утилитарный, Англичане сильны въ положительныхъ наукахъ, особенно въ ихъ примѣненіи къ практикѣ; философія же и вообще всѣ умозрительныя знанія, находятся въ Англіи въ самомъ жалкомъ положеніи. Но плохіе и ничтожные мыслители, Англичане обладаютъ такою художественною литературою, которую скорѣе можно поставить выше, нежели ниже, всякой другой европейской литературы. Что же, какая же сторона англійской національности преимущественно отразилась въ англійской литературѣ? Трудно сказать это. Читая Шекспира и Вальтеръ-Скотта, видишь, что такіе поэты могли явиться только въ странѣ, которая развилась подъ вліяніемъ страшныхъ политическихъ бурь, и еще болѣе внутреннихъ, чѣмъ внѣшнихъ, въ странѣ общественной и практической, чуждой всякаго фантастическаго и созерцательнаго направленія, діаметрально-противоположной восторженно-идеальной Германіи, и въ то же время, родственной ей по глубинѣ своего духа. Чи-

тая Байрона, видишь въ немъ поэта глубоко-лирическаго, глубоко-субъективнаго, а въ его поэзіи энергическое отрицаніе англійской дѣйствительности, и въ то же время, въ Байронѣ все-таки нельзя не видѣть Англичанина и притомъ лорда, хотя, вмѣстѣ съ тѣмъ, и демократа. Страна всеобщаго тартюфства, Англія имѣла историка Гиббона. Сколько противорѣчій! Но изъ этихъ-то противорѣчій и вышелъ тотъ мрачный титаническій юморъ, который составляетъ характеристическую черту англійской литературы, рѣзко отличающую ее отъ всѣхъ другихъ литературъ. Англія—отечество юмора, который теперь болѣе или менѣе привился ко всѣмъ европейскимъ литературамъ, и который составляетъ могущественнѣйшее орудіе духа отрицанія, разрушающаго старое и приготовляющаго новое. Англійскій юморъ есть искупленіе національной англійской ограниченности въ настоящемъ, и залогъ ея будущаго выхода изъ ограниченности.

Впрочемъ, всемірно-историческое значеніе литературы есть только высшая степень ея достоинства, но не есть необходимая принадлежность. Могутъ быть литературы и безъ всемірно-историческаго значенія, но органически развившіяся и имѣющія свою исторію. Только важность подобной литературы гораздо значительнѣе для того народа, которому она принадлежитъ, нежели для другихъ народовъ. Всемірно-историческое значеніе литературы даетъ ей интересъ общій, дѣлаетъ ее извѣстною всѣмъ народамъ; тогда какъ кругъ вліянія и очевидность важности литературы, не имѣющей всемірно-историческаго значенія, ограничивается предѣлами, выражаемой ею національности. Таковы литературы: шведская, голландская, польская, богемская. Онѣ могутъ блестѣть именами знаменитыхъ талантовъ, но интересны онѣ, болѣе или менѣе, только именно произведеніями этихъ талантовъ, а не совокупностью всѣхъ своихъ произведеній. Такъ извѣстны въ Европѣ имена

Эленшлегера, Тегнера, Мицкевича; сочиненія ихъ даже переводятся на иностранные языки; но за то, кромѣ этихъ писателей, болѣе никто не извѣстенъ за предѣлами своего отечества. Итакъ по одному знаменитому имени на каждую литературу! А между-тѣмъ, въ каждой изъ этихъ литературъ есть много писателей даровитыхъ и замѣчательныхъ, хотя не столь знаменитыхъ, какъ тѣ, которыхъ мы назвали; но вліяніе и значительность этихъ талантовъ важны только у себя дома. Они оказали услуги, можетъ-быть, весьма большія, своему языку, своей литературѣ, своему отечеству, но не человѣчеству, и потому ихъ знаетъ и чествуетъ только ихъ отечество; человѣчество же не хочетъ и не можетъ ихъ знать.

Но чтобы литература и для своего народа была выраженіемъ его сознанія, его интеллектуальной жизни,—необходимо, чтобъ она была въ тѣсной связи съ его исторіею и могла служить объясненіемъ ей, необходимо, чтобы она развилась органически и имѣла свою исторію. Безъ этихъ условій, каково бы ни было количество книгъ на языкѣ того или другаго народа,—оно доказываетъ только то, что у этого народа существуетъ книгопечатаніе и процвѣтаютъ типографіи, но совсѣмъ не то, чтобы у него была литература. Бо̀льшее или меньшее число писателей, даже съ замѣчательными дарованіями, также доказываетъ только то, что у народа есть люди, которые нашли свои причины и побужденія составлять и издавать въ свѣтъ книги; но опять таки совсѣмъ не то, чтобы у него была литература. Еще менѣе можетъ служить доказательствомъ существованія литературы книжная торговля: она доказываетъ только существованіе въ народѣ болѣе или менѣе значительнаго числа грамотныхъ людей, которымъ надобно же что-нибудь читать, хотя отъ скуки и для разсѣянія, или по незнанію иностранныхъ языковъ, или по особенной симпатіи ко всему родному, отечественному. Подобными

чисто внѣшними доводами нельзя доказать существованія литературы у того или другаго народа. Правда, безъ книгъ, безъ писателей и безъ читателей невозможна никакая литература, какъ невозможенъ театръ безъ сцены, безъ репертуара, безъ актеровъ и публики; но только одни книги, писатели и читатели еще не составляютъ собою литературы: ее производитъ духъ народа, выражающійся въ его исторіи, и потому литературу можетъ имѣть народъ, существующій не эмпирически только, но и нравственно, духовно, развивающій своею жизнію какую-нибудь сторону обще-человѣческаго духа, словомъ, народъ, который существуетъ по праву, необходимо, а не случайно.

Было время, когда мы, Русскіе, имѣли огромную литературу, которая не только не уступала ни одной изъ извѣстныхъ литературъ древняго и новаго міра, но и далеко превосходила и каждую изъ нихъ порознь и всѣ вмѣстѣ. Тредьяковскій «полезными своими трудами пріобрѣлъ себѣ безсмертную славу». Ломоносовъ былъ «Малербъ нашихъ странъ и Пиндару подобенъ», кромѣ того,

> Что̀ въ Римѣ Цицеронъ и что̀ Виргилій былъ,
> То онъ одинъ въ своемъ понятіи вмѣстилъ.

Сумароковъ «различныхъ родовъ стихотворными и прозаическими сочиненіями пріобрѣлъ себѣ великую и безсмертную славу не только отъ Россіянъ, но и отъ чужестранныхъ академій и славнѣйшихъ европейскихъ писателей, и хотя первый онъ изъ Россіянъ началъ писать трагедію по всѣмъ правиламъ театральнаго искусства, но столько успѣлъ въ опыхъ, что заслужилъ названіе сѣвернаго Расина; его еклоги равняются знающими людьми съ виргиліевыми и поднесь еще остались неподражаемы; а притчи его почитаются сокровищемъ россійскаго парнаса; и въ семъ родѣ стихотворенія далеко превосходитъ онъ Федра и де-ла-Фонтена, славнѣйшихъ въ семъ родѣ». Петровъ

побѣдилъ въ своихъ одахъ Пиндара. Хераскову не нанесутъ вреда зоилы: Владиміръ и Іоаннъ покроютъ его щитомъ и проведутъ въ храмъ безсмертія.

> Херасковъ нашъ Гомеръ, воспѣвшій древни брани,
> Россія торжество, паденіе Казани.

Державинъ — сѣверный Пиндаръ, Горацій и Анакреонъ, далеко превзошедшій южныхъ — Пиндара, Горація и Анакреона. Богдановичъ, въ своей «Душенькѣ», побѣдилъ Лафонтена. Но мы бы долго не кончили, если бы стали исчислять всѣхъ русскихъ поэтовъ и писателей, которые превзошли и побѣдили поэтовъ и писателей всего міра. Такъ дѣтски тѣшили свое самолюбіе неразвившійся вкусъ и неопытная критика. Подобное направленіе общественнаго мнѣнія въ пользу русской литературы, впрочемъ, было болѣе полезно, нежели вредно, потому что это невинное самообольщеніе рождало въ пишущихъ людяхъ охоту къ литературнымъ трудамъ, а въ публикѣ—охоту читать ихъ литературные труды. Въ свое время, это самообольщеніе начало проходить, потому-что стали являться вольнодумцы, которые вооружились противъ незаслуженныхъ или преувеличенныхъ авторитетовъ. Въ своемъ мѣстѣ мы покажемъ заслуги этихъ смѣльчаковъ. Но рѣшительная потребность сознанія значенія и важности русской литературы, истинной оцѣнки заслугъ русскихъ писателей, обнаружились не болѣе какъ лѣтъ десять назадъ тому. Вдругъ, къ изумленію однихъ, къ оскорбленію другихъ, раздался смѣло предложенный вопросъ: «есть ли русская литература? существуетъ ли русская литература?» Разумѣется, тотъ, кто первый предложилъ этотъ вопросъ, тогда же рѣшилъ его отрицательно, невольно увлекшись сомнѣніемъ, которое имъ первымъ было высказано. И хотя отрицательное рѣшеніе этого вопроса было ошибочно, однако оно принесло большую пользу, возбудивши споры за и противъ

и заставивши всѣхъ не шутя подумать о томъ, о чемъ они такъ утвердительно говорили по привычкѣ, и безпристрастнѣе разсмотрѣть слишкомъ восторжено признанныя заслуги писателей. Результатомъ этихъ споровъ и изслѣдованій было сознательное признаніе существованія русской литературы, но только въ ея дѣйствительныхъ размѣрахъ, въ ея дѣйствительной важности. Но доселѣ такое признаніе существовало только какъ журнальное мнѣніе, отрывочно и по временамъ высказывавшееся по разнымъ случайнымъ поводамъ, и болѣе или менѣе отзывавшееся въ публикѣ; но еще не было предметомъ отдѣльнаго сочиненія, въ которомъ идеи были бы оправданы исторически-критическимъ изложеніемъ фактовъ литературы, а въ фактахъ была бы прослѣжена оживляющая ихъ идея. Вотъ задача, рѣшеніе которой составляетъ содержаніе книги, которая, подъ именемъ «Критической исторіи Русской Литературы», предлагается теперь благосклонному вниманію читателя.

Несмотря на подражательность и ея неизбѣжный результатъ—риторизмъ русской литературы, отъ Ломоносова до Пушкина,—несмотря на то, что и отъ Пушкина до настоящей минуты, содержаніе русской литературы довольно скудно и большею частію состоитъ изъ идей, возникшихъ и развившихся не на туземной почвѣ; несмотря на то, что сумма произведеній русской литературы ознаменованныхъ печатію сильнаго самобытнаго таланта и блистающихъ не относительными, а безусловными достоинствами, очень не велика; несмотря на то, что масса читающей русской публики ничтожна въ сравненіи съ массою не читающей публики, что даже эта небольшая читающая публика раздѣляется и подраздѣляется на множество различныхъ и дробныхъ сторонъ, почти ничѣмъ не связанныхъ одна съ другой, и что самая высшая литературная публика у насъ до сихъ поръ состоитъ преимущественно изъ самихъ же

литераторовъ, которые, въ свою очередь, несмотря на ихъ малочисленность, тоже раздѣляются на множество почти ничѣмъ не связанныхъ между собою котерій, —несмотря на все это, существованіе русской литературы есть фактъ, неподверженный никакому сомнѣнію. Но дѣйствительность этого факта очевидна только тогда, когда на русскую литературу будутъ смотрѣть какъ на міръ, хотя не большой, но существующій по своимъ собственнымъ законамъ и развивающійся своимъ собственнымъ путемъ. Оттого и могло родиться сомнѣніе въ существованіи русской литературы, что на нее хотѣли смотрѣть, какъ, напр., на древне-греческую и латинскую и новѣйшую французскую литературу, сравнивали ее съ ними, требовали отъ нея непремѣнно тѣхъ же явленій, какими были ознаменованы эти литературы; и потому нашихъ поэтовъ называли русскими Гомерами, Виргиліями, Пиндарами, Гораціями, Анакреонами, Федрами, Лафонтенами, Расинами, потомъ—Шиллерами, Байронами и т. д. Начало и развитіе русской литературы совершенно особенное, не имѣющее себѣ примѣра ни въ одной литературѣ міра, такъ же, какъ и развитіе русскаго народа. И вотъ здѣсь-то является, во всей своей очевидности, та истина, что литература есть выраженіе жизни своего народа, и что исторія литературы тѣсно слита съ исторіею народа. Всемірно-историческаго значенія русская литература никогда не имѣла и теперь имѣть не можетъ. Россійская имперія, созданная Петромъ Великимъ, имѣетъ теперь всемірно-историческое значеніе въ политическомъ смыслѣ, занимая почетное мѣсто между первостепенными державами Европы и оказывая могущественное вліяніе на весь политическій міръ. Но Россія, но народъ русскій находятся еще въ одномъ изъ первыхъ моментовъ процесса своего только-что начинающагося развитія; они не успѣли еще установиться и опредѣлиться, вырости до самихъ себя, — и потому не могутъ претендовать на умственное всемірно-

историческое значеніе въ современномъ человѣчествѣ. Что Россіи готовится великое будущее, что русское племя носитъ въ себѣ плодотворное зерно субстанціяльной жизни, которое нѣкогда должно развиться въ величественное, широколиственное дерево,—такое предположеніе и теперь не чуждо достовѣрности; но въ чемъ будетъ состоять это великое будущее, какое міросозерцаніе разовьется изъ субстанціи русскаго народа, даже въ чемъ именно состоитъ субстанція его духовной природы,—этого теперь опредѣлить нельзя, а фантазировать объ этомъ и безплодно и нелѣпо. Русскій народъ, въ этомъ отношеніи, похожъ на геніяльнаго ребенка: его физіономія уже значительна и обѣщаетъ много въ будущемъ, но дѣтскимъ чертамъ его лица еще не достаетъ опредѣлительности, и по нимъ еще нельзя сказать, по какой дорогѣ и какъ именно пойдетъ это геніяльное дитя, когда сдѣлается взрослымъ человѣкомъ. И потому, намъ должно пока отказаться отъ всякихъ притязаній сравнивать и равнять русскую литературу съ французскою, нѣмецкою, или англійскою;—хотя, въ то же время, нельзя сказать, чтобы мы вовсе лишены были права сравнивать, равнять (и даже иногда ставить выше) иныя отдѣльныя произведенія нашей литературы тоже съ отдѣльными произведеніями другихъ литературъ, но въ отношеніи чисто-художественномъ, а не философско-историческомъ. Наша литература исполнена большаго интереса, но только для насъ, Русскихъ, потому-что въ ней выразилось наше собственное развитіе, общественное и человѣчественное. Другими словами: наша литература имѣетъ для насъ великое значеніе не въ одномъ эстетическомъ, но еще болѣе въ историческомъ значеніи.

Русская литература тѣмъ отличается отъ всѣхъ другихъ литературъ, что она не возникла самобытно и непосредственно изъ почвы народной жизни, но была результатомъ крутой общественной реформы, плодомъ искусственной пе-

ресадки. И потому, она сперва была подражательною и риторическою, бѣдною содержаніемъ, скудною жизнію. Если-бы она навсегда осталась такою, она была бы не литературою, а книжничествомъ, и не заслуживала бы никакого вниманія. Но въ отношеніи къ нашей литературѣ, можетъ-быть больше, нежели во всякомъ другомъ отношеніи, и обнаружилась вся плодовитость и жизненность искусственной реформы Петра Великаго. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стòитъ только сравнить поэта Ломоносова съ поэтомъ Пушкинымъ, сатирика Фонъ-Визина съ юмористическимъ поэтомъ Гоголемъ: какая безконечная разница! Кажется, между этими людьми легли цѣлые вѣка, тогда какъ ихъ едва раздѣляетъ одно столѣтіе! И это развитіе подражательной и риторической школьной и книжной поэзіи въ самобытную и художественную, живую и доступную обществу, совершилось постепенно, органически. Державинъ уже болѣе поэтъ, нежели Ломоносовъ; Озеровъ болѣе поэтъ, нежели Сумароковъ и Княжнинъ; за баснописцами даровитыми, но подражательными — Хемницеромъ и Дмитріевымъ—является геніальный и народный баснописецъ Крыловъ; Карамзинъ, преобразовавъ ломоносовскую прозу, приближаетъ ее къ естественной русской рѣчи и прививаетъ къ русской литературѣ элементы изящнаго французскаго публицизма, а Дмитріевъ роднитъ русскую поэзію съ духомъ и манерою изящной свѣтской поэзіи Французовъ, и оба они далеко опереживаютъ своихъ предшественниковъ въ легкости языка и даже въ поэтическомъ выраженіи стиха; Жуковскій прививаетъ къ русской поэзіи романтическіе элементы германской и англійской поэзіи; Батюшковъ вноситъ въ русскую поэзію элементы пластически-художественнаго созерцанія жизни и ея выраженія, въ духѣ древне-классической поэзіи,—и оба они далеко опережаютъ Карамзина и Дмитріева въ фактурѣ стиха, не говоря уже о поэзіи выраженія. За ними, наконецъ, является Пушкинъ,

поэтъ и художникъ по преимуществу, окончательно преобразовываетъ языкъ русской поэзіи, возведя его на высочайшую степень художественности,—и съ нимъ первымъ, является въ русской литературѣ искусство, какъ искусство, поэзія—какъ художественное творчество. Въ Пушкинѣ вся предшествовавшая ему изящная литература русская; прежде, чѣмъ онъ сталъ самобытнымъ и національнымъ поэтомъ-мастеромъ, онъ былъ поклонникомъ и ученикомъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, и все сдѣланное ими усвоилъ въ свою собственность, явивши красоты и достоинства, которыхъ они не являли, и не повторивши ихъ недостатковъ. И потому, есть живая, органическая связь между Ломоносовымъ и Пушкинымъ, какъ между причиною и ея слѣдствіемъ. И вотъ эта-то живая, органическая послѣдовательность развитія русской литературы и даетъ ей столько же права называться «литературою», сколько и тѣ яркіе, даже великіе, хотя немногіе таланты, которыми она по справедливости можетъ гордиться, и больше всего удостовѣряетъ въ ея существенномъ достоинствѣ въ настоящее время и въ ея способности пріобрѣсти нѣкогда всемірно-историческое значеніе. Прежде русская литература подражала буквѣ иностранной, учась словесному выраженію; послѣ она стала усвоять себѣ элементы различныхъ національностей Европы, и это усвоеніе, долженствующее обогатить и сдѣлать ее многостороннею, еще и теперь продолжается и еще будетъ продолжаться. Къ особеннымъ свойствамъ русскаго народа принадлежитъ его способность, проистекающая изъ его положенія въ Европѣ, усвоять себѣ все чуждое, ничѣмъ не увлекаясь, ничему не покоряясь исключительно. Только въ недавнее время началось сближеніе между собою французской и германской національности, но и теперь еще такъ трудно для Француза понять Нѣмца, а для Нѣмца — понять Француза. Русскій легко понимаетъ обоихъ ихъ и легко понимаетъ, отчего такъ

трудно имъ понять другъ друга; но самъ отъ этого не дѣлается ни Французомъ, ни Нѣмцемъ. Короче: русскій человѣкъ еще не живетъ, а только запасается средствами на жизнь, беря ихъ вездѣ и всюду, гдѣ ни встрѣтитъ,— и видно, богата должна быть жизнь его въ будущемъ, если для нея ему нуженъ такой огромный запасъ!

Очень понятно, отчего родился у насъ вопросъ: существуетъ ли русская литература! Его произвели, съ одной стороны ребячество нашего литературнаго самообольщенія, которое во всякомъ русскомъ писателѣ хотѣло видѣть то Гомера, то Пиндара; съ другой стороны, односторонная точка зрѣнія на русскую литературу. Если смотрѣть только съ художественной точки зрѣнія на нашихъ старыхъ писателей, то не только какіе-нибудь Сумароковъ, Херасковъ и Петровъ, даже Ломоносовъ, мало того,—самъ Державинъ лишится почти всего своего значенія и перестанетъ казаться не только великимъ, даже замѣчательнымъ явленіемъ въ области русской поэзіи. Но исключительно эстетическая точка зрѣнія, какъ всякая односторонность, всегда доводитъ до ложныхъ заключеній: и потому, при сужденіи о литературѣ, кромѣ эстетической точки зрѣнія, нужна еще и историческая. И вотъ съ этой послѣдней точки зрѣнія, не только Державинъ — и Ломоносовъ получаетъ великое значеніе въ русской литературѣ, не только, какъ писатель вообще, но и какъ поэтъ. Даже Сумароковъ, Херасковъ и Княжнинъ, которыхъ такъ легко совершенно уничтожить съ эстетической точки зрѣнія, — съ исторической, напротивъ, получаютъ полное оправданіе и являются, въ русской литературѣ, именами замѣчательными и почтенными. Эти трудолюбивые люди, своею дѣятельностію, хотя и ошибочно, размножали на Руси книги, а черезъ книги— читателей, распространяли въ обществѣ охоту и страсть къ благороднымъ умственнымъ наслажденіямъ литературою и театромъ,—и такимъ образомъ, мало по малу, пригото-

вили для Карамзина возможность образовать въ обществѣ публику для русской литературы. Несмотря на то, что эта публика еще и теперь слишкомъ не многочисленна въ сравненіи съ массою цѣлаго общества и тѣмъ болѣе съ массою всего народа, и что, при ея малочисленности, она поражаетъ взоръ наблюдателя разнохарактерностію, пестротою и противорѣчіемъ своихъ вкусовъ, понятій и требованій,—не подлежитъ никакому сомнѣнію, что у насъ есть уже и публика, такъ же, какъ есть и литература. Это доказывается тѣмъ, что бездарность, мелочная талантливость и ложная оригинальность пользуются у насъ только мгновеннымъ, хотя иногда и сильнымъ успѣхомъ, тогда какъ истинный талантъ, истинная геніяльность скоро оцѣниваются, оказываютъ на публику огромное вліяніе и пріобрѣтаютъ прочную извѣстность, прочную славу. Пушкинъ, при своемъ появленіи, былъ встрѣченъ и восторгомъ и негодованіемъ, но первый скоро одержалъ верхъ, и скоро геніяльность Пушкина безусловно была признана всѣмъ обществомъ. «Горе отъ Ума» Грибоѣдова еще въ рукописи было прочитано всею Россіею. Лермонтовъ, при первомъ своемъ появленіи на литературномъ поприщѣ, обратилъ на себя изумленные взоры всего общества и, несмотря на свою преждевременную кончину, остался во мнѣніи публики великимъ поэтомъ. Но никто изъ русскихъ писателей не возбуждалъ такого общаго и такого энергическаго негодованія, и никто изъ нихъ съ такимъ блескомъ и торжествомъ не побѣдилъ его, какъ Гоголь. Встрѣченный съ энтузіазмомъ только немногими голосами, во всѣхъ остальныхъ возбудилъ онъ ропотъ оскорбленія и негодованія, очень естественный и понятный по духу сочиненій Гоголя и по отношенію ихъ къ обществу; но—удивительное дѣло!—съ равною жадностію былъ онъ читаемъ и перечитываемъ, какъ своими почитателями, такъ и своими хулителями. Наконецъ, истина взяла свое, и общественное мнѣніе тор-

жественно признало Гоголя великимъ національнымъ поэтомъ. Такихъ примѣровъ, доказывающихъ, что все истинное, все живое скоро пріобрѣтаетъ симпатію и признаніе русской публики, очень много.

Написать исторію русской литературы, значитъ: показать, какимъ образомъ, какъ слѣдствіе общественной реформы, произведенной Петромъ Великимъ, началась она рабскимъ подражаніемъ иностраннымъ образцамъ, принявши чисто риторическій характеръ; какъ потомъ, постепенно, стремилась къ освобожденію изъ формальности и риторизма и пріобрѣтенію для себя жизненныхъ элементовъ и самостоятельности; и какъ, наконецъ, развилась до полной художественности и сдѣлалась выраженіемъ жизни своего общества, стала русскою. Вмѣстѣ съ этимъ, должно показать, что русская литература положила у насъ основаніе публичности и общественнаго мнѣнія, была проводникомъ въ общество всѣхъ человѣческихъ идей и постоянно, не безъ успѣха, боролась съ предразсудками и пороками, завѣщанными намъ невѣжественною, полуазіятскою стариною.

Но прежде, нежели приступимъ мы къ изложенію исторіи русской литературы, считаемъ за нужное бросить взглядъ на нашу народную поэзію. Хотя художественная русская литература развилась не изъ народной поэзіи, однако первая, при Пушкинѣ, встрѣтилась съ послѣднею, и вопросъ о народной русской поэзіи и теперь принадлежитъ къ числу самыхъ интересныхъ вопросовъ современной русской литературы, потому что онъ сливается съ вопросомъ о народности въ поэзіи. По разсмотрѣніи произведеній народной русской поэзіи, мы бросимъ бѣглый взглядъ на произведенія древней и старой русской словесности, которыя не принадлежатъ ни къ богословію, ни къ хроникамъ, такъ какъ ни то, ни другое не входитъ въ составъ нашей книги, предметъ которой — исключительно свѣтская изящная (бельлетрическая) литература.

ПЕРВАЯ РЕДАКЦІЯ НАЧАЛА ЭТОЙ СТАТЬИ.

Нельзя писать исторіи какого бы то ни было предмета, не опредѣливши предварительно значенія, сущности, содержанія и объема даннаго предмета. Посему, мы должны сперва опредѣлить значеніе литературы вообще, а потомъ показать, какимъ образомъ и до какой степени русская литература соотвѣтствуетъ значенію литературы вообще.

У насъ многіе замѣняютъ, или думаютъ замѣнить, русскимъ словомъ «словесность» иностранное слово «литература». Одни дѣлаютъ это въ предположеніи, что «словесность» и «литература» совершенно тождественны въ своемъ значеніи, и что, посему, можно безъ ошибки употреблять то и другое, когда вздумается и какъ придется. Другіе, по принципу пуризма, совсѣмъ не хотятъ употреблять слова «литература», какъ иностраннаго и не нужнаго, думая, что русское слово «словесность», по объему своего содержанія, совершенно равно слову «литература».

Тѣ и другіе несправедливы. Въ языкѣ не можетъ быть двухъ словъ, совершенно тождественныхъ по своему значенію. Если вошедшее въ какой-нибудь языкъ иностранное слово можетъ замѣниться собственнымъ того языка словомъ—иностранное уступаетъ мѣсто національному и, какъ уже излишнее, а потому и ненужное, само собою выходитъ изъ употребленія. Такъ изчезли изъ русскаго языка иностранныя слова: «викторія» (вмѣсто побѣда), «презентъ» (вм. подарокъ), «аттенція» (вм. вниманіе, уваженіе къ кому-либо), «ондироваться» (вм. волноваться), «решпектъ» (вм. уваженіе) и множество другихъ. Но иностранное слово «литература» удержалось, и всякій, кто только понимаетъ значеніе «словесности» и употребляетъ это слово, пони-

маетъ также и значеніе слова «литература» и также употребляетъ его. Значитъ: между этими двумя словами есть разница въ ихъ значеніи, какъ бы они ни были между собою сходны, есть оттѣнокъ, и они только сходны другъ съ другомъ, но отнюдь не тождественны. Знаніе точнаго значенія словъ и ихъ различія между собою, хотя бы и самаго легкаго, есть необходимое условіе всякаго истиннаго мышленія, ибо слова суть выраженія понятій, а можно ли мыслить, не умѣя отличать, во всей тонкости, одного понятія отъ другаго? Посему, мы прежде всего должны опредѣлить значеніе и различіе словъ литература и словесность.

Когда какое-нибудь слово употребляется неопредѣленно, то должно прибѣгнуть къ его этимологіи, а потомъ уже обратиться къ его настоящему употребленію, дабы показать, чтò можно и должно разумѣть подъ нимъ. Существительное «слово», какъ выраженіе разума — лучшаго дара, которымъ человѣкъ высоко поставленъ надо всѣмъ твореніемъ—играетъ важную роль въ «словенскихъ» языкахъ. Не даромъ многіе производятъ отъ «слова» не только общее, родовое названіе «словенскаго» племени, но и самое названіе «человѣка» (словикъ, словѣкъ, словокъ, словякъ). Въ самомъ дѣлѣ, если первобытный человѣкъ почувствовалъ необходимость въ названіи себя такимъ словомъ, которое бы выразило собою его главное и существенное отличіе отъ всѣхъ животныхъ, онъ, естественно, могъ всего лучше произвести его отъ «слова». И такъ какъ, первобытный или, чтò все равно, дикій человѣкъ, встрѣтивши другаго, котораго языкъ былъ ему непонятенъ, не могъ въ этихъ, непонятныхъ ему звукахъ уразумѣть слова, а принялъ ихъ просто за звуки, свойственные даже и животнымъ безсловеснымъ,—то и почелъ этого человѣка лишеннымъ дара «слова» и назвалъ его «нѣмцемъ». Въ послѣдствіи, когда онъ вышелъ изъ состоянія дикости, слово

«нѣмецъ», по преданію оставшееся въ его языкѣ, было употреблено имъ для выраженія понятія «иностранецъ»; а наконецъ сдѣлалось родовымъ названіемъ ближайшаго къ нему по сосѣдству племени. Существительное «слово» въ русскомъ языкѣ имѣетъ обширнѣйшее значеніе, чѣмъ существительныя «глаголъ» и «рѣченіе»: оно первоначально соотвѣтствовало греческому λογος и означало и идею, и слово, и разумъ, и духъ, и Бога, какъ это видно изъ первыхъ строкъ Евангелія апостола Іоанна: «Въ началѣ бѣ слово, и слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ слово; сей бѣ искони къ Богу».

Корень существительнаго «слово» есть *сл*. Первоначальное рѣченіе отъ этого корня есть слуть, слыть, отъ чего уже и происходитъ рѣченіе «слово». Здѣсь «слово» означаетъ названіе предмета, то̀, чѣмъ слыветъ предметъ. Для означенія въ человѣкѣ отличительной способности слова, производится, чрезъ присовокупленіе образовательнаго слога *нъ*, *ный*, прилагательное словес-нъ, слевес-ный (такъ же, какъ отъ тѣло, тѣлесъ — тѣлесный, слава — славный, умъ—умный и т. п.). Отсюда ясно слѣдуетъ, что первоначальное значеніе слова «словесность» есть выраженіе дара слова, способности въ человѣкѣ говорить. Однако это первоначальное значеніе утратилось въ употребленіи, ибо нельзя сказать, не оскорбивъ уха: «человѣкъ отличенъ словесностію»; но говорится: «человѣкъ отличенъ даромъ слова», или просто — «словомъ». Тѣмъ не менѣе, въ словѣ «словесность» таится, какъ элементъ, значеніе «способности или дара слова», ибо мы, не оскорбляя слуха, можемъ сказать: «человѣкъ есть существо словесное», или: «всѣ животныя суть существа безсловесныя». Но въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, слово «словесный» стало выражать все то, что̀ непосредственно относится къ слову, какъ напр., «словесныя науки», «словесное отдѣленіе», или «словесный факультетъ (говоря объ университетѣ)»,

«словесное выраженіе», «словесный памятникъ», «словесное объясненіе», и т. п. По этому же самому, и наука о словесности, дарѣ слова, или корочѣ—наука о словѣ называется у насъ словесностію. Отсюда ясно и опредѣленно видно и значеніе слова «словесность» и его различіе отъ слова «литература». Если можно сказать: «словесныя науки», то нельзя сказать: «литературныя науки»; если же «литературное выраженіе», «литературное объясненіе» и т. п. можно такъ же точно сказать, какъ и «словесное выраженіе», «словесное объясненіе», то для выраженія совершенно различныхъ и отнюдь не тождественныхъ понятій. Слѣдовательно, не даромъ иностранное слово «литература» получило въ нашемъ языкѣ право гражданства и сдѣлалось, такъ сказать, туземнымъ, національнымъ словомъ, котораго не можетъ ни замѣнить, ни вытѣснить русское слово «словесность»; и, въ свою очередь, не даромъ русское слово «словесность» не могло быть ни замѣнено, ни вытѣснено иностраннымъ словомъ «литература». Каждое изъ этихъ словъ равно необходимо и незамѣнимо, и не одно изъ нихъ не выражаетъ другаго, но каждое существуетъ въ языкѣ самостоятельно. Но въ дальнѣйшемъ развитіи слова «словесность» оно нѣсколько сходится, въ своемъ значеніи, съ словомъ «литература», но только сходится, а отнюдь не отождествляется. А между тѣмъ, многіе, не замѣчая ускользающихъ отъ определенія какихъ-то дробныхъ чиселъ, составляющихъ собою различіе «словесности» отъ «литературы» и наоборотъ, принимаютъ оба эти слова за сумму одной и той же величины, и думаютъ, что легко можно обойтись безъ одного изъ нихъ, замѣнивъ его другимъ, или употреблять каждое изъ нихъ по произволу. Отсюда частію и произошли сбивчивость и неопредѣленность въ значеніи самого предмета, выражаемаго словами «словесность» и «литература».

Такъ-какъ слово «словесность» объемлетъ собою все, что только относится къ дару слова и самому слову, то подъ «словесностью» должно разумѣть какъ языкъ, такъ и всю умственную, выразившуюся въ языкѣ жизнь народа, съ ея теоріею и исторіею, поколику послѣднія касаются языка, какъ общаго матеріяла, черезъ который и въ которомъ выразилась эта умственная жизнь народа. Такимъ образомъ, и языкъ, какъ матеріялъ всякаго словеснаго произведенія, съ его теоріею и историческимъ развитіемъ, и всѣ произведенія ума и фантазіи народа, выразившіяся въ словѣ: — пословица, поговорка, древняя надпись на камнѣ, на монетѣ, преданіе, миѳъ, лѣтопись, народная пѣсня, сказка, художественно созданная поэма или драма, философское сочиненіе, журнальная статья, ученый трактатъ о политической экономіи или статистикѣ, газетное объявленіе, геометрія, теорія сельскаго хозяйства, руководство для поваровъ и кухарокъ, средства къ истребленію мышей и клоповъ,—все это равно принадлежитъ къ области «словесности», какъ предметы, существующіе черезъ слово и въ словѣ.

ОБЩІЙ ВЗГЛЯДЪ НА НАРОДНУЮ ПОЭЗІЮ И ЕЯ ЗНАЧЕНІЕ *).

Народность есть альфа и омега эстетики нашего времени, какъ «украшенное подражение природѣ» было основнымъ и главнымъ положеніемъ поэтическаго кодекса прошлаго вѣка. Высочайшая похвала, какой только можетъ удостоиться поэтъ нашего времени, самый громкій титулъ, какимъ только могутъ теперь почтить его современники или потомки, заключается въ волшебномъ эпитетѣ «народнаго». Выраженія: «народная поэма», «народное произведеніе» часто употребляются теперь вмѣсто словъ: «превосходное, великое, вѣковое произведеніе». Волшебное слово, таинственный символъ, священный іероглифъ какой то глубоко-знаменательной, неизмѣримо-обширной идеи, «народность» какъ будто замѣнила теперь собою и творчество, и вдохновеніе, и художественность, и классицизмъ, и романтизмъ, заключила въ одномъ себѣ и эстетику, и критику; сдѣлалась теперь высшимъ критеріумомъ, пробнымъ камнемъ достоинства всякаго поэтическаго произведенія и прочности всякой поэтической славы.

---

*) Это позднѣйшая передѣлка начала, напечатаннаго въ пятой части этого собранія (стр. 3), разбора «Древнихъ россійскихъ стихотвореній, собр. Киршею Даниловымъ и т. д.». Этотъ разборъ долженъ былъ составить вторую главу отдѣла «Критической исторіи русской литературы».

Всѣ требуютъ отъ поэзіи прежде всего народности, а потомъ уже здраваго смысла, но многіе ли отдаютъ себѣ отчетъ въ томъ, что такое эта народность, хотя это слово и кажется всѣмъ столь простымъ и понятнымъ? Но не все то бываетъ въ самомъ дѣлѣ тѣмъ, чѣмъ кажется. По крайней мѣрѣ, слово «народность» такъ же точно требуетъ своего опредѣленія, какъ и всякое другое слово, которое заключаетъ въ себѣ какую-нибудь мысль. Слово же «народность» именно есть одно изъ тѣхъ словъ, которыя потому только и кажутся слишкомъ понятными, что лишены опредѣленнаго и точнаго значенія. По крайней мѣрѣ, въ нашей литературѣ не замѣтно особенной опредѣленности въ понятіи о народности въ поэзіи.

Всякая поэзія только тогда истинна, когда она народна, т. е. когда она отражаетъ въ себѣ личность своего народа. Жизнь всего живущаго составляетъ идея: въ чемъ нѣтъ идеи, то не живетъ. Но сущность идеи, внѣ ея чувственнаго проявленія, заключается въ отвлеченной, безразличной всеобщности. И потому, идея только тогда есть нѣчто живое и дѣйствительное, когда она переходитъ въ явленіе, а ея всеобщность является особностію, индивидуальностію и личностію. Такъ природа есть идея, до сознанія которой человѣкъ дошелъ черезъ созерцаніе безконечно разнообразныхъ явленій видимаго міра. Въ словѣ природа, человѣческій разумъ выразилъ свое понятіе о единствѣ безконечно разнообразныхъ явленій чувственной жизни. Человѣчество есть тоже идея, какъ выраженіе понятія о физическомъ и нравственномъ единствѣ безчисленнаго множества отдѣльныхъ существъ, называемыхъ людьми. Въ своемъ первоначальномъ значеніи, природа есть самодѣятельная творящая сила, неисчерпаемая и неистощаемая жизненная субстанція, которая, изъ безразличнаго субстанціяльнаго пребыванія въ самой себѣ, безпрестанно опредѣляется въ живыя отдѣльныя явленія,—другими слова-

ми: безпрестанно обособляется, индивидуализируется и персонифьируется. Въ царствѣ ископаемомъ и растительномъ она обособляется, т. е. раскидывается на безконечное множество особныхъ явленій, изъ которыхъ каждое имѣетъ свою особенную форму. Въ царствѣ животномъ, особность является еще и индивидуальностію (недѣлимостію). Камень есть предметъ особный, но не индивидуальный: расколите его на тысячи кусковъ, превратите въ пыль,—этимъ вы не лишите его жизни, а только изъ одного камня сдѣлаете множество камней безконечно меньшаго объема. Дерево живетъ высшею жизнію въ сравненіи съ камнемъ; но и оно представляетъ собою только высшее явленіе особности, но еще не представляетъ собою индивидуальности: нельзя ничѣмъ доказать, чтобы ему нужно было именно столько вѣтвей и листьевъ, сколько ихъ есть на немъ, и, обрубивши часть его вѣтвей, или сорвавши часть его листьевъ, вы не лишите его этимъ ни его жизни, ни его особности. Дерево есть организмъ, но стоящій на низшей степени: оно увеличивается, какъ и животное, чрезъ ращеніе изнутри, но это ращеніе носитъ на себѣ характеръ случайности и внѣшности; вѣтвь удлинняется колѣнами, число которыхъ случайно: сломивши одно, вы этимъ ничего не лишаете дерево. Основаніе животнаго царства, кромѣ особности, заключается еще и въ индивидуальности: у животнаго опредѣленное число органовъ и членовъ. Отрѣзавши у собаки ногу, можно ее залѣчить и не допустить умереть, но тогда она изуродована, потому-что у нея отнятъ членъ, необходимый для полноты ея существованія. Въ человѣкѣ, какъ высшемъ существѣ животнаго царства, повторяется и особность и индивидуальность, и сверхъ того, является личность, какъ «чувственная форма разумнаго сознанія». Человѣкъ потому есть личность, что онъ сознаетъ свое *Я*, т. е. можетъ самого себя разсматривать и изслѣдовать, какъ будто-бы чуждое ему и внѣ его пребывающее суще-

ство. Царство природы раздѣляется на роды и виды; каждое явленіе природы отличается признаками и качествами, не ему самому, а его роду и виду свойственными: и потому каждый дубъ совершенно похожъ на всякій другой дубъ, за исключеніемъ чисто-случайныхъ различій величины; каждый быкъ совершенно похожъ на всякаго другаго быка и отличается отъ него не выраженіемъ своей морды, или своего рыла, а величиною, цвѣтомъ шерсти и другими чисто случайными, но не существенными признаками. Человѣкъ отъ человѣка существенно отличается лицомъ, физіономіею,—и, какъ ни много людей на земномъ шарѣ, никогда одно и то же лицо не повторяется въ двухъ человѣкахъ. Это различіе лицъ имѣетъ глубокое значеніе: лицо выражаетъ собою личность, а личность есть выраженіе духовной сущности человѣка. Если каждый человѣкъ азнится отъ другаго лицомъ,—значитъ, каждый человѣкъ разнится отъ другаго и своею духовною личностію; значитъ, каждый человѣкъ есть особенный въ самомъ себѣ замкнутый міръ. Отсюда различіе темпераментовъ, характеровъ, способностей и наклонностей; отсюда же и свойство каждаго человѣка видѣть и понимать предметы съ своей особенной, ему только свойственной, точки зрѣнія. Все, что есть въ каждомъ человѣкѣ, все, чѣмъ владѣетъ каждая личность, все это принадлежитъ человѣчеству; но ни одинъ человѣкъ въ одномъ себѣ не можетъ вмѣстить всего человѣческаго, а получаетъ на свою долю нѣчто отъ обще-человѣческаго, но какъ собственность своей натуры. Какъ въ фортепіяно каждая клавиша имѣетъ свой особенный тонъ, но всѣ клавиши, каждая издавая свой звукъ, образуютъ гармонію, — такъ и различіе отдѣльныхъ личностей образуетъ жизнь племенъ и народовъ, а жизнь отдѣльныхъ племенъ и народовъ образуетъ жизнь человѣчества. Будь всѣ люди совершенно одинаковы въ своихъ нравственныхъ средствахъ и ихъ направленіи,—каждый че-

ловѣкъ перестал бы чувствовать нужду въ другомъ и не было бы между людьми узъ братства. Каждая личность есть опредѣленіе общаго, и въ этомъ ея сила и ея слабость: сила потому, что идея безъ явленія, общее безъ обособленія индивидуальности и личности суть призраки; слабость потому, что всякое опредѣленіе есть ограниченіе, исключеніе изо всего въ одномъ. Философъ тѣмъ больше философъ, чѣмъ менѣе онъ поэтъ, и потому-то самому его больше всего интересуетъ поэтическая личность. Во всемъ и вездѣ, личность одного пополняетъ собою личность другаго, и, въ свою очередь, пополняется личностію другаго.

Человѣкъ былъ послѣднимъ и высшимъ усиліемъ природы въ ея стремленіи къ самосознанію. Организмъ человѣка явился личностію — орудіемъ разумнаго сознанія, потому что личность имѣетъ *Я*, которое оно можетъ противопоставить всему внѣшнему ей міру, всему, что въ отношеніи къ ней составляетъ не-*Я*. Создавши человѣка, природа повершила дѣло своего творчества и перестала быть творящею; приготовивши въ человѣкѣ личность въ возможности, природа предоставила дальнѣйшее развитіе этой личности уже другой, болѣе высшей, болѣе духовной сферѣ жизни: отселѣ человѣкъ долженъ былъ развиваться черезъ сообщество съ подобными себѣ. И потому, испытующій умъ вездѣ находитъ людей, какъ общество, какъ племя, какъ народъ: человѣкъ не помнитъ своего разъединеннаго, дообщественнаго состоянія, какъ не помнитъ своего зарожденія и формированія во чревѣ своей матери, и какъ не помнитъ своего перваго возраста. Племя, или народъ, есть тоже личность, только идеальная, сознаваемая умомъ реальныхъ личностей, т. е. отдѣльныхъ людей. Какъ различіе реальныхъ личностей необходимо для того, чтобы онѣ могли сложиться въ общество (въ племя, въ народъ), такъ необходимы племенныя и народныя особенности и различія, чтобы племена и народы могли образовать собою дру-

гую, высшую идеальную личность — человѣчество. Только различныя струны могутъ производить аккордъ, одинаковыя же звучатъ безсмысленно и дисгармонически. Какъ каждый человѣкъ выражаетъ собою преимущественно одну какую-нибудь сторону обще-человѣческой натуры и потому самому нуждается въ другихъ людяхъ, такъ и каждый народъ выражаетъ собою преимущественно одну какую-нибудь сторону всецѣлаго и единаго духа человѣческаго, и потому нуждается въ соприкосновеніи съ другими народами, принимаетъ отъ нихъ въ себя то, чего ему недостаетъ, и даетъ имъ отъ себя то, чего имъ недостаетъ. Каждый народъ отличается отъ всякаго другаго типомъ лица,— и потому, за немногими исключеніями, не трудно узнать въ человѣкѣ по его лицу Нѣмца, Англичанина, Француза, Италіянца, Русскаго. Кромѣ того, у людей одной націи есть какое-то семейное сходство и въ манерахъ, и въ способѣ смотрѣть на вещи, и въ образѣ дѣйствованія, не говоря уже объ особенности языка—этого живаго, чувственнаго проявленія народной логики. Между людьми есть личности характерныя, самостоятельныя, которыя на все, что ни говорятъ и ни дѣлаютъ онѣ, кладутъ яркую печать свойственной имъ особенности; и есть между людьми личности безхарактерныя, безцвѣтныя, которыя не могутъ сопротивляться никакимъ внѣшнимъ вліяніямъ и, не имѣя въ себѣ ничего особеннаго и рѣзкаго, вѣчно играютъ при другихъ роль нулей. Такая же разница и между народами. Есть народы, которые существуютъ только внѣшнимъ образомъ, благодаря благопріятному для нихъ стеченію внѣшнихъ обстоятельствъ, которые, изчезая съ лица земли, не оставляютъ по себѣ никакихъ памятниковъ своего существованія. Обыкновенно они бываютъ добычею болѣе ихъ сильныхъ народовъ и, смѣшавшись съ своими завоевателями, теряютъ свой языкъ, вѣру и обычаи, не производя никакой перемѣны въ народѣ, который поглотилъ

ихъ. Такихъ народовъ было множество, и исторія только упоминаетъ вскользь ихъ имена, для внѣшней связи событій. Нѣкоторые изъ этихъ народовъ играли даже значительную, хотя и чисто-внѣшнюю роль въ исторіи: движимые или сліяніемъ какихъ-нибудь внѣшнихъ обстоятельствъ, или какимъ-нибудь сильнымъ человѣкомъ, или оживляемые мгновеннымъ фанатизмомъ, они грозили гибелью цивилизаціи, рабствомъ всему міру,—и.... скоро изчезли, какъ призраки, не оставивъ никакихъ слѣдовъ своего существованія. Таковы были Гунны, Монголы, явившіеся міру, какъ страшный метеоръ и, подобно метеору, скоро изчезнувшіе; дольше ихъ существовали Турки, благодаря силѣ своего религіознаго фанатизма и разъединенности европейскихъ государствъ, — а теперь мы видимъ только живой трупъ этого, нѣкогда страшнаго, народа. Есть народы, которымъ жизнь и развитіе даны были только на опредѣленный срокъ и до извѣстной степени, и которые, свершивъ свое назначеніе, остались какъ бы окаменѣлыми памятниками прошедшаго, живя въ старыхъ, потерявшихъ смыслъ, формахъ, безъ движенія, безъ прогресса. Таковы Индійцы, Китайцы, Японцы,—эти, можетъ-быть, старѣйшіе народы въ человѣчествѣ. Однимъ народамъ суждена первостепенная роль въ человѣчествѣ, — и это всемірно-историческіе народы; другимъ суждена просто историческая роль; третьимъ — и это народы ничтожные и случайные—не суждено никакой роли въ исторіи, кромѣ развѣ скоропреходящихъ и оставшихся безъ слѣдствій переворотовъ. Только такой народъ можетъ назваться историческимъ, который при жизни своей имѣлъ большее или меньшее вліяніе на судьбы человѣчества и оставилъ по себѣ неизгладимые слѣды своего существованія. Замѣчено, что замѣчательнѣйшіе въ исторіи народы большею частію составлялись изъ разныхъ племенъ: такъ Греція образовалась, по преданіямъ, кромѣ основнаго пелазгійскаго племени, изъ переселенцевъ фини-

кійскихъ, египетскихъ и другихъ. Но всегда въ основѣ такимъ образомъ сформировавшихся народовъ краеугольный камень составляетъ одно какое-нибудь племя. Какъ бываютъ безплодные браки, такъ бываютъ и безплодныя соединенія племенъ. Галлія, Испанія и Британія, завоеванныя Римлянами, не организировались въ крѣпкіе и самостоятельные народы; но покоренные тевтонскими племенами, смѣшавшіеся съ ними, они получили глубокое начало политической жизни, продолжающейся и теперь. Покоренная Готами Италія не выродилась; пришли Лонгобарды— и отъ готскаго владычества не осталось никакихъ слѣдовъ, а смѣшавшись съ Лонгобардами, остатки древнихъ Римлянъ переродились въ совершенно новый народъ, и теперь существующій отдѣльными государствами, извѣстными подъ общимъ именемъ италіянскихъ. Въ Англіи, туземное племя Бриттовъ изчезло въ саксонскомъ и норманскомъ элементѣ; во Франціи, галльское начало на всегда осталось преобладающимъ надъ франкскимъ: Французы, въ общихъ чертахъ, и теперь еще такъ похожи своимъ національнымъ характеромъ на древнихъ Галловъ, описанныхъ Юліемъ Цезаремъ. Изъ этого видно, что непосредственный источникъ сильной, рѣзко-проявляющейся національности заключается въ самой крови племени, и что есть племена характерныя и племена безхарактерныя, какъ есть характерные и безхарактерные люди.

Теперь, если человѣкъ, личность котораго....

ТРУДЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССІЙСКОЙ АКАДЕМІИ. *Ч. 1 и 2. Спб. 1840.*

Ученыя общества, труды которыхъ преимущественно устремлены на языкъ и летературу отечественные, играютъ нынѣ совсѣмъ не ту роль, какую играли прежде и какая назначалась имъ при ихъ основаніи. Когда литература народа бываетъ дѣломъ книжнымъ, доступнымъ только избранному, слѣдовательно, ограниченному числу посвященныхъ въ ея таинства, а не достояніемъ цѣлаго общества (разумѣя подъ этимъ словомъ публику), тогда учено-литературныя общества оказываютъ литературѣ и общественному образованію большія услуги. Обнародывая свои ученые труды по части теоріи языка и словесности вообще, и тѣмъ дѣлая для всѣхъ доступными истинныя понятія о томъ и другомъ, они обнародовали такіе же труды и частныхъ лицъ, которыя, безъ того, не имѣя средствъ къ изданію, или оставляли бы ихъ въ своихъ портфёляхъ, или — что̀ еще вѣроятнѣе — никогда не думали бы и заниматься ими. Въ этомъ отношеніи, подобныя общества и теперь могутъ приносить въ Россіи большую пользу; ибо хотя у насъ и есть учено-литературные журналы, однако статьи извѣстнаго содержанія не всегда могутъ находить себѣ въ нихъ мѣсто, сколько по исключительности своего предмета и сухости изложенія, столько и потому, что для помѣщенія статьи въ журналѣ всегда нужна какая-нибудь придирка къ современности (á propos). Но учено-литературное

общество, издавая труды свои періодически или не-періодически, обращаетъ вниманіе только на то, чтобы они относились къ предмету его занятій и не выходили изъ ихъ круга. Повторяемъ: въ этомъ отношеніи, были бы и теперь очень полезны даже труды Общества Любителей Россійской словесности при Московскомъ Университетѣ, нѣкогда очевидно, а теперь (1840 г.) проблематически существующемъ. Но учено-словесныя общества, хлопоча объ утвержденіи и развитіи языка на его истинныхъ основаніяхъ, равно какъ о распространеніи истинныхъ понятій объ изящномъ въ словесныхъ произведеніяхъ, принимаютъ въ сферу своей дѣятельности и въ кругъ своихъ занятій произведенія поэзіи и легкой литературы, чтобы съ теоріею дать и образцы. Это можетъ приносить свою пользу только при началѣ литературы, когда (какъ это было еще недавно въ Россіи), публика, не имѣя потребности въ умственной пищѣ, не можетъ поддерживать своимъ участіемъ словесныхъ произведеній и своимъ вниманіемъ ободрять и вознаграждать ихъ творцовъ. Такъ, напримѣръ, Общество Любителей Россійской словесности при Московскомъ Университетѣ очень хорошо дѣлало во время оно, помѣщая въ своихъ трудахъ повѣсти и стихотворенія, которыя безъ того, можетъ-быть, не могли бы быть изданными. Но теперь, когда произведенія поэзіи и легкой литературы, даже иногда и не ознаменованныя печатію таланта, но лишь способныя занимать и тѣшить праздное любопытство публики, находятъ себѣ обширный кругъ читателей, а ихъ авторы вѣрное вознагражденіе,—теперь въ «трудахъ» ученыхъ обществъ могутъ помѣщаться только такія произведенія въ этомъ родѣ, которыя, по отсутствію всякой внутренней цѣнности, не могутъ ни быть изданы отдѣльно, ни быть принятыми въ какое-нибудь періодическое изданіе, и которыя, поэтому, лучше совсѣмъ не печатать. И въ самомъ дѣлѣ, что за польза покровительствовать посредственность и бездарность

за то только, что онѣ рядятся въ мантію педантизма, неуклонно слѣдуя забытымъ и никѣмъ, кромѣ педантовъ и невѣждъ, не признаваемымъ правиламъ?... Но изданіе трудовъ, касающихся до языка и—если угодно—теоріи изящнаго, и теперь можетъ приносить большую пользу, равно какъ и соединенныя усилія многихъ лицъ, составляющихъ одно ученое общество. Вотъ почему мы не можемъ не преслѣдовать съ живѣйшимъ интересомъ дѣятельности Россійской Академіи.

Уже одно то придаетъ ей важное значеніе и дѣлаетъ великую честь, что она, по примѣру всѣхъ или большей части подобныхъ ученыхъ обществъ даже въ Европѣ, не играетъ роли упорной защитницы добраго стараго времени и не силится дѣлать оппозицію, болѣе упрямую, чѣмъ твердую, болѣе забавную, чѣмъ дѣйствительную, всякому движенію впередъ, всякому успѣху. Давно ли французская академія, до того покорившаяся духу времени, что приняла въ свои члены не только романтическаго Ламартина, но даже и водевилиста Скриба—давно ли, безсильная совершенно отрѣшиться отъ педантическихъ предубѣжденій умершей старины, отвергла главу поэтовъ своей земли и предпочла Виктору Гюго какого-то господина Флурана, ничѣмъ не доказавшаго, что онъ знаетъ хоть грамотѣ? Не такова наша Академія: стóитъ только пересмотрѣть списокъ членовъ ея, чтобы убѣдиться въ томъ, что ни одно истинное дарованіе, соединенное съ ученостію, или проявившее себя въ художественной дѣятельности, не миновало чести быть принятымъ въ число ея членовъ, и что ни одна безталанная хотя бы и преученая, голова никогда не удостоивалась этой высокой чести. Б. М. Федоровъ (писатель во всѣхъ родахъ и для всѣхъ половъ и возрастовъ, но преимущественно для дѣтей) и Пушкинъ; М. А. Лобановъ (трагикъ) и Жуковскій; В. И. Панаевъ (идиллистъ) и Крыловъ; Муравьевъ (Николай Назарьевичъ и дѣйств. стат. совѣтн.) и Карамзинъ;

кн. Шихматовъ (поэтъ), Писаревъ (А. А., поэтъ) и Гнѣдичь, кн. Вяземскій и другіе; далѣе — Линде, Добровскій, Арсеньевъ, Языковъ—и гг. Прокоповичъ-Антонскій, Постоловъ, Загорскій, Ястребцовъ, Нечаевъ, Соловьевъ, Красовскій и проч. и проч. Какія имена! сколько подвиговъ и славы, трудовъ и заслугъ русскому языку и русской литературѣ соединяется съ ними! Тутъ всѣ роды поэзіи и учености, всѣ школы: Пушкинъ, Жуковскій, и Б. М. Федоровъ—романтики; Крыловъ, Карамзинъ и гг. Лобановъ и Напаевъ—классики. Но пусть само дѣло говоритъ за себя. Въ первой части «Трудовъ» Россійская Академія имѣла снисхожденіе напомнить публикѣ о своемъ существованіи историческимъ очеркомъ совершенныхъ ею подвиговъ; изложимъ бѣгло содержаніе этого историческаго взгляда на достославное существованіе Россійской Академіи. Статья, о которой мы говоримъ и изъ которой заимствуемъ, составлена секретаремъ Академіи и называется: «Краткое извѣстіе о Россійской Академіи, отъ основанія оной въ 21 день октября 1783 года по 1840».

Въ чемъ должна состоять исторія Академіи, какъ и всякаго ученаго общества? Разумѣется, это не должна быть исторія дома, въ смыслѣ зданія, или исторія его канцеляріи, его экономическихъ операцій, ни даже сборъ протоколовъ, заключающихъ въ себѣ описаніе церемоніяловъ принятія въ члены и комплементы членовъ другъ другу: сохрани Богъ! только въ Китаѣ понимаютъ такъ исторію ученыхъ обществъ и академій въ особенности. Нѣтъ, исторія академіи должна состоять въ изображеніи ея дѣйствій въ сферѣ того предмета, который есть причина и цѣль, но отнюдь не средство ея основанія и существованія.

Первоначальная мысль объ основаніи Академіи принадлежитъ, разумѣется, Петру Великому, какъ и первоначальная мысль всего, что̀ посѣяло въ Россіи сѣмена очеловѣченія, облагороженія и одухотворенія. Екатерина Великая

выполнила его мысль, какъ выполнила она и многія изъ его мыслей. Великая обращала особенное вниманіе на успѣхи русскаго языка и русской литературы, — и ея-то царственному вниманію обязаны они своимъ теперешнимъ состояніемъ. Безъ публики нѣтъ литературы, а Екатерина была единственною причиною того, что у насъ явилось нѣчто похожее на публику: воля великой императрицы подѣйствовала на ея дворъ, а примѣръ двора и на полудикое, невѣжественное общество, которое, хотя и съ досадою, но принудило себя видѣть въ книгахъ нѣчто достойное не презрѣнія, а уваженія, узнавъ, что премудрая монархиня очень уважаетъ ихъ. Желая болѣе споспѣшествовать успѣхамъ отечественнаго языка, Екатерина II рѣшилась привести въ исполненіе мысль Петра I,—и княгинѣ Дашковой, бывшей директоромъ Академіи Наукъ, поручено было начертать планъ ученаго общества, имѣющаго предметомъ своихъ занятій русскій языкъ и русскую словесность. Сентября 30, 1783 года этотъ планъ былъ утвержденъ высочайшимъ на имя княгини Дашковой рескриптомъ, а октября 21 того же года Академія была открыта. Число членовъ было опредѣлено шестьюдесятью, собранія назначены еженедѣльно по одному разу; по окончаніи засѣданія каждому присутствовавшему члену назначенъ жетонъ, что̀ нынѣ дарикъ; отличившихся трудами и пользою членовъ опредѣлено, по большинству голосовъ, награждать, по прошествіи года, въ торжественныхъ собраніяхъ золотою медалью въ 250 рублей.

Первою заботою Академіи было составленіе словаря отечественнаго языка, и какъ бы ни совершено было это дѣло, но оно было первымъ опытомъ, и потому уже было истиннымъ подвигомъ. Сама великая императрица приняла участіе въ этомъ дѣлѣ, сдѣлавъ собственноручныя замѣчанія къ пополненію словъ, начинающихся съ буквы А, и повелѣвъ: «избѣгать всевозможно чужеземныхъ словъ, а

наипаче речений, замѣняя ихъ словами, или древними, или вновь составляемыми». Этотъ словарь былъ составленъ не азбучнымъ, а словопроизводнымъ порядкомъ, и напечатанъ въ шести томахъ, въ шесть лѣтъ (1789 — 1794). Какъ жаль, что неимовѣрно-высокая цѣна дѣлаетъ его совершенно безполезнымъ! Кому онъ нуженъ?—ужь конечно не свѣтскимъ людямъ, не любителямъ легкаго чтенія, а ученымъ и литераторамъ? Но спрашивается: много ли есть ученыхъ и литераторовъ, которые въ состояніи заплатить за Словарь Академіи сто пятьдесятъ рублей ассигнаціями?... Это обстоятельство наводитъ на заключеніе, что кромѣ самой Академіи, едва ли кто воспользовался ея словаремъ.

Потомъ Академія немедленно приступила къ составленію словаря по азбучному порядку; но это дѣло совершилось уже въ семнадцать лѣтъ (1806—1822), хотя и этотъ словарь былъ изданъ также въ шести частяхъ.

Періодъ существованія Академіи отъ 12 ноября 1796 по 29 мая 1801 года ознаменовался увольненіемъ княгини Дашковой отъ предсѣдательства въ обѣихъ Академіяхъ, прекращеніемъ ежегоднаго отпуска для Академіи 6,250 рублей и отдачею ея дома въ вѣдомство министерства удѣловъ и военно-сиротскаго дома; а въ замѣну его предоставленіемъ ей (10 іюля 1800) мѣста съ небольшимъ строеніемъ на В. О. у Тучкова моста.

Воцареніе Александра I было и для Академіи, какъ и для всего въ Россіи, восходомъ лучезарнаго живительнаго солнца. Ей возвращена была ея ежегодная сумма 6,250 рублей, и сверхъ того на изданіе полезныхъ сочиненій и на награды авторамъ и переводчикамъ опредѣлено ежегодно отпускать изъ Кабинета Е. И. В. 3,000 рублей; да на построеніе дома было выдано единовременно 25,000 рублей. Правительство дѣлало для Академіи болѣе, нежели сколько вправѣ была она ожидать отъ него; но что̀-же сдѣлала Академія? — Начиная съ 1805 года, она ежегодно пригла-

шала чрезъ вѣдомости къ сочиненію: 1) похвальныхъ словъ: царямъ Іоанну Васильевичу и Алексѣю Михайловичу, великому князю Владиміру Мономаху, Минину и Пожарскому, Румянцеву-Задунайскому и Суворову, Хераскову; 2) разсужденія о началѣ, успѣхахъ и распространеніи словесныхъ наукъ въ Россіи; 3) ироической пѣсни на побѣду великаго князя Дмитрія Іоанновича Донскаго надъ Мамаемъ. Конечно, теперь страннымъ покажется одна мысль о похвальныхъ словахъ, какъ о родѣ сочиненій безъ всякой цѣли и смысла, какъ о риторической шумихѣ и трескотнѣ общихъ истасканныхъ мѣстъ; еще болѣе страннымъ покажется мысль о похвальномъ словѣ Хераскову, — бездарному стихотворцу; и еще страннѣе покажется теперь мысль о возможности управлять чьимъ-бы то ни было вдохновеніемъ, задавая тему — и еще какую! — ироическую пѣснь на побѣду Донскаго надъ Мамаемъ; — но мы не должны забывать, что тогда было время псевдо-классицизма, похвальныя слова почитались законнымъ родомъ краснорѣчія, Херасковъ — не только поэтомъ, но и россійскимъ Гомеромъ, а поэмы и ироическія пѣсни обыкновенно писались на заказъ, и притомъ на такія темы, которыя теперь оставлены даже и въ уѣздныхъ училищахъ. Кромѣ этого насъ можетъ утѣшить еще и то, что, несмотря на лестную надежду блестящей награды (золотой медали въ 50 червонцевъ), соискателей не оказалось, — темы остались безъ выполненія. Только одинъ членъ Академіи, г. Львовъ, написалъ похвальное слово царю Алексѣю Михайловичу, вовсе неизвѣстное въ нашей литературѣ, за что́ и получилъ золотую медаль.

Между тѣмъ, объявленіе отъ Академіи задачъ подѣйствовало на нѣкоторыя частныя лица. Одинъ неизвѣстный прислалъ въ распоряженіе Академіи 500 руб. въ награду тому, кто напишетъ трагедію въ пяти дѣйствіяхъ, которую Академія признаетъ лучшею. Эту премію получилъ Херас-

ковъ (1807) за свою трагедію «Зоренда и Ростиславъ». Но награда не застала этого сочинителя въ живыхъ, а жена его извѣстила Академію, что онъ отказался отъ награды въ пользу того, кто напишетъ лучшую трагедію или комедію, въ стихахъ, въ 5 дѣйствіяхъ. Явно, что Грибоѣдовъ не могъ получить этой награды, потому-что его «Горе отъ Ума» было только въ четырехъ актахъ. Въ 1831 году вышелъ «Борисъ Годуновъ» Пушкина; но онъ вовсе не былъ раздѣленъ на акты, да и притомъ написанъ не весь стихами, а съ небольшою примѣсью прозы. Въ 1835 году, г. Лобановъ издалъ очень мало извѣстную въ нашей литературѣ классическую трагедію, и въ стихахъ и въ 5-ти актахъ, подъ названіемъ «Борисъ Годуновъ» и получилъ за нее отъ Академіи херасковскія 500 руб., которые, съ наросшими на нихъ процентами, составили 1,833 р. 40 к. Вообще, должно замѣтить, что въ раздачѣ наградъ, Академія всегда имѣла въ виду поощреніе такихъ сочиненій, которыя не могли имѣть какого-нибудь успѣха у публики, или даже быть ей извѣстными. Другой неизвѣстный предложилъ 100 червонныхъ за похвальное слово генералу Еропкину, которую награду и получилъ бывшій членъ академіи и секретарь ея въ продолженіи почти тридцати-трехъ лѣтъ (съ 1802 по 1835 г.) г. Соколовъ. Третій неизвѣстный предложилъ медаль въ 30 червонныхъ за сочиненіе разсужденія: «Имѣетъ ли русскій языкъ нужду, для обогащенія своего заимствовать, и до какой степени, оборотъ речепій изъ другихъ языковъ, кромѣ своего корня!» Но Академія не приняла сего предложенія потому, что русскій языкъ по своему изобилію и свойству не имѣетъ нужды заимствовать оборотовъ и выраженій изъ языковъ чужеземныхъ. Глубоко-мудрая причина!

Съ 1805 по 1813 годъ Академія издала семь частей «Сочиненій и Переводовъ россійской Академіи», въ которыхъ, изъ прозаическихъ сочиненій, примѣчательны нѣкоторыя

статьи, относящіяся до русскаго языка, и принадлежащія А. С. Шишкову. Въ этотъ же промежутокъ времени, Академія сочинила и издала «Грамматику россійскаго языка», которая была послѣ перепечатываема три раза, въ 1809, 1819 и 1827, а теперь уже совершенно забыта всѣми, кромѣ тѣхъ, которые слишкомъ помнятъ ее, учась по ней въ дѣтствѣ. «Наука Стихотворства» Рижскаго, «Лѣтопись Тацитова», перев. Румовскаго, «Демосѳеново надгробное слово Аѳинянамъ, убитымъ при Херонсѣ», перев. митрополита Евгенія, «Саллустія о войнѣ Катилины и о войнѣ Югурѳы», перев. Озерцковскаго, «Разсужденіе о сходствѣ между санскритскимъ и русскимъ языкомъ» переводъ съ франц. языка Никольскаго, сочиненія Леванды, тоже изданныя Академіею, «Ликей, или курсъ словесности Лагарпа» — суть такія изданія Академіи, которыя она почитала прямо относящимися къ предмету своихъ занятій.— Въ 1802 году, Академія увѣнчала золотыми медалями труды слѣдующихъ своихъ членовъ: предсѣдателя своего А. Нартова (какъ за участіе въ составленіи словаря, такъ и за ходатайство у монаршаго престола о благосостояніи Академіи), Д. Трощинскаго (за усердное ходатайство и предстательство предъ Государемъ Императоромъ о пользахъ Академіи); въ 1804, А. С. Шишкова (за переложеніе на русскій языкъ «Слова о полку Игоревомъ», съ примѣч. и объясненіями).

Съ 1813 года, вице-адмиралъ Шишковъ сдѣланъ президентомъ Академіи. Въ 1818 утвержденъ Государемъ Императоромъ новый уставъ Академіи, въ которомъ точнѣе и подробнѣе опредѣлился кругъ ея дѣятельности; вмѣсто одной медали для академическихъ наградъ положено имѣть три—во 100, въ 50 и въ 25 червонныхъ; вмѣстѣ съ уставомъ Императоръ Александръ утвердилъ Академіи и новый штатъ, по которому она получаетъ въ годъ 60,000 руб.; повелѣлъ продолжать отпускъ изъ своего кабинета 3000 р.

въ годъ, и наконецъ пожаловалъ 30,000 р. на заведеніе типографіи. Боже мой! что̀ можно было сдѣлать съ такими огромными средствами! И дѣйствительно, сдѣлано было весьма много, а именно:

Изданы были: «Извѣстія Россійской Академіи» 12 том. (1815—1828), въ которыхъ все касающееся до русскаго языка и все хоть сколько-нибудь примѣчательное принадлежитъ А. С. Шишкову. Въ нихъ-же помѣщена «Пѣснь сотворшему вся» князя С. А. Шихматова (въ послѣдствіи времени іеромонаха Аникиты). Это стихотвореніе (говоритъ «Краткое извѣстіе о Россійской Академіи») отличается и хорошимъ своимъ слогомъ и выспренностію мыслей.— «Повременное изданіе Академіи» 4 т. (1829—1832). Въ немъ болѣе или менѣе замѣчательны нѣкоторыя статьи самого президента, касающіяся русскаго языка. Изъ множества стихотвореній, помѣщенныхъ тутъ, ни публикѣ, ни намъ рѣшительно ни одно не извѣстно. — «Краткія Записки», 3 т. (1834—1835). Въ нихъ замѣчательны статьи противъ такъ-называемаго романтизма, впрочемъ, не оригинальныя, а переведенныя съ французскаго, и статьи г. президента: «О разности между академикомъ и писателемъ» и «Нѣчто о пересудѣ или разборѣ сочиненій, называемомъ критикою».—«Разсужденіе о механическомъ составѣ языковъ и физическихъ началахъ этимологіи», соч. Бросса, перев. съ франц. Никольскаго, 2 ч. (1821—1822).—«Untersuchungen über die Sprache», 3 ч. (1826, 1827, 1836).— «Recherches sur les racines des idiomes slavons, comparées avec celles des langues etrangères». 1832. перев. г. Рейфа изъ соч. А. С. Шишкова.—«Квинтиліана риторическія наставленія» перев. съ латин. А. Никольскаго, 2 ч. 1834.— «Vergleichendes Wörterbuch», 2 ч. 1838.

Академія, сверхъ того, предположила издать: 1) Сочиненія Ломоносова, касающіяся до словесности. Это предположеніе выполнено въ нынѣшнемъ году. — 2) Соч. Бог-

дановича, съ рисунками графа Ѳ. П. Толстова, по изготовлении которыхъ и будетъ приступлено къ этому изданію.— 3) Избранныя сочиненія Сумарокова.—4) Басни Хемницера.

Въ 1836 году, Академія приступила къ новому изданію русскаго словаря по азбучному порядку. По нынѣшній годъ обработано уже 48,896 словъ.

Такъ какъ въ кругъ занятій Академіи входитъ и отечественная исторія, то Академія сдѣлала по сей части слѣдующее:

Оказала пособіе изъ своихъ суммъ извѣстному художнику графу Ѳ. П. Толстому въ изданіи составленныхъ имъ рисунковъ медалямъ на достопамятныя событія 1812, 1813 и 1814 годовъ.—Въ 1830, отправила Ю. И. Венелина въ путешествіе по Болгаріи, Валахіи и Молдавіи, для отысканія и описанія оставшихся памятниковъ древняго языка этихъ странъ, и преимущественно болгарскаго, историческихъ и церковныхъ; положенія всѣхъ мѣстъ, о которыхъ упоминается въ исторіи, а особливо въ русскихъ лѣтописяхъ. На это путешествіе употреблено 6,000 р. и плодомъ его было собраніе валахо-болгарскихъ грамотъ и снимковъ съ нихъ и «Болгарская Грамматика», которая никогда издана не будетъ.—Въ 1834 приступлено къ печатанію пятой части «Собранія государственныхъ грамотъ и договоровъ», изданію которыхъ положилъ начало графъ Н. П. Румянцевъ, но это изданіе остановилось на 4 части, по недостатку денежныхъ средствъ. Положено издать въ переводѣ на русскомъ языкѣ Византійцевъ, по послѣднему изданію, сдѣланному въ Боннѣ; также всѣхъ западныхъ и сѣверныхъ временниковъ, не исключая даже исландскихъ сагъ. Приглашенные для сего переводчики приступили уже къ дѣлу, и оконченный однимъ изъ нихъ переводъ сочиненій Прокопія разсматривается въ особомъ комитетѣ Академіи.

Для дополненія характеристики духа Россійской Акаде-

міи, необходимо показать ея распоряженія по части наградъ отличившимся въ занятіяхъ «россійской словесностью», или только ревностью къ оной, господъ сочинителей и переводчиковъ.

Золотыми медалями стараго вида (въ 250 р.) Академія наградила: 1) Президента своего, А. С. Шишкова (1815, сент. 28).—2) Князя С. А. Шихматова (въ иночествѣ іеромонаха Аникиту (1817, мая 12) за разныя его сочиненія и въ особенности за «Пѣснь сотворшему вся».

Новаго вида: большими во 100 червонныхъ: 1) Карамзина. Медаль поднесена ему въ торжественное собраніе Академіи 1820, янв. 8, въ которомъ онъ читалъ нѣкоторыя мѣста изъ IX т. своей исторіи, тогда еще не вышедшаго въ свѣтъ.—2) Дмитріева (И. И.) (1823, янв. 14).—3) Крылова (тогда-же).—4) Жуковскаго (1837, янв. 2).

Средней величины въ 50 червонныхъ: 1) Слѣпушкина, стихотворца-самоучку (1826, янв. 30). — 2) Ѳ. Ѳ. Аделунга за ученыя сочиненія на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, касающіяся частію до филологіи, частію до русской исторіи (1830, февр. 22).—3) Князя П. А. Ширинскаго - Шихматова за «Похвальное слово Императору Александру Благословенному» (1831, сент. 11).—4) Гросгейнриха за переводъ на нѣмецкій языкъ «Сравнительнаго словаря», составленнаго президентомъ Академіи (1835, марта 23).—5) Съ нимъ вмѣстѣ, и г. Рейфа за переводъ на французскій языкъ статьи изъ «Академическихъ извѣстій».—6) Юнгмана, библіотекаря музеума въ богемской Прагѣ, за заслуги чешской словесности (1835, іюня 1). — 7) Копытара, хранителя вѣнской императорской библіотеки (за что—не сказано).—8) Ганку, библіотекаря пражскаго музеума (за что—тоже не сказано).—9) Шаффарика (за что—тоже не сказано).—10) Коллара за стихотвореніе на чешскомъ языкѣ «Slawy dcera».—11) Г. Полѣнова за ревностное участіе въ трудахъ Академіи, особенно въ приготовляемомъ словарѣ.

Малой величины въ 25 червонныхъ: 1) Раковецкаго, ученаго Поляка, за переводъ на польскій языкъ «Русской Правды».—2) Г. Папаева за изданіе идиллій. Награда тѣмъ болѣе справедливая,—что оныя идилліи не могли имѣть успѣха въ публикѣ (1820 г. сент. 11).—3) Ѳедора Павловича за труды въ пользу какой-то «словенской словесности» (1815, марта 2).—4) Дѣвицу Ярцову за неизвѣстное публикѣ сочиненіе «Полезное чтеніе для дѣтей» (1836, янв. 18).

Медалями серебряными: 1) Князя Цертелева за нѣкоторыя изданныя имъ о народныхъ пѣсняхъ разсужденія и замѣчанія (1820).—2) Вука Стефановича за изд. Сербскаго словаря (1820).—3) Кавалера Филистри за составленіе четырехъ таблицъ, изображающихъ вкратцѣ россійскую исторію (1821).—4) К. Калайдовича за изд. памятниковъ русской словесности XII вѣка (1822). — 5) Г. П. Полеваго за представленный отъ него новый способъ спряженій русскихъ глаголовъ (1822).—6) М. Суханова, экономическаго крестьянина, за стихотворенія, и сверхъ медали ему-же 1000 р. деньгами (1822). — 7) Егора Алипанова, тоже крестьянина и тоже за стихотворенія довольно посредственныя (1831).—8) Дундера, вѣнскаго книгопродавца, за его предпріятіе издавать общій Словенскій книжный лексиконъ.

Сверхъ почести медалями, Академія наградила труды слѣдующихъ сочинителей единовременнымъ денежнымъ даромъ: 1) А. Х. Востокову 500 р. за его стихотворенія и изслѣдованія отечественнаго языка (1829). — 2) Дѣвицѣ А. П. Буниной 1000 р. за стихотворенія и переводы съ англійскаго языка соч. Блера (1829). — 3) С. Н. Глинкѣ 4,500 р. за многолѣтнія занятія его на поприщѣ отечественной словесности (1832, 1836, 1838).—4) Д. И. Языкову 4,000 р. за труды по части словесности, исторіи и древностей русскихъ (1837). — 5) Четырнадцати - лѣтней

дѣвицѣ Шаховой 500 р. за ея опыты въ стихахъ (1837). Кромѣ того, въ 1839 году Академія напечатала ея стихотворенія въ числѣ 800 экз. и предоставила ихъ всѣ въ ея пользу. — 6) Протоіерею Меглицкому 1,100 р. за скорый переводъ на русскій языкъ Словенскихъ древностей Шафарика (1838).—7) Вуку Стефановичу Караджичь 1,080 р. въ пособіе на путешествіе по Словенскимъ землямъ, для собранія народныхъ пѣсенъ, пословицъ, рукописей и проч. (1835). — 8) Гаврiилу Покацкому 650 р. за переложеніе стихами Псалтири и Канона Андрея Критскаго (1819, 1829).—9) Кавалеру Филистри 400 р. за сочиненную имъ генеалогическую, хронологическую и синхронистическую таблицу Россійской исторіи. — 10) М. Е. Лобанову 5,000 р. на изданіе его стихотвореній и двухъ трагедій (1836, 1838). — 11) В. А. Броневскому 1,250 р. на изданіе его «Записокъ морскаго офицера» (1820). Эти записки были напечатаны Академіею вторично въ 1837 году.—12) Купцу Ершову 1,000 р. на изданіе «Исторіи Восточной Римской имперіи» (1836). — 13) Момировичу 1,000 р. на изданіе «Краткой исторіи и географіи Сербіи» (1839).—14) А. С. Норову 5,000 р., покупкою у него 200 экз. его «Путешествія ко святымъ мѣстамъ» (1837).—15) П. П. Свиньину 7,500 р. покупкою у него 250 экз. первой части его «Картины Россіи» (1838). Вся употребленная въ сей періодъ на сей предметъ сумма простирается до 42,000.

Кромѣ этихъ, постановленныхъ уставомъ наградъ, Академія дѣйствовала къ распространенію словесности еще и тѣмъ, что печатала, по надлежащемъ разсмотрѣніи, разныя сочиненія и переводы на свой счетъ и всѣ напечатанные экземпляры предоставляла въ пользу сочинителей и переводчиковъ. Такимъ образомъ изданы ею: 1) Собраніе всѣхъ сочиненій ея президента, въ XVII частяхъ (1818—1834, 1839), и сочиненія и переводы его племянника.— 2) Переведенная Н. П. Гнѣдичемъ Омирова Иліяда (1829).—

3) Писанное на греческомъ языкѣ сочиненіе священника Константина Економоса «О ближайшемъ сродствѣ Словено-Россійскаго языка съ Греческимъ» (1829). — 4) Словарь Россійскаго языка, въ 2-хъ ч., составленный г. Соколовымъ (1834).—5) Стихотворенія П. И. Шатрова, въ 3-хъ частяхъ.—6) Россійская грамматика А. Х. Востокова, два раза (1832, 1838). — 7) Сочиненіе кн. С. А. Шихматова (въ монаш. Аникита) подъ названіемъ: «Іисусъ въ ветхомъ и новомъ завѣтѣ, или ночь у креста». — 8) Похвальныя слова кн. П. А. Ширинскаго-Шихматова въ Бозѣ почившимъ Императору Александру Павловичу и Императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ (1833).—9) Піитическіе опыты дѣвицы Кульманъ (1832).—10) «Опытъ исторіи словесности» написанный г. Глаголевымъ (1834) и его же: «Записки Русскаго путешественника» (1837). — 11) «Краткій священный словарь», составленный протоіереемъ А. И. Маловымъ.— 12) Дѣвицы Ишимовой «Исторія Россіи въ разсказахъ для дѣтей», въ 5 частяхъ (1836—1838).—13) Ключъ къ Исторіи Россійскаго Государства, соч. Карамзина, составленный г. Строевымъ (1836).—14) Сочиненія С. В. Руссова а) О кожаныхъ деньгахъ; b) О мнѣніяхъ касательно Руси; c) О Гостомыслѣ; d) О происхожденіи Рюрика; e) О Новѣгородѣ и f) Объ Алдейгаборгѣ (1836).—15) А. И. Михайловскаго-Данилевскаго «Записки о походѣ 1813 года» (1836).—16) Б. М. Өедорова сочиненіе: «Кадетскіе бивуаки» и переводъ «Симона Нантуанскаго» (1836. 1837).— 17) В. М. Перевощикова «О Русскихъ лѣтописяхъ и лѣтописателяхъ по 1240 годъ» (1836).—18) Д. И. Языкова «Книга большему чертежу» (1838). — 19) Стихотворенія дѣвицы Онисимовой (1838).

Долговременные неутомимые труды и рвеніе члена и непремѣннаго секретаря Академіи, П. И. Соколова, она наградила единовременно выдачею ему 13,000 рублей.

Споспѣшествуя всякому обще-полезному заведенію, Акаде-

мія принесла въ даръ библіотекамъ, открытымъ въ разныхъ городахъ, изданныя ею книги, на 14,000 рублей, учебнымъ заведеніямъ, состоящимъ подъ вѣдомствомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, и духовнымъ пріобрѣтенныя ею 200 экз. «Путешествія Норова ко святымъ мѣстамъ» и 1000 экз. «Книги большему чертежу»—цѣн. на 10,000,— и въ 1839 г. снабдила училища вновь открытаго Варшавскаго учебнаго округа изданными ею книгами — цѣн. на 9,970 рублей.

Въ память оказанныхъ Россійскому слову заслугъ нѣкоторыми членами Академіи она украсила залу своихъ собраній ихъ портретами. «Хотя покойная дѣвица Бунина и не принадлежала къ числу членовъ, но отличныя ея стихотворныя дарованія дали и ея портрету мѣсто между прочими». Въ 1835 году Академія приступила къ изданію литографическихъ портретовъ своихъ дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ, какъ умершихъ, такъ и здравствующихъ еще. Число налитографированныхъ портретовъ простирается по сіе время до 54-хъ.

Зала академическихъ собраній украшена мраморными бюстами Ломоносова и Державина; сверхъ того, въ знакъ своей признательности, она положила присоединить къ нимъ еще мраморный же бюстъ своего президента.

Память нѣкоторыхъ изъ усопшихъ членовъ Академіи, почтила она сооруженіемъ надгробныхъ имъ памятниковъ, или совершенно на свой счетъ, или принявъ участіе въ расходахъ, и именно, въ первомъ случаѣ: 1) Дмитревскому 3,830 рублей (1824) и 2) П. И. Соколову 2000 р. (1837); во второмъ: 1) Державину 5000 р., 2) Карамзину 5,000 р. (1833) и 1000 р. на исправленіе памятника Ломоносову.

Вообще, одобрительныя дѣйствія Россійской Академіи на трудящихся въ пользу русской словесности, показываютъ, съ одной стороны, строжайшій и безпристрастный выборъ, а съ другой—благочестивое стремленіе помогать

бѣдности. И потому, если медалями во 100 червонныхъ награждены Дмитріевъ, Карамзинъ, Крыловъ и Жуковскій, но не награжденъ Пушкинъ, такъ это, вѣроятно, по причинѣ преждевременной его смерти, не говоря уже о томъ, что въ этомъ случаѣ намъ не малымъ можетъ служить утѣшеніемъ, что за то увѣнчана этою наградою «Пѣснь сотворшему вся», князя Шихматова (въ иночествѣ Аникита). Что же касается до того, что награждены медалями стихотворцы-крестьяне Слѣпушкинъ, Сухановъ и Алипановъ, и не награжденъ поэтъ-мѣщанинъ Кольцовъ, это, вѣроятно, потому, что послѣдняго можетъ наградить публика, тогда какъ первые никакъ не могутъ положиться на ея вниманіе. Вѣроятно, эта же самая причина обратила вниманіе Академіи и на сочиненія дѣвицъ Буниной, Шаховой, Онисимовой, Покацкаго, Лобанова, Б. М. Өедорова и другихъ. Все это дѣлаетъ большую честь великодушію Академіи.

Теперь обратимся къ изданнымъ ею двумъ частямъ своихъ «Трудовъ».

Въ первой части находится въ высшей степени любопытная историческая статья г. Полѣнова «Отправленіе Брауншвейгской фамиліи изъ Холмогоръ въ датскія владѣнія»; этотъ фактъ доселѣ былъ государственною тайною. Во второй части помѣщено сочиненіе академика Арсеньева «Царствоаніе Петра II», которое было издано въ прошломъ году особою книгою.

Обѣ части «Трудовъ» украшены стихотвореніями гг. Лобанова и Өедорова. Нынче такихъ стиховъ не пишутъ, потому-что такихъ стиховъ никто ужъ не читаетъ, потому-то и должны они были помѣститься въ «Труды» Академіи, имѣющей въ виду преимущественно вознагражденіе и одобреніе такихъ произведеній словесности, которыя не могутъ ожидать вознагражденія и одобрѣнія публики. Особенно хороши стихи Б. М. Өедорова; вотъ нѣсколько изъ нихъ:

Корабль спасенія душъ чистыхъ,
Златымъ вѣнцомъ *облечена,*
Надъ сѣнію дубравъ тѣнистыхъ
Издалека *она видна,*
Пріютъ и странника и сира,
Ущедренъ благостной рукой,
И призываетъ въ пристань мира,
Блистая горней красотой,

и прочая, все въ такомъ-же пареніи и такомъ же смыслѣ.

Очень также интересенъ отрывокъ, не то изъ повѣсти, не то изъ романа, разумѣется, исторической или историческаго, подъ титуломъ «Золотая Палата. Картина русскаго двора въ XVI вѣкѣ» Б. М. Ѳедорова: это рѣшительно одно изъ лучшихъ произведеній сего достойнаго сочинителя и академика.

— —

ВОСПОМИНАНІЯ ѲАДДЕЯ БУЛГАРИНА. *Отрывки изъ видѣннаго, слышаннаго и испытаннаго въ жизни. Спб. 1846. Двѣ части, съ эпиграфомъ:*

> Отцы и братіе! еже ся гдѣ описалъ или переписалъ или недописалъ, чтите исправлявливая Бога для, а не кляните!
> (*Послѣсловіе въ лѣтописи Нестора*).

Уже нѣсколько мѣсяцевъ, какъ появилась первая часть «Воспоминаній» г. Булгарина, мѣсяцемъ позже явилась и вторая; но мы до сей поры почти ничего не сказали отъ себя объ этихъ «Воспоминаніяхъ» — и не сказали съ намѣреніемъ. Причина заключается въ томъ, что въ «Воспоминаніяхъ» г. Булгарина видѣли мы не просто обыкновенную книгу, какихъ довольно наплодилъ онъ въ русской литературѣ въ теченіе своего долгаго и блестящаго поприща, но что-то гораздо важнѣе. Воспоминанія Ѳаддея Булгарина—

отрывки изъ того, что видѣлъ, слышалъ и испыталъ г. Ѳаддей Булгаринъ!... Какой свѣтъ должна бросить подобная книга на ея сочинителя! Не въ ней ли разгадка многихъ его дѣйствій, которыя до сихъ поръ казались темными? Не въ ней ли ключъ къ цѣлой литературной жизни г. Булгарина, которая не только въ публикѣ, но даже въ нѣмецкихъ конверсаціонс-лексиконахъ и, разумѣется, тоже въ нѣмецкихъ журналахъ подвергалась донынѣ такимъ страннымъ толкованіямъ, что люди, читающіе «Сѣверную Пчелу», гдѣ безпрестанно въ теченіи двадцати слишкомъ лѣтъ ежедневно прославляется любовь къ правдѣ и другія добродѣтели г. Булгарина, терялись въ недоумѣніи? Именно такой ключъ видѣли мы въ «Воспоминаніяхъ» г. Булгарина.

Не входя въ разсужденіе о томъ, имѣлъ ли право г. Булгаринъ издавать свои «Воспоминанія», то есть занимать публику самимъ сабою, скажемъ, что донынѣ у великихъ людей видѣлось обыкновеніе оставлять записки о самихъ себя, воспоминанія и всякія автобіографическія замѣтки въ рукописи до конца дней своихъ. Великій человѣкъ умеръ,—являются его записки; конечно, деньги, выручаемыя отъ продажи экземпляровъ, уже не поступаютъ въ карманъ его,—но за то записки появленіемъ своимъ какъ бы продолжаютъ на нѣкоторое время существованіе ихъ автора. По поводу взысканныхъ въ нихъ фактовъ, бросающихъ новый свѣтъ на жизнь и дѣйствія великаго покойника, возникаютъ жаркіе споры, пренія, и плодомъ всего бываетъ болѣе или менѣе вѣрная; окончательная оцѣнка жизни и дѣятельности покойника...

Что же заставило г. Булгарина отступить отъ этого установившагося и естественнаго порядка? Почему издалъ онъ свои записки при жизни?.. У него есть на это отвѣтъ въ предисловіи.—«Вѣдь это только отрывки», говоритъ онъ, и вслѣдъ за тѣмъ, чувствуя, что причина слаба и даже вовсе неудовлетворительна, прибавляетъ:

«При воспоминаніи прошлаго кажется мнѣ, будто жизнь моя разширяется и увеличивается, и будто я молодѣю! Нынѣшнее единообразіе жизни изчезаетъ—и я смѣшиваюсь съ оживленными событіями прошлаго времени, вижу передъ собою людей замѣчательныхъ или для меня драгоцѣнныхъ, наслаждаюсь прежними радостями и веселюсь минувшими опасностями *), прежнимъ горемъ и нуждою. Пишу съ удовольствіемъ, потому-что это занимаетъ меня и доставляетъ случай излить чувство моей благодарности къ людямъ сдѣлавшимъ мнѣ добро, отдать справедливость многимъ забытымъ людямъ, достойнымъ памяти, высказать нѣсколько полезныхъ истинъ, представить характеристику своего времени. Найдется много коечего любопытнаго и даже поучительнаго!»

Но, скажете вы, никто не запрещалъ господину Булгарину вспоминать и даже записывать свои воспоминанія и при этомъ чувствовать жизнь свою расширенною и себя помолодѣвшимъ, наслаждаться минувшими опасностями, радостями, неудачами. Благодарность къ людямъ, сдѣлавшимъ добро г. Булгарину, тоже нисколько не выдохлась бы, пролежавъ въ рукописи до смерти сочинителя; напротивъ, она пріобрѣла бы ароматъ благодарности безкорыстной и незаискивающей,—и все бы остальное могло бы также удобно сдѣлаться, только нѣсколькими годами позже, — вотъ вся разница...

Стало быть, и второй отвѣтъ не отвѣтъ. И такъ что же?..

Далѣе въ предисловіи читаемъ: «Явился мой добрый М. Д. Ольхинъ и рѣшилъ печатать,—печатаю!»

Итакъ появленіемъ «Воспоминаній Ѳаддея Булгарина» обязаны мы доброму г. Ольхину, которому обязаны мы также началомъ компактнаго изданія сочиненій г. Булгарина, да разными илюстрированными очерками съ лицевой стороной и изнанкой и всѣмъ тѣмъ, за что г. Ольхинъ пріобрѣлъ эпитетъ «добраго» отъ г. Булгарина,—отъ самого г. Булгарина, который, какъ извѣстно, по любви своей къ правдѣ, хвалитъ даромъ всѣхъ, не исключая и самого-себя...

*) Для непомнящихъ какимъ разнообразнымъ опасностямъ подвергался г. Булгаринъ.

Какъ бы то ни было, но «Воспоминанія» передъ нами,—и прежде, нежели успѣли мы сказать о нихъ хоть слово, публика уже ознакомилась съ ними, частію черезъ нихъ самихъ, а еще больше черезъ статьи Полеваго въ «Литературной Газетѣ», статьи, которыми онъ такъ блистательно какъ будто вновь, съ свѣжими силами, начиналъ свое литературное поприще, и которыми, къ общему сожалѣнію, ему суждено было окончить его... Изъ другихъ журналовъ, старавшихся познакомить публику съ «Воспоминаніями» г. Булгарина, должно упомянуть о «Финскомъ Вѣстникѣ», представившемъ объ этой книгѣ двѣ рецензіи, мастерски написанныя. Теперь очередь за нами. Но если, какъ мы сказали, «Воспоминанія» объясняютъ все литературное поприще г. Булгарина, то, съ другой стороны, и литературное поприще его, взятое въ цѣломъ, если не объясняетъ «Воспоминаній», то служитъ достойною къ нимъ прелюдіей. А это поприще объемлетъ собою двадцать пять лѣтъ времени, что̀ составляетъ цѣлую четверть вѣка! Поэтому, мы рѣшились начать съ начала, т. е. сперва бросить взглядъ на все литературное поприще г. Булгарина, а потомъ уже, какъ вѣнецъ дѣла, какъ послѣднее слово длинной рѣчи, какъ разгадку загадки, разсмотрѣть «Воспоминанія»...

Г. Булгаринъ—извѣстный правдолюбъ; такъ по крайней мѣрѣ еженедѣльно провозглашаетъ онъ самъ себя черезъ «Всякую Всячину». По увѣренію «Всякой Всячины», пламенная любовь г. Булгарина къ правдѣ надѣлала ему бездну враговъ и поставила его, въ кругу русскихъ литераторовъ, въ положеніе Сократа между Аѳинянами: цикута зависти, клеветъ, обидъ, оскорбленій такъ и подносится ему врагами, ожесточенными противъ него за его правду. Удивительно ли, что насъ онъ считаетъ въ числѣ самыхъ свирѣпыхъ враговъ своихъ? И не безъ причины: мы хвалимъ сочиненія Гоголя, а въ сочиненіяхъ г. Булгарина ви-

димъ—не больше, какъ сочиненія г. Булгарина... Это обстоятельство смущаетъ насъ: «Всякая Всячина» непремѣнно объявитъ статью нашу пристрастною, несправедливою, бранчивою, или еще и хуже того... И потому, чтобы избѣжать этого, мы рѣшились почти ничего не говорить, или по крайней мѣрѣ, какъ можно меньше говорить отъ себя о сочиненіяхъ г. Булгарина, а больше ссылаться на факты, или приводить мнѣнія другихъ литераторовъ о литературныхъ подвигахъ г. Булгарина. Безпристрастіе наше въ этомъ случаѣ простирается до такой степени, что мы намѣрены ссылаться на сужденія о г. Булгаринѣ даже такихъ людей, которые его не разъ хвалили, и которыхъ онъ самъ не разъ хвалилъ, которые бывали его друзьями и которымъ онъ самъ бывалъ другомъ. Такъ, мы особенно будемъ ссылаться на Полеваго...

Не помнимъ хорошенько, съ котораго именно года г. Булгаринъ сталъ уже не воинъ, а писатель, и — русскій къ славѣ нашихъ дней; но помнимъ что, въ 1821 году онъ издалъ книжку ученаго поляка, г-на Ежовскаго, «Избранныя Оды Горація» съ комментаріями на русскомъ языкѣ, и выставилъ на ней свое имя, позабывъ упомянуть о имени г-на Ежовскаго... Это былъ одинъ изъ первыхъ подвиговъ г. Булгарина во славу русской литературы и въ ознаменованіи пламенной любви его къ правдѣ. Въ 1822 году, г. Булгаринъ является уже издателемъ журнала: «Сѣверный Архивъ». Итакъ, дѣятельность г. Булгарина на поприщѣ русской литературы началась не позже (если не раньше) 1821 года; но несмотря на то, что онъ пишетъ и печатается по-русски уже двадцать пять лѣтъ, несмотря на ужасное разнообразіе его литературной дѣятельности,— ее не трудно обозрѣть и основательно и подробно: для этого стоитъ только раздѣлить труды г. Булгарина по ихъ родамъ и каждый родъ подвести подъ общій взглядъ.

Начнемъ съ журнальной дѣятельности г. Булгарина. Ею

онъ прежде всего нажилъ себѣ, по его словамъ, непримиримыхъ враговъ, говоря о нихъ правду. Итакъ, развернемъ старые журналы—эту живую лѣтопись прошедшихъ временъ нашей литературы, и посмотримъ, какія горькія истины высказалъ своимъ собратіямъ по ремеслу г. Булгаринъ, движимый пламенною любовью къ правдѣ; посмотримъ, какъ его безпримѣрное (за исключеніемъ Сократа) въ лѣтописяхъ міра «рьяное» и неукротимое правдолюбіе навлекло ему вражду и ненависть столькихъ людей, почти съ перваго шага, сдѣланнаго имъ на поприщѣ русской журналистики. Зрѣлище любопытное и поучительное! Съ одной стороны, мы увидимъ одного человѣка, съ рыцарскою запальчивостію готоваго переломить копье за даму своего сердца — истину, вызвать за нее на бой съ собой хоть цѣлый свѣтъ, и друга и недруга; а съ другой, цѣлую толпу пристрастныхъ и ожесточенныхъ гонителей истины, готовыхъ на всѣ средства противъ ея храбраго защитника—даже на ложь и на клевету...

Литературно-боевое поприще г. Булгарина началось въ 1825 году; первый важный походъ его за истину и правду былъ противъ «Московскаго Телеграфа». Застрѣльщикомъ былъ г. Булгаринъ. Всѣхъ подробностей войны нечего приводить здѣсь: онѣ у всѣхъ еще въ памяти; но дѣло въ томъ, что г. Булгаринъ навлекъ на себя ожесточенныя гоненія со стороны «Телеграфа» слѣдующими оскорбительными для самолюбія этого журнала истинами и правдами:

1. Нилъ Негровъ течетъ мимо Тумбуктской гавани. На что̀ оскорбленный «Телеграфъ» отвѣчалъ г. Булгарину, черезъ «Матюшу журналоучку», сперва лукавымъ вопросомъ: «какой-де Нилъ Негровъ?» а потомъ не менѣе коварнымъ объясненіемъ, что въ Африкѣ нѣтъ и никогда не бывало никакой Тумбуктской гавани, а вмѣсто нея есть тамъ земля и городъ Томбукту, но что этотъ городъ отстоитъ отъ

гавани верстъ на тысячу, и что, поэтому, Нигеръ (названный г. Булгаринымъ Ниломъ Негровъ) никакимъ образомъ не можетъ течь мимо гавани...

II. Не задолго до наводненія въ Петербургѣ, всѣ собаки въ гостинномъ дворѣ пропали и явились не прежде, какъ на другой день («Сынъ Отечества» 1825 года, № 4. стр. 360).

На эту правду, «Телеграфъ», съ свойственною ему недобросовѣстностью, замѣтилъ г. Булгарину, что собаки въ гостинномъ дворѣ бываютъ только по ночамъ, и какъ ихъ на это время привязываютъ, то онѣ не могли скрыться, ни по предчувствію наводненія и ни по какой другой фантазіи съ ихъ стороны.

III. Въ Константинополѣ есть мраморный бассейнъ, въ которомъ плаваютъ «семь рыбокъ жареныхъ, или имѣющихъ видъ поджареныхъ» («Сѣверный Архивъ», 1823 года, № 18).

IV. Лошадь турецкаго султана такъ обременена сбруею изъ драгоцѣнныхъ камней, что съ трудомъ везетъ его, и шесть человѣкъ едва могутъ снять чепракъ («С. Архивъ», 1823, № 18, стр. 355).

V. Въ Турціи, на большихъ дорогахъ, вездѣ у фонтановъ висятъ «золотые ковши» («С. Архивъ», 1823, № 17, стр. 284).

VI. Одинъ малороссійскій казакъ «цѣлые три часа» защищался противъ «цѣлой польской арміи», былъ прострѣленъ «четырнадцатью» пулями и продолжалъ сражаться («С. Архивъ», 1822, № 14, стр. 123).

VII. Въ Манчестерѣ недавно одинъ ювелиръ отлучился на два дня. Между-тѣмъ, индѣйскій пѣтухъ вскочилъ къ нему въ комнату, съѣлъ у него брильянтовъ на 8000 ф. ст. и вылетѣлъ въ окно. Но пѣтуха зарѣзали и съѣли, а брильянты отдали хозяину («С. Пчела», 1825, № 71).

VIII. Корабли придумали обивать кожею, но это оказа-

лось неудобнымъ, потому-что, къ кожѣ пристаетъ такое множество червей, что это препятствуетъ свободному ходу кораблей («С. Пчела», 1825, № 37).

Не считаемъ нужнымъ говорить, какъ воспользовались враги г. Булгарина этими истинами и правдами, изъ которыхъ, можетъ быть, не всѣ сказаны были имъ, но которыя всѣ защищалъ онъ самъ съ блистательнымъ успѣхомъ. Желающихъ знать подробности этой интересной битвы, отсылаемъ къ «Московскому Телеграфу» (1825, ч. IV-я стр. 311, и ч. VI, стр. I Особеннаго прибавленія къ М. Т.).

Читатели наши съ основаніемъ могутъ сказать, что семь изъ истинъ, сказанныхъ, или несказанныхъ самимъ г. Булгаринымъ, такъ неважны, что заслуживаютъ только улыбки, а не спору. Это справедливо, но тѣмъ не менѣе справедливо и то, что 1) эти истины, или правды, были высказаны въ изданіяхъ или принадлежавшихъ г. Булгарину, или отданныхъ подъ его надзоръ г. Гречемъ, и 2) что онъ, г. Булгаринъ, не въ одной жаркой полемической статьѣ отстаивалъ несомнѣнность этихъ истинъ, съ свойственною ему любовью къ правдѣ. Но враги его не ограничились этимъ. Бросивъ тѣнь сомнѣнія на географическія свѣдѣнія г. Булгарина опроверженіемъ существованія Тумбуктской гавани, они обвинили его еще въ томъ, что онъ заставляетъ Нестора считать новый годъ съ сентября, тогда-какъ Несторъ считалъ его съ марта (лѣтосчисленіе съ 1-го сентября ввелъ Кипріанъ въ XIV ст., какъ это открыто Карамзинымъ); что онъ Московскій соборъ, бывшій въ 1347 году, отнесъ къ 1343-му году («Литературные Листки, 1824, ч. 1., стр. 7); что онъ, г. Булгаринъ, выдумалъ, будто въ Россіи еще при Великомъ Князѣ Игорѣ били монету («С. Архивъ», 1823, № 15, стр. 201), основываясь на монетѣ, принадлежавшей къ эпохѣ далѣе половины XVI вѣка; что онъ, г. Булгаринъ, графа Сегюра произвелъ въ курфюрсты; увѣрялъ, что Байкалъ длиною около 600, а

шириною отъ 35 до 100 слишкомъ, а окружностью до 2000 верстъ,—тогда какъ длина Байкала (отъ Култука до Верхней Ангары) 585 верстъ, самая большая ширина около 100, а самая малая менѣе 30 верстъ; что г. Булгаринъ нашелъ рѣку Богульденху, которой въ Сибири нѣтъ, потому-что, вмѣсто ея, тамъ есть Малая и Большая Бугольденха; нашелъ рыбу Харіуги, вмѣсто дѣйствительно существующей рыбы харіусы, и торговлю въ Иркутскѣ омулевымъ жиромъ, о каковой торговлѣ въ Иркутскѣ никто и не слыхалъ. Враги г. Булгарина потому особенно громко смѣялись надъ этими его истинами, что онъ самъ совѣтывалъ другимъ «взявшись за изданіе жунала, почерпать свои географическія свѣдѣнія не изъ напечатанныхъ для дѣтей географій, но слѣдовать за успѣхами сей науки, читать произведенія ученыхъ мужей по сей части, всѣ новые журналы на иностранныхъ языкахъ, пересматривать вновь выходящія карты. замѣчать поправки на оныхъ, сдѣланныя вслѣдствіе новыхъ открытій и ученыхъ изслѣдованій» («Литерат. Листки», ч. III: стр. 203—204). И всѣ эти слова сказаны г. Булгаринымъ для доказательства, что Сахалинъ—полуостровъ, а не островъ!!... Враги г. Булгарина никакъ не хотѣли согласиться съ нимъ, чтобы Эльборусъ и Казбекъ были два разныя имени одной и той же горы, какъ онъ утверждалъ это въ «Сѣверномъ Архивѣ» (1823, № 1, стр. 67); что Гомеръ былъ статистикъ («Лит. Листки» 1824, № 16, стр. 101); что ложь нынѣ употребляется въ логикѣ вмѣсто силлогизма (ibid. № 3, стр. 91); что «умъ—кукла, которая вышла изъ моды» (ibid. стр. 92); что «очень отзывается истиной то сказаніе, что Палемонъ Римлянинъ приплылъ въ Россію во время Нерона и построилъ городъ «Романова, въ послѣдствіи названный Романово» («С. Арх». 1822, № 6, стр. 484); что Кіевъ построенъ Кіемъ, Славяниномъ, въ 430 году, и что Славяне еще во 2-мъ вѣкѣ по Р. Х. умѣли писать и пр. и пр.—всего и не перечтешь.

Но пламенѣющій правдою г. Булгаринъ не допустилъ враговъ своихъ торжествовать надъ нимъ безнаказанно. Онъ блистательно опровергъ всѣ ихъ обвиненія. Опроверженія его крайне интересны. Касательно Несторова лѣтосчисленія, онъ сказалъ, что «Русскіе съ введенія христіянской вѣры считали гражданскій годъ съ сентября и что Несторъ слѣдовалъ сему лѣтосчисленію; но ученику всякому извѣстно, что Русскіе до конца XIV вѣка считали годъ съ марта» и прибавляетъ къ этому убѣдительному возраженію: «не лучше ли не спорить о томъ, въ чемъ еще вы сами не увѣрены». Гораздо труднѣе было ему свести концы съ концами касательно Игоревой монеты. Дѣло было не шуточное. При всей глубокости и обширности своихъ историческихъ, археологическихъ и нумизматическихъ познаній, г. Булгаринъ впалъ въ ошибку, принявъ слова: «и Государь», вычеканенныя на монетѣ сокращенно ИГДРЬ за собственное имя Игоря, и забывши, что еслибы при Игорѣ и чеканилась русская монета, то все же безъ изображенія св. Георгія, потому-что князь Игорь и его подданные были идолопоклонники. Но и тутъ г. Булгаринъ нашелся, какъ увернуться отъ бѣды неминучей. Онъ отвѣтилъ: «Помилуйте, господа! гдѣ вы нашли, что я говорилъ о Игорѣ идолопоклонникѣ? Прошу вспомнить, что многіе изъ русскихъ князей имѣли, сверхъ крестныхъ именъ, военныя свои имена». Когда же враги г. Булгарина на это возразили ему, что кромѣ Игоря Рюриковича и Игоря Олеговича, убитаго въ 1147 году, въ Россіи не было ни одного великаго князя этого имени; что титулъ: государь всея Руси принятъ Іоаномъ Васильевичемъ, начавшимъ царствовать въ 1461 г., когда уже не было у насъ варяжскихъ именъ, и употреблялись одни христіянскія; что всадникъ на конѣ, копіемъ поражающій змія, вовсе не Георгій Побѣдоносецъ, а просто чеканъ московскихъ денегъ установленный съ 1835 г., ибо до того времени изображался

на нихъ всадникъ съ поднятою надъ головою саблею, и что, слѣдовательно, Игоревская монета г. Булгарина принадлежитъ къ половинѣ XVI вѣка;—г. Булгаринъ нисколько не сконфузился и отъ этихъ возраженій, и съ свойственною ему любовію къ правдѣ, равно какъ и съ свойственнымъ ему остроуміемъ, такъ отвѣтилъ врагамъ своимъ:

«Г. Лебедевъ сообщилъ мнѣ монету, найденную въ землѣ, въ городѣ Грязовцѣ. На этой монетѣ находится надпись: Князь Игорь всея Руси—и изображенъ Георгій Побѣдоносецъ на конѣ. Въ № 15 С. А. на 1823 г. сообщилъ я извѣстіе о сей монетѣ, безъ всякихъ съ моей стороны разсужденій и поясненій.—Виноватъ ли я, что въ Грязовцѣ найдена эта мудреная для васъ монета? Я, Булгаринъ, не копалъ земли, не чеканилъ монеты, не описывалъ ея (?). Я долженъ былъ извѣстить читателей о сообщенной мнѣ рѣдкости — и только! Зачѣмъ же вы обвиняете меня въ незнаніи исторіи?»

Очень жалѣемъ, что, по неимѣнію времени, не можемъ справиться, что̀ отвѣчалъ врагамъ своимъ г. Булгаринъ, вторично уличившимъ его въ незнаніи исторіи по поводу открытой имъ монеты царей Ѳеодора и Іоанна, братьевъ Петра Великаго. («Сѣв. Арх.» 1823, № 15, стр. 202). Но должно думать, что пламенная любовь г. Булгарина къ правдѣ, и тутъ доставила ему блестящую побѣду надъ врагами... Было бы очень затруднительно и даже, такъ сказать, скучно выписывать всѣ «правды», которыми г. Булгаринъ нажилъ себѣ столько «враговъ», навлекъ на себя столько ненавистей и даже гоненій. Вотъ послѣ этого и любите правду, и говорите ее людямъ! Но шутки въ сторону; поговоримъ серьезно. Все, о чемъ мы говорили до сихъ поръ, есть какъ бы программа всего журнальнаго поприща г. Булгарина. Г. Булгаринъ остался себѣ вѣренъ въ этомъ отношеніи и въ остальныя двадцать лѣтъ своей журнальной дѣятельности. И теперь онъ точно таковъ же, какъ былъ во время первыхъ схватокъ своихъ съ «Телеграфомъ», только сталъ еще рѣшительнѣе и смѣлѣе, еще болѣе усовершенствовалъ свою тактику. Никогда ни прежде, ни теперь,

не оставлялъ онъ никого въ покоѣ, но ко всѣмъ придирался, всѣхъ зацѣплялъ, и всегда съ намѣреніями, не совсѣмъ литературными; но лишь попробуй кто отвѣтить ему—и пошла перепалка, пошли споры изъ ничего, доказательства ни о чемъ, и глядишь,—литературное дѣло превращается вовсе не въ литературное. При этихъ случаяхъ, г. Булгаринъ обыкновенно начинаетъ говорить о своихъ врагахъ. Повѣрить ему, такъ и у самого Наполеона не было такихъ ожесточенныхъ и непримиримыхъ враговъ. Чѣмъ же онъ вооружилъ ихъ противъ себя?—Правдою, одною правдою, да еще развѣ своими удивительными талантами, своими неслыханными успѣхами въ литературѣ. Но развѣ Крыловъ, Жуковскій, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь, Лермонтовъ, —развѣ эти люди ниже г. Булгарина своими талантами, своими успѣхами?—А между тѣмъ, имѣя враговъ, они имѣли и друзей, тогда какъ г. Булгаринъ, кромѣ г. Греча и блаженной памяти Ушакова, во всемъ пишущемъ мірѣ видитъ однихъ враговъ, которые словно сговорились между собою не давать ему покоя, преслѣдовать его. Право, если повѣрить г. Булгарину,—онъ подобно Наполеону, имѣетъ своихъ, (литературныхъ, разумѣется) Жоржей Кадудалей... Съ кѣмъ не бранился онъ? «Вѣстникъ, Европы», «Мнемозина», «Телеграфъ», «Московскій Вѣстникъ», «Атеней», «Галатея», «Телескопъ», «Молва», «Московскій Наблюдатель», «Славянинъ», «Литературныя Прибавленія къ Инвалиду» (изд. Воейковымъ), «Литературная Газета» (Дельвига), «Библіотека для Чтенія», «Литературныя прибавленія къ Инвалиду» и «Литературная Газета» (изд. Краевскимъ), «Пантеонъ», «Репертуаръ», «Москвитянинъ», «Иллюстрація». «Отеч. Записки»,—со всѣми этими изданіями г. Булгаринъ или былъ въ войнѣ, или и теперь воюетъ. Онъ былъ въ постоянной враждѣ съ цѣлыми поколѣніями журналовъ, съ цѣлыми поколѣніями писателей; ссорился съ людьми, которые уже печатались, когда еще онъ не начиналъ учиться

грамотѣ; ссорился съ людьми, которые еще не начинали учиться грамотѣ, когда уже онъ печатался. Мало этого: онъ бранился даже съ «Сыномъ Отечества» и «Русскимъ Вѣстникомъ» подъ редакціею Полеваго; ссорился съ сотрудниками «С. Пчелы», возражалъ имъ въ «Пчелѣ» на ихъ статьи, напечатанныя въ «Пчелѣ» же; и велъ съ ними цѣлыя троянскія войны, когда они начинали принимать участіе (какъ гг. Полевой, Конп, Межевичъ) въ другихъ изданіяхъ. Мало и этого: онъ сегодня бранилъ людей, которыхъ превозносилъ вчера, сегодня прославлялъ людей, которыхъ унижалъ вчера. Онъ главный источникъ и прямая причина полемики нашего времени, и одинъ изъ прямыхъ источниковъ и главныхъ причинъ полемики за цѣлыя двадцать пять лѣтъ русской журналистики. Вотъ что̀ разъ высказалъ на счетъ этого Полевой, бывшій редакторомъ «Русскаго Вѣстника», тотъ Полевой, съ которымъ г. Булгаринъ столько разъ ссорился и мирился, котораго онъ столько разъ бранилъ и превозносилъ, и съ которымъ, передъ его смертью, онъ опять разсорился за то, что тотъ умно и дѣльно высказалъ правду о его «Воспоминаніяхъ»:

Намъ не понравилось въ «Комарахъ» одно: перепалки Ѳ. В. съ литературною братіею и безпрестанное толкованіе его о томъ, что на него всѣ нападаютъ; что всѣ на него нападающіе не правы; что большая часть изъ нихъ очень глупы; что нападенія ихъ служатъ ему въ пользу; что онъ ихъ не боится. Не пора ли перестать? Все исчисленное нами повторяется Ѳ. В. безпрестанно, а какая же пѣсня не припоется, если безпрестанно пѣть ее! Дѣло очень простое: на Ѳ. В. нападаютъ — правда, а онъ развѣ никого не трогаетъ? Какъ же требовать, чтобъ задѣтые молчали, если еще не было примѣра, чтобъ Ѳ. В. оставилъ когда нибудь безъ отвѣта самое невинное и кроткое замѣчаніе? Кто погрозитъ ему иголкой—онъ рубитъ того мечемъ, а кто броситъ въ него хлопушку—онъ отвѣчаетъ изъ пушки, когда притомъ изъ *десяти перепалокъ девять всегда начинаетъ Ѳ. В.?* Вопросъ о томъ: всѣ ли противники Ѳ. В. не правы; думаемъ, и самъ онъ по совѣсти рѣшитъ отрицательно. Совершенство не дано въ удѣлъ человѣку, а ошибки неизбѣжный

удѣлъ его. Задачу о томъ, всѣ ли соперники Ѳ. В. дураки, невѣжды и негодяи литературные, опять почитаемъ мы безспорно отрицательною. Если же нападки на Ѳ. В. ему не вредны, а полезны, изъ чего же заводить споры и шумъ? А что Ѳ. В. не боится нападокъ, пора публикѣ увѣриться и безъ непрестанныхъ о томъ напоминаній съ его стороны. Скажемъ откровенно: *замолчи Ѳ. В., и никто не затронетъ его. Не угодно ли ему не заводить споровъ хоть полгода, хоть для опыта, для удовлетворенія въ словахъ нашихъ? Посмотрите, какъ все будетъ тихо и смирно.* («Русскій Вѣстникъ» *1842, № 4, стр. 21*).

Это тревожное безпокойство, эта задорливость и спорливость присяжнаго литератора, могли бы быть своего рода достоинствами и имѣть болѣе или менѣе полезное вліяніе на литературу, еслибы они вытекали дѣйствительно изъ любви къ истинѣ, хотя бы и ложно понимаемой, изъ живаго и страстнаго убѣжденія. Тогда споры и самыя ссоры, безпрестанно заводимые такимъ литераторомъ, болѣе или менѣе оживляли бы журналистику и способствовали разрѣшенію разныхъ вопросовъ, уясненію разныхъ истинъ. Но г. Булгарина грѣхъ обвинить въ рыцарской рьяности такого рода: къ литературнымъ, эстетическимъ и ученымъ вопросамъ онъ оказывалъ всегда ледяное равнодушіе, дѣлалъ видъ, что даже и не подозрѣваетъ существованія того, чтò называется мнѣніемъ, убѣжденіемъ, правиломъ, принципомъ. Всѣ эти слова всегда казались и кажутся ему смѣшными, и онъ истощилъ надъ ними весь запасъ своего посильнаго остроумія. Переберите всѣ изданія, которыя онъ редижировалъ или редижируетъ, въ которыхъ онъ участвовалъ или участвуетъ — «Сѣверный Архивъ», «Литературные Листки», и «Сынъ Отечества», «Репертуаръ» и «Пантеонъ» (1842) и «Сѣверную Пчелу»: какъ безцвѣтны и безхарактерны всѣ эти журналы! Но, вѣрные нашему слову, мы опять приведемъ свидѣтельство людей, совершенно чуждыхъ намъ и нашему изданію. Вотъ какъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ» была оцѣнена «С. Пчела», въ отношеніи къ направленію и духу ея критики.

.....но «Сѣверная Пчела»!... Боясь уклониться отъ нашего предмета, мы прямо спросимъ себя: какой въ ней образъ мыслей? Пристально разсмотрѣвъ всѣ ея статьи критическія, мы рѣшительно отвѣчаемъ: никакого. Въ ней критика замѣняется такъ-называемою *Литературною Тактикой*, честь усовершенствованія которой принадлежитъ единственно гг. издателямъ «С. Пчелы». Ужасно, какъ подумаешь: въ наше время ничего не стоитъ, жалко насмѣхаясь надъ истиною, поднять до небесъ и растоптать въ прахъ *одно и то же* произведеніе! Утѣшимся тѣмъ только, что въ одной «С. Пчелѣ» совершаются подобныя явленія. — Итакъ за недостаткомъ въ ней образа мыслей мы должны обличить сокровенныя правила ея тактики.

1) Если вы не обнаружили еще своего мнѣнія на счетъ сочиненій и журналовъ гг. издателей «Пчелы», то васъ оставляютъ въ покоѣ, дожидаясь отъ васъ рѣшительнаго поступка, вслѣдствіе котораго вы или другъ, или врагъ сему журналу: какъ аукнется, такъ и откликнется, вотъ ея эпиграфъ! Похвалите — и васъ похвалятъ. Если же вы когда нибудь осмѣлились сказать что-либо противъ сочиненій и журналовъ гг. издателей, то не ожидайте помилованія ни себѣ, ни произведенію вашему, какого бы достоинства ни было сіе послѣднее. Лишь только вы напечатаете что-либо, какъ одинъ издатель, выступаетъ на васъ съ остротами, составляющими яркую противоположность со стихами Крылова, Дмитріева и другихъ, коими онъ обыкновенно снабжаетъ свои критики; а другой, расщипавъ по клочкамъ ваше произведеніе, ищетъ въ немъ ошибокъ грамматическихъ, опечатокъ и т. п., и съ указкою учителя грамматики, ясно, какъ *дважды два—пять*, доказываетъ вамъ, что вы не знаете ни логики, ни грамматики. Примѣромъ сему служатъ всѣ прошлогоднія пренія «С. Пчелы» съ «Телеграфомъ» и «Славяниномъ». Вы не думайте найдти здѣсь замѣчаній на образъ мыслей сихъ журналовъ, на существенное достоинство статей: рѣшительно ничего болѣе не найдете, кромѣ мелкихъ придирокъ къ слогу, личностей и пустыхъ восклицаній. Отъ сихъ послѣднихъ переходятъ часто къ домашнимъ объясненіямъ.. ...

2) Если авторъ или издатель книги находится въ близкихъ литературныхъ отношеніяхъ къ издателямъ, тотчасъ раздаются похвалы неумѣренныя. Коль нечего хвалить въ особенности, то выписываютъ нѣсколько строкъ изъ предисловія, или излагаютъ подробно содержаніе, или на нѣсколькихъ страничкахъ хвалятъ изданіе, шрифтъ и проч.—Здѣсь кстати должно замѣтить, что въ «С. Пчелѣ» книги оцѣниваются вѣрно только въ типографическомъ от-

ношенія..... Всѣ похвалы оканчиваются восклицаніями: *«покупайте г. покупатели! Не скупитесь, папеньки! Да это раскупять, какъ конфекты, да и какъ не купить того, что̀ полезно, хорошо и дешево?»* (№ 137). Невольно подумаешь, что существенная цѣль каждой критики, помѣщенной въ «С. Пчелѣ» состоитъ въ томъ, чтобъ заставить купить книгу, или отклонить покупателя, нанести *существенный* вредъ автору или издателю оной. Кромѣ этой существенной цѣли всѣхъ разборовъ «С. Пчелы», есть еще другая—побочная. Во всякой критикѣ стороною, кстати или некстати, задѣваютъ объявленныхъ противниковъ «С. Пчелы». Чувство какого-то обиженнаго самолюбія и мелочнаго мщенія обнаруживается вездѣ......

3) Если къ автору не имѣютъ никакихъ отношеній, то о произведеніи его отзываются и такъ и сякъ, указавъ на нѣкоторые мелкіе недостатки. Но если дерзновенный осмѣлится возразить, тогда въ пылу негодованія жертвуютъ даже собственнымъ мнѣніемъ, чтобъ поразить противника, извиняются въ своей опрометчивости передъ публикою, вновь разбираютъ книгу и находятъ въ ней кучи ошибокъ......

Наконецъ 4) нѣкоторымъ извѣстнымъ писателямъ расточаются похвалы въ «С. Пчелѣ». Но онѣ скучны для читателей, и еще скучнѣе для самихъ авторовъ.... Образъ критики въ «С. Пчелѣ» всего болѣе обличаетъ жалкую скудость ея сужденій. Всѣ рецензіи лучшихъ произведеній въ оной состоятъ въ выпискѣ нѣкоторыхъ отрывковъ, приправленной общими мѣстами и пустыми восклицаніями, въ маловажныхъ замѣчаніяхъ на слова, правильно или неправильно употребленныя, на ошибки грамматическія, на опечатки и т. п..... Обыкновенно начинаются сіи критики такимъ образомъ: «Новое прелестное стихотвореніе такого-то!»—«*Честь вамъ и слава г. поэтъ!*» (№ 145)—«Это вещь совершенно оригинальная» (№ 147),—«*Сіи стихи жгутъ страницы!*» (№ 124). Иногда послѣ подобныхъ восклицаній случаются объясненія эстетическія, въ которыхъ всего замѣтнѣе и недостатокъ точки зрѣнія, и нетвердость мыслей, и незнаніе науки вкуса.... Но всего чаще, не пускаясь въ вопросы эстетическіе, рецензенты прямо приступаютъ къ разбору выраженій, и иногда въ жару восторга ораторскаго говорятъ непонятныя вещи..... Но всего забавнѣе критика выраженій. Выписавши нѣсколько стиховъ изъ «Финляндіи» (стихотворенія Баратынскаго), рецензентъ (г. Булгаринъ) восклицаетъ: «Картина живая! вы видите все, что читаете. Какъ искусно поэтъ умѣлъ воспользоваться обыкновенными оборотами рѣчей! Еслибъ простой поселянинъ сталъ описывать вамъ языкомъ природы этотъ видъ, онъ сказалъ бы:

Тутъ море, надъ моремъ гора, а съ горы сходитъ лѣсъ къ берегу.—Поэтъ, такъ-сказать, *позолотилъ простонародный разсказъ и пропѣлъ при звукахъ лиры* (!!!). *Тяжелыя* стопы прекрасно изображаютъ огромныя деревья. Кто видалъ въ натурѣ лѣсъ, растущій на косогорѣ, колеблемый вѣтрами, тотъ живо представитъ себѣ *это шествіе тяжелыми стопами*».. . «Элегія буря — прелесть!»— «Чужихъ безбрежныхъ водъ свинцовая равнина — есть совершенство поэзіи. Этотъ свинецъ, оковывающій пришельца въ чужой странѣ — поэзія!» Все это пересыпано похвалами неумѣренными и не тонкими, замѣчаньицами о словахъ, риѳмахъ и проч.....

Статья о выставкѣ въ Академіи художествъ отличается тѣмъ же восторгомъ насильственнымъ, преизобилуетъ тѣми же выраженіями темными; а общими мѣстами, похвалами однообразными ясно обличаетъ незнаніе дѣла. По мнѣнію рецензента всѣ живописцы на одно лицо: и Довъ и Кипренскій и Щедринъ—всѣ равно превосходны; у всѣхъ на картинахъ видишь живыя лица, живую природу, живой воздухъ и проч. Преимущественно обращаетъ вниманіе рецензентъ на отдѣлку существенныхъ подробностей, какъ-то: шинелей, подкладокъ, налощеннаго пола, эполетовъ серебряныхъ и золотыхъ украшеній и проч.....

Съ такою же основательностію судитъ «С. Пчела» и о музыкѣ.....

Вмѣсто того, чтобъ говорить о поэзіи, живописи и музыкѣ, для чего нужно познаніе дѣла, не лучше ли бъ было «С. Пчелѣ» ограничиться извѣстіями о балансерахъ, скакунахъ, скороходахъ, ученыхъ собакахъ и проч.?

Изъ всего этого само собою извлекается, что главный характеръ образа мыслей въ «С. Пчелѣ» есть совершенная пустота; по сей-то необходимости критика замѣнена въ ней *Литературною тактикой*. Гг. издатели въ совершенной увѣренности, что они давностію своихъ журналовъ пріобрѣли всеобщее довѣріе публики, что въ ихъ рукахъ находится участь всей литературы русской, смѣло упражняются въ своемъ искусствѣ журнальномъ и съ какою-то непростительною, запальчивостью, безъ уваженія къ приличіямъ не только людей ученыхъ, но и свѣтскихъ, не умѣя даже скрывать въ себѣ порывовъ оскорбленнаго самолюбія, подписываютъ всему приговоры рѣшительные, ни на чемъ не основанные, и всегда внушаемые не любовью къ истинѣ, а посторонними отношеніями.

Это было сказано въ 1828 году («Московскій Вѣстникъ», 1828, № 8, стр. 404—419), слѣдовательно, девятнадцать лѣтъ назадъ,—а между тѣмъ можно ли о «Пчелѣ»

1846 года сказать что нибудь болѣе новое, болѣе современное?...

Теперь намъ слѣдуетъ объяснить фактами, что̀ должно разумѣть подъ литературною тактикою г. Булгарина. Предметъ весьма любопытный! Въ 1824 году издавался въ Москвѣ литературный сборникъ «Мнемозина». Г. Булгаринъ, разсчитывая на дружбу издателей сборника, похвалилъ это изданіе; но видя, что его похвалы приняты были издателями сборника равнодушно, онъ разбранилъ «Мнемозину» и въ цѣломъ, и каждую статью особо:

«Желаніе дать, какъ говорится, ходъ *Мнемозинѣ* заставило меня смотрѣть сквозь пальцы на недостатки сего изданія и *выставить* передъ публикою *посредственное за изрядное*, извиняя слабое добрыми намѣреніями одного издателя и юностью другаго. *Признаюсь откровенно въ винѣ* моей передъ публикою, которая должна приписать *отступленіе мое отъ истины* моему *нелицемѣрному* желанію поддержать новорождающееся изданіе» (Лит. Листки, 1824, ч. IV, стр. 110).

Примѣровъ подобнаго отступленія отъ истины со стороны правдолюбиваго г. Булгарина — н'есть числа! Но мы ограничимся нѣсколькими, самыми разительными. О томъ, какъ онъ сперва бранилъ «Телеграфъ», потомъ превозносилъ его, потомъ опять бранилъ—можно бы составить не одну курьёзную статью. Какъ будто забывши, что̀ говорилъ онъ о Полевомъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, какъ величалъ его верхоглядомъ, невѣждою, отрицалъ въ немъ талантъ и знаніе,—какъ будто забывъ, что, почему то усомнившись въ дружбѣ «Телеграфа» онъ, въ «Сынѣ Отечества» 1830 г. (№ 15, стр. 165) сказалъ объ «Исторіи Русскаго Народа»: «Нынѣ нѣкто г. Николай Полевой, въ сочинительскомъ пылу о дарованіяхъ и знаніяхъ своихъ возмечтавъ, первый томъ Исторіи Русскаго Народа напечаталъ и тамъ равномѣрно свои суесловія о происхожденіи Руссовъ помѣстилъ»; — какъ будто позабылъ все это, г. Булгаринъ, въ торжествѣ примиренія съ «жесточайшимъ

врагомъ» своимъ (одна изъ наиболѣе употребляемыхъ имъ фразъ), обнаружилъ всю тактику свою въ слѣдующемъ отзывѣ о той же самой «Исторіи Русскаго Народа»:

«Чуждый зависти и всѣхъ литературныхъ мелочей *(sic!)*, я всегда отдавалъ справедливость жесточайшимъ моимъ противникамъ (*такъ точно!*); но теперь съ удовольствіемъ говорю истину о трудѣ писателя самостоятельнаго, благонамѣреннаго и пламеннаго любителя просвѣщенія. Занимаясь съ любовью всю жизнь исторіею, и преимущественно русскою, осмѣливаюсь сказать явно (*чего робѣть!*), что я въ состояніи судить объ исторіи (*доказательство: монеты Игоря и царей Феодора и Іоанна вкупѣ*). Не почитаю *Исторію Русскаго Народа* совершенною, но признаю оную сочиненіемъ чрезвычайно важнымъ, любопытнымъ и полезнымъ для Россіи, ибо въ ней въ первый разъ появляются (?) политика, философія и критика. Повторяю однажды уже сказанное, что *Исторія* русскаго народа, соч. Полеваго, есть такая книга, которую не только можно, но должно и непремѣнно должно, прочесть послѣ исторіи Карамзина, и что каждый любитель отечественнаго обязанъ даже имѣть ее. Льщу себя надеждою, что я заслужилъ довѣренность публики (*о, совершенно!*) что и въ этомъ случаѣ она повѣритъ словамъ моимъ болѣе, нежели тѣмъ отвратительнымъ нападкамъ, которые превращаютъ литературное поприще въ какое-то торжище и унижаютъ званіе литератора. Почтенный, добрый, благородный Карамзинъ сказалъ, что первая потребность писателя есть *доброе сердце.* Читая въ журналахъ (*чуждыхъ г. Булгарину*) грубую брань, клеветы, сплетни, гнусныя выходки зависти, рядомъ съ преувеличенными похвалами безсмертному исторіографу, поневолѣ выводимъ заключеніе, которое... не идетъ въ печать («С. Пчела», 1830, № 110).

Можно ли усомниться въ искренности этихъ словъ, вспомнивъ другой подвигъ правдолюбія г. Булгарина, совершенный имъ въ томъ же, 1830 году, по поводу VII главы Онѣгина. Отрывокъ изъ этой главы былъ напечатанъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ»; но по причинѣ нѣсколькихъ опечатокъ, Пушкинъ позволилъ «С. Пчелѣ» перепечатать этотъ отрывокъ,—и «С. Пчела» чуть не съ колѣнопреклоненіемъ приняла его на свои листки. Не помнимъ, котораго года и въ которомъ нумерѣ «Пчелы» было все

это; но хорошо помнимъ, что по выходѣ въ свѣтъ VII-ой главы «Онѣгина», въ 1830 году, г. Булгаринъ разбранилъ его на чемъ свѣтъ стоитъ, въ 35 № «Пчелы». Вотъ его собственныя слова:

«Холодный пріемъ, оказанный поэмѣ «Полтава», служитъ яснымъ доказательствомъ, что очарованіе именъ изчезло, и въ самомъ дѣлѣ,— можно ли требовать вниманія публики къ такимъ произведеніямъ, какова, напр., глава VII «Евгенія Онѣгина!...» Но глава VII *испещрена* (?) такими *стихами* и балагурствомъ, что въ сравненіи съ ними даже «Евгеній Вельскій» кажется чѣмъ-то похожимъ на дѣло. *Ни одной мысли* въ этой *водяной* главѣ, *ни одного чувствованія, ни одной картины, достойной воззрѣнія! совершенное паденіе*, chute complète!... Въ пустынѣ нашей поэзіи появился опять *«Онѣгинъ», блѣдный, слабый*.... сердцу больно, когда взглянешь на эту безцвѣтную картину.—Всѣ вводныя и вставныя части, всѣ постороннія описанія такъ ничтожны, что намъ вѣрить не хочется, чтобы можно было печатать такія мелочи».

При этомъ удобномъ случаѣ глубокомысленный критикъ (г. Булгаринъ считалъ себя критикомъ!) не шутя обвинилъ Пушкина, что тотъ возвратился съ Кавказа съ VII-ою главою «Онѣгина», а не съ торжественными одами на побѣды русскихъ войскъ въ азіятской Турціи. Эта выходка показалась очень смѣшною важному «Московскому Вѣстнику», который и выразился на этотъ счетъ такъ:

«Это показываетъ, какъ нашъ аристархъ понимаетъ вдохновеніе, и вмѣстѣ можетъ служить мѣриломъ его способности оцѣнивать то, что̀ проистекаетъ отъ вдохновенія. Въ глазахъ его поэтъ, вѣрно, ботаникъ, или минералогъ, который съ Кавказа непремѣнно долженъ возвратиться съ произведеніями Кавказа, а изъ Америки съ тѣмъ, что̀ ростетъ или добывается въ Америкѣ. Г. критикъ (?) забываетъ, что Грибоѣдовъ съ этого же Кавказа привезъ намъ комедію, въ которой отразился бытъ свѣтскій, міръ московскихъ нравовъ и причудъ; что Байронъ создалъ Гяура въ Англіи, а Сервантесъ Донъ-Кихота въ темницѣ; что Тассъ никогда не бывалъ въ Ерусалимѣ, Муръ никогда не посѣщалъ Индіи» (*М. В. 1830, ч. III, стран. 82—83*).

Исторія съ драмою Полеваго «Уголино» была однимъ изъ блистательныхъ подвиговъ г. Булгарина по части литера-

турной тактики и любви къ правдѣ. Будучи въ 1838 году редакторомъ «Сына Отечества» и находясь съ г. Булгаринымъ въ пріязненныхъ отношеніяхъ, Полевой очень снисходительно отозвался о «Россіи», извѣстной компиляціи г. Булгарина и только замѣтилъ что-то о недостаткахъ приложенныхъ къ этой компиляціи картъ. А передъ этимъ, г. Булгаринъ, разбирая «Уголино», поставилъ автора этой драмы, если не выше Шекспира и Шиллера, то рядышкомъ съ ними. И вдругъ—о ужасъ!—черезъ нѣсколько недѣль, если не дней, г. Булгаринъ самъ протестовалъ противъ своей собственной статьи, объявивъ, что въ ней похвалы драмѣ Полеваго были слѣдствіемъ camaraderie!... Вотъ до чего доводитъ людей излишняя любовь къ правдѣ!... Съ сокрушеннымъ сердцемъ воскликнулъ, при этомъ случаѣ, г. Булгаринъ: mea culpa, mea maxima culpa, — что́, если не ошибаемся, по-русски значитъ: «согрѣшилъ окаянный!», а по-польски: «па̀дамъ до̀ ногъ!»... Потомъ, когда Полевой былъ редакторъ «Русскаго Вѣстника», въ 1842 году, и помѣстилъ въ этомъ журналѣ статейку: «Хозяйственныя Замѣтки», что-то, помнится, о кочерыжкахъ,—г. Булгаринъ, увидя въ этомъ злонамѣренный подрывъ «Эконому», такъ пріударилъ въ полемическій набатъ, такого надѣлалъ шуму, что публика отъ души хохотала съ мѣсяцъ-времени,— только на этотъ разъ вовсе не надъ Полевымъ... Кстати ужь вспомнимъ, что «Юрій Милославскій», г. Загоскина, во время торжества его, былъ объявленъ въ «Пчелѣ» самымъ плохимъ романомъ, а теперь, когда онъ — не болѣе, какъ литературное воспоминаніе, никому не опасное, та же «Пчела» говоритъ о романахъ г. Загоскина чуть не съ благоговѣніемъ...

А война съ «Иллюстраціею», которая тянется вотъ уже другой годъ?... Эта война чуть было не прервалась по случаю статьи Полеваго о «Воспоминаніяхъ». г. Булгаринъ началъ было уже захваливать драмы г. Кукольника, недавно

еще имъ унижаемыя и уничтожаемыя, чтобы этою диверсіею унизить и уничтожить драмы Полеваго, недавно еще превозносимыя и прославляемыя имъ; но смерть Полеваго сдѣлала ненужною эту стратегику—и война съ «Иллюстраціею» пошла прежнею колеею... А изъ чего? Жаль видѣть въ непріязненныхъ отношеніяхъ этихъ двухъ, столь достойныхъ, литераторовъ!... Но, видно, г. Булгарину не суждено уживаться такъ же и съ своими, какъ и съ чужими... А все излишняя любовь къ правдѣ!...

Такихъ образчиковъ правдолюбія г. Булгарина, т. е. примѣровъ его всегдашней готовности разбранить сегодня сочиненіе или автора, которыхъ онъ хвалилъ и превозносилъ вчера, или расхвалить и превознести сочиненіе, или автора, которыхъ онъ вчера бранилъ,—такихъ примѣровъ мы могли бы привести до нѣсколькихъ десятковъ, съ указаніемъ на нумеръ и страницу журнала или газеты, съ точной выпиской подлинныхъ словъ г. Булгарина; но скучно рыться въ хламѣ забытыхъ изданій, и еще скучнѣе говорить объ одномъ и томъ же, особенно о такихъ правдолюбивыхъ подвигахъ. Впрочемъ, если г. Булгарину эта статья покажется неудовлетворительною, мы готовы пополнить ее фактами и доказательствами: мы тоже любимъ правду—хотя и не такъ, какъ онъ, а по своему,—и для нея готовы снова обрѣчь себя на трудъ и скуку... А что это не слова только, а дѣло, и что мы хорошо знаемъ дѣла давно минувшихъ дней въ области русской литературы и журналистики, въ доказательство этого приводимъ небольшую выписку изъ одной страницы «Московскаго Телеграфа» 1825 г. (ч. VI, стр. 37—38) особеннаго прибавленія:

Въ *«Литер. Листкахъ»*. 1824 г. (№ 16, стр. 127) напечатано: «Въ Revue Encyclopèdique, одномъ изъ отличнѣйшихъ европейскихъ журналовъ, издаваемомъ въ Парижѣ обществомъ ученыхъ мужей всѣхъ странъ и всѣхъ народовъ, въ майской книжкѣ (1823 г.) на страницѣ 384, помѣщенъ полный разборъ *Русскаго Инвалида* и *Новостей литературы*, изд. г. Воейковымъ. Совѣтуемъ почтенному из-

дателю сихъ журналовъ прочесть *основательныя и справедливыя замѣчанія на счетъ его трудовъ*, и, если возможно, послѣдовать совѣтамъ благонамѣренной критики».—Въ томъ же году *Литературныхъ Листковъ* (№ 21, стр. 117) напечатано: «Въ Revue Encyclopèdique *одна только часть разборовъ хороша, а сообщаемыя издателями извѣстія объ иностранныхъ книгахъ и литераторахъ таковы, что у насъ не могли бы появиться даже въ* Мнемозинѣ: *названія странъ, заглавія, содержаніе книгъ — все тамъ перемѣшано*». —Г. Воейковъ замѣтилъ, что тутъ явное противорѣчіе: два разныя мнѣнія объ одной книгѣ. Г. Булгаринъ отвѣчаетъ (въ 4 № Сына Отеч. 1825 г.). «Не могу понять, какимъ образомъ г. Воейковъ отыскалъ тутъ противорѣчіе! Въ *Литер. Листкахъ* сказано, что въ Rev. Enc. помѣщенъ *полный разборъ Русскаго Инвалида и Новостей Литературы*, и повторяю, что въ Revue Encyclopèdique одна только часть разборовъ хороша, *слѣдовательно*, превосходство *полнаго разбора Рус. Инвалида* не подвержено ни малѣйшему сомнѣнію». — Въ заключеніе г. Булгаринъ обѣщаетъ помѣстить сей разборъ въ *Сынѣ Отечества*, но онъ не исполнилъ этого; угодно ли знать *почему*?—Въ Revue Encyclopèdique *никогда не бывало полнаго разбора Рус. Инвалида!* Тамъ помѣщено съ небольшимъ на двухъ страничкахъ, библіографическое извѣстіе объ *Инвалидѣ* (слѣдовательно, въ томъ разрядѣ извѣстій, который былъ осужденъ г. Булгаринымъ). Сколько неправдъ и противорѣчій насказалъ г. Булгаринъ! 1) Когда надобно было осудить *Инвалидъ*—онъ похвалилъ Revue. 2) Когда надобно было унизить *Мнемозину*—онъ уничтожилъ достоинство Revue. 3) Когда ему замѣтили тутъ противорѣчіе, онъ отдѣлался неправдой, сказавши, что въ Revue помѣщенъ полный разборъ *Инвалида*. 4) Такъ какъ въ Revue нѣтъ полнаго разбора, а онъ обѣщалъ помѣстить его въ Сын. Отеч.—онъ не помѣстилъ разбора.—Кромѣ того, всякій замѣтитъ, что онъ почитаетъ своихъ читателей или слѣпыми, или совершенно невѣждами, которые ничего не читаютъ кромѣ его журнала и вѣрятъ всему, что ни скажетъ г. Булгаринъ».

Доселѣ мы говорили о военныхъ отношеніяхъ г. Булгарина почти ко всей русской литературѣ, почти ко всѣмъ журналамъ и писателямъ русскимъ, существовавшимъ или существующимъ въ продолженіи послѣднихъ двадцати пяти лѣтъ. Теперь, любя справедливость, считаемъ священнѣйшею обязанностію нашею показать до какой степени способенъ г. Булгаринъ къ постоянству и неизмѣнности въ

дружескихъ отношеніяхъ. Кому не извѣстенъ трогательный союзъ, оборонительный и наступательный, въ которомъ уже двадцать пять лѣтъ находятся, къ чести и славѣ россійской словесности, сіи два достойные литератора— г. Булгаринъ и Гречъ? И этотъ союзъ ни разу не былъ нарушенъ даже со стороны г. Булгарина, сего по преимуществу неугомоннаго рушителя всевозможныхъ союзовъ!.. И за то, печать благодатности возлегла на семъ достойномъ союзѣ и не сходитъ съ него... Нечего и говорить, какъ выгоденъ былъ этотъ союзъ для обоихъ союзниковъ: онъ далъ имъ возможность взаимнаго самопрославленія. Правда, извѣстно изъ многочисленныхъ опытовъ, что союзники, особенно г. Булгаринъ, никогда не затрудняются замолвить доброе словцо въ свою пользу: такъ, напр., г. Булгаринъ сказалъ, въ 1829 г., въ 60 № «Пчелы», что нападать на «Выжигина», такъ весело разгуливающаго въ свѣтѣ—все равно, что прославляться храбростію геростратовою, чухонскимъ остроуміемъ и безпристрастіемъ шемякинскаго суда... Но все же неловко хвалить самого себя, особенно имѣя такъ много «ожесточенныхъ враговъ», какъ много имѣлъ и имѣетъ ихъ г. Булгаринъ. И вотъ почему, г. Булгаринъ хвалилъ больше г. Греча, а г. Гречъ хвалилъ больше г. Булгарина. Пушкинъ подъ псевдонимомъ Косичкина, такъ описываетъ это отрадное явленіе въ нашей литературѣ:

«Посреди полемики, раздирающей нашу бѣдную словесность, Н. И. Гречъ и Ѳ. В. Булгаринъ, болѣе десяти лѣтъ, подаютъ утѣшительный примѣръ согласія, основаннаго на взаимномъ уваженіи, сходствѣ душъ и занятій гражданскихъ и литературныхъ. Сей назидательный союзъ ознаменованъ почтенными памятниками. Ѳаддей Венедиктовичъ скромно призналъ себя ученикомъ Николая Ивановича; Н. И. поспѣшно провозгласилъ Ѳаддея Венедиктовича *ловкимъ своимъ товарищемъ*; Ѳ. В. посвятилъ Николаю Ивановичу своего *Димитрія Самозванца;* Н. И. посвятилъ Ѳаддею Венедиктовичу свою поѣздку въ Германію; Ѳ. В. написалъ для *Грамматики* Николая Ива-

новича хвалебное предисловіе; Н. И. въ *С. Пчелѣ* (издаваемой гг. Гречемъ и Булгаринымъ) напечаталъ хвалебное объявленіе объ *Иванѣ Выжигинѣ*. Единодушіе истинно трогательное!» (*Телескопъ*. 1831. ч. IV. стр. 135—136).

Въ «Сынѣ Отечества» (издававшемся гг. Гречемъ и Булгаринымъ) было объявлено, что «г. Булгаринъ остроумный, основательный критикъ, литераторъ образованный, просвѣщенный, умный, съ отличнымъ успѣхомъ владѣетъ языкомъ», что «имя г. Булгарина займетъ отличное мѣсто въ исторіи русской словесности», что «у него», г. Булгарина, «есть добрый капиталъ ума, свѣдѣній и дѣятельности», что «онъ», г. Булгаринъ, «въ короткое время занятія своего литературою опередилъ многихъ нашихъ ветерановъ, пріобрѣлъ на семъ поприщѣ несомнѣнную, лестную извѣстность и самъ, своими трудами, приноситъ честь нашей словесности», и что, «не говоря уже о польской, онъ, г. Булгаринъ, могъ бы заняться французской или нѣмецкою литературою съ равнымъ успѣхомъ» (С. О. 1824 г. № 38, стр. 210, и С. О. 1825 г. № 11., стр. 303, —304). Въ томъ же «Сынѣ Отечестра» 1824 года, № 38 (стр. 210—211) было объявлено, что г. Булгаринъ описываетъ моды «правильно, легко, свободно, пріятно, кратко и мило»... Но все это ничто въ сравненіи съ похвалою, которою превознесло г. Булгарина дружеское перо г. Греча въ «Сынѣ Отечества» 1831 года (№ 27): тутъ г. Гречъ объявилъ, что «у Булгарина въ одномъ мизинцѣ болѣе ума и таланта, нежели во многихъ головахъ рецензентовъ»... Остроумный Ѳеофилактъ Косичкинъ (псевдонимъ, подъ которымъ скрывался, какъ извѣстно, Пушкинъ) принялъ этотъ намекъ на себя и, оскорбленный имъ, удостоилъ оригинальную выходку г. Греча о чудномъ мизинцѣ его товарища, такимъ замѣчаніемъ:

«Г. Гречъ, въ журналѣ, съ жадностію читаемомъ во всей просвѣщенной Европѣ, даетъ понимать, будто бы въ мизинцѣ его товарища болѣе ума и таланта, чѣмъ въ головѣ моей! Отзывъ слишкомъ для

меня оскорбительный! Полагаю себя въ правѣ объявить во *всеуслышаніе всей Европы*, что я ни чьихъ мизинцевъ не убоюсь, ибо, не входя въ разсмотрѣніе головъ, увѣряю, что пальцы мои (каждый особо и всѣ пять въ совокупности) готовы воздать сторицею, кому бы то ни было, Dixi!» *Телескопъ*. 1831. ч. IV. стр. 414—415.

Но пока довольно о журнальномъ поприщѣ г. Булгарина. Намъ еще придется (для круглоты рѣчи) возвратиться къ нему; теперь обратимся къ другимъ родамъ его литературныхъ занятій. Мы уже упоминали объ «Избранныхъ одахъ Горація», которыя съ чужими примѣчаніями, безъ всякаго намека на «заимствованіе», издалъ г. Булгаринъ. Перепечатать латинскій текстъ одъ Горація и перевести ученыя примѣчанія къ нимъ съ польскаго на русскій языкъ,— для этого не требуется не только особеннаго, даже никакого знанія латинскаго языка. Г. Булгаринъ понялъ это— и доказалъ свое знаніе, тѣмъ что родительный падежъ имени богини Strenae превратилъ въ Strenaa, а именительный Strenua—въ Strenno, да еще спорилъ, что онъ правъ; и тѣмъ, еще, что въ книгѣ своей — «Россія» онъ латинское слово castriensis—лагерный, принялъ за кастрата и на этомъ основалъ, что римскій comes castriensis былъ не иной кто, какъ «начальникъ надъ евнухами»... Потомъ издалъ онъ (1823 г.) «Воспоминанія объ Испаніи». Несмотря на то, что подъ крыльями побѣдоносныхъ орловъ Наполеона, г. Булгаринъ самъ могъ многое видѣть и замѣтить въ Испаніи,—его «Воспоминанія объ Испаніи» напоминаютъ не одну Испанію, но еще и «Исторію войны португальской и испанской», соч. Бошана... Потомъ въ своемъ театральномъ альманахѣ — «Талія», г. Булгаринъ напечаталъ статью «о Драматическомъ Искусствѣ», подписанную буквами А. Ѳ. И что же?—«Ожесточенные враги» г. Булгарина доказали, что все хорошее въ этой статьѣ выбрано изъ курса Шлегеля о Драматургіи!... Мало этого: они объявили, что авторъ этой «заимствованной» статьи есть не кто иной, какъ г. Булгаринъ! Но не смотря на то,

что самъ г. Булгаринъ проговорился, а г. Гречъ прямо объявилъ, что статья «О Драматическомъ Искусствѣ» писана издателемъ «Таліи»,—не смотря на все это, г. Булгаринъ написалъ къ себѣ письмо отъ имени мнимаго А. Ѳ., въ которомъ письмѣ онъ пишетъ, будто въ статьѣ его были даже означены страницы шлегелева курса, изъ которыхъ что̀ заимствовано, но «издатель» руской «Таліи» г. Булгаринъ, нашелъ неприличнымъ обременять альманахъ учеными цитатами (т. е. указаніемъ на страницы книги, изъ которой взята статья, или хоть указаніемъ на имя автора!...) и исключилъ оныя». Внизу прибавлено: «Правда. Б.» (отъ чего въ послѣдствіи и произошло техническое выраженіе правда-буки, для означенія извѣстнаго рода правды...) По случаю всей этой исторіи, въ «Телеграфѣ» было замѣчено: «Г. Гречъ недавно сказалъ: ловкаго моего товарища трудно поймать С. О. 1825. № 11, стр. 302).—Нашли чѣмъ похвалиться, М. Г.! Все до времени!» (М. Т. 1825. ч. IV, стр. 12 особеннаго прибавленія).

«Россія въ историческомъ, географическомъ, статистическомъ» и еще не помнимъ, право, въ какихъ отношеніяхъ, была попыткою г. Булгарина сдѣлаться историкомъ. Несчастная попытка! Книга эта до того отзывалась компиляціею, наскоро и въ нѣсколько рукъ состряпанною, что не возбудила толковъ даже и во «враждебныхъ» г. Булгарину журналахъ, осталась недоконченною и перешла на лари толкучаго рынка и въ мѣшки букинистовъ. И такъ, ее мимо!

Обратимся къ нравоописательнымъ и нравственно-сатирическимъ статейкамъ, повѣстямъ, разсказамъ и романамъ, равно какъ и къ историческимъ романамъ г. Булгарина, которыми онъ особенно превозносился нѣкоторое время, и о которыхъ онъ теперь уже и самъ такъ рѣдко вспоминаетъ. Вѣрные нашему обѣщанію — говорить больше отъ

лица другихъ, нежели отъ себя собственно, приводимъ здѣсь нѣсколько сужденій объ этихъ произведеніяхъ г. Булгарина,—сужденій людей, совершенно чуждыхъ намъ и другъ другу.

Вотъ что сказано было въ той статьѣ «Московскаго Вѣстника», изъ которой мы уже сдѣлали выше довольно большое извлеченіе, о нравственно-сатирическихъ статьяхъ г. Булгарина:

Всѣ его статьи подъ рубрикою «Нравы» носятъ на себѣ общіе признаки всѣхъ его сочиненій, о которыхъ мы уже говорили. Все это пріятно и полезно для того круга читателей, который ограничивается немногими нравственными правилами и не требуетъ отъ писателя ни новыхъ, ни глубокихъ мыслей, какъ новой пищи уму дѣятельному. Для людей сколько-нибудь просвѣщенныхъ, для людей мыслящихъ и знакомыхъ съ литературами чужеземными, такого рода статьи вялы и скучны. Архипъ Ѳаддеичъ, главный и любимый герой его, есть человѣкъ пустой, съ одними общими мѣстами; онъ любитъ расточать давно извѣстные всѣмъ совѣты и, какъ поваръ въ баснѣ Крылова, богатъ поученіями. Въ своихъ нападкахъ на молодежь онъ платитъ дань своему возрасту; но, къ чести нашего времени, молодые люди, питая всевозможное уваженіе къ урокамъ опыта, къ совѣтамъ мудрой старости, мимо ушей пропускаютъ невоздержанные нападки стариковъ скучныхъ, запальчивыхъ и кропотливыхъ. Запозины, Цапцарапкины, Кривокозпины, лица, вводимыя г. Булгаринымъ, не принадлежатъ болѣе нашему времени. Это скудные остатки отъ того племени судей, которое поражено было перомъ Фонъ-Визина и Капниста.... Въ доказательство того, что наше мнѣніе внушено истиною, а не пристрастіемъ, мы безъ всякихъ *нападокъ* опять повторяемъ наше мнѣніе и утверждаемъ, что сочиненія его, не представляя намъ ни души высокой, ни теплоты чувства, ни глубокомыслія, ни ироніи, ни ѣдкаго остроумія, ни оригинальности взгляда, имѣютъ одни только отрицательныя достоинства, какъ-то: гладкость и правильность слога, иногда живость разсказа и другія качества, не всѣмъ равной мѣрѣ принадлежащія....

Въ томъ же «Московскомъ Вѣстникѣ» 1828 г. (№ 1-й стр. 77—79) еще прежде было высказано слѣдующее по поводу мелкихъ статей:

Сія теплота чувства или мысли, которая роднитъ душу читателя съ писателемъ, совершенно отсутствуетъ въ сочиненіяхъ г. Булгарина. Главный ихъ характеръ — безжизненность: изъ нихъ вы не можете даже опредѣлить образа мыслей въ авторѣ. Слогъ правиленъ, чистъ, гладокъ, иногда живъ, изрѣдка блещетъ остроуміемъ, — но холоденъ.. .. Г. Булгаринъ, кажется, завладѣлъ монополіею въ описаніи *Нравовъ;* но описатель безъ *своего* воззрѣнія на міръ, безъ глубокомыслія, съ одними только обветшалыми правилами, безъ проницательности, безъ ироніи, никогда не успѣетъ въ этомъ родѣ. У г. Булгарина вы не найдете свѣтлой, разнообразной, пестрой картины современныхъ обычаевъ и характеровъ; онъ смотритъ на нихъ не своими глазами, а сквозь стекло чужеземныхъ писателей; не русскіе нравы описываетъ, а передѣлываетъ чужіе на русскіе, подражая въ этомъ случаѣ нашимъ комикамъ. Часто встрѣчается у него забытый родъ аллегорій нравственныхъ безъ всякаго поэтическаго вымысла, безъ теплоты чувства, которыми отличаются аллегоріи г. Глинки; нерѣдко найдете смѣшные анахронизмы, какъ напр., въ *Предразсудкахъ*, которымъ нынѣ никто не вѣритъ; онъ часто, по по примѣру нашихъ старыхъ комиковъ, заставляетъ свои лица невинно высказывать другимъ свои недостатки, какъ будто они до того уже не тонки и не хитры, что не умѣютъ скрывать въ себѣ и дурнаго. Нехитрость лицъ, создаваемыхъ авторомъ, показываетъ недостатокъ искусства въ немъ самомъ. Мы говоримъ безпристрастно о сочиненіяхъ г. Булгарина и, въ случаѣ возраженій, готовы доказать примѣрами справедливость нашихъ замѣчаній.... Г. Гречъ, товарищъ г. Булгарина, доказываетъ достоинства его сочиненій числомъ подписчиковъ. Аргументъ важный;—но просимъ г. Греча заглянуть въ послѣднія страницы *Александроиды*, и онъ убѣдится въ непрочности своего аргумента, равно какъ и въ томъ, что число подписчиковъ не всегда зависитъ отъ достоинства произведеній.

Отзывъ «Литератур. Газеты», изд. барономъ Дельвигомъ, не менѣе замѣчателенъ по умѣренному и безпристрастному тону:

Вступленіе г. Булгарина на поприще литератора, и литератора русскаго, было явленіемъ замѣчательнымъ. Человѣкъ, не извѣстный дотолѣ никакими литературными трудами на нашемъ языкѣ, долго не жившій въ Россіи, отвыкнувшій, по собственному его признанію, отъ русскаго языка и, можетъ быть, хотѣвшій отвыкнуть отъ онаго,—вдругъ вступилъ на сцену въ нашей словесности, въ тѣхъ лѣтахъ, когда уже почти не учатся болѣе новымъ языкамъ, и вы-

ступилъ не съ стишками, или короткими статейками, а съ двумя журналами, которые, по разнообразію своего содержанія, требовали по крайней мѣрѣ достаточнаго знанія языка и большой гибкости слога. Что ни говори, а подвигъ смѣлый, хотя выполненіе онаго, особливо въ первыхъ произведеніяхъ г. Булгарина, отзывалось болѣе отвагой юноши, пускающагося на удачу, нежели предпріятіемъ человѣка зрѣлыхъ лѣтъ, взвѣшивающаго свои силы и испытующаго свои способности прежде, нежели примется за дѣло. Въ послѣдствіи онъ началъ писать свободнѣе, но и тогда, но и теперь еще въ сочиненіяхъ его замѣтенъ прежній недостатокъ: въ нихъ нѣтъ слога; и сему причиной слабое знаніе русскаго языка. Неумѣнье выразиться прямо и точно, заставляетъ сочинителя пускаться въ перифразы; а это дѣлаетъ фразы его растянутыми, вялыми, и потому скучными. Болѣе всего недостатокъ сей замѣтенъ въ драматическихъ мѣстахъ сочиненій г. Булгарина: въ разговорахъ дѣйствующихъ лицъ и въ живомъ разсказѣ дѣйствія, требующемъ быстроты и движенія .. Въ сочиненіяхъ г. Булгарина, все сглажено, обдѣлано, но безцвѣтно и безжизненно. Должно однакожь отдать справедливость авторскому чистосердечію г. Булгарина: онъ самъ признавался и не однажды, что г. Гречъ былъ его руководителемъ въ русскомъ языкѣ и даже исправлялъ въ его сочиненіяхъ ошибки противъ онаго... Скажемъ и то: обязательная пріязнь не всегда можетъ стоять на стражѣ. Какъ бы она ни пеклась о чужихъ умственныхъ дѣтищахъ, но на нее также находятъ минуты дремоты, и въ это время ошибки противъ языка, ошибки противъ смысла, ошибки противъ логики и другіе грѣхи литературные насильственно вползаютъ въ сочиненія литератора недоучившагося, подобно, какъ грѣхи нравственные прокрадываются въ душу человѣка нетвердыхъ правилъ. Такъ было нерѣдко и съ сочиненіями г. Булгарина: неправильное употребленіе словъ, странно обточенныя, ученическія фразы, мѣстами незнаніе управленія и даже спряженія глаголовъ, встрѣчаемыя въ статьяхъ, явно доказываютъ, что г. Гречъ не всегда могъ съ одинаковою внимательностью наблюдать за чистотой языка въ статьяхъ своего друга...

Въ *пяти* томахъ новаго изданія сочиненій г. Булгарина находятся и *статьи историческія*, и *военные разсказы*, и *литературныя повѣствовательныя статьи*, и *исторія*, и наконецъ *повѣсти*. Заглавія всѣхъ сихъ отдѣленій, вѣроятно, придуманы для того, чтобы болѣе заманить любопытство читателя разнообразіемъ содержанія; но неужели г. Булгаринъ печатаетъ и перепечатываетъ свои сочиненія только для тѣхъ, которые читаютъ безъ повѣрки?... Изъ

повѣстей г. Булгарина лучшая, по нашему мнѣнію, *Эстерка;* и если бы не разговоры и рѣчи, о которыхъ уже мы говорили въ 1-й нашей статьѣ, то она еще была бы лучше. Но какъ вообразить, напр., молодаго гайдамака, который, сидя у подножія Карпатскихъ горъ, пародируетъ монологъ *Царя Лира*: «Бушуйте, вѣтры! греми, громъ! припоминайте намъ, что мы не имѣемъ ни крова, ни пристанища!» Такой же недостатокъ соображенія (часто и недостатокъ воображенія) встрѣчается и въ другихъ повѣстяхъ г. Булгарина. Тѣ изъ нихъ, коимъ даны заглавія нравственныя (какъ-то: *Милость и правосудіе*, *Правосудіе и заслуга*, *Фонтанъ милости* и т. п.) и кои названы *Восточными повѣстями*, *Восточными сказаніями*, *Восточными сказками*, *Восточными апологами*, смотря по прихоти сочинителя, сбиваются всѣ на одинъ ладъ и похожи на нехитрыя варіаціи одной и той же темы. Въ нихъ нѣтъ ни примѣтъ востока, ни занимательности; любая сказка Мармонтеля, Флоріана и даже писателей гораздо низшаго разряда, болѣе удовлетворяетъ читателя, особливо въ отношеніи къ слогу. Помѣщенныя въ отдѣленіяхъ *Исторіи*, *Статей историческихъ*, и *Военныхъ разсказовъ*, статьи, въ коихъ самъ сочинитель играетъ роль, похожи на *быль съ примѣсью*, какъ сказано съ большою точностію въ заглавіи: *Ѳедора.* Укажемъ на нѣкоторыя изъ тѣхъ, коихъ названія выписаны нами выше; къ нимъ можно еще отнести: *Ужасную ночь* и *Приключенія уланскаго корнета подъ Фридландомъ.*

Но главную часть сочиненій г. Булгарина составляютъ такъ называемыя статьи *О нравахъ;* вѣроятно, онѣ наполнятъ всѣ 7 томовъ, недостающіе къ обѣщаннымъ двѣнадцати...

Хорошо быть гонителемъ пороковъ и проповѣдникомъ благонравія; полезно даже искоренять дурныя привычки и, для пользы образованности и вкуса, осмѣивать глупости и странности. Худо только то, когда сатирикъ лозою своею стегаетъ по воздуху; когда онъ охуждаетъ пороки, небывалые въ народѣ, или осмѣиваетъ странности, имъ самимъ выдуманныя. Что, если бы какой иностранецъ заговорилъ Китайцамъ, что они не соблюдаютъ постовъ, установленныхъ нашею церьковью, или сталъ бы подшучивать надъ тѣмъ, что они слишкомъ много танцуютъ и любятъ гоняться за европейскими модами? Такія, или подобныя нравственно-сатирическія обвиненія бывали однакожь у насъ, и именно въ статьяхъ г. Булгарина. Большая часть изъ нихъ писана была, какъ по всему видно, на скорую руку, для пополненія пустаго мѣста въ журналѣ, и первая встрѣтившаяся мысль, первая попавшаяся подъ руку книга: Жуи, Поль-де-Кокъ, словомъ, кто бы ни былъ, снабжала его предметомъ

для статьи *о правахъ Русскихъ*. Онъ не хотѣлъ или не имѣлъ времени зрѣло обдумывать: водится ли на Руси описываемый имъ порокъ или странность, и если водится, точно ли въ томъ видѣ, въ какомъ изображаетъ ихъ авторъ чужеземный? Онъ писалъ, какъ человѣкъ, не коротко знающій Россію и Русскихъ; и плодомъ ложнаго о нихъ понятія, былъ нравственно-сатирическій романъ: *Иванъ Выжигинъ*, въ которомъ болѣе, нежели въ другихъ сочиненіяхъ, авторъ относитъ къ общимъ нравамъ народа тѣ пороки и странности, коихъ едва-ли встрѣчается нѣсколько печальныхъ примѣровъ.

Страннѣе всего авторская самоувѣренность его въ непогрѣшительности своихъ наблюденій и приговоровъ. Не хвалить его сочиненій, значитъ сдѣлаться заклятымъ его врагомъ и накликать на себя колкости, въ которыхъ личность и неумѣренность выраженій часто выходитъ изъ всѣхъ возможныхъ границъ. Истинное дарованіе скромно, а посредственность всегда запосчива. Чиновникъ, который просидѣлъ нѣсколько лѣтъ въ одномъ мѣстѣ, едва имѣя способность для должности писца, и почти безъ пользы для службы, но съ пользою для себя, потому что, не хотя его лишить хлѣба и обходить другихъ ради его ничтожности, давали ему и чины и награды,—первый готовъ жаловаться на несправедливость, видя, что награжденъ больше его человѣкъ съ талантомъ, но младшій его и лѣтами и службой. Офицеръ, который для счета стоялъ въ ряду воиновъ, который не только не выдумаетъ пороху, но и не зажжетъ готоваго, и котораго *пуля-дура*, по выраженію Суворова, задѣла, можетъ-быть, нехотя, громче всѣхъ возвыситъ свой голосъ, и будетъ толковать о заслугахъ своихъ отечеству, о пролитой крови; сравнивая себя съ тѣмъ или другимъ изъ своихъ сверстниковъ, болѣе награжденныхъ за подвиги, достойные награды. То же видимъ и въ литературѣ: вездѣ посредственность шумитъ больше прямаго достоинства. На это можно бы, кажется, со всею откровенностію сказать симъ авторамъ того-сего, симъ любителямъ незаслуженныхъ похвалъ: «Мм. Гг.! вы хвалите сами себя, вы тще славитесь тѣмъ, что сочиненій вашихъ вышло столько-то изданій, что они читаются тамъ-то и тамъ-то: слѣдовательно, цѣль ваша достигнута, и болѣе существенные или вещественные плоды вашихъ трудовъ должны для васъ замѣнить дымъ славы, который, можетъ-быть, пучитъ и не насыщаетъ» (Лит. Газ. 1830 г. томъ II, стр. 79—80 и 87—85).

«Иванъ Выжигинъ» есть краеугольный камень литературной извѣстности г. Булгарина. Успѣхъ этого романа,

можно сказать безъ преувеличенія, былъ блестящій. Тотчасъ же расхватанный, прочитанный, и зачитанный, онъ былъ превознесенъ пріятелями автора *), похваленъ его союзниками, которые готовы были на всѣ моральныя уступки и пожертвованія, лишь бы обезоружить безпокойное «правдолюбіе» г. Булгарина, и былъ разбраненъ, во всѣхъ повременныхъ изданіяхъ, не захотѣвшихъ приступить къ насильственному союзу. Представляемъ здѣсь нѣсколько мнѣній о «Выжигинѣ», современныхъ появленію этого романа.

Менѣе таланта, но болѣе литературной опытности (нежели въ «Черномъ годѣ» или «Горскихъ князьяхъ», романѣ Нарѣжнаго), языкъ болѣе гладкій, хотя и безцвѣтный и вялый, находимъ мы въ *Выжигинѣ*, нравственно-сатирическомъ романѣ г. Булгарина. Пустота, безвкусіе, бездушность, нравственныя сентенціи, выбранныя изъ дѣтскихъ прописей, невѣрность описаній, приторности шутокъ,—вотъ качества, сего сочиненія, качества, которыя составляютъ его достоинство, ибо они дѣлаютъ его по плечу простому народу и той части нашей публики, которая отъ азбуки и катихизиса приступаетъ къ повѣстямъ и путешествіямъ. Что есть люди, которые читаютъ *Выжигина* съ удовольствіемъ и слѣдовательно съ пользою, это доказывается тѣмъ, что *Выжигинъ* расходится. Но гдѣ же эти люди?—спросятъ меня. Мы не видимъ ихъ, точно такъ же, какъ и тѣхъ, которые наслаждаются *Сонникомъ* и книгою *О клопахъ*; но они есть, ибо и *Сонникъ*, и *Выжигинъ*, и *О клопахъ* раскупаются во всѣхъ лавкахъ» (*Денница* альманахъ на 1830 годъ, статья: *Обозрѣніе Русской Словесности за 1829 годъ стр. LXXIII—LXXIV*).

Быстрое распространеніе фамиліи *Выжигиныхъ* (гг. Булгарина и Орлова) есть натуральное слѣдствіе давно признаннаго въ основа-

---

*) Одинъ изъ нихъ, В. Ушаковъ, разбирая въ послѣдствіи *Димитрія Самозванца*, г. Булгарина, воскликнулъ: «Приступаю къ разсмотрѣнію романа, сочиненнаго моимъ короткимъ пріятелемъ, Ѳаддеемъ Венедиктовичемъ Булгаринымъ, и о сихъ моихъ сношеніяхъ съ авторомъ предварительно увѣдомляю всѣхъ *острящихъ жало* на новое произведеніе *моего друга*» (*Моск. Телегр.* 1830 г., ч. 32-я, стр. 201). Подлинно:

Блаженъ, кто друга здѣсь по сердцу обрѣтаетъ!

телѣ ея достоинства, что онъ приходится не только *по сердцу*, но и *по плечу* читающей нашей публикѣ. По несчастію, наша читающая публика не есть самая высшая по тону и образованію. Лучшая часть нашего общества, не привыкшая еще порядочно разбирать по русски, по сю пору предается добродушному патріотическому сокрушенію, что у насъ, на отечественномъ языкѣ, почитать нечего. *Иванъ Выжигинъ*, какъ благоразумный дѣтина, выжженный обстоятельствами, не думалъ и хлопотать объ ея вниманіи. Не надѣяся на князи, отъ которыхъ самый блестящій талантъ награждается однимъ холоднымъ междометіемъ удивленія, онъ избралъ себѣ другую, менѣе высокую, но болѣе широкую дорогу, на которой встрѣченъ былъ радушнѣе и награжденъ тороватѣе. Онъ принаровился къ потребностямъ, вкусу и замашкамъ нашего средняго сословія, въ коемъ охота къ чтенію ежедневно усиливается болѣе и болѣе, и заполонилъ его вниманіе, выбравъ для своей кукольной комедіи — содержаніе, цвѣтъ и тонъ къ нему близкіе. Въ самомъ дѣлѣ, эта коллекція уродливыхъ образинъ, одѣтыхъ въ знакомыя платья, какъ могла не понравиться русскому народу который, любитъ показать изъ кармана фигу дурачествамъ, коихъ явно осуждать не смѣетъ? *Иванъ Выжигинъ* доставилъ вполнѣ ему это удовольствіе. Благодаря его каррикатурамъ, деревенскіе помѣщики могли вымѣщать горе, претерпѣваемое отъ уѣздныхъ судовъ и губернскихъ палатъ, громкимъ и раздольнымъ хохотомъ надъ грозными членами; миролюбивые купцы находили тайное удовольствіе посмѣяться себѣ въ бороду надъ спѣсивыми барами; пронырливые сидѣльцы, въ свою очередь, могли забавляться изуродованными харями суровыхъ своихъ хозяевъ; лакеи тѣшились надъ господами, горничныя пересмѣхали барынь. Коротко сказать — *Иванъ Выжигинъ* умѣлъ найдти чувствительную струну въ каждомъ сословіи русскаго народа и пошевелить ее пріятнымъ щекотаньемъ. Само собою разумѣется, что на это не требовалось большаго искусства. Занимательность представляемыхъ имъ каррикатуръ состояла не въ вѣрности, а въ уродливости. Обыкновенно, чѣмъ безобразнѣе и отвратительнѣе фигуры, выставляемыя на посмѣшище, тѣмъ хохотъ громче и продолжительнѣе. Попробуйте развѣсить подъ Новинскимъ характеристическія картины нравовъ, написанныя самою вѣрною и богатою кистью: ихъ никто и не замѣтитъ. Но вокругъ паяца, въ дурацкомъ колпакѣ, съ ослиными ушами, краснымъ носомъ, кривыми ногами и огромнымъ брюхомъ, всегда толпится и зрителей и слушателей видимо невидимо! *Иванъ Выжигинъ* зналъ хорошо эту слабость; воспользовался ею, какъ нельзя лучше, и награжденъ за то, какъ нельзя больше. Отъ выставленнаго

нимъ райка не было отбоя» (Телескопъ, 1831 года, Ч. III, стр. 101—102.

Но вотъ сужденіе о Петрѣ Ивановичѣ Выжигинѣ, отличающееся особеннымъ безпристрастіемъ къ его автору и совершенно спокойнымъ тономъ; не соглашаясь съ нимъ вполнѣ, мы все-таки приводимъ и его:

«Доселѣ г. Булгаринъ писалъ повѣсти и романы двухъ родовъ: такъ называемые нравственно-сатирическіе и историческіе. Къ первому роду принадлежитъ, какъ извѣстно, *Иванъ Выжигинъ*; ко второму *Димитрій Самозванецъ*. Въ *П. Выжигинѣ* онъ соединилъ оба сіи рода, соединилъ *Ив. Выжигина* съ *Самозванцемъ*, и, должно сознаться, исполнилъ сіе дѣло весьма неудачно. Сцены *историческія*, или вообще все, что̀ относится къ войнѣ 1812 года, такъ рѣзко отдѣляется отъ остальнаго—*правоописательнаго*, какъ масло отъ воды. Вездѣ видны вставки и, такъ сказать, заплаты изъ порфиры *Самозванца* на ветхомъ рубищѣ сироты—*Выжигина*. Даже второе названіе сего романа: *историческій* есть въ полномъ смыслѣ придаточное. Сіи вставки бросаются въ глаза при самомъ бѣгломъ чтеніи. Кажется, будто читаешь два романа, между собою совершенно различные, или сшитые другъ съ другомъ на живую нитку, безо всякой послѣдовательности и связи. Можно подумать, что авторъ вклеилъ происшествіе—1812 года, не прежде, какъ по окончаніи нравоописательной части романа, или, наоборотъ, вставилъ интригу, написавъ сперва историческія сцены.... Сему разногласію и безсвязности, кромѣ недостатка въ общемъ планѣ и въ правильномъ распредѣленіи частей, могла быть и другая причина: по моему мнѣнію, г. Булгаринъ имѣетъ талантъ преимущественно къ сценамъ историческимъ и не склоненъ къ нравоописательному роду. Онъ обладаетъ воображеніемъ, то есть способностію передавать вѣрно и живо то, чего былъ *самъ* нѣкогда свидѣтелемъ, что̀ изучалъ съ подробностію, словомъ, что̀ коротко ему знакомо изъ чтенія или изъ опытовъ жизни. Но, скажемъ прямо: онъ не одаренъ фантазіей, тою творческою способностію, которая созидаетъ характеры, даже приключенія, и придаетъ вымыслу не только правдоподобіе, но и дѣйствительность.... То, что̀ должно дышать жизнію, возбуждать къ себѣ участіе, завлекать возрастающимъ интересомъ у него вяло, безцвѣтно, холодно, утомительно. Ложная система нравоученія еще болѣе увеличиваетъ сіи недостатки. Въ подтвержденіе мною сказаннаго, разсмотрите историческія сцены новаго *Выжигина*, тѣ, въ коихъ является Наполеонъ съ своей блестящей свитою, съ своими маршалами, съ своей глав-

ной квартирой; возьмите даже прибытіе Кутузова въ армію, или картину Москвы до вступленія въ оную непріятеля: все это заманчиво, живо, естественно. Отъ чего? Отъ того, что онъ не отступаетъ отъ исторіи, вѣрно слѣдуетъ за своими вожатыми—Сегюромъ, Шамбре, Глинкою, или быть можетъ, за лучшимъ изъ вожатыхъ—своими воспоминаніями. Всю вторую половину III-го тома можно по справедливости назвать великимъ оазисомъ въ пустынѣ этого романа. Но шагъ за оазисъ—и васъ останавливаетъ безплодіе: нигдѣ тѣни, чтобы принять утомленнаго путника; нигдѣ источника, чтобы отвести душу. Дѣйствующія лица становятся неестественными, и чтобъ продолжить сравненіе — ходятъ на ходуляхъ, подобно жителямъ степей (Landes) во Франціи. Васъ встрѣчаютъ толпы героевъ великодушія или дюжины злодѣевъ и преступниковъ всѣхъ родовъ, для которыхъ мало бы висѣлицы, и которые, къ счастію рода человѣческаго, не существуютъ на свѣтѣ, ибо суть такія же безжизненныя отвлеченности, какъ и образцы всѣхъ возможныхъ добродѣтелей. («Телескопъ» 1831, ч. III, стр. 351—360).

Выписывая всѣ эти мнѣнія о романахъ г. Булгарина, мы равно далеки отъ того, чтобы признавать ихъ безусловно справедливыми и въ осужденіи и въ похвалѣ. Что̀ касается до осужденія, нѣкоторыя изъ выписанныхъ нами строкъ, при всей справедливости ихъ основанія, писаны явно не въ спокойномъ духѣ, а это показываетъ, что онѣ не безусловно справедливы. Съ другой стороны, мнѣніе о заманчивости, живости и естественности нѣкоторыхъ описаній и картинъ въ «Петрѣ Выжигинѣ», равно какъ и о предпологаемой способности г. Булгарина къ историческимъ сценамъ, кажется намъ преувеличеннымъ. Какъ бы то ни было, но для насъ во всѣхъ этихъ выпискахъ, извлеченныхъ изъ разныхъ повременныхъ изданій, изъ статей, писанныхъ людьми, совершенно другъ другу чуждыми, — во всемъ этомъ ясно видно, что мнѣніе о совершенномъ отсутствіи въ сочиненіяхъ г. Булгарина фантазіи и изобрѣтенія, о холодности и сухости его языка, впрочемъ по большей части гладкаго и чистаго,—что это было общимъ мнѣніемъ еще назадъ тому болѣе пятнадцати лѣтъ.

Теперь намъ легче высказать собственное наше мнѣніе о сочинительствѣ г. Булгарина,—и мы выскажемъ его sine ira et studio. Отнимать всякое значеніе у того необыкновеннаго успѣха, который пріобрѣтенъ «Иваномъ Выжигинымъ», объяснять его успѣхомъ «Сонниковъ» и книгъ «О клопахъ», — по нашему мнѣнію вовсе несправедливо, и критики г. Булгарина подобными выходками только лишали свои статьи того довѣрія у публики, котораго онѣ заслуживали по справедливости своего основанія. Если нельзя принять за безусловное правило, что большой расходъ книги всегда есть доказательство ея достоинства, — то нельзя также думать, чтобы большой расходъ книги не свидѣтельствовалъ, по крайней мѣрѣ, въ пользу ея условнаго, современнаго достоинства, въ доказательства того, что книга была въ потребности времени и лучше другихъ удовлетворила этой потребности. Вообще, незаслуженный успѣхъ есть болѣе рѣдкое явленіе въ литературѣ, нежели какъ объ этомъ думаютъ,—особенно большой успѣхъ. И мы ни мало не обинуясь скажемъ, что необыкновенный успѣхъ «Ивана Выжигина» былъ точно такъ же заслуженъ, какъ и необыкновенный успѣхъ «Юрія Милославскаго», хотя въ послѣднемъ романѣ мы видимъ несравненно больше и таланта, и вообще литературнаго достоинства, нежели въ первомъ. «Иванъ Выжигинъ», говорите вы, угодилъ насмѣшливости разныхъ сословій русскаго общества, рядомъ каррикатуръ одна другой уродливѣе и безобразнѣе. Хорошо! Но зачѣмъ же никто другой, кромѣ г. Булгарина, не подумалъ угодить этой насмѣшливости? Что̀ ни говорите, а на успѣхъ, на чемъ бы онъ ни основывался, всегда много охотниковъ; но успѣваетъ всегда только рѣшительный, смѣлый, предпріимчивый и трудолюбивый. До «Выжигина», у насъ почти вовсе не было оригинальныхъ романовъ, тогда-какъ потребность въ нихъ уже была сильная. Г. Булгаринъ первый понялъ это, и за то первый же былъ

и награжденъ сторицею. Правда, появленіе г. Булгарина на литературномъ поприщѣ въ качествѣ романиста было упреждено появленіемъ на томъ же поприщѣ Нарѣжнаго, человѣка съ замѣчательнымъ и оригинальнымъ талантомъ. Но это обстоятельство, во всѣхъ отношеніяхъ болѣе, нежели невыгодное, можно сказать—страшное для г. Булгарина, по многимъ причинамъ не могло вредить ему. Во первыхъ, Нарѣжный дебютировалъ, въ 1822 году, весьма плохимъ романомъ—«Аристіонъ, или перевоспитаніе», будучи до того времени едва извѣстенъ, какъ авторъ скопированной съ «Разбойниковъ» Шиллера драмы «Димитрій Самозванецъ» (1804 г.) и «Славянскихъ Вечеровъ»—надуто-риторическихъ поэмъ въ прозѣ (1809 г.); въ 1824 году издалъ онъ свои «Новыя Повѣсти», которыя слѣдовало бы правильнѣе назвать плохими повѣстями. Лучшія его произведенія—«Бурсакъ», романъ въ 4-хъ частяхъ (1824 г.) и «Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ», въ 3-хъ частяхъ (1825 г.),—несмотря на все ихъ достоинство, не могли вдругъ воспользоваться огромнымъ успѣхомъ, потому что, по ихъ содержанію, касающемуся одной Малороссіи, не имѣли общаго интереса для всѣхъ Русскихъ. Сверхъ того, самыя достоинства этихъ романовъ Нарѣжнаго были таковы, что нужно было время для уразумѣнія и оцѣнки ихъ. Притомъ, талантъ Нарѣжнаго былъ какой-то нерѣшительный: идя въ подробностяхъ и частностяхъ путемъ совершенно новымъ, въ общей завязкѣ и развязкѣ онъ шелъ путемъ избитымъ; богатый комизмомъ, онъ въ то же время былъ щедръ и на скучную мораль. Комическія же сцены его въ то время могли смѣшить публику, но не могли поставить его въ ея глазахъ на слишкомъ высокое мѣсто. Г. Булгаринъ взялся за дѣло иначе и, съ свойственною ему смѣтливостію, понялъ, что нападки на такъ называемыя злоупотребленія не могутъ не расшевелить сильно всѣхъ струнъ русскаго общества. И онъ не обманулся. Не имѣя фантазіи, вовсе чуждый

дара творчества, онъ замѣнилъ цѣлью художество, сатирою — вѣрность дѣйствительности, каррикатурою — характеры и образы. Взявши себѣ въ образецъ старинный романъ А. Измайлова: «Евгеній, или пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія» (первая часть напечатана въ 1799, вторая—въ 1801 году), онъ такъ искусно съумѣлъ тряхнуть стариною на новый манеръ, предпріятіе его всѣмъ показалось такъ оригинальнымъ, что успѣхъ превзошелъ ожиданія. Это очень понятно. Всегда такъ было, есть и будетъ въ литературахъ, возникшихъ не изъ собственной, родной почвы, а начавшихся подражаніемъ иностраннымъ литературамъ: сперва въ нихъ тотъ и беретъ, кто смѣлѣе и явнѣе подражаетъ иностраннымъ образцамъ, а потомъ тотъ, кто подраженіе иностраннымъ образцамъ лучше другихъ умѣетъ выдавать за что-то оригинальное, народное. Было время, когда наше юное общество въ «Синавахъ» и «Димитріяхъ Самозванцахъ» Сумарокова добродушно видѣло героевъ и лицъ русской исторіи; потомъ пришло время, и эта нѣсколько подросшая публика добродушно думала видѣть Россію и Русскихъ въ безцвѣтныхъ аллегорическихъ олицетвореніяхъ, играющихъ роль дѣйствующихъ лицъ въ «Иванѣ Выжигинѣ»; но черезъ годъ послѣ этого, прочитавъ «Юрія Милославскаго», она воскликнула: «вотъ это ужь настоящая Русь, настоящіе Русскіе!» Теперь она поняла, что въ литературномъ произведеніи только то лицо можетъ быть истинно-русскимъ, которое поэтически, художественно изображено, — и потому уже и въ «Юріи Милославскомъ» такъ же не видитъ русскихъ лицъ, какъ не видитъ ихъ болѣе въ «Иванѣ Выжигинѣ», въ трагедіяхъ и комедіяхъ Сумарокова. Но этимъ нисколько не отнимается заслуга ни Сумарокова, ни гг. Булгарина и Загоскина. Эти три писателя выразили своими произведеніями три постепенные момента русской литературы, три ступени, перешагнутыя ею въ ея развитіи. Благодаря младенческому со-

стоянію нашей литературы, успѣхъ Сумарокова былъ продолжителенъ; но успѣхъ г. Булгарина былъ уже только минутный: «Юрій Милославскій» наповалъ убилъ его «Димитрія Самозванца», «Петръ Ивановичъ Выжигинъ», какъ повтореніе двухъ первыхъ романовъ г. Булгарина, имѣлъ успѣхъ гораздо слабѣе, а «Рославлевъ» Загоскина и совершенно добилъ остатки «Петра Ивановича Выжигина». Но первый романъ г. Булгарина далъ ему огромную извѣстность, и, благодаря ей, онъ могъ еще нѣкоторое время писать романы, хотя не съ прежнимъ успѣхомъ, но все же не вовсе безъ успѣха. Надо сказать, что съ появленія «Выжигина», литература наша круто поворотила отъ стиховъ къ прозѣ. Въ какія нибудь пять-шесть лѣтъ съ того времени, явились новыя имена, новыя знаменитыя по успѣху и относительнымъ, условнымъ достоинствамъ произведенія: гг. Загоскинъ, Лажечниковъ, Вельтманъ, Ушаковъ, Бѣгичевъ и другіе, и ихъ романы и повѣсти. Но въ 1831 году появилась первая книжка «Вечеровъ на Хуторѣ», неизвѣстнаго дотолѣ автора, какого-то г. Гоголя...

Говоря о г. Булгаринѣ, мы не напрасно вспомнили о Сумароковѣ. Г. Булгаринъ давно уже жалуется на своихъ «враговъ», что они огласили его бездарнымъ сочинителемъ. Особенно горько и много жаловался онъ за это на «Отеч. Записки». Но это не совсѣмъ справедливо, и на этотъ счетъ мы готовы хладнокровно объясниться. Если г. Булгаринъ думаетъ, что природа снабдила его даромъ поэзіи, творчества,—то мы дѣйствительно считаемъ его положительно бездарнымъ писателемъ. Если же подъ словомъ «бездарный» онъ разумѣетъ отрицаніе всякихъ способностей къ чему нибудь, то мы никогда не думали считать его бездарнымъ. Даже въ его статьяхъ о нравахъ мы не отвергаемъ способности—хотя поддѣлываться подъ Адиссона и Жуи. Статьи эти сухи, блѣдны, безцвѣтны и, потому, скучны; ихъ такъ же невозможно сравнивать съ статьями въ

томъ же родѣ «Новаго живописца общества и литературы» Полеваго, какъ невозможно сравнивать произведенія прилежнаго ученика, копирующаго съ чужихъ картинъ, съ произведеніями даровитаго живописца, пишущаго съ натуры. Что же до «Ивана Выжигина» и даже другихъ романовъ г. Булгарина, — въ нихъ нѣтъ ни даже признака фантазіи, изобрѣтенія, творчества, поэзіи; но тѣмъ не менѣе о нихъ можно сказать, что въ нихъ выразилась посредственность, и никакъ нельзя сказать, чтобы въ нихъ выразилась бездарность. Сумароковъ теперь забытъ, читать его невозможно; таланта поэзіи въ немъ не было и признака; но все же онъ человѣкъ способный, и ему литература наша обязана многимъ. Сдѣлать то, что сдѣлалъ онъ, было не совсѣмъ легко, а потому, кромѣ его, и не нашлось никого, кто взялся бы за его дѣло. Сумароковыхъ у насъ было много, и нельзя сказать, чтобъ ихъ не было и теперь. Разница та, что теперешніе Сумароковы уже обязаны имѣть не одну способность, но купно и что-то въ родѣ дарованія, для того, чтобы успѣть хотя не на долго въ какой нибудь еще неизвѣданной отрасли литературы. Такъ Марлинскій съ блестящимъ успѣхомъ взялся за, будто бы русскую, повѣсть съ мелодраматическими страстями и ходульными характерами. Такъ иной брался за драму съ италіянскими художниками и за народно-русскую драму съ русскими собственными именами. И тутъ былъ успѣхъ; не на долго, но былъ. Въ свое время имѣлъ успѣхъ и г. Булгаринъ. Но это время прошло, и напрасно онъ нападками на «новую натуральную школу» думаетъ воротить невозвратимое... Видя невозможность писать романы, онъ хочетъ вознаградить себя за это униженіемъ новой школы, и какъ будто сдѣлалъ себѣ какую-то задачу ратовать противъ нея въ фельетонахъ «С. Пчелы»...

И вотъ мы естественнымъ путемъ возвратились опять къ журнальному поприщу г. Булгарина. Журналистикою

началъ онъ свое литературное поприще, журналистикою и оканчиваетъ его теперь. Но и здѣсь, какъ во всемъ, остался онъ вѣренъ самому себѣ: никакихъ принциповъ, никакихъ убѣжденій, одна литературная тактика, какъ и двадцать лѣтъ назадъ. Такъ же точно говоритъ онъ неумолкаемо о своей любви къ правдѣ и о своихъ «врагахъ». Такъ же точно хвалитъ сегодня то, что̀ бранилъ вчера, и что̀ снова будетъ хвалить завтра, смотря по отношеніямъ. Такъ же точно позволяетъ себѣ приписывать своимъ противникамъ то, чего они не дѣлали и не говорили и возражать на мнѣнія, которыхъ они никогда не обнаруживали. Такъ, напр., въ № 88 «Сѣв. Пчелы» прошлаго года, обвинялъ онъ «Отеч. Записки» въ постоянномъ будто бы стремленіи унижать г. Каратыгина 1-го, и не могъ представить изъ «Отеч. Записокъ» ни одного слова въ оправданіе взводимаго имъ на нихъ обвиненія. Такъ, въ 55 № «Сѣв. Пчелы» нынѣшняго года, г. Булгаринъ взводитъ на «Отеч. Записки» небылицу, будто онѣ сравнили Гоголя съ Гомеромъ, тогда-какъ «Отеч. Записки» прежде всѣхъ другихъ журналовъ посмѣялись надъ забавною московскою брошюркою, въ которой Гоголь сравненъ былъ съ Гомеромъ («Отеч. Записки» 1842 г., т. XXIII, Библіограф. Хроника стр. 46, и т. XXV, критики стр. 13). Какъ и прежде г. Булгаринъ позволяетъ себѣ, въ нападкахъ на своихъ противниковъ, выходить изъ чисто-литературной сферы. Напомнимъ читателямъ нашимъ небольшую статейку въ «Литературной Газетѣ» 1830 г. (томъ I, стр. 161):

Въ 39 № «Сѣверной Пчелы» помѣщено окончаніе статьи о VII главѣ «Онѣгина», въ которой, между прочимъ, прочли мы, будто бы Пушкинъ, описывая Москву, «взялъ обильную дань изъ *Горя отъ Ума* и, просимъ не погнѣваться, изъ другой извѣстной книги». Седьмая глава «Онѣгина» лучше всѣхъ защитниковъ отвѣчаетъ за себя своими красотами, и никто, кромѣ «Сѣв. Пчелы», не найдетъ въ описаніи Москвы заимствованій изъ «Горя отъ Ума». И Грибоѣдовъ и Пушкинъ писали свои картины съ одного предмета; не-

минуемо и у того, и у другаго должны встрѣчаться черты сходныя. Но изъ какой, просимъ не прогнѣваться, другой извѣстной книги Пушкинъ что-то похитилъ? Не называетъ ли «Сѣв. Пчела» извѣстною книгою «Ивана Выжигина», гдѣ находится странное раздѣленіе московскаго общества на классы, въ числѣ коихъ одинъ составленъ изъ архивныхъ юношей? Кажется, что такъ; и мы также обвинимъ Пушкина, хотя по какой-то игрѣ случая, его описаніе Москвы было написано прежде «Ивана Выжигина» и напечатано въ «Сѣв. Пчелѣ» почти за годъ до появленія сего романа. Обвинимъ Пушкина и въ другомъ, еще важнѣйшемъ похищеніи: онъ многое заимствовалъ изъ романа «Димитрій Самозванецъ» и сими хищеніями удачно, съ искусствомъ, ему свойственнымъ, украсилъ свою историческую трагедію «Борисъ Годуновъ», хотя тоже, по странному стеченію обстоятельствъ, имъ написанную за пять лѣтъ до рожденія историческаго романа г. Булгарина.

Въ той же «Литературной Газетѣ» (томъ II, стр. 161—163), напечатанъ протестъ противъ статьи г. Булгарина (въ 94 № «С. Пчелы» 1830 г.), въ которой онъ говоритъ, что въ чужихъ краяхъ странствуетъ нѣсколько юныхъ Россіянъ, которые «выдаютъ себя за первоклассныхъ русскихъ поэтовъ, философовъ и критиковъ, и всѣмъ журналистамъ обѣщаютъ сообщать извѣстія о Россіи, а болѣе о русской литературѣ». Въ числѣ этихъ юныхъ Россіянъ поименованъ г. Шевыревъ, «авторъ писемъ изъ Италіи, помѣщаемыхъ въ Московскомъ Вѣстникѣ, и соучастникъ по изданію сего журнала». Протестъ противъ этихъ, болѣе полицейскихъ, нежели литературныхъ извѣстій, былъ написанъ въ «Литерат. Газетѣ» самимъ г. Шевыревымъ.

И теперь г. Булгаринъ дѣлаетъ то же самое, какъ бы въ доказательство, что ему, какъ Віотійцамъ въ Аѳинахъ, все позволительно, все возможно... Чего не писалъ г. Булгаринъ въ подрывъ кредита у публики «Отеч. Записокъ!»... то увѣрялъ, что онѣ скоро прекратятся, за неимѣніемъ подписчиковъ; то говорилъ, что ихъ друзья съ умыслу распускаютъ слухи, будто онѣ издаются въ пользу какого-то бѣднаго семейства... Но вотъ самые свѣжіе примѣры:

въ 35 № «Сѣверной Пчелы» нынѣшняго года, г. Булгаринъ утверждаетъ, будто «Отеч. Записки» основаны были съ цѣлью уронить «Библіотеку для Чтенія»; будто какая-то компанія, составившаяся для изданія «Отеч. Записокъ», рѣшительно объявила извѣстное правило: «кто съ нами, тотъ не противъ насъ». Во первыхъ, нигдѣ не было объявлено, чтобы «Отеч. Записки» издавались компаніею, и на заглавномъ листкѣ ихъ всегда стояло только имя издателя и редактора этого журнала: откуда же и чего ради сочинилъ г. Булгаринъ компанію?... Далѣе: «Вызвали изъ Москвы критика, который своими парадоксами, печатаемыми въ «Молвѣ», заставилъ добрыхъ людей взглянуть на себя съ улыбкою удивленія (и такъ добрые люди, а въ числѣ ихъ и г. Булгаринъ посмотрѣли тогда на себя съ удивленіемъ??...) и поручили ему писать разборы книгъ, т. е. уничтожать все прошлое (не пошлое ли?) и рубить все: что не съ нами, то противъ насъ. Вотъ и пошла потѣха». Спросимъ г. Булгарина, ссылаясь на его совѣсть: все это литературныя ли подробности? А что, если къ этому мы скажемъ, что все это сочинено имъ самимъ и ничего этого не бывало?... Но ему до правды нужды нѣтъ, лишь бы, какъ говорится, насолить врагу, лишь бы взять не мытьемъ, такъ катаньемъ... Какой правдолюбъ!... Если бы кто печатно разсказалъ, что, напр., гдѣ-нибудь, хоть въ Китаѣ положимъ, есть старый журналистъ, онъ же и выписавшійся сочинитель, который, въ досадѣ, что его не читаютъ, а молодыхъ писателей читаютъ, еженедѣльно пишетъ на нихъ въ своемъ изданіи: «Сплетни», самую пошлую брань, хуже всякой всячины, и, чтобы дѣло шло успѣшнее, пригласилъ себѣ въ сотрудники одного бездарнаго и глупаго писаку, обруганнаго во всѣхъ журналахъ, привыкшаго узнавать своихъ критиковъ по когтямъ, какъ они привыкли узнавать его по ушамъ; что писака, доселѣ игравшій роль литературнаго зайца, травлею котораго по-

тѣшался весь свѣтъ, обрадовался, что въ рукахъ патрона своего можетъ быть грязною тряпкою, чтобы марать порядочныхъ людей, цѣпною собакою, чтобы лаять на людей лучше и выше себя, и тѣмъ добиться похвалы: «Ай моська! знать она сильна, что лаетъ на слона!»,—еслибы, говоримъ мы, кто-нибудь разсказалъ это печатно, въ этомъ не было бы ничего неприличнаго и, кромѣ китайскихъ журналистовъ, этого некому было бы принять на свой счетъ. Такъ и сдѣлалъ Пушкинъ (назвавшись Ѳеофилактомъ Косичкинымъ), сказавши: «Я человѣкъ миролюбивый, но всегда готовъ заступиться за моего друга; я не похожу на того китайскаго журналиста, который, потакая своему товарищу и въ глаза выхваляя его бредни, говоритъ на ухо всякому: «этотъ пачкунъ и мерзавецъ ссоритъ меня со всѣми порядочными людьми, мараетъ меня своимъ товариществомъ; но что̀ дѣлать? онъ человѣкъ дѣловой и расторопный» («Телескопъ», 1831 г., ч. IV, стр. 416—417).

Все это позволительно, какъ выдумка, не выдаваемая за истину; но входить въ частныя дѣла своихъ противниковъ, сочинять на нихъ цѣлыя исторіи,—это называется личностями и за это иногда и отвѣчаютъ личностію же... А что̀ же, если не это позволяетъ себѣ дѣлать г. Булгаринъ? Объ этомъ, кстати, должны мы разсказать цѣлую исторію. Въ 57 № «С. Пчелы» г. Гречъ пишетъ изъ Парижа слѣдующее о переводѣ повѣстей Гоголя на французскій языкъ:

«Г. Віардо, изданіемъ перевода сочиненій Н. В. Гоголя, принесъ намъ и нашей литературной репутаціи услугу, очень сомнительную, похожую на ту, которою, въ баснѣ Крылова, медвѣдь угодилъ спящему другу. Нельзя вообразить себѣ ничего каррикатурнѣе и смѣшнѣе этого перевода. Наблюдательность автора, его искусство схватывать едва уловимыя черты малороссійскаго быта, его мнимое простодушіе, его наивная замысловатость — все это изчезло подъ губительнымъ перомъ варвара-переводчика: остались нелѣпые вымыслы, уродливыя сцены, отвратительныя подробности, безвкусіе

и отсутствіе всякаго благородства и изящества литературнаго; вмѣсто живаго тѣла, видимъ безобразный скелетъ. Впрочемъ, всякъ воленъ переводить что́ и какъ ему угодно, а вотъ что̀ непростительно, и противъ чего мы возстаемъ всѣми силами: Г. Віардо, печатая юродивую повѣсть «Вій» въ Journal des Dèbats, снабдилъ ее предисловіемъ, въ которомъ говоритъ, что г. Гоголь продолжаетъ въ отечествѣ своемъ созданіе литературы оригинальной, обогащенной трудами двухъ умершихъ писателей ея—Пушкина и Лермонтова. Мы охотно отдаемъ справедливость уму и таланту г. Гоголя и ставимъ его произведенія на почетное мѣсто среди твореній нынѣшняго времени; признаемъ въ его *Тарасъ Бульбѣ* большія достоинства и красоты, всегда съ новымъ наслажденіемъ перечитываемъ *Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ* и не можемъ натѣшиться забавнымъ *Ревизоромъ*; но не дерзаемъ ставить его не только наравнѣ съ Пушкинымъ и съ Лермонтовымъ, да и непосредственно послѣ нихъ. У него нѣтъ главнаго—*нѣтъ языка*; онъ позабавитъ, позабавитъ публику своимъ разсказомъ, но не подвинетъ ее впередъ на пути литературнаго образованія, какъ Ломоносовъ, Карамзинъ, Жуковскій, Пушкинъ, Лермонтовъ. Журналы здѣшніе (??) смѣются надъ твореніями Гоголя въ переводѣ, и ставятъ его гораздо ниже дѣйствительнаго ихъ достоинства. Ихъ винить нельзя. Прочитайте переводъ повѣсти «Вій» и скажите, можетъ ли быть что уродливѣе и нелѣпѣе.

Что́ сказать на это? «Сѣв. Пчела» вольна находить переводъ г. Віардо варварскимъ, какъ мы вольны находить его превосходнымъ: на вкусъ товарища нѣтъ. Но чтобы французскіе журналы смѣялись надъ твореніями Гоголя въ переводѣ и ставили ихъ гораздо ниже дѣйствительнаго ихъ достоинства,—это—просимъ не прогнѣваться—чистая выдумка, остроумное сочиненіе «Сѣв. Пчелы»... Всѣ французскіе журналы, говорившіе о Гоголѣ, говорили о немъ съ величайшими похвалами. Но что̀ весь этотъ коммеражъ «Пчелы» въ сравненіи съ слѣдующею выходкою г. Булгарина:

«Я совершенно согласенъ со всѣмъ, что̀ Н. И. Гречъ говоритъ о сочиненіяхъ г. Гоголя и переводѣ ихъ на французскій языкъ; но бывъ въ пріятныхъ отношеніяхъ къ г. Віардо, я обязанъ, зная дѣло, представить, при обвиненіи его, обличительныя обстоятель-

ства (circonstances atténuantes). Недавно еще, въ текущемъ году, говорилъ я въ «Сѣверной Пчелѣ» (*Рѣзкая Всячина* № 22), что у насъ есть люди, которые ловятъ каждаго заѣзжаго чужеземнаго литератора, чтобъ *внушить* ему свои понятія о русской литературѣ и русскихъ литераторахъ, т. е. похвальное мнѣніе о своихъ собственныхъ и пріятелей своихъ сочиненіяхъ, и дурное о своихъ противникахъ и критикахъ. Такимъ образомъ *уловили* г. Марлье и другихъ; точно такъ же поймали и г. Віардо, увѣрили его, что первый писатель въ Россіи, изъ всѣхъ бывшихъ и будущихъ, есть г. Гоголь, и пригласили перевесть его сочиненія. Но какъ же переводить, когда г. Віардо, какъ мнѣ весьма хорошо извѣстно, не знаетъ трехъ словъ по русски? *къ нему отрядили одного изъ геніевъ новой натуральной школы, знающаго французскій языкъ (т. е. французскія слова)*, и онъ сталъ надстрочно переводить для г. Віардо сочиненія г. Гоголя, а г. Віардо долженствовалъ сообщить этому переводу слогъ и свойство французскаго языка, какъ говорится—*офранцузить* чужеземное слово. *Встрѣчая часто у г. Віардо этого генія новой натуральной школы, за бумагами, я однажды не могъ вытерпѣть, чтобъ не изъявить моего удивленія*, и *тогда г. Віардо* сознался *мнѣ*, что этотъ геній *переводитъ для него сочиненія г. Гоголя, съ которыми онъ намѣренъ познакомить Европу.*

И за тѣмъ, какъ бы насмѣхаясь надъ добродушіемъ своихъ читателей, или испытывая мѣру ихъ терпѣнія, г. Булгаринъ увѣряетъ, что «не выносить сору изъ избы»—его неизмѣнное правило!... А наконецъ, изъявляетъ сожалѣніе, что «г. Віардо самъ подвергнулся и подвергнулъ русскую литературу упрекамъ и порицаніямъ французскихъ литераторовъ!».. Впрочемъ, это сожалѣніе понятно: г. Булгаринъ не можетъ забыть, какъ незамѣтно и тихо скончались за границею переводы его сочиненій и, напуганный собственнымъ примѣромъ, до того не вѣритъ возможности успѣха русскаго писателя за границею, что и похвалы (да еще какія!) французскихъ критиковъ и журналистовъ Гоголю принимаетъ за брань... Но, спрашиваемъ, во имя кого и чего позволилъ себѣ г. Булгаринъ сочинять небывалыя исторіи о геніи, отправленномъ школою къ г. Віардо, о томъ, что этотъ геній знаетъ только французскія слова, а

не французскій языкъ, и что онъ видалъ его у г. Віардо за бумагами и т. п.? Ужь не во имя ли своего дивнаго мизинца, въ которомъ, по увѣренію г. Греча, ловкаго товарища г. Булгарина, болѣе ума и таланта, нежели во многихъ головахъ рецензентовъ? Въ такомъ случаѣ, не худо бы г. Булгарину подумать, что вѣдь мизинцы, хотя и не столь умные и талантливые, какъ его, есть и у другихъ, да еще съ придачею добрыхъ восьми пальцевъ другихъ названій... Впрочемъ, чего ожидать отъ такъ называемаго литератора, который позволяетъ себѣ, на старости лѣтъ, писать сказки о встрѣчѣ съ сотрудникомъ «Отеч. Записокъ», будто бы помѣшавшемся на idèe fixe («Сѣв. Пчела», **1846** г., **№ 16**), т.-е. который печатно называетъ своихъ противниковъ сумасшедшими!... Или, чего ожидать отъ фельетониста, который изъ ничего — изъ капустныхъ кочерыжекъ—поссорившись съ Полевымъ, недавно еще имъ превозносимымъ, позволилъ себѣ фразу о «писателѣ съ огороднымъ прозваніемъ» и о «какомъ-то квасникѣ, выучившемся грамотѣ самаучкою»?... («Сѣв. Пчела», **1842** г., **№ 142**).

Впрочемъ, во всемъ этомъ есть, какъ говоритъ г. Булгаринъ, «облегчительныя обстоятельства» (circonstances attènuantes). Ничего нѣтъ тяжелѣе, какъ быть калифомъ на часъ, даже и въ литературѣ. Было время, г. Булгаринъ чуть было не попалъ въ русскіе Вальтеръ-Скотты, но это время давно прошло, и хотя сотрудники «Пчелы», во время отсутствія г. Булгарина изъ Петербурга, и провозглашаютъ его время отъ времени русскимъ Вальтеръ-Скоттомъ («Сѣв. Пчела», **1843** г., **№ 86**), и даже самъ онъ, не отвергая подносимаго ему его сотрудниками титла, иногда величалъ себя для разнообразія Сократомъ («Сѣв. Пчела», **1843** г., **№ 57**)—однакожь публика видитъ теперь въ немъ только фельетониста «Сѣв. Пчелы», ни больше не меньше, совершенно забывъ объ его прежнихъ твореніяхъ. А кто

виною этому?—Гоголь, который успѣлъ своими сочиненіями изгладить изъ памяти публики даже сочиненія тѣхъ романистовъ, которые дѣйствительно не лишены даровитости и которые, своими романами, успѣли изгладить, изъ памяти публики романы г. Булгарина!... Есть отъ чего сдѣлать изъ Гоголя свою idée fixe, говоря словами г. Булгарина! Сначала Гоголь въ глазахъ г. Булгарина не имѣлъ ни искры таланта, но теперь, когда, по увѣренію г. Булгарина, Гоголь навлекъ на себя насмѣшки французскихъ литераторовъ, г. Булгаринъ уже много хорошаго признаетъ въ сочиненіяхъ Гоголя. Но все-таки не можетъ онъ простить ему основанія литературной школы, которая всѣхъ старыхъ писателей лишила всякой возможности съ успѣхомъ писать романы, повѣсти и комедіи изъ русской жизни, и которую, за это г. Булгаринъ очень основательно прозвалъ «новою натуральною школою», въ отличіе отъ старой риторической, или ненатуральной, т. е. искусственной, другими словами — ложной школы. Этимъ г. Булгаринъ прекрасно оцѣнилъ новую школу и въ то же время отдалъ справедливость старой;—новой школѣ ничего не остается, какъ благодарить его за удачно приданный ей эпитетъ... Но за что̀ же онъ безпрестанно, такъ сказать, задираетъ новую школу? Виновата ли она, что онъ, по собственному признанію, и доселѣ есть «ученикъ Карамзина и Дмитріева» («Сѣв. Пчела» 1843 г., № 129)?... Естественно, что значеніе и учителей стало теперь не то, что̀ было назадъ тому лѣтъ тридцать, ибо послѣ нихъ были другіе учителя — Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, не говоря уже о явившихся послѣ нихъ Гоголѣ и Лермонтовѣ. А объ ученикахъ нечего и говорить: волею или неволею, а пришлось имъ пережить свою минутную извѣстность. Какъ ни браните новую школу, а она уже не станетъ идти раковою походкою и писать по вашему. И притомъ, браня ее, вы ее прославляете. Всѣ видятъ, что вы сердиты на

нее за ея успѣхи. Иначе, вы не стали бы безпрестанно твердить о ней. Явится новое произведеніе, скажите о немъ ваше мнѣніе, и не сердитесь, когда другіе несогласны съ вами. А вы на чужое мнѣніе, несогласное съ вашимъ, смотрите какъ на ересь, какъ на преступленіе! На что̀ же это похоже: теперь цѣлые фёльетоны «Сѣв. Пчелы» наполняются совсѣмъ не хладнокровными доказательствами, что у г. Достоевскаго нѣтъ ни искорки таланта. А нѣтъ— такъ и нѣтъ, тѣмъ лучше для васъ. Скажите это и успокойтесь; а то подумаютъ, что вы не искренни, что вы, чего добраго, испугались новаго таланта, и хотите всѣхъ увѣрить, что онъ—не талантъ. Дѣйствуя такъ, вы только вредите себѣ...

Но ученаго учить—только портить, говоритъ пословица. Наше дѣло было представить въ легкомъ очеркѣ литературную дѣятельность г. Булгарина за двадцать пять лѣтъ. Какъ умѣли, мы это сдѣлали, и теперь отъ нашихъ воспоминаній объ его литературной дѣятельности обращаемся къ его собственнымъ «Воспоминаніямъ»; надѣюсь, что тѣ и другія взаимно будутъ служить другъ другу комментаріемъ...

ПРИЛОЖЕНІЯ.

РУССКАЯ БЫЛЬ.

На конѣ сижу,
На коня гляжу,
Съ конемъ рѣчь веду:
— Ты мой добрый конь,
Ты мой конь ретивой,
Понесись, что стрѣла,
Стрѣла быстрая;
Меня молодца неси
Ты за дальнія поля
И за синіе лѣса.
А ужь тамъ ли за полями
И за синими лѣсами
Есть богатое село,
А во томъ ли во селѣ
Высоки стоятъ хоромы,
А во тѣхъ ли въ хоромахъ
Есть дѣвичій теремокъ,
А во томъ ли теремку,
Живетъ дѣвица краса,
Ненаглядная моя.

Ужъ любилъ я красну дѣвицу.
Ужъ любилъ я ненаглядную,
Ужъ любила красна дѣвица,
Ужъ любила ненаглядная
Меня молодца удалаго.
Ужъ люблю я красну дѣвицу,
Ужъ люблю я ненаглядную;
Но не любитъ красна дѣвица,
Но не любитъ ненаглядная
Меня молодца удалаго.
Полюбила красна дѣвица
Боярина богатаго;
Промѣняла меня дѣвица
На добро его несмѣтное.
Ужъ я, добрый конь,
Мой ретивый конь,
Что сизъ-младъ орелъ
На тебѣ полечу,
Буйный вѣтеръ обгоню.
Какъ завижу село,
Моя кровь закипитъ,
Свѣтъ погаснетъ въ глазахъ,
И какъ разъ одержу
Я тебя у воротъ
У тесовыихъ;
Богатырскимъ голосомъ,
Молодецкимъ посвистомъ
Въ уши гаркну его:
«Гей! ты недругъ мой,
Мой разлучникъ злой,
Ты ко мнѣ выходи
Слово молвить одно!»
И онъ выйдетъ ко мнѣ.
Какъ соколъ на птицъ

На него напущу,
Буйну голову сорву,
Бѣлу грудь распорю,
Ретивое выну вонъ,
Положу его на блюдечко
На серебряное,
Къ моей милой понесу,
Таковы слава скажу:
«Ты любезная моя,
Ненаглядная моя!
Ты узнала ль меня?
Вотъ и я къ тебѣ пришолъ:
Скажи, рада ль ты мнѣ?
Вотъ гостинецъ тебѣ.
Ты спасибо скажи:
Мой гостинецъ хорошъ,
Мой гостинецъ пригожъ.
Ахъ, какъ кровь горяча!
Ахъ, какъ кровь-то сладка!
Ты отвѣдай ее,
Ею руки обмой,
Ей лицо окропи.
Какъ умильно глядитъ
Голова на тебя;
Посмотри на нее,
Поцѣлуй во уста
Во холодныя!
Что жь ты, дѣвица, дрожишь?
Что жь, измѣнница, дрожишь?
Аль не рада ты мнѣ?
Аль меня не ждала?
Аль мой даръ не хорошъ?
Аль мой даръ не пригожъ?»

ПЯТИДЕСЯТИЛѢТНІЙ ДЯДЮШКА,

или

СТРАННАЯ БОЛѢЗНЬ.

ДРАМА ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ.

Мгновенно сердце молодое
Горитъ и гаснетъ. Въ немъ любовь
Проходитъ и приходитъ вновь,
Въ немъ чувство каждый день иное:
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылаетъ сердце старика,
Окаменѣлое годами:
Упорно, медленно оно
Въ огнѣ страстей раскалено;
Но поздній жаръ ужь не остынетъ
И съ жизнью лишь его покинетъ.

Пушкинъ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

П. М. Горскій, Уѣздный помѣщикъ, пятидесяти лѣтъ.

Лизанька и **Катенька**, сестры-сироты, воспитанницы Горскаго, старшая двадцати, младшая восемнадцати лѣтъ.

В. Д. Мальскій, племянникъ и воспитанникъ Горскаго.

М. К. Хватова, уѣздная сплетница сваха.

Платонъ Васильевичъ и **Анна Васильевна**, дѣти Хватовой оба лѣтъ тридцати.

А. С. Коркинъ, племянникъ Хватовой, уѣздный исправникъ, лѣтъ тридцати.

О. К. Бражкинъ, отставной судья, старикъ лѣтъ пятидесяти-пяти.

Иванъ, старый слуга Горскаго.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1.

Иванъ *(метя комнату)*.

Баринъ скоро встанетъ, а я не успѣлъ еще и подмести порядкомъ. Вотъ того и гляди, что зазвонитъ. Да кто-же виноватъ? Поди туда — скажи то, все я, да я — съ ногъ сбился, а всталъ ни свѣтъ ни заря. О баринѣ что̀ и говорить: такого барина не найдешь въ цѣломъ свѣтѣ. Только вотъ что̀: онъ что-то все, то-есть, не такъ какъ прежде. Иной разъ и не узнаешь его—словно чужой. То молчитъ, то-есть, задумывается; ужь зачитался, что-ли? Ино мѣсто ни къ чему придерется—хоть-бы вчера: слышь — не туда книжку положилъ, такъ и бѣда, разбранилъ да и только! А ужь вотъ сколько служу — до сей, то-есть, минуты дурака не слыхалъ отъ него, а нынче и оселъ и скотина ни почемъ. Иной разъ вѣдь нѣшто боязно слово сказать ему, и ничѣмъ-то не угодишь — и то не такъ, и это зачѣмъ. Вытаращишь на него глаза, да только творишь молитву, а онъ и пуще; а послѣ вѣдь и самому станетъ совѣстно. Ужь словно напущенное, али съ глазу, или ужь не болѣнъ ли чѣмъ—въ добрый часъ молвить, въ худой помолчать. Вотъ и теперь—день рожденія, а боюсь. Прибрать хорошенько, чтобъ не придрался къ чему. Барышни ужь давно встали... Экія барышни-то—сущіе ангелы, прости

Господи! Эхъ, кабы да Лизаветѣ то Петровнѣ женишка Богъ хорошенькаго послалъ! А то что?—родства нѣтъ, сироты круглыя. Отецъ давно умеръ. Оно, хоть онѣ и зовутъ барина, то-есть, дяденькой, хоть онъ и любитъ ихъ, какъ родныхъ дочерей, да что?—все чужой, не свой. Оно, коли пойдетъ на правду, онъ любилъ покойника Петра Андреича, батюшку-то ихъ, пуще отца роднаго, и съ тѣмъ и взялъ ихъ на руки, чтобъ быть имъ отцомъ—да все вѣдь чужая кровь, что́ ни говори... *(Смотритъ въ окно.)* Да вонъ и онѣ сами, и Владиміръ Дмитричъ съ ними. Ну, это покончено—поскорѣй приниматься за другое.

ЯВЛЕНІЕ 2

Входятъ Лизанька, Катенька и Мальскій.

Кат. Ну, что́, Иванъ, дядинька проснулся, всталъ? Посмотри, какіе мы сдѣлали ему букеты! Но мой лучше всѣхъ, хоть Владиміръ Дмитріевичъ и споритъ, что его лучше. Не правда ли, Иванъ, вѣдь мой лучше?

Лиз. Эхъ, Катенька! Ты изъ за букета забыла и дядиньку. Что̀, Иванъ голубчикъ, всталъ дядинька?

Иван. Нѣтъ еще—заспались: знать, вчера долго книжку читали.

Кат. Ахъ, какъ дядинька обрадуется, когда, проснувшись, вдругъ увидитъ наши подарки!.. Я увѣрена, что ему больше всего понравится мой портфель съ охотникомъ и собакою. Я вышивала его цѣлые полгода и такъ ловко, что онъ ни разу не засталъ меня за работою. *(Слышенъ колокольчикъ.)*

Иван. Звонитъ—бѣгу! *(Уходитъ.)*

Кат. Ахъ, дядинька проснулся, всталъ! Постой-же, я знаю, что̀ надо сдѣлать! это будетъ забавно! Я приготовлюсь, какъ мнѣ поднести ему мой букетъ. Вотъ отворяется

дверь—онъ показывается—я подхожу къ нему съ важнымъ, торжественнымъ видомъ—важно присѣдаю—онъ подумаетъ, что я хочу произнести ему поздравительную рѣчь; *(улыбаясь Мальскому)* а у насъ кстати есть и господинъ ученый, которому ничего не стоитъ написать прекрасную рѣчь и пожалуй стихи,—вдругъ я оставляю свой важный видъ—брасаюсь ему на шею—обнимаю его—цѣлую—онъ называетъ меня шалуньею, вѣтренницею, глупою дѣвочкою, а самъ цѣлуетъ—у него на глазахъ слезы—онъ бережно беретъ мой букетъ, и я...

Лиз. Ахъ, ты глупенькая дѣвочка!

Кат. Да, госпожа скромница, что ни говорите, а глупенькая дѣвочка живетъ веселѣе васъ: вы все задумываетесь, мечтаете, словно влюбленная, а я пою, прыгаю, шалю; меня бранятъ и цѣлуютъ, цѣлуютъ и бранятъ.

Лиз. *(цѣлуя ее)*. Да какъ тебя и не цѣловать и не бранить! Ты мила, какъ ребенокъ и рѣзва, какъ ребенокъ.

Кат. Милая сестрица, вѣдь—странное дѣло!—и я люблю тебя за то, за что всегда браню—за то, что ты всегда тиха, важна, задумчива, точь въ точь, какъ героиня какого нибудь романа, съ блѣднымъ челомъ, голубыми глазами...

Лиз. *(прерывая ее поцѣлуемъ)*. Полно, полно, болтушка.

Кат. *(продолжая свою рѣчь)*. Да чего лучше! точь-въ точь, какъ Татьяна Пушкина; а я — я настоящая Ольга, пустенькая, веселенькая дѣвочка! Для сходства съ нею мнѣ не достаетъ только Ленскаго, да и это не велика бѣда: я надѣюсь, что Владиміръ Дмитріевичъ не откажется быть Ленскимъ новой Ольги; онъ же и Владиміръ и студентъ, хотя и не геттингенскаго, а московскаго университета; онъ же и поэтъ.

Мал. И полноте, Катерина Петровна; Владиміръ и студентъ—къ вашимъ услугамъ; но поэтъ—извините...

Кат. Полноте, не хочу и слышать. Еще въ прошлое

лѣто, какъ вы только что кончили свой курсъ и пріѣхали къ намъ кандидатомъ, вы читали мнѣ свои стихи, и очень милые, а теперь вдругъ стали важничать, играть роль философа, смѣяться надъ своимъ стихотворствомъ, какъ надъ глупостію дѣтства, изъ котораго вы уже вышли. Полноте, полноте; вы дали мнѣ слово быть моимъ кавалеромъ на все время, которое проживете съ нами и потому прошу мнѣ ни въ чемъ не противорѣчить: всѣ стихи, какіе ни прочту я въ «Библіотекѣ для Чтенія» и другихъ журналахъ—лучшіе изъ нихъ ваши, только подъ чужимъ именемъ, изъ скромности, или изъ гордости. Итакъ, я—Ольга Ларина, вы—Владиміръ Ленскій; до дуэли я васъ не допущу ни съ кѣмъ, но измѣнить вамъ для улана... не ручаюсь за вѣрность до гроба,

Лиз. (*съ легкимъ упрекомъ*). Ахъ, Катенька, ты вѣчно разболтаешься!

Кат. Ну полно, моя идеальная Татьяна; не все важничать—не худо иногда и подурачиться. Какъ хочешь, а я непремѣнно и сейчасъ же, въ кругу нашихъ знакомыхъ, отыщу тебѣ Онѣгина. Постой... Степанъ Алексѣичъ Коркинъ—хорошій человѣкъ, только не Онѣгинъ; Иванъ Семеновичъ Сахаркинъ — но это Пѣтушковъ; Никаноръ Николаевичъ Курочкинъ—но, это Богъ знаетъ, что̀ такое. Экая досада! въ нашемъ уѣздѣ нѣтъ Онѣгина! Какъ же мнѣ съ тобою быть, моя милая Татьяна? это жалко! Я, простая, не идеальная дѣвушка, которой поприще окончится прозаическимъ бракомъ безъ любви—я имѣю обожателя въ лицѣ Владиміра Дмитріевича Мальскаго; а ты, такая прекрасная такая достойная любви...

Лиз. Но .. Катенька, твои шутки становятся наконецъ нестерпимы, и если ты не замолчишь, я въ самомъ дѣлѣ разсержусь на тебя. Прошу тебя, не порть мнѣ нынѣшняго прекраснаго дня.

Кат. (*брасаясь ей на шею*). Сестрица! милая! душень-

ка! не сердись! Въ самомъ дѣлѣ, я такая глупая—вѣчно разоврусь и наговорю глупостей, которыя тебя выведутъ изъ терпѣнія, хотя у тебя и ангельскій характеръ.

Лиз. Ну, не сержусь, не сержусь—успокойся.

Кат. *(съ веселымъ видомъ)*. Не сердишься? — Докажи же мнѣ это самымъ дѣломъ!

Лиз. Чѣмъ хочешь—даю тебѣ слово.

Кат. Вы слышали, Владиміръ Дмитріевичъ? она дала слово. *(Цѣлуя Лизаньку)*. Милая сестрица, дядинька скоро выйдетъ—спрячемся за обѣ половинки двери. Владиміръ Дмитріевичъ скажетъ ему, что мы еще не выходили, онъ станетъ насъ бранить, а мы вдругъ выскочимъ и бросимся ему на шею

Лиз. *(смѣясь)*. Такъ въ этомъ то состоитъ твоя просьба! Чтобы утѣшить тебя, я должна сдѣлать глупость.

Кат. Сестрица! Лизанька! милая! сама знаю, что это глупо, но мнѣ хочется сдѣлать сюрпризъ, я помѣшана на сюрпризахъ.

Лиз. Скажи—на глупостяхъ.

Кат. Какъ угодно, только мнѣ хочется позабавиться надъ изумленіемъ дядиньки.

ЯВЛЕНІЕ 3.

Тѣ же и Горскій.

Гор. Но не удастся, шалунья.

Кат. и Лиз. *(обѣ вдругъ)* Дядинька! милый, любезный дядинька! *(бросаются ему на шею)*. Со днемъ вашего рожденія!

Гор. Здравствуйте, здравствуйте, мои милыя! Благодарю васъ.

Кат. Дядинька, возьмите поскорѣй мой букетъ и ска-

жите—не лучше ли онъ другихъ, а особенно букета Владиміра Дмитріевича?

Гор. Постой, вострушка, дай мнѣ опомниться—вѣдь я съ вами увидѣлся точно какъ десять лѣтъ не видѣлся съ вами, а вѣдь вчера, по обыкновенію, благословилъ васъ на сонъ грядущій. Володя, и ты тутъ! Чтожь ты стоишь въ сторонѣ, какъ чужой? Подойди-ко поцѣлуемся. Эй, Иванъ! *(Входитъ Иванъ)* тамъ у меня стоятъ фарфоровые кувшинчики—возьми три штуки, налей въ нихъ воды и подай сюда. Эти цвѣты надо сберечь... и зосохнутъ, — я все буду беречь. Много хранится у меня завялыхъ цвѣтовъ — все ваши, мои милыя; они завяли, а вы все разцвѣтаете.

Лиз. И мы нѣкогда завянемъ, милый дяденька.

Гор. Э! вотъ и мечтать, моя милая! Мечтать я и самъ люблю, только я больше люблю веселыя мечты.

Кат. Вашъ вкусъ сходенъ съ моимъ, дядинька: я тоже люблю мечтать, да только о танцахъ, о балахъ, гуляньяхъ, веселостяхъ?

Гор. Оно и подстать тебѣ, моя милая; но если ты и меня заставишь вмѣстѣ съ собою мечтать о танцахъ, балахъ, гуляньяхъ и веселостяхъ, такъ это будетъ немножко смѣшно.

Иван. *(несетъ фарфоровыя вазы для цвѣтовъ)*. Вотъ извольте-съ, батюшка баринъ. *(Уходитъ)*.

Кат. Да о чемъ же, дядинька, больше и мечтать, какъ не о веселостяхъ?

Гор. *(опуская въ воду букеты)*. А вотъ поживешь—узнаешь. *(Смотритъ съ восхищеніемъ на Лизаньку)*. Ахъ, Лизанька, какъ ты мила, моя милая! Какъ идетъ къ тебѣ этотъ важный, задумчивый видъ!.. Не люблю упылости—люблю, чтобы все на ходу пѣло, плясало, смѣялось... никому не прощу важности, а на тебя не могу налюбоваться. Мнѣ кажется я разлюбилъ бы тебя, еслибъ ты вдругъ сдѣлалась рѣзва, весела, игрива, вотъ, какъ эта шалунья. *(Цѣлуетъ Катеньку въ лобъ)*.

Кат. Стало-быть, злой дядинька, и мнѣ надо задумываться и мечтать, чтобъ вы меня не разлюбили?

Гор. Полно, Богъ съ тобою! Вотъ бы одолжила! Нѣтъ, вы обѣ должны быть такими, какъ вы есть—безъ перемѣны!

Кат. Ну то-то же, дядинька! А то я было испугалась. Ахъ, дяденька, что же вы мнѣ не скажете, что мой букетъ лучше всѣхъ?

Гор. Лучше, лучше, шалунья!

Кат. А какъ вамъ показался мой портфель, дядинька?

Гор. Безподобенъ, милая: собака какъ живая, а охотникъ, только что не говоритъ. А твой ландшафтъ, Лизанька, — я цѣлое утро, часа два, не сводилъ съ него глазъ. и цѣлый годъ буду смотрѣть на него—до новаго подарка. Тебя тотчасъ узнаешь по выбору. Могила, на ней полуразвалившійся крестъ и зеленая ёлка, а подлѣ дитя ловитъ бабочку; собачка, поднявши голову, какъ будто лаетъ на пролетѣвшую птицу... Подойди ко мнѣ, моя милая — дай поцѣловать себя. Не хватай моей руки, дай мнѣ свою: эта ручка стоитъ того, чтобы расцѣловать ее. Ну, присядемте. Сядь возлѣ меня, Лизанька. *(Сажаетъ ее подлѣ себя и держитъ ея руку въ своей).*

Кат. *(ставши передъ ними)*. Ахъ, дядинька! ха! ха! ха!

Гор. Что ты, вѣтренница, такъ хохочешь на меня? Или смѣшнѣе меня ничего не нашла?

Кат. *(цѣлуя его руку)*. Ахъ, дядинька, не сердитесь—но это, право, смѣшно.

Гор. Что-жь именно?

Кат. Да вы просто щеголь, сами не замѣчая того,—и чѣмъ старѣе становитесь, тѣмъ дѣлаетесь щеголеватѣе. Посмотрите: волосы у васъ причесаны волосокъ къ волоску, коричневый сюртукъ вашъ такъ и отливаетъ, а сидитъ на васъ, какъ будто вы въ немъ и родились.

Гор. *(съ досадою)*. Эта болтушка вѣчно выдумаетъ какую-нибудь глупость.

Кат. *(не замѣчая его досады и садясь подлѣ него по другую сторону, съ заботливостью сдуваетъ пушинку съ воротника его сюртука)*. Какъ пухъ пристаетъ къ бархату! Ахъ, дядинька, какъ идетъ къ вамъ этотъ золотистый жилетъ—вы въ немъ такъ авантажны, какъ будто помолодѣли.

Гор. Ты что ничего не говоришь, Лизанька? Эта трещотка отобьетъ себѣ языкъ.

Лиз. Милый дядинька, вы знаете, что я не разговорчива. Впрочемъ, начните—я постараюсь поддержать вашъ разговоръ.

Гор. Вотъ прекрасно! Я долженъ искать предмета для разговора, какъ темы для ученическаго сочиненія, а ей нужно стараться поддержать мой разговоръ!

Лиз. Но, милый дядинька, вы напрасно сердитесь и даете такой толкъ моимъ словамъ.

Гор. *(вскакивая)*. Вотъ прекрасно, моя идеальная красавица! Да когда же я сердился? Вы просто нападаете на меня съ нѣкотораго времени, сударыня!

Лиз. Боже мой! идеальная красавица, сударыня! *(плачетъ)*.

Гор. Ну, вотъ и слезы! славно начали день рожденія! *(Въ сторону)*. А все моя хандра, моя досада, которая такъ и ищетъ къ чему бы придраться! *(Вслухъ)* Лизанька! милая! не сердись!

Кат. Ахъ, дядинька, лучше бы вы прибили меня, — это бы мнѣ было легче, чѣмъ видѣть ея слезы. И что она вамъ сдѣлала?

Гор. Лизанька! ангелъ мой! *(Про себя)*. О, грубый, дикій характеръ, несчастный характеръ! *(Вслухъ)*. Лизанька, на колѣняхъ прошу у тебя прощенія! *(Становится на колѣни)*.

Лиз. *(вскочивъ съ мѣста)*. Дядинька, милый дядинька! что вы это? Встаньте, или я еще больше заплачу. *(Оти-*

раетъ глаза и улыбается). Видите ли, я не плачу. Боже мой, сколько важности пустому обстоятельству! На что̀ это похоже? А все моя глупая чувствительность!

Гор. Нѣтъ, чортъ возьми! это все моя грубость, моя раздражительность!

Лиз. Да развѣ мнѣ не пора ужь замѣтить, что вы съ нѣкотораго времени на себя не походите, и что этому не можетъ быть другой причины, кромѣ того, въ чемъ страшно увѣриться.

Гор. *(прерывая ее).* А что̀, что̀ такое думаешь ты? Какая причина? Я самъ не понимаю ее, скажи.

Лиз. Ваше здоровье, милый дядинька: оно должно быть разстроено; мнѣ тяжело объ этомъ подумать, не только вамъ сказать. Вамъ надо обратить на это все свое вниманіе; надо лѣчиться; у васъ какая-нибудь важная болѣзнь—не надо запускать ее.

Гор. *(въ раздумьѣ).* Да, конечно, мой характеръ измѣняется; но я ничего не чувствую, никакихъ припадковъ.

Кат. Милый дядинька—ваши лѣта—тутъ люди обыкновенно начинаютъ чувствовать трудность жизни.

Гор. *(съ безпокойствомъ и досадою).* Лѣта? Конечно̀... но что же я за старикъ такой? Я крѣпкаго сложенія — болѣнъ почти никогда не бывалъ. Правда, я не молодой человѣкъ,—но мнѣ странно, если я ужь кажусь старикомъ.

Кат. *(съ лукавою усмѣшкою).* А вамъ милый дядинька, не хочется казаться старикомъ?

Гор. *(су́хо).* Что́ же дѣлать! Если кажусь, то не могу запретить видѣть.

Кат. Послушайте, милый дядинька, по виду вы, конечно, не молодой, а пожилой человѣкъ, и притомъ такой любезный, такой милый, что въ васъ еще можно влюбиться— по крайней мѣрѣ, я съ охотою вышла бы за васъ замужъ, если бы вы въ меня влюбились. Но характеромъ — воля ваша — вы начинаете старѣться, и это огорчаетъ насъ.

Мы съ дѣтства привыкли видѣть васъ веселымъ, оригинальнымъ, милымъ, съ вѣчнымъ хохотомъ, съ всегдашнею улыбкою, и особенно съ частымъ припѣвомъ: «чортъ возьми!» который мы такъ любимъ...

Гор. Нашла что̀ любить! Вѣдь ты, Катинька, ужь не ребенокъ, и у женщинъ твоихъ лѣтъ всегда бываетъ, «чувство приличія», что ли, какъ вы его называете, а по нашему «скромность», и у нихъ ушки вянутъ отъ такихъ грубыхъ словъ и поговорокъ.

Лиз. Но, милый дядинька, у васъ это слово такъ мило— оно выражаетъ вашъ простой, откровенный и прямой характеръ.

Гор. Спасибо за любовь. Я вамъ вѣрю; но вы уже въ такихъ лѣтахъ, что мнѣ надо быть съ вами деликатнѣе, осторожнѣе. Къ тому же, вѣдь всѣ думаютъ, что я вамъ не дядя, а самый дальній родственникъ; нѣкоторые же и знаютъ, что я вамъ совсѣмъ не родня.

Лиз. Что̀ намъ до этого? Для насъ вы всегда—дядинька, нашъ милый дядинька. Иначе мы васъ не хотимъ называть. Такъ къ чему же всѣ ваши холодныя разсужденія о приличіи и осторожности? — не приличіе, а любовь дѣлаетъ людей счастливыми. Любите же насъ и обращайтесь съ нами какъ всегда, какъ съ дѣтьми, какъ съ своими добренькими дѣвочками,—какъ вы насъ всегда называли— и еще недавно называли, а теперь уже не называете больше къ нашему огорченію.

Гор. Какъ?... Да!... Но это странно — вы уже не дѣвочки, это, право, начинаетъ становиться грубо, неприлично.

Лиз. Э, милый дядинька! Вы никогда не были свѣтскимъ человѣкомъ, ваше обращеніе всегда было просто, но мило. Теперь вамъ ужь поздно переучиваться.

Гор. Поздно! Да, конечно.

Лиз. А мы совсѣмъ не невѣсты—мы ваши добрыя дочери, и все наше счастіе—никогда съ вами не разлучаться.

Кат. Прошу за другихъ не ручаться, по крайней мѣрѣ за меня. Я ужъ нашла себѣ обожателя въ особѣ Владиміра Дмитріевича и для него готова измѣнить дядинькѣ. Не краснѣйте, monsieur Мальскій, стыдливый кавалеръ.

Лиз. Ахъ, Катинька, ты всегда такъ далеко простираешь свои шутки!

Кат. Почему же и не шутить, когда весело шутить?

Лиз. И когда шутки всѣмъ пріятны—прибавь.

Гор. *(въ раздумьѣ)*. Да, Катенька, тебѣ замужъ...

Кат. Почему же именно мнѣ? Вѣдь Лизанька старше меня!

Гор. Да... конечно, но вѣдь она не говоритъ о замужествѣ, стало-быть,—не хочетъ; а ты...

Кат. Э, дядинька, молчанье ничего не значитъ, и кто молчитъ, тутъ-то... Не напрасно говорятъ: «Въ тихомъ омутѣ».., а кто говоритъ о замужествѣ, тотъ-то и не думаетъ о немъ.

Лиз. Катенька, ты опять съ своими глупыми шутками!

Кат. Не сердись, милая Лизанька, вѣдь ты знаешь, что я болтушка — меня всѣ такъ называютъ. Потому, я вру по праву, чтобъ оправдать свое названіе и не даромъ пользоваться привилегіею Нѣтъ, дядинька, что смотрѣть на ея сурьёзность и важность—надо ее замужъ. Я всегда прыгаю и смѣюсь, а она все задумывается и мечтаетъ, а это не даромъ. Нѣтъ, замужъ ее, замужъ! А чтобъ доказать, какъ искренно я этого желаю, я на первый разъ отказываюсь отъ своего обожателя, Владиміра Дмитріевича, и уступаю его ей.

Лиз. *(вся вспыхнувъ)*. Это ужъ не глупо, а пошло. Я... ты... всегда... это досадно... обидно. *(Плачетъ)*.

Гор. Катенька!—глупая дѣвчонка, чортъ возьми! Да ты лучше бы зарѣзала меня тупымъ ножемъ!... Плачетъ! Да — опять плачетъ! *(Рветъ на себѣ волосы)*. Болтушка безтолковая, только и знаетъ, что вретъ глупости. О, чортъ возьми!

Лиз. (*бросаясь на шею Катенькѣ*). Дядинька, дядинька! не браните Катеньку!

Гор. Какъ не бранить, чортъ возьми! Да за это убить мало! И приплела тутъ, чортъ знаетъ къ чему, Владиміра Дмитріевича, чортъ бы его побралъ!

Лиз. Дядинька, опомнитесь, не совѣстно ли вамъ! Чѣмъ тутъ виноватъ Владиміръ Дмитріевичъ? Одна дурочка сказала глупость, а другая расплакалась отъ этого, какъ ребенокъ. Вы видите, я не плачу.

Гор. Да ты плакала. Я видѣлъ твои слезы, а твои слезы такъ дороги мнѣ, такъ жгутъ мою душу, что за нихъ отъ меня не отплачутся и кровавыми слезами! Да, плакала отъ нея; чтобъ ей самой вѣкъ плакать! (*Посмотрѣвши кругомъ и остолбенѣвъ отъ изумленія*). Ба! да и она плачетъ. Ну, плаксивый же нынче день. А все я, чтобъ чортъ меня побралъ, дикаго волка, цѣпную собаку. Я съ ума сойду (*плачетъ*). Вотъ же вамъ!

Лиз. и Кат. (*въ одинъ голосъ*). Дядинька! милый дядинька! что̀ съ вами?

Гор. Ничего. Плачу отъ досады, отъ бѣшенства. Вѣдь родятся же люди съ такимъ грубымъ, бѣшенымъ характеромъ, какъ я. Вотъ бы душить такихъ при рожденіи!

Мал. Дядюшка, вы себя не помните—придите въ себя.

Гор. Конечно — что̀ и говорить... Придите въ себя!— легко сказать? Надѣлать глупостей, наговорить грубостей, пошлостей, заставить плакать. Да, пріятель, тебѣ легко прійдти въ себя—вѣдь ты и не выходилъ изъ себя! Тебѣ что́, что она плачетъ! По тебѣ, она хоть умри. Твое дѣло—сторона. Ты знаешь только вмѣстѣ гулять, рвать цвѣты—для дядюшки,—читать съ ними Пушкина, фантазировать, мечтать, заноситься за облока, красно разсуждать о любви—по профессорскимъ лекціямъ. Ты человѣкъ ученый, говорить умѣешь—тебя заслушаешься. Ты мастеръ и любезничать и подслуживаться, а тамъ, какъ дойдетъ до бѣ-

ды — тебѣ хоть трава не рости. Чортъ бы тебя взялъ— мечтатель проклятый, философъ недопеченый, поэтъ доморощенный!

Мал. Зная васъ хорошо, дядинька, я не сержусь и больше вамъ ничего не скажу.

Гор. Да тебѣ что?—Тебя чортъ не урезонитъ!

Мал. Полноте, дядюшка,—вѣдь вамъ самимъ послѣ будетъ совѣстно.

Гор. *(кланяясь)*. Благодарю за наставленіе. Впрочемъ, я ужь ушелъ отъ наставленій. Вонъ говорятъ, что я ужь кажусь старъ. Да! старъ и глупъ!

Мал. Дядинька, къ чему все это? Вѣдь я не заплачу— я крѣпокъ на слезы.

Гор. Что̀ и говорить!—У тебя слезы дороги.

Мал. За то вонъ у нихъ дешевы: посмотрите—онѣ обѣ опять плачутъ.

Гор. Да, пла́чутъ. Ну такъ давайте-же всѣ плакать. О, вы хотите уморить меня медленною смертію! Дѣти, дѣти! простите меня. Видно я и въ самомъ дѣлѣ боленъ! Да, боленъ—тяжко боленъ; а не знаю чѣмъ и отчего. Можетъ быть, это ипохондрія, близость къ сумасшествію. Я часто задумываюсь такъ, что не слышу, когда меня зовутъ. Прежде никогда не бывало со мною этого. Иногда безъ всякой причины такъ бываетъ тяжело, грустно, что умеръ бы. А иногда безъ причины радостно, да и радость-то какая-то тяжелая—хуже печали; а послѣ нея не смотрѣлъ бы на свѣтъ Божій. Иногда на весь свѣтъ такъ досадно, что радъ на комъ бы нибудь зло сорвать. А таковъ ли я былъ прежде? Бывало, лица печальнаго не могу видѣть. Хоть кого такъ назову бабой. Да, дѣти—боленъ, пожалѣйте.

Лиз. и Кат. (*обнимая его*). Дядинька, милый дядинька! безцѣнный дядинька! Мы будемъ молиться за васъ! Богъ помилуетъ васъ! *(Цѣлуютъ его самого и руки его)*.

Гор. *(Цѣлуя ихъ и рыдая)*. Мои милыя! что бы я былъ безъ васъ, а я такъ часто оскорбляю васъ моимъ дикимъ нравомъ. Володя, что ты стоишь — подойди ко мнѣ, дай руку, прости—я виноватъ; обними меня — поцѣлуемся. *(Мальскій бросается ему на шею)*.

Гор. Ухъ! легче стало! Наказалъ Богъ!

Лиз. Полноте, дайте слово не говорить объ этомъ.

Гор. Ахъ, Володя! обидѣлъ я тебя!

Мал. Вотъ еще! Я и не думалъ обижаться. Если въ моихъ словахъ была замѣтна досада, то не за себя, а за нихъ.

Гор. Ты ихъ любишь? А?

Мал. А развѣ вы въ этомъ сомнѣваетесь?

Гор. Да, Володя, люби ихъ, какъ сестеръ—безъ фантазій. Я этимъ ничего особеннаго не хочу сказать, но такъ—знаешь—осторожность не мѣшаетъ. Ты молодъ—воображеніе у тебя пылкое; Катенька вѣтрена, легка — она не увлечется сильнымъ чувствомъ. Лизанька...

Лиз. *(прерывая его)*. Дядинька!

Гор. Я, милая, ничего; я хочу только сказать, что у тебя воображеніе пылкое, романическое—ты наклонна къ мечтательности, сердце у тебя чувствительное; конечно, все это нисколько не предосудительно, но мнѣ случалось слыхать—и даже видѣть, что съ такимъ характеромъ часто бываютъ несчастны.

Лиз. Но къ чему все это? Я, право, не понимаю. Но не пойдти-ли намъ въ садъ—походить до обѣдни. *(Про себя)*. Это мученіе!

Кат. А будетъ ли у насъ нынче кто-нибудь?

Гор. Ты знаешь, милая, что день рожденія у меня—семейный праздникъ. Это всѣмъ извѣстно, и никто ко мнѣ не ѣздитъ въ этотъ день, развѣ по крайней необходимости.

Кат. Это жалко!

Гор. Почему-же? Развѣ тебѣ скучно съ нами? Или кто нибудь тебя особенно интересуетъ?

Кат. Вы, дяденька, столько надѣлали мнѣ вопросовъ, что я не знаю, на который сперва и отвѣчать вамъ. Съ вами мнѣ весело; но я люблю многолюдство, и люди для меня никогда не бываютъ лишними. Меня никто не интересуетъ особенно—да и кому?—всѣ такіе смѣшные — эти судьи, становые, помѣщики наши... А ихъ жены и дочки. Все это такъ смѣшно и такъ забавляетъ меня.

Гор. Шалунья, вѣтреница!

ЯВЛЕНІЕ 4.

Тѣ-же и Иванъ.

Иван. Батюшка баринъ, Николай Матвѣичъ—ей-Богу-съ.

Гор. Что, братъ Иванъ, ты никакъ ужь?

Иван. Нѣтъ-съ, батюшка баринъ Николай Матвѣичъ, ей-Богу-съ, и маковой росинки во рту не было.

Гор. А капелька ужь попала въ горло?

Иван. Ей-Богу-съ—ужь такъ водится. Нынче, то-есть, день вашего рожденія, а мы службу господскую знаемъ.

Гор. Да, я знаю, что ты безъ причины не хватишь.

Иван. И вѣстимо-съ, батюшка баринъ Николай Матвѣичъ, вѣстимо,—то-есть всегда или для праздника, или для барской то-есть радости-съ—для имянинъ, для рожденія... И что̀ бы я былъ за слуга вашей милости—вашъ то-есть день рожденія, батюшка баринъ Николай Матвѣичъ, а я бы то-есть не выпилъ-бы-съ. Вѣдь я еще служилъ вашему батюшкѣ, покойнику-то барину—царство ему небесное—Матвѣю Ильичу. Право слово-съ.

Гор. Вѣрю, вѣрю, Иванъ: вѣдь мы съ тобою не вчера познакомились.

Иван. А какъ же-съ! Право-съ! Сызмаленьку былъ на посылкахъ при батюшкѣ баринѣ Матвѣѣ Ильичѣ. Бывало—царство небесное — безъ Ванюшки ни на часъ: все будь

тутъ; а Ванюшкѣ-то было всего пять годочковъ—такъ въ барскихъ хоромахъ и росъ. И покойница барыня—царство небесное — то-есть матушка-то ваша Авдотья Семеновна. — тоже изволила жаловать. Бывало изъ своихъ рукъ изволила и розгами Ванюшку, а чашка чаю ужь всегда была и тарелка со стола. Вѣдь и батюшка-то мой покойникъ — царство небесное,—Филатъ Кузмичъ, былъ въ милости: онъ и камердинеръ то есть, и управляющій—право слово-съ.

Гор. Ну, хорошо, Иванъ! Пока ноги держатъ, ты тамъ не зѣвай. Послѣ обѣдни придутъ крестьяне — такъ чтобы за угощеніемъ не было безпорядка, суматохи. Всего было-бы вдоволь. Самъ не сможешь—скажи Алексѣю и Петру; а пока можешь—хлопочи до упаду.

Иван. То-есть накажи Богъ—коли споткнусь, пока не свалюсь совсѣмъ. Буду бѣгать, что легавая собака. *(Спотыкается въ дверяхъ).*

ЯВЛЕНІЕ 5.

Тѣ-же, кромѣ Ивана.

Гор. Это въ задатокъ, что не споткнется, пока совсѣмъ не упадетъ! Ну, дѣти, нынѣшній день нашъ! Сходимъ къ обѣднѣ, помолимся Богу—поблагодаримъ его за нашу мирную, счастливую жизнь; потомъ покажемся крестьянамъ, а остальное время—все наше! Теперь пойдемъ въ садъ—погуляемъ. Время прекрасное—солнышко ужь высоко. Пойдемте—надо пользоваться жизнію, дорожить каждою минутой. Маршъ! *(Подаетъ руку Лизанькѣ, а Мальскій—Катенькѣ).*

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1.

Лизанька *(одна)*.

Вотъ уже прошелъ мѣсяцъ со дня его рожденія, а дѣла идутъ все хуже и хуже. Да, видно приходится проститься съ нашимъ счастіемъ! *(Молчаніе)*. Боже мой! а какъ мы были счастливы! Одинъ день походилъ на другой, и всѣ дни были такъ прекрасны. Его любовь замѣняла намъ все и давала все. Для насъ онъ отказался отъ женидьбы, отъ службы—въ насъ нашелъ онъ свое счастіе, нами жилъ, дышалъ, мы были дѣти его сердца, предметы его попеченій, заботъ, думъ, самыхъ сновъ. А теперь какъ онъ перемѣнился! И отчего такая перемѣна? За что онъ такъ возненавидѣлъ меня? Что я ему сдѣлала? Отчего такая ненависть послѣ такой любви? Да—онъ ненавидитъ меня. Самыя ласки его ужасны: въ нихъ есть что-то странное—когда онъ жметъ мою руку, или цѣлуетъ меня, мнѣ становится и стыдно и страшно. Отчего это?—оттого, что его ласки принужденны, насильственны; онъ хочетъ ими загладить свое дурное обращеніе со мною, старается побѣдить свое ко мнѣ отвращеніе. Зачѣмъ онъ не скажетъ мнѣ прямо, что я ему ненавистна, что намъ надо разстаться. Я намекну ему объ этомъ—надо-же положить этому конецъ! *(Смотритъ въ окно)*. Вонъ они идутъ рука съ рукою, оба веселы, довольны, счастливы. Что-жь, надо-же кому-нибудь быть счастливымъ!

ЯВЛЕНІЕ 2.

Входятъ Катенька и Мальскій.

Кат. *(вбѣгая)*. Ахъ, Лизанька, ты все одна! Что ты тутъ дѣлаешь?

Лиз. Ничего.

Кат. И тебѣ не скучно? Погода такая прекрасная, въ саду такъ хорошо! А мы все бѣгали съ Владиміромъ Дмитріевичемъ. Представь себѣ, какая досада!—я стала спорить, что онъ меня не догонитъ.

Лиз. Странная фантазія! Ты впередъ могла знать, что проспоришь.

Кат. Да я понадѣялась на его любезность, а онъ былъ такъ невѣжливъ, что далеко перегналъ меня, да еще, поровнявшись со мною, насмѣшливо поклонился.

Лиз. Вамъ весело. Напрасно вы не продолжили своего удовольствія.

Кат. *(Мальскому)*. Ужь этого я вамъ никогда не прощу, невѣжливый кавалеръ. Это вы такъ изволите поступать, еще только объявивши себя моимъ обожателемъ: что̀-же будетъ, когда мы женимся? О, непремѣнно отомщу вамъ за это. Лизанька, милая! что ты такъ грустно смотришь? ты какъ будто встревожена?

Лиз. Ничего, Катенька; такъ просто — грустно. Мнѣ-бы хотѣлось поговорить съ тобою.

Кат. Очень рада! Я для тебя готова цѣлый день просидѣть въ заперти, не сходя съ одного стула, что̀ мнѣ всего труднѣе. Monsieur Мальскій, не угодно-ли вамъ уйдти? Это-же кстати, потому что вы до смерти надоѣли мнѣ. Ступайте, ступайте, и если я не позову васъ — не смѣйте являться мнѣ на глаза.

Лиз. Ахъ, Катенька, ты безъ глупостей ни на минуту!

Кат. А тебѣ ужь тотчасъ его и жаль стало! Нѣтъ, ихъ не надо баловать! Коли назвался обожателемъ, долженъ сносить прихоти, капризы, словомъ — быть рыцаремъ въ полномъ значеніи этого слова. А какъ пріятно повелѣвать этими господами, которые — наши покорные слуги, пока остаются еще въ качествѣ обожателей, а сдѣлавшись мужьями, становятся самовластными повелителями. О, я не от-

кажусь отъ правъ моего пола, и хоть одному, да ужь за всѣхъ отомщу. Подите, подите!

Мал. *(Кисло улыбаясь)*. Повинуюсь со всею готовностію. *(Уходитъ)*.

ЯВЛЕНІЕ 3.

Лизанька и Катенька.

Лиз. Ты, Катенька, кажется, всю жизнь намѣрена дурачиться.

Кат. Милая Лизанька, что-жь дѣлать, если это такъ пріятно!

Лиз. Но пора наконецъ подумать о чемъ-нибудь серьезно.

Кат. А о чемъ-же напримѣръ?

Лиз. Разумѣется, о томъ что ближе къ тебѣ,—напримѣръ, хоть о твоихъ отношеніяхъ къ Владиміру Дмитріевичу.

Кат. Да о чемъ-же тутъ думать?

Лиз. Ты любишь его?

Кат. Да кого-жь я не люблю?—я всѣхъ люблю.

Лиз. Ну, ты влюблена въ него?

Кат. Право, не знаю, потому-что не знаю, что такое влюбляться.

Лиз. Вышла ли бы ты за него замужъ?

Кат. Почему же и нѣтъ, еслибы онъ захотѣлъ на мнѣ жениться?

Лиз. А еслибы не захотѣлъ?

Кат. Тогда бы я вышла за другаго.

Лиз. За кого же?

Кат. Кто бы посватался. Разумѣется, если человѣкъ умный и благородный—за дурака и пошляка я не выйду. Уменъ, благороденъ, любезенъ, да если еще къ тому смѣшонъ немножко, такъ, что надъ нимъ можно будетъ иногда позабавиться, не оскорбляя ни его, ни себя—право, я не знаю, почему-бы не идти за такого?

Лиз. А я такъ, право, не знаю, Катенька, жалѣть о тебѣ, или завидовать тебѣ должно.

Кат. *(пожимая ей руку)*. Ни того, ни другаго, милая Лизанька. Каждый чувствуетъ, думаетъ и поступаетъ по своему, какъ создалъ его, какъ велѣлъ ему Богъ; а Богъ ко всѣмъ справедливъ: всякому далъ онъ свою долю горя и свою долю радости.

Лиз. *(грустно улыбаясь)*. Какъ, шалунья, такъ и тебѣ далъ онъ свою долю горя?

Кат. А какъ же? Иногда сгрустнется, иногда какъ-то не хорошо—на душѣ тяжело, внутри волненіе, на все досадно—и себѣ не рада. Впрочемъ, я счастлива тѣмъ, что рѣдко бываю въ такомъ состояніи и скоро выхожу изъ него.

Лиз. Я такъ напротивъ: поэтому наши доли не равны.

Кат. О, нѣтъ, милая Лизанька, равны, совершенно равны. Я не умѣю тебѣ это растолковать, но я чувствую это, и мнѣ кажется, что наши доли, какъ и доли всѣхъ людей, совершенно равны. Ты больше меня грустишь, тяжелѣе страдаешь—зато и твои радости сильнѣе. И потому, перестанемъ разсуждать и сравнивать, а будемъ лучше стараться терпѣливѣе сносить горе и беззаботнѣе предаваться радости, которую посылаетъ намъ добрый Богъ.

Лиз. Ахъ, Катенька, никогда не думала я слышать этого—ты меня радуешь.

Кат. А какъ-же-бы вы думали обо мнѣ, сударыня? Вы все смотрите на меня, какъ на балтушку и не подозрѣваете, что и я умѣю не только мечтать, но и философствовать. Впрочемъ, на меня рѣдко находитъ охота философствовать. Смѣяться, бѣгать, прыгать, пѣть—какъ-то занимательнѣе. Полно же, глупенькая умница, горевать—развеселись. А мнѣ пора къ моему кавалеру, котораго я такъ невѣжливо прогнала отъ себя.

Лиз. Итакъ, ты не можешь рѣшительно отвѣчать мнѣ—любишь его, или нѣтъ?

Кат. Любить, какъ ты понимаешь это слово, то-есть, какъ страсть, какъ счастіе или несчастіе цѣлой жизни? Нѣтъ—я не люблю его.

Лиз. А будешь ли такъ любить кого-нибудь и когда нибудь?

Кат. Повторяю тебѣ—его не люблю; что же до твоего другаго вопроса.... то я дамъ тебѣ на него отвѣтъ—когда-нибудь, въ то время, какъ полюблю кого-нибудь. *(Убѣгаетъ напѣвая).*

ЯВЛЕНІЕ 4.

Лизанька *(одна).*

Она, право, лучше меня! Она счастлива, а счастіе есть награда доброй и чистой души, чуждой эгоизма. *(Молчаніе).* Я хотѣла говорить съ ней о дядюшкѣ—и не сказала ни слова. Однако жь, мнѣ стало какъ-то легче. Она его не любитъ; но можно-ли ей повѣрить въ этомъ? Да еслибъ и такъ—мнѣ-то что въ этомъ? Вѣдь онъ все-таки только объ ней и думаетъ, только ею и занятъ. Однакожь этотъ разговоръ много, много облегчилъ меня. А отчего?... *(Качая головою).* А! понимаю тебя, хитрое и бѣдное сердце! Ты торгуешься съ судьбою, и если не успѣло ничего выторговать, такъ радуешься, что и другіе не счастливѣе тебя. *(Молчаніе).* Да, во мнѣ есть демонъ грѣха! Я ужь знаю ревность, зависть. Все, все противъ меня—и противъ всѣхъ насъ, да только одна я должна все нести на себѣ. Кто-то идетъ—голоса—дядинька.

Горс. *(За дверью).* Смѣлѣй, смѣлѣй, Ѳедоръ Кузмичъ. Она одна, въ гостиной.

ЯВЛЕНІЕ 5.

Входятъ Горскій и Бражкинъ.

Горс. Лизанька, я веду къ тебѣ гостя, Ѳедора Кузмича.

Браж. *(подходя къ рукѣ Лизаньки).* Здравствуйте, Лизавета Петровна; извините-съ.

Горс. Что тутъ за извиненія—люди знакомые, не въ первый разъ видитесь другъ съ другомъ. *(На ухо Бражкину)*. Ну, смѣлѣй!

Браж. *(на ухо Горскому)*. Постойте-съ, Николай Матвѣевичъ—не надо торопиться, чтобъ не испортить дѣла. Сперва не худо навести справки. *(Вслухъ)*. Какъ ваше здоровье, Лизавета Петровна? — то-есть — все-ли вы въ добромъ здоровьѣ? Другими словами—какъ васъ Богъ милуетъ?

Лиз. Благодарю васъ. Я, слава Богу, здорова. Вы какъ?

Горс. *(про себя)*. Здорова! а сама блѣдна, глаза красные — видно, что плакала. Ужь эти мнѣ слезы, чтобъ вѣкъ мнѣ ими плакать! *(Вслухъ)*. Лизанька, мы пришли къ тебѣ за дѣломъ. Присядемте-ко; садитесь-ко Ѳедоръ Кузмичъ, да начинайте, а то и конца не будетъ. Пуще всего не забывайте, что мое дѣло—сторона.

Браж. Да-съ, то-есть, оно извѣстное дѣло — кто въ бѣдѣ, тотъ и въ отвѣтѣ. *(Про себя)*. Ай! да у меня языкъ прилипъ къ нёбу, и губернатора такъ никогда не трусилъ. *(Вслухъ)*. Лизавета Петровна. *(Молчаніе)*.

Лиз. Чтò вамъ угодно, Ѳедоръ Кузмичъ?

Браж. Мнѣ? то - есть — чтò мнѣ угодно? Да-съ, есть дѣльце—то-есть, покорнѣйшая просьбица до васъ.

Лиз. Просьба? До меня?

Браж. Именно такъ-съ, просьбица къ вамъ, и резолюцію вы-же извольте наложить. Вамъ не безызвѣстно, что я три трехлѣтія сряду былъ, по волѣ дворянства, судьею-съ, имѣю пряжку за пятнадцатилѣтнюю безпорочную службу. Имѣньице тоже порядочное-съ—триста душъ по послѣдней ревизіи чистыхъ, незаложенныхъ, — нынче это рѣдкость; чинъ небольшой — титулярный, да вѣдь нынче чины-то даютъ не за выслугу-съ, а за ученье, не какъ прежде — то-есть, сколько ни служи, а имѣньица не

скопишь порядочнаго, чтобъ подъ старость кусокъ хлѣба имѣть-съ... (*Покашливаетъ сморкается и нюхаетъ табакъ*).

Горс. (*про себя*). Ну, занесъ! и смолоду уменъ не былъ, а подъ старость и совсѣмъ дуракъ сталъ! (*Вслухъ*). Да это Ѳедоръ Кузмичъ, слишкомъ подробно—прямѣе къ дѣлу!

Браж. Нѣтъ, ужъ позвольте, Николай Матвѣевичъ, я всегда поступалъ, какъ прилично солидному и благоразумному человѣку,—когда служилъ, такъ ни одной бумаги не подпишу бывало, пока секретарь десять разъ не растолкуетъ. Бывало, такъ перо въ руки и суетъ. Э, нѣтъ, Семенъ Авдѣичъ, говорю ему, я люблю аккуратность, чтобъ послѣ оглядокъ не было,—вѣдь неравенъ часъ. И такъ-съ, съ позволенья вашего, Лизавета Петровна, то-есть, всего титулярный,—за то пряжка за пятнадцатилѣтнюю безпорочную службу. Отъ батюшки-покойника досталось мнѣ сто душъ, да за покойницей женой взялъ я пятьдесятъ, а теперь у меня до трехъ-сотъ имѣется; то есть — не расточилъ, а пріумножилъ-съ. Три года живу въ деревнѣ безъ жены и безъ должности: занимаюсь устройствомъ хозяйства; дѣтей только двое-съ.—Ѳедюшѣ четырнадцать, а Маша по двѣнадцатому годочку,—воспитаны въ страхѣ Божіемъ.

Лиз. Я все это давно ужъ знаю, Ѳедоръ Кузмичъ—вѣдь вы старинный пріятель дяденькѣ, и я еще съ ребячества знаю васъ и дѣтей вашихъ, и помню вашу Авдотью Сидоровну. Такъ къ чему-же всѣ эти подробности?

Браж. Такъ нужно-съ для аккуратности больше, чтобъ послѣ оглядокъ не было. Позвольте все сказать. Послужной списокъ безъ замѣчаній—три года служилъ судьею. Изъ сего слѣдуетъ: наскучивъ вдовствомъ, которое несообразно съ моимъ характеромъ и привычками—иногда, знаете, скучно, коли и побраниться не съ кѣмъ,—я давно имѣлъ желаніе снова вступить въ законное супружество. Зная васъ, какъ дѣвицу, исполненную достоинствъ и воспитанія, бла-

горазумную, то-есть, солидную, я давно уже намекалъ Николаю Матвѣичу о моемъ намѣреніи предложить вамъ руку и сердце—какъ нынче говорятъ, да Николай Матвѣичъ все какъ-то нерѣшительно объяснялись по этому предмету, отговариваясь вашею молодостію и несообразностію нашихъ лѣтъ; но нынѣшній день я пріѣхалъ съ тѣмъ, чтобы требовать рѣшительнаго отвѣта, ибо дальнѣйшее отлагательство онаго особливо въ случаѣ отказа, можетъ быть причиною, что я упущу другую какую-нибудь выгодную партію.

Лиз. Я конечно...

Браж. (*перебивая ее*). Позвольте, позвольте, Лизавета Петровна, мнѣ всегда трудно приступить къ дѣлу и начать рѣчь, а коли ужъ началъ—люблю аккуратность. Дайте же мнѣ все сказать. Итакъ-съ, нынѣшній день я пріѣхалъ за рѣшительнымъ отвѣтомъ. Николай Матвѣичъ сказали мнѣ, что они-де не хотятъ ни приневоливать, ниже совѣтывать—то-есть, по нынѣшнему; да это съ одной стороны и хорошо—то есть, показать видъ, что не хочу неволить, то-есть—даю волю. Пойдемте, говорятъ, Ѳедоръ Кузмичъ, вмѣстѣ, она-де теперь въ гостинной, и вы при мнѣ и сдѣлаете предложеніе. Не захочетъ—жаль, а дѣлать нечего; согласится—очень радъ войдти въ родство съ стариннымъ пріятелемъ и почтеннымъ человѣкомъ. Вотъ-съ мы къ вамъ и пришли. Конечно-съ, я человѣкъ не молодой—мнѣ ужь за пятьдесятъ; да за то нравъ у меня смирный—мухи не трону. Послѣ обѣда люблю всхрапнуть, а вечеркомъ главное занятіе въ мушку; очень пріятная игра-съ — я васъ выучу. Вообще я надѣюсь, что вы, какъ благоразумная дѣвица, будете смотрѣть больше на существенность. Надо, чтобъ мужъ былъ человѣкъ опытный, могъ руководить жену, не пилилъ-бы, а любилъ. (*Встаетъ и кланяется*). Вотъ теперь я сказалъ все аккуратно, и жду вашего рѣшенія. Не прикажите ли, какъ велитъ законъ, выйдти просителю изъ присутствія?

Лиз. Да-съ — конечно — мнѣ надо подумать — я скажу дядинькѣ.

Браж Хорошо-съ, Лизавета Петровна, я оставляю васъ съ нимъ однихъ-съ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 6.

Лизанька и Горскій.

Лиз. Дядинька, что̀ все это значитъ?

Гор. Какъ что̀? Развѣ ты не видѣла и не слышала?

Лиз. Вы нынѣшній день необыкновенно веселы, дядинька! Если васъ такія комедіи забавляютъ, то я при всемъ моемъ отвращеніи къ нимъ, готова забавлять васъ.

Гор. Что̀ это значитъ?

Лиз. Какъ что̀? Развѣ вы не видѣли и не слышали?

Гор. Да не понялъ.

Лиз. Я также, дядинька.

Гор. Кто жъ намъ растолкуетъ?

Лиз. Начнемте съ васъ. Скажите мнѣ, что̀ значитъ сватовство Бражкина?

Гор. Какъ что̀? Оно значитъ ни больше, ни меньше, какъ сватовство.

Лиз. Но, милый дядинька, вы мучите меня вашимъ тономъ. Бога ради, скажите—вы шутите или нѣтъ?

Гор. Но, моя милая, развѣ я говорилъ что-нибудь — говорилъ Бражкинъ, а я только слушалъ. Коли онъ тебѣ не нравится—я не принуждаю тебя.

Лиз. Но развѣ вы могли подумать, что онъ можетъ мнѣ понравиться?

Гор. Это не мое дѣло, милая. Мой долгъ былъ довести до твоего свѣдѣнія, а во всемъ прочемъ — мое дѣло сторона.

Лиз. Развѣ вамъ неизвѣстно, что я и прежде знала о за-

тѣяхъ Бражкина? Вы также о нихъ знали. Неужели же вы не могли отказать ему наотрѣзъ, не приводя его ко мнѣ и не заставляя меня слушать пошлости стараго глупца?

Гор. А почему же онъ глупецъ? Не нравится — дѣло другое, и въ этомъ тебѣ никто не указъ. Но человѣкъ онъ добрый, почтенный.

Лиз. Да, въ самомъ дѣлѣ, и достаточный. Я теперь даже не вижу причины, почему бы должна была отказать ему.

Гор. Да, ты вольна и отказать и дать слово, это совершенно въ твоей волѣ. Но я.... мой долгъ. Тебѣ не вѣчно-же жить у меня. Я становлюсь старъ, ты въ такихъ лѣтахъ, что надо подумать, чтобъ тебѣ пристроиться. Замужество одна дорога для женщины.

Лиз. Вы, дядинька, такъ основательно разсуждаете и такъ убѣдительно говорите, что я невольно соглашаюсь съ вами. Въ самомъ дѣлѣ—я сирота; у меня нѣтъ отца, матери. Мое положеніе со дня на день становится страннѣе, тяжелѣе. (*Звонитъ*). Маша! Маша!

Гор. Что̀ ты хочешь дѣлать?

Лиз. То, за что̀ вы меня похвалите. (*Входитъ Маша*). Позови сюда Ѳедора Кузмича.

Маш. Слушаю-съ. (*Уходитъ*).

Гор. Зачѣмъ-же его сюда? Я лучше самъ скажу ему, что ты несогласна.

Лиз. Да я совсѣмъ не то хочу сдѣлать, дядинька. Я въ такихъ лѣтахъ, что надо подумать, какъ бы пристроиться; вы становитесь стары; замужество одна дорога для женщины. (*Молчаніе*).

Гор. Да, такъ, конечно. Но что̀ же ты хочешь сдѣлать?

Лиз. Выйдти за Бражкина, а сперва сказать ему объ этомъ.

Гор. Сумасшедшая, злая дѣвочка! Да кто же тебя принуждаетъ къ этому? Выйдти за стараго дурака, подъячаго!

Лиз. Нѣтъ, дядинька, за добраго, почтеннаго человѣка.

Гор. А!

Лиз. Чтó жь тутъ страннаго? Не сами ли вы хотѣли этого?

Гор. Хотѣлъ?

Лиз. Да, дядинька, хотѣли, и почему бы вы ни хотѣли—я исполню ваше желаніе. Да! ваше желаніе, дядинька—вы не будете больше видѣть въ своемъ домѣ той, которую вы прежде такъ нѣжно, такъ отечески любили, а теперь....

Гор. Силы небесныя! Чтò говоритъ она! (*Падаетъ въ кресла*). Но нѣтъ, — это или во снѣ, или я съ ума сошелъ.

ЯВЛЕНІЕ 7.

Тѣ же и Бражкинъ.

Браж. Чтò-жь хорошенькаго скажете, Лизавета Петровна? Какое рѣшеніе воспослѣдовало? Надо все сдѣлать по формѣ, а главное — аккуратно. Чтò же вы мнѣ скажете?

Лиз. Я—рѣшилась. (*Горскій пристально и дико смотритъ на на нее*).

Браж. Рѣшились? Скоренько — надо-бы попросить отсрочки дня на три; подумать, то-есть — такъ водится, такая ужь форма.

Лиз. Я рѣшилась сама сказать вамъ.

Браж. Да, что вы то - есть согласны, не хотите замедлить рѣшенія судебными формами. Да, дѣло дѣвичье, молодое—формъ не знаютъ. Да оно и лучше—что тянуть!

Лиз. Да я рѣшилась сама сказать вамъ, не утруждая дядиньки, что хотя я и чувствую цѣну чести, которую вы мнѣ дѣлаете... Вы человѣкъ почтенный, достойный любви, но извините—я не могу... (*Упадаетъ въ изнеможеніи на стулъ, закрывая глаза руками*).

Браж. Какже? Что̀ такое? То-есть...

Горс. (*вскочивъ съ креселъ*). Ты не понялъ, такъ я тебѣ растолкую. Видишь ли, въ чемъ дѣло, Ѳедоръ Кузмичъ? ты человѣкъ добрый, хорошій — мы съ тобою старинные пріятели, я тебѣ желаю всякаго счастія; но ищи себѣ другой невѣсты, а на насъ не сердись! Понятно?

Браж. То-есть — затылокъ-съ, Николай Матвѣичъ?

Горс. Да, какъ хочешь; только въ рекруты на этотъ разъ ты не попалъ. Но пойдемъ отсюда: Лизанька, видишь, нездорова.

Браж. Да какже-съ? Помилуйте, Николай Матвѣичъ. Я вѣдь-было совсѣмъ обнадѣялся. И вдругъ, въ мои лѣта, получить такой аффронтъ отъ дѣвочки....

Горс. А, чортъ возьми! еще сталъ толковать! Недоволенъ, такъ подавай просьбу по формѣ!

Браж. Да постойте-съ, Николай Матвѣичъ, вѣдь вы могли бы давно сказать мнѣ это, а то вы сами позвали меня къ Лизаветѣ Петровнѣ; что-же-съ, развѣ на смѣхъ?

Горс. А, чортъ возми! Ну, да!—я сдѣлалъ глупость—виноватъ, Ѳедоръ Кузьмичъ, но объ этомъ больше ни слова! Коли хочешь — отобѣдай у меня нынче, и будемъ по старому пріятелями; не хочешь, какъ хочешь, только чтобы объ этомъ и помину не было. А теперь пойдемъ.

Браж. Вотъ что-съ, Николай Матвѣичъ,—отойдемте въ сторону—я вамъ сообщу по секрету. (*Отводитъ его въ сторону и говоритъ вполголоса*). Обѣдать я останусь, а ссориться намъ, не нужно-съ; можетъ-быть, дѣло обойдется и такъ-съ. Лизавета Петровна, можетъ-статься, еще и одумаются.

Горс. Да, пусть будетъ хоть и такъ; только уговоръ лучше денегъ — (*жметъ ему руку*) коли одумается — я скажу вамъ; но вы все-таки ни слова объ этомъ ни мнѣ, ни ей, пока я самъ не заговорю съ вами.

Браж. Хорошо-съ, Николай Матвѣичъ. Только ужь вы,

пожалуста, то-есть, не оставьте своими благими совѣтами—постарайтесь уговорить. Вѣдь молодо-зелено; умъ хорошо—два лучше того.

Горс Хорошо, хорошо. Я все сдѣлаю—будьте спокойны, но смотрите-же—пока я самъ не заговорю, вы ни слова. Пойдемъ. Это кто?

ЯВЛЕНІЕ 8.

Входятъ: Катенька, Хватова съ Анной Васильевной и Платономъ Васильевичемъ и Коркинъ.

Кат. А я, дядинька, веду къ вамъ гостей, встрѣчайте.

Горс. Милости просимъ! (*Глядя на Хватова*). А это кто? Ба! Платоша! Здорово, другъ! обнимемся. Да тебя и узнать нельзя! Молодецъ молодцомъ! Мундиръ, эполеты, усы, лицо загорѣло — весь возмужалъ!

Хват. Можно перемѣниться, Николай Матвѣичь—вѣдь десять лѣтъ лямку-то тянулъ! Зато ужь и подпоручикъ!

Горс. Такъ, да мнѣ все странно. Я все помню мальчика-повѣсу, который, бывало, коли не голубей гонялъ, такъ ужь вѣрно собакъ стравливалъ. А теперь—вотъ тебѣ и Платоша! Нѣтъ, ужь цѣлый Платонъ Васильевичъ! Я было, признаюсь, и проку въ немъ не чаялъ—онъ вонъ какой молодецъ вышелъ! То-то служба-то царская — хоть кого такъ вышколитъ. Давно ли къ намъ?

Плат. В. Третьяго дня прибыли-съ, а нынче матушка непремѣнно захотѣла, чтобы къ вамъ-съ. Да и самому-съ страхъ какъ хотѣлось увидѣться.

Хват. Какже, какже! Вѣдь вы его благодѣтель, а благодѣтелей забывать грѣхъ. Имъ первый почетъ.

Горс. Ну что тутъ за благодѣтели! я не люблю этого.

Хват. Какъ же, какъ же, Николай Матвѣичъ! вѣдь онъ у меня по седьмому годочку остался сиротою. Гдѣ-бы мнѣ,

горемычной вдовѣ, возиться съ нимъ. Мальчику было ужъ восьмнадцать лѣтъ, а онъ только что читать, да писать кой-какъ зналъ. А мальчикъ былъ озорной—бывало, и не усмотришь. Такъ бы все и шалберничалъ. Въ судъ записаться не хотѣлъ и слышать; наладилъ себѣ: въ полкъ, да въ полкъ. Ужь вы, Николай Матвѣичъ, пристали ко мнѣ: «что парню шалберничать—въ полкъ такъ въ полкъ, благо охота есть»; почти насильно снарядили въ путь, дали письмо къ полковнику, нашли попутчика надежнаго человѣка, да и на дорогу снабдили.

Горс. Э, Матрена Карповна, вѣдь ты какъ ужъ зачнешь, такъ и бѣги вонъ. А помнила бы пословицу—кто старое помянаетъ, тому глазъ вонъ!

Хват. Нѣтъ, Николай Матвѣичъ, что ни говорите, а я не перестану за васъ Богу молиться! Я не какая-нибудь неблагодарная тварь. Что бы я за свинья была, чтобъ забыла благодѣянія...

Браж. (*подходитъ къ рукѣ Хватовой.*) Здравствуйте, Матрена Карповна, вы заговорились и не видите меня, а я ужь вамъ кланялся, кланялся.

Хват. Извините, батюшка Ѳедоръ Кузьмичъ, не взыщите, отецъ родной.

Браж. Ничего, ничего-съ. Я здѣсь на цѣлый день. Какъ всхрапну послѣ обѣда, такъ пожалуста, Матрена Карповна, въ мушку со мною. Такая привычка. Какъ женился,—дня не проходило, чтобъ вечеромъ не занялся; препріятная игра.

Хват. Съ большимъ удовольствіемъ-съ. А вотъ мой Платошенька—не оставьте ласкою своею.

Браж. (*поцѣловавшись съ Хватовымъ*). Прошу любить и жаловать. Три трехлѣтія служилъ по волѣ дворянства судьей. Имѣю пряжку за пятнадцатилѣтнюю безпорочную службу. Имѣнія триста душъ, не заложенныхъ, благоустроенныхъ,—я люблю аккуратность.

Горс. Объ этомъ послѣ, Өедоръ Кузьмичъ—вѣдь не въ послѣдній разъ видитесь.

Браж. Нѣтъ, Николай Матвѣичъ, — нужна аккуратность. Чтобъ послѣ, знаете, оглядокъ не было.

Хват. Здоровы ли ваши дѣтки, Өедоръ Кузьмичъ — Марья Өедоровна и Өедоръ Өедоровичъ?

Браж. Слава Богу-съ, Өедора-то Өедоровича я нынче немножко посѣкъ — все балуетъ: бумагу крадетъ у меня на змѣи. Бумаги-то всего была у меня десточка—давно ужь не писалъ, вѣдь я рѣдко пишу; гляжу: до половины растаскалъ. Ну ужь, говорю, какъ хочешь, а надо баню задать. Что дѣтей баловать—въ страхѣ Божіемъ надо ихъ воспитывать.

Горс. (*отворачивается и видитъ Коркина*). А, Алексѣй Степановичъ, и вы къ намъ пожаловали!

Корк. (*смѣясь*). Какъ-же, съ тетушкой пріѣхалъ. Какъ пріѣхалъ кузинъ, такъ и должностью не отговорюсь.

Хват. Что тутъ, батюшка, за отговорки! Вѣдь не чужіе — свои. Спѣсивиться грѣхъ передъ бѣдной родней. Тебѣ была другая дорога; сестрино счастіе не моему чета—она вышла за богатаго; зато ты, батюшка, служилъ въ кавалерахъ, дослужился ротмистра, и не успѣлъ двухъ лѣтъ пробыть въ отставкѣ, какъ и попалъ въ исправники. А моему Платошенькѣ хотя бы въ становые Богъ далъ. Чтò ему больше въ полку-то дѣлать? Вѣдь сколько ни служи, а не много наживешь. А здѣсь то оно хоть и не парадно, да теплѣй и покойнѣй. Не правда ли, Николай Матвѣичъ?

Гор. Что жь, коли есть охота промѣнять военный мундиръ на штатскій—съ Богомъ, а мы похлопочемъ.

Хват. Дай вамъ Богъ здоровья, Николай Матвѣичъ, а у меня вся надежда на васъ, да на Алексѣя Степаныча.

Гор. Ну что, братъ Платонъ Васильевичъ, какъ послужилъ, гдѣ побывалъ?

Плат. В. Были кое-гдѣ—и въ Туречинѣ походили.

Браж. Вотъ страсти-то! Чай частенько приходилось такъ, что и небо съ овчинку казалось; не то, что у насъ—сиди въ присутствіи на стулѣ, не упадешь, развѣ задремлешь.

Гор. Коли назвался груздемъ—полезай въ кузовъ. Молодому человѣку стыдно труспть.

Браж. Ну что, Платонъ Васильевичъ, побывали и въ Петербургѣ и въ Москвѣ?

Плат. В. Въ Петербургѣ не были, а въ Москвѣ были-съ. Большой городъ, церквей очень много.

Хват. Какъ-же, батюшка Ѳедоръ Кузмичъ, вчера цѣлый вечеръ разсказывалъ все объ Иванѣ Великомъ, да о Сухаревой башнѣ.

Плат. В. Большой-съ монументъ! А царь-пушка то—чай, изъ нея и стрѣлять-то нельзя-съ. А хорошо, кабы тарарахнули хоть разокъ—чай, стеклы-бы повыбило.

Гор. Ну что, Платонъ Васильевичъ, охотники у васъ въ полку повеселиться? Мы такіе были плясуны, что носомъ чуяли, гдѣ балъ и много барышень.

Плат. В. Какъ-же-съ, Николай Матвѣичъ, господа офицеры у насъ преобразованные-съ. Во всемъ полку нѣтъ ни одного, чтобы не умѣлъ мазурки и французскаго кадреля, окромѣ вальсовъ, экосецовъ, польскихъ и матрадуровъ. Вотъ ужь на что я—и то разомъ выучился. Не хотѣлось тоже отъ другихъ отстать. Вообще общество у насъ прекрасное. Играютъ и въ банчикъ; капельки мимо рта нашъ братъ офицеръ не проронитъ, а ужь зато, коли гдѣ у помѣщика балъ или вечеринка—мы изъ первыхъ тамъ. Почитать тоже любимъ. У насъ, въ полку, и «Библіотека» получается. Очень хорошій журналъ — самъ Смирдинъ печатаетъ съ, а Брамбеусъ иногда такія пули отливаетъ, что такъ вотъ и катаемся со смѣху—животы надорвемъ. Особенно хороши повѣсти—тамъ все экивоки-съ, да такіе, что какъ иной вспомнитъ свои проказы, такъ только усы покручиваетъ, да ухмыляется, злодѣй.

Анна В. Ахъ, братецъ, а какіе стихи вамъ въ «Библіотекѣ» больше нравятся?

Плат. В. Да всѣ хороши, сестрица; вѣдь Брамбеусъ самъ поправляетъ.

Анна В. Ахъ, я больше всего люблю господина Тимоѳеева; вотъ, Катерина Петровна, не помните ли вы — какъ бишь они начинаются? «Скучно, дядя»—такъ кажется. А мистеріи его какія страшныя — все о представленіи свѣта.

Плат. В. Да, господинъ Тимоѳеевъ — поэтъ важный; пишетъ съ большимъ чувствомъ—лучше Пушкина.

Гор. Ну, Платонъ Васильевичъ, потише, потише, а то какъ разъ бѣду наживешь. Катенька у меня — горой за Пушкина, а коли Лизанька присоединится къ ней — такъ не радъ будешь, что и сказалъ.

Плат. В. Ахъ, извините-съ; я, право, не зналъ-съ. А впрочемъ, вѣдь все равно-съ—все аллегоріи-съ, то-есть не правда, а выдумано-съ.

ЯВЛЕНІЕ 9.

Входитъ Иванъ.

Иван. Батюшка баринъ, Николай Матвѣичъ, на столъ готово-съ, и кушанье подано-съ. (*Уходитъ*).

Гор. Ну, гости мои дорогіе, хлѣба-соли покушать прошу покорно. Пойдемъ-ко, Матрена Карповна — ты у меня похозяйничаешь.

Браж. Да, я чувствую большой аппетитъ; а послѣ обѣда всхрапну немножко, а какъ встану, такъ не забудьте-же, Матрена Карповна—въ мушку. (*Всѣ уходятъ*).

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТІЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1.

Горскій и Хватова

Хват. Да, да, Николай Матвѣичъ, что и говорить— надо дѣтокъ пристроить. Это пуще всего. Мнѣ бѣдной, горемычной вдовѣ, не много надо: благодаря Бога и добрыхъ людей, я сыта по горло, а теплый уголокъ еще отъ мужа-покойника достался. Я же всѣмъ умѣю услужить и угодить: тамъ похозяйничаю, тутъ пошью, здѣсь свадебку слажу — а мнѣ все спасибо да спасибо. Куда ни пріѣду, вездѣ какъ къ себѣ домой, какъ къ роднымъ, право— всѣмъ до меня нужда. Теперь только одна забота— дѣтокъ пристроить.

Гор. Ну, да вѣдь въ отставку выйдти — не большая мудрость, а въ становые попасть не Богъ знаетъ что. По мнѣ, что могу—все сдѣлаю.

Хват. Зачѣмъ пріѣхалъ къ вамъ Ѳедоръ Кузмичъ?

Гор. Какъ зачѣмъ? Развѣ ты въ первый разъ видишь его у меня въ домѣ?

Хват. Я знаю, что вы старые знакомые, да я кое-что слышала.

Гор. Правду сказать, Матрена Карповна—подѣломъ тебя бранятъ, что ты любишь все слышать, да потомъ болтать.

Хват. И, батюшка, вотъ ужь ты тотчасъ и въ гору пошелъ! Что жь такое? Слухомъ земля полнится, да онъ же и самъ ужь давно проговаривалъ мнѣ объ этомъ.

Гор. А хоть бы и такъ — что жь тутъ особеннаго? Дѣло обыкновенное.

Хват. То-то, то-то, Николай Матвѣичъ! Суженаго конемъ не объѣдешь. Конечно, человѣкъ-отъ онъ хорошій и съ состояніемъ, да ужь старъ, вдовецъ, да ктому же и дѣти есть. Я давича, глядя на Лизавету Петровну, чуть не заплакала.. Сидитъ, моя голубушка, и слова не молвитъ, а ужь такая печальная.

Гор. Да что ты, чортъ возьми! Съ чего ты взяла, что Лизанька пойдетъ, а я отдамъ ее за этого урода?

Хват. А! такъ вы не согласны! Я сама тоже думала и всѣмъ говорила: «Что вы! захочетъ ли Николай Матвѣичъ погубить дѣвушку? Конечно, родня дальняя, да вѣдь онъ ихъ любитъ пуще дочерей. У нихъ же есть и достаточекъ—такъ можно пріискать женишковъ и получше. Все ужь хоть не богатый, да по крайней мѣрѣ, былъ бы молодой человѣкъ».

Гор. Какъ же, вотъ тотчасъ и отдамъ за то, что молодъ! Ужь не хочешь-ли посватать? ты вѣдь изстари свахой слывешь.

Хват. А что жь? — попытка не пытка, спросъ не бѣда. Голенькій охъ, а за голенькимъ Богъ. А хотѣла бы я поклониться тебѣ, Николай Матвѣичъ. Что же въ дѣвкахъ-то засиживаться—вѣдь ужь ей двадцать лѣтъ.

Гор. Считала бы ты лучше годы своей дочери—чай, ужь давно подъ-тридцать.

Хват. (*плачетъ*). И, батюшка! дѣло сиротское, бѣдное—можетъ, и вѣкъ въ дѣвкахъ просидитъ.

Гор. Ну, ну, добро, полно плакать-то. Мнѣ некогда; скажи—что надо.

Хват. Батюшка Николай Матвѣичъ, осчастливь бѣдную вдову и сиротъ, будь имъ отцомъ роднымъ. Платошеньку надо женить—онъ сирота и она сиротка, такъ за ихъ сиротство, можетъ, Богъ и дастъ имъ счастіе.

Горс. Э, Матрена Карповна—не туда поѣхала!

Хват. Конечно, батюшка, куда же намъ—мы люди бѣдные, а у нихъ есть достаточекъ.

Горс. Не то, все не то, то-есть, не съ той стороны заѣхала. Знаешь, я вѣдь неволить не буду, а согласись она—я радъ.

Хват. Да, да! что̀ и говорить, батюшка Николай Матвѣичъ.

Горс. Да вѣдь они еще другъ друга не знаютъ?

Хват. Свыкнутся, Николай Матвѣичъ, свыкнутся, а тамъ Богъ дастъ и ладъ и совѣтъ.

Горс. Ну, тамъ какъ знаешь—хлопочи сама; тебѣ не привыкать-стать къ этому, а мое дѣло—сторона.

Хват. Ну такъ вотъ я только объ этомъ-то и хотѣла вамъ сказать.

Горс. Ну, хорошо, хорошо, тамъ посмотримъ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 2.

Хватова (*одна*).

Вишь, старый чортъ, и подступу нѣтъ къ его пріемышамъ· Будто и невѣсть что! Что у нихъ рожицы-то смазливы, по французски болтаютъ, да состояньице есть — такъ и думать не смѣй объ нихъ! Да добро, ужь поставлю-же и я на своемъ—не мытьемъ, такъ катаньемъ возьму, а не удастся—дамъ волю языку. Старикъ-отъ что-то на себя не похожъ, да и Иванъ мнѣ что-то проговорилъ. Надо съ нимъ потолковать, а то тутъ что-то не ладно — нѣтъ ли штукъ какихъ? А вотъ какъ быть съ Алексѣемъ Степановичемъ-то—слово скажетъ—бѣда. Онъ теперь ждетъ, что́ я ему скажу: небось--утѣшу! Да вонъ никакъ и онъ.

ЯВЛЕНІЕ 3.

Хватова и Коркинъ.

Корк. Ну, что, тетушка? Развѣдали ли вы что нибудь? За Мальскаго хочетъ отдать? это вѣрно?

Хват. Ничего, ровно ничего не узнала. Только видно, что старику-то крѣпко не по сердцу всѣ эти предложенія. Кажется, онъ и думать не хочетъ, чтобъ разстаться съ ними.

Корк. Ну, такъ вы слишкомъ-то и не приставайте къ нему, чтобъ не испортить дѣла. Лучше подождать.

Хват. Чтò и говорить, батюшка, поспѣшишь—людей насмѣшишь. А гдѣ Платошенька?

Корк. Да тамъ—въ саду.

Хват. Пойдти и мнѣ туда. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 4

Коркинъ (*Одинъ*).

Мерзкая баба лукавитъ. Я ужъ вижу, что она по-матерински хлопочетъ о своемъ Платошенькѣ. Да пусть хлопочетъ! Мнѣ всего лучше прямо приступить къ дѣлу. Откажутъ наотрѣзъ — по крайней мѣрѣ, не будетъ пустыхъ надеждъ и ожиданій; согласятся... (*потирая руками*) охъ! плоха надежда. Этотъ Владиміръ Дмитріевичъ... Во всякомъ случаѣ, надо самому дѣйствовать, а то одно посредничество этой бабы можетъ все испортить.

ЯВЛЕНІЕ 5.

Коркинъ и Горскій.

Горс. А! Алексѣй Степановичъ, вы что-то тутъ философствуете.

Корк. Нѣтъ просто разсуждаю объ одномъ дѣлѣ, очень важномъ для меня; я объ немъ давно ужъ думаю.

Горс. А что такое?

Корк. (*съ замѣшательствомъ смѣясь*). Дѣло не мудреное, да сказать-то мудрено.

Горс. Ну, такъ и есть! Нынѣшній день я ужъ наслушался этихъ дѣлъ! Скажите скорѣе и прямѣе; вѣрно предложеніе насчетъ которой-нибудь изъ моихъ племянницъ?

Корк. Вы угадали.

Горск. Да, съ нѣкотораго времени я сталъ очень догадливъ. (*Про себя*). Вижу, куда ты метишь, голубчикъ! Лизанька молода, прекрасна, а ты и безъ очковъ хорошо видишь.

Корк. Кажется, вамъ это непріятно?

Горс. Не то, что непріятно, а хлопотно. Я отдѣлывайся, а онѣ въ сторонѣ. Скажешь имъ—такъ послѣ и самъ не радъ. Впрочемъ, я ей поговорю, и скажу вамъ ея отвѣтъ. Повѣрьте, что если дѣло пойдетъ на ладъ—я буду радъ всею душою. Только вы, Бога ради, сами ничего не говорите ей—все дѣло испортите.

Корк. Куда говорить — и подумать страшно: такъ въ жаръ и ознобъ и бросаетъ. Страшнѣй, чѣмъ, бывало, на приступъ идти.

Горс. А кажется, вы видѣли свѣтъ и женщинъ?

Корк. И даже былъ съ ними не изъ робкихъ. Да! скажите мнѣ: что Владиміръ Дмитріевичъ. Вѣдь онъ кончилъ курсъ въ университетѣ?

Горс. Какъ же—ужь другой годъ.

Корк. Что-жь?—онъ намѣренъ служить?

Горс. Куда! сбирается путешествовать. Дѣла у него нѣтъ, а состояніе есть; самъ онъ сирота круглый, я—вся родня у него, такъ онъ все и живетъ у меня.

Корк. Это я знаю; да я не то хотѣлъ сказать—онъ...

Горс. Не безпокойтесь—онъ тутъ ровно ничего на значитъ. Надѣйтесь на меня.

Корк. Я вамъ вѣрю, и пока вы мнѣ не скажете чего — я ни полслова. Пойду къ нимъ, и посмотрю, какъ тамъ любезничаетъ мой кузинъ—я думаю, онъ тамъ всѣхъ такъ очаровалъ, что на нашего брата рябчика тамъ и смотрѣть не будутъ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 6.

Горскій (*одинъ.*)

Славный человѣкъ этотъ Коркинъ. Вотъ такому человѣку нельзя не пожелать счастія! Однакожъ—сказать ли мнѣ ей о его предложеніи? Что жъ мнѣ дѣлать, если къ ней нѣтъ и приступу, если она не хочетъ и слышать о замужествѣ. Какъ она давича поутру поступила со мною за этого стараго дурака Бражкина! Смотри пожалуй—она хотѣла дать ему слово... а... а для чего?—чтобы доказать мнѣ, какъ больно видѣть ей, что я хочу съ ней разстаться. Она и подумать не хочетъ, что это вѣдь для ея же счастія. Но неужели же ей вѣкъ жить въ моемъ домѣ? Положимъ, что для меня-то это счастіе, потому что я не перенесъ бы разлуки съ нею. Да еще хорошо бы, если только разлуки—а то вотъ бѣда, если она выйдетъ за какого-нибудь пошляка или мерзавца, который не будетъ умѣть оцѣнить ее, будетъ съ нею обращаться грубо, жестоко, тирански. Тирански! Да одинъ косой взглядъ, одно грубое слово—такъ я задушилъ бы его вотъ этими руками. Нѣтъ, я соглашусь отдать ее только за такого человѣка, который любилъ бы ее такъ, какъ я люблю ее; кто бы видѣлъ ее во снѣ, думалъ о ней на яву; кому бъ было мило, чтобъ при немъ ласкала она собаку, гладила кошку, любовалась цвѣткомъ, и кто бы подводилъ къ ней и собаку и кошку, чтобъ только посмотрѣть, какъ она ихъ ласкаетъ; бѣгалъ бы самъ за цвѣтами и приносилъ ихъ ей, чтобъ только посмотрѣть, какъ она ими радуется, и потомъ почесть себя счастливымъ, если за это она улыбнется ему, кивнетъ головою, скажетъ слово. А гдѣ найдти такого, кто бы такъ-то любилъ ее? А если бы такой и нашелся,—за что она будетъ любить его? Развѣ онъ лелѣялъ ея дѣтство, замѣнилъ ей отца, жилъ только ею и

для ней, думалъ только о ней, страдалъ ея горемъ, радовался ея радостью, и за ея любовь, ласку, привѣтъ, забывалъ свои лѣта, терялъ умъ, плакалъ, хохоталъ и прыгалъ? Да! за что она будетъ любить его? Гдѣ-жь справедливость? Конечно, зачѣмъ же мнѣ отнимать у нихъ счастіе. Ну, вотъ Катенька—мнѣ и съ ней тяжело разстаться, но коли она любитъ Володю—съ Богомъ. Володя малый съ головою, съ сердцемъ, человѣкъ честный, твердый, хоть и молодъ; состояніе у него независимое—самъ себѣ господинъ. Только что-то мнѣ становится тяжело его видѣть. Можетъ-быть оттого, что онъ съ Катенькой все какъ-то не такъ—все шутитъ, а о дѣлѣ ни слова. Ужь не раздумалъ ли онъ жениться на ней. Да,—съ Катенькой все шутитъ, а на Лизаньку иной разъ такъ уставится, что вотъ такъ бы и разорвалъ его на части. Постой—я объяснюсь съ нимъ. Коли хочетъ жениться—пусть женится; не хочетъ — долженъ оставить насъ. Такъ или сякъ—это будетъ хорошо; но вотъ что мучаетъ меня: ужь, кажется, какъ люблю я Лизаньку—нельзя больше любить, а самъ чувствую, что никого такъ часто и такъ больно не оскорбляю, какъ ее—иной разъ я ее хуже, чѣмъ ненавижу. *(Молчаніе)*. Да это еще обойдется какъ-нибудь—вѣдь это, должно быть, слѣдствіе какой-нибудь скрытой болѣзни—я, видно, и въ самомъ дѣлѣ разстроенъ. Но вотъ—что мнѣ сдѣлать съ Коркинымъ? сказать ли ей о его предложеніи? Почему же и не сказать? вѣдь она не пойдетъ за него, я въ томъ увѣренъ: она всегда хвалила его такъ холодно, такъ прямо. *(Молчаніе.)* Ну, а если пойдетъ? Конечно, онъ человѣкъ хорошій, умный, образованный; да вѣдь женихи всѣ хороши, только не всѣ бываютъ хорошими мужьями. Кто знаетъ, что еще изъ него выйдетъ? Нѣтъ, совѣстно будетъ не сказать—къ тому же еще, какъ бы онъ самъ не вздумалъ. Я скажу ей, только такъ, что она тотчасъ пойметъ, что это сватовство мнѣ не по сердцу.

ЯВЛЕНІЕ 7.

Входитъ Мальскій.

Мал. А! вы тутъ дядинька?

Гор. Должно быть, что тутъ. А ты—здѣсь?

Мал. Вы все шутите, дядинька.

Гор. А ты что-то носъ повѣсилъ.

Мал. Да здѣсь, дядинька, всѣ ходятъ повѣся носы, кромѣ Катерины Петровны; даже и гости всѣ озабочены. Бодрѣе всѣхъ Матрена Карповна, да и та не можетъ скрыть, что чѣмъ-то озабочена.

Гор. Эхъ, кабы они да разъѣхались! Когда не до нихъ, такъ тутъ-то и наѣдутъ.

Мал. Лизавета Петровна даже не въ состояніи скрывать своего волненія и грусти.

Гор. Я-то чѣмъ-же тутъ виноватъ?

Мал. Да я и не виню васъ, дядинька.

Гор. Ты всегда правъ — что̀ и говорить! Да! скажи-ко мнѣ кстати: ты любишь что-ли Катеньку? Вѣдь, самъ посуди—ей ужь восемнадцать лѣтъ, а вы другъ съ другомъ все, какъ дѣти. Вспомни, что вѣдь онѣ тебѣ совсѣмъ не родня, а кому какое дѣло до того, что вы росли вмѣстѣ и, будучи дѣтьми, привыкли называть другъ друга женихомъ и невѣстою? Всякій смотритъ только на наружность и по ней дѣлаетъ заключеніе. А я не хочу на ихъ счетъ никакихъ пустыхъ заключеній.

Мал. Дядинька, вы говорите, конечно, правду, но такимъ тономъ, какъ будто бы я сдѣлалъ что-нибудь худое.

Гор. Да рѣчь не о тонѣ, а о дѣлѣ. Ты отвѣчай мнѣ на вопросъ: коли хочешь на ней жениться и она согласна идти за тебя замужъ — съ Богомъ; я не противлюсь, и тогда на васъ будутъ смотрѣть, какъ на жениха съ невѣстой; не хочешь — пора положить конецъ дѣтскому обращенію.

Мал. Конечно, дядинька, вы правы; но время ли теперь говорить объ этомъ? — у насъ столько гостей, народу—того и гляди, что кто войдетъ.

Гор. Послушай, Володя, тутъ много разсуждать нечего—да или нѣтъ, коротко и ясно, а для этого довольно и минуты. Ты ужь не ребенокъ и, вѣрно, имѣлъ время обдумать такое важное дѣло; а о чемъ думано нѣсколько лѣтъ, о томъ можно сказать въ минуту.

Мал. Но—я такъ еще не увѣренъ—боюсь впечатлѣнія и воспоминанія дѣтства принять за чувство. (*Беретъ его за руку*). Любезный дядинька, нѣсколько дней, нѣсколько дней, и я вамъ дамъ рѣшительный отвѣтъ.

Гор. По мнѣ — пожалуй! Нѣсколько дней — не велика важность; странно только, что ты въ нѣсколько дней хочешь рѣшить то, чего не могъ рѣшить въ нѣсколько лѣтъ. Такими вещами, братъ, не шутятъ. Вѣдь тутъ дѣло идетъ о счастіи цѣлой жизни двухъ человѣкъ. Да что ты ушелъ изъ саду-то?

Мал. Такъ, мнѣ стало душно тамъ. Өедоръ Кузьмичъ все еще продираетъ глаза—онъ всхрапнулъ. Матрена Карповна трещотка. Сынокъ ея отпускаетъ армейскія любезности, отъ которыхъ Катерина Петровна хохочетъ до слезъ. Алексѣй Степановичъ что-то не въ духѣ, противъ своего обыкновенія. Лизавета Петровна такъ печальна, что, глядя на нее, хочется плакать. Хочу отдохнуть наединѣ.

Гор. Да ты что-то сталъ ужь черезчуръ чувствителенъ. Пойду—что тамъ? (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 8.

Мальскій (*одинъ*).

Да! онъ правъ: чего не рѣшилъ въ нѣсколько лѣтъ, того не рѣшить въ нѣсколько дней, и шутить такими вещами не годится. Но что-жь мнѣ дѣлать? Привычка, вос-

поминанія дѣтства, семейныя преданія вступили во мнѣ въ борьбу съ влеченіемъ сердца. Нѣтъ! нѣтъ! пора уже мнѣ быть проще съ самимъ собой и перестать идеальничать. Нѣтъ, я ее не люблю, это вѣрно. Прекрасная дѣвушка, милое, граціозное созданіе, но ея легкость, всегдашняя веселость,—все это мнѣ не нравится, просто—оскорбляетъ меня. Но если она меня любитъ? Да, это было бы очень утѣшительно. Но, кажется, что нѣтъ. Это надо узнать навѣрное. Да какъ узнаешь? Станешь говорить съ ней—она будетъ шутить; потребуешь рѣшительнаго отвѣта—она запоетъ или убѣжитъ, припрыгивая. Постой, я поговорю съ Лизаветой Петровной. Страшно мнѣ что-то говорить съ нею. Что́ это значитъ — давича, какъ я долго смотрѣлъ на нее, когда наши глаза встрѣтились, она покраснѣла и какъ-будто вздрогнула? Но нѣтъ, нѣтъ! этого быть не можетъ. Она такъ дика со мной—мое присутствіе какъ-будто оскорбляетъ ее. Нѣтъ, это все не то; это значитъ просто на просто — высоко и далеко. Нѣтъ, мнѣ не надо и думать объ этомъ. А все думается невольно. И то придетъ на память—и это вспомнишь, чтобы растолковать въ свою пользу,—тамъ взглянула, тутъ покраснѣла, тогда смутилась. А на повѣрку выйдетъ: взглянула потому, что надо же на что-нибудь глядѣть; покраснѣла или смутилась отъ того, что голова болѣла, или отъ негодованія на нескромный взглядъ, глупое слово. Охъ эта фантазія—мерзкая способность! По крайней мѣрѣ, мнѣ надо поговорить съ нею. Но вотъ, кажется, и она—Боже мой!...

ЯВЛЕНІЕ 9.

Мальскій и Лизанька.

Лиз. Ахъ! Вы здѣсь, Владиміръ Дмитріевичъ? Зачѣмъ вы ушли оттуда? Вѣдь Катенька тамъ?

Мал. Знаю-съ, и ей, кажется, очень весело отъ любезностей Платошеньки.

Лиз. А! ревность! (*Грозитъ ему пальцемъ*). Не хорошо такъ ревновать, monsieur Мальскій.

Мал. Я очень радъ.

Лиз. Чему?

Мал. Счастливому случаю.

Лиз. Какому?

Мал. Что сошелся съ вами наединѣ.

Лиз. Но этимъ счастливымъ случаемъ вы пользовались каждый день, и только, кажется, въ первый разъ придали ему такую цѣну.

Мал. Напрасно вы такъ думаете. Я хотѣлъ .

Лиз. Безъ комплиментовъ, Владиміръ Дмитріевичъ; мы съ вами люди знакомые и ужь, кажется, не со вчерашняго дня.

Мал. Мнѣ надо.... я хотѣлъ поговорить съ вами.

Лиз. Очень рада, что могу исполнить ваше желаніе. Говорите.

Мал. Вамъ извѣстны мои отношенія къ вашей сестрѣ?

Лиз. Конечно—я знаю ихъ.

Мал. Но мнѣ не совсѣмъ ясны ея отношенія ко мнѣ.

Лиз. Бѣдненькій! какъ встревожила васъ ревность; но не бойтесь.

Мал. Она, конечно, милая дѣвушка, которой нельзя не любить, но она такъ легко смотритъ на самыя важныя вещи.

Лиз. (*про себя*). Онъ сомнѣвается въ ея взаимности! Что̀ мнѣ сказать ему? (*Вслухъ*). У ней такой характеръ; но сердце у ней любящее, и она способна къ глубокому чувству.

Мал. О, да... конечно... но... но...

Лиз. (*про себя*). Какъ онъ ее любитъ! (*Вслухъ*). Я васъ не понимаю, скажите яснѣе. (*Смотря въ окно*). Ахъ,

кто-то идетъ сюда! Никакъ дядинька! Уйдите, уйдите — онъ осердится, что мы оставили гостей.

ЯВЛЕНІЕ 10.

Тѣ же и Горскій.

Гор. (*остановившись въ дверяхъ, говоритъ про себя*). Такъ! я чувствовалъ—вмѣстѣ. Этотъ молодчикъ съ своей смазливенькой рожицей хочетъ терзать меня — мучить. (*Вслухъ*). Володя, чай небольшаго труда стоило бы тебѣ позаняться съ гостями-то. Конечно, это люди простые, неученые, но гдѣ-жь намъ для тебя взять ученыхъ-то. Съ волками вой по волчьи.

Мал. Вы не говорили мнѣ этого назадъ тому четверть часа, какъ я сошелся съ вами въ этой же самой комнатѣ.

Гор. Сошелся! Да; ты какъ-то необыкновенно счастливъ на встрѣчи. Вотъ мнѣ такъ нѣтъ такого счастія. Я нарочно пошелъ въ садъ, чтобъ поговорить съ Лизанькой, а ты и не искалъ ея, а нашелъ. Поздравляю.

Мал. Не съ чѣмъ, дядинька; а впрочемъ, благодарю покорно! Я и самъ хотѣлъ поговорить съ Лизаветой Петровной и былъ такъ счастливъ.

Гор. Счастливъ! Да! ты въ самомъ дѣлѣ очень счастливъ—ужь и видно, что въ сорочкѣ родился.

Мал. Я, дядинька, съ нѣкотораго времени что то плохо понимаю васъ. Вашъ тонъ и манеры сдѣлались такъ странны.

Гор. Странны? Что жь дальше?

Мал. А дальше то, что мнѣ надо быть дальше отъ васъ, чтобы отстранить недоразумѣнія, къ которымъ я не подалъ никакого повода, и которыхъ я совсѣмъ не понимаю.

Лиз. Владиміръ Дмитріевичъ! что вы говорите? Бога ради!

Гор. Ха! ха! ха! Не безпокойся, моя милая, не упади

въ обморокъ напрасно — вѣдь я не выгоняю его; а если тебѣ такъ трудно разстаться съ нимъ, то *(становясь на колѣни)* я на колѣняхъ буду просить его, чтобъ онъ не лишалъ тебя счастія.

Лиз. О Боже мой! *(Упадаетъ на стулъ и закрываетъ руками лицо).*

Мал. Дядинька, къ чему комедіи — дѣло можетъ сдѣлаться и проще. Вашу руку и прощайте. Ежели вы почитаете себя въ правѣ оскорблять меня безъ причины, то я нисколько не способенъ выносить вашихъ оскорбленій, особенно, когда они отзываются на другихъ. Посмотрите — Лизавета Петровна, даже ужь и не плачетъ: вы заставили ее истратить всѣ слезы.

Гор. Дьяволъ! и ты смѣешь еще указывать на нее и упрекать меня въ тиранствѣ. Да что я въ самомъ дѣлѣ — злодѣй ей что-ли? Нѣтъ, я знаю за кого она терпитъ: ты, ты противенъ мнѣ, отвратителенъ. Я не навижу тебя! Да! будь ты правъ, благороденъ, чистъ, но — прошу тебя — оставь меня, оставь насъ.

Мал. Но подумайте—что вы дѣлаете? Что вы дѣлаете? Что вы изъ себя теперь представляете?

Гор. Все, что тебѣ угодно: пусть я подлъ, низокъ, тиранъ—все, все, что тебѣ угодно; только окажи благодѣяніе, милость—избавь меня отъ себя.

Лиз. Боже мой! Боже мой! Вотъ до чего дошло! А! пора наконецъ! Владиміръ Дмитріевичъ, прошу васъ оставить меня съ дядинькою наединѣ. *(Мальскій уходитъ).*

ЯВЛЕНІЕ 11.

Тѣ же, кромѣ Мальскаго.

(Молчаніе. Лизанька снова упадаетъ на стулъ, ломая себѣ руки).

Гор. *(падая передъ нею на колѣни).* Лизанька! другъ мой! ангелъ! скажи, что мнѣ съ собою дѣлать? Я не

помню себя, не понимаю, что̀ говорю, дѣлаю (*рыдая, цѣлуетъ ей руки*). Прости меня! прости! Не думай, чтобы я не любилъ тебя, ненавидѣлъ. Боже мой! да я такъ люблю тебя, что если бы ты захотѣла,—я съ охотою позволилъ бы зарыть себя живаго въ землю!

Лиз. (*вставая*). Да, дядинька—точно, вы меня любите.

Гор. (*радостно*). Ты вѣришь этому? Не сомнѣваешься въ моей любви?

Лиз. Къ несчастью—слишкомъ вѣрю и нисколько не сомнѣваюсь.

Гор. Какъ? Что̀ ты хочешь этимъ сказать?

Лиз. Вы все еще не понимаете?

Гор. Но что же понимать?

Лиз. Дядинька, вы влюблены въ меня! (*Убѣгаетъ съ воплемъ*).

ЯВЛЕНІЕ 12.

Горскій (*одинъ*).

А, вотъ оно что!—Влюбленъ! Да, влюбленъ, влюбленъ! Ха! ха! ха! влюбленъ! Ахъ, кабы еще къ этому и съ ума сойдти, то-то бы кстати было!—Да зачѣмъ?—развѣ влюбиться — влюбиться на старости лѣтъ въ дѣвочку, которую называлъ своей дочерью — развѣ это можно сдѣлать въ полномъ умѣ?—А, такъ вотъ она—и болѣзнь, и ипохондрія, вотъ она и ненависть къ ней, къ нему. Къ нему? За что ненависть? Стало-быть, мой племянникъ—этотъ мальчикъ—соперникъ мнѣ? А если соперникъ—стало-быть, я долженъ ревновать его? Да—ужь разумѣется: что за любовь безъ ревности? Коли отличаться такъ отличаться, чтобъ быть вполнѣ дуракомъ. Не вызвать ли мнѣ его на дуэль?—Оно таки ко мнѣ пристало.—Нѣтъ, ужь лучше подслушать ихъ разговоръ, объясненіе, застать его на колѣняхъ передъ нею—да кинжаломъ его.—

Это лучше—парадиѣе. (*Указывая на зеркало*). Это что тамъ такое—дай посмотрю.—Ба! да это я—что за молодецъ, чортъ возьми! (*Бьетъ себя по головѣ*). Это что—лысина: (*Бьетъ себя по животу*). А это?—толстое, пятидесятилѣтнѣе брюхо! Ну, чѣмъ не любовникъ, чѣмъ не женихъ! Всѣмъ взялъ! (*Хватая себя за голову*). А, глупая старая голова—растеряла ты свои волосы, а съ ними и умъ свой! (*Молчаніе*). Ну, нѣжный пастушокъ, ступай же къ своей пастушкѣ, нарви цвѣточковъ, сплети вѣночикъ, да смотри, чтобъ больше было ландышей и незабудокъ, потомъ поднеси его, ставши на колѣни—со вздохомъ—словомъ, какъ водится.—Ха! ха! ха!—Боже, великій Боже!—спаси и помилуй! (*Упадаетъ въ кресла закрывая руками лицо*).

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1.

Иванъ и Хватова.

Иван. Да что и говорить, матушка Матрена Карповна—тошно, на свѣтъ бы не глядѣлъ.

Хват. Да что сказалъ Семенъ Андреичъ?

Иван. Да Богъ его знаетъ—гдѣ намъ знать? дѣло холопское—иной разъ и слышишь, да ничего не резберешь. Проговаривала что-то Катерина Петровна Владиміру Дмитріевичу, да я плохо понялъ.

Хват. А что жь она говорила ему? Что?

Иван. Да вишь ты, болѣзни у барина нѣтъ никакой, а забота заѣла.

Хват. Забота? какая же забота?

Иван. Да Богъ вѣсть. Я такъ мекаю, что все не то; гдѣ этимъ лѣкарямъ знать—они только деньги берутъ.

Хват. И будто ни слова не скажетъ?

Иван. Слышалъ я разъ—третьеводни-то, ужь ночью—говоритъ: «на старости Богъ наказалъ», да еще: «еслибъ за кого замужъ вышла».

Хват. Да про кого же—замужъ-то?

Иван. А Господь его знаетъ; должно быть, про барышень.

Хват. Да, Иванъ, голубчикъ, надо подумать—вѣдь дѣвушки на возрастѣ, давно невѣсты.

Иван. Да ужь я, матушка Матрена Карповна, денно и нощно Бога молю. Что и говорить—давно пора. А барышни-то какія—сущіе ангелы!

Хват. Да что жь, Иванъ, надо постараться, похлопотать. Захоти только, а то и ты много можешь сдѣлать, помоги только мнѣ.

Иван. То есть, какъ же это, матушка Матрена Карповна?

Хват. А ужь я знаю какъ. Послушай. Вотъ мой Платошенька ужь подпоручикъ, служить ему въ полку больше нечего—лучше пойдти по штатской.

Иван. А хорошо бы—баринъ знатный, столбовой дворянинъ, да еще и военный, собой молодецъ, умница—всѣмъ взялъ. Вотъ-бы парочка-то съ Лизаветой Петровной!

Хват. Я ужь тоже думала. Вѣдь она и старшая, а Катерина то Петровна, кажется, мѣтитъ за Владиміра Дмитрича?

Иван. Кажись, что такъ—вѣдь вмѣстѣ росли и сызмаленьку называли другъ дружку женихомъ и невѣстой. А другое слово—Богъ ихъ знаетъ.

Хват. А что? почему?

Иван. Да Господь ихъ вѣдаетъ. Шутить шутятъ, а о свадьбѣ и не заикаются. Да вотъ что-то Машутка проговарила—не то они поссорились, не то что-то, то-есть, такъ не ладно.

Хват. Какъ же, Иванъ?

Иван. Да въ томъ-то и бѣда, что въ толкъ не взялъ.

Хват. Ну такъ вотъ то-то же, Иванъ; а ты теперь не зѣвай, коли желаешь имъ добра. Знаешь, какъ, Богъ дастъ, сладимъ дѣльце, да веселымъ пиркомъ за свадебку, такъ и Николай-то Матвѣичъ, небось, такъ развеселится, что и плясать на радости пойдетъ.

Иван. (*крестясь*). Дай-то Господи! Вѣдь на рукахъ бывало нашивалъ и сызмаленьку любилъ и сказать нельзя какъ!

Хват. Коли есть усердіе, такъ не зѣвай только: все, что услышишь—тотчасъ мнѣ, а я ужь знаю, что дѣлать. Да смотри—никому ни-гу-гу, а то бѣда. *(Иванъ торопливо уходитъ съ значительною миною и выразительнымъ жестомъ).*

ЯВЛЕНІЕ 2.

Хватова (*одна*).

Дѣло! онъ простоватъ, а больно любитъ ихъ, только подожги его для господъ. Теперь надо подумать, какъ бы половчѣе, чтобы дѣло-то порѣшить прежде Алексѣя Степаныча, а коли не удается—такъ хоть переѣхать ему дорогу. Онъ вѣдь богатъ, могъ бы жениться на комъ-нибудь и побогаче; такъ вотъ нѣтъ—хочетъ перебивать дорогу у бѣдныхъ людей; заплати ему Господи!... Надо навострить Платошу-то, а то онъ, Богъ съ нимъ, простоватъ: все маткни да научи, а самъ ни въ чемъ не догадается.

ЯВЛЕНІЕ 3.

Хватова и Катенька.

Кат. Матрена Карповна, не видали вы Владиміра Дмитріевича?

Хват. Да онъ ушелъ съ Платошенькой никакъ стрѣлять.

Кат. А!—я не знала.

Хват. (*смотря въ окно*). Да вонъ и они—много-ли-то настрѣляли?

ЯВЛЕНІЕ 4.

Тѣ же и Мальскій съ Платономъ Васильевичемъ.

Хват. Ну что?—много набили?

Плат. В. Ничего не убили, маменька. Я далъ пуделя по уткѣ, а Владиміръ Дмитричъ и совсѣмъ не стрѣляли.

Мал. Да, охота была не очень счастлива. Да мнѣ и не хотѣлось—я пошелъ больше для Платона Васильевича.

Хват. Платошенька, мнѣ надо съ тобою поговорить. Пойдемъ-ко. (*Уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ 5.

Катенька и Мальскій.

Мал. Что дядинька?

Кат. Все то же—смотритъ изподлобья и молчитъ.

Мал. А Лизаветѣ Петровнѣ лучше?

Кат. Она хотѣла нынче выйдти къ столу... Вотъ и будь тутъ весела, да безпечна! Видно, и мнѣ пришлось, смотря на всѣхъ, ходить съ траурнымъ лицомъ. Ахъ, какъ скучно и грустно, Владиміръ Дмитріевичъ!

Мал. Мнѣ самому не легче. Къ тому-же, я—разстаюсь съ вами. Я только жду, чтобъ дядюшка оправился, пришелъ въ себя и могъ бы проститься со мною безъ сердца—по родственному. А тамъ и за границу.

Кат. Хороши-же вы, Владиміръ Дмитріевичъ! Богъ наслалъ на насъ горе, а вы тутъ-то и хотите насъ оставить.

Мал. Что жь дѣлать, если мое присутствіе не помогаетъ горю, а только увеличиваетъ его! А вамъ жаль будетъ меня, когда я уѣду?

Кат. Злой человѣкъ! вы еще можете спрашивать! (*утираетъ слезы*).

Мал. (*про себя*). Она любитъ меня!—это утѣшительно! Ну, разомъ все кончить, что бы ни было! (*Вслухъ*). Катерина Петровна, я давно сбирался поговорить съ вами о нашихъ отношеніяхъ.

Кат. Вотъ нашли время говорить объ отношеніяхъ! Право, вы съ ума сошли, если еще можете о нихъ думать! Теперь это ни мало не забавно и не смѣшно. (*Вздыхая*) Да!—теперь ужь не до шутокъ! Ахъ, вонъ и Лизанька—и, кажется, веселѣе!

ЯВЛЕНІЕ 6.

Тѣ же и Лизанька.

Кат. Тебѣ, Лизанька, кажется, лучше?

Лиз. Да, я теперь хорошо себя чувствую.

Кат. (*цѣлуя ее*). Милая моя! какъ ты похудѣла, бѣдненькая! Не хочешь ли идти въ садъ — тебѣ бы это полезно.

Лиз. Я туда и шла было, да увидѣла тамъ Матрену Карповну съ ея Платошенькой и воротилась назадъ.

Кат. Вѣдь этакая безсовѣстная—видитъ, что тутъ совсѣмъ не до нея, и какъ нарочно расположилась гостить у насъ съ своимъ дуракомъ.

Лиз. Ну, Богъ съ ними. Коли отъ зла нельзя отдѣлаться—надо терпѣть его. Ты видѣла нынче дядиньку?

Кат. Видѣла. Онъ спокойнѣе, чѣмъ вчера и третьяго дня, но за то еще мрачнѣе. Теперь и тебѣ-бы, Лизанька, надо сходить къ нему повидаться.

Лиз. Я хочу это сдѣлать.

Кат. А посмотри-ка, Лизанька, какъ хорошъ Владиміръ Дмитріевичъ: пока у насъ все шло еще сносно—онъ нашъ другъ и родственникъ и мой обожатель; а какъ пошло все

хуже и хуже, такъ онъ и оставить насъ хочетъ, говоритъ—ѣду. Не правда ли—хорошъ? О, безсовестный!

Лиз. Владиміръ Дмитріевичъ, и у васъ достаетъ духу такъ огорчать Катеньку... и всѣхъ насъ?...

Мал. Но, вы знаете, третьяго дня — вы сами видѣли, слышали.

Лиз. Да, что дядинька тогда немного погорячился, вышелъ изъ себя, и обошелся съ вами немного грубо; но, любезный Владиміръ Дмитріевичъ, вы сами знаете, что съ нѣкотораго времени съ нимъ это не въ первый разъ случалось, просто вспышка. Я увѣрена, что онъ уже раскаевается и что больше этого не будетъ.

Мал. Вы такъ думаете?

Лиз. Да, я имѣю причины такъ думать.

Кат. Да, разумѣется, дядинька такъ добръ, и его странные поступки—просто припадки болѣзни. Впрочемъ, можетъ-быть, вы и рады имъ, какъ предлогу, чтобъ оставить насъ.

Мал. Можете ли вы такъ думать, Катерина Петровна?

Кат. Могу, очень могу, злой человѣкъ! Вы насъ нисколько не любите, вамъ скучно съ нами. Развѣ я не вижу, что со дня на день вы становитесь печальнѣе. Кого любишь, съ тѣми весело. (*Кланяясь ему*). Да уѣзжайте—съ Богомъ—умаливать васъ не будутъ и плакать о васъ тоже не будутъ. (*Утираетъ слезы*).

Лиз. И вы еще будете говорить объ отъѣздѣ. (*Тихо Мальскому*). И ваше сердце молчитъ — не отзывается на такую любовь?

Мал. Но, я, конечно, посмотрю, что̀ скажетъ дядинька. (*Про себя*). Боже мой! я погибъ—она меня любитъ!

Кат. Что же вы такъ блѣдны, смущены. Ну, полноте—я не сержусь больше—успокойтесь, вѣрный рыцарь! Я, Лизанька, пойду къ дядинькѣ, скажу ему, что тебѣ лучше, что ты вышла изъ комнаты: можетъ-быть, онъ

самъ захочетъ, чтобъ ты пришла къ нему; тогда я скажу тебѣ. А ты урезонь хорошенько нашего упрямца, да не будь къ нему слишкомъ снисходительна—строже съ нимъ—ихъ надо держать въ рукахъ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 7.

Лизанька и Мальскій.

Лиз. Катенька! Убѣжала, не слушаетъ, всегда одна и та же!

Мал. Да, и кажется, нельзя замѣтить и малѣйшаго желанія перемѣниться хоть немного.

Лиз. Зачѣмъ же? Развѣ она отъ этого меньше мила? Развѣ вы больше-бы полюбили ее, если-бы она перемѣнилась? Кого любятъ, въ томъ все любятъ — даже и худое, а въ ней нѣтъ ничего худаго.

Мал. О, конечно! но я не то совсѣмъ думалъ.

Лиз. Я знаю, что̀ васъ мучитъ, Владиміръ Дмитріевичъ: вамъ все кажется, что она мало васъ любитъ.

Мал. Да, но—(*Про себя*). Боже мой! какая пытка!

Лиз. Успокойтесь. Она можетъ любить тихо, но глубоко. Если вы ее разлюбите, она не придетъ въ отчаяніе, но тихо угаснетъ и, умирая, все будетъ шутить.

Мал. Вы такъ вѣрно судите о любви, что можно подумать, что вы сами когда-нибудь любили или любите.

Лиз. (*холодно и гордо*). Ложное заключеніе, Владиміръ Дмитріевичъ,—я никого не любила и не люблю.

Мал. (*задыхаясь*). Да, это правда — я вамъ вѣрю, и мой вопросъ не имѣлъ никакого особеннаго значенія. Извините, если я имъ оскорбилъ васъ.

Лиз. Боже мой! да кто жь оскорбляется. Зачѣмъ такъ принимать. Впрочемъ, я опять-таки скажу вамъ, что можно и не любя самой, имѣть понятіе о любви. (*Съ принуж-*

денною улыбкою). Видя васъ, можно получить понятіе даже и о ревности.

Мал. (*внѣ себя отъ волненія*). Да, это правда. Я самъ только теперь начинаю понимать всю силу моей любви. Прощайте до обѣда. — Пойду мечтать о любви. (*Быстро уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 8.

Лизанька (*одна*).

Да, онъ любитъ, и только несчастное чувство, которымъ наказалъ меня Богъ къ довершенію другихъ моихъ горестей, могло въ этомъ сомнѣваться. Теперь прочь всѣ сомнѣнія! прочь унизительная борьба! Дай Богъ имъ счастія— они оба достойны его. А я.... да что думать о себѣ! Это эгоизмъ. Мнѣ другой путь. Онъ любитъ мою сестру, и его любовь должна осчастливить ее. Меня же некому осчастливить. Такъ что̀ же?—Я могу осчастливить человѣка, а осчастливить человѣка—развѣ это не высочайшее счастіе, какое только можетъ быть въ жизни! Оно тяжело, мучительно; но чѣмъ больше жертва, тѣмъ выше поступокъ; чувство долга подкрѣпитъ меня, дастъ мнѣ силу. Да и почему жь не такъ? Что̀ жь тутъ особеннаго? Вѣдь выходятъ-же замужъ не по любви и бываютъ счастливы. А развѣ нѣтъ примѣровъ, что женятся по любви, а послѣ не терпятъ другъ друга? Онъ мой благодѣтель, отецъ; онъ такъ горячо любитъ меня; онъ будетъ такъ счастливъ. такъ будетъ любить меня. А какъ онъ теперь страдаетъ! И за что̀? Развѣ онъ виноватъ въ своемъ чувствѣ? (*Молчаніе*). Неравенство лѣтъ! Вздоръ! Онъ молодъ душою— въ такія лѣта и такая страсть! (*Молчаніе*). Теперь ему тяжело увидѣться со мною, и я сама, еслибы не рѣшилась на жертву, то скорѣе-бы рѣшилась умереть, чѣмъ увидѣться съ нимъ послѣ сцены третьяго дня. Онъ ревнуетъ меня къ нему. Какъ слѣпа страсть!...

Хват. (*за дверью, вполголоса*). Смѣлѣй, Платошенька; какъ я говорила, такъ и сдѣлай.

Плат. В. (*также за дверью, вполголоса*). Да ужъ не ударимъ въ грязь лицомъ—вѣдь и мы тоже видали виды.

Лиз. Что̀ это значитъ?

ЯВЛЕНІЕ 9.

Лизанька и Платонъ Васильевичъ.

Плат. В. (*подходя къ Лизанькѣ*). Я—то-есть матушка—(*Про себя*). Ай, струсилъ, чортъ возми! А кажись—чего бы?

Лиз. Что̀ вамъ угодно, Платонъ Васильевичъ?

Плат. В. Кому-съ? я—ничего, матушка.

Лиз. Что̀ же угодно вашей маменькѣ?

Плат. В. Она ничего-съ, слава Богу, здорова. Я, то-есть хотѣлъ съ вами объясниться, да забылъ-съ, смѣшался—дѣло непривычное-съ. У насъ въ полку отрапортовалъ, и дѣло съ концомъ; на все форма — такъ ужъ не собьешься.

Лиз. Но я васъ не понимаю; скажите прямѣе.

Плат. В. (*становится на колѣни, держа руки по швамъ; Хватова выглядываетъ изъ-за двери и тотчасъ прячется*). Не откажите ради сиротства.

Лиз. Въ чемъ?

Плат. В. Я, сударыня. (*Про себя*). А, вспомнилъ! (*Вслухъ*) Я, сударыня, поразился вашею красотою и прошу у васъ руки и сердца.

Лиз. Встаньте, Бога ради, Платонъ Васильевичъ. Что вы это!

Плат. В. Пока не осчастливите—умру, а не встану, матушка не велѣла, то-есть, я самъ. (*Про себя*). Опять проговорился!

ЯВЛЕНІЕ 10.

Тѣ же и Горскій съ Катенькою, изъ одной двери; Хватова, изъ другой.

Кат. Ха! ха! ха!

Горс. Что̀ это такое?

Плат. В. (*вставая*). Срѣзался! Вѣдь съ нимъ толковать-то хуже, чѣмъ съ нашимъ полковникомъ.

Хват. Что̀ жь смѣшнаго, Катерина Петровна? Бѣдный малый влюбленъ безъ ума и проситъ руки. Николай Матвѣевичъ.

Горс. (*робко смотритъ на Лизаньку*). Здравствуй Лизанька. Лучше ли тебѣ?

Лиз. (*потупивъ глаза*). Слава Богу, дядинька. Николай Матвѣичъ, вы лучше-ли себя чувствуете? Мнѣ надо поговорить съ вами послѣ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 11.

Тѣ-же, кромѣ Лизаньки.

Кат. Ахъ, дядинька, какая-же Лизанька счастливая! Я, право, завидую ей.

Горс. (*тихо съ упрекомъ*). Ахъ, Катенька, до шутокъ ли теперь? (*Катенька, закусивъ губы, уходитъ*). Матрена Карповна, что это за сцены заводишь ты въ моемъ домѣ?

Хват. А что́ же, батюшка, вѣдь ты-же сказалъ, чтобъ мы сами похлопотали. Вѣдь онѣ у тебя ученыя, книжницы — все хотятъ по любви, какъ въ романахъ, такъ Платошенька и объяснился. Онъ, бѣдный, по уши влюбленъ въ Лизавету Петровну и во снѣ ее нынче видѣлъ.

Горс. Охо-о хо! влюбленъ, влюбленъ!

Хват. Не оставь, отецъ родной, сиротку; ты всегда былъ нашимъ благодѣтелемъ.

Горс. Эхъ, Матрена Карповна! Платонъ Васильевичъ,

оставь-ко меня поговорить съ матерью-то. (*Хватовъ выходитъ*). И нашла ты время, Матрена Карповна!

Хват. Платошенька погорячился, Николай Матвѣичъ; ужь я и говорила ему—погоди, такъ нѣтъ, не терпится, вѣдь съ ума сходитъ бѣдный малый отъ любви къ Лизаветѣ Петровнѣ.

Горс. Небось — не сойдетъ. А пока я тебѣ вотъ что̀ скажу: ты за дѣло взялась совсѣмъ не такъ, да и взялась по напрасну: Лизанька за твоего сына не выйдетъ. Я ужь говорилъ ей—и слышать не хочетъ.

Хват. Батюшка, отецъ родной, похлопочи, посовѣтуй—дѣло дѣвичье, молодое — пожалуй и отъ своего счастія откажется. Немножко и попринудить не грѣхъ. Не погуби насъ сиротъ бѣдныхъ. (*Плачетъ*).

Горс. Ну, хорошо, хорошо. Я постараюсь, только ужь ты-то больше ничего не затѣвай, во всемъ положись на меня. А теперь поди-ко посмотри насчетъ стола.

Хват. Ужь не бойтесь, Николай Матвѣичъ, я на васъ, какъ на каменную гору. По шеѣ изъ дому вытолкай, коли заикнусь только. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 12.

Горскій (*махнувъ рукою вслѣдъ Хватовой*).

Эхъ! вѣдь вотъ тутъ-то, какъ нарочно, всѐ и столкнулось такъ некстати — и гости наѣхали, и дурака этого нелегкая изъ арміи принесла! Да на этотъ разъ я и радъ, что такъ случилось. Я шелъ къ ней нарочно съ Катенькой, чтобъ не быть съ глазу на глазъ, да и то и колѣни трясутся, и въ глазахъ темно, и голова кругомъ, и самъ задохнулся. Ужь радъ, радъ, что она была не одна—и еще въ такомъ положеніи. Теперь все легче будетъ увидѣться. (*Садится въ кресла у стола*). Что̀ теперь дѣлать? Какъ быть? Жить намъ вмѣстѣ нельзя. Жить вмѣстѣ?—Чтобъ

каждый день видѣть ее, мучиться, ревновать. Не смѣть подойти, взять за руку, поцѣловать. Поцѣловать?—да какой-же это будетъ поцѣлуй? О, Боже мой, Боже мой? И зачѣмъ она открыла мнѣ глаза? Лучше бы я ничего не зналъ и думалъ, что я, просто, болѣнъ! (*Молчаніе*). Нѣтъ, намъ нельзя больше жить въ одномъ домѣ. Да что же дѣлать? Я бы и ушелъ, куда глаза глядятъ, да на кого же я оставлю ихъ? Замужество одно средство. Да за кого же отдать ее? Развѣ за Коркина?—человѣкъ хорошій. Отдать за него—нѣтъ, мнѣ бы не хотѣлось этого. Всего лучше, пусть Володя женится на Катенькѣ—тогда и у ней будетъ покровитель. Ну, а я? Да что я!—Моя участь рѣшена. Богъ посѣтилъ меня на старости лѣтъ. Видно, я грѣшнѣе всѣхъ. На старости лѣтъ я мучусь страстью, которой никогда не зналъ и въ молодости, ревную, не сплю ночей, долженъ стыдиться дѣвочки, которая любила меня, какъ отца, долженъ стыдиться всѣхъ, убѣгать людей, самого себя—о Боже мой, Боже мой! Еслибъ ужь умереть. (*Опирается на столъ обѣими руками закрывая ими лицо. Молчаніе. Входитъ Лизанька*).

ЯВЛЕНІЕ 13.

Горскій и Лизанька.

Лиз. Дядинька!

Гор. (*вскакивая съ мѣста*). Лизанька! (*Молчаніе*).

Лиз. Я нарочно пришла—объясниться съ вами.

Гор. Объясниться? То-есть, объяснить мнѣ, кто я, что я, на кого я похожъ? О, пощади, избавь,—я самъ все знаю, все понимаю.

Лиз. Вы не такъ поняли мои слова. Васъ упрекать, обвинять, человѣкъ благороднѣйшій и несчастнѣйшій!

Гор. Несчастнѣйшій — такъ; но благороднѣйшій — о нѣтъ! избавь меня отъ отвѣта!

Лиз. Вамъ не въ чемъ себя упрекать—несчастіе не есть преступленіе.

Гор. О Боже мой, Боже мой! Мнѣ страшно смотрѣть на свѣтъ, я желалъ-бы ослѣпнуть.

Лиз. Перестаньте, Бога ради, перестаньте; я не о томъ хотѣла говорить съ вами, дядинька, Николай Матвѣевичъ.

Гор. Николай Матвѣевичъ! Этого-ли еще не доставало! ха! ха! ха!

Лиз. Выслушайте меня—наши отношенія—наше положеніе другъ къ другу.

Гор. (*прерывая ее*). Особенно мое къ тебѣ—очень хорошо. (*Бьетъ себя въ голову*) Старая голова, плѣшивая голова, глупая голова!

Лиз. Вы не дадите кончить. Намъ нельзя жить вмѣстѣ.

Гор. (*мрачно*). Я это знаю...

Лиз. Но, намъ нельзя и разстаться.

Гор. Что?!

Лиз. (*бросается къ нему на шею*). Поймите меня! Пощадите меня отъ объясненій! Я не могу думать, не хочу думать, чтобы вы были несчастны черезъ меня. (*Плача, приклоняется головою къ его плечу*).

Гор. Но ты не виновата въ моемъ несчастіи.

Лиз. Вы тоже въ своемъ. А я не могу быть счастлива, когда вы несчастны—и еще черезъ меня.

Гор. Что-жь дѣлать? Надо покориться судьбѣ.

Лиз. Нѣтъ, не покориться, а понять ея опредѣленіе, которое неизбѣжно. Дядинька—нѣтъ—не дядинька; Николай Матвѣевичъ! Еще ли вамъ мало!

Гор. Какъ? Что́ ты хочешь сказать? Я не понимаю.

Лиз. (*быстро*) Что́ я хочу сказать? Судьба хочетъ, чтобы вы были черезъ меня несчастны, а я хочу, чтобы вы были черезъ меня счастливы. (*Бросается къ нему въ объятія*).

Гор. (*отскочивъ отъ нея*). Но, Боже мой! Лизанька, подумала ли ты?

Лиз. О, я много, много думала.

Гор. Боже мой! Я не знаю, не могу. Да! (*Поводитъ рукою по лбу*). Да—ты—съ твоей стороны это благородно; но я.... за кого-же ты меня принимаешь?

Лиз. За человѣка, который меня любитъ, и любовь котораго я должна наградить.

Гор. И который, прибавь, никогда не будетъ такъ подлъ, чтобы воспользоваться непринадлежащею ему наградою.

Лиз. (*обнявъ его, задыхаясь, говоритъ ему на ухо скороговоркою*). Послушайте, къ чему все это? я рѣшилась. Не всѣ выходятъ замужъ по любви, а замужъ выходятъ всѣ. И не всѣ любятъ и влюбляются, а надо жь будетъ за кого-нибудь выйдти замужъ. Такъ не лучше ли выйдти за человѣка, который любитъ меня, благороднѣйшій въ мірѣ человѣкъ, достойный не любви, а обожанія.

Гор. (*вырывается изъ ея объятій и закрываетъ уши*). Не говори, Бога ради, не говори, демонъ-обольститель! Вѣдь это говоришь не ты—дьяволъ говоритъ твоимъ языкомъ, чтобъ погубить меня. Молчи! молчи!

Лиз. Нѣтъ, я буду говорить, я должна говорить. Богъ говоритъ моимъ языкомъ, чтобы спасти насъ обоихъ.

Гор. Но, опомнись, опомнись—ты, молодая, прекрасная дѣвушка—я старикъ. Позоръ на мои сѣдые волосы, проклятіе на мою голову, если я тебѣ повѣрю, соглашусь...

Лиз. Ваши лѣта! Послушайте, ваши лѣта для мужчины—что они такое? Женятся и старѣе васъ.

Гор. Чужія глупости—не оправданіе моей.

Лиз. Однимъ словомъ, я на это рѣшилась, и это должно быть.

Гор. Но погубить безвозвратно твое счастіе!

Лиз. Погубить? Нѣтъ,—дать мнѣ его. Не почитайте женской робости за отвращеніе, святаго долга, за принужденіе. Да, я могу найдти себѣ мужа моложе васъ; но не

найду, чтобы такъ могъ любить меня. Надо имѣть звѣрское сердце, чтобъ не оцѣнить такой любви и не заплатить за нее равною любовію.

Гор. (*закрывая ей ротъ*). Молчи, Бога ради, молчи! По крайней мѣрѣ, дай мнѣ подумать. Но пока, чтобъ никто не подозрѣвалъ и не догадывался. Поди, поди, оставь меня одного. (*Выталкиваетъ ее*).

ЯВЛЕНІЕ 14.

Горскій (*долго смотритъ ей вслѣдъ; потомъ, всплеснувши руками*).

Боже мой! что со мною! Стѣны кружатся, полъ колеблется подо мною. (*Шатаясь, подходитъ къ кресламъ у стола и упадаетъ въ нихъ*). Будто это возможно? Вѣрить-ли ей?—Нѣтъ! прочь, демонъ-соблазнитель!—отойди отъ меня! не искушай меня! Она—моя жена! Тсъ! Объ этомъ и подумать страшно—стѣны услышатъ и захохочутъ. (*Молчаніе; вдругъ вскакиваетъ съ креселъ и ходитъ по комнатѣ большими шагами*). Однакожъ, надо подумать спокойнѣе, безпристрастнѣе. (*Хватаясь за голову*). Да я не могу ни о чемъ думать—голова горитъ; мнѣ душно—я задохнусь. (*Ходитъ въ молчаніи*). А въ самомъ-то дѣлѣ—что-жь? Мои лѣта... но я крѣпокъ еще, свѣжъ, здоровъ: притомъ же пятьдесятъ лѣтъ будто ужь и Богъ знаетъ сколько—не шестьдесятъ же. Да и въ шестьдесятъ женятся. Ей надо-же за кого-нибудь выйдти, такъ лучше же, чѣмъ за кого-нибудь, кто не будетъ ее ни любить, ни цѣнить,—за человѣка, который любитъ ее больше жизни, больше свѣту очей. Она сама такъ думаетъ. Тутъ нѣтъ принужденія—ея добрая воля. (*Потирая руками*). Но надо подумать, надо крѣпко подумать сперва—въ мои лѣта нельзя скоро рѣшаться на такіе поступки. (*Останавливаясь пе-*

редъ зеркаломъ). Боже мой! я нынче и не брился, сюртукъ на мнѣ ни на что не похожъ.

ЯВЛЕНІЕ 15.

Входитъ Мальскій.

Мал. Дядинька.

Гор. (*бросаясь ему на шею*). Володя! другъ мой! прости меня—я виноватъ передъ тобою, много виноватъ; готовъ на колѣняхъ просить у тебя прощенія. Забудь, что̀ было—впередъ ужь этого не будетъ.

Мал. Ахъ, дядинька, какъ же вы меня удивили.

Гор. Чѣмъ же, милый мой?

Мал. Да вы такъ веселы, такъ бодры, здоровы! Давно ужь не видѣлъ я васъ такимъ, да признаюсь—и видѣть не надѣялся.

Гор. А тебѣ, видно, жаль, что однимъ дуракомъ меньше стало—такъ ты и носъ повѣсилъ.

Мал. Есть отъ чего повѣсить, дядинька.

Гор. Вздоръ! совсѣмъ не отчего! Я хочу, чтобъ теперь опять все пѣло, плясало. Красные дни наши опять воротились!

Мал. Только не для меня, дядинька—мои красные дни навсегда распрощались со мною.

Гор. (*шутливо*). Ужь будто навсегда?—раненько!... Ну, скажи—въ чемъ твое горе?

Мал. Третьягодня вы требовали отъ меня рѣшительнаго отвѣта насчетъ моихъ отношеній къ Катеринѣ Петровнѣ.

Гор. Да! третьягодня; но зачѣмъ-же торопиться—еще будетъ время.

Мал. Нѣтъ, пора положить всему конецъ. Будь, что̀ будетъ, а я больше не въ силахъ выносить. (*Молчаніе*). Дядинька, строго допросивши и изслѣдовавши себя, я удо-

стовѣрился совершенно, что моя любовь къ Катеринѣ Петровнѣ—просто воспоминаніе дѣтства, привычка.

Гор. Худо! А дѣлать нечего! Впрочемъ, надо ее поразспросить—если и на ото же скажетъ, такъ бѣда не велика.

Мал. А если она не то скажетъ—тогда что?

Гор. Худо! Странное дѣло: только вотъ подумаешь, что все пошло хорошо, тутъ-то, откуда ни возьмется, новое горе! Но если она тебя любитъ—почему тебѣ не жениться на ней?

Мал. Потому, что жениться на женщинѣ, не любя ее—значитъ не уважать ее.

Гор. Но вѣдь я говорю — въ такомъ случаѣ, если она любитъ тебя?

Мал. Тѣмъ больше: въ такомъ случаѣ надо притворяться, за нѣжность платить нѣжностью, всегда быть въ принужденіи. О, нѣтъ, ни за что́ на свѣтѣ!

Гор. Ты такъ думаешь?

Мал. Такъ, дядинька.

Гор. (*быстро смотря ему въ глаза*). Да не значитъ ли это чего, Володя?

Мал. Что́ же такое?

Гор. Такъ. Ты не влюбленъ ли въ другую?

Мал. Въ кого же?

Гор. А мнѣ какъ знать! Я потому-то и спрашиваю, что не знаю.

Мал. Нѣтъ, дядинька, ни въ кого, будьте увѣрены.

Гор. Тото-же! Какъ же быть теперь?

Мал. Остается одно средство: я уѣду; тогда вы разспросите ее и увѣдомите меня.

Горс. Экое дѣло! Да, видно больше нечего дѣлать. Покуда быть такъ. Куда же ты?

Мал. Куда глаза глядятъ, хотѣлось бы отъ самогосебя убѣжать. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 16.

Горскій (*одинъ*).

Худо! А впрочемъ еще отчаяваться нечего. Надо сперва поразспросить хорошенько эту вѣтренницу. Можетъ-быть, оно и все къ лучшему. Все къ лучшему? О, еслибъ это была правда! Странно, радость моя прошла, мнѣ опять грустно, какое-то безпокойство. Вотъ за минуту — все казалось мнѣ такъ, какъ быть должно, все такъ хорошо, старое сердце билось такою сильною радостію. А теперь? Да къ чему все это, и какъ все это? Опять все кажется такъ несбыточно, неестественно. Странно. Но подождемъ— тсъ! Кто тамъ?

ЯВЛЕНІЕ 17.

Входитъ Лизанька.

Гор. А, это ты, Лизанька! Не знаю, почему, но только твое присутствіе пугаетъ меня. Что ты еще скажешь?

Лиз. Все то же, что ужь и сказала. Мнѣ нетерпѣливо хочется услышать ваше рѣшеніе.

Гор. (*смотря на нее съ смущеніемъ и восторгомъ*). Ангелъ! О, Боже мой, Боже мой! Не во снѣ-ли все это? Нѣтъ, Лизанька уйди, уйди! не кажись мнѣ, пока я не скажу тебѣ своего рѣшенія. Твой видъ смущаетъ меня. Видишь, какъ я весь дрожу? Посуди сама — къ лицу ли мнѣ это? О, пощади, пощади меня! Когда все обдумаю, рѣшусь, тогда, только тогда ужь не оставляй меня ни на минуту. Не дай закрасться въ душу ни одному сомнѣнію. (*Схватывая ея руку и быстро смотря ей въ глаза*). Знаешь ли ты, что тогда твое слово, твой взглядъ, одно твое движеніе будетъ и убивать и воскрешать меня? Понимаешь ли ты, что такое любовь старика къ молодой дѣвушкѣ? Да это для нея казнь Божія? Выходи за молодаго—то немного внимательности, немного любви—и онъ

счастливъ, спокоенъ. Онъ безъ ревности будетъ смотрѣть, какъ ты говоришь съ тѣмъ, съ другимъ, внимательна къ тому, къ другому. А старикъ — у него не чиста совѣсть, онъ никогда не забудетъ разницы лѣтъ.

Лиз. Полноте, полноте. Не мучьте себя такими пустыми предположеніями. Нѣтъ, вы не можете быть ревнивцемъ—мучителемъ своей жены.

Гор. Мучителемъ? Скажи—палачемъ! Да, палачемъ твоимъ я буду! Я не скажу тебѣ ни слова — я скрою, глубоко скрою въ себѣ мои безпокойства, мои мученія; да развѣ не будутъ тебя мучить — мое молчаніе, мрачный взглядъ, блѣдность, кровавые глаза, безумный шопотъ днемъ, безумный бредъ ночью? Знаешь ли ты, какъ я тебя люблю? (*На ухо, вполголоса*). Я такъ тебя люблю, что часто не могу разобрать — люблю или ненавижу я тебя. И это не пугаетъ тебя?

Лиз. А знаете ли вы, какъ я могу любить? Прошу васъ только объ одномъ: дайте пройдти только первому времени смущенія, дайте мнѣ только привыкнуть къ моему новому положенію. А тамъ... да неужели вы думаете, что я такъ бѣдна, что не буду въ состояніи заплатить вамъ равною любовію? Не ждите отъ меня страсти, ревности, впалыхъ глазъ, блѣднаго лица—нѣтъ, я неспособна ко всему этому. Но я сдѣлаю больше: въ моемъ веселомъ взорѣ вы будете видѣть себя, и вашъ взоръ будетъ спокоенъ и свѣтелъ: въ моемъ лицѣ вы будете видѣть не опустошенія страсти, а кроткій блескъ любви, и этотъ блескъ отразится на вашемъ лицѣ. Да, не страсть, не ревность, а любовь и счастіе дамъ я вамъ.

Гор. (*задыхаясь отъ радости и смущенія*). Замолчи, замолчи—твои слова обольстительны, а я—я подкупленъ—я измѣнилъ самому себѣ, я не смѣю вѣрить себѣ. Дай мнѣ успокоиться, собраться съ мыслями, опомниться. Но нѣтъ, не ты, я оставлю тебя, уйду отъ тебя—ты страшна мнѣ.

Лиз. Дядинька! (*бросается къ нему въ объятія; онъ вырывается, бѣжитъ и, оглянувшись на нее разъ, уходитъ въ свой кабинетъ, а она, черезъ противоположную дверь, въ свою комнату*).

ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1.

Иванъ и Хватова.

Хват. Ну что, голубчикъ Иванъ — не разузналъ ли чего—па счетъ—знаешь?

Иван. Да кажется, дѣло-то ладно, матушка Матрена Карповна.

Хват. А что, что?

Иван. Машутка говоритъ, что, вишь, вошла невзначай въ ея спальню, а она, матушка моя, не запримѣтила ее, да и говоритъ, то-есть про себя: «выйду такъ выйду— онъ-де не старъ».

Хват. Да о комъ-же это?

Иван. А Богъ ее знаетъ; должно быть—о Платонѣ Васильичѣ.

Хват. Да какъ же это? О Платошенькѣ нечего и говорить—ему всего двадцать-восемь лѣтъ.

Иван. Да, человѣкъ молодой и всѣмъ взялъ—поведенція молодецкая, военная. А другое слово — ужь не о Ѳедорѣ ли Кузмичѣ? Да, онъ уже и старенекъ, и вдовецъ, и дѣти есть.

Хват Ну, дай Богъ, дай Богъ! Мнѣ, конечно, хотѣлось, да если Божьей воли нѣтъ, такъ дай Богъ другимъ счастія. Я вѣдь не о себѣ хлопотала, я больше все для нихъ же счастія.

Иван. Вѣстимо, матушка Матрена Карповна—что̀ и говорить.

Хват. Стало быть, Катерина-то Петровна ужъ навѣрное выйдетъ за Владиміра Дмитрича?

Иван. Ну, Богъ вѣсть. У нихъ что-то не ладно, онъ и уѣхать сбирается.

Хват. По какой же причинѣ?

Иван. Да хорошенько не знаю, а надо думать, что съ ней то, то есть, съ барышнею-то, у него не ладно. *(Уходитъ).*

ЯВЛЕНІЕ 2.

Хватова *(одна).*

Отъ этого дурака толку большаго не добьешься. Промахнулась я. Трудно повѣрить, чтобъ она вышла за Бражкина; да и то сказать—триста душъ, да тысячъ двадцать чистоганомъ денегъ; дура была бы, коли бъ не пошла. Теперь одна надежда на ту. Охъ, дѣти! дѣти! Дороги вы материнскому сердцу!... Да гдѣ ихъ чортъ таскаетъ! А! вонъ дура то идетъ.

ЯВЛЕНІЕ 3.

Входитъ Анна Васильевна *(съ цвѣтами на головѣ и на груди).*

Хват. Гдѣ ты шаталась?

Анна В. *(грубо).* Гдѣ! Гуляла въ саду, въ рощѣ по рѣкѣ.

Хват. А узнала ли что!

Анна В. Куда узнать! Я было вчера такъ и сякъ съ Катериной Петровной, а она то побѣжитъ, то запоетъ, то заговоритъ совсѣмъ о другомъ.

Хват. У! дура набитая! Вотъ далъ Богъ дѣтокъ! О

себѣ не могутъ постараться! Ты бейся для нихъ изъ послѣднихъ силъ, а они только зѣваютъ, да мухъ считаютъ.

Анна В. Да что-жь дѣлать, когда нельзя! Вы только ругаться, да драться, въ самомъ дѣлѣ!

Хват. Ты готова матери то глаза выцарапать; хорошо, что я еще и сама когтиста и зубаста: небось, какъ разъ уйму. Нельзя! нельзя! А мнѣ такъ видно можно? Вчера съ четверть часа стояла за дверьми на цыпочкахъ, скорчившись; страхъ такой,—того и гляди кто застанетъ. А вы такъ ничего не можете. Вчера тотъ болванъ такъ и хлопнулся на колѣни, а сказать умненько, какъ я учила, ничего не могъ. А еще военный! А ты только наколишь себѣ цвѣтовъ на голову, да на грудь, какъ принцесса какая, а дѣла сдѣлать не умѣешь. А пора бы подумать, вѣдь тебѣ двадцать девять лѣтъ.

Анна В. Да Владимiръ Дмитричъ.

Хват. О братѣ-то старайся, дура набитая! Куда тебѣ думать о Владимiрѣ Дмитричѣ; этотъ гордецъ и не смотритъ на тебя. Кабы умна была, такъ около Бражкина-то хлопотала бы.

Анна В. Ну ужь, старый чортъ!

Хват. А ты молода? Вишь пищечко какое, чортъ бы тебя побралъ. Туда же суется...

Анна В. Да что же вы больно сердитесь — жолчь испортите!

Хват. Да съ вами, съ дураками, испортишь поневолѣ. И такъ промаха дала. Знаешь ли ты, на комъ женится старый то чортъ? На Лизаветѣ! Да!..

Анна В. И она идетъ за него?

Хват. А то нѣтъ! Вишь у ней губа-то—дура, какъ у тебя! Что̀, что старъ—скорѣй издохнетъ; тогда своя воля. Да не о томъ рѣчь. Мы съ Платошей на ней промахнулись, такъ теперь надо попробовать, нельзя ли около другой то похлопотать.

Анна В. Да какъ-же? Вѣдь она выйдетъ за Владиміра Дмитрича?

Хват. То-то и есть, что еще Богъ знаетъ за кого— старуха надвое сказала. Я кое-что развѣдала, да еще не навѣрное. Смотрите же вы, олухи, уши востро; ты отъ Катеньки-то и не отходи: чуть сойдется, или заговоритъ съ Мальскимъ, какъ хочешь, хоть прилягъ къ двери, только не пророни слова. На Платошу плоха надежда— онъ только умѣетъ усы закручивать, посвистывать, да военные экивоки отпускать. Охъ, оплошала я, окаянная, дура набитая! Катерина то дѣвка добрая, а та даромъ, что ласкова съ нами, а по ней хоть бы и не видать насъ— гордячка такая.

Анна В. Да, все молчитъ, да смотритъ изподлобья.

Хват. Ну, смотри же ты у меня—не зѣвай. Постой, кто-то идетъ. Уйдемъ. Смотри, не отходи отъ нихъ (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 4.

Входитъ Горскій.

Гор. Поскорѣй, поскорѣй все покончить, а то силъ нѣтъ. Я ужь не въ состояніи скрываться—того и гляжу, что всѣ догадаются. То-то хорошо будетъ!

ЯВЛЕНІЕ 5.

Входитъ Лизанька.

Лиз. Ахъ дядюшка!

Гор. Дядюшка! И испугалась!

Лиз. Мнѣ показалось, что вы сейчасъ прошли по саду, такъ я и удивилась, увидѣвши васъ здѣсь.

Гор. Полно, Лизанька, полно, моя милая. Перестанемъ играть въ куклы, будемъ говорить, какъ взрослые люди. Ахъ, мнѣ то ужь давно бы пора хватиться за умъ!

Лиз. Вы меня удивляете: я думала слышать отъ васъ совсѣмъ другое.

Гор. (*горько улыбаясь*). И будто вправду!

Лиз. Вы оскорбляетесь?

Гор. Да, Лизанька, оскорбленъ я жестоко, только не тобою, а самимъ собой!

Лиз. Но, меня удивляетъ такая внезапная перемѣна въ вашемъ рѣшеніи.

Гор. Есть причина. Я нынѣшнею ночью видѣлъ дурной сонъ. Мнѣ снилось, будто я женатъ на тебѣ, а волосы у меня ужь совершенно сѣдые; я шелъ съ тобою по улицѣ, а на меня всѣ указывали пальцами. Это мнѣ такъ не понравилось, что я ужь раздумалъ жениться.

Лиз. Но...

Гор. Полно, Лизанька. Я понимаю цѣну твоего рѣшенія—оно благородно, достойно тебя, твоей прекрасной души. Не унижай же меня передъ самимъ собой. Я могъ увлечься слабостію сердца, да это была минута. Полно, ни слова объ этомъ. И если ты въ самомъ дѣлѣ любишь меня, принимаешь во мнѣ участіе, то дай мнѣ слово, что несчастная тайна останется между нами, и никто, и никогда не узнаетъ объ ней.

Лиз. Но, вы меня не понимаете. Я рѣшилась не вдругъ, но рѣшилась твердо.

Гор. (*съ горькою улыбкою*). Рѣшилась! Въ любви нѣтъ рѣшеній—въ ней добровольно отдаются другому, потому-что отдаются счастію. Рѣшаются только на несчастіе, на пожертвованія, а въ любви нѣтъ жертвъ.

Лиз. (*съ жаромъ*). Какая неправда, какая ужасная ложь! Напротивъ—безъ жертвъ нѣтъ любви. Кто неспособенъ жертвовать собою для счастія другихъ, тотъ эгоистъ.

Гор. (*грустно качая головою*). Мечты юности, мечты пылкой головы, пылкаго сердца, которыя еще не знаютъ жизни! или знаютъ ее изъ книгъ—по романамъ и стихамъ!

Въ это время я много поумнѣлъ, моя милая! много узналъ такого, чего прежде и не подозрѣвалъ. Вѣкъ живи — вѣкъ учись, говоритъ пословица; жизнь не книга — ея нельзя выучить на изусть, какъ урокъ; ее надо выстрадать. Вникни-ка въ себя поглубже, такъ и увидишь, что минутную вспышку, конечно, очень благородную и на эту минуту очень истинную, ты принимаешь за твердое рѣшеніе. Скажу тебѣ больше: твое рѣшеніе пугаетъ тебя, только ты боишься сознаться въ этомъ самой себѣ. Тебѣ уже представляется темно, что ты могла бы встрѣтить молодого человѣка, котораго любовь осчастливила бы тебя. Вѣдь молодое сердце ищетъ любви молодаго сердца. Хорошо бы тогда было! Что, что ты осталась бы мнѣ вѣрна! Не вѣрности, а любви хочу я.

Лиз. Боже мой! Дядинька, какъ же вы мало меня знаете.

Гор. Конечно, обо всемъ этомъ ты не думала, да все это думалось въ тебѣ само собою, безъ твоего вѣдома. Въ сердцѣ человѣческомъ много закоулковъ. И я нисколько не виню тебя за это.

Лиз. О, какая холодная, эгоистическая философія!

Гор. Зато—истинная. Но довольно объ этомъ. Будь—что будетъ, а мнѣ надо быть мужчиной, и еще пятидесятилѣтнимъ мужчиной. Я палъ, низко палъ, ужасно палъ; но все-же не до такой степени, чтобы, забывъ честь и Бога, воспользоваться героизмомъ молодой дѣвочки, романической мечтательницы — загубить въ цвѣту ея жизнь. Оставь меня. Поди, поди и ни слова больше. (*Выталкиваетъ ее.*)

ЯВЛЕНІЕ 6.

Горскій (*одинъ*).

Да! больше думать нечего—одна дорога! Уѣду куда-нибудь, пока душа не успокоится, пока не увѣрюсь, что могу видѣть ее безъ волненія, безъ тоски, любоваться ею,

какъ отецъ дочерью. Видѣть ее безъ тоски, безъ волненья!— будто это возможно! будто это будетъ когда-нибудь! Нѣтъ, вижу конецъ моему счастію. Закатъ мой печаленъ. Что-жь, всему свое время: за красными днями весны и лѣта наступаетъ холодная, дождливая осень—все тихо, мертво, и только шумитъ вѣтеръ, да срываетъ желтые листья! Такъ и человѣкъ: въ молодости вьются кудри, а наступитъ его осень—бѣлѣютъ его волосы и падаютъ, какъ осенніе листья. Всему свой конецъ. И душа цвѣтетъ радостью и вянетъ отъ печали. И я теперь, какъ дерево осенью—сиръ, одинокъ, болѣнъ душою, и не съ кѣмъ раздѣлить мнѣ своей тоски, некому повѣрить моей печали. И кому бы повѣрилъ я ее, когда самъ стыжусь ея? И кто бы одобрилъ мое страданіе, кому бы не показалось оно смѣшно? А я могу снести все на свѣтѣ, кромѣ насмѣшливой улыбки надъ тѣмъ, что̀ составляетъ несчастіе моей жизни. Насмѣшливая улыбка, какъ раскаленное желѣзо, прожгла бы мою душу, и не было бы отъ меня прощенія тому человѣку! Да! мнѣ надо затвориться въ себѣ. Да! прощайте, люди не поминайте лихомъ!

ЯВЛЕНІЕ 7.

Входитъ Мальскій.

Гор. Ну, что ты, Володя?

Мал. Ѣду, дядинька, дня черезъ три.

Гор. Счастливый путь, Володя! Не удивляйся, что я говорю тебѣ это: кто ѣдетъ, тому надо говорить «счастливый путь!» (*Уходитъ.*)

ЯВЛЕНІЕ 8.

Мальскій (*одинъ*).

Не понимаю, что дѣлается съ дядинькой. Его тонъ такъ страненъ, слова загадочны. (*Молчаніе*). Грустно, тяжело

разстаться съ мѣстомъ, гдѣ росъ, былъ счастливъ; но есть и какое-то наслажденіе въ мысли объ утратѣ счастія, о предстоящихъ буряхъ. Итакъ, смѣлѣе впередъ — хуже вѣдь не будетъ!

ЯВЛЕНІЕ 9.

Входитъ Лизанька.

Лиз. Владиміръ Дмитріевичъ!

Мал. Лизавета Петровна!

Лиз. Вы что-то озабочены?

Мал. Благодарю васъ за вниманіе. Я такъ не привыкъ къ нему съ вашей стороны.

Лиз. Грѣшно и стыдно говорить вамъ такъ, Владиміръ Дмитріевичъ. Но я вижу, что вы что-то особенно не въ духѣ нынче, и не хочу тяготить васъ своимъ присутствіемъ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 10.

Мальскій (*одинъ*).

Почему не смѣю я сказать ей, какъ я ее люблю? Отчего эта робость, смущеніе? Да потому, что изъ этого ничего бы не вышло. Надо скорѣе уѣхать—это всего лучше и вѣрнѣе. Кто это тутъ за дверью? (*Отворяетъ дверь и заглядываетъ въ залу*). Нѣтъ никого, а кто-то пробѣжалъ какъ будто отъ этой двери черезъ корридоръ. Боже мой! что если это она? уйдти поскорѣе. Какъ мнѣ будетъ съ нею встрѣтиться! (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 11.

Входитъ Хватова.

Хват. Э, голубчикъ — вотъ онъ по комъ вздыхаетъ! Вотъ отчего размолвка-то съ невѣстой! О той нечего и

думать. За кого-же сватается Алексѣй-то Степанычъ? Должно быть, что мѣтитъ на эту. Эхъ, дала я маха! Катенька-то и доступнѣе, да она же и ласковѣе со всѣми нами, особенно съ Платошенькой. Надо все сказать Николаю Матвѣичу. Пусть племянничекъ-то мой обожжется. Онъ вѣдь все останется роднею. Пусть лучше достанется этому гордецу Мальскому—это будетъ у меня новая богатая роденька. А въ Бражкинѣ проку мало, онъ скряга. Надо поторопиться, пока племянничекъ еще ничего не знаетъ.

ЯВЛЕНІЕ 12.

Входитъ Горскій.

Горс. (*не замѣчая Хватовой*). Отчего же она поблѣднѣла, какъ только я сказалъ ей, что онъ ѣдетъ? Жаль сестры? Это что-то подозрительно. Конечно, она привыкла любить его, какъ брата. А! Матрена Карповна! Что ты стоишь тутъ, какъ мертвая, и не слышно тебя?

Хват. Ахъ, я задумалась!

Горс. Объ чемъ это?

Хват. Да все о своей горькой участи, батюшка Николай Матвѣичъ. Дѣло вдовье, сиротское, одна была надежда на васъ, да вы что-то не расположены къ этому.

Горс. Къ чему?

Хват. Да о чемъ я васъ просила.

Горс. Какая ты не догадливая, Матрена Карповна! Я, кажется, толкомъ сказалъ тебѣ, что Лизанька не пойдетъ за твоего Платошеньку.

Хват. Да я ужь васъ не о томъ прошу. Я хотѣла попросить васъ, коли милость ваша будетъ, насчетъ Катерины Петровны.

Горс. А развѣ ты не знаешь, что на нее имѣетъ виды Володя?

Хват. Я сама прежде думала это.

Горс. А теперь почему ты думаешь другое?

Хват. Теперь я думаю, что Владиміру Дмитричу хочется жениться на Лизаветѣ Петровнѣ.

Горс. Что?

Хват. Да, на Лизаветѣ Петровнѣ. Да чтò съ вами? Не подать-ли вамъ воды? Постойте, я возьму въ буфетѣ.

Горс. Не нужно, постой—скажи мнѣ, почему ты такъ думаешь? какъ ты это узнала? Скажи мнѣ все, чтò знаешь, какъ было, безъ утайки. Ты вѣрно подслушала? Вѣдь это твое ремесло!

Хват. Не сердитесь, Николай Матвѣичъ. Я, право, ничѣмъ не виновата. Вольно же Владиміру Дмитричу такъ громко разсуждать. Я была въ столовой, считала салфетки.

Горс. Чтò же онъ говорилъ?

Хват. Все скажу. Только не сердитесь, Николай Матвѣичъ. Дѣло было вотъ какъ: я была въ корридорѣ и видѣла, какъ Владиміръ Дмитричъ ходили по гостинной, а потомъ вошли Лизавета Петровна, сказали съ нимъ слова два, да и пошли въ свою комнату. А Владиміръ Дмитричъ посмотрѣли ей вслѣдъ и сказали: «Какъ бы мнѣ сказать ей, что я ее люблю». Нѣтъ-бишь—вотъ какъ: «что я не смѣю ей сказать, что я ее люблю», да и ушли, а тутъ и вы вошли.

Горс. И ты не лжешь? Это было точно такъ, какъ ты говоришь?

Хват. Образъ готова снять со стѣны, Николай Матвѣичъ.

Горс. Хорошо, вѣрю. Поди пошли ко мнѣ Лизаньку; вызови ее тихонько, чтобъ не обратили вниманіе, да поскорѣе.

Хват. Николай Матвѣичъ, вы меня не введите въ бѣду, а я побѣгу.

Горс. Не бось, не бось. Тебѣ же будетъ лучше отъ этого; скорѣе ступай.

Хват. Сію минуту! (*Про себя*). Пошло дѣло на ладъ! (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 13.

Горскій (*одинъ*).

А! вотъ оно что̀! Кто могъ это предвидѣть? Нѣтъ, лучше—кто могъ не видѣть этого? Она его любила давно, да скрывала. Онъ тоже любилъ ее давно ужъ — прежде, чѣмъ узналъ объ этомъ. Сердца не обманешь, у него тысячи глазъ, тысячи ушей, оно все видитъ, все слышитъ. Я не даромъ ревновалъ его къ ней, ненавидѣлъ его, какъ будто онъ былъ мой жесточайшій врагъ. (*Молчаніе*). За что-жь теперь ненавижу я его, и еще больше, чѣмъ прежде? Вѣдь я ужь рѣшился, я ужь думаю только объ одномъ, чтобъ пристроить ее? Вѣдь они оба будутъ счастливы? Счастливы? Да за что̀ же я то буду несчастливъ? Зачѣмъ же — ему счастіе, а мнѣ нѣтъ его? Еслибъ она вышла за Коркина — да что за Коркина? лучше бы, легче бы мнѣ было, еслибъ даже за Бражкина! Боже мой! неужели пламень въ аду жесточе, жгучее того, который пожираетъ теперь мою душу! А! вотъ хорошо, хорошо, хорошо! Отъ сильнаго холода чувствуютъ жаръ, въ сильномъ пару какъ-будто морозъ пробѣгаетъ по тѣлу. Такъ и мнѣ теперь даже весело. Да, весело! какъ бывало, на сраженіи, на приступѣ! Ну, веселись-же душа, сколько хочешь, это послѣдній твой пиръ,—другаго не дождешься. Вѣрно она! О!

ЯВЛЕНІЕ 14.

Входитъ Коркинъ.

Корк. А я все васъ искалъ, Николай Матвѣичъ.

Горс. Меня!

Корк. Но что̀ съ вами? Вѣрно, вы дурно себя чувствуете?

Горс. Напротивъ, чудесно. Я веселъ, такъ веселъ, что готовъ пѣть, плясать и все, что̀ вамъ угодно.

Корк. Но.

Горс. Право! Вы не вѣрите? Честное мое слово! Но вы, вѣрно, хотѣли мнѣ что-нибудь сказать?

Корк. Такъ, но, можетъ-быть, теперь не время.

Горс. Напротивъ. Теперь-то самое лучшее время. Можетъ-быть, вы мнѣ скажете что-нибудь такое, что я найду въ васъ товарища въ моей веселости? Знаете — радость вдвоемъ лучше.

Корк. (*смотря на него съ недоумѣніемъ*). Я, право, не знаю, какъ васъ понимать.

Горс. А вы, вѣрно, хотѣли поговорить со мною о своемъ предложеніи?

Корк. Да, Николай Матвѣичъ, я такъ измучился ожиданіемъ, неизвѣстностью, что рѣшился окончательно объясниться съ вами.

Горс. Вѣдь это насчетъ Лизаньки?

Корк. Нѣтъ, Николай Матвѣичъ. Мнѣ странно, что вамъ такъ показалось. Я ищу руки Катерины Петровны.

Горс. А! да! Я вѣдь такъ и думалъ. Я хотѣлъ только пошутить. Я же теперь въ такомъ веселомъ расположеніи. Но, вотъ что: я скажу о вашемъ предложеніи Катенькѣ, а теперь вы ступайте, мнѣ нужно остаться одному.

Корк. Очень хорошо. Только я прошу васъ объ одномъ: Бога ради, поскорѣе. (*Про себя*). Что съ нимъ? Онъ какъ сумасшедшій? (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 15.

Горскій (*одинъ*).

Нѣтъ, видно мнѣ нѣтъ товарищей! Я одинъ, да можетъ быть, мнѣ больше всѣхъ и надо! Правду сказать, судьба любитъ меня — смотри, какъ хлопочетъ за всѣхъ на мой счетъ и не спросясь меня? Итакъ, двѣ свадьбы вдругъ! Въ добрый часъ! Тѣмъ больше веселья! ха! ха! ха! (*Мол-*

чаніе). А что! не отправиться ли мнѣ на Кавказъ! Вѣдь я еще крѣпокъ, службѣ мнѣ не учиться, а стóитъ только вспомнить. Дѣла тамъ много — жизнь дѣятельная, разнообразная. Можетъ-быть, кинжалъ или пуля горца сжалится надо мною. Вотъ, говорятъ, что какъ бѣда нагрянетъ, такъ станешь въ тупикъ. Вздоръ! Вездѣ можно найдти средство извернуться. Лежишь въ постели больной и видишь смерть на носу. Что же? развѣ и тутъ нѣтъ средства спастись отъ нея? Умри самъ, вотъ и избавишься отъ нея. По крайней мѣрѣ, не она на тебя, а ты на нее наскочишь. А это не малое утѣшеніе въ бѣдѣ!

ЯВЛЕНІЕ 16.

Входитъ Лизанька.

Лиз. Ахъ, дядинька! Матрена Карповна очень удивила меня, сказавши, что вы хотите сообщить мнѣ что-то важное.

Гор. Очень, очень важное, мой другъ.

Лиз. Ужь не сказать ли мнѣ, что вы согласились съ моимъ рѣшеніемъ?

Гор. Да, именно—сказать тебѣ, что я наконецъ рѣшился. Но не блѣднѣй—мое рѣшеніе будетъ для тебя не такъ страшно, какъ ты думаешь.

Лиз. Но оно мнѣ нисколько не страшно, напротивъ...

Гор. Вѣрю, вѣрю. Къ чему увѣренія тамъ, гдѣ и безъ нихъ все ясно! Алексѣй Степановичъ Коркинъ сейчасъ просилъ у меня руки Катеньки.

Лиз. Ахъ, какъ это жалко! Алексѣй Степановичъ такой прекрасный человѣкъ, а она любитъ не его—она любитъ Владиміра Дмитріевича.

Гор. Еще жалѣть слишкомъ объ этомъ нечего. Бѣда не такъ велика. Владиміръ Дмитріевичъ ее не любитъ.

Лиз. Какъ такъ? Вы почему знаете?

Гор. О, я много знаю, много! Онъ самъ сказалъ мнѣ это. Говоритъ—воспоминанія дѣтства, больше ничего.

Лиз. Боже мой! Неужели это правда?

Гор. Какъ дважды два—четыре. Но отчего же ты такъ поблѣднѣла, испугалась?

Лиз. Мнѣ жаль бѣдной Катеньки.

Гор. А! да! ты сострадательна, любишь сестру. Я это знаю. Это хорошо, похвально. Ничего нѣтъ пріятнѣе, какъ видѣть безкорыстную любовь къ другимъ.

Лиз. Но, что же это значитъ? это такъ странно.

Гор. На свѣтѣ, Лизанька, такъ много страннаго, что ничему не надо дивиться, даже самому великодушному состраданію къ несчастію ближняго, даже пожертвованію. Все это только кажется страннымъ, а поразсмотри поближе—такъ и увидишь, что дѣло самое обыкновенное.

Лиз. Но, Бога ради, что за причина? Почему Владиміръ Дмитріевичъ...

Гор. Владиміръ то Дмитріевичъ? Да, прекрасный молодой человѣкъ, умный, образованный, чувствительный, словомъ, настоящій герой романа... Что съ тобою?

Лиз. Ничего. Впрочемъ, знаете-ли что? Вѣдь Катенька, кажется...

Гор. Что?

Лиз. Она мнѣ говорила, что она не любитъ Владиміра Дмитріевича, да я тогда ей не повѣрила. Зная ея легкій характеръ, я подумала, что она не понимаетъ самой себя.

Гор. Ну, а теперь ты ей вѣришь! Хорошее извѣстіе! За него и я тебя попотчую тоже хорошимъ извѣстіемъ. Да! вѣдь ты знаешь, что Володя уѣзжаетъ отъ насъ навсегда?

Лиз. Навсегда? Я не думала этого.

Гор. А знаешь ли, по какой причинѣ?

Лиз. Нѣтъ, не знаю.

Гор. Ну такъ я скажу тебѣ: онъ сердитъ на тебя.

Лиз. На меня? За что?

Гор. За то, что ты не любишь его. Вѣдь ты не любишь его?

Лиз. Какъ! (*Про себя*). Какая ужасная пытка!

Гор. Ну, я вижу, что ты не любишь его, а онъ—онъ влюбленъ въ тебя.

Лиз. Вы шутите! Пощадите меня, пощадите!

Гор. Боже мой! Опомнись, ободрись! (*Про себя*). О, я варваръ, безчеловѣчный! (*Вслухъ*). Лизанька другъ мой! Успокойся; ну, что жъ тутъ такое! Я знаю, что ты его давно любишь безнадежно. Сейчасъ узналъ я, что и онъ также любитъ тебя давно и безнадежно.

Лиз. Любитъ!—меня!—Онъ меня любитъ—Боже мой! какое ужасное счастіе! (*Молчаніе*). Послушайте, простите минутной слабости сердца, увлеченію эгоизма. Мое рѣшеніе все-таки твердо. Вѣдь онъ не знаетъ, что я его люблю?

Гор. Нѣтъ знаетъ—я ему сказалъ.

Лиз. Знаетъ! знаетъ! Что̀ вы сдѣлали! Какъ мнѣ теперь показаться ему? Зачѣмъ онъ ужъ не уѣхалъ! Но все это ничего: я покажу ему видъ, что ничего не знаю. Мое рѣшеніе все также твердо.

Гор. (*съ горькою улыбкой*). Все также твердо? И мое также, Лизанька. Прощай—о, прощай навсегда, помни меня. (*Плачетъ*).

Лиз. Какъ! вы хотите насъ оставить?

Гор. Да, видно такъ нужно. Я теперь опять спокойнѣе. Чему быть—тому не миновать. Если мнѣ нѣтъ счастія, то сохраню хоть уваженіе къ себѣ. А тамъ, что̀ Богъ дастъ. Можетъ-быть, его гнѣвъ скоро кончится, я возвращусь къ вамъ, мои милыя, буду любоваться вашимъ счастіемъ. Повѣрь мнѣ—все къ лучшему.

Лиз. Не говорите мнѣ о моемъ счастіи—оно мнѣ ненавистно: я вижу въ немъ ваше несчастіе. Нѣтъ, вы останетесь, вы не уѣдете. (*Обнимаетъ его*).

Гор. (*освобождаясь изъ ея объятій*). Охъ легче стало! Грустно, горько, а легко. Это голосъ Божій, я опять слышу его. Поди, Лизанька, поди. И прошу тебя объ одномъ: не уговаривай меня остаться, не говори мнѣ ничего. Я знаю, что́ дѣлаю. Вѣдь ты не можешь чувствовать, что̀ происходитъ въ моей душѣ, поди.

Лиз. Одно слово.

Гор. Ни полслова! А что до того, понимаешь, то не безпокойся и не спрашивай меня. Это ужь мое дѣло.

Лиз. Но, дядинька, Бога ради.

Гор. Поди, поди. (*Выводитъ ее*). Нѣтъ, постой, дай обнять тебя, поцѣловать въ послѣдній разъ. (*Рыдая*). О, я сильно любилъ тебя. Прости увлеченію слабости— оно послѣднее. (*Грустно смотритъ на нее*). Но, поди, поди. (*Лизанька уходитъ плача*).

ЯВЛЕНІЕ 17.

Горскій (*одинъ*).

Бѣжать, бѣжать, пока есть еще силы! отсрочки только измучаютъ меня. Нынче же отправляюсь въ городъ—укрѣплю за нею мое имѣніе. Пусть они живутъ здѣсь. Пусть будутъ счастливы. А я—я буду страдать и молиться за ихъ счастіе. Можетъ-быть, я и успокоюсь. (*Молчаніе*). Да, другаго нѣтъ пути, будь воля Божія. Эй, Иванъ, Иванъ!

ЯВЛЕНІЕ 18.

Входитъ Иванъ.

Иван. Что вамъ угодно, батюшка баринъ Николай Матвѣичъ.

Горс. Я нынче ѣду въ городъ, чтобъ все было готово часа черезъ два.

Иван. Слушаю-съ, батюшка. А я съ вами поѣду?

Горс. Какъ же. Вотъ не знаю, кого мнѣ будетъ взять— я надолго и далеко уѣзжаю.

Иван. (*повалясь ему въ ноги и плача*). Какъ кого, батюшка? я съ вами жилъ съ вами и умру, коли сами не возьмете—побѣгу за вами, какъ присталая собака, и хоть бейте—не отстану.

Горс. Полно, не дурачься; къ чему это? встань. (*поднимаетъ его*). Вѣдь я ѣду далеко и надолго.

Иван. Хоть на тотъ свѣтъ, про то знаете вы, а мое дѣло—служить вамъ.

Горс. Но ты, Иванъ, старъ, тебѣ ужь трудно разстаться съ родиной, съ семействомъ.

Иван. Да еслибъ отецъ родной всталъ изъ могилы, и то бы я васъ не покинулъ; не погубите на старости лѣтъ! Что я безъ васъ—сирота круглый!

Горс. Ну, хорошо, хорошо. Готовься же, да никому ни слова. Слышишь! Ступай. (*Иванъ уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ 19.

Входитъ Катенька.

Кат. Что съ вами, дядинька?

Гор. А, это ты, Катенька! Кстати, слова два. Скажи мнѣ—влюблена ты въ кого-нибудь?

Кат. Что за вопросъ, дядинька?

Гор. Что жь—труденъ?

Кат. Нѣтъ, я не влюблена ни въ кого.

Гор. Какъ—и въ Володю?

Кат. Да, я не влюблена въ него.

Гор. Да какъ же ты хотѣла за него выйдти?

Кат. Во первыхъ, дядинька, я не хотѣла, шутить еще не значитъ хотѣть; во вторыхъ, еслибы и вы и онъ захотѣли этого, то почему жь?

Гор. Какъ! только потому, что другіе желаютъ?

Кат. Да я и сама, хоть и не желаю, а вышла бы за него безъ отвращенія и безъ принужденія. Онъ прекрасный молодой человѣкъ, хоть и любитъ важничать.

Гор. Ну, а если я скажу тебѣ, что Володя уже не хочетъ жениться на тебѣ—онъ только любитъ тебя, а не влюбленъ?

Кат. Что-жь—я рада!

Гор. Я не понимаю тебя, ты себѣ противорѣчишь: то вышла бы охотно, то рада, что не выйдешь.

Кат. Но, милый дядинька, вѣдь то и другое хорошо, вѣдь участь человѣка рѣшается Богомъ, я этому вѣрю и готова на все. Я тоже иногда, какъ и всѣ, думаю о своей будущей судьбѣ, да отъ этого такъ становится грустно и тяжело, что я начинаю дурачиться, чтобъ только не думать. А когда надѣешься на Бога и о себѣ не думаешь, то такъ хорошо, весело на душѣ.

Гор. Правда твоя, правда! Ну, а не чувствуешь-ли ты къ кому-нибудь другому склонности?

Кат. Да что это вы пристали ко мнѣ, дядинька? ужь не думаете ли вы, что я въ васъ влюблена?

Гор. Теперь не время шутить, Катенька, говори дѣло. Какъ тебѣ кажется Алексѣй Степановичъ Коркинъ?

Кат. Умный, благородный—словомъ, прекраснѣйшій человѣкъ; даже немножко смѣшонъ при этомъ.

Гор. А! твой идеалъ!

Кат. Злой дядинька! съ чего вы это вздумали?

Гор. Не замѣчала ли ты въ немъ склонности къ себѣ?

Кат. Ахъ, онъ такой флегматикъ, что въ немъ ничего не замѣтишь, кромѣ постояннаго благоразумія—досадный человѣкъ!

Гор. Ну, такъ вотъ же что: онъ сватается за тебя.

Кат. Какъ? Что вы?

Гор. Не краснѣй, не краснѣй, моя милая вѣтреница. Я не

далъ ему слова, но обнадежилъ его. Что́ ты на это скажешь!

Кат. Что́? ну дяданька, не думала же я, чтобы вы когда нибудь такъ поймали меня!

Гор. Такъ я поймалъ тебя?

Кат. Прощайте пока—мнѣ некогда съ вами...

Гор. (*удерживая ее*) Постой, поди позови сюда всѣхъ. Да что́ это—у тебя слезы на глазахъ?

Кат. Ахъ, дядинька, какъ вы привязчивы! Вамъ все скажи, а догадаться не любите.

ЯВЛЕНІЕ 20.

Входитъ Мальскій.

Мал. Вы ѣдете, дядюшка! Возмите и меня съ собой.

Гор. Нѣтъ, ты останешься.

Кат. (*грозя пальцемъ Мальскому*). А, господинъ измѣнникъ! Такъ то вы! Постойте же, и я вамъ отплачу!

Мал. Какъ! Что̀ это значитъ?

Гор. Ты измѣнилъ Катенькѣ, а она за это измѣняетъ тебѣ и выходитъ за Алексѣя Степановича, вотъ и все!

Мал. Боже мой! Правда ли это, Катерина Петровна! одно ваше слово!

Кат. Васъ бы надо помучить хорошенько и за измѣну, а больше за неоткровенность и скрытность; но ужь такъ и быть, помиримся и будемъ по прежнему друзьями!

Мал. О, какую ужасную тяжесть сняли вы съ души моей!

Гор. Погоди, погоди—тебя ожидаетъ другая, только та легче.

Мал. Что́ вы хотите сказать?

Гор. Ничего худаго, а все хорошее—для тебя.

ЯВЛЕНІЕ 21.

Тѣ же и Коркинъ.

Кат. Ахъ! (*Хочетъ убѣжать*).

Гор. (*беретъ ея руку и подаетъ Коркину*). Алексѣй Степановичъ, не пускай эту вѣтренницу.

Корк. (*въ радости и смущеніи*). Катерина Петровна! Вѣрить ли мнѣ?

ЯВЛЕНІЕ 22.

Входятъ: Лизанька, Бражкинъ и Хватова съ дѣтьми.

Браж. Ну, Николай Матвѣичъ, какъ хотите, а я больше ждать не могу: дайте мнѣ рѣшительный отвѣтъ. А то сами знаете, я могу упустить другую выгодную партію.

Горс. Сейчасъ, Ѳедоръ Кузмичъ. Одну минутку. А пока поздравьте Катеньку и Алексѣя Степановича.

Хват. (*про себя*). Вотъ тебѣ разъ!

Гор. Ну, это кончено. Теперь другое дѣло — ужь послѣднее. (*Беретъ за руки Лизаньку и Мальскаго*). Милые мои, будьте счастливы. Я знаю, что вы давно любите другъ друга—случай обнаружилъ мнѣ вашу тайну.

Лиз. (*упадая въ слезахъ на грудь Горскаго*). Дядинька!

Мал. (*въ изумленіи*). Что̀ это значитъ, дядинька? Вы смѣетесь...

Гор. Полноте, будьте счастливы. Не нужно словъ. О! (*Отходитъ въ сторону и плачетъ*).

Хват. А, такъ вотъ для кого я трудилась и хлопотала!

Браж. (*подходя къ Хватовой*). Какъ же это, Матрена Карповна? Вѣдь я сватался?

Хват. Да остался съ носомъ. Я сама въ дурахъ.

Браж. А! Ну, дѣлать нечего. Поищемъ въ другомъ мѣстѣ, время еще не ушло. Пріѣзжайте, Матрена Карповна, погостить ко мнѣ, въ мушку поиграемъ. (*Уходитъ; за нимъ и Хватовы*).

ЯВЛЕНІЕ 23.

Горскій, Мальскій, Коркинъ, Катенька и Лизанька.

Гор. (*беретъ Мальскаго за руку и отводитъ его въ сторону*). Поди сюда, Володя. Будь счастливъ, другъ мой. Люби ее. Сдѣлай ее счастливою. Только на этомъ условіи и отдаю я тебѣ ее. Она, Володя, дорого стòитъ, велика ей цѣна; вся жизнь твоя, душа, сердце, мысли, любовь, весь ты, твое будущее спасеніе, вотъ цѣна. Я ѣду на Кавказъ пользоваться водами. Надѣюсь скоро увидѣться съ вами, но въ смерти и въ животѣ Богъ воленъ. И если ты не лгалъ самымъ безстыднымъ образомъ, когда называлъ меня дядею и вторымъ отцомъ своимъ, если ты хочешь, чтобы мои кости спокойно лежали въ могилѣ, смотри же, чтобъ ни одной слезы, ни одного вздоха не знала она отъ тебя. Иначе я и изъ могилы прокляну тебя.

Мал. Дядюшка! Отецъ!

Гор. (*обнимая его*). Прощай, прощай. Не нужно больше словъ. Оставь меня на минуту.

Лиз. (*бросаясь на шею къ Горскому*). Дядинька! Но нѣтъ, вы не оставите меня. Неужели это необходимо? Неужели нѣтъ на землѣ полнаго счастія?

Гор. Полно, полно. Еще увидимся. Теперь же прощай, будь счастлива, такъ счастлива, чтобы люди повѣрили наконецъ, что есть на землѣ счастіе. А мнѣ слезу, когда

умру, и улыбку, когда увидимся. Поди къ нимъ. (*Толкаетъ ее къ Мальскому, Катенькѣ и Коркину*). Я твердъ, какъ никогда не былъ. Они обнимаются, плачутъ отъ счастія, отъ блаженства... Пусть же имъ счастіе! А я! Замолчи, змѣя души моей! Мнѣ нѣтъ—значитъ, и не надо. По крайней мѣрѣ, я сдѣлалъ свое дѣло, а тамъ—будь воля Божія!

ОГЛАВЛЕНИЕ ДВѢНАДЦАТОЙ ЧАСТИ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА.

1840 г.

СТАТЬИ НЕ ПОДОШЕДШІЕ ПОДЪ РАЗДѢЛЕНІЕ ПЕРВЫХЪ ЧАСТЕЙ:

СТАТЬИ НЕ БЫВШІЯ ВЪ ПЕЧАТИ:

ПРИЛОЖЕНІЯ.

